БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ А. СОЛЖЕНИЦЫН

YMCA-PRESS

А. СОЛЖЕНИЦЫН

БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève
75005-PARIS

ОГОВОРКА

Есть такая, немалая, *вторичная* литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рожденная литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям всё меньше досуга, что кажется: мемуары писать да еще литературные – не совестно ли?

И уж никак не предполагал, что и сам, на 49-м году жизни, осмелюсь наскребать вот это что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня.

Одно – наша жестокая и трусливая потаённость, от которой все беды нашей страны. Мы не то, чтоб открыто говорить и писать и друзьям рассказывать, что̀ думаем и как истинно было дело – мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаённость еще продлится – не предсказать, может многих нас раньше того рассекут, и пропадет с нами невысказанное.

Обстоятельство второе – что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а наступающею весной я хочу головой легонько рвануть. Петля ли порвется, шею ли сдушит – предвидеть точно нельзя.

А тут как раз между двумя глыбами – одну откатил, перед второй робею, выдался у меня маленький передых.

И я подумал, что может быть время пришло кое-что на всякий случай объяснить.

Апрель 1967

ПИСАТЕЛЬ-ПОДПОЛЬЩИК

То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво – когда писатели.

У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дуэлью, того – разломом семейной жизни, того – разорением или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя же совесть еще горше расцарапает грудь изнутри.

Но все-таки: нырять в подполье и не о том печься, чтобы мир тебя узнал, а чтобы наоборот – не дай Бог не узнал, – этот писательский удел родной наш, чисто-русский, русско-советский! Теперь установлено, что Радищев в последнюю часть жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что и мы теперь не найдем и не узнаем. И Пушкин с остроумием зашифровывал 10-ю главу «Онегина», это знают все. Меньше знают, как долго занимался тайнописью Чаадаев: рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и оперативников пригнать порядочно, так чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а его библиотека сохранилась до революций, и несоединенные, не известные никому листы томились в ней. В 20-е годы они были

обнаружены, разысканы, изучены, а в 30-е, наконец, и подготовлены к печати Д.С. Шаховским – но тут Шаховского *посадили* (без возврата), а чаадаевские рукописи и по сегодня тайно хранятся в Пушкинском Доме: не разрешают их печатать из-за... их *реакционности*!

Так Чаадаев установил рекорд – уже 110 лет после смерти! – замалчивания русского писателя. Вот уж написал, так написал!

А потом времена пошли куда вольнее: русские писатели не писали больше *в стол*, а всё печатали, что хотели (и только критики и публицисты подбирали эзоповские выражения). И до такой степени они свободно писали и свободно раскачивали всю государственную постройку, что от русской-то литературы и выросли все те молодые, кто взненавидели царя и жандармов, пошли в революцию и сделали её.

Но шагнув через порог ею же порожденных революций, литература быстро осеклась: она попала не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину и меж сближенных стен, все более тесных. Очень быстро узнали советские писатели, что не всякая книга может *пройти*. А еще лет через десяток узнали они, что гонораром за книгу может стать решётка и проволока. И опять писатели стали скрывать написанное, хоть и не доконечно отчаиваясь увидеть при жизни свои книги в печати.

До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, свежие *темы* находить для рассказов. Страшно подумать, что̀ б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не *посадили*.

С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под грудами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что̀ видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдется ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел современного русского писателя, озабоченного правдой: писать надо только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало

потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди – напечататься.

И – изжил я досужную мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадет моя работа, что на какие головы нацелена – те поразит, и кому невидимым струением посылается – те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.

Для этого в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть – многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрическою системой, а на пересылках наламывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько – и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного – уже неделя в месяц.

Тут началась ссылка и тотчас же в начале ссылки – рак. Осенью 1953 года очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.

Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья – сами по лагерям. Мама – умерла. Жена – вышла за другого; всё же я позвал ее проститься, могла б и рукописи забрать, – не приехала.

Эти последние обещанные врачами недели мне не избежать было работать в школе, но вечерами и ночами, бессонными от болей, я торопился мелко-мелко записывать,

и скручивал листы по нескольку в трубочки, а трубочки наталкивал в бутылку из-под шампанского. Бутылку я закопал на своём огороде – и под Новый 1954 год поехал умирать в Ташкент.

Однако, я не умер (при моей безнадёжно-запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель). Тою весной, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2-3 года только?), в угаре радости я написал «Республику труда». Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конца, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и еще переписать.

Но уничтожая все редакции черновые – как же хранить последнюю? Счастливая чужая мысль и счастливая чужая помощь повели меня по новому пути: оказалось, надо освоить новое ремесло, самому научиться делать *заначки,* далёкие и близкие, где все бумаги мои, готовые и в работе, становились бы недоступны ни случайному вору, ни поверхностному ссыльному обыску. Мало было тридцати учебных часов в школе, классного руководства, одинокого кухонного хозяйства (из-за тайны своего писания я и жениться не мог); мало было самого подпольного писания – еще надо было теперь учиться ремеслу – прятать написанное.

А за одним ремеслом потянулось другое: самому делать с рукописей микрофильмы (без единой электрической лампы и под солнцем, почти не уходящим за облака). А микрофильмы потом – вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: США, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого на Западе более не знал, ни одного издателя, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне.

Мальчишкой читаешь про фронт или про подпольщиков

и удивляешься: откуда такая смелость отчаянная берется у людей? Кажется, сам бы никогда не выдержал. Так я думал в 30-е годы над Ремарком («Im Westen nichts Neues»), а на фронт попал и убедился, что всё проще гораздо, и вживаешься постепенно, а в описаниях – куда страшнее, чем оно есть.

И в подполье если с-бухта-барахта вступать, при красном фонаре, в черной маске, да клятву какую-нибудь произносить или кровью расписываться, так наверно очень страшно. А человеку, который давным-давно выброшен из семейного уклада, не имеет основы (уже и охоты) для постройки внешней жизни, а живет только внутренне – тому зацепка за зацепкою, похоронки за похоронками, с кем-то знакомство, через него другое, там – условная фраза в письме или при явке, там – кличка, там – цепочка из нескольких человек, – просыпаешься однажды утром: батюшки, да ведь я давно подпольщик!

Горько, конечно, что не для революции надо спускаться в то подполье, а для простой художественной литературы.

Шли годы, я уже освободился из ссылки, переехал в Среднюю Россию, женился, был реабилитирован и допущен в умеренно-благополучную ничтожно-покорную жизнь – но к подпольно-литературной изнанке ее я так же привык, как к лицевой школьной стороне. Всякий вопрос: на какой редакции закончить работу, к какому сроку хорошо бы поспеть, сколько экземпляров отпечатать, какой размер страницы взять, как стеснить строки, на какой машинке, и куда потом экземпляры – все эти вопросы решались не дыханием непринужденным писателя, которому только бы достроить вещь, наглядеться и отойти, – а еще и вечно напряженными расчетами подпольщика: как и где это будет храниться, в чем будет перевозиться, и какие новые захоронки надо придумывать из-за того, что всё растет и растет объем написанного и перепечатанного.

Важней всего и был о б ъ ё м вещи – не творческий объем в авторских листах, а объём в кубических сантиметрах. Тут выручали меня еще неиспорченные глаза и

от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти ее из Москвы; полное уничтожение (всегда и только – сожжение) всех набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая, строчка к строчке, без всяких полей и двусторонняя перепечатка; а по окончанию перепечатки – сожжение и главного беловика рукописи тоже: один огонь я признавал надежным еще с первых литературных шагов в тюрьме. По этой программе пошел и роман «В круге первом», и рассказ «Щ-854», и сценарий «Знают истину танки», не говоря о более ранних вещах.*

Все эти предосторожности были, конечно, с запасом, но береженого Бог бережет. Статистически почти невероятным было, чтобы безо всякого внешнего повода ко мне на квартиру нагрянуло бы ЧКГБ, хоть я и бывший зэк: ведь миллионы их, бывших зэков!** Однако это всё пока соблюдается пословица:

«Никто в лесу не знал бы дятла, если бы не свой носок».

Безопасность приходилось усилить всем образом жизни: в Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, приятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости – потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничьего внимательного взгляда, – жена строго выдерживала этот режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов, но всегда выказывать свою чужесть литературе (литературная «враж-

---

* До слез было жалко уничтожать подлинник сценария, он особенным образом был написан. Но в один тревожный вечер пришлось его сжечь. Сильно облегчалось дело тем, что в рязанской квартире было печное отопление. При центральном сожжение гораздо хлопотливей.

** А если бы нагрянули, то – смерть, ничто меньшее не ждало меня при тогдашней беззвестности и беззащитности, – как сможет убедиться читатель, прочтя когда-нибудь ну хотя бы исходный полный текст «Круга» (96 глав).

дебная» деятельность ставилась мне в вину уже по следственному делу – и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать); наконец, на каждом жизненном шагу сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться – никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любою глупостью.

Понурая свинка глубок корень роет.

Это было очень нелегко! Как будто не кончилась ссылка, не кончился лагерь, как будто всё те же *номера* на мне, нисколько не поднята голова, нисколько не разогнута спина и каждый погон надо мною начальник. Всё негодование могло укипеть только в очередную книгу, а этого тоже нельзя, потому что закон поэзии – быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности.

Но все эти дани я платил спокойно: мне работалось всё равно хорошо, плотно, даже при скудности свободного времени, даже без подлинной тишины. Мне странно было слушать, как объясняли по радио обеспеченные, досужные, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами. А я еще в лагере научился складывать и писать на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал поприведливее, мешало мне и радио, и разговоры, – но даже под постоянный рев грузовиков, наезжающих на рязанское окно, я одолел неведомую мне манеру киносценария. Лишь бы выдался свободный

часик-два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия.

Очень устойчивое, и даже радостное, и даже торжествующее настроение было у меня все эти годы подпольного писания – пять лет лагеря до моей болезни и семь лет ссылки и воли, «второй жизни» после удивительного выздоровления. Существовавшая и трубившая литература, ее десяток толстых журналов, две литературных газеты, ее бесчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и радиоинсценировки нуднейших сочинений раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов – наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо не то у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они – и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные и уж тем более публицисты и критики, все они соглашались обо всяком предмете и деле не говорить главной правды, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды называлась **соцреализмом**. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в природу или в изящную романтику, все они были обреченно-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды.

И еще с тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких – замкнутых упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что̀ знает о нашем времени и что̀ есть главная правда – составляют ее не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя совсем их обойдя, тоже главной правды не выпишешь. Несколько десятков нас таких, и всем дышать нелегко, но до времени никак нельзя нам открыться даже друг другу. А вот придет пора – и все мы разом

выступим из глуби моря, как Тридцать Три богатыря, – и так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно при Великом Переломе, а может еще и раньше.

И третье было убеждение: что это лишь посмертный символ будет, как мы, шлемоблещущая рать, подыматься будем из моря. Что это будут лишь наши книги, сохраненные верностью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрем. Я всё еще не верил, что сотрясение общества сможет вызвать и начать литература (хотя не русская ли история именно это нам уже показала?!). Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы и туда-то сразу двинется наша подпольная литература – объяснить потерянным и смятенным умам: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 17-го года вьется и вяжется.

Но вот прошли года – и к тому, кажется, склонилось, что ошибся я по всем трем своим убежденностям.

Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нем всё, что дает питание и влагу живому, а живое всё-таки выросло. Можно ли не признать за живое и «Тёркина на том свете» и крутолучинских мужиков? Как не признать живыми имена Шукшина, Можаева, Тендрякова, Белова да и Солоухина? И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды? Я не перечисляю всех имен, сюда это не идет. А ведь есть еще – смелые молодые поэты. Вообще: союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, презревший Булгакова, исторгнувший Ахматову и Пастернака, представлялся мне из подполья совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захламившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени. Удивлен же я и очень рад своей ошибке.

Ошибся я и во втором предвидении, но уже на беду: хитрых таких, и упорных таких – и счастливых таких! –

оказалось совсем мало. Целая литература из нас никак уже не получится, работала чекистская метла железнее, чем я думал. Сколько светлых умов и даже может быть гениев – втерты в землю без следа, без концов, без отдачи. (Или они еще упорнее и хитрее нас? – и даже сегодня пишут безмолвно и не высовываются, зная, что час Свободы не достигнут? Допускаю. Потому что и обо мне бы кто-нибудь рассказал в секции прозы годиком раньше – ведь не поверили ж бы?)

Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже XX-му съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочел их летом 1956-го года и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался. Была ниточка и мне ему тут же открыться, но оказался я недоверчивее его, да и много еще было у меня не написано тогда, да и здоровье и возраст позволяли терпеть – и я смолчал, продолжал писать.

Ошибся я и в третьем своем убеждении: гораздо раньше, еще при нашей жизни начался наш первый выход из бездны темных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья – высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так.

А дальше, наоборот, замедлилось – потянулось как протяжная холодная весна. Стала петлями, петлями закидываться история, чтобы каждого петлею обхватить и задушить побольше шей. И так всё пошло неохотливо (да так и надо было ждать), что сейчас и выбора у нас не осталось, и придумать ничего не придумаешь, как в этот лоб непроимчивый швырнуть последние камешки из последних силенок.

Да, да, конечно, кто же не знает: не проткнуть лозою железобетонных башенных стен. Да вот догадка: может, они на рогоже нарисованы?

*
* *

Двенадцать лет я спокойно писал и писал. Лишь на тринадцатом дрогнул. Это было лето 1960 года. От написанных многих вещей – и при полной их безвыходности, и при полной беззвестности, я стал ощущать переполнение, потерял легкость замысла и движения. В литературном подпольи мне стало не хватать воздуха.

Сильное преимущество подпольного писателя в свободе его пера: он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не стоит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины. Но есть в его положении и постоянный ущерб: нехватка читателей, и особенно литературно-изощренных, требовательных. Ведь своих немногих читателей (у меня их было около десятка, главным образом бывших зэков, да и то никому из них не удалось дать прочесть все вещи – ведь живем в разных городах, ни у кого нет ни лишних дней, ни лишних средств для поездок, ни лишних комнат для гощения), своих читателей писатель-подпольщик выбирает совсем по другим признакам: политической надежности и умению молчать. Эти два качества редко соседствуют с тонким художественным вкусом. Итак, жесткой художественной критики со знанием современных литературных норм писатель-подпольщик не получает. А оказывается, что эта критика, трезвая топографическая привязка написанного в эстетическом пространстве – очень нужна, каждому писателю нужна, хоть в пять лет раз, хоть в десять лет разочек. Оказывается, пушкинский совет:

«Ты им доволен ли, взыскательный художник?»

хотя и очень верен, но не до самого полна. Десять и двенадцать лет пиша в глухом одиночестве, незаметно распоясываешься, начинаешь прощать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады; то пафосного всклика; то пошловатой традиционной связки в том месте, где более верного крепления не нашел.

Позже, когда я из подполья высунулся и *облегчал* свои вещи для наружного мира, облегчал от того, чего соотечественникам еще никак на первых порах не принять, я с

удивлением обнаружил, что от смягчения резкостей вещь только выигрывает и даже усиляется в воздействии; и те места стал обнаруживать, где не замечал раньше, как я себе поблажал – вместо кирпича целого, огнеупорного, уставлял надбитый и крохкий. Уже от первого касания с профессиональной литературной средой я почувствовал, что надо подтягиваться.

Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные мною театральные спектакли провинциального Ростова 30-х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве – правда и жизненный опыт, я не дооценил, что *формы* подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении. Теперь-то, походив в московские театры 60-х годов (театры, увы, уже не артистов и даже не драматургов, театры режиссеров как почти единственных творцов спектакля) я жалею, что писал пьесы.*

В 60-м году всего этого я не мог бы точно назвать и объяснить, но ощутил, что коснею, что бездействует уже немалый мой написанный ком, – и какую-то потяготу к движению стал я испытывать. А так как движения быть не могло, некуда было пошевельнуться даже, то я стал тосковать: упиралась в тупик вся моя так ловко задуманная, беззвучная, безвидная литературная затея.

Толстой перед смертью написал, что это вообще безнравственно: писателю печататься при жизни. Надо, мол, работать только впрок, а напечатают пусть после смерти. Не говоря о том, что Толстой ко всем благим мыслям приходил лишь после круга страстей и грехов, – здесь он ошибся даже и для медленных эпох, а уж для быстрой

* Проза Шаламова тоже, по-моему, пострадала от долголетней замкнутости его работы. Она могла бы быть совершеннее – на том же круге материала и при том же авторском взгляде.

нашей – тем более. Он прав, что жажда повторного успеха у публики портит писательское перо. Но больше портит перо многолетняя невозможность иметь читателей – строгих, и враждебных, и восхищенных, невозможность никак повлиять пером на окружающую жизнь, на растущую молодежь. Такая немота дает чистоту, но и – безответственность. Суждение Толстого опрометчиво.

Современная печатная литература, до той поры только смешившая меня, тут уже стала раздражать. Появились как-раз мемуары Эренбурга и Паустовского – и я послал в редакции резкую критику, конечно никем не принятую, потому что моего имени никто не знал. По форме статья моя получилась как бы против мемуарной литературы вообще, а на самом деле это было раздражение, что писатели, видевшие большую мрачную эпоху, всё стараются юзом проскользнуть, не сказать нам ничего главного, а пустячки какие-нибудь, смягчающей мазью глаза нам залепливают, чтоб мы дольше не видели истины – а чего уж так они боятся, писатели с положением, неугрожаемые?

В ту осень, мыкаясь в своей норе и слабея, стал я изобретать: не могу ли я все-таки что-нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать – но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать! Так я задумал писать «Свет, который в тебе» – пьесу на современном, но безнациональном материале: о всяком благополучном обществе нашего десятилетия, будь оно западное или восточное.

Эта пьеса – самое неудачное изо всего, что я написал, далась мне и труднее всего. Верней: первый раз я узнал, как трудно и долго может не получаться вещь, хоть переписывай ее 4-5 раз; и можно целые сцены выбрасывать и заменять другими, и всё это – сочиненность. Много я на нее потратил труда, думал кончил – а нет, не получилась. А ведь я взял в основу подлинную историю одной московской семьи, и нигде душой не покривил, все мысли писал только искренние и даже излюбленные, с первого акта отказавшись угождать цензуре – почему ж не удалось? Неужели только потому, что я отказался от российской конкретности

(не для маскировки вовсе, и не только для «открытости» вещи, но и для бо̀льшей общности изложения: ведь о сытом Западе это еще верней, чем о нас), – а без русской почвы должен был я и русский язык потерять? Но другие же свободно пишут в этой безликой безъязыкой манере – и получается, почему ж у меня?.. Значит, и абстрактная форма так же не всякому дана, как и конкретная. Нельзя в абстракции сделать полтора шага, а всё остальное писать конкретно. (Впрочем, главная неудача произошла очевидно от неосязаемости женского образа.)

Другую попытку я сделал в 61-м году, но совсем неосознанно. Я не знал – для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепечатал *облегченно,* опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 45-го года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то – и положил. Но положил уже открыто, не пряча. Это было очень радостное освобожденное состояние! – не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать ее просто в столе – счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда ни на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат.

Я уставал уже от конспирации, она задавала мне задачи головоломнее, чем само писательство. Но никакого облегчения ни с какой стороны не предвиделось, и западное радио, которое я слушал всегда и сквозь глушение, ничего не знало о глубинных геологических сдвигах и трещинах, которые скоро должны были отдаться ударом на поверхность. Ничего никто не знал, ничего я радостного не ожидал и взялся за новую отделку и перепечатку «Круга». После бесцветного XXI съезда, втуне и безмолвии оставившего все славные начинания XX-го, никак было не предвидеть ту внезапную заливистую яростную атаку на Сталина, которую назначит Хрущев XXII-му съезду! И объяснить ее мы, неосведомленные, никак не могли!

Однако, она была, и не тайная, как на XX съезде,

а открытая! Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII-м съезде. В маленькой комнатке деревянного прогнившего дома, где все мои многолетние рукописи могли сгореть от одной несчастной спички, я читал, читал эти речи – и стены моего затаенного мира заколебались как занавеси театральных кулис, и в своем свободном колебании расширялись и меня колебали и разрывали: да не пришел ли долгожданный страшный радостный момент – тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?

Нельзя было ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!

А тут еще хорошо выступил на XXII съезде и Твардовский, и такая там была нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а «мы не используем». Такая нотка, что просто нет у «Нового мира» вещей посмелее и поострее, а то бы он мог.

Твардовского времен «Муравии» я нисколько не выделял из общего ряда поэтов, обслуживающих курильницы лжи. И примечательных отдельных стихотворений я у него не знал – не обнаружил, просматривая в ссылке двухтомник 1954 года. Но со времен фронта я отметил «Василия Теркина» как удивительную удачу: задолго до появления первых правдивых книг о войне (с некрасовских «Окопов» не так-то много их и всех удалось, может быть полдюжины), в потоке угарной агитационной трескотни, которая сопровождала нашу стрельбу и бомбежку, Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязненную – по редкому личному чувству меры, а может быть и по более общей крестьянской деликатности. (Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться.) Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! – оттого и вышло чудо. Я это не по себе одному говорю, я это хорошо наблюдал

на солдатах своей батареи во время войны. По условиям нашей звукоразведывательной службы они даже в боевых условиях много имели времени для слушанья чтения (ночами, у трубок звукопостов, а с центрального читали что-нибудь). Так вот из многого, предложенного им, они явно выделили и предпочли: «Войну и мир» и «Теркина».

Но потом лагерный, и ссыльный, и преподавательский, и подпольный недосуг не дали мне прочесть ни «Дома у дороги», ни другого чего. (Только «Теркина на том свете» читал я в списках еще в 56-м году, Самиздату всегда предпочтение и внимание.) Я не знал даже, что публиковалась в «Правде» глава из «За далью даль», что поэма в том году получила ленинскую премию. Поэму я прочел гораздо позже, а главу «Так это было» – когда попалась мне в «Новом мире».

По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой: трудоночь тетки Дарьи, «ура, он снова будет прав!» и даже «Москва высотная вставала как некий странный павильон». И был уже тогда у меня первый толчок: не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли?

Но всё ту же главу перелистывая и раздумывая, я встречал и «грозного отца» и «правоту» его обок с неправотою, и ему мы «обязаны победой», и родство Сталина с бранной сталью,

«...И в нашей книге золотой
Ни строчки, даже запятой...
Чтоб заслонила нашу честь.
Да, всё, что с нами было – было!»

Уж слишком мягко: сорокалетний позор лагерей – не заслонил чести? Уж слишком бесконтурно: «что было – то было», «тут ни убавить, ни прибавить». Тàк и обо всех видах фашизма можно сказать. Тогда и Нюрнберга не надо? – что было, то было..? Философия беспомощная,

не вытягивающая на суждение об истории.* Поэт трогал ногой рядом с мощеной тропкой, но страшно было ему сходить.

И я не знал: если выдраться к нему из трясины и руки протянуть: сходи! – то пойдет или упрется?

И о «Новом мире» я не имел отличительного суждения: по тому, чем наполнены были его главные страницы, он для меня мало отличался от остальных журналов. Те контрасты, которые между собою усматривали журналы, были для меня ничтожны, а тем более для дальней исторической точки зрения – спереди ли, сзади. Все эти журналы пользовались одной и той же главной терминологией, одной и той же божбой, одними и теми же заклинаниями – и всего этого я даже ложкой чайной не мог принять.

Но что-нибудь же значил гул подземных пластов, прорвавшийся на XXII съезд?.. Я – решился. Вот тут и сгодился неизвестно для какой цели и каким внушением «облегченный» «Щ-854». Я решился подать его в «Новый мир». (Не случись это – случилось бы другое и худшее. Уже целый год тошнота моего тупикового положения нудила меня к какому-то прорыву.)

Сам я в «Новый мир» не пошел: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это

---

* Лидия Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» вспоминает, как та пятью годами раньше гневалась на Твардовского за тогдашнюю главу «Друг детства»: «Новая ложь взамен старой!»

«Страна? При чем же здесь страна?
...Народ? Какой же тут народ!»

И поэт вместе с зэком

«Ведал всё. И хлеб тот ел».

И зэк

«По одному со мной билету
Как равный гость бывал в Кремле».

Да: для 56-го года удобная лесенка лжи.

было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке.

Я отдал – и охватило меня волнение, только не молодого славолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след.

Это было начало ноября 1961 года. Я и пути не знал в московские гостиницы, а тут, пользуясь предпраздничным безлюдьем, получил койку. Здесь я пережил дни последних колебаний – еще можно было остановить, вернуть. (Остался я не для колебаний, а для чтения самиздатского «По ком звонит колокол», полученного на три дня. До той поры я и Хемингуэя ни одной строчки не читал.)

Гостиница оказалась в Останкине, совсем рядом с той семинарией-шарашкой, где происходит действие моего «Круга» и где, уже с первым лагерным опытом, я по-серьезному начал писать. Перемежая с Хемингуэем, я выходил побродить мимо забора своей шарашки. Он всё так же стоял, по тому же периметру обмыкая всё то же малое пространство, где когда-то стиснуто было столько выдающихся людей и кипели наши споры и замыслы.

В десятке метров брел я теперь от того архиерейского домика-ковчега и тех лип, вечных лип, под которыми три года вышагивал-вышагивал-вышагивал утром, днем и вечером, мечтая о далекой светлой свободе – в иные, светлые, годы и в посветлевшей стране.

А теперь, в пасмурный осклизлый день, по мокренькой ноябрьской слякоти, я шел по другую сторону забора, по тропинке, где только смена караула от вышки к вышке пробиралась раньше, и думал: что ж я наделал? Ведь я – опять в их руках.

Как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?..

ОБНАРУЖИВАЯСЬ

А потом целый месяц в Рязани я тягостно жил: где-то невидимо двигалась теперь моя судьба, и я всё больше уверялся, что – к худшему. Исконному зэку, сыну ГУЛага, почти недоступно верить в лучшее. И за лагерные годы отвыкши от всякого собственного решения (почти всегда во всем крупном ты отдан течению рока), мы даже привыкаем, что безопаснее ничего не решать, не предпринимать: живешь – и живи.

А я вот нарушил этот лагерный закон, и теперь было страшно. Да шла ж и новая работа, она вся была у меня в квартире, и тем более губительным легкомыслием казалась эта затея с «Новым миром».

Как бы ни гремел XXII съезд, какой бы памятник ни сулились поставить погибшим зэкам (впрочем – только коммунистам, впрочем – и по сей день не поставили), а поверить, что вот уже пришло время правду говорить – ну, в это же поверить нельзя, ну слишком отучены головы наши, сердца и языки! Мы уже смирены, что и никогда не скажем правды и никогда не услышим.

Однако, в начале декабря от Л. Копелева пришла телеграмма: «Александр Трифонович восхищен статьей» («статьей» договорились мы зашифровать рассказ, статья могла бы быть и по методике математики). Как птица с лёта ударяется в стекло – так пришла та телеграмма. И кончилась многолетняя неподвижность. Еще через день (в день моего рожденья как раз) пришла телеграмма и от самого Твардовского – вызов в редакцию. А еще на завтра

я ехал в Москву и,пересекая Страстную площадь к «Новому миру», суеверно задержался около памятника Пушкину – отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю, не ошибусь. Вышло вроде молитвы.

Вместе с Копелевым мы поднялись по широкой барской лестнице «Нового мира» – в кино эту лестницу снимать для сцены бала. Был полдень, но Твардовский еще не приезжал, да и редакция только что собралась, так поздно они начинали. Стали знакомиться в отделе прозы. Редактор его Анна Самойловна Берзер сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского.

Это так получилось (только не в тот год мне было рассказано). Долгохранимая и затаенная моя рукопись пролежала на столе у А. Берзер целую неделю неприкрытая, даже не в папке, доступная любому стукачу или похитителю – Анну Самойловну не предупредили о свойствах этой вещи. Как-то А.С. Начала расчищать стол, прочла несколько фраз – видит: и держать так нельзя и читать надо не тут. Взяла домой, прочла вечером. Поразилась. Проверила впечатление у подруги – Калерии Озеровой, редактора критического отдела. Сошлось. Хорошо зная обстановку «Нового мира», А.С. определила, что любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмет, заглотнет, не даст ей дойти до Твардовского. Значит, надо было исхитриться перебросить рукопись через всех них, перешвырнуть через топь осторожности и трусости – и в первые руки угодить – Твардовскому. Но! – не отвратился бы он от рукописи из-за ее убогого слепленного сжатого вида. Попросила А.С. перепечатать за счет редакции. Ушло на это время. Еще ушло – на ожидание, пока Твардовский вернется из очередного приступа своего запоя (несчастных запоев, а может быть и спасительных, как я понял постепенно). Но главная трудность была – как заманеврировать членов редакции и прорваться к Твардовскому, который редко ее принимал и несправедливо не любил (то ли не оценивал ее художественного вкуса,

трудолюбия и отдачи всей себя интересам журнала, то ли ревновал к авторам, которые все с ней дружили и постоянно толклись в отделе прозы). Хорошо, однако, зная суть и слабости всех своих начальников, она у первого из них, зав. отделом прозы Е. Герасимова, спросила: «Есть вещь о лагерях. Будешь читать?» И благополучный Герасимов, сам многолистный прозаик, отмахнулся: «Не морочь мне голову этими лагерями». Тот же вопрос – второму заместителю Главного, А. Кондратовичу – маленькому, как бы с ушами настороженными и вынюхивающим носом, дёрганному и запуганному цензурой. Ответил Кондратович, что о лагерях он всё уже знает, ничего ему не надо. К тому ж, печатать всё равно нельзя. Тогда А. Берзер положила рукопись перед ответственным секретарем Б. Заксом и спросила коварно так: «Посмотрите, вам хочется это читать?» Нельзя было спросить ловчей! Уже много лет Б.Г. Заксу, сухому нудноватому джентльмену, ничего не хотелось от художественной литературы, кроме того, чтоб она не испортила ему конца жизни, зарплаты, коктебельских солнечных октябрей и лучших зимних московских концертов. Он прочел первый абзац моего рассказа, положил молча и ушел.

Теперь А. Берзер имела полное право обратиться и к Твардовскому – ведь все отказались! Она дождалась случая, правда, в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: «Софья Петровна» Лидии Чуковской и еще такая: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал – эту давайте.* Но опомнился и подскочил Кон-

---

* А «Софье Петровне» пришлось еще несколько лет ожидать – до своей четверти века и зарубежного опубликования. Очень понятное у нас, это совсем непонятно Западу: один и тот же журнал не посмел бы опубликовать вторую повесть на тюремную тему. Ведь получалась бы *линия*...

дратович: «Уж дайте до завтра, сперва я прочту!» Не мог он упустить послужить защитным фильтром для Главного!

Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) темный автор лагерного рассказа даже расстановки основных членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие. Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Кондратович с какой-то страницы работу эту бросил. Какое у него к утру сформировалось мнение – неизвестно, а думаю, что легко могло оно повернуться и в ту, и в другую сторону. Твардовский же, мнения его не спрося, взял читать сам.

Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это – глазами мужика. Слопали б живьем моего Денисовича три охранителя Главного – Дементьев, Закс и Кондратович.

Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее.

Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лег в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трех страниц решил, что лежа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ – первый раз, потом и второй (ничего моего последующего он второй раз не читал, и вообще ничего никогда второй раз не читает, даже после авторских уступок, из-за того попадая иногда и в ошибки). Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утренние, но для литераторов

еще ночные, и приходилось ждать еще. Уже Твардовский и не ложился. Он звонил Кондратовичу и велел узнавать у Берзер (а прямо ей? не по иерархии) – кто же автор и где он. Так получена была цепочка на Копелева, и теперь Твардовский звонил туда. Особенно понравилось ему, что это – не мистификация какого-нибудь известного пера (впрочем он и уверен был), что автор – и не литератор, и не москвич.

Для Твардовского начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя. Надо знать Твардовского: в том он и истый редактор, не как другие, что до дрожи, до страсти золотодобытчика любит открывать новых авторов.

Он кинулся по друзьям, но вот странно: в пятьдесят один год, известный поэт, редактор лучшего журнала, важная фигура в союзе писателей, немелкий и среди коммунистов, – Твардовский мало имел друзей, почти их не имел: своего первого заместителя (недоброго духа) Дементьева; да собутыльника, мутного И.А. Саца; да М.А. Лифшица, ископаемого марксиста-догматика. (Говорят, много было в его жизни попыток найти друга, были периоды нежной дружбы с Виктором Некрасовым, с Казакевичем, еще с кем-то, но потом шла дружба по колдобинам, утыкалась, перепрокидывалась, не выходило доброго. Значит, и такое что-то в Твардовском было: обреченность на одинокое стоянье. И от крупности. И от характера. И оттого, что из мужичества он пришел. И от неестественной жизни советского вельможи: расположением Фадеева когда-то гордился, а на кого-то посматривал сверху вниз.)

Пока распивались эти бутылки и затребовалась для дивления моя исходная рукопись, где буквы были стеснены как согнанные овцы и не было полоски белой пройтись редакционному карандашу, – в редакции, как велось у них для важных случаев, составлялись письменные заключения о рукописи. Кондратович написал: «...Мы это, наверно, не сможем напечатать... Автору стоило бы прежде всего

посоветовать ввести мотив ожидания заключенными конца страданий... Нужно бы почистить язык». Дементьев: «Угол зрения: в лагере ужасно и за границами лагеря всё ужасно. Случай сложный: не печатать – бояться правды... печатать – невозможно, всё же показывает жизнь с одного боку». (Да не выведет отсюда читатель, что Дементьев действительно колебался – печатать или нет. Он хорошо знал, что печатать и невозможно, и вредно, и не будут, однако раз его шеф так втравился и увлекся, нельзя было слишком круто отваливать.)

Но всё это я потом, не в один год, узнал и сметил. А в тот первый приезд Кондратович, стараясь быть важным (впрочем его неосновательность и несамостоятельность видны мне были с летучего взгляда), значительно спросил меня как осчастливленного робкого автора:

– А что у вас есть еще?

Легкий вопрос! Естественный вопрос – им надо понять, насколько случайна или неслучайна моя удача. Но то и была моя главная тайна. Не для того я хитрил пять лет на лагерных обысках, три года изобретал *заначки* в ссылке и еще пять лет таился на воле, чтобы поддерживать теперь любезную беседу. Я отломил Кондратовичу:

– Я не хотел бы начинать нашего знакомства с этого вопроса.

Приехал Твардовский, и меня позвали в их большую редакционную комнату (новомирцы тогда располагались тесно, и кабинет Твардовского считался в углу той же комнаты). Лишь по плохим газетным фотографиям я его знал и при слабой моей схватчивости на лица мог бы не узнать. Он был крупный, кругом широкий, но подкатился и еще один, тоже крупный и тоже кругом широкий, да просто-таки симпатяга, еле сдерживающий свое добродушие. Этот второй оказался Дементьев. А Твардовский соответственно моменту держался с достойной церемонностью, однако и сквозь нее сразу поразило меня детское выражение его лица – откровенное детское, даже беззащитно-детское,

ничуть кажется не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью троном.

Вся головка редакции расселась за большим старинным долгоовальным столом, я – против Александра Трифоновича. Он очень старался сдерживаться и вести себя солидно, но это ему мало удавалось: он всё больше сиял. Сейчас был один из самых счастливых его моментов, именинником за столом был не я – он.

Он смотрел на меня с доброжелательством, уже почти переходящим в любовь. Он неторопливо перебирал те разные примеры из рассказа, мелкие и крупные, что приходили ему на ум, – перебирал с удовольствием, гордостью и радостью даже не открывателя, не покровителя, а творца; он с такой ласковостью и умилением цитировал, будто сам это всё выстрадал и это даже любимая его вещь. (Другие члены редакции все кивали и поддакивали похвалам Главного, только, пожалуй, Дементьев сидел умеренно-безучастный. Он и не выступил в этот день.)

А сдержанней всех и даже почти мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости, требовать уступок и выбросов, а я ни за что их делать не буду – ведь не знают они, что держат в руках уже *облегченную* вещь, уже обкатанную. Я понимал, что это только стелят мягко, а сейчас-то и приступят с ножницами – отрезать всё, чем колется лагерь, и все лохмотья, и все цветки. И своим мрачным видом я им заранее показывал, что нисколько я не вскружен и не очень-то дорожу новым знакомством.

Но чудо! – мне не выламывали рук. Но чудо! – не вытаскивали и не раззевали ножниц. Да не сошел ли я с ума? Неужели редакция серьезно верит, что это можно напечатать?

Всего-то замечаний было у Твардовского – обходительных просьб, самым бережным голосом высказанных! – два: что не может Иван Денисович зариться на левую чужую работу – раскраску ковров; и что не может он совсем уж не допускать, что ступит когда-нибудь на волю. Так это,

пожалуй, и верно было, это я легко тут же пообещал. А Закс произнес, что не может Иван Денисович всерьез верить, что Бог луну на звезды крошит. А Марьямов указал мне на два-три неверных украинских слова.

Так приятели задушевные, та̀к же и сотрудничать можно! Не такими я представлял себе наши редакции...

Предложили мне «для весу» назвать рассказ повестью – ну, ин пусть будет повесть.* Еще, не допуская возражений, сказал Твардовский, что с названием «Щ-854» повесть никогда не сможет быть напечатана. Не знал я их страсти к смягчающим, разводняющим переименованиям, и тоже не стал отстаивать. Переброской предположений через стол с участием Копелева сочинили совместно: «Один день Ивана Денисовича».

Предупредил меня Твардовский, что напечатания твердо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!), и срока не укажет, но не пожалеет усилий.

С любопытством задавали мне разные смежные вопросы. Сколько времени я писал эту повесть? (Осторожно, взрывается! Два месяца я ее писал. А что ж тогда остальные годы?) Да видите, трудно подсчитать, ведь всё урывками, после школы... В каком году начал, в каком кончил, сколько она у меня лежала? (Все даты огнем горели во мне! – но начни их называть, и сразу станет ясно, сколько еще пустого времени.) Я как-то не запоминал годов... А почему я так тесно печатаю – без просветов, с двух сторон? (Да вы понимаете, что такое кубические сантиметры, вислоухие?!..)

---

* Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. «Иван Денисович» – конечно, рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу – легкую в построении, четкую в сюжете и мысли. Повесть – это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяженность во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объемом, и не столько протяженностью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько – захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли.

Просто, знаете, в Рязани бумаги не купишь... (Что̀ тоже правда.)

Расспрашивали о моей жизни, прошлой и настоящей, и все смущенно смолкли, когда я бодро ответил, что зарабатываю преподаванием шестьдесят рублей в месяц, и мне этого хватает. (Я и не хотел полной ставки, чтобы время было, а при высокой зарплате жены мог семьи не содержать.) Такие цифры для литераторов вообще за чертой понимания, за несколько строк рецензии столько платят. Да и одет я был в уровень со своей зарплатой. Властно и радостно распорядился Твардовский тут же заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс – моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане, силясь держать внимание на том, чтобы не сказать о себе лишнего.

Упорнее всего Твардовский и редакция добивались: а что у меня есть еще? еще – что? еще? Пробегая мои похоронённые от 1948-го года пласты, я выбирал, что̀ ж им назвать. Едучи сюда, я не готовился ничего больше открывать, но что-то было надо, трудно было убедить их, что «Иван Денисович» написан как первая проба пера.

Говорила лиса мужику: ты мне дай только на воз лапку положить, а вся-то я и сама вспрыгну.

Так и со мной.

Пообещал я, что покопаюсь к следующему разу, что *кажется* еще у меня рассказик найдется, да несколько этюдиков, да несколько стихов. (Тут обрадованно изрек Кондратович, что и – хорошо, лагерная тема *исчерпана* «Иваном Денисовичем» и хорошо бы мне взяться за фронтовую. Двадцать лет, тысячи ртов, они дружно дудили в армейскую дуду – и тема не была исчерпана! А пятидесяти миллионам, погибшим в ссылках и лагерях, довольно было бугорка моего рассказа!..)

За тот декабрь еще раза два мне пришлось приезжать в Москву. Смягчили в повести десяток выражений, но правильно предупредила меня Берзер, с которой мы быстро и тепло сдружились, что никогда не поймешь, что̀ пройдет

и что̀ зацепится, и лучше подольше ничего не исправлять. Да у меня и настроения не было уступать. Мне легче было забрать повесть назад, чем ее изувечить.

В те приезды я и привез Твардовскому: несколько лагерных стихотворений, несколько «Кро̀хоток» побезобиднее и рассказ «Не стоит село без праведника», облегченный от самых непроходимых фраз. «Крохотки» он признал «записями в общую тетрадь про запас», их жанра совсем не почувствовал. О стихах сказал: «иные печатать можно, но **выстрела** не получится, а хочется выстрела». (Мятежный просил бури! – нет, он совсем не заплеснел!) О рассказе же состоялось 2 января 1962 г. редакционное обсуждение.

(С этого времени я догадался, что сгодятся когда-нибудь записи литературных встреч, и стал записывать всегда посвежу, а то и при самих обсуждениях. Так записано и всё о Твардовском – и теперь жалко не привести тех встреч достоверно и объемно, хотя это может отяготить построение «Очерков», лишить их краткости и легкости, каких бы я хотел.)

За тем же большим долгоовальным столом, где недавно так много их сидело, теперь Твардовский не собрал «кворума»: кто прочесть не успел, кого в редакции не было. Пришел Дементьев (на полной ставке в «институте мировой литературы», он в «Новом мире» появлялся ненадолго, здесь был не заработок его, а – важная миссия). Твардовский пригласил: «Саша, садись!» Но Дементьев отмахнулся как от пустого – «Да чего ж тут говорить!» Он это по виду сокрушенно сказал (всё равно, де, не напечатать), но я воспринял иной тон: рассерженность, что я несу им рассказы один наглее другого, и совлекаю Твардовского с проверенного мощеного пути. Я тогда же ощутил верный смысл этого их короткого перекора, а потом, узнав обоих лучше, утвердился: Дементьев прочел и еще дома (они в одном доме жили) убеждал Твардовского, что и думать нельзя печатать. А обольщенный Твардовский не поддался.

Они были на «ты», очень всегда запросто, оба – Саши.

Никто в редакции не смел Твардовскому возражать, один Дементьев поставил себя с независимым мнением и вволю спорил, и даже так уставилось, что Твардовский никакого решения не считал окончательным, не столковавшись с Дементьевым – не убедя или не уступя. А особенно дома Дементьев умел брать верх над Главным: Твардовский и кричал на него, и кулаком стучал, а чаще соглашался. Так незаметно один Саша за спиной другого поднаправлял журнал. Говорят, влиял Дементьев осторожно, очень взвешенно. Твардовский вряд ли бы потерпел, если б Дементьев всегда только удерживал его. Немало было случаев, что он и подталкивал – нечего, де, робеть (так было с рассказами В. Гроссмана, например). И почти неизменно он выставлял – «Саша, ты не прав! Это будем печатать!», когда Твардовский упирался по каким-то личным причинам, по личному нерасположению (не редко такое было). Дементьев спорил – но и знал меру, где отступить, признать себя побитым. Он никогда не бывал пусто-чванен, надут, и это облегчало существование ему самому и членам редакции. К нему не боязно было обратиться любому редактору, ничто тут не зависело, как у Твардовского, от дурного или милостивого настроения. Дементьев всегда был настроен делово, живо выхватывал суть, и какую статью или абзац можно было пособить протолкнуть, – набросив ширмочку, переставив слова – пособлял непременно. Он не безразличен был, как Закс, к тому, какой получится журнальный номер, он способствовал, чтоб журнал был и посвежей, и посочней и даже поострей – но всё в рамках **разумного**! но стянутое проверенным партийным обручем и накрытое проверенной партийной крышкой!

Он и с авторами разговаривал свободно, успешно: лишенный всякого самодовольства, он имел глаза рассмотреть автора и правильно с ним обратиться. Он очень приятно окал, улыбался приятно, и знал за собой, как он нравится собеседникам – толстоморденький симпатичный мужичок, с очень уже прореженными, чуть вьющимися волосами, под шестьдесят лет. Он и прищуриться умел и

вполголоса намекнуть – свойский парень, понятный каждому. Да вот он охотно принимает вашу рукопись! – «ну поработаем, конечно, **поработаем**!» (и исковеркаем). Он и перед Главным, перед которым вы робеете, умеет за вас замолвить: «Саша, ты прав, это дерьмо, но автору же нельзя вложить твою голову. Ну, поддержим его, подправим, напечатаем.»

Но там, где разрывался обруч, где выбивалась крышка – там Дементьев не понимал, о чем можно толковать? Там вступало сердце и зрение Твардовского. Так сорвалось у Дементьева с «Иваном Денисовичем»: впечатления бессонной ночи и двойного чтения были слишком сильны над Твардовским, чтобы рывку его поэтического и мужицкого чувства Дементьев отважился противостать.

Впрочем, это тоже все годами позже я узнал и понял. А тогда только чувствовал в Дементьеве врага. Я еще не понимал, что главное обсуждение «Матрены» уже состоялось между ними двумя, дома, втихую, что на этот раз второй Саша уже одолел первого. Одолел редактора, но не мог заглушить чувства в поэте. И Твардовский, обреченный отказать мне, мучился и для того и кликал второго Сашу за стол ничего не решающего обсуждения, чтоб тот помог разобраться в его собственном смятении и объяснить мне, почему рассказ о Матрене ни в коем, ни в коем случае не может быть напечатан. (Как будто я им это предлагал! Я принес рассказ, чтоб только откупиться от расспросов.) Но ушел Дементьев, не помог – и досталось Твардовскому «обсуждать» самому – при трех молчащих сотрудниках редакции и моих редких слабых ответах. Почти три часа длилось это **обсуждение** – монолог Твардовского.

Это была сбивчивая, растерянная и сердечная речь. (Сидевшая среди нас Берзер говорила мне потом, что за все годы в «Новом мире» не помнила, не слышала Твардовского таким.)

Он делал круг над рассказом и потом круг общих рассуждений, и опять над рассказом, и опять – общих рассуждений. Художник истинный, он не мог упрекнуть

меня, что здесь неправда. Но признать, что это и есть правда в полноте, – подрывало его партийные, общественные убеждения.

Да не первый же раз, да сколько раз уже, конечно, он переживал это разрушительное душевное столкновение, только может быть не сходилось таким острым клином! Он и жил-то единственным истоком: русской литературой – с тех первых некрасовских стихов, заученных босоногим мальчишкой, и со своего первого стихотворения, написанного в тринадцать лет. Он предан был русской литературе, ее святому подходу к жизни. И хотелось ему быть только – как те, Пушкин и кто за ним. Повторяя Есенина, он охотно бы умер от счастья, сподобленный пушкинской судьбе. Но не тот был век, и всеми и всюду была признана и в каждого внедрена, – а тем более в главного редактора, – другая, более важная истина – партийная. Направлять сегодня русскую литературу, помогать ей он не мог бы без партийного билета. А партийный билет он не мог носить неискренно. И, как воздух, нужно было ему, чтоб эти две правды не раздваивались, а сливались. (Потому вскоре он так полюбит и приблизит Лакшина, что тот сумеет ладить между этими двумя правдами, сумеет пластично переходить от одной к другой, не выявляя трещины.) Всякую рукопись полюбив сперва чувством первым, Твардовский непременно должен был провести ее через второе чувство и лишь тогда печатать – как произведение **советское**.

Мы все сидели неподвижно, а он вставал и использовал простор позади своего стула, похаживал два-три шага туда-сюда. Говорил так: «Уж до такой степени у вас деревня с **не**парадной стороны – ну, хоть бы один заходик с парадной... Все вокруг – дегенераты, вурдалаки, – а ведь из каких-то же деревень и генералы выходят, и директора заводов, и потом сюда в отпуск приезжают». Но тут же сам себя поворачивал: «Нет, я не говорю вам, чтоб вы сделали Киру комсомолкой». – То находил он «слишком христианским» отношение повествователя к жизни. То как

на приколе ходил вокруг мысли, что стало у нас **добро** – имуществом, и Толстой выступал ему напомин: «дети, старик **добро** вам говорил!» И хвалил мой рассказ за сходство с моральной прозой Толстого. И упрекал, что он «художественно пожиже», чем «Иван Денисович». (Ведь если художественно пожиже, так вот почему и можно не печатать...) Но тут же опять хвалил то за народные слова, то за сельские наблюдения.

Дошел до того, что хвалил «реализм без прилагательных», и признавался, что ему приходится *критический* нисколько не хуже социалистического.

И потом еще много было о материально-технической базе – о той, которая и в Америке, и в Швеции выше, и мы за 20 лет ее не достигнем, но уже сейчас «с отвращением от нее отталкиваемся». И тут же вспоминал, как Сталин, возражая Троцкому, обещал построить социализм «не за счет ограбления деревни». И вдруг остановился, как застигнутый снопом света, и, изумленными глазами обведя нас, спросил: «А за счет же чего он построен?» Но мы не протянули ему соломинки, мы молчали, и снова он брел по вязкому паркетному полу и рассуждал о разрыве между материально-технической базой и моралью. Однако, настаивал он, «религия име*ла* слабое сдерживающее влияние на дурные инстинкты». (Непонятно, что ж их тогда сдерживало?..)

Так он вел свой почти непрерывный монолог, то светясь благородством, то сгибаясь под догматическим потолком; то вздрагивая от чутья правды, опережающего и пальцы, и глаза поэта, то как бульдозер натужно выталкивая наперед себя баррикадой авгиевы завалы.

А мы не возражали и не соглашались – мы молчали. Возражал же ему – рассказ о нищей старухе Матрене, безмолвная рукопись, которую он обещал Дементьеву отвергнуть. И не получив ни единого возражения вслух, но как будто битый по всем аргументам, Александр Трифонович с раскаянным стоном выложил свой последний и главный:

– Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!

Никто из нас этого не говорил! никто не писал! Но вот конфуз – и сейчас никто из нас не подтвердил, не улыбнулся, ни даже кивнул. Мы неприлично молчали.

Как? – мы и этого простейшего не понимали? В недоумении, как всё еще переослепленный светом фар, Александр Трифонович стал против нас быковато и воскликнул в тоске:

– Так ведь если б не революция – не открыт бы был Исаковский!.. А кем бы был я, если б не революция?..

Только эти факультативные поэтические события и подвернулись ему на язык в ту минуту! (А Есенин, а Клюев – стали без революции?)

И завершилось «обсуждение» тем, что – нет, конечно нет, безусловно нет, «эта вещь не может быть напечатана».

Но хотя естественно было после того вернуть рукопись автору, Твардовский с виноватой заминкой сказал:

– А всё-таки, оставьте её пока в редакции. Почитает кое-кто...

Всё равно ее обнаружив, ничего я теперь не терял, если и оставить.

И еще А.Т. попросил меня (после сказанного многого это совсем изумительно звучало):

– Только пожалуйста, не станьте **идейно-выдержанным**! Не напишите такой вещи, которую бы редакторы и без моего ведома, сами, решились бы запустить.

То есть, ничего из принесенного мною он не мог напечатать – и просил впредь писать не иначе!!

Как раз это я легко ему мог обещать...

Тем более желая смягчить отказ, А.Т. стал говорить о мерах по печатанию «Ивана Денисовича» – пока еще фантастических. И упнулся. Он действительно сам не знал: что предпринимать? с какой стороны? когда? Сказал мне примирительно:

– Ну, вы нас не торопите. Не спрашивайте, в каком номере будет.

Да я и не собирался. Обошлось без Лубянки – и спасибо. Проиграл я только то, что вообще рассекретился и теперь должен был с тройной осторожностью прятать свои готовые вещи и текущую работу. Я ответил:

– Это в молодости важно – скорей увидеть себя в печати. А теперь уж у меня другое дыхание.

Так мы и расстались довольно надолго. Я не торопил Твардовского и в тот год не находил ничего неправильного в его медлительности. Да и с чем было эту медлительность сравнивать, какой единицей измерять? Разве в нашей литературе до того был подобный случай?

В пустой след упрекать легко. Когда куриное яйцо поставлено с малой смятинкой тыльца, то все видят, что оно может стоять. А до того оно у всех валилось. Кто из вельмож советской литературы до Твардовского или кроме Твардовского захотел бы и одерзел бы такую разрушительную повестушку предложить наверх? В начале 1962 года совсем нельзя было догадаться: какими путями придумает он действовать? насколько всё это ему удастся?

Но миновали годы, мы знаем, что Твардовский напечатал повесть с задержкой в 11 месяцев, и теперь легко его обвинить, что он не торопился, что он недопустимо тянул. Когда моя повесть только-только пришла в редакцию, Никита еще рвал и метал против Сталина, он искал, каким еще камнем бросить – и так бы пришлась ему к руке повесть пострадавшего! Да если б сразу тогда, в инерции XXII съезда, напечатать мою повесть, то еще бы легче далось противосталинское улюлюканье вокруг нее и, думаю, Никита в запальчивости охотно бы закатал в «Правду» и мои главы «Одна ночь Сталина» из «Круга первого». Такая правдинская публикация с тиражиком в 5 миллионов мне очень ясно, почти зрительно рисовалась, я ее видел как въявь.

И теперь не знаю: как же правильно оценить? Не сам же бы я понес и донес повесть к Никите. Без содействия Твардовского никакой бы и XXII съезд не помог. Но вместе с тем как не сказать теперь, что упустил Твардовский золотую пору, упустил приливную волну, которая переки-

нула бы наш бочонок куда-куда дальше за гряду сталинистских скал и только там бы раскрыла содержимое. Напечатай мы тогда, в 2-3 месяца после съезда, еще и главы о Сталине – насколько бы непоправимей мы его обнажили, насколько бы затруднили позднейшую подрумянку. Литература могла ускорить историю. Но не ускорила.

Виктор Некрасов, нервничая, говорил мне в июле 1962 года:

– Я не понимаю, зачем такие сложные обходные пути? Он собирает какие-то отзывы, потом будет составлять письмо. Ведь ему же доступна трубка **того** телефона. Ну, сними трубку и позвони прямо Никите! Боится...

Характер Твардовского, действительно, таков, что ему тошнотно напарываться на отказ в просьбах. Говорили, что он переносит с мучением, когда просят его походатайствовать о ком-нибудь, о чьей-нибудь квартире: а вдруг ему, депутату Верховного Совета и кандидату ЦК, откажут? – унизительно...

Можно допустить, что он и пòвести боялся повредить слишком прямым и неподготовленным обращением к Хрущеву. Но думаю, что больше здесь была привычная неторопливость того номенклатурного круга, в котором так долго он обращался: они лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользающую историю – потому ли, что никуда она не уйдет? потому ли, что не ими, собственно, куётся? А еще была у Твардовского на несколько месяцев и некая насыщенность своим открытием, повесть довлела ему и ненапечатанная. Он, не торопясь, давал читать ее Чуковскому, Маршаку – и не только, чтоб их именами подкрепить будущее движение рукописи, но чтоб отзывами этими и самому понаслаждаться, почитать их вслух и членам редакции и повезти хорошим знакомым (только мне не показал, боясь меня испортить). И Федину давал рукопись (тот никак не отнесся), и не мешал дать прочесть Паустовскому и Эренбургу (не долюбливая, сам им не предложил). Он долго подгонял к повести предисловие (а собственно, его могло и не быть: зачем еще оправдываться?). Так вел

он многомесячную неторопливую подготовку, еще не определив, как же продвигаться **выше**. Просто отдать в набор и послать в цензуру казалось ему губительно (да губительно и было): цензура не только запретит, но немедленно донесет в «отдел культуры» ЦК, и тот успеет с враждебными предупредительными шагами.

А месяцы шли – и остывал, и совсем уже миновал пыл XXII съезда. Непостоянный во всех своих начинаниях, а тем более продолжениях, неустойчивый в настроении, Никита должен был еще и поддерживать Насера, и снабжать ракетами Кастро, и изобретать окончательный (уже самый наилучший) способ спасения и полного расцвета сельского хозяйства, да где-то же и космос подогнать, и лагеря укрепить, ослабшие после падения Берии.

И еще одна, неожиданная для Твардовского, опасность была в этом методе прочтений, рекомендаций и планомерной подготовки: в наш машинописный и фотографический век быстро растекались копии рукописи (кому достаточно было для этого суток, а кому и двадцати минут). В сейфе «Нового мира» исходные экземпляры хранились под строгим учетом, – а между тем уже десятки, если не сотни, перепечатков и отпечатков расползлись по Москве, по Ленинграду, проникли в Киев, Одессу, Свердловск, Нижний Новгород. Распространение подогревалось всеобщей уверенностью, что эту вещь никогда не напечатают. Твардовский сердился, искал «измену» в редакции, не понимая техники и темпов нашего века, не понимая, что сам же он, с этим сбором устных восторгов и письменных рецензий, был главный распространитель. Он всё мялся, не решался, месяцы шли – и вот наросла уже явная опасность, что повесть утечет на Запад, а там люди попроворнее, – и, напечатанная там, она никогда уже не будет напечатана у нас. (Логика, вполне понятная советскому человеку и совершенно непонятная западному. Ведь для нас мир – не мир, а постоянно воюющие «лагеря», мы так приучены.) Пожалуй, эта опасность и заставила Твардовского поспешить. В июле он передал рукопись, окруженную букетом

рекомендаций, эксперту Хрущева по культуре Владимиру Семеновичу Лебедеву.

Между тем меня Твардовский ни разу не звал, и я лишь по рассказам Берзер вызнавал, что̀ там в редакции делается. Да начинал иногда знакомиться с людьми, уже читавшими мою повесть. После подпольного затишья два десятка таких читателей создавали для меня ощущение толпы и бурной известности.

Я спешил подготовиться к новому опасному периоду жизни. Одно дело прятать рукописи, когда я песчинка среди других таких же; другое – когда я открылся, и Лубянка может проявить более настойчивую любознательность, чем «Новый мир», и прислать своих неторопливых лоботрясов – поискать, что̀ ж у меня написано еще. Стал я пересматривать свои похоронки – и показались они мне слишком простыми, вполне отгадными для этих взломщиков. И я сам теперь некоторые взламывал и уничтожал, так чтоб не было и следа; дожигал все лишние варианты и черновики. Остального решил дома не держать, и под новый 1962 год мы с женой повезли мой хранимый архив к ее приятелю Теушу в Москву (через три с половиной года он-то и будет захвачен опричниками). Этот переезд я особенно запомнил потому, что в праздничной электричке какой-то ворвавшийся пьяный хулиган стал глумиться над пассажирами. И так получилось, что никто из мужчин не противодействовал ему: кто был стар, кто слишком осторожен. Естественно было вскочить мне – недалеко я сидел, и ряжка у меня была изрядная. Но стоял у наших ног заветный чемоданчик со всеми рукописями, и я не смел: после драки неизбежно было потянуться в милицию, хотя бы свидетелем, с чемоданчиком ли, без – обое рябое. Вполне была бы русская история, чтоб вот на таком хулигане оборвались бы мои хитрые нити. Итак, чтобы выполнить русский долг, надо было не русскую выдержку иметь. И я позорно, трусливо сидел, потупя глаза от женских упреков, что мы – не мужчины.

Может быть не в такой постыдной форме, но так же

отяготительно сколько раз моя изнуряющая литературная конспирация лишала меня свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины. Всех нас гнуло, но меня еще этот подвальный огрузняющий этаж как пригибал, сколько души отбирал от литературы. Все кости ноют, все кости просят – разогнуться!! – и хоть умереть.

Отвез я архив, но из январской встречи в «Новом мире» понял, что в печать, собственно, ничто не идет. В новом уязвимом положении надо было и дальше, совмещая со школой, писать в урывки дней. Была у меня потребность еще в одной, последней, перепечатке «Круга», и с января 62 г. я рискнул. Четыре месяца, до конца апреля, ничем другим я не был занят, а в судьбе «Ивана Денисовича» только тем озабочен, чтоб лучше эти месяцы ничего не страгивалось, не менялось, пусть и не продвигается – лишь бы спокойно мне кончить роман.

И молиться было не надобно: ничего с «Иваном Денисовичем» и не стронулось. На майские праздники развез я благополучно экземпляры отпечатанного романа, и еще занимался разными доработками, и уж лето подошло, и надо было славно провести его в движении. Всё дело с «Новым миром» настолько казалось заглохшим (и к лучшему! – думал я, вернусь постепенно в безопасное состояние), что придумали мы с женой ехать на Енисей и на Байкал (был я в Сибири, но только в «столыпине» и только до Новосибирска). Так и вышло по пословице «бедному жениться...». Именно в Иркутске, не ближе никак, ожидала меня копия срочной телеграммы Твардовского, приглашающего «на короткое время» заехать в редакцию.

Еще до того «короткого времени» езды от Иркутска было четверо суток, и оставался Байкал неосмотренным.

Опять устроили всередакционное заседание. Неопределенно было мне объявлено, что в одной важной инстанции (это значило – В.С. Лебедевым) повесть моя одобрена. Но высказаны некоторые пожелания к ее *улучшению*. Твардовский считал, что этих пожеланий совсем немного,

и он бы очень просил меня выполнить их, не упустить появившейся возможности.

Он очень себя сдерживал, чтоб не ликовать слишком открыто. Детскость его проявлялась непогасимой радостью в глазах. Очень он был доволен своим удающимся многомесячным планом и только из редакционной церемонийности делал вид, что добавляет какие-то свои замечания, а иных от меня не хотел, лишь бы я принял лебедевские. Но так прямо он не говорил, а серьезно вел заседание и предлагал всем членам высказываться о необходимых исправлениях.

Говорили что-то, но никто ничего существенного, потому что не имели другой цели, как угодить Главному редактору, и не хотели даже иметь собственного мнения, от него отличного. Когда-нибудь с удивлением изучит и узнает история литературы, что эта свободолюбивая, самая либеральная журнальная редакция в СССР в эти годы поношения культа личности Сталина, содержалась внутри себя по культовому принципу. (И это не Твардовский так сложил, это само так сложилось в журнале, естественно, по подобию всякой части своему целому, это сложилось как во всяком учреждении, во всяком звене советской системы, – только именно здесь это выглядело вопиюще, а у Твардовского не хватило простоты и юмора заметить это и растеплить.)

Но Дементьев-то сидел здесь, и он-то видел, что лопается обруч, что выбивается крышка. Александр Григорьевич Дементьев, кто в злом 1949 году не замялся на должности палача-парторга ленинградской писательской организации, а в хрущевские времена стал комиссаром самого либерального журнала, – кем-то же и зачем-то же был послан сюда? – долею освежиться, долею очиститься – но и *не пущать* же! Перед теми, кем послан был он сюда на полставки, но с ответственностью двойной, не мог он теперь признать авторитет даже хрущевского референта и поддаться благодушию всей редакции. Деловой человек, он не спорил тогда, в декабре 61-го, когда все меня хвалили и ласкали: он-то знал, что повесть эта всё равно не будет напечатана.

Но сейчас, когда искаженным, незаконным ходом событий прорисовалось повести вырваться в свет – сейчас он должен был сделать всё, чтоб ее исправить.

И куда же делось то лукаво-дружеское, то душевно-дружеское его выражение в приятном отклоне седеющей головы? И как ожестело его покоряюще-милое оканье! Как нарумянило его, как распалило, и до самых ушей! Одно только: он не вещал громом с Олимпа, а спорил, волнуясь, – волнуясь не выиграть, не убедить. Раскаты были только в самих формулировках – в коммунизме, в патриотизме, в материализме, в соцреализме. Воля бы Дементьева, он всю повесть мою сострогал бы под гладь, не осталось бы ни задоринки. Но уж тут надо было бить по ядру. И обвинил он меня, что я позорю знамя и символ советского искусства – «Броненосец Потемкин», и весь разговор о нем надо снять. А еще надо снять разговор Шухова с Алешкой о Боге – потому что он художественно совсем невыразительный, а идеологически неправильный, и длинный слишком, и только портит хорошую повесть. А еще не должен автор уклоняться от политически-точной оценки бендеровцев, даже в их лагерном существовании, ибо они запачканы кровью наших советских людей. А еще... Да оказывается, он на рукописи сделал много пометок и может мне их конкретно показать, только рукопись мою забыл дома.

Распаленным яростным кабаном выглядел Дементьев к концу своего монолога, и положить бы сейчас перед ним полтораста страниц моей повести – он бы, кажется, клыками их разметал.

А Твардовский молчал. Еще бы не верно! очень верно рассуждал политический комиссар, он хотел из моей аморфной повести выковать оружие соцреализма – и что же мог возражать ему главный редактор? Он не мог ему возражать, но он почему-то молчал. Он не поддержал его ни кивком, ни бровью. И ожидательно на меня смотрел. Если б я уступил, значит так бы и было.

Однако – перебрал Дементьев! При своем несомненном и быстром уме совсем он не знал породы зэков, племенного

нашего закала. Выражайся он осторожно, требуй он маленьких, но гадких уступочек, достаточно портящих вещь, – я бы это всё записал, а потом вперемежку с требованиями хрущевского эксперта обдумал и наверно что-нибудь бы испортил. Но перед напирающими обозленными глазами я ответил без колебания, без труда, совсем не задумываясь, насколько это выгодно. Перед моими зэками, перед моими братьями, перед экибастузской голодовкой, перед кенгирским мятежом мне стыдно и отвратно стало, что я еще обсуждаю тут с ними что-то, что я серьезно мог думать, будто литераторы с красными книжечками даже после XXII съезда способны напечатать слово правды.

– Десять лет я ждал, – ответил я освобожденно, – и могу еще десять лет подождать. Я не тороплюсь. Моя жизнь от литературы не зависит. Верните мне рукопись, я уеду.

Тут вмешался переполошенный Твардовский:

– Да вы ничего **не должны**! Всё – на ваше доброе усмотрение, что сказано было сегодня. Но просто всем нам очень хочется, чтобы рукопись прошла.

И – не спорил больше Дементьев! Он стих. Он смяк. Он дошел до того упора, где обрывалось его влияние на Главного. Дальше он не мог рисковать.

И тут же потребовалось мне ехать... именно к нему домой – забирать основной экземпляр. Как он переменился, как он стал дружественен! Да разве это он полчаса назад так разгоряченно шел на меня, стуча копытами? Вдруг он предложил мне... свою квартиру для работы. Вдруг, совсем позабыв ту терминологию раскатистых -измов, он какими-то смутными намеками стал искать у меня понимание. Э-э, не из куска чугуна был этот комиссар. Он кажется был за перегородками многими, и за каждой следующей всё грустней. (Кстати, слышал я потом, что он происходил из богатой купеческой семьи; по возрасту должен был тот быт еще захватить. Из опасений ли анкетных он так выпирал в ортодоксальность? Бывает. Ведь и Софронов кажется...)

И остался я перед своей повестью опять. Я-то знал,

чего не знала редакция: что это совсем не истинный вариант, что здесь уже было и трогано, и стрижено, совсем это не целокупная недотрога, моя повесть. Где начато, можно и продолжать. Заряду хватит здесь и после отбавки. Но дурным казалось мне такое начало литературного пути: уступать, как и все они. Отчетливо помню, что для себя мне было в этот момент ничего бы лучше не исправлять, а – черт с ними, пусть не печатают. Однако, глупо было не попробовать вовсе. Ослабленное на полпроцента, на три четверти процента (так по значению и объему весило то, что̀ решил я Лебедеву и «Новому миру» уступить) – как это всё-таки будет разить в напечатанном виде! Нет, попробовать стоило.

Если вникнуть, то требования Лебедева даже поражали своей незначительностью. Они ничего не трогали в повести главного. Самые отчаянные места, которые, сердце сжав, я пожалуй бы и уступил, были им обойдены, как будто не замечены. Да что ж это за таинственный либерал там, наверху, в первой близости к первому секретарю ЦК? Как он пробрался туда? Как держится? Какая у него программа? Ведь надо ему помочь!

Главное, чего требовал Лебедев – убрать все те места, в которых кавторанг представлялся фигурой комической (по мерке Ивана Денисовича), как и был он задуман, и подчеркнуть партийность кавторанга (надо же иметь «положительного героя»!). Это казалось мне наименьшей из жертв. Убрал я комическое, осталось как будто «героическое», но «недостаточно раскрытое», как находили потом критики. Немного вздут оказывался теперь протест кавторанга на разводе (замысел был – что протест смешон), однако картины лагеря это, пожалуй, не нарушало. Потом надо было реже употреблять слово «попки», снизил я с семи до трех; пореже – «гад» и «гады» о начальстве (было у меня густовато); и чтоб хоть не автор, но кавторанг осудил бы бендеровцев (придал я такую фразу кавторангу, однако в отдельном издании потом выкинул: кавторангу она была естественна, но их – то слишком густо поносили и без того). Еще – присочинить зэкам какую-нибудь надежду на свободу

(но этого я сделать не мог.) И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, – хоть один раз назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно – он ни разу никем не был в повести упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло.) Я сделал эту уступку: упомянул «батьку усатого» один раз...

Внес я исправления, уехал из Москвы, и снова начался для меня период полной затиши и темноты. Снова всё пришло в неподвижное прежнее состояние, как будто движение повести никогда не начиналось, как будто это всё сон. Лишь в конце сентября и то под большим секретом, от Берзер, узнал я, как развивались дела. На даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущеву вслух (сам Никита вообще читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и крякал, а со средины потребовал позвать Микояна, слушать вместе. Всё было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, «как Иван Денисович раствор бережет» (это Хрущев потом и на кремлевской встрече говорил). Микоян Хрущеву не возразил, судьба повести в этом домашнем чтении и была решена. Однако, Хрущев хотел всё обставить демократично.

Недели через две, когда уже вернулся он из отпуска в Москву, получил «Новый мир» среди дня распоряжение из ЦК: к утру представить не много не мало – 23 экземпляра повести. А в редакции их было три. Напечатать на машинке? Невозможно успеть! Стало быть, надо пустить в набор. Заняли несколько наборных машин типографии «Известий», раздали наборщикам куски повести, и те набирали в полном недоумении. Так же по кускам и корректоры «Нового мира» проверяли ночью, в отчаянии от необычных слов, необычной расстановки и дивуясь содержанию. А потом переплетчик в предутреннюю вахту переплел все 25 в синий картон «Нового мира», и утром, как если б труда это не составило никому никакого, 23 экземпляра было представлено в ЦК, а типографские наборы упрятаны в спецхранение, под замок. Хрущев велел раздать экземпляры ведущим парт-

вождям, а сам поехал налаживать сельское хозяйство Средней Азии.

Он вернулся недели через две под роковыми для себя звездами середины октября. На очередном заседании политбюро (тогда – «президиума») стал Никита требовать от членов согласия на опубликование. Достоверно мне не известно, но кажется-таки члены политбюро согласия не проявляли. Многие отмалчивались («Чего молчите?» – требовал Никита), кто-то осмелился спросить: «А на чью мельницу это будет воду лить?» Но был в то время Никита «я всех вас давйшь!» по сказке, да не обошлось, наверно, и без похвал, как Иван Денисович честно кирпичи кладет. И постановлено было – печатать «Ивана Денисовича». Во всяком случае решительного голоса против не раздалось.

Так стряслось чудо советской цензуры или, как точней его назвали через три года – «последствие волюнтаризма в области литературы».

20 октября, в субботу, Хрущев принял Твардовского – объявить ему решение. Это была не знаю первая ли, но последняя их неторопливая беседа голова к голове. В сердце Твардовского, как наверно во всяком русском да и человеческом сердце, очень сильна жажда верить. Так когда-то вопреки явной гибели крестьянства и страданиям собственной семьи он отдался вере в Сталина, потом искренне оплакивал его смерть. Так же искренне он потом отшатнулся от разоблаченного Сталина и искал верить в новую очищенную правду и в нового человека, испускающего свет этой правды. Именно таким он увидел в эту двух-трехчасовую встречу Хрущева; через месяц, в пору нашей самой восприимчивой близости, А.Т. говорил мне: «Что̀ это за душевный и умный человек! Какое счастье, что нас возглавляет такой человек!»

В то свидание с Твардовским Хрущев был мягок, задумчив, даже философичен. Можно этому поверить. Уже кинжальным клином сошлись против него враждебные звезды. Уже наверно имел он телеграмму от Громыко, что накануне в Белом доме тот спрошен был: «Скажите честно,

господин Громыко, держите вы ракеты на Кубе?» И как всегда честно и уверенно ответил Громыко: «Нет». Не знал, конечно, Хрущев, мирно разговаривая с Твардовским о художественной литературе, что уже готовятся в Вашингтоне щиты с увеличенными фотоснимками советских ракет на Кубе, что в понедельник они будут предъявлены делегатам американских государств и Кеннеди получит согласие на свой беспримерно-смелый шаг: досматривать советские суда. Всего только одно воскресенье отделяло Хрущева от его недели позора, страха и сдачи. И как раз в эту последнюю субботу довелось ему дать визу на «Ивана Денисовича».

«Я даже его перебивал! – вспоминал мне Твардовский, сам удивляясь. – Я сказал ему: «от поцелуев дети не рождаются, отмените цензуру на художественную литературу! Ведь если ходят произведения в списках – хуже же нет!» И Никита примирительно выслушивал, он будто сам был близок к тем мыслям, как показалось Твардовскому. (Из сопоставления его пересказов в редакции можно допустить, что А.Т. невольно приписал молчащему Хрущеву свои собственные высказывания.)

Хрущев рассказал Твардовскому, что собрано уже три тома материалов о преступлениях Сталина, но пока не публикуются.* «История рассудит, что мы предприняли». (Никита всегда возвышался и смягчался, когда говорил о всеобщей смертности, об ограниченности человеческих сроков. Это звучало у него и в публичных речах. Это была у него неосознанная христианская черта. Никто из коммунистических вождей ни до ни после него, ни западнее ни восточнее его, никогда так не говорил. Никита был царь, совершенно не понимавший своей сущности, ни своего исторического назначения, подрывавший всегда те слои, которые хотели и могли его поддержать, никогда не искавший и не имевший ни одного умного советника.

* Ничего не доводил Хрущев до конца, не довел и низвержения Сталина. А немного б ему еще, и ничьи б уже зубы не разомкнулись провякать о «великих заслугах» убийцы.

Проворный хваткий зять его был тоже неумен, только авантюрист, еще ускоривший падение тестя.) В убийстве Кирова Сталиным Хрущев был уверен, но и понимал, что сам по себе Киров был личностью незначительной.

Кажется, всё было решено с повестью, и скомандовал Твардовский запускать ее в 11-й номер. Но тут началась ракетная драма с Америкой. Могло и так, что от карибской бури завихрение по коридору ЦК смело бы мою повестушку.

Однако, утихло! Перед ноябрьскими, как раз через год с тех пор, как я выпустил повесть из рук, я был вызван на первую корректуру. Пока я сидел над машинописными текстами – всё это был миф, не ощущалось нисколько. Но когда передо мной легли необрезанные журнальные страницы, я представил, как всплывает на свет к миллионам несведущих крокодилье чудище нашей лагерной жизни – и в роскоши гостиничного номера я первый раз плакал сам над повестью.*

Тут передали мне просьбу Лебедева: еще выпустить из рукописи слова Тюрина: «Перекрестился и говорю Богу: «всё ж-таки есть ты, Создатель, на небе – долго терпишь, да больно бьешь».» Досмотрелись... Досмотрелись, но поздно, до этого главного места в повести, где я им опрокинул и вывернул всю легенду о гибели руководящих в 37-м году! Склоняли меня в редакции: ведь Лебедев так был сочувственен! ведь это он пробил и устроил! надо ему теперь уступить. И правильно, и я бы уступил, если б это – за

---

* «Новый мир» изящно пошутил над цензурой: безо всякого объяснения послал им на визу первую верстку «Ивана Денисовича». А цензура в глуши своих застенков ничего и не знала о решении ЦК, ведь оно прошло келейно, как всё у нас. Получив повесть, цензура обалдела от этой «идеологической диверсии» и грозно позвонила в журнал: «Кто прислал эту рукопись?» – «Да мы тут» – невинно ответила зав. редакцией Н.П. Бианки. – «Но кто персонально одобрил?» – «Да всем нам понравилось» – щебетала Бианки. Угрозили что-то, положили трубку. Через полчаса позвонили весело: «Пришлите еще пару экземпляров» (им тоже почитать хотелось). Хрущев – Хрущевым, а виза цензуры всё равно должна была на каждом листе стоять.

свой счет или за счет литературный. Но тут предлагали уступить за счет Бога и за счет мужика, а этого я обещался никогда не делать. И всё еще неизвестному мне мифическому благодетелю – отказал.

И такова была инерция уже сдвинутого и покатившегося камня, что сам советник Хрущева ничего не мог исправить и остановить!

Это попробовал сделать Аджубей: не остановить качение, но хоть перенаправить. Может быть – под давлением ортодоксов-благомыслов, которые хотели всё же по-своему в первый раз представить историю лагерей (себя – как главных страдальцев и главных героев); но скорее – мельче того: просто перехватить инициативу («вставить фитиля»), обскакать Твардовского уже после трудного пути и выхватить приз первым. На редакционном сборе «Известий» гневался Аджубей, что не его газета «открывает» важную тему. Кто-то вспомнил, что был такой рассказик из Читы, но «непроходимый», и его отвергли. Кинулись по корзинам – уничтожен рассказ. Запросили Г. Шелеста, и тот из Читы срочно по телефону передал свой «Самородок». В праздничном номере «Известий» его и напечатали – напечатали с бесстыжей «простотой», без всякого даже восклицательного знака, ну будто рассказы из лагерной жизни сорок лет уже печатаются в наших газетах и настряли всем. Твардовский очень тогда расстроился и обиделся на Аджубея. А я думаю – ничего им «Самородок» не дал: неотвратимо катился наш камень и именно в таком виде суждено было русским читателям впервые увидеть контуры лагеря.

Уже осознав победу, Твардовский, как предусмотрительный наторелый редактор, заглядывал дальше, и в те же ноябрьские праздники прислал мне большое письмо:

«...Хотел бы вам сказать по праву возраста и литературного опыта. Уже сейчас столько людей домогалось у нас в редакции вашего адреса, столько интереса к вам, подогретого порой и внелитературными импульсами. А что будет, когда вещь появится в печати?.. Будет всё то, что

называется славой... Речь я веду к тому, чтобы подчеркнуть мою надежду на ваше спокойствие, выдержку, на высокое чувство собственного достоинства... Вы прошли многие испытания, и трудно мне представить в вас нестойкость перед этим испытанием... наоборот, порой казалось, что не чрезмерна ли уже ваша несуетность, почти безразличие... Мне, вместе с моими товарищами по редакции..., пережившему настоящий праздник победы, торжества в день, когда я узнал, что «всё хорошо», – мне показалась чуть-чуть огорчительной та сдержанность, с которой вы отозвались на мою телеграмму-поздравление, то словечко «приятно», которое в данном случае было, простите, просто обидным для меня... Но теперь я взываю как раз к вашей сдержанности и несуетности – да укрепятся они и останутся неизменными спутниками вашего дальнейшего труда... К вам будут лезть с настырными просьбами «дать что-нибудь», отрывок, кусочек, будут предлагать договоры, деньги... Умоляю – держитесь... не давайтесь в руки, ссылайтесь (мы имеем некоторое право надеяться на это) на обязательство перед «Новым миром», который де забирает у вас всё, что выйдет из-под вашего пера».

У них был «праздник победы»! А я объяснил ему свою обстановку:

«Знаете ли вы, с какими мыслями я вскрыл ваш конверт? Жена принесла и говорит встревоженно: «Толстое письмо из «Нового мира». Почему такое толстое?» Я пощупал и сказал: «Совершенно ясно. Кто-то хочет от меня еще уступок, а я их больше делать не могу. На этом печатание пока закончено... Моя жизнь в Рязани во всём настолько по-старому (в лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе), что московские разговоры и телеграммы кажутся чистым сном... Для меня из вашей телеграммы только то и стало ясно, что пока запрета нет. Поэтому, дорогой А.Т., не оставляйте в сердце обиды на моё словечко «приятно», я был бы неискренен, если бы выразился сильней,

никакой буйной радости я тогда не испытал. Вообще вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью. Я усвоил еще в лагере русскую пословицу: «Счастью не верь, беды не пугайся», приладился жить по ней и надеюсь никогда с неё не сойти... Главную радость «признания» я пережил в декабре прошлого года, когда вы оценили «Денисовича» бессонной ночью».

Но призыв его «держаться» и «в руки не даваться» еще бы не нашёл у меня отзыва!

Слава «меня не сгложет... Но я предвижу кратковременность ее течения – и мне хочется наиболее разумно (для моих уже готовых вещей*) использовать ее».

Мы уже стали так теплы, хотя с глазу на глаз, без редакции, еще и не встретились ни разу. Вскоре я был у него дома – и как раз курьер из редакции (потом – уличенный стукач) принес нам сигнальный экземпляр 11-го номера. Мы обнялись. А.Т. радовался как мальчик, медвежьим телом своим порхая по комнате: «Птичка вылетела! Птичка вылетела!.. Теперь уж вряд ли задержат! Теперь уж – почти невозможно!» (Почти... И он тоже до последнего момента не был уверен. Да разве не случалось – уничтожали весь отпечатанный тираж? Труд ли, деньги ли нам дороги? Нам дорога идеология.) Я поздравлял: «Победа – больше ваша, чем моя».

«Шпарьте прямо ко мне!» – в таком необычном тоне заговорил он со мной по телефону в мой следующий приезд. Сразу после выхода тиража 11-го номера был пленум ЦК, кажется – о промышленности. Несколько тысяч журнальных книжек, предназначенных для московской розницы, перебросили в ларьки, обслуживающие пленум. С трибуны пленума Хрущёв заявил, что это – важная и нужная книга (моей фамилии он не выговаривал и называл автора тоже Иваном Денисовичем.) Он даже жаловался пленуму на

* А и «Новый мир»-то еще не знал их...

своё политбюро: «Я их спрашиваю – будем печатать? А они молчат!..» И члены пленума «понесли с базара» книжного – две книжечки: красную (материалы пленума) и синюю (11-й номер «Нового мира»). Так, смеялся Твардовский, и несли каждый под мышкой – красную и синюю. А секретарь новосибирского обкома до заключительной речи Хрущёва сказал Твардовскому: «Ну, было и похуже... У меня в области и сейчас такие *хозяйства* есть, знаю. Но зачем об этом писать?» А после Никитиной речи искал Твардовского, чтобы пожать ему руку и замять свои неправильные слова.

Такова была сила общего захвала, общего взлета, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем «Матрену»! Матрену, от которой журнал в начале года отказался, которая «никогда не может быть напечатана», – теперь легкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своем отказе тогда!

«Самый опасный – второй шаг! – предупреждал меня Твардовский. – Первую вещь, как говорят, и дурак напишет. А вот – вторую?..»

И с тревогой на меня посматривал. Под «второй» он имел в виду не «Матрену», а – что̀ я следующее напишу. Я же, переглядывая, что у меня написано, не мог найти, какую вытянуть наружу: все кусались.

К счастью, в этот именно месяц написалась у меня легко «Кречетовка» – прямо для журнала, первый раз в жизни. А.Т. очень волновался, беря ее, и еще больше волновался, читая – боялся промаха, боялся как за себя. С появлением Тверитинова его опасения еще усилились: решил он, что это будет патриотический детектив, что к концу поймают подлинного шпиона.

Убедясь, что не так, тут же послал мне радостную телеграмму. Над «Кречетовкой» и «Матреной», которые по его замыслу должны были утвердить мое имя, он первый и последний раз не высказывал политичных соображений «пройдет – не пройдет», а провел со мной в сигаретном

дыму честную редакторскую работу.* Его уроки (моей самоуверенности) оказались тонкими, особенно по деревенскому материалу: нельзя говорить «деревенские плотники», потому что в деревне – каждый плотник; не может быть «тёсовой драни»; если поросёнок жирный, то он не жадный; проходка в лес по ягоды, по грибы – не труд, а забава (впрочем, тут он уступил, что в современной деревне это уже – труд, ибо больше кормит, чем работа на колхозном поле); еще – что у станции не может расти осинка, потому что там всё саженое, а ее никто никогда не посадит; что «парнишка» старше «мальчишки». Еще он очень настаивал, что деепричастия не свойственны народной речи, и поэтому нельзя такую фразу: «заболтав, замесив да испеку». Но тут я не согласился: ведь наши пословицы иные так звучат.

Эти частые наши встречи осенью 1962 года были как будто и непринужденны и очень теплы. В те месяцы не чаял А.Т. во мне души и успехами моими гордился как своими. Особенно ему нравилось, что я веду себя так, как он бы и замыслил для открытого им автора: выгоняю корреспондентов, не даю интервью, не даюсь фото- и киносъемкам. У него было ощущение, что он меня сотворил, вылепил и теперь всегда будет назначать за меня лучшие решения и вести по сияющему пути. Он так подразумевал (хотя ни разу я ему этого не обещал), что впредь ни одного важного шага я не буду делать без совета с ним и без его одобрения. Например, он сам взялся определить, какому фотографу я могу разрешить сфотографировать себя (фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было – выражение замученное и печальное, мы изобразили). Подошла необходимость какой-то сжимок биографии всё-таки сообщить обо мне – А.Т. сам взял перо и стал эту биографию составлять.

---

* Соображения «пройдет – не пройдет» настолько помрачали мозги членам редакции «Нового мира» (тем более – всех других советских журнальных редакций), что мало у них оставалось доглядчивости, вкуса, энергии делать веские художественные замечания. По вещам, которые в «Новом мире» не вызывали художественных упреков, главную критику у разнос я получал частным образом, обычно – у лиц, не состоящих на литературной службе.

Я считал нужным указать в ней, за что я сидел – за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. (Он не знал, как это еще сможет пригодиться, когда партия на своих инструктажах объявит меня изменником родины. Его взгляд больше охватывал настоящее, а будущего – почти никогда. К тому ж очень подслойны бывали истинные причины его внешних движений. Например, сам он долго верил в Сталина, и всякий *уже тогда* не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего. Так он отклонил и мое объяснение, что Тверитинов может не любить Сталина из одной только тонкости вкуса. Как бы это мог тот **не любить**? – значит, либо сам сидел, либо его родственники, иначе А.Т. не принимал.)

Я не спешил бунтовать против его покровительства, не рвался доказывать, что к сорока четырем годам уж какой отлился, такой отлился. Но – не может быть подлинной дружбы без хотя бы признаваемого равенства. А.Т. преувеличивал соотношение наших кругозоров, целей, и жизненного опыта. Важнейшей частью своего опыта он считал хорошее знание иерархии, ходов заседательских, телефонных и закулисных. Но он преувеличивал охватность и долготу всей этой системы. Он не допускал, что эту систему можно не признать с порога. Он не допускал, что в литературе или политике я могу разглядеть или знать такое, чего не видит или не знает он.

У него была расположенность к покровительству молодым, не было способности объединяться с равными.

Со мной пережил он вспышку новой надежды, что вот нашел себе друга. Но я не заблуждался в этом. Я полюбил и его мужицкий корень; и про̀ступы его поэтической детскости, плохо защищенной вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда – перед вышепоставленными (в лицо, – а по телефону чаще терялся), и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое мое и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним

так откровенен и прост, как с десятками людей, отемненных лагерной сенью. Еще характеры наши как-то могли бы обталкиваться, обтираться, приноровляться – но не бывает дружбы мужской без сходства представлений, без зоркости и внимательности к другому.

Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, – но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведет их по разным путям.

НА ПОВЕРХНОСТИ

Как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному многоатмосферному внешнему давлению, – всплыв на поверхность, гибнет от недостатка давления, оттого, что слишком стало легко и она не может приспособиться, – так и я, пятнадцать лет благорассудно затаенный в глубинах лагеря, ссылки, подполья, никогда себя не открыв, никогда не допустив ни одной заметной ошибки в человеке или в деле, – выплыв на поверхность внезапной известности, чрезмерной многотрубной славы (у нас и ругать, и хвалить – всё через край), стал делать промах за промахом, совсем не понимая своего нового положения и новых возможностей.

Я не понимал степени своей приобретенной силы и, значит, степени дерзости, с которой могу теперь себя вести. Я сохранял инерцию осторожности, инерцию скрытности. И та и другая были нужны, это верно, потому что случайный прорыв с «Иваном Денисовичем» нисколько не примирял Систему со мной и не обещал никакого легкого движения дальше.

Не обещал движения, да, – но пока, короткое время, два месяца, нет, месяц один, я мог идти безостановочно: холопски-непомерная реклама открыла мне на этот месяц все редакции, все театры!

А я не понимал... Я спешил сам остановиться, прежде чем меня остановят, снова прикрыться, притвориться, что ничего у меня нет, ничего я не намерен. Как будто возврат этот был возможен! Как будто теперь упустили бы меня из виду!

И еще, за невольным торжеством напечатания я плохо оценивал, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли: потерян был год, год разгона, данного XXII-м съездом, и подъехали мы уже на последнем дòплеске последней волны. По скромным подсчетам я клал себе по крайней мере полгода, а то и два года, пока передо мной заколотят все лазы и ворота. А у меня был один месяц – от первой хвалебной рецензии 18 ноября до кремлевской встречи 17 декабря. И даже еще меньше – до первой контратаки реакции 1 декабря (когда Хрущева натравили в манеже на художников-модернистов, а задумано это было расширительно). Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов! объявить несколько названий моих вещей.

А я ничего этого не сделал из-за ложной линии поведения. Я собирался «наиболее разумно использовать» кратковременный бег моей славы, но именно этого я не делал – и во многом из-за ложного чувства **обязанности** по отношению к «Новому миру» и Твардовскому.

Это надо верно объяснить. Конечно, я был обязан Твардовскому – но лично. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения и чтò обо мне подумают в «Н. мире», а лишь из того исходить постоянно, что я – не я, и моя литературная судьба – не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий. Как Троя своим существованием все-таки не обязана Шлиману, так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому, вернувшись из мира, не возвращающего мертвецов, я не смел клясться в верности ни «Новому миру», ни Твардовскому, не смел принимать в расчет, поверят ли они, что голова моя нисколько не вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчетом.

Хотя по сравнению с избыточной осторожностью новомирские оковы были на мне – вторичные, а всё ж заметно тянули и они.

У меня, как и предсказывал А.Т., просили «каких-нибудь отрывков» в литературные газеты, для исполнения по

радио – и я должен бы был без промедления их давать! – из «Круга», уже готового, из готовых пьес, и так объявленными названиями остолблять участки, с которых потом не легко меня будет сбить. В четырехнедельной волне ошеломления, прокатившейся от взрыва повести, всё бы у меня прошло беспрепятственно – а я сказал: «нет». Я мнил, что этим оберегаю свои вещи... Я горд был, что так легко устаиваю против славы...

Ко мне ломились в дом и в московские гостиничные номера корреспонденты, звонили из московских посольств в рязанскую школу, слали письменные запросы от агентств, даже с такими глупыми просьбами, как: оценить для западного читателя, насколько блестяще «разрешил» Хрущев кубинский конфликт. Но никому из них я не сказал ни слова, хотя беспрепятственно мог говорить уже очень много, очень смело, и всё бы это обалдевшие корреспонденты разбросали пò миру. Я боялся, что начав отвечать западным корреспондентам, я и от советских получу вопросы, предопределяющие либо сразу бунт, либо унылую верноподданность. Не желая лгать и не осмелев бунтовать, я предпочел – молчание.

В конце ноября, через десяток дней после появления повести, художественный совет «Современника», выслушав мою пьесу («Олень и шалашовка», тоже уже смягченная из «Республики труда»), настойчиво просил разрешить им ставить тотчас, и труппа будет обедать и спать в театре, но за месяц берется ее поставить! И то было верное обещание, уж знаю этот театр. А я – отказал...

Да почему же?? Ну, во-первых я почувствовал, что для публичности нужна еще одна перепечатка, это – семь чистых дней, а при работе в школе и наплыве бездельно-восторженной переписки – как бы и не месяц. «Современник» шел и на это, пусть я текст доизменю на ходу, – так я не мог бросить школу! Да почему же? а: как же так вдруг стать свободным человеком? вдруг да не иметь повседневных тяготящих обязанностей? И еще: как же ребятишек не довести до конца полугодия? кто ж им оценки поставит? А тут еще, как на зло, нагрянула в школу инспекторская

комиссия именно на оставшийся месяц. Как же подвести директора, столько лет ко мне доброго, и ускользнуть? За неделю я мог дать «Современнику» текст, приготовленный к публичности; дважды в неделю мог выдавать по «облегченному» отрывку из романа: мог читать по радио, давать интервью – а я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите...

Да и потом: а вдруг «люди с *верху*» увидят пьесу еще до премьеры – и разгневаются? и не только пьесу прихлопнут, но и рассказы, которые вот-вот должны появиться в «Новом мире»? А тираж «Нового мира» – сто тысяч. А в зале «Современника» помещается только семьсот человек.

Да и опять же: ведь я обещал всякую первинку Твардовскому! Как же отдать пьесу в «Современник», пока ее не посмотрит «Новый мир»? Итак, замедлив с боевым «Современником», я отдал пьесу в дремлющий журнал. Но там был кое-кто и не дремлющий, это Дементьев, и в самый журнал пьеса не попала: она не вышла из двух квартир дома на Котельнической набережной, от двух Саш. Между ними и было решено, а мне объявлено Твардовским: «искусства не получилось», «это не драматургия», это «перепахивание того же лагерного материала, что и в «Иване Денисовиче», ничего нового». (Ну, ка̀к самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия. Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали! Здесь не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство.)

Ну, после «Ивана Денисовича» выглядит слабовато. Легко, что Твардовскому эта вещь и не понравилась. Да если б дело кончалось тем, что «Новый мир» отклонял пьесу и предоставлял мне свободу с нею. Не тут-то было! Не так понимал Твардовский мое обещание и наше с ним сотрудничество ныне, и присно, и во веки веков. Ведь он

меня в мои 43 года *открыл,* без него я как бы и не писатель вовсе, и цены своим вещам не знаю (одну принеся, а десяток держа за спиной). И теперь о каждой вещи будет суд Твардовского (и Дементьева): то ли эту вещь печатать в «Новом мире», то ли спрятать и никому не показывать. Третьего не дано.

Именно так и было присуждено об «Олене и шалашовке»: не давать, не показывать. «Я предупреждаю вас против театральных гангстеров!» – очень серьезно внушал мне А.Т. Так говорил редактор самого либерального в стране журнала о самом молодом и смелом театре в стране! Откуда эта уверенность суждения? Был ли он на многих спектаклях «Современника»? Ни одного не видел, порога их не переступал (чтобы не унизиться). Высокое положение вынуждало его получать информацию из вторых (и нечистых) рук. Где-нибудь в барвихском правительственном санатории, где-нибудь на кремлевском банкете, да еще от нескольких услужливых лиц в редакции услышал он, что театр этот – дерзкий, подрывной, беспартийный – и значит «гангстеры»...

Всего две недели, как я был напечатан, еще не кончился месяц мёда с Твардовским, – я не считал достойным и полезным взбунтоваться открыто, и так я попал в положение *упрашивающего* – о собственных вещах упрашивающего кому-то показать, а Твардовский упирался, не советовал, возражал, наконец уже и раздражался моей ослушностью. Едва-едва он *дал согласие,* чтобы я показал пьесу театру... только не «Современнику», а мертвому театру Завадского (лишь потому, что тот поставил «Тёркина»). Позднее согласие! Положась на слабую осведомленность А.Т. (вдали и выше обычной литературной публики, московской динамичной среды), я остался связан с «Современником». Однако, задержал пьесу на месяц – неповторимый месяц! – ждал, чтобы цензура подписала «Матрену» и «Кречетовку». Тут я полностью отдал пьесу «Современнику» – да упущено было время: уже сказывалось давление на театры после декабрьской кремлевской «встречи». «Современник» не решился приступить даже к репетициям, и пьеса завязла

на многие годы. Твардовский же с опозданием узнал о моем своевольстве – и обиделся занозчиво, и в последующие годы не раз меня попрекал: как же мог я обратиться в «Современник», если он просил меня не делать этого?..

А.Т. в письме назвал меня «самым дорогим в литературе человеком» для себя, и он от чистого сердца меня любил бескорыстно, но тиранически: как любит скульптор свое изделие, а то и как сюзерен своего лучшего вассала. Уж конечно не приходило ему в голову поинтересоваться – а у меня не будет ли какого мнения, совета, предложения – по журнальным или собственным его делам? Ему не приходило в голову, что мой внелитературный жизненный опыт может выдвинуть свежий угол зрения.

Даже в темпах бытового поведения мы ощущали разность. Теперь, после нашей великой победы, отчего было не посидеть за большим редакционным столом, попить чайку с бубликами, покалякать то о важном, то о пустяшном? «Все писатели так делают, например Симонов, – шутливо внушал мне А.Т., – прилично сядут, неторопливо покурят. Куда вы всё торопитесь?» А я туда торопился, что на пятом десятке лет еще слишком много ненаписанного разрывало меня, и слишком стойко стояли глиняные, однако и железобетонные, ноги неправды.

Первую рецензию обо мне – большую симоновскую в «Известиях», А.Т. положил передо мной с торжеством (она только что вышла, я не видел), а мне с первых абзацев показалось скучно казенно, я отложил ее не читая и просил продолжать редакторский разговор о «Кречетовке». А.Т. был просто возмущен, то ли счел за манерность. Он не видел, какой длинный-длинный-грозный путь был впереди, и какие тараканьи силёнки у всех этих непрошенных рецензий.

Тем более расходились наши представления о том, что̀ надо сейчас в литературе и каким должен быть «Новый мир». Сам А.Т. считал его предельно смелым и прогрессивным – по большому успеху журнала у отечественной интеллигенции, по вниманию западной прессы.

Это было так, да. Но приверженцы «Нового мира» не могли иметь первым масштабом иной, как сравнение с бездарной вереницей прочих наших журналов – мутных, даже рвотных по содержанию и дохлых по своей художественной нетребовательности. (Если в тех журналах – я обхожу «Юность», и появлялось что-либо интересное «для заманки», то либо спекуляция на именах умерших писателей, такими же шавками затравленных, чем прослыла «Москва», либо статьями, далекими от литературы.) Прирожденное достоинство и благородство, не изменявшие Твардовскому даже в моменты самых обидных его ослеплений, помогали ему не допускать в журнал прямой пошлости (вернее, она текла и сюда, особенно в мемуарах чиновных людей вроде Конева, Емельянова, но все же сдержанным потоком), а сохранять обстоятельный тон просвещенного журнала, как бы возвышенного над временем. В первой половине журнальной книжки бывало и пустое, и ничтожное, но во второй, в публицистике, критике и библиографии, всегда была обстоятельность, содержание, всегда много интересного.

Однако существовал и другой масштаб: каким этот журнал должен был бы стать, чтобы в нем литература наша поднялась с колен. Для этого «Новый мир» должен был бы по всем разделам печатать материалы следующих классов смелости, чем он печатал. Для этого каждый номер его должен был формироваться независимо от сегодняшнего настроения *верхов,* от колебаний страхов и слухов – не в пределах разрешенного вчера, а каждым номером хоть где-то раздвигая пределы. Конечно, для этого частенько бы пришлось и лбом о стенку стучать с разгону.

Мне возразят, что это – бред и блажь, что такой журнал не просуществовал бы у нас и года. Мне укажут, что «Новый мир» не пропускал ни полабзаца протащить там, где это было возможно. Что как бы обтекаемо, иносказательно и сдержанно ни выражался журнал – он искупал это своим тиражом и известностью, он неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены. Столкнуться же разик до треска и краха и потом совсем прекратить

журнальную жизнь редакция не может: журнал, как и театр, как киностудия, – своего рода промышленность, это не воля свободного одиночки. Они связаны с постоянным трудом многих людей и в эпоху гонений им не избежать лавировать.

Наверно, в этом возражении больше правды, чем у меня. Но я все равно не могу отойти от ощущения, что «Новый мир» далеко не делал высшего из возможного – ну хотя бы первые после XXII съезда, неповторимо-свободные месяцы – как использовал «Новый мир»? А сколько номеров «Нового мира» еле-еле выбарахтывались на нейтралке? Сколько было таких, где на две-три стоящих публикации остальное была несъедобщина и серятина, так что соотношение страниц тех и этих давало к.п.д. ниже, чем у самого никудышного теплового двигателя? А всё из-за того, что деятельные силы в редакции подавлялись, а камуфляжная кукольная верхушка (Закс-Кондратович) спешила пожертвовать чем угодно, только был бы покой и кресла не качались.

Год за годом свободолюбие нашего либерального журнала вырастало не так из свободолюбия редакционной коллегии, как из подпора свободолюбивых рукописей, рвавшихся в единственный этот журнал. Этот подпор был так велик, что сколько ни отбрасывай и ни калечь – в оставшемся всё равно было много ценного. На иных авторов считали возможным и высокомерно глянуть и покричать. Внутри либерального журнала каменела консервативная иерархия, доклады «вверх» делались только благоприятные и приятные, а неприличное так же успешно (но более дружественно) задушивалось на входе, как и в «Москве» или «Знамени». Об этих отвергнутых смелых рукописях Твардовский даже и не узнавал ничего, кроме искаженного наслуха. Он так мне об этом сказал:

– В «Новый мир» подсылают литераторов-провокаторов с антисоветчинкой: ведь вы, мол, единственный свободный журнал, где же печататься?

И заслугу своей редакции он видел в том, что «провокации» вовремя разгадывались и отвергались. А между

тем «провокации» эти и была свобода, а «засылала» провокаторов матушка русская литература.

Я все это пишу для общей истины, а не о себе вовсе (со мной наоборот – Твардовский брался и через силу продвигать безнадежное). Я это пишу о десятках произведений, которые гораздо ближе подходили к норме легальности и для которых «Новый мир» мог сделать больше, если б окружение Твардовского не так судорожно держалось за подлокотники, если б не сковывал их постоянный нудный страх: «*как раз сейчас* такой неудобный момент», «такой момент *сейчас*...» А этот *момент* – уже полвека.

Я как-то спросил А.Т., могу ли я, печась о журнале, рекомендовать ему вещи, которые мне особенно нравятся. А.Т. очень приветливо пригласил меня это делать. Два раза я воспользовался полученным правом – и не только неудачно, но отягощающе для моих отношений с журналом.

Первый раз – еще в медовый наш месяц, в декабре 1962-го. Я убедил В.Т. Шаламова подобрать те стихи «Из колымских тетрадей» и «Маленькие поэмы», которые казались мне безусловными, и передал их А.Т. через секретаря в закрытом пакете.

Во главе «Нового мира» стоял поэт – а отдел поэзии журнала был скуден, не открыл ни одного видного поэтического имени, порой открывал имена некрупные, быстро забываемые. Много внимания уделяя дипломатическому «национальному этикету», печатая переводные стихи поэтов союзных республик,* или 2-3 маленьких стихотворения какого-нибудь уже известного поэта, он никогда не давал большой сплотки стихов, которая бы составила *направление* мысли или формы. Стихотворные публикации «Нового мира» никогда не бывали художественным событием.

---

* Есть литература каждого отдельного народа и есть литература мировая (огибающая по вершинам). Но не может быть никакой промежуточной «многонациональной» литературы (пропорциональной, вроде Совета национальностей). Это дутое представление, наряду с соц. реализмом, тоже помешало развитию нашей литературы в истекшие десятилетия.

В подборке Шаламова были из «Маленьких поэм» – «Гомер» и «Аввакум в Пустозерске», да около 20 стихов, среди которых «В часы ночные, ледяные», «Как Архимед», «Похороны». Для меня, конечно, и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались в область «просто поэзии» – они были из горящей памяти и сердечной боли; это был мой неизвестный и далекий брат по лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле таская ноги, и наизусть, пуще всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше пятка.

Я не считаю себя судьей в поэзии. Напротив, признаю за Твардовским тонкий поэтический вкус. Допустим, я грубо ошибся – но при серости поэтического отдела «Нового мира» так ли нетерпимо отвергать? К тому времени, когда смогут быть опубликованы эти мои очерки, читатель уже прочтет и запрещенные стихи Шаламова. Он оценит их мужественную интонацию, их кровоточение, недоступное опытам молоденьких поэтов, и сам произведет суждение, достойны ли они были того, как распорядился Твардовский.

Мне он сказал, что ему не нравятся не только сами стихи, «слишком пастернаковские», но даже та подробность, что он вскрывал конверт, надеясь иметь что-то свежее от меня. Шаламову же написал, что стихи «Из колымских тетрадей» ему не нравятся решительно, это – не та поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя.

Стал я объяснять Твардовскому, что это – не «интрига» Шаламова, что я *сам* предложил ему сделать подборку и передать через меня, – нисколько не поверил Твардовский! Он удивительно бывал невосприимчив к простым объяснениям. Так и осталась у него уверенность в кознях Шаламова, играющего мной.

Второй раз (уже осенью 1964) мне досталось напористо побуждать редколлегию напечатать «Очерки по истории генетики» Ж. Медведева. В них было популярное изложение неизвестной народу сути генетической дискуссии, но еще больше там был – накал и клич против несправедливости на материале вполне уже легальном, а между тем

клич этот разбуживал общественное сердцебиение. И книга эта что называется «единодушно нравилась» редакции (ну, Дементьев-то был против), и на заседании редакции Твардовский просил меня прекратить поток аргументов, потому что «уже убеждены» все. И только «о небольших сокращениях» они просили автора; а потом о бо̀льших; а потом «потерпеть несколько месяцев» – да так и заколодило. Потому что эта книга «выдавала» свободу мысли еще не разрешенной порцией.

Непростительным считал и Твардовский, что с «Оленем и шалашовкой» я посмел обратиться к «Современнику». Обида в груди А.Т. не покоилась, не тускнела, но шевелилась. Он много раз без необходимости возвращался к этому случаю и уже не просто порицал пьесу, не просто говорил о ней недоброжелательно, но *предсказывал,* что пьеса не увидит света, то есть выражал веру в защитную прочность цензурных надолб. Более того, он сказал мне (16 февраля 1963 г., через три месяца от кульминации нашего сотрудничества!):

– Я не то, чтобы запретил вашу пьесу, если б это от меня зависело... Я бы написал против нее статью... **да даже бы и запретил.**

Когда он говорил недобрые фразы, его глаза холодели, даже белели, и это было совсем новое лицо, уже нисколько не детское. (А ведь для чего запретить? – чтоб моё имя поберечь, побуждения добрые...)

Я напомнил:

– Но ведь вы же сами советовали Никите Сергеевичу отменить цензуру на художественные произведения?

Ничего не ответил. Но и душой не согласился, нет, внутренне у него это как-то увязывалось. Раз вещь была не по нему – отчего не задержать ее и силой государственной власти?..

Такие ответы Твардовского перерубали нашу дружбу на самом первом взросте.

Твардовский не только грозился помешать движению пьесы, он и действительно помешал. В тех же числах,

в начале марта 1963 г., ища путей для разрешения пьесы, я сам переслал ее В.С. Лебедеву, благодетелю «Ивана Денисовича». «А читал ли Твардовский? Что он сказал?» – был первый вопрос Лебедева теперь. Я ответил (смягченно). Они еще снеслись. 21 марта Лебедев уверенно мне отказал:

«По моему глубокому убеждению пьеса в ее теперешнем виде для постановки в театре не подходит. Деятели театра «Современник» (не хочу их ни в чем упрекать или обвинять) хотят поставить эту пьесу для того, чтобы привлечь к себе публику* и вашим именем и темой, которая безусловно зазвучит с театральных подмостков. И я не сомневаюсь в том, что зрители в театр будут, что называется, «ломиться», желая познакомиться... какие явления происходили в лагерях. Однако... в конце концов театр вынужден будет отказаться от постановки этой пьесы, так как в театр тучами полетят «огромные жирные мухи», о которых говорил в своей недавней речи Н.С. Хрущев. Этими мухами будут корреспонденты зарубежных газет и телеграфных агентств, всевозможные нашинские обыватели и прочие подобные люди».

Обыватели и «прочие подобные люди»! То есть попросту – народ? Театр «сам откажется»? Да, когда ему из ЦК позвонят... Вот – и эпоха, и театральные задачи, и государственный деятель!

Отношения Твардовского с Лебедевым не были просто отношениями зависимого редактора и притронного референта. Они оба, кажется, называли эти отношения дружбой, и для Лебедева была лестна дружба с **первым поэтом** страны (по табелю рангов это было с какого-то года официально признано). Он дорожил его (потом и моими) автографами (при большой аккуратности, думаю, и папочку особую имел). Когда Твардовский принес Лебедеву «Ивана Денисовича», обложенного рекомендациями седовласых писателей, Лебедеву дорого было и себя выказать ценителем, что он прекрасно разбирается в качествах вещи и не

* А какой театр хочет иного?..

покусится трогать ее нежную ткань грубой подгонкой.

Откуда он взялся в окружении Хрущева и чем он занимался раньше? – я так и не узнал. По профессии этот таинственный верховный либерал считал себя журналистом. Может быть руководило им личное соперничество с Ильичевым, которого обскакать он мог только на либеральной лошадке?.. Познакомились мы на первой «кремлевской встрече руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией» – 17 декабря 62 г.

Эти встречи я мог бы описать по записям очень подробно, но тем ушел бы в сторону, да наверно это уже сделали или сделают другие, без меня. Вызов на первую встречу настиг меня расплохом: в субботу вечером пришло в школу распоряжение из обкома партии, что в понедельник я вызываюсь в ЦК к товарищу Поликарпову (главный душитель литературы и искусства), а отвезет меня туда обкомовская машина. По своему подпольному настрою я вдался в мрачные предположения. Я решил, что Поликарпов, не сумев задержать вещь, теперь будет меня хоть в партию вгонять. И я нарочно поехал в своем школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненных-перечиненных ботинках с латками из красной кожи по черной, и сильно нестриженным. Так легче было мне отпираться и придуряться. И вот таким-то зачуханным провинциалом я привезен был во мраморно-шелковый Дворец Встреч, где мое драное пальто приняли подтянутые ливрейные молодцы, официанты во фраках подавали царский обед из семи блюд, а свора фото-кино-теле-операторов расстреливала знаменитости светом (на время угощения объективы задергивались).

И вот тут-то в одном из перерывов как бы случайно (а на деле – нароком) мимо нашего с Твардовским конца стола стали проходить то краснолицый надменный Аджубей, то ничтожный вкрадчивый Сатюков (редактор «Правды»), то невысокий, очень интеллигентный, простой и во взгляде и в обращении человек, с которым Твардовский поспешил меня познакомить. Это и был Лебедев. Меня поразила его непохожесть на партийных деятелей, его безусловная тихая

интеллигентность (он был в безоправных очках, только стёкла и поблескивали, оставалось впечатление как от пенсне). Может быть потому, что он был – главный благодетель и смотрел ласково, я его и охватил таким. Разговора содержательного не было, он заверил меня, что я «теперь на такой орбите, с которой меня не сбить», похвалил, что я интервью не даю, и просил «Ивана Денисовича» с автографом. Это был просто от неба приставленный к беспутному Хрущеву ангел чеховского типа.

На той первой кремлевской встрече меня еще превозносили, подставляли под аплодисменты и объективы – но на «Иване Денисовиче» и выпустил последний вздох весь порыв XXII съезда. Поднималась уже общая контратака сталинистов, которую недальновидный Хрущев с благодушием поддерживал. От него мы услышали, что печать – дальнобойное оружие и должно быть проверено партией; что он – не сторонник правила «живи и жить давай другим»; что идеологическое сосуществование – это моральная грязь; и борьба не терпит компромиссов.

Вторая же кремлевская встреча – 7-8 марта 1963 г., была из самых позорных страниц всего хрущевского правления. Создан был сталинистам пятикратный перевес сил (приглашены аппаратчики, обкомовцы), и была атмосфера яростного лая и разгрома всего, что хоть чуть-чуть отдавало свободой. (Только меня не касались еще, заставили Шолохова и Кочетова сменить готовые речи: щадили «личный художественный вкус» Хрущева.) Была в короткое время, несколькими часами (о, как же это легко!) воссоздана атмосфера нетерпимости 30-х годов, тех «единодушных» собраний, где воспитывались лютые звери, а обреченные и ободранные доживали лишь до ближайшей ночи. Наконец-то разглядев главного врага всех своих сельско-хозяйственных, административных и международных начинаний – – художников-абстракционистов и либеральную интеллигенцию, Никита рубал их с той лютостью, когда зудят кулаки и оплечья, и глаза застилает от ненависти. «Вон вы, там, – кричал он, – в красном свитере, около колонны –

почему не аплодируете? А ну-ка сюда! а ну-ка – дать ему слово!» И ревел распаленный хор сталинистов на художника Голицына: «Пусть объяснит, почему не аплодирует!» Вполне преданных Рождественского и Вознесенского вгорячах поносили за отступничество. «Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов!» – стучал Хрущев по столу только что не ботинком и блажил во всё горло: – «Не троньте молодежь, иначе попадете под жернова партии!»

Этими встречами откатил нас Хрущев не только до XXII съезда, но и до XX-го. Он откатил биллиардный шар своей собственной головы к лузе сталинистов. Оставался маленький толчок.

На этой встрече Лебедев не искал меня видеть, он озабочен был и спешил совнаркомовским коридором из двери в дверь. Вид его был гораздо более чиновный. – Через две недели ответил он мне и о пьесе.

А карусель идеологии продолжала раскручиваться, уж теперь трудней ее было остановить, чем само солнце. Не успели отгреметь два кремлевских совещания, как замыслено было еще важнейшее: пленум ЦК в июне 1963 года, посвященный исключительно «вопросам культуры» (не было у Никиты бо̀льших забот в его запущенной несуразной державе)! И по хрущевскому размаху на пленум этот приглашались тысячи «работников» избранной области. Теперь предстояло мне в жару неделю ходить и неделю дуреть на этом пленуме, как будто я был член партии «... года», а не дремучий зэк, а не писатель в первые месяцы приобретенной свободы. Моя несчастная слава начинала втягивать меня в придворно-партийный круг. Это уже порочило мою биографию.

Пришлось мне искать приема у Лебедева – уговорить его лишить меня высокой чести быть приглашенным на пленум, отпустить душеньку. Так мы увиделись в третий и последний раз – в ЦК, на пятом этаже главной (хрущевской) лестницы.

Просьба моя удивила его крайне – ведь билетов на эти

встречи и пленумы домогались, выпрашивали по телефону, по ним соображалась шкала почета. Мог ли я говорить ему прямо? Конечно, нет. Бормотал о семейных обстоятельствах...*

Разъяснил мне Лебедев еще раз, чем дурна моя пьеса: ведь в лагерях же люди **и исправлялись, и выходили** из них, – а у меня этого не видно. Потом (очень важно!): пьеса эта обидит интеллигенцию – оказывается кто-то там приспосабливался, кто-то боролся за блага, а **у нас привыкли свято чтить память тех, кто погиб в лагерях** (с каких пор?!..). И неестественно у меня то, что нечестные побеждают, а честные обречены на гибель. (Уже прошел шумок об этой пьесе, и даже Никита спрашивал – какая? если по «Ивану Денисовичу», то пусть ставят. Но Лебедев сказал ему: «Нет, не надо». Лебедеву, конечно, пора была со мною хвататься за все тормоза.) Многознающе убеждал меня Лебедев: «Если бы Толстой жил сейчас, а писал так, как раньше» (ну, то есть, против государства) – «он не был бы Толстой».

И вот был тот закадычный либерал, тот интеллигентный ангел, который свершил всё чудо с «Иваном Денисовичем»! Я долго у него просидел, рассматривал – и все более незначительным, ничем не отмеченным казался мне он. Невозможно было представить, чтоб в этой гладенькой головке была не то, чтобы своя политическая программа, но отдельная мысль, отменная от партийной. Просто накал сковороды после XXII съезда был таков, что блин мой схватился, подрумянился, просился в сметану. А вот остыло – и видно, как он сыр, как тяжел для желудка. И не поволокли бы блинщика на конюшню.

То и дело поднимая трубку для разговора с важными цекистами (и всё по пустякам, какие-то шутки, что-то о

---

* И Твардовский потом порицал меня: а «октябристы» будут думать, что вас лишили внимания, что вы падаете в своем значении; ни в коем случае, мол, вы не имели права отказываться. Ведь я – уже был не просто я, моё снижение снижало и «Новый мир»... Из такой политики и состояла десятилетиями литература...

футболе, разыгрывали кого-то статьей в «Комсомолке») он неприятно смеялся мелкими толчками, семенил смехом. Он фотографировал меня до головной боли, хвастался новейшей «Лейкой» из ФРГ за 550 рублей, «мы же премию за книгу получили» (это – ленинскую, за репортаж, как Никита в Америку ездил). Гордясь и с охотою показывал мне тяжелые обархатенные альбомы, где под целлулоидовыми пленками хранились его крупные цветные снимки, по альбому на каждую заграничную прокатку Никиты: Ильичев то в одежде Нептуна, то жонглирует блюдом на голове; Аджубей и Сатюков с шутовскими выражениями прильнули к статуе богини; Хрущев целует прелестную бирманскую девушку; Громыко блаженствует в кресле самолета. Они действительно жили в самом счастливом обществе на земле. (К тому ж всю обработку лебедевских снимков вела фотолаборатория ЦК, а сам Лебедев в служебное время только рассматривал, сортировал и раскладывал негативы и карточки.)

В одном альбоме на фоне тех же книжных полок, где он только-что отснял меня, улыбались Шолохов и Михалков. Были места и для меня... Все-таки Лебедев не предполагал, как жестоко во мне обманулся.

*

* *

Но обманулся и я, что два года или хоть полгода есть у меня до забивки всех лазов. Пора моего печатания промелькнула, не успев и начаться. Масляному В. Кожевникову поручили попробовать, насколько прочно меня защищает трон. В круглообкатанной статье он проверил, допускается ли слегка тяпнуть «Матренин двор». Оказалось – можно. Оказалось, что ни у меня, ни даже у Твардовского никакой защиты «наверху» нет (уж Лебедев струхивать начал – зачем так тесно с нами сопрягся). Тогда стали выпускать другого, третьего, сперва ругать рассказы, затем – и высочайше-одобренную повесть, – никто не вступался.

Собственно, после лагерной выучки, эти нападки нисколько меня не задевали, не досаждали. Как говорится, людям тын да помеха, а нам смех да потеха. Напротив, в этой печати меня гораздо больше удивляло и позорило предыдущее непомерное восхваление. А теперь я вполне соглашался на ничью: гавкайте потихоньку да не кусайте, буду и я тихо сидеть. Рассуждая реально, мое положение было превосходно: с ракетной скоростью меня приняли в союз писателей и тем освободили от школы, поглощавшей столько времени; впервые в жизни я мог поехать жить за рекой при разливе или в осеннем лесу – и писать; наконец, я получал теперь разрешение работать в *спецхране* Публичной библиотеки – и сладострастно накидывался на те запретные книги. Просто грешно было обижаться на непечатанье: не мешают писать – чего еще? Свободен – и пишу, чего еще?

Раздвинулись сутки, раздвинулись месяцы, я стал писать непомерно много сразу – четыре больших вещи: собирал материалы к «Архипелагу» (на всю страну меня объявили зэкам, и зэки несли и рассказывали), к заветному главному моему роману о революции 17-го года (условно «Р-17»), начал «Раковый корпус», а из «Круга первого» надумал выцеживать главы для неожиданной когда-нибудь публикации, если представится.

Молчать! Молчать – казалось самое сильное в моем положении. Но не так легко молчать, когда ты связан с благожелательной редакцией. Все-таки я понашивал туда кое-что для облегчения совести – не упустить возможностей. Как-то снес несколько глав старой повести в стихах («Шоссе Энтузиастов», тоже переиначенную и смягченную), Твардовский справедливо отверг ее. «Я понимаю, – говорил он, – в лагере надо же что-то писать, иначе мхом обрастешь. Но...» Он волновался, не обижусь ли. Я успокоил:

– Александр Трифоныч! Даже если вы десять моих вещей отвергнете подряд, всё равно и одиннадцатую я принесу вам же.

Просиял, был доволен сердечно. А обещание мое оказа-

лось пророческим: десять не десять, но почти столько пришлось мне ему стаскать прежде, чем выявилось, что он потерял на меня права.

Весной 1963-го я написал для журнала рассказ, которого внутренне мог бы и не писать: «Для пользы дела». Он как будто и достаточно *бил* и вместе с тем в нагнетенной обстановке после кремлевских встреч казался *проходимым*. Но писался трудновато (верный признак неудачи) и взял неглубоко. Тем не менее в «Новом мире» он встречен был с большим одобрением, на этот раз даже единодушным (недобрый признак!). А всё лишь потому, что укреплял позиции журнала: вот, проведя меня в литературу, они не сделали идеологической ошибки.

До того уж почувствовал журнал свои права на меня, что летом, пока я был в отъезде, Закс без моего ведома уступил цензуре из моего рассказа несколько острых выражений (вроде *забастовки,* которую хотят устроить студенты). Это был их частый прием и со многими авторами: надо спасать номер! надо, чтобы журнал жил! А если страдает при этом линия автора – ну, что за беда... Вернувшись, я упрекнул их горько. Твардовский принял сторону Закса. Им просто непонятно было, из чего принципиальничать? Подумаешь, пощипали рассказ! Мы, авторы «Нового мира», им рождены и ему должны жертвовать.

Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал много возбужденных откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления.

Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному «Н. миру» надо относиться с обычной противоначальнической хитростью: не всегда-то и на глаза попадаться, сперва разведывать, чем пахнет. В этот приезд, в июле 63 г., пока я горячился из-за цензурных искажений, А.Т. тщетно пытался передать мне свою радость:

– Вы легки на помине, о вас был там разговор!

Я говорю – «радость», но по-разному бывал он радостен:

чист и светел, когда здоров от своей слабости, а в этот раз – с мутными глазами, полумертв, вызывал жалость (его лишь накануне лекарственным ударом вырвали из запоя, чтобы доставить в ЦК к Ильичеву). – И еще ведь курил, курил, не щадя себя! Радость А.Т. была на этот раз в том, что он на заседании у Ильичева ощутил некое «новое дуновение», испытал какие-то «греющие лучи». (А было это – просто очередное вихлянье агитпропа, маневр. Но в бесправной унизительной жизни главного редактора опального журнала и при искренних толчках сердца о красную книжечку в левом нагрудном кармане, обречен был Твардовский падать духом и запивать от неласкового телефонного звонка второстепенного цекистского инструктора, и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры.)

Так вот что было там, на Старой Площади. «Подрабатывался» состав советской делегации в Ленинград на симпозиум КОМЕСКО (Европейской Ассоциации писателей) о судьбах романа, и вот А.Т. удалось *добиться,* чтобы включили в ту делегацию меня. (А потому Ильичев и уступил, что для симпозиума была нужна декорация.)

Он договорить еще не успел, я уже понял: ни за что не поеду! Вот из таких карусельных мероприятий и состоит жизнь писателя *на поверхности*... Недорогой способ нашли они показать меня Европе (да и какая там Европа собралась под крыльями Вигорелли!): в составе делегации, конечно **единой во мнении**, – а всякий выступ из общего мнения будет не только изменой родине, но еще и предательством родного «Нового мира». Сказать, что̀ действительно думаешь – невозможно. И рано. А ехать мартышкой – позор. Отклоня уже столько западных корреспондентов, должен был я свою линию вытягивать и дальше.

– Зря вы хлопотали, Александр Трифоныч. Меня совсем туда не влечет ехать, да и несручно: я недавно из Ленинграда, я так мотаться не привык.

Вот тут и шла между нами грань, не перейденная за все годы нашей литературной близости: никогда мы по-настоящему не могли понять и принять, что̀ думает другой.

(По скрытости моей работы и моих целей он особенно не мог понять меня.)

А.Т. обиделся. (Всю обиду он выказывал обычно не враз, но потом в жизни возвращался и возвращался к ней многажды. Как, впрочем, и я.)

– Моя задача была – отстоять справедливость. А вы можете и отказаться, если хотите. Но в **интересах советской литературы** вы должны там быть.

Да ведь я ей не присягал.

Случился тут и Виктор Некрасов, недавно ошельмованный на мартовской «встрече» и уже несколько месяцев под партийным следствием в Киеве – и он, он тоже убеждал меня... ехать! Вот и ему еще было столько непонятно, и нельзя объяснить...

Дружный внутренний порыв влек их обоих в ресторан, а мне было легче околеть, чем переступить тот порог. Никак не решив, мы потянулись сперва на Страстной бульвар. Тут заметил я, как неумело и боязливо переходил А.Т. проезжую часть улицы («Ведь эти московские перекрестки такие опасные»). Да ведь он отвык передвигаться по улицам иначе, как в автомобиле... И седоку автомобильному нельзя, нельзя понять пешехода, даже и на симпозиуме. Стал А.Т. говорить, что симпозиум, конечно, будет пустой: нет романов, о которых хотелось бы спорить; и вообще романа сейчас нет; и «в наше время **роман даже вряд-ли возможен**». (Уже начат был «Раковый корпус», уже год, как закончен был «Круг», но не знал я, в каком виде посметь предложить его Твардовскому. И вот так, со связанными руками и заткнутым ртом должен буду я сидеть на симпозиуме и слушать сорокоусто: умер роман! изжит роман! не может быть романа!..)

Грустно говорил А.Т. и о том, что на Западе хорошо его знают как прогрессивного издателя, но не знают как поэта. «Конечно, ведь у меня же – мерный стих и есть содержание...» (Да нет, не в модерне дело, но как перевести русскость склада, крестьяность, земляность лучших стихов

А.Т.?) «Правда, мои «Печники» обошли всю Европу» – утешался он.

Всё складывалось горько, и партийное следствие в Киеве, и упрямство мое туда же – и вырвались они от меня и пошли пить *лимонад*. Я проводил их как потерянных: такой у века темп, а им времени некуда девать.

На том не кончилось: еще от того симпозиума пришлось мне из дому убегать, на велосипеде, не оставив адреса. Как в школу меня раньше директор вызывал, так требовало теперь правление Союза, телеграммы и гонцы: ехать и всё! Но не нашли.

(А Твардовский тот симпозиум использовал недурно: их повезли потом на Пицунду, на хрущевскую дачу, и сослужил Лебедев еще одну службу: подстроил чтение вслух «Тёркина на том свете». Иностранцы ушами хлопали, Хрущев смеялся, – ну, значит, и разрешено, протащили.*)

После «Теркина на том свете», пролежавшего (и перележавшего) 9 лет в готовом виде, девять лет вязавшего Твардовскому руки, – они теперь как бы освободились для риска. И осенью 63 года я выбрал четыре главы из «Круга» и предложил их «Н. миру» для пробы, под видом «Отрывка».

Отказались. Потому что «отрывок»? Не только. **Опять – тюремная тема**... (Она же «исчерпана»? и кажется – «перепахана»?)

Тем временем нужно было им печатать проспект – что̀ пойдет в будущем году. Я предложил: повесть «Раковый корпус», уже пишу. Так названье не подошло! – во-первых, символом пахнет; но даже и без символа – «само по себе страшно, **не может пройти**».

Со своей решительностью переименовывать всё, приносимое в «Новый мир», Твардовский сразу определил:

* Проходимец Аджубей первый же и напечатал, но с таким вступлением: как эту поэму **красиво слушал Шолохов** (!?..). Тут и Аджубей весь, тут и нашим и вашим, тут и: своего же 30 лет ничего нет, будешь *слушать*...

– «Больные и врачи». Печатаем в проспекте.

Манная каша, размазанная по тарелке! Больные и врачи!.. Я отказался. Верно найденное название книги, даже рассказа – никак не случайно, оно есть – часть души и сути, оно сроднено, и сменить название – уже значит ранить вещь. Если повесть Залыгина получает аморфное название «На Иртыше», если «Живой» Можаева (как глубоко! как важно!) выворачивается в «Из жизни Федора Кузькина» – то это неисправимое повреждение. Но А.Т. никогда этого не принимал, считал это мелочью, а редакционные льстецы и медоточивые приятели даже укрепили его в том, что он замечательно переименовывает, с первого прищура. Он давал названия понезаметней, поневыразительней, рассчитывая, что так протянет через цензуру легче – и верно, протягивал.

Не столковались, и «Раковый корпус» не попал в обещания журнала на 64 год. Зато ввязался журнал добывать для меня ленинскую премию. За год до того все ковры были расстелены, сейчас это уже было сложно. (Еще через два года всем станет ясно, что это – грубая политическая ошибка, оскорбление ленинского имени и самого института премий.)

А.Т. очень к сердцу принял эту борьбу, каждый лисий поворот Аджубея, выступавшего то так, то эдак. Правда, первый тур А.Т. не был на ногах, победа свершилась без него. Зато во втором он настойчиво взялся, рассчитывал внутрикомитетские тонкости (за кого подавать голос, чтоб иметь больше сторонников для себя). В секции литературы голоса разделились совсем не случайно, а даже пророчески: за «Ивана Денисовича» голосовали все националы и Твардовский, против – все остальные русские. Большинство оказалось против. Но по статуту учитывались еще и результаты голосования в секции драматургии и кино, а там большинство оказалось «за». Итак, в список для тайного голосования «Иван Денисович» прошел *против* голосов «русских» писателей! Успех этот очень обеспокоил врагов, и на пленарном заседании первый секретарь ЦК комсомола

Павлов выступил с клеветой против меня – первой и самой еще безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному. Твардовский, хотя и крикнул «неправда», был ошеломлен: а вдруг правда? Это показательно: уже более двух лет мы в редакции целовались при встречах и расставаниях, но настолько оставалась непереходима дистанция или разность *постов* между нами, что не было у него толчка расспросить, а у меня повода рассказать – как же сталась моя посадка. (Да вообще, ни одного эпизода тюремно-лагерной жизни, из тех, что я направо и налево рассказывал первым встречным, ни даже из фронтовой – не пришлось мне ему никогда рассказать. А он мне, хотя я наводил, не рассказал о ссылке семьи, что̀ очень меня интересовало, а только – эпизоды литературно-чиновной, придворной жизни: как пятерым поэтам и пятерым композиторам Хрущев поручил сочинять новый гимн; о случаях в барвихском санатории; о ходах редакторов «Правды», «Известий», «Октября» и ответных ходах самого А.Т. – обычно вяловатых, но всегда исполненных достоинства.) Теперь он за одни сутки, по моему совету, получил из Военной Коллегии Верховного Суда копию судебного заключения о моей реабилитации. (В век нагрянувшей свободы документы эти должны были естественно публиковаться сводными томами, – но они даже от самих реабилитированных были секретны, и путь к ним я узнал случайно, через встречу с Военной Коллегией.) Это заключение на следующий день Твардовский сумел эффектно огласить на заседании ленинского комитета перед тайным голосованием. Прозвучало, что я – противник «культа личности» и лживой нашей литературы еще с годов войны. Секретарю ЦК ВЛКСМ пришлось встать и извиниться. Однако, уже запущена была машина. Утренняя «Правда» за два часа до голосования объявила: по *высокой требовательности,* которую до тех пор, оказывается, проявляли к ленинским премиям, повесть об одном лагером дне, конечно, ее недостойна. Перед самым тайным голосованием еще отдельно обязали партгруппу внутри комитета голосо-

вать против моей кандидатуры. (И все равно, рассказывал Твардовский: голосов никому не собралось. Созвали комитет вторично, приехал Ильичев и велел при себе переголосовывать – голосовать за «Тронку» Гончара. Уже неоднократный лауреат, и член комитета самого, Гончар тут же около урны сидел и бесстыдно наблюдал за тайным голосованием.)

Уже тогда, в апреле 1964-го, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была «репетицией путча» против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели – и удалось. Это обнадеживало их, что и Сам-то не крепок.

Над статьей «Правды» в своем новом кабинете (зданье бывших келий Страстного монастыря) утром, перед последним голосованием, Твардовский сидел совсем убитый, как над телеграммой о смерти отца. «Das ist alles», – встретил он меня почему-то по-немецки, и это кольнуло меня сходством с чеховским «Ich sterbe»: ни одного иностранного слова не слыхивал я от А.Т. ни до этого, ни после. Ленинская премия для меня, о которой Твардовский бился, себя не жалея (и удивительно – не запил даже от поражения), – была престиж журнала, как бы орден, приколотый к его синеватой обложке.* Когда отказали, он рвался (впрочем, не впервь и не впоследне) демонстративно выйти – на этот раз из комитета по премиям. Но соредакторы и родные уговорили, что его задача – беречь и вести журнал. И конечно верно, не тот был повод.

Сам я просто не знал, чего и хотеть. В получении премии были свои плюсы – утверждение положения. Но минусов больше, и главный: утверждение положения – а для чего? Ведь моих вещей это не помогло бы мне напечатать. «Утверждение положения» обязывало к верноподданости,

---

* Так оно и сказывалось. После отказа мне в премии, жаловался потом А.Т., стало журналу совсем невыносимо, придирались в цензуре к каждому пустяку. И чтобы журнал не опаздывал безнадежно, приходилось уступать.

к *благодарности* – а значит не вынимать из письменного стола неблагодарных вещей, какими одними он только и был наполнен.

Всю эту зиму я кончал облегченный для редакции и для публики роман «В круге первом» (Круг-87). Облегченный-то облегченный, но риск показать его был почти такой же, как два года назад «Ивана Денисовича»: перешагивалась черта, которую до сих пор не переступали. До какой степени у Твардовского перехватит дыхание? – не настолько ли, что он обернется тоже в недруга?

Во всяком случае все эти зимние месяцы, пока он боролся за премию, я не мешал его борьбе и не показывал ему обещанного «Круга». Весной пришла пора Твардовскому читать мой роман. Но кàк на время чтения оторвать его от главных противосоветчиков и прежде всего – от Дементьева? Мне нужно было, чтоб над романом сформировалось собственное мнение А.Т. Я сказал:

– Александр Трифоныч! Роман готов. Но чтò значит для писателя отдать в редакцию роман, если всего за жизнь думаешь сделать их только два? Всё равно, что сына женить. На такую свадьбу уж приезжайте ко мне в Рязань.

И он согласился, даже с удовольствием. Кажется, уникальный случай в его редакторской жизни.

В Рязани, как раз в пасхальную ночь (но А.Т. вряд ли памятовал ее) мы встретили его как могли пышно – на собственном «москвиче». Однако он поёживался, влезая в этот маленький (для его фигуры взаправду маленький) автомобиль: по своему положению он не привык ездить ниже «волги». Он и приехал-то простым пассажиром местного поезда и билет взял сам в Круглой башне, не через депутатскую комнату – может быть со смоленских юношеских времен так не ездил.

За первым же ужином А.Т. тактично предварял меня, что у каждого писателя бывают неудачные вещи, надо это воспринимать спокойно. Со следующего утра он начал читать не очень захваченно, но от завтрака до обеда разошёлся, курить забывал, читал, почти подпрыгивая.

Я заходил к нему как бы ненароком, сверяя его настроение с номером главы. Он вставал от стола: «Здорово!» и тут же подправлялся: «Я ничего не говорю!» (то есть, не обещает такой окончательной оценки). Как я понимаю работу, ему нужно было быть трезвым до ее конца, но гостеприимство требовало поставить к обеду и коньяк, и водку. От этого он быстро потерял выдержку, глаза его стали бешеноватые, белые, и вырывалась из него потребность громко выговариваться. Он захотел пройти на почту, звонить в Москву (обговаривалась у него с женой покупка новой дачи); до почты было четыреста метров, а шли мы туда и обратно два часа: А.Т. поминутно останавливался, загораживая тротуар, и как я ни понуждал его идти или говорить тише, он громко выговаривался: что человек никому ничего не должен; что «начальство трогательно любит само себя»; о маршале Коневе,* который в виде похвалы сказал Твардовскому, что сделал бы его из полковника запаса генерал-майором; и о таинственности московской комиссии по прописке, решающей, кому жить, кому не жить; и о тайных местах (острова в Северном море) тайной ссылки инвалидов войны (от первого Твардовского я это слышал, не сомневаюсь в достоверности; умонепостигаемо для всех, кроме советских: этих бывших героев и эти жертвы, принесшие нам победу, выбросить вон, чтоб своими обрубками не портили стройного вида советской жизни, да не требовали слишком горласто *прав* своих); и о том, как Брежнев стал «жертвой культа» (пострадал от Сталина за то, что в Кишинёве общественный городской сад забирал себе под резиденцию); и о том, что несправедливо оплачиваются сборники стихов – массовые меньше, чем немассовые (мне пришлось замечать, что он вникал в расчёты и вычеты по своим изданиям, похвалив издание, добавлял «да и деньги немалые», но это было не жадно, а с добродушной гордостью труженика, как крестьянин

---

* Я видел его в редакции в штатском. Это был туповатый средний колхозный бригадир...

возвращается с базара); и о Булгакове («блестящий, лёгкий»); и о Леонове («его раздул, непомерно возвысил Горький»); о Маяковском («остроумие – плоское; не национален, хотя изощрялся в церковно-славянских вывертах; не заслуживает площади рядом с Пушкинской»).

В этот вечер я пытался ему объяснить, что один его заместитель ничтожен, а другой враждебен его начинаниям, лицо совсем из иного лагеря. А.Т. во всём не соглашался. «Дементьев сильно эволюционировал за десять лет». – «Да где ж эволюционировал, если с пеной у рта бился против Ивана Денисовича?» – «Он ушиблен очень...». Но вообще-то высказал А.Т., что мечтает иметь «первое лицо» в редакции – такого знающего и решительного заместителя, который безошибочно управлялся б и сам. (Это будущее «первое лицо» уже состояло в редакции и уже возвышалось – Лакшин.)

Второй день чтения проходил насквозь в коньячном сопровождении, а когда мы пытались сдерживать, А.Т. сам настаивал на «стопце». Кончал день он опять с бело-возбужденными глазами.

– Нет, не могли ж вы испортить роман во второй половине! – высказывал он с надеждой и страхом.

После 64-й главы:

– Нет, теперь, в конце, вы уже никак не сможете его испортить!

Еще после какой-то:

– Вы – ужасный человек. Если бы я пришел к власти – я бы вас *посадил*.

– Так Алексан Трифоныч, это меня ждет и при других вариантах.

– Но если я сам не сяду – я буду носить вам передачи. Вы будете жить лучше, чем Цезарь Маркович. Даже бутылочку коньяку...

– Там не принимают.

– А я – одну бутылочку Волковòму, одну – вам...

Шутил он шутил, но тюремный воздух всё больше входил и заражал его легкие.

После 72-й:

– Завтра будет у нас разговор совсем в другой плоскости, чем вы предполагаете: мы будем говорить больше не о вас, а обо мне.

(О его ограниченных возможностях?.. о долге совести?.. о том, как он ощущает собственные изменения?.. Такой разговор не состоялся, и я не знаю, чтò имел в виду Твардовский.)

Это настроение (что может быть не избежать и самому *садиться,* верней: тоскливое шевеленье души, как у Толстого в старости: а жаль, что я не *посидел,* мне-то бы – надо...) в тот приезд несколько раз проявилось у него. С ним и в поезде была книга Якубовича-Мельшина «В мире отверженных», уже она готовила его. Он с большим вниманием относился к подробностям зарешеточной жизни, с любопытством спрашивал: «А зачем там лобки бреют?» «А почему стеклянную посуду не пропускают?» По поводу одной линии в романе сказал: «Идти на костер – так идти, но было бы из-за чего». Несколько раз, уже теряя в парах коньяка и тон и ощущение шутки, он возвращался к обещанию носить мне передачи в тюрьму, но чтоб и я ему носил, если не сяду. А к вечеру второго дня, когда по ходу чтения посадка Иннокентия становилась уже неминуемой («теряешь чувство защищенности») да еще после трех стаканов старки он очень опьянел и требовал, чтобы я «играл» с ним «в лейтенанта МГБ», именно: кричал бы на него и обвинял, а он стоял бы по струнке.

Досадным образом чтение романа переходило в начало обычного запоя А.Т. – и это в доме автора-трезвенника! Однако чувство реальной опасности росло в нем не спьяну, а от романа.

Мне пришлось помочь ему раздеться и лечь. Но вскоре мы проснулись от громкого шума: А.Т. кричал и разговаривал, причем на разные голоса, изображая сразу несколько лиц. Он зажег все лампы, какие были в комнате (он вообще любит в комнате побольше света – «так веселей»), и сидел за столом, уже безбутылочным, в одних трусах. Говорил

жалобно: «Скоро уеду и умру». То кричал рёвом: «Молчать!! Встать!!» – и сам перед собою вскакивал, руки по швам. То оскорбело: «Ну, и пусть, а иначе я не могу...» (Это он решался идти на костер за убийственный мой роман!) То размышлял: «Смоктуновский! Что за фамилия? А Гамлета сыграл лучше меня...».

Тогда я вошел к нему, и мы с ним еще сидели час. Покурил, постепенно лицо его мягчело, он начал уже и смеяться. Вскоре я уложил его опять, и больше он не буянил.

На третий день ему оставалось уже немного глав, но он начал утро с требования: «Ваш роман без водки читать нельзя!» Кончая главу «Нет, не тебя!», он дважды вытирал слезы: «Жалко Симочку... Шла как на причастие... А я б ее утешил...» Вообще в разных местах романа его восприятие было не редакторским, а самым простодушным читательским. Смеялся над Прянчиковым или размышлял за Абакумова: «А правда, что̀ с таким Бобыниным поделаешь?» По поводу подмосковных дач и холодильников у советских писателей: «Но ведь там же и честные были писатели. В конце концов у меня тоже была дача».

Он кончил читать, и мы пошли с ним смотреть рязанский Кремль и разговаривать о романе. Обещанный разговор о самом А.Т., видимо, весь усочился в ночной самодиалог.

– И имея такой роман, вы еще могли ездить собирать материалы для следующего?

Я: – Обязательно должен быть перехлёст. На реке нельзя останавливаться, надо захватывать предмостный плацдарм.

Он: – Верно. А то кончишь, отдохнешь, сядешь за следующий, а – хрѐна! не идет!

Твардовский хвалил роман с разных сторон и в усиленных выражениях. Там были суждения художника, очень лестные мне («Энергия изложения от Достоевского... Крепкая композиция, настоящий роман... Великий роман... Нет лишних страниц и даже строк... Хороша ирония в автопортрете, при самолюбовании себя написать нельзя... Вы опираетесь только на самых главных (т.е. классиков)

да и то за них не цепляетесь, а своим путем... такой роман – целый мир, 40-70 человек, целиком уходишь в их жизнь, и что̀ за люди!..», хвалил краткие, без размазанности, описания природы и погоды.) Но были и суждения официального редактора тоже: «Внутренний оптимизм... Отстаивает нравственные устои», и главное: «Написан с партийных позиций(!)... ведь в нем не осуждается Октябрьская революция... А в положении арестанта к этому можно было прийти.»

Это «с партийных позиций» (мой-то роман!..) – примечательно очень. Это не была циничная формулировка редактора, готовящегося «пробивать» роман. Это совмещение моего романа и «партийных позиций» было искренним, внутренним, единственно-возможным путем, без чего он, поэт, но и коммунист, не мог бы поставить себе цель – напечатать роман. А он такую цель поставил – и объявил мне об этом.

Правда, он попросил некоторых изменений, но очень небольших, главным образом со Сталиным: убрать главу «Этюд о великой жизни» (где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию, что Сталин сотрудничал с царской охранкой); и не делать такими уверенно-точными детали быта монарха, в которых я уверен быть не мог. (А я считал: пусть пожнет Сталин посев своей секретности. Он тайно жил – теперь каждый имеет право писать о нем всё по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать *свою* картину, заразить читателей.)

Вообще же о сталинских главах в романе он хорошо сказал: их можно было бы и изъять, но отсутствие их в романе могло бы быть воспринято как «испугался», «побоялся не справиться». В них можно допустить даже некоторую излишность, то есть сверх того, что необходимо для конструкции романа.

А Спиридон показался ему слишком коварен, хитер, нарисован «несколько с горожанскими представлениями». Сперва я удивился: неужели я его не добротно описал?

Но понял: о мужике так много плохого сказано с 20-х годов, что Твардовскому больно уже тогда, когда говорится не одно сплошь хорошее. Это уже – отзывно, идеализация нехотя.

Утром четвертого дня мы неумело пытались пресечь начало запоя А.Т. тем, что не дать ему опохмелиться – однако, он досуха лишился возможности завтракать, не мог взять куска в рот. С детской обиженностью и просительностью улыбался: «Конечно, черемисы не опохмеляются. Но ведь и что за жизнь у них? Какое низкое развитие!» Кое-как согласился позавтракать с пивом. На вокзале же с поспешностью рванул по лестнице в ресторан, выпил поллитра, почти не заедая, и уже в блаженном состоянии ожидал поезда. Только повторял часто: «Не думайте обо мне плохо».

Все эти подробности по личной бережности может быть не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления, какими непостоянными, периодически-слабеющими руками велся «Новый мир» – и с каким вбирающим огромным сердцем.

Итак мой замысел – завлечь Твардовского моим романом в отсутствие Дементьева как будто удался. Твардовский не только хвалил роман – он готовился принять за него и страдания. Он даже торопил меня при расставаньи: скорей переделывать сталинские главы и привозить ему окончательный вариант.

А это уже и выходило за пределы моих ожиданий! Я не мог поверить, чтобы «Круг первый» способен был проскочить в печать в 1964 году. Но тогда зачем же я давал его Твардовскому?.. чего хотел? Пожалуй, опять как с «Иваном Денисовичем»: переложить с себя на него ответственность за эту вещь. Чтобы он знал: вот есть такая. А самому не упрекаться, что ничего не сделал для продвижения. Теперь же я как будто ввязывался в ложную бесплодную возню и только отвлекался от настоящей работы.

Через две недели я привез Твардовскому роман с пере-

делками. Как и все мои пещерные машинописи, эта была напечатана обоесторонне, без интервалов и с малыми полями. Еще предстояло ее всю перепечатывать, прежде чем что-то делать.

А.Т. встретил меня у себя дома такой чистенький, по детскому славный, в бархатной курточке, что невозможно было и предположить, будто он когда-либо выпивает, вообразить его ревущим буйволом в трусах. Он был один: жена поехала ближе разглядывать новокупленную на этих днях дачу в Пахре (свою прошлую он отдал замужней старшей дочери).

А.Т. не только очнулся от запоя, но и протрезвился от восторгов по поводу романа, был настроен гораздо осмотрительнее: уже сокращал список лиц, кому надо дать прочесть. «АлГриг» (Дементьев) был, конечно, первый читатель.

– Он, разумеется, будет против, – не упускал я еще раз предварить. – Но ведь ему шестьдесят лет, он переживал и гонения – до каких пор можно жаться?

– Он эволюционирует на моих глазах! – повторял А.Т.

Правда, в редакции быстро входил в доверие Твардовского Лакшин, его влияние в те годы было противоположно дементьевскому, они частенько схватывались. В одну из схваток Лакшин сказал:

– Мы с Александром Григорьевичем оба – историки литературы и должны понимать, что подлинная история литературы сейчас делается именно в «Новом мире», а не в «институте мировой литературы».

Это хорошо было сказано (и в иные месяцы так и было). Лакшин поддержал «Круг».

Пока роман перепечатывался, Твардовский забирал в сейф все экземпляры и зорко следил, чтобы читали только члены редакционной коллегии (даже редакторам отдела прозы, своим извечным неоценимым работягам, он не дал прочесть!): пуще всего он боялся теперь, чтобы роман не распространился по рукам, как было с «Иваном Денисовичем».

Так сошлось, что три дня Пасхи он читал у меня роман, а обсуждать его редакционная коллегия собралась на Вознесение, 11 июня. Заседание шло почти четыре часа, сам А.Т. в начале объявил его «приведением к присяге». Он сказал, что все эти 40 дней роман был «предметом душевного обихода» для него, что он непрерывно его обмысливает, «считаясь не только с точкой зрения вечности, но и – кàк он может быть прочитан теми, от кого зависит решение». Уязвимыми объявил Твардовский только детали сталинского быта; еще он хотел бы, чтоб я «смягчил резкие антисталинские характеристики»; опустил бы «Суд над князем Игорем» «за литературность». Вступление свое он закончил даже с торжественностью: «Для нормативной критики этот роман не только должен быть спущен под откос, но должно быть возбуждено уголовное преследование против автора. Кто же мы? Уклонимся ли от ответственности? Кто хочет сформулировать? Кто хочет разок бултыхнуться в воду?».

Так оправдало себя чтение романа Твардовским, «оторванное» от заместителей! «Самое первое обсуждение», как сказал А.Т., и было здесь, при мне, и таким торжественным приглашением начинал его главный редактор. Еще входя на обсуждение, я постарался в таком порядке поздороваться, чтобы с Дементьевым – последним. Я ожидал от него сегодня атаки наопрокид. Он же с самого начала вместо удобного развала в кресле примостился зачем-то на подоконник раскрытого окна. За окном грохотала улица. Твардовский не преминул заметить:

– Ты что, потом скажешь: а мне не слышно было, о чем толковали?

Дементьев продолжал сидеть там же, с неудобно свешенными ногами:

– Жарко.

Твардовский не унимался:

– Так ты рассчитываешь воспаление легких схватить? И потом нужное время в постельке пролежать?

Пришлось Дементьеву слезть и сесть со всеми. Он так

был подавлен, что даже не отшучивался. Да ведь давно и верно он предчувствовал, куда их заведет эта игра с тихим рязанским автором.

А прения начать пришлось Кондратовичу. Лицо Кондратовича как бы приспособлено к убежденному выражению уже имеющегося, уже названного мнения. Он тогда умеет и выступать с прямодышащей взволнованностью, заливчато, кажется и умереть за это мнение готовый, так верен службе. Но не представляю себе его лица, озаряемого самостоятельно-зреющим убеждением. Нестерпимо было бы Кондратовичу начать эти прения, если б долголетнее общение с цензурой не уравняло его обоняние с обонянием цензуры. Как внутри военного бинокля уже содержится угломерная шкала и накладывается на всё видимое, так и глаза Кондратовича постоянно видели отсчеты от красной линии опасности.

Порадовался Кондратович, что «не умирал жанр романа», и вот движется. И тут же легонечко проурчал о «подрыве устоев», «чем больше художественная сила изложения, тем больше разоблачения перерастают в символ» («Да нет, – успокоил его А.Т., – об идее коммунизма здесь речь не идет»). Но ведь освобожденный секретарь – это не просто частный парторг Степанов, это – символ! Предлагал Кондратович «вынимать шпильки раздраженности» из вещи там и сям, много таких мест. Нашел он «лишнее» даже в главах о Большой Лубянке. Озаботило его, что ступени лубянские стерты за тридцать лет, «значит падает тень и на Дзержинского?» – Заключение же дал удобное в оба конца, как по «Денисовичу» когда-то: «Напечатать невозможно. Но и не напечатать морально невозможно: как допустить, чтоб эта вещь лежала, а читатели ее не читали бы?»

Задал им задачу Главный! Мягкое окончание чула кололось и верно говорило им, что – нельзя, а Главный понукал: можно! по этому следу!

Затем выступал медленный оглядчивый серый Закс. Он был так напуган, что даже обычная покорность Твар-

довскому сползала с него. Он начал с того, что читать надо второй раз (т.е. выиграть время). Что он рад: все понимают (Твардовский-то не понимал! вот было горе, вот куда он тянул и намекал) исключительную трудность этого случая. Что, собственно, он ничего не предлагает, а ощущает. Ощущает же он вот что: не нужны и не интересны все главы за пределами тюрьмы, не нужно этого распространения на общество. И неправильно, будто солдату на войне труднее, чем корреспонденту: корреспондентов тоже сколько-то убито (Закс и сам был в такой газете). И еще он озабочен вопросом о секретной телефонии. (Не отказал ему цензорский нюх! А Твардовский простодушно возразил: «Ну, это ж совершенно фантастическая вещь! Но *придумана* очень удачно!») И не нравится ему сцена с Агнией и всё это христианство. И где герои философствуют – тоже плохо. И необычно полон набор зацепок, как будто автор специально старался ничего не пропустить. (И еще ему ночь Ройтмана не нравилась очень, но это он отдельно потом сказал мне.)

Тут пришлось мне его прервать:

– Такое уж мое свойство. Я не могу обминуть ни одного важного вопроса. Например, еврейский вопрос – зачем бы он мне нужен? Спокойнее миновать. А я вот не могу.

Привыкли они к литературе, которая боится хоть один вопрос затронуть – и хомутом им шею трет литература, которая боится хоть один вопрос упустить.

А предложение свое сформулировал Закс очень дипломатично:

– Раньше времени сунемся – загубим вещь.

(**Он** – за вещь, за! – и поэтому надо придушить ее еще здесь, в редакции!)

Но знал А.Т. и такие редакционные повороты!

– Страх свой надо удерживать! – назидательно сказал он Заксу.

Лакшин говорил очень доброжелательно, но сейчас я просматриваю свои записи обсуждения (с большой скоростью пальцев я вел их в ходе заседания, тем только

и занят был) и при распухлости нынешних моих очерков не вижу, что̀ бы стоило оттуда выписать. Лакшин принял линию Твардовского – и обо всем романе и о сталинских главах, что без них нельзя. Однако достаточно было ему в этом именно духе сказать, что публицистические заострения как бы вырываются из общего пласта романа, – Твардовский сейчас же перебил:

— Но осторожней! Это – черты его стиля!

Вот таким он умел быть редактором!

Марьямов выступил в нескольких благожелательных словах – присоединился, похвалил, возразил, что не видит подрывания устоев.

– А что думает комиссар? – спросил Твардовский настороженно. Столько раз по стольким рукописям он соглашался с этим комиссаром прежде, чем создавал свое мнение, да вместе с ним он его и создавал! – а сегодня тоном уже предупреждал, что трудно будет Дементьеву спорить.

И Дементьев не поднялся в ту рукопашную атаку, которой я ждал. Из удрученности своей он начал даже как бы растерянно:

– О конкретных деталях говорить не буду... Трудно собрать мысли... (Уж ему-то, десятижды опытному!..) С советами такому большому художнику рискуешь попасть в неловкое положение... Публицистика иногда – на грани памфлета, фельетона...

Твардовский: – А у Толстого разве так не бывает?

Дементьев: – ...но написано гигантски, конечно... Сталинские главы сжать до одной... Если мы на этом свете существуем, не отказались мыслить и переживать – роман повергает в сомнение и растерянность... Горькая тяжелая сокрушительная правда... Имея партийный билет в кармане...

Твардовский: – И не только в кармане!

Дементьев: – ...начинаешь с ним (билетом) соприкасаться... Пашет эта правда так глубоко, что объективно или субъективно выходит за пределы культа личности...

Искусство и литература – великая ценность, но не самая большая. (Разрядка моя. – А.С. Для редакции литературного журнала разве диктатура пролетариата не дороже?) ...Начинает выглядеть непонятно: **ради чего делалась революция**? (Управился! – встал в рост! И пошел в атаку!..) По философской части нет ответов автора: **что же делать**? Только – быть порядочным? (Он звал меня высунуться по грудь!..)

Твардовский: – Это и Камю говорит. А здесь роман – русский.

Дементьев: – Достоевский и Толстой отвечают на ставимые ими вопросы, а Солженицын – не отвечает...

Твардовский: – Ну да, – как же будет с поставкой мяса и молока?..

Дементьев: – Я пока думаю... Еще ничего не понимаю...

И этот не понимает!.. Залёг опять. Задал им Главный!.. Тут Марьямов и Закс о чем-то зашептались, А.Т. буркнул: «Что там шепчетесь? Мол, лучше бы нам *в обход* идти?» Дементьев настолько был взволнован, что принял на свой счет: «Я не шепчусь...».

И еще изумительно повернул Дементьев:

– Нельзя ли автору отнестись к людям и жизни подобрей?

Этот упрек мне будут выпирать потом не раз: вы не добры, раз не добры к Русановым, к Макарыгиным, к Волковым, к **ошибкам** нашего прошлого, к порокам нашей Системы. (Ведь они ж к нам были добры!..) «Да он **народа не любит**!» – возмущались на закрытых семинарах агитаторов, когда их напустили на меня в 1966 г.

Но еще прежде публично секли и меня, и Ивана Денисовича, и особенно несчастную мою Матрену за то, что мы «слишком добренькие», «неразборчиво добренькие», что нельзя быть добрым ко всем окружающим (вот они к нам и не были!), что доброта ко злу только увеличивает в мире зло. («Октябрь» по дурости долго долбил пусто место «непротивленца», думая, что бьет – меня.)

А всё вместе? А вместе это называется **диалектика**...

После членов редакции слово получил я и удивился, что некоторым членам редакции кажется, будто мой роман относится не к культу личности, явлению очень разветвленному и еще не искорененному, а к нашему обществу, здоровеющему на глазах, или даже к самым идеям коммунизма. Однако, случай конечно трудный. Выбор стоит перед редакцией, не передо мной: я роман уже написал, и выбирать мне нечего. А редакция 2-3 раза решит не в ту сторону и, простите за бестактность, обратится в какое-нибудь «Знамя» или «Москву».

Так я наглел. Но щедролюбиво настроенный ко мне Твардовский и здесь не обиделся и не дал никому обидеться, заявив, что я им высказал комплимент: они выше тех журналов.

Всем ходом обсуждения он **выдавил** из редакции согласие на мой роман и теперь с большим удовольствием заключил:

– Чрезвычайно приятно, что впервые (?) никто не остался в стороне: а я, мол, умненький, сижу и помалкиваю. (Именно так все и старались!..) Сейчас за шолоховскими эполетами забыли, что его герой – **не наш** герой, а партию у него представляют только неприятные люди. Вопрос «Тихого Дона» – чего стоит человеку революция? Вопрос обсуждаемого романа – чего стоит человеку социализм и под силу ли цена? Содержание романа не противостоит социализму, а только нет той ясности, которой нам бы хотелось. «Война» здесь дана исчерпывающе, а вот «мир» – лучшее из того, что̀ было в те годы, – не показан. Где же историческое творчество масс?.. Скромное мое пожелание как читателя: о, если бы хоть краем зари выступила и **такая** жизнь! Засветить край неба лишь в той степени, в какой это допускает художник...

Увы, мне уже там нечего было засвечивать. Я считал, что я и так представил им горизонт осветленный.

А Твардовский в эту одну из своих вершинных редакторских минут тоже ни на чем не настаивал:

– Впрочем, будь Толстой на платформе Р.С.Д.Р.П. – разве мы от него получили бы больше?

В тех же днях настоянием Лакшина был заключен со мною и договор на роман (трусливый Закс почернел, съёжился и сумел как-то отпереться: свою постоянную обязанность поставить подпись пересунуть на Твардовского).*

И в нормальной стране – чего еще теперь надо было ждать? Запускать роман в набор, и всё. А *у нас* решение редакции было – ноль, ничто. Теперь-то и надо было голову ломать: как быть?

Но кроме обычной подачи в цензуру на зарез – что̀ мог придумать А.Т.? Опять показать тому же Лебедеву? – «Я думаю, – говорил А.Т., – если Лебедеву что̀ в романе и пригрезится, то **не пойдёт же он**... Это ему самому невыгодно...».

Лебедев, разумеется, н е п о ш е л, – но не пошел и роман. Я наивно представлял, что для схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо, и очень пригодятся мои сталинские главы, тем более, что поношение Сталина возьмет на себя не ЦК, а какой-то писатель. Но был август 1964-го, и, наверно, ощущал же Лебедев, как топка̀ становится почва под ногами его шефа. Уж не раз он, наверно, раскаивался, что запятнал свою репутацию мною.

А.Т. дал ему на пробу только четверть романа, сказав: «Первая часть. Над остальными работает».

Тут сложилось так, что у А.Т. произошло столкновение с Лебедевым из-за Эренбурга. Поликарпов («отдел культуры» ЦК) и Лебедев хотели, чтоб отклонение последней части эренбурговских мемуаров взял на себя Твардовский, то есть, чтоб они не были «запрещены цензурой», но «отклонены редакцией». А.Т. ответил им с достоинством: «Не я его

---

* В тех же днях еще М.А. Лифшиц, ортодокс, имевший долгие годы сильнейшее влияние на Твардовского, дал письменную рецензию на мой роман. Она предваряла собой те тучи критики, которые стянулись бы над романом, будь он напечатан, и может быть отчасти поколебала Твардовского. Пришлось мне письменно защищаться.

сделал лауреатом, и депутатом, и борцом за мир. Я вообще не его поклонник. Но раз уж он и лауреат, и депутат, и всемирно известен, и за 70 лет – значит, надо печатать, что̀ б он ни написал».

Из-за глав моего романа раздражение еще усилилось. Лебедев объявил их клеветой на советский строй. А.Т. попросил объяснений. Лебедев ответил единственным примером: «Разве наши министерства работали ночами? Да еще так – в шашки играют...».* И посоветовал: «Спрячьте роман подальше, чтобы никто не видел». А.Т. ответил твердо: «Владимир Семенович, я вас не узнаю. Еще недавно ка̀к мы с вами относились к подобным рецензиям и рецензентам?» Лебедев: «Ах, если бы вы знали, кто недоволен теперь и жалеет, что «Иван Денисович» был напечатан!»

(Из других источников, достоверно: Н.П. Хрущева жаловалась одному генералу-пенсионеру: «Ах, если бы вы знали, **как нам досталось** за Солженицына! Нет уж, больше вмешиваться не будем!»)

Да и то сказать, не проходит чудо дважды по одной тропочке. Попрекать ли Лебедева, что он отшатнулся? Не удивиться ли верней, как он первый-то раз смелость нашел?

---

* Совсем недавно мне сказали, что Лебедев был – чекистом... По расчету времени – при Сталине. Тогда, конечно, не в шашки они играли.

** После свержения Хрущева Лебедев, по новой круговой поруке *верхов* только должность потерял, но не свергнут был из знатности и не впал в нищету. К.И. Чуковский встречал его в 1965 году в барвихском санатории. Бывший «ближний боярин» писал какие-то мемуары и говорил Чуковскому, что опровергает все мои неточности о сталинском быте (заели-таки его мои главы). Еще с новым 1966 годом он меня поздравил письмом – и это поразило меня, так как я был на краю ареста (а может быть он не знал?). До него дошли слухи, что мы поссорились с Твардовским, и он призывал меня к примирению. Мне было очень тошно в то время, и я не оценил может быть самого бескорыстного душевного движения его. А потом и с Твардовским у меня целый почти год касаний не было. Недавно же я узнал: именно в тот год, 1966-й, Лебедев умер, не старше лет пятидесяти. На похороны бывшего всесильного советника не пришел никто из ЦК, никто из партии, никто из литературы – один Твардовский. Представляю его дюжую широкоспинную фигуру, понурившуюся над гробом маленького Лебедева.

На том и кончилось пока «движение» «Круга». Правда, еще в проспекте на 1965 год Твардовский посмел объявить, что я «работаю над большим романом для журнала».

Я хотел молчать и писать, я хотел воздержаться от всякого елозения моих вещей – и сам же не выдерживал. Потому что трудно сообразить истинный смысл обстановки и свою верную линию: а вдруг я что-то упускаю? Так по нескольким театрам протаскал я «Свет, который в тебе», но не имела та пьеса успеха у режиссеров. А весной 64-го, вопреки своей тактике осторожности, просто толчком, я дал в несколько рук свои «Крохотки» на условии, что их можно не прятать, а «давать хорошим людям».

Эти «Крохотки», напротив, имели большой успех. Они очень скоро распространились в сотнях экземпляров, попали в провинцию. Неожиданнее всего было для меня то, что откровенная защита веры (давно ли в России такая позорная, что ни одна писательская репутация ее бы не выдержала?) была душевно принята интеллигенцией. Самиздат прекрасно поработал над распространением «Крохоток» и прорисовал недурной выход для писателя, которого власти решили запретить. Распространение «Крохоток» было такое бурное, что уже через полгода – осенью 64-го, они были напечатаны в «Гранях», о чем «Новый мир» и я узнали из письма одной русской эмигрантки.

Твардовскому это нелегальное движение даже самых моих мелких (и уже отвергнутых им!) вещей было болезненно неприятно: тут и ревность была, что-то моё идет помимо его редакторского одобрения; и опасения, что это может «испортить» роману и вообще моей легальной литературе (а в чем еще можно было испортить?..). И вот как он менялся или какие были грани в нем самом: давно ли он превзошел себя в усилиях выдвинуть безнадежный мой роман, а вот уже брезгливо спрашивал по поводу одной насильно прочтенной моей крохотки (его принудили в пахринской компании, он почти с отвращением читал, – еще и распространялось не через него!):

– Творец – и с большой буквы? Что это?..

А уж известие, что «Крохотки» напечатаны заграницей, было для него громовым ударом. Со страхом прочли они в своем цензурном справочнике, какой это ужасный антисоветский журнал – «Грани». (Там же не было написано, какие в нем бывают статьи о Достоевском, о Лосском...) Впрочем, полгода понадобилось «Крохоткам», чтобы достичь Европы, – для того же, чтоб о случившемся доложили вверх по медлительным нашим инстанциям, и инстанции бы прочухались, – еще 8 месяцев...

А пока что произошла «малая октябрьская» – сбросили Никиту. Это были тревожные дни. Такой формы «просто переворота» я не ожидал, но к возможной смерти Хрущева приуготовлялся. Выдвинутый одним этим человеком – не на нем ли одном я и держался? С его падением не должен ли был бы *загреметь* и я? Естественные опасения для вечно гнаного лагерника – ведь я и вообразить себе не мог всей истинной силы своей позиции. Беззвучный и бездеятельный до снятия Хрущева, я намеревался теперь стать еще беззвучней и еще бездеятельней. Первым моим рывком была срочная поездка к Твардовскому, на новую дачу. Я был настроен тревожно, он – бодро. Решение пленума ЦК было для него обязательным не только административно, но и морально. Раз пленум ЦК почел за благо снять Хрущева – значит действительно терпеть его эксперименты дальше было нельзя. Два года назад А.Т. весь заполнен был восхищением, что во главе нас стоит «такой человек». Теперь он находил весьма обнадеживающие стороны в новом руководстве (с ним «хорошо говорили *наверху*»). Да и то признать, последние месяцы хрущевского правления жилось Твардовскому невыносимо. Минутами он просто не видел, как можно существовать журналу. Трупоедке «Москве» можно печатать и Бунина (кромсая), и Мандельштама, и Вертинского, «Новому миру» – никого, ничего, и даже булгаковский «Театральный роман» два года удерживали – «чтобы не оскорбить МХАТа». – «Нужен верноподданный рассказ от вас», – грустно говорил он, вовсе и не прося.

Я приехал с довольно паническим проектом: **подме-**

нить роман романом. То есть, «Круг», которого еще пока никто не знает, кроме Лебедева, утерявшего власть, я заберу из сейфа журнала, а вместо этого вскоре дам «Раковый корпус», и это будет считаться «тот самый роман», только переименованный автором. Я опасался, что вот-вот придут проверить сейф «Нового мира», изымут мой роман – и сверзимся мы с Твардовским далеко в преисподнюю. Теперь уж я считал оплошным неразумием, что вытащил роман из подполья и дал читать в редакцию. Теперь я метался – как понезаметнее прильнуть к земле и снова слиться с серым цветом ее? Как бы мне по-прежнему тихо писать, расставшись со всякими издательствами?

Но – плохо я еще понимал Твардовского, предлагая ему такую авантюрно-лагерную затею. Он слишком уважал и свой журнал и свой пост, чтобы действовать методом «заначки» и подмена. Да и: что̀ же прятать, если в романе «нет ничего против идеи коммунизма», как мы согласились на заседании редакции?.. Не мог же я теперь пятиться: вы не доглядели! – это – опасней гораздо!

А.Т. боялся другого, он еще с лета угрожающе выпытывал не ходит ли роман по рукам? «Есть слухи – его читают», – на всякий случай припугивал он. Он счел бы это с моей стороны черным предательством. Роману закрыли все пути, может быть многие годы он не получит никакого движения – но я, автор, не смел никому давать его читать. В этом понимал А.Т. смысл нашего договора с редакцией.

Впрочем, в ожидании расправы, и мне было не до распространения.

На сковыре Никиты я потерял один полный комплект всего своего написанного: это было второе (из двух) полное хранение, вдали от Москвы. Хранитель имел от меня разрешение в случае опасности всё сжечь. Падение Хруща ему показалось (в глуши не оценишь) такой опасностью: переворот, начнутся повальные обыски и аресты. И он сжег. Впрочем, всего было по 3-4 копии, только «Пир победителей» – в двух, и теперь остался лишь один в Москве.

Хрущевское же падение подогнало меня спасать мои

вещи: ведь все они были здесь, все могли быть задушены. В том же октябре с замиранием сердца (и удачно) я отправил «Круг Первый» на Запад. Стало намного легче. Теперь, хоть расстреливайте!

Однако, в свержении Хрущева было для меня и малое облегчение – малое, почти призрачное, которое скажется не сейчас, позже гораздо, но оно было: уход Хрущева освобождал меня от долга чести. Взнесенный Хрущевым, я при нем не имел бы настоящей свободы действий, я должен был вести себя *благодарно* по отношению к нему и Лебедеву, хоть это и смешно звучит для бывшего зэка – с простой человеческой благодарностью, которую не может отменить никакая политическая правота. Освобожденный теперь от покровительства (да было ли оно?), я освобождался и от благодарности.

Я верил, что лучшие времена будут и даже суждено мне до них дожить, что еще наступит время полной публичности. А пока я избирал себе путь многолетнего молчания и скрытого труда. По возможности не делать ни одного общественного шага, дать себя забыть (о, если бы забыли!..). Никаких попыток печатания. А самому – писать, писать. Разве это плохо?.. Мне казалось – мудрая линия. А это было – самоуничтожение.

Полгода потом я и в «Новом мире» не был – нечего делать. Всю зиму 64/65 гг. работа шла хорошо, полным ходом я писал «Архипелаг», материала от зэков теперь избывало. Торопя судьбу, нагоняя упущенные полстолетия, я бросился в Тамбовскую область собирать остатки сведений о крестьянских повстанцах, которых уже сами потомки и родственники заученно звали *бандитами*.

Гонений мне как будто не добавилось. Как заткнули мне глотку при Хрущеве, так уж не дотыкали плотней.

И я опять распустился, жил как неугрожаемый: затевал переезд в Обнинск, близ него купил чудесную летнюю дачку на р. Истье у села Рождества. Разрывался писать и «Архипелаг» и начинать «Р-17».

Впрочем, новое руководство отличалось вообще большой

осмотрительностью и очень медленно что-нибудь решало или изменяло. Только в апреле 1965 года у «агитпропа», или как он там называется, появился начальник – Дёмичев. Но тут Твардовский был в долгом упадке, в больнице и санатории (чисто-русский способ! из самого беспросветного тупика, напряжения, обиды издательской работы он мог на две, на три недели, а в этот раз и на два месяца выйти по немыслимой алкогольной оси координат в мир, не существующий для его сотрудников-служащих, а для него вполне реальный, и оттуда вернуться хоть с телом больным, но с поздоровевшей душой). Лишь в июле Твардовский явился к Демичеву на первый прием. Прием прошел доброжелательно, и высказал Демичев, что хотел бы видеть и этого Солженицына. Где меня искать, Твардовский не знал и не обещал, но в этот день меня с неудержимостью вдруг потянуло в «Новый мир» – толкуй, что нет передачи мыслей и воль. Оттуда А.Т. созвонился тотчас, и назавтра, 17 июля, мне был назначен прием.

Почти вся редакция сидела в кабинете Твардовского. Давно я их всех не видел, и показалось мне чуждо и скучно с ними. В голове-то был – «Архипелаг» да Тамбов 1921-го года, а они хором требовали от меня «проходимого рассказика», будто бы «публикация чего-нибудь» моего после двухлетнего перерыва (и в знак лойяльности к новому Руководству) сейчас «очень важна».

Для них и для лойяльного «Нового мира» – конечно, да. А для меня «проходимый рассказик» был бы порчей имени, раковиной, дуплом. Сила моего положения была в чистоте имени от сделок – и надо было беречь его, хоть десять лет еще молчать.

А еще все они (вслед за Твардовским, правда; это очень наглядно было у них, как они единодушно поддерживали мнение шефа по любым пустякам) настаивали, чтоб для завтрашнего визита я сбрил недавно отпущенную бороду. Независимый и беспартийный русский писатель, идя представляться начальнику партийного агитпропа (с какой вообще стати? зачем?), я должен был непременно принять

тот безликий вид, к которому привыкли в партаппарате. И так серьезно меня в этом убеждали, будто серьезней и дела в редакции не было. Я трижды, четырежды уклонялся (не прямо конечно о партаппарате) – тогда стали требовать, чтоб я шел не в легкомысленной апашке да еще на выпуск, а в черном костюме при галстуке – это в июльскую жару!

Пытался я поговорить с А.Т. вдвоем, но получилась пустота, ничего. Он возбужден и даже окрылён был тем, что с ним ласково говорили, и очень много возлагал на мою завтрашнюю встречу: что от нее укрепится и мое положение и новомирское.

А я шел на встречу с такой задачей: как можно дальше продвинуть ничейное сосуществование. Я не опасен вам нисколько – и оставьте меня в покое. Я очень медленно работаю, и у меня почти ничего не написано, кроме того что напечатано и в редакции. И в конце концов я – математик, и готов вернуться к этой работе, раз литература не кормит меня.

Это был – исконный привычный стиль, лагерная «раскидка чернухи»; и прошло великолепно. Сперва очень настороженный и недоверчивый, Демичев в ходе двухчасовой беседы потеплел ко мне и во всё поверил. В его тихом голосе совсем отсутствовало живое чувство, но к концу даже проявилось – облегчением. Он был крайне невзрачен, и речь его была стёртая.

К этому времени уже начала проявляться та «клевета с трибуны», которой в открытом обществе никак не применить, потому что обвиняемый может всегда ответить, а в нашем закрытом – форма беспромашная и убойная: печать хранит молчание (это – для Запада, чтобы к травле не привлекалось внимание), а на закрытых собраниях и инструктажах ораторы по единой команде произносят многозначительно и уверенно любую ложь о неугодном человеке. Он же не только доступа не имеет на те собрания и инструктажи – для ответа, но долгое время не знает даже, где и что о нем говорили, лишь застаёт себя охваченным

стеною глухой клеветы.

Еще были только начатки этой клеветы, еще и форма не прорисовалась, но уже объявили, что я изменил родине, был в плену, был полицаем. Подавать в суд? Но клеветников слишком много, и они занимают официальные посты.

Демичев смотрел строго-сочувственно, сочувственно-осуждающим глазом (второй – не совсем в порядке).

Сам направляя разговор, я затеял отвечать на газетную критику «Матрениного двора». Чт̀о за глупый журналистский упрек: почему я не поехал за 20 километров показать передовой колхоз?* – ведь я не журналист, а учитель, и работаю там, куда меня назначили. И потом, чем мрачна моя колхозная картина, если «Известия», разнося меня,** сами подтвердили, что не одна матренина деревня, но и весь *куст* колхозов, и не в 1953-м, но через 10 лет, **еще не собирает столько хлеба, сколько сам же сеет в землю**?! Хорошенькое сельское хозяйство – устройство по сгноению зерна!.. А тип женщины, бескорыстной, бесплатно работающей хоть на колхоз, хоть на соседей? – разве не хотим мы видеть бескорыстными всех?

Он всё молчал, и я задал вопрос, который не полагается задавать *снизу вверх:*

– Вы – согласны со мной? Или хотите возразить?

Призыв был слишком неожиданным, мнение еще не избрано (да и не могло быть избрано единолично им!), аргументы мои никак не подходили под установленную у них систему фраз, и он закинул вопрос далеко в сторону:

– Всегда ли вы понимаете, **что** пишете и **для чего**?

Тихо!.. Я-то, конечно, всегда понимаю, для этого я достаточно испорчен русской литературной традицией. Но объявлять об этом рано. Осторожными шагами я иду по скользкому:

---

* Критики просто не заметили, я упомянул: «соседнего председателя», который поднял колхоз на лесной спекуляции.

** 30 марта 1963 г.

– Смотря в каких вещах. «Для пользы дела» – да: утвердить ценность веры у молодежи; напомнить, что коммунизм надо строить в людях прежде, чем в камнях. «Кречетовка» – с заведомой целью показать, что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейства, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе. (Впрочем, Демичев сказал позже, что ни «Пользы дела», ни «Кречетовки» не читал и *не подготовлен* к разговору со мной.) А в «Матрене» и «Денисовиче» я... *просто шел за героями*. Никакой цели себе не ставил.

(Это место окажется для него ключевым в разговоре. В нескольких публичных выступлениях он будет рассказывать одними и теми же словами, как он припер меня к стенке вопросом – з а ч е м я пишу, и я не нашелся ничего сказать, кроме как повторить устаревший и уже не годный для соцреализма довод – «иду за героями». А их надо вести за собой...)

Защищая «Денисовича», я дуплетом ударил по книжке Дьякова (интеллектуал-то высокий, да почему кирпичиков не кладет на социализм? почему за 5 лет только и выполнил полчаса бабьей работы – сучья обрубал?..) и по рассказам Г. Шелеста (как его излюбленный герой мог брать хлеб и еду, воруемую у работяг, и притом конспектировать Ленина?). Но поведение шелестовского старого коммуниста не показалось Демичеву предосудительным, напротив тут-то он с готовностью мне возразил:

– А разве Иван Денисович не замотал лишнюю порцию каши?

– Так то ж Иван Денисович! Он же интеллектуально не дорос, он Ленина не конспектирует! Он же лагерем испорчен! Мы ж его жалеем, что он только и борется за пайку.

– Да, – важно сказал Дёмичев. – Хотелось бы, чтоб он больше прислушивался к тамошним сознательным людям, которые могли бы дать ему объяснение происходящего...

(А где т ы был со своим объяснением, когда это происхо-

дило? Что б вы с той повестью бедной сделали, если б я еще всё объяснил?..)

Я: – Для охвата всей лагерной проблемы потребовалась бы еще одна книга. Но – (выразительно) – не знаю, нужно ли?

Он: – Не нужно! Не нужно больше о лагере! Это тяжело и неприятно.

Повторяя, что я ни в чем написанном не раскаиваюсь и снова всё написал бы так же, я внедрял в него свой замысел: что очень медленно работаю и поэтому подумываю вернуться к математике (это он принял явно без тревоги за отечественную литературу); что очень бываю недоволен своими вещами и часто уничтожаю написанное.

– Скажу вам совсем нескромно: мне хочется, чтобы вещи мои жили двадцать, тридцать и даже пятьдесят лет.

Он простил мне такую нескромность и с теплотой указал на Гоголя, сжегшего 2-ю часть «Мертвых душ».

– Во-во! И я так же делаю.

Очень он был доволен.

– А сколько времени вы писали «Ивана Денисовича»?

– Несколько лет, – вздохнул я. – Не сочтешь.

Я всё ждал вопроса о «Круге», который год уже томился в сейфе «Нового мира». Я ждал вопроса о «Крохотках», напечатанных на Западе. Но руководитель агитпропа ни о чем этом, конечно, не знал.

На градусе взаимной откровенности выдал я ему и свои творческие задушевные планы: «Раковый корпус».

– Не слишком ли мрачное название?

– Пока условное. Там будет работа врачей. И душевное противостояние смерти. И казахи, и узбеки.

– А это не будет слишком пессимистично? – всё-таки тревожился он.

– Не-ет!

– А вы вообще – пессимист или оптимист?

– Я – неискоренимый оптимист, разве вы не видите по «Ивану Денисовичу»?

И изложил он мне, чего не надо и чего не хочет партия в произведениях (это очень четко, уже готовое было у него в голове):

1) пессимизма;

2) очернительства;

3) тайных стрел.

(Я поразился, как точно было выражено третье, да будто прямо обо мне. Узнать бы, кто там у них формулировал?..)

«Тайные стрелы» я замял, а «очернительство» хотел термин уточнить. Вот например, богучаровские мужики, которые княжну Марью не отпускают эвакуироваться (а уж сами-то верно ждут Наполеона) – это очернительство патриотической войны или нет?

Но, видно, не читал Демичев той книги, не вышло спора. А разговор складывался всё лучше и лучше.

– Мне нравится, что вы не обиделись на критику и не огорчились, – уже не без симпатии говорил он. – Я боялся, что вы озлоблены.

– Да в самые тяжелые минуты я никогда озлоблен не был.

По мере разговора он несколько раз мне выкладывал даже и без нужды: «Вы – сильная личность», «вы – сильный человек», «к вам приковано внимание всего мира». – «Да что вы! – удивлялся я. – Да вы преувеличиваете!» (Он-таки и преувеличивал: на Западе свыше политической моды тогда почти и не понимали меня.)

– Приковано, – недоумевал он и сам. – Судьба сыграла с вами такую шутку, если можно так выразиться.

Всё более ко мне расположенный, уж он взялся меня даже утешать:

– Не всех писателей признают при жизни, **даже** в советское время. Например, Маяковский.

(Ну и я ж этого хочу! – не будем друг друга трогать, отложим дело до вечности.)

– Я вижу, вы действительно – открытый русский человек, – говорил он с радостью.

Я бесстыдно кивал головой. Я и был бы им, если б вы

нас не бросили на Архипелаг ГУЛаг. Я и был бы им, если б за 45 лет хоть один бы день вы нам не врали – за 45 лет, как вы отменили тайную дипломатию и тайные назначения, хоть один бы день вы были с нами нараспашку.

– Я вижу, вы действительно – очень скромный человек. С Ремарком у вас – ничего общего.

Ах, вот, оказывается, чего они боялись – с Ремарком!.. А русской литературы они уже отучились бояться. Сумеем ли вернуть им этот навык?

Я радостно подтвердил:

– С Ремарком – ничего общего.

Наконец, всеми своими откровенностями я заслужил же и его откровенность:

– Несмотря на наши успехи, у нас тяжелое положение. Мы должны вести борьбу не только внешнюю, но и внутреннюю. У молодежи – нигилизм, критиканство, а некоторые деятели (??) только и толкают и толкают ее туда.

Но не я же! Я искренно воскликнул, что затянувшееся равнодушие молодежи к общим и великим вопросам жизни меня возмущает.

Тут выяснилось, что мы с ним – и года рождения одного, и предложил он вспомнить нашу жертвенную горячую молодость.

(Была, товарищи, была... Да только история так уныло не повторяется, чтоб опять... У нее всё-таки есть вкус.)

Оба мы очень остались довольны.

Я не просил его ни печатать сборника моих рассказов, ни помочь мне с пьесами. Главный результат был тот, что совершенно неожиданно, без труда и подготовки, я укрепился при новых руководителях и теперь какое-то число лет могу спокойно писать.

– Они не получили второго Пастернака! – провожал меня секретарь по агитации.

Нет, среднему инженеру или математику XX века никогда не привыкнуть к тем черепашьим скоростям, с которыми Старая Площадь оборачивается получать ин-

формацию в собственном аппарате! Только 9 месяцев прошло, как «Крохотки» напечатаны в «Гранях» – откуда ж Демичеву знать?.. Поликарпов узнал только месяц назад, показывал Твардовскому и спрашивал – мои ли. Твардовский ответил, что он уверен: большинство – не мои.

Ведь Твардовский же не видел всех – вот и у в е р е н, что не мои! И так уверен, что посылая меня к Демичеву, даже не вспомнил о том разговоре, не предупредил – а я ведь сказал бы, что все мои! Тут номенклатурная логика: подчиненному (мне) не надо знать всего, что̀ знает начальник (он). И подчиненный (я) не мог же написать такого, о чем не поставлен в известность начальник (он).

Но вдруг случайно узнал А.Т., что журнал «Семья и школа» собирается часть из этой серии напечатать на родине. Он пришел почти в смятение: ведь он поручился перед начальством, что «Крохотки» – не мои! К тому ж его язвила ревность: ведь никто другой (и ни сам я!) не имел прав на опубликование моих произведений, а только «Н. мир». А «Крохотки» он три года назад определил как «заготовки» – о каком же печатании речь? И наконец, раз произошло такое ужасное несчастье, что они напечатаны на Западе, значит на родине они не будут напечатаны н и к о г д а! (Это понимание зарубежных изданий как безнадежной потери вещи и унижения для автора сохранялось у Твардовского все годы, что я знал его. С такой же брезгливостью он относился и к Самиздату. Признавал он только то открытое казенное печатание, которое авторам его журнала было закрыто как никому.)

И стал он меня немедленно *вызывать*. Наверно, и в других издательствах так, но я по «Н. миру» знаю и не перестаю удивляться: что-то не так автор сделал – и *вызывается* в свою редакцию! Автор рассматривается, видимо, как состоящий на государственной службе в своем журнале и, как на всякой другой службе, может быть своим начальником востребован.

Однако, в том августе не помогли Твардовскому меня разыскать, и он уехал в Новосибирск (где, кстати, на

читательской конференции уже подали записку: «Правда ли, что Солженицын служил в гестапо?»).

Я могу только наощупь судить, какой поворот готовился в нашей стране в августе-сентябре 1965 года. Когда-нибудь доживем же мы до публичной истории, и расскажут нам точно, как это было. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с «железным Шуриком» Шелепиным. Говорят, предложил Шелепин: экономику и управление зажать по-сталински – в этом он, будто бы, спорил с Косыгиным, а что идеологию надо зажать, в этом они не расходились никто. Предлагал Шелепин поклониться Мао-Цзе-Дуну, признать его правоту: не отсохнет голова, зато будет единство сил. Рассуждали сталинисты, что если не в возврате к Сталину смысл свержения Хрущева – то в чем же?.. и когда же пробовать? Было собрано в том августе важное Идеологическое Совещание и разъяснено: «борьба за мир» – остаётся, но **не надо разоружать** советских людей (а – непрерывно натравливать их на запад); поднимать воинский дух, бороться против пацифизма; наша генеральная линия – отнюдь не **сосуществование**; Сталин виноват **только** в отмене коллективного руководства и в незаконных репрессиях партийно-советских кадров, больше ни в нем; не надо бояться слова **администрирование**; пора **возродить полезное понятие «враг народа»**; дух ждановских постановлений о литературе был верен; надо **присмотреться** к журналу «Новый мир», почему его так хвалит буржуазия. (Было и обо мне: что исказил я истинную картину лагерного мира, где страдали только коммунисты, а враги сидели за дело.)

Все шаги, как задумали шелепинцы, остаются неизвестными. Но один шаг они успели сделать: арест Синявского и Даниэля в начале сентября 1965 года. («Тысячу интеллигентов» требовали арестовать по Москве подручные Семичастного.)

В то тревожное начало сентября я задался планом забрать свой роман из «Н. мира»: потому что придут,

откроют сейф и... Рано всё было затеяно, надо спешить уйти в подполье и замаскироваться математикой.

6 сентября я был у Твардовского на даче вопреки его начавшемуся запою. Тяжелыми шагами он спустился со второго этажа, в нижней сорочке, с мутными глазами. Даже с трезвым мне было бы сейчас трудно объясняться с ним, а тем более с пьяным: он оседлал только главные свои обиды, а остального не видел, не слышал, не воспринимал.

– Я за вас голову подставляю, а вы...

Да и можно его понять: ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов, расчетов, ходов, была скрыта от него и проступала неожиданно.

В путаном разговоре, не собираемом ни к какому стержню, А.Т. выговаривал:

– что я не имею права действовать самостоятельно, «не посоветовавшись» (то есть, не спрося дозволения);

– что я не должен был разрешать «Крохотки» «Семье и школе».

– а еще – о бороде! о бороде... Вот удивительно засела в нем эта борода. Колебались царства, и головы падали, а он – о бороде... Впрочем теперь, по пьяной откровенности, объяснил:

– Говорят, вы хотите так скрыться...

– Кто говорит? Кого вы слушаете?

– Я не обязан вам отвечать... Говорят: он носит бороду не спроста... Удобный способ перейти границу...

– Да в чем же борода помогает перейти границу?!

– А – сбрить и незаметно перейти.

Расплывчатый пьяный прищур, заменяющий многознание и догадку... Заодно высказывает А.Т. и кàк говорят в «отделе культуры» ЦК: что, наверно, я сам передал «Крохотки» в «Грани».

Мне горько стало. Не потому, что так говорят обо мне в «отделе культуры», а что Твардовский захвачен этим сам и не имеет силы сопротивляться.

Всё же я кое-как пробил своё: хочу забрать «Круг».

«Для переделки синтаксиса»...

Не верит.

Открываюсь: не считаю надежным их сейф.

Это дико ему – что ж может быть надежней сейфа в официальном советском учреждении?! Хоть я и автор, но закабаленный договором, и журнал имеет право не отдать мне романа. Тем более, что я настаиваю забрать подчистую все четыре экземпляра.

Но А.Т. – добр, верит мне, и как ему ни жаль, обещает на завтра разрешительный звонок в редакцию – чтоб отдали.

Ну, кажется, всё хорошо. Мне бы только пересидеть «железного Шурика»! Рано я вылез... Рано...

7 сентября из редакции с трудом добиваюсь Твардовского к дачному телефону. Голос его слаб, но осмыслен, не вчерашний. Он ласково просит меня: не берите, не надо! У нас – надежно, не надо! Хорошо, возьмите три экземпляра, оставьте один.

Ему – как матери отпускать сыновей из дому. Хоть одного-то оставьте!..

Но я – одержим: мне нужны все! (Я вижу лучше! я вижу дальше! я решил! Я помню, как роман Гроссмана забрали именно из новомирского сейфа.)

Суетливость моя! Вечно меня подпирает, подкалывает предусмотреть на двадцать ходов вперед.

Забираю все четыре. Отпечатанные с издательским размахом, они распирают большой чемодан, мешают даже замкнуть его.

С чем бы другим, секретным, я сейчас поостерегся, пооглянулся, замотал бы следы. Но ведь это – открытая вещь, подготовленная к печатанию. Я только уношу ее из угрожаемого «Нового мира». Я несу ее, собственно, даже не прятать.

Правда, я несу ее на опасную важную квартиру, где еще недавно хранился мой главный архив – тот самый, в новогоднюю ночь увезенный из Рязани. Но основную часть похоронок, всё сокровище, я недавно оттуда забрал,

осталось же второстепенное, полуоткрытое, и хозяин квартиры В.Л. Теуш, пенсионер, антропософ, уезжая на лето, передал все эти остатки своему прозелиту – антропософу, молодому И. Зильбербергу.

Бывают минуты, когда слабеет, мешается наш рассудок. Когда излишнее предвидение обращается в грубейшую слепоту, расчет – в растерянность, воля – в бесхарактерность. (Без таких провалов мы не знали бы себе границ.) Теуш – вполне достойный человек, но ведь – неаккуратен, путаник, не строг в конспирации, и это качество я за ним знал, – однако больше трех лет как-то всё обходилось, хотя словоохотлив хозяин по телефону, да и сам написал криминальную работу об «Иване Денисовиче», и даже слух мы имеем, что его работа лежит уже в ЦК, – всё как нипочем! У такого хранителя недавно забирая переносную *заначку* с моим архивом, я не проверил ее содержимое, не устроил *шмона,* действительно ли только второстепенное держится у Теуша открыто. А он, нарушая наш уговор, время от времени вынимал почитать-перечитать: то «Пир победителей» (последний экземпляр!), то «Республику труда», то лагерные стихи, еще чудом – не остальное некоторое. **И ничего этого по небрежности не вкладывал обратно**! Без меня это всё найдя, он спокойно отправил на лето Зильбербергу, мне неизвестному, мной не проверенному.

И вот теперь на квартиру Теуша – нашел я надежней новомирского сейфа! – я припер чемодан с четырьмя экземплярами «Круга». (Когда тащил его, как будто удушенным, загнанным ощущал себя на московских улицах: оттого, наверно, что в спину мне упирались прожектора совиных глаз.)

Да смех один, насколько был потерян мой рассудок: я по-мужски решил уходить в глубину и по-ребячьи поверил вздорным завлечениям Ю. Карякина, что его оч-чень либеральный шеф Румянцев, теперь редактор «Правды», собирается напечатать одну-две безопасных главы из «Круга». И оставив у Теуша три экземпляра, я четвертый

потащил для «Правды». Обезумел.

Вечером 11 сентября – в щель между арестами Синявского и Даниэля, – гебисты одновременно пришли и к Теушам (взяли «Круг») и изо всех друзей их – именно к молодому антропософскому прозелиту – за моим архивом.

В мой последний миг, перед тем как начать набирать глубину, в мой последний миг на поверхности – я был подстрелен!

Подстрелен.

Подстрелен...

ПОДРАНОК

С тех пор еще не прошло двух лет, а за 22 года с моего ареста потускнело чувство, – но тяжелей того ареста пережил я это новое крушение. Арест был смягчен тем, что взяли меня с фронта, из боя; что было мне 26 лет; что кроме меня никакие мои сделанные работы при этом не гибли (их не было просто); что затевалось со мной что-то интересное, даже увлекательное; и совсем уже смутным (но прозорливым) предчувствием – что именно через этот арест я сумею как-то повлиять на судьбу моей страны. (Фантазии это представлялось наивно: что в Москве очень заинтересуются моими мыслями о выпрямлении того, что̀ Сталин накривил.)

А провал мой в сентябре 1965 года был самой большой бедой за 47 лет моей жизни. Я несколько месяцев ощущал его как настоящую физическую незаживающую рану – копьем в грудь, и даже напрокол, и наконечник застрял, не вытащить. И малейшее мое шевеление (вспоминанье той или другой строчки отобранного архива) отдавалось колющей болью.

Главный удар был в том, что прошел я полную лагерную школу – и вот оказался глуп и беззащитен. Что 18 лет я плел свою подпольную литературу, проверяя прочность каждой нити; от ошибки в едином человеке я мог провалиться в волчью яму со всем своим написанным – но не провалился ни разу, не ошибся ни разу; столько было положено усилий для предохранения, столько жертв для самого писания; замысел казался грандиозным, еще через

десяток лет я был бы готов выйти на люди со всем написанным, и во взрыве той литературной бомбы нисколько не жалко было бы сгореть и самому; – но вот один скользòк ногой, одна оплошность, – и весь замысел, вся работа жизни потерпела крушение. И не только работа моей жизни, но заветы миллионов погибших, тех, кто не дошептал, не дохрипел своего на полу лагерного барака – тех заветы я не выполнил, предал, оказался недостоин. Мне дано было выползти почти единственному, на меня так надеялись черепа погребенных в лагерных братских могильниках – а я рухнул, а я не донёс их надежды.

Все время сжатое средостение. Близ солнечного сплетенья тошнотно разбирает, и определить нельзя, чтò это: болезнь души или предчувствие нового горя. Нестерпимое внутреннее жжение. Палит – и нечем помочь. Долгая сухость горла. Напряжение, которое невозможно расслабить. Ищешь спасенья во сне (как когда-то в тюрьме): спал бы, спал бы и не вставал! видеть выключенные беззаботные сны! – но через несколько часов отпадают защитные преграды души, и палящее сверло вывинчивает тебя к яви. Каждый день изыскивать в себе волю к прямохождению, к занятиям, к работе, делая вид, что это нужно и что это можно для души, а на самом деле каждые пять минут мысль отвлекается: зачем? теперь – зачем?.. Вся жизнь, которую ведешь – как будто играешь роль: ведь знаешь, что на самом деле всё лопнуло. Впечатление остановившихся мировых часов. Мысли о самоубийстве – первый раз в жизни и, надеюсь, последний. (Одно укрепляло: что плёнка-то моя – уже была на Западе! Вся прежняя часть работы не пропадала!)

В таком состоянии – правда с перерывами к движению и просветлению, я прожил три месяца. Импульсивно я производил защитные действия – самые неотложные, самые ясные (иногда, впрочем, тоже ошибочные), но я не мог верно сообразить своего общего положения и верно избирать поступки. Я реально ожидал ареста, почти каждую ночь. Правда, для ареста я осваивал себе новую твердую

линию: я откажусь от каких-либо показаний; я объявлю и х недостойными вести следствие и суд над русской литературой; я потребую лист «для собственноручных показаний» (по УПК я имею на это право) и напишу: «Сознавая свою ответственность перед предшественниками моими в великой русской литературе, я не могу признать и принять жандармского надзора за ней. Я не буду отвечать ни на какие вопросы следствия или суда. Это мое первое и последнее заявление». (Никуда не денутся, подошьют в дело!) Таким образом, хоть к смерти, хоть к бесконечному заключению я был готов. Но в обоих случаях это был обрыв моей работы. Да он ужѐ произошел, обрыв: провал застиг меня в разгаре работы над «Архипелагом». И бесценные заготовки и часть уже написанной первой редакции были в единственном экземпляре и были атомно-опасны. С помощью верных друзей с большими предосторожностями от слежки всё это пришлось забросить в дальнее Укрывище, и когда теперь вернуться к этой книге – неведомо.

Работа всё равно остановилась – еще и прежде ареста.

Известие о беде настигло меня в два приема, не сразу. Сперва я узнал только о захвате романа – но и это ужалило меня до стона: чтò я наделал! не послушал Твардовского, взял роман – и сам его погубил. Тут же сообщили мне об аресте Синявского. Мой ли роман давал меньше поводов? Может быть за два дня потому я и не взят только, что они еще не нашли меня в моем Рождестве? А чтò было на рязанской квартире – я не знал, жизнь разбросалась. Может быть туда уже *приходили*?

Было к вечеру. И поспешно побросав в автомобиль какие-то вещи с собой и чтò было из рукописей (без нас, через час, могут приехать и обыскивать), мы поехали подмосковными дорогами, минуя Москву, на дачу к Твардовскому: успеть сообщить ему, пока я не схвачен.

Сейчас даже не понимаю, почему открытие романа показалось мне тогда катастрофой: еще главной катастрофы я не знал, а попадание романа на Лубянку просто было «судьбою книги» согласно латинской пословице – началом

ее особого литературного движения. (Думаю, они приходили не за романом, это был для них дополнительный подарок, и кому-нибудь орден за него дали, и ликовали в инстанциях. И только годы покажут, не на свою ли голову они ликовали. Еще не тронутый к движению, как ледник в горах, роман им был, пожалуй, побезопаснее...)

Беда к беде, не хватило бензина на последний километр, и по писательскому поселку Пахры я пошел с пустым канистром. Твардовский был дома и вел разговор с мастерами, укреплявшими забор его новой дачи и переносившими ворота. Мастера требовали хорошего задатка. В этот разговор вошел я и, отманив А.Т. в сторону, сказал тихо:

– Худые вести. Роман забрали.

Он так и осунулся:

– **Оттуда**?

Надо было еще кончить с мастерами, и к Тендрякову идти за бензином, и мне доехать – за это время А.Т. успел привыкнуть к новой мысли.

В тот вечер он прекрасно себя держал, намного лучше меня. Неделю назад в этих же комнатах он по случаю гораздо более мелкому так досадовал, волновался, упрекал, – а сейчас напротив, нисколько не упрекал, хотя прав оказался. Сегодня он держался мужественно, обдумчиво, даже не спешил расспрашивать, где и как **это** произошло, и обсуждать не спешил. В мрачновато-зàмковой своей даче он поджег хворост в парадном камине, и сидели мы так.

Его первый порыв был – что он завтра же сам обжалует Демичеву. Через час и подумавши – что лучше это сделаю я.

Я тут же стал писать черновик письма – и первой легчайшей трещинкой наметилось то, что потом должно было зазиять: А.Т. настаивал на самых мягких и даже просительных выражениях. Особенно он не допускал, чтобы я написал «**незаконное** изъятие». А.Т. настаивал непременно это слово убрать, ибо и х действия не могут быть «незаконными». Я вяло сопротивлялся. (На следующий день в Москве он еще по телефону отдельно проверял –

заменил ли я слово. К позору своему я уступил, переправил холуйским словом «незаслуженное». В затемненный ум не входило более подходящее с теми же начальным буквами, чтоб исправлять меньше.)

После бессонной палящей ночи мы рано поехали в Москву. Там через несколько часов я узнал о горшей беде: что в тот же вечер 11 сентября были взяты и «Пир победителей», и «Республика труда», и лагерные стихи! Вот она была беда, а до сих пор – предбедки! Ломились и рухались мосты под ногами, бесславно и преждевременно.

Но заявление Демичеву я написал так, будто знаю об одном романе. Пересек солнечный, многолюдный и совсем нереальный московский день; опять через пронзительный контроль вошел в лощеное здание ЦК, где так недавно и так удачно был на приеме; прошел по безлюдным, широким, как комнаты обставленным коридорам, где на дверях не выставлено должностей, ибо и так всех знать должны, а лишь фамилии – неприметные, неизвестные, стертые; и отдал заявление уже мне знакомому любезному секретарю.

Оттуда заехал в «Новый мир»: А.Т. беспокоился насчет «незаконных действий», хотел удостовериться изустно, что я убрал. И еще очень важное он требовал: чтобы я **никому не говорил**, что отобран у меня роман! – иначе **нежелательная огласка** сильно затруднит положение.

Трещинка расширялась. Чьё положение??.. **верхов** или моё? Нежелательная?.. Да огласка – одно мое спасение! Я буду рассказывать каждому встречному! Я буду ловить и искать – кому рассказать бы еще, кто раззвонит пошире!.. (Взятие «Круга» вместе с крамольным «Пиром» оказалось не отяжелением, а облегчением: я смог громче говорить об изъятии.)

Но если сейчас открыть это Твардовскому – у него разорвется сердце! Такая немыслимая дерзость как смеет закрасться в голову автора, открытого партийным «Новым миром»?!.. А что̀ тогда будет с «Новым миром»?.. Нет, не готов А.Т. услышать этот ужас. Подготовить его к другому:

– Оказывается, не один роман взяли. Еще – старую редакцию «Оленя и шалашовки» и лагерные стихи.

Гуще омрачился А.Т.:

– И стихи – не про папу и маму?..

...Он окис. Но рад был, что один из перепечатков романа – уцелел и даже в сейфе «Правды» (я ведь собирался в «Правде» печатать главы!..).

Однако, всё пришло в движение в этих днях, снят был из «Правды» Румянцев, и мой доброжелатель Карякин должен был в суете утаскивать роман и из «Правды».

Это было уже 20 сентября. За истекшую неделю после ареста Синявского и Даниэля встревоженная, как говорится, «вся Москва» перепрятывала куда-то *самиздат* и преступные эмигрантские книги, носила их пачками из дома в дом, надеясь, что так будет лучше.

Два-три обыска – и сколько переполоха, раскаяния, даже отступничества! Так оказалась хлипка и зыбка наша свобода разговоров, и рукописей, дарованная нам и протекшая при Хрущеве.

Попросил я Карякина, чтоб вез он роман из «Правды» прямо в «Новый мир». Преувеличивая досмотр и когти ЧКГБ, не были мы уверены, что довезет. Но довез благополучно, я положил его на диванчик в кабинете А.Т. и ждал Самого̀. Я не сомневался, что при виде спасенного экземпляра сердце А.Т. дрогнет и он с радостью тотчас же вернет роман в сейф. Я ясно представлял эту его радость! Пришел А.Т., начался разговор – знакомая же толстая папка косовато лежала на диванчике. А.Т. углядел, подошел и, не касаясь руками, спросил с настороженностью: «Это – что?»

Я сказал. И – не узнал его, насупленного и сразу от меня отъединенного:

– А зачем вы принесли его сюда? Т е п е р ь - т о, после изъятия – (вот оно, **законное** изъятие!) – мы не можем принять его в редакцию. **Теперь** за нашей спиной не прячьтесь.

Он меня как ударил!.. Не потому, что я за этот экземпляр испугался, у меня были еще (и на Западе один),

но ведь он-то думал, что это – из двух самых последних! Сценка, достойная врезаться в историю русской литературы!.. А.Т. любил, когда его журнал сравнивают с «Современником». Но если бы Пушкину принесли на спасенье роман, за которым охотится Бенкендорф, – неужели бы Пушкин не ухватился за папку, неужели отстранился бы: «Я из хорошей дворянской фамилии, я камер-юнкер, а что̀ скажут при дворе!».

Так изменилось место поэта в государстве и сами поэты.

Но более того – А.Т. отказался напечатать в «Новом мире» мое письмо с опровержением клеветы о моей биографии («служил у немцев», «полицай» и «гестаповец» уже несли агитаторы комсомола и партии по всей стране). Две недели назад А.Т. сам посоветовал мне писать такое письмо (с загадочным: «мне **порекомендовали**...»). Но вот беда: я послал в «Правду» *первый* экземпляр своего письма, рассчитывая на лопнувшего теперь Румянцева, а Твардовскому достался *второй*. И слышу:

– Я не привык действовать по письмам, которые присылаются мне вторым экземпляром.

Так изменились поэты...

– И как же опровергать, **пока арестован** роман?.. Будут говорить: значит, **что-то есть**!..

Это прозвучало уверенно-номенклатурно. Логика! – если в 1965-м арестован роман – как можно утверждать, что автор не был полицаем в 1943-м? (Да не это, конечно! А – силы он не имел печатать мое опровержение, и надо было самому себе благовидно объяснить отказ: как будто по убеждению.)

Я сидел потерянный, вяло отвечал, а Твардовский долго и нудно меня упрекал:

1) как я мог, не посоветовавшись с ним (!), послать за эти дни еще три жалобы еще трем секретарям ЦК – ведь я этим *оскорбил* Петра Нилыча Демичева и теперь ослаблю желание Петра Нилыча помочь мне.

Он так пояснил: «Если просят квартиру у одного меня – я помогаю посильно, а если пишут: «Федину,

Твардовскому», я думаю – ну, пусть Федин и помогает».

И он видел здесь сходство? Как будто размеры события позволяли размышлять о каком-то «оскорблении», о каких-то личных чувствах секретарей ЦК. Да будь Демичев мне отцом родным – и то б он ничего не сдвинул. Столкнулись государство – и литература, а Твардовский видел тут какую-то личную просьбу... Я потому поспешил послать еще три письма (Брежневу, Суслову и Андропову),* что боялся: Демичев – темен, он может быть шелепинец, он прикроет мое письмо и скажет – я не жаловался, значит – чувствую себя виноватым.

Уж А.Т. *прощал* моей человеческой слабости произошедшую всё-таки огласку, что я *не удержался,* кому-то сказал об аресте романа. (Не удержался!.. – я специально пошел в консерваторию на концерт Шостаковича и там раззвонил о своей беде.) Но:

2) если б я с ним посоветовался, кому еще послать жалобу, он, А.Т., порекомендовал бы мне обратиться прямо и непосредственно к Семичастному (министру ГБ). Зачем же его *обходить?*

Я отдернулся даже: вот это – никогда! Обратиться к Семичастному – значит признать суверенность госбезопасности над литературой!

И снова, снова и снова не мог Твардовский понять:

3) как я мог в свое время отдать пьесу в «Современник», *вопреки его совету?..*

Как важно было ему именно сейчас рассчитаться с этими «гангстерами сцены»! Как важно было упрекнуть меня именно в мой смутный час! И еще

4) как мог я положить хранить *святого* «Ивана Денисовича» рядом с ожесточенными лагерными пьесами? (ведь тем самым я бросал тень не только на «святого Ивана Денисовича», но и на «Новый мир»!) И еще

5) почему я не получал московской квартиры в свое время, «когда мог получить особняк»? И

---

* Вот уж не предполагал, кем он станет дальше!..

6) как мог я разрешить «Семье и школе» печатать мои «Крохотки»? И, наконец, чрезвычайно важно, очень ново (угрюмо, без улыбки и в совершенной трезвости):

7) зачем я стал носить бороду? Не для того ли, чтобы сбрить при случае и перейти границу? (Не упустил передать мне и чьего-то *высшего* подозрения: зачем это я добивался переехать в атомный центр Обнинск?..)

Повторительность и мелочность этих упреков была даже не мужской.

Я не отбивался. Я не рассчитал каната, сорвался и достоин был своего жалкого положения.

И только то дружеское движение было у А.Т. за весь этот час, что он предложил мне денег. Но не от безденежья я погибал!..

Я взял подмышку свой отвергнутый беспризорный роман и спустился к новомирскому курьеру-стукачу осургучить папку (тоже рабский расчет: когда придет ГБ – пусть видят, что читать не давал). Впрочем, сутки еще – и я догадался отдать его в официальный архив – ЦГАЛИ.

Минувшую неделю – горе горюй, а руками вою́й, – я занят был спасением главных рукописей и всего непопавшего, затем – предупреждением людей, чтобы перестали мне письма писать. Когда эти тяготы опали, самое близкое и несомненное было сделано, – меня охватило то палящее и распирающее горе, с которого я начал эту главу. Я не знал, не понимал, как мне жить и что делать, и с большим трудом сосредотачивался поработать в день часа два-три.

В эту пору К. И. Чуковский предложил мне (бесстрашие для того было нужно) свой кров, что очень помогло мне и ободрило. В Рязани я жить боялся: оттуда легко было пресечь мой выезд, там можно было взять меня совсем беззвучно и даже безответственно: всегда можно свалить на произвол, на «ошибку» местных гебистов. На переделкинской даче Чуковского такая «ошибка» исполнителей была невозможна. Я гулял под темными сводами хвойных на участке К.И. – многими часами, с безнадежным сердцем, и бесплодно пытался осмыслить свое положение, а еще

главней – обнаружить высший смысл обвалившейся на меня беды.

Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости, какой-то высший вселенский смысл в цепи русских бед, – я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно их истинному и далеко-рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего – и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, – и всегда меня поправляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надежно, что только и оставалось у меня задачи: правильней и быстрей понять каждое крупное событие моей жизни.

(Вяч. Всев. Иванов пришел к этому же самому выводу, хотя жизненный материал у него был совсем другой. Он формулирует так: «Есть мистический смысл во многих жизнях, но не всеми верно понимается. Он дается нам чаще в зашифрованном виде, а мы, не расшифровав, отчаиваемся, как бессмысленна наша жизнь. Успех великих жизней часто в том, что человек расшифровал спущенный ему шифр, понял и научился правильно идти».)

А с провалом моим – я не понимал! Кипел, бунтовал и не понимал: зачем должна была рухнуть работа? – не моя же собственная, но – почти единственная, уцелевшая в память правды? зачем должно быть нужно, чтобы потомки узнали меньше правды, почти никакую (ибо каждому *после* меня еще тяжелее будет раскапывать, чем мне; а те, кто жили *раньше* – не сохранились, не сохранили или писали совсем не о том, чего будет жаждать Россия уже невдолге)? Давно оправдался и мой арест, и моя смертельная болезнь и многие личные события – но вот этого провала я не мог уразуметь! Этот провал снимал начисто весь прежний смысл.

(Маловеру, мне так казалось! И всего лишь через две осени, нынешнею зимою, мне кажется – я всё уже понял. Потому и сел за эти записки.)

Две – но не малых – политических радости посетили меня в конце сентября в мое гощение у Чуковского; они шли почти в одних и тех же днях, связанные едиными звездами. Одна была – поражение индонезийского переворота, вторая – поражение шелепинской затеи. Позорился тот Китай, которому Шелепин звал поклониться, и сам *Железный Шурик,* начавший аппаратное наступление с августа, не сумел свергнуть никого из преемников Хрущева. Были за полгода назначены на XXIII съезд докладчики – но не Шелепин.

Власть Шелепина означала бы немедленный мой конец. Теперь мне обещали полгода отсрочки. Конечно, в том еще не было никакой верной защиты, лишь надежда, и та в пелене. Защитой верной казалось бы мне, если бы западное радио сообщило об аресте моего романа. Это не был, конечно, арест живых людей, как Синявского и Даниэля, но все-таки, медведь тебя раздери, если арестовывают у русского писателя его десятилетнюю работу, то ревнители греческой демократии и Северного Вьетнама могли бы уделить этому событию хоть строчечку? Или уж вовсе им безразлично? Или не знают?

Продлили мне время – но что̀ было правильно мне теперь делать? Я не мог уразуметь. Я ложно решил: вот теперь-то напечататься! Хоть что-нибудь.

И отослал в «Н. мир» пьесу «Свет, который в тебе», до сих пор им неизвестную. Когда все прочли, пошел в редакцию.

За месяц, что мы не виделись, Твардовский еще больше померк, был утеснен, чувствовал себя обложенным, беспомощным, даже разрушенным: всё от того, что с ним плохо поговорили *наверху*. (Ему Демичев сурово выговаривал, что не оказался он в нужную минуту на ногах: надо было ехать в Рим выбираться вице-президентом Европейской Ассоциации Писателей, не хотели там ни Суркова, ни Симонова.)

Всё же о моем романе два раза спрашивал А.Т. у Демичева, хоть и по телефону. Учитывая, как ему это было мучительно, следует его усилие высоко оценить. Первый раз Демичев ответил: «да, я распорядился, чтобы вернули». (Соврал, конечно.) Второй раз: «да, я велел *разобраться*».

Твардовский плохо понимал, что̀ делать, и я – не намного лучше. И я согласился на вздор – просить приёма у Демичева.

Отзыв А.Т. о пьесе не порадовал меня. Я знал, что она вяла и многоречива, он же нашел ее «очень сценичной» (бедный А.Т., его номенклатурное положение не позволяло ему ходить в московские театры, следить за современной сценой). Так почему бы не напечатать?

– Вы замаскировали под неизвестно какую страну, но это – о нас, слишком ясно, вывод из пьесы недвусмысленный.

Я, совершенно искренне: – Я писал это о пороках *всего* современного человечества, особенно – сытого. Вы допускаете, что могут быть *общие* современные пороки?

Он: – Нет, не могу принять такой точки зрения, без разграничения на капитализм и социализм. И не могу разделить ваших взглядов на жизнь и смерть. Сказать вам, что̀ бы я сделал, если бы всё зависело *целиком* от меня? Я бы написал теперь не предисловие, а **послесловие** (– не улавливаю, в чем тут принижение –), что мы не можем скрывать от читателя произведения авторов (– хо-го! за пятьдесят-то лет!.. –), но мы не разделяем высказанных взглядов и должны возразить.

Я: – Это было бы чудесно! Мне бо̀льшего и не надо.

Он: – Но это зависит не от меня.

Я: – Слушайте, А.Т., а если б это написал западный автор – ведь у нас бы схватились, поставили сразу: вот мол как бичует буржуазную действительность.

Он: – Да, если б это написал какой-нибудь Артур Миллер... Но и то б у него отрицательный персонаж высказывался антикоммунистически.

Да в одной ли пьесе тут было! Ухудшено и настороженно

относился А.Т. ко мне самому: не оказался я тем незамутненным кристаллом, который он чаял представить Старой Площади и всему прогрессивному человечеству.

Но терять мне было нечего, и я протянул ему «Правую кисть», на что не решался раньше.

Он принял ее радостными, почти трясущимися руками. Испытанный жанр, моя проза – а вдруг *проходимая?*

На другой день по телефону:

– Описательная часть очень хороша, но вообще – это страшнее всего, что̀ вы написали. – И добавил: – Я ведь вам не давал обязательств...

О, конечно нет! Конечно, журнал не давал обязательств! Только давал обязательства я: таскать свои вещи сюда и сюда. Но сколько еще отказов я должен встретить – и продолжать считать себя новомирцем?..

Очень утешало меня в эти месяцы ежедневное чтение русских пословиц, как молитвенника. Сперва:

– Печаль не уморит, а с ног собьет.

– Этой беды не заспишь.

– Судьба придет – по рукам свяжет.

– Пора – что гора: скатишься, так оглянешься.

(это – об ошибках моих, когда я был взнесен – и зевал, смиренничал, терял возможности...) Потом:

– От беды не в петлю головой.

– Мы с печалью, а Бог с милостью.

– Всё минется, одна правда останется!

Последняя утешала особенно, только неясно было: а как же мне этой правде помочь? Ведь

– Кручиной моря не переедешь.

И такая с прямым намеком:

– Один со страху помер, а другой ожил.

И еще загадочная:

– Пришла беда – не брезгуй и ею.

Получалось, что надо мне «от страху ожить». Получалось, что беду свою надо использовать на благо. И даже может быть на торжество? Но – как? Но – как? Шифр неба оставался неразгадан.

20 октября в ЦДЛ чествовали С.С. Смирнова (50 лет), и Копелевы уговорили меня появиться там, в первый раз за 3 года, что я был членом Союза – вот мол я жив-здоров и улыбаюсь. И вообще первый раз я сидел на юбилее и слушал, как тут друг друга хвалят. О том, что Смирнов председательствовал на исключении Пастернака – я не знал, я бы не пошел. С Брестской крепостью он, как будто, потрудился во благо. Только я прикидывал: а как бы он эту работку сделал, если б нельзя было ему пойти на развалины крепости, нельзя было бы подойти к микрофону всесоюзного радио, ни – газетной, журнальной строчки единой написать, ни разу выступить публично, ни даже – в письмах об этом писать открыто, а когда встречал бы бывшего брестовца – то чтоб разговаривать им только тайно, от подслушивателей подальше и от слежки укрывшись; и за материалами ездить без командировок; и собранные материалы и саму рукопись – дома не держать; – вот **тогда бы как**? написал бы он о Брестской крепости и сколь полно?.. Это – непридуманные были условия. Именно в таких условиях я и собрал 227 показаний по «Архипелагу ГУЛагу».*

После торжества прошел в вестибюле ЦДЛ слушок, что я – тут. И с десяток московских писателей и потом сотрудники ЦДЛ подходили ко мне знакомиться – так, как если б я был не угрожаемый автор арестованного романа, а обласканный и всесильный лауреат. И кругом – перешептывания, сторонние взгляды. Что это было? – обычное ли тяготение к славе, хоть и опальной? Или – уже ободряющий знак времени?

---

* Кстати, так в этот вечер сложилось, что главным «юбиляром» оказался почему-то маршал Жуков, сидевший гостем в президиуме. При всяком упоминании его имени, а это было раз пять-шесть, в зале вспыхивали искренние аплодисменты. Московские писатели демонстративно приветствовали опального маршала! Струйка общественной атмосферы... Но к добру ли она льется? Несостоявшийся наш де-Голль сидел в гражданском черном костюме и мило улыбался. Мило-мило, а холоп как все маршалы и все генералы. До чего же пала наша национальность: даже в военачальниках – на единой *личности*.

Был на юбилее и Твардовский. Щурясь от вспышек фотомолний, он рано скрылся из нелюбимого президиума за сцену, может быть и в ресторан, в выходном же вестибюле опять выплыл. В нем взыграла ревность, что *не он* привел меня первый раз в ЦДЛ (и вообще я с ним об этом приходе *не посоветовался!*), он тотчас утащил меня в сторону и от моих друзей и от этих представлений, тут подтянулись его оруженосцы Дементьев и Кондратович. Куда делась позавчерашняя кислость А.Т.! – он высказал: «А ведь борода перестает быть хемингуэевской, уже тянет на Добролюбова!» Те двое, конечно, с готовностью подтвердили. За два дня изменилась им и борода! А вот почему: обещан был мне на завтра прием у Демичева.

– Победа! Победа! – ликовал освеженный Твардовский. Уже ощущал он это благоуханное миро, которое вот-вот истечет с *верха* сперва на меня, – но значит и на него, но значит и на журнал. –Что̀ б там ни было сказано, вернут-не вернут, но раз *принимает* – уже победа! Звоните мне завтра обязательно, я буду весь день у телефона.

Бедный А.Т.! – он ничуть от меня не отшатнулся, он душевно продолжал быть з а меня, – только и я же должен был опомниться, не дерзить Руководству, но вернуть милость.

Однако, на другой день, в огорчение Твардовскому, отказано мне было в приеме у Демичева. То есть, не отказано напрямик, принял меня «помощник» Демичева, точнее референт по вопросам культуры И.Т. Фролов, но это не могло считаться «приёмом». Референт был 36-ти лет.* Еще неотупелое лицо, и вмеру умен, и очень умело и старательно вел среднюю линию между своим нутряным, конечно, демократизмом да еще крайней предупредительностью к уважаемому писателю, – и постоянным почтительным сознанием своей приближенности к высокому политику.

* Он оказался другом юности Карякина, вместе философский факультет кончали, но тот искал путей бунтарских, а этот – прислуживающих.

Только и мог я повторить референту содержание моего нового письма Демичеву, где я упоминал уже и об отнятом архиве, но писал, что и многие партийные руководители так же не захотели бы сейчас повторить иных своих высказываний до XX съезда и отвечать за них. А наглое было в письме то, что именно теперь, когда мне уготовлялась жилплощадь на Большой Лубянке, я заявлял, что в Рязани у меня слишком дурны квартирные условия и я прошу квартиру... в Москве!*

За неимением дел мы с референтом поговорили на общелитературные темы. Вот что сказал он: что очень сера̀ вся современная советская литература (их детище! их цензуры! – но он объяснял это временным выбеднением народа на таланты. «Я оптимистичнее вас смотрю!» – упрекнул я. – «Таланты есть, да только вы их сдерживаете»); что поэтому абсолютно *некем уравновесить* меня, увы даже Шолоховым, мое произведение обязательно прочтут, а «уравновесы» не прочтут – и вот только почему нельзя меня печатать с моими трагическими темами; и еще так, очень интересно: он видит проявление **эгоизма** перестрадавших заключенных в том, что мы хотим **навязать** молодежи наши переживания по поводу минувшего времени.

Это прямо изумило меня, мораль Большого Хью из Уайльдовской сказки! – эти несколько жемчужных мыслей об эгоизме тех, кто хочет говорить правду! Значит, в руководящих кругах это отстоялось, отлилось, за чистозвонную монету ходит! Им приятно и важно знать, что **добры** именно они, стараясь воспитать молодежь во лжи, забвении и спорте.

---

* В месяц моего короткого признания всем советским миром – московская квартира лежала передо мной готовая, да я не брал ее, опасаясь замотаться в «столичной литературной суете». Потом – мне уже и в Рязани не давали. А теперь, в самый угрожаемый и отчаянный момент предложили в Рязани на выбор – только бы не принимать меня в Москву!

Прошло десять дней от подачи письма – и отвечено было через рязанский обком, что моя «жалоба передана в Генеральную Прокуратуру Союза ССР».

Вот это вышел поворотик! В ген. прокуратуру поступила от ничтожного бывшего (видимо не досидевшего) зэ-ка̀ Солженицына жалоба – на аппарат всесильной госбезопасности! Для правового государства – порядок единственно правильный: кто ж, как не прокуратура, может защитить гражданина от несправедливых действий полиции? Но у нас это носило совсем иной оттенок: это значило, что ЦК отказался принять политическое решение – во всяком случае в мою пользу. И только один ход дела мог быть теперь в прокуратуре: обернуть мою жалобу против меня. Я представлял, как они робко звонят в ГБ, те отвечают: да вы приезжайте почитайте! Едет тройка прокуроров (из них – два матерых сталиниста, а один затёрханный) – и волосы их дыбятся: да ведь в хорошее сталинское время за такую мерзость – только расстрел! а этот наглец еще смеет жаловаться?.. Но с другой стороны, если бы ЦК хотело меня *посадить,* то не было надобности загружать этой работой прокуратуру: достаточно было дать разрешение Семичастному. Однако, ЦК ушло от решения. Что остаётся ген. прокуратуре? Тоже уйти. (Так и было. Через год я узнал, что положен был мой роман в сейф генерального прокурора Руденко, и даже жаждущим начальникам отделов не дали почитать.) Страшновато звучало: «ваше дело передано в генеральную прокуратуру», но прогноз уже тогда у меня напрашивался ободряющий.

Кончался второй месяц со времени ареста романа и архива – а меня не брали вослед. Не только полный, но избыточный набор у них был для моего уголовного обвинения, десятикратно бо̀льший, чем против Синявского и Даниэля, – а всё-таки меня не брали? О, какое дивное время настало!

Отвага – половина спасения! – нашептывала мне книжечка пословиц. Все обстоятельства говорили, что я должен быть смел и даже дерзок! Но – в чём?

Но – к а к ? Бедой не брезговать, беду использовать – но как?

Эх, если б я это понял в ту же осень! Всё становится просто, когда понято и сделано. А тогда я никак не мог сообразить.

Да если б на Западе хоть расшумели б о моем романе, если б арест его стал всемирно-известен – я, пожалуй, мог бы и не беспокоиться, я как у Христа за пазухой мог бы продолжать свою работу. Но они молчали! Антифашисты и экзистенсиалисты, пацифисты и страдатели Африки – о гибели *нашей* культуры, о *нашем* геноциде они молчали, потому что на наш левофланговый нос они и равнялись, в том только и была их сила и успех. И потому что в конце концов наше уничтожение – наше внутреннее русское дело. За чужой щекою зуб не болит. Кончали следствие Синявский и Даниэль, мой архив и сердце мое терзали жандармские когти, – и именно в эту осень сунули нобелевскую премию в палаческие руки Шолохова.

Надежды на Запад – не было, как впрочем и не должно быть у нас никогда. Если и станем мы свободными – то только сами. Если будет у человечества урок XX века, то мы дадим его Западу, а не Запад нам: от слишком гладенького благополучия ослабились у них и воля и разум.*

---

* Полугодом спустя тот человек, который выхлопотал эту премию Шолохову и не мог оскорбить русскую литературу больней, – Жан Поль Сартр,был в Москве и через свою переводчицу выразил желание увидеться со мной. С переводчицей мы встретились на площади Маяковского, а «Сартры ждали ужинать» в гостинице «Пекин». На первый взгляд мне было очень выгодно с ним увидеться: вот «властитель дум» Франции и Европы, независимый писатель с мировым именем, ничто не мешает нам через десять минут сидеть уже за столиком, и я пожалуюсь на всё, что делается со мной, и этот трубадур гуманности поднимет всю Европу.

Но если б то был не Сартр. Сартру я нужен был немножко из любопытства, немножко – для права рассказать потом о встрече со мной, быть может – осудить, я же не найду, где потом оправдаться. Я сказал переводчице:

– Какая может быть встреча писателей, если у одного из собеседников заткнут рот и связаны руки сзади? (см. 135)

Все-таки начал я действовать. Как теперь видно – неправильно. Действовать несообразно своему общему стилю и своему вкусу. Я спешил как-нибудь заявить о себе – и для этого придрался к путаной статье академика Виноградова в «Литературной газете». У меня, правда, давно собирался материал о языке художественной литературы, но тут я скомкал его, дал поспешно, поверхностно, неубедительно, да еще в резкой дискутивной форме, да еще в виде газетной статьи, от которых так зарекался. (Да еще утая главную мысль: что более всех испортили русский язык социалисты в своих неряшливых брошюрах и особенно – Ленин.) Всего-то и вышло из этой статейки, что я крикнул госбезопасности: «вот – живу и печатаюсь, и вас не боюсь!»

Редактор «Литгазеты», оборотливый и чутконосый Чаковский, побежал «советоваться» с Демичевым: может ли имя мое появиться в печати? Демичев, видно, сразу разрешил.

И был прав.

А я – совсем неправ, я запутался. Лишний раз я показал, что, предоставленные себе, мы этой шаровой коробкой, какая вертится у нас на шее, скорей всего избираем неправильный путь.

Потому что в тех же днях благословенная умная газета «Нойе Цюрихер Цайтунг» напечатала: что был у меня обыск и забрали мои произведения. Это и было то, чего я жаждал минувших два месяца! Теперь это могло распространиться, подтвердиться. Но тут подошла на Запад «Литгазета», и я ничтожной статейкой своей как бы всё опроверг, крикнул: «вот – живу и печатаюсь, и ничего

– Вам неинтересна эта встреча?

– Она горька, невыносима. У меня только ушки торчат над водой. Пусть он прежде поможет, чтобы нас печатали.

Я привел ей пример искривленного мальчика из «Ракового корпуса». Вот такой односторонне-изогнутой представляется русская литература, если смотреть из Европы. Неразвитые возможности нашей великой литературы остаются там начисто неизвестными.

Прочел ли Сартр в моем отказе встретиться – глубину того, как мы его не приемлем?

мне!», только не госбезопасности крикнул, а газете «Нойе Цюрихер Цайтунг», подвел ее точных информаторов.

Однако эти несколько строк, что она обо мне напечатала, очень меня ободрили и укрепили. Свою ошибку я понял не сразу. Тогда я считал, что и статья в «Литгазете» тоже меня укрепила.

Ко мне вернулось рабочее равновесие, и мне удалось кончить несколько рассказов, начатых ранее: «Как жаль», «Захара-калиту» и еще один. И решил я: сцепить их со своей опасной «Правой кистью» и так сплоткой в четыре рассказа двинуть кому-нибудь. Кому-нибудь, но не «Новому миру». Ведь Твардовский успел уже отвергнуть полдюжины моих вещей – больше, чем напечатал. Ведь Твардовский только что испугался «Правой кисти» – настолько испугался, что даже членам редакции не показал. (И об этом сказал мне как о своей заслуге – что бережет меня, мое имя «доброе»... Такое ли лежало уже на Лубянке! Неосознанно или осознанно, он берег – себя, свою репутацию: что не ошибся он, *кого открыл*.)

Л. Копелев пошутил тогда, что я совершил «переход Хаджи-Мурата», с четырьмя этими рассказами пройдя несколько редакций враждебного «Новому миру» журнального лагеря. И действительно с точки зрения «Н. мира», особенно с личной точки зрения Твардовского, я совершил тогда кровную измену. (Впрочем, по обычной своей плохой информации о неофициальных событиях, А.Т. так и не довелось узнать весь объем этой измены: что «Правую кисть», схороненную им даже от верных своих помощников, я беспечно раздавал врагам и не мешал курьерам и секретаршам копировать.)

Я же не видел и не вижу здесь никакой измены по той причине, что отчаянное противоборство «Нового мира» – «Октябрю» и всему «консервативному крылу» представляется мне лишь силами общего поверхностного натяжения, создающими как бы общую прочную пленку, сквозь которую не могут выпрыгнуть глубинные бойкие молекулы. Тот главный редактор, который не печатает пьесу лишь потому,

что в ней не проведено различие между капитализмом и социализмом; чурается и брезгует стихотворениями в прозе **за то одно**, что первый их напечатал эмигрантский журнал; для кого вообще русского литературного зарубежья не существует или мало чем оно отличается от мусорной свалки, а наш Самиздат – от торговли наркотиками; кто напуган рассказом, где автор не избежал дать этическую оценку карателю гражданской войны; – тот главный редактор чем же, кроме добрых намерений, отличается от своих «заклятых врагов» Кочетова, Алексеева и Софронова? Здесь уравнительное действие красных книжечек! А уж члены их редакций, например огоньковцы Кружков, Иванов, так право неотличимы от Кондратовича и Закса, даже в кабинетных суждениях прямее и смелее (не напуганы). Например, о мужичестве, погибшем в коллективизацию, здесь как-то пооткрытее говорили, поестественней чувствовали. Даже М. Алексеев, целиком занятый своею карьерой, сказал мне в ту осень, правда наедине: «Много лет мы всё строили на лжи, пора перестать!»*

Меня остановят, чтобы я не кощунствовал, чтоб и сравнивать дальше не смел. Мне скажут, что «Новый мир» долгие годы был для читающей русской публики окошком к чистому свету. Да, был. Да, окошком. Но окошком кривым, прорубленным в гнилом срубе, и забранным не только цензурной решеткой, но еще собственным добровольным идеологическим намордником – вроде бутырского армированного мутного стекла... (В исправление сказанного: в разговорах этих «октябристов» я чувствовал не только ненависть к «Новому миру», но и страх перед новомирским критическим отделом, скрытое уважение к нему. Казалось бы – при развернутости их бесчисленных печатных полос, при всеобщем круговом восхвалении – что̀ им там критика единственного, вечно опаздывающего, с глуховатым голо-

* Конечно, выходя на люди, Алексеев строит только на лжи. Гибель собственных **родителей** от голода в коллективизацию он в *автобиографическом* «Вишневом омуте» **скрыл**, как деталь незначительную.

ском журнала? Ан нет, всё время помнили ее, шельмецы, глубоко она им отзывалась. Неотвратимо понимали, что только новомирское тавро припечатается и останется, а их собственные штампы смоет первый дождь. «Новый мир» был единственный в советской литературе судья, чья художественная и нравственная оценка произведения была убедительна и несмываема с автора. Кстати, такую оценку, и с пользой для себя, получил бы в «Н. мире» и Евтушенко, если бы арест Синявского не помешал выходу уже набранной его статьи с разносом самодовольной «Братской ГЭС».)

А я просто хотел выбрать эту неосуществленную возможность – вдруг она что-нибудь да потянет: пресловутому «консервативному крылу» (а никакого другого «крыла» не было у перешибленной птицы нашей печати) предложить свои рассказы во главе с «Правой кистью» – как они съедят? А что если их литературные разногласия с «Н. миром» столь им досадчивы, что они пренебрегут своей идеологической преданностью и пронесут мои рассказы через родственные им цензурные рога – только чтобы «перехватить» меня к себе? Шанс был очень слаб, но и эту «степень свободы», мне казалось, надо использовать – хотя б для того, чтобы потом себе не пенять. Напечатать же «Правую кисть» не стыдно было хоть и в жандармской типографии.

И еще одну историческую проверку, историческую зарубку я хотел сделать: уже много лет эти деятели бахвалились, что они – **русские**, выпячивали, что они – р у с с к и е. И вот я давал им первую в их жизни возможность доказать это. (И в три дня, слабея животом, они доказали, что – **коммунисты** они, никакие не русские.)

На первых часах «переход Хаджи-Мурата» действительно произвел там переполох. Мне не давали шагу одного сделать пешком – привозили, перевозили и увозили только в автомобилях. В «Огоньке» встречать меня собрался полный состав. Софронов приехал из-за города, радостно напоминал мне, что мы оба – ростовчане, и спешил выудить из забвения, что когда-то он писал похвальную рецензию на «Ивана Денисовича» (когда все писали их стадом); Стаднюк,

держа еще нечтённые рукописи, возмолился: «Дай Бог, чтоб это нам подошло!»; Алексеев одобрял: «Да, надо вам переезжать в Москву и приобщаться к литературной общественности». Главред «ЛитРоссии» Поздняев тоже разговаривал с пружинной готовностью, тоже напоминал забытый случай, когда он имел честь писать мне письмо, и уже вперед забегал, как они умеют быстро печатать, как они переверстывают номер за два дня до выпуска.

В этом возбужденном приёме я снова увидел знак времени: ни партийная их преданность, ни жандармская угроза не были уже так абсолютны, как в булгаковские времена, – уже литературное имя становилось самостоятельной силой.

Однако, вся их радость была только до первого чтения. В «ЛитРоссии» прочли в два часа, и уже Поздняев звонил:

– Вы понимаете, что за такой короткий срок мы не успели бы *посоветоваться*. – (Уж и это было важно им доказать – что они не побежали с доносом!) – Будем говорить откровенно: у нас в ушах еще звучит всё то, что мы слышали на последних партийных собраниях. Наше единое мнение: печатать можно только «Захара-калиту».

И сразу назвал день печатания и даже гонорар – в нем жили сытинские ухватки, хотя в ушах и звучали партсобрания!.. Я попросил вернуть все четыре рассказа. Он еще уговаривал.

«Огоньку» так пекло меня напечатать, что сперва они отвели одну «Правую кисть», остальное брались. Потом позвонили: «Как жаль» тоже нельзя. Расстроилось и тут.

Легче написать новый роман, чем устроить готовый рассказ в печать у издателей, вернувшихся с Идеологического Совещания! Вся затея моя, вся эта суета с рассказами надоела мне в три дня, – и в мертвяцкий журнал «Москву» я уже не ходил, не звонил, передал через друзей. А там – молча держали несколько дней, и создалось у меня томление, что главред Поповкин потащил «Правую кисть» показывать на Лубянку – довесом ко всему отобранному.

2-го декабря я пошел в «Новый мир» поговорить начистоту – в день, когда не было А.Т., с остальной редакцией, потому что и им уже А.Т. ничего не давал ни читать, ни решать со мною. Дементьеву и Лакшину я объяснил, как Твардовский рядом отказов толкнул меня действовать самостоятельно и даже идти к т е м. (Ведь я и статью в «Литгазете» не имел права печатать, *не посоветовавшись!*) И Дементьев, этот постоянный мой враг в «Н. мире», вдруг как будто всё понял и одобрил: и мои самостоятельные шаги, и поход к т е м, и что мне даже очень хорошо напечататься не в «Н. мире», а где-нибудь: мол, никакой «групповщины», широкий взгляд.

А вот в чем была пружина, я не сразу вник: «либерал» Дементьев уже понимал больше всех тех «консерваторов» – и Алексеева, и Софронова, и Поздняева; он понимал, что подкатила пора, когда меня вообще невозможно печатать, ни непроходимого, ни проходимого; что уже тяготеет запрет на самом имени, и хорошо бы «Н. миру» от этого груза тоже освободиться. Я дал им «Захара-калиту» (уж если печатать его одного, так в «Н. мире»), а Дементьев и Лакшин дружно ухватились, но странно как-то: чтоб не в «Н. мире» печатать, а где-нибудь в другом месте. Лакшин предложил «Известия», Дементьев замахнулся выше – «Правду»! В этот поучительный вечер (тем и поучительный, что всё – без Твардовского) этот мой противник проявил редкую обо мне заботливость: долго дозванивался, искал зав. «отделом культуры» «Правды» видного мракобеса Абалкина; сладким голосом с ласкающим оканьем стал ему докладывать, что у Солженицына – светлый патриотический рассказ, и злободневный, и очень подходит к газете, и «мы вам его уступаем». И тут же младшего редактора прозы, уже по окончании рабочего времени, погнал собственными ножками отнести пакет с рассказом в «Правду». (А во всех остальных редакциях, даже курьеры ездили на «волгах». Этой льготы Твардовский никогда не постарался отвоевать для своих сотрудников, ему казалось мелко добиваться для подчиненных такого

простого удобства. «Чехов тоже ходил пешком» – шутили новомирцы в утешение. Однако, самому Твардовскому всегда подавали длинную черную.)

Качели! Весь следующий день мой рассказ шел по «Правде», возвышаясь от стола к столу. Я знал, где поставил там антикитайскую мину, и на нее-то больше всего рассчитывал. А они, может быть, и не заметили ее (или она им нужна не была?), а заметили только слово «монголы». И объяснил мне Абалкин по телефону: *сложилось мнение* (а выраженьице-то сложилось!), что печатание «Захара» именно в «Правде» было бы международно истолковано «как изменение нашей политики относительно Азии. А с Монголией у Советского Союза сложились особенные отношения. В журнале, конечно, можно печатать, а у нас – нет».

Вот в это я поверил: что они так думают, что таков их потолок. А в «Н. мире» все рассмеялись, сказали, что это – *ход,* отговорка.

В тот день мне впервые показалось, что благодаря своим частым и долгим выходам из строя, А.Т. начинает терять прочность руководства в журнале: журнал не может же замирать и мертветь на две-три недели, как его Главный! За день до того члены редакции выспорили против А.Т. свое мнение о рассказах Некрасова (печатать), вчера смело оперировали с моим рассказом, а сегодня даже не дали ему «Захара» читать, потому что экземпляр – один, и что-то надо с ним делать дальше.* Твардовский сидел растерянно и посторонне.

Мы поздоровались холодно. Дементьев уже изложил ему мои вчерашние объяснения и мои претензии к «Новому миру» – дико-неожиданные для А.Т., ибо не мыслил он претензий от теленка к корове. Я не собирался перекоряться с А.Т. при членах редакции, но получилось именно так,

---

* И Лакшин еще сумеет подсунуть его «Известиям», и там будет набор, и лишь когда уже там рассыпят – придется «Н. миру» принять на себя эту публикацию.

и потом их еще прибавилось на шум. Да и совсем не упрекать Твардовского я хотел (за отклонение стольких уже вещей; за отказ сохранить уцелевший экземпляр романа; за отказ напечатать мою защиту против клеветы) – я только хотел показать, что на каком-то пределе кончаются же мои обязательства. Однако А.Т. уже был напряжен отражать все мои доводы сподряд, он стал тут же запальчиво меня прерывать, я – его, и разговор наш принял характер хаотический и взаимнообидный. Ему была обидна моя неблагодарность, мне – туповатая эта опека, не обоснованная превосходством мировоззрения.

Всю осень настрекал он меня упреками, и сейчас не только не отступился от них, но снова и снова нажигал:

– как я мог, не посоветовавшись с ним, отнести хранить свои вещи к «говённому антропософу» (А.Т. не видал его, не знал о нем ничего, но за одни лишь убеждения считал «говённым». Ближе ли это к Пушкину? или к Кочетову?..);

– как я смел рядом со «святым» Иваном Денисовичем и т.д. (мне всякое упоминание об этом провале 11 сентября, о том, что̀, гдѐ и ка̀к я там держал на свою беду, был мой нарыв постоянный, горло сжимающий нарыв, – а он вередил наутык);

– и как мог я не послушаться и взять роман из редакции;

– и как я мог *подсунуть* «Крохотки» «Семье и школе»;

– и опять же, крайне важно: как я мог писать жалобы четырем секретарям ЦК, а не одному Петру Нилычу?? (раздавался железный скрежет истории, а он всё видел иерархию письменных столов!);

– и опять-таки: зачем бороду отрастил? не для того ли...?

Но в нудном повторном этом ряду звучали и новые упреки, как стон:

– я вас **открыл**!!

– небось, когда роман отняли – ко мне первому приехал! Я его успокоил, *приютил* и согрел! (то есть, поздно ночью не выгнал меня на улицу).

И слушала это всё редакция!

И наконец, по свежим следам:

– как я мог идти «ручку целовать» Алексееву, которого потрошат в очередном «Н. мире»?

Я мог бы больно ему отвечать. Но при всей обидности разговора я нисколько на него не сердился: понимал, что здесь никакая не личная ссора, не личное расхождение, а просто – куц оказался тот общий наш путь, где мы могли идти как литературные союзники, еще не оцарапавшись и не оттолкнувшись острыми ребрами идеологий. Расхождение наше было расхождением литературы русской и литературы советской, а вовсе не личное.

И я лишь по делу возражал:

– Когда ж с вами советоваться? – приедешь в Москву на день-два, а вас постоянно нет.

И в этом кровном трагическом разговоре А.Т. воскликнул с достоинством:

– Я две недели был на берегах Сены!

Не сказал просто: в Париже.

Но если б только в этом фальшь! Главная фальшь была в том, что̀ он обо мне на берегах Сены говорил, а теперь от меня скрывал. Сын своей партии, он защищался глухостью и немостью информации! А мне уже перевели из «Монд» о его интервью. После тревожного гудка, поданного «Нойе Цюрихер Цайтунг», его конечно спрашивали обо мне. И если бы судьба художника, уже заглотнувшего соленой воды и только-только ртом еще над поверхностью, была бы для него первое, а империализм как последняя стадия капитализма – второе, он с его благородным тактом сумел бы без опасности для себя как-то ответить неполно, уклончиво, в чем-то дать паузу – и понял бы мир, что со мной действительно худо, что я в опасности. Твардовский же сказал корреспондентам, что моя чрезвычайная скромность (которую он высоко ценит!..), мое просто-таки монашеское поведение запрещают и ему, как моему редактору и другу, что-либо поведать о моих творческих планах и обо мне. Но что заверяет он корреспондентов: еще много моих «прекрасных страниц» они прочтут.

То есть, он заверил их, что я благополучно работаю,

пишу и ничто мне не мешает, кроме моей непомерной монашеской скромности. То есть он опроверг «Нойе Цюрихер Цайтунг».

Я от соленой воды во рту не мог крикнуть о помощи – и он меня тем же багром помогал утолкать под воду.

Потому что он хотел мне зла? Нет!! – потому что партия делает поэтов такими... (Он *добра* мне хотел: он хотел представить меня таким послушным, чтобы Петр Нилович умилостивился бы!..)

Все же накал этого бранного разговора был так велик, что, раздраженный моим круговым несогласием и упрямством, А.Т. вскочил и гневно крикнул:

– Ему... в глаза, он – «божья роса»!

Я все время старался помнить, что он – заблудившийся бессильный человек. Но тут, теряя самообладание, ответил с гневом и я:

– Не оскорбляйте! От *надзирателей* я ведь слышал и погрубей!

Он развел руками:

– Ну, если так...

Три сантиметра оставалось, чтобы мы поссорились лично. А это было совсем ни к чему, это только затемняло важную картину раскола двух литератур. Но присутствующие предупредили взрыв, все его не хотели (кроме, думаю, Дементьева).

Мы кончили сухим рукопожатием.

Мне оставался до поезда час, и еще надо было... *бороду сбрить,* да! вот бы подскочил Твардовский, если б узнал! Час до поезда, и не в Рязань, но и не «границу переходить», а – в глушь далекую, в Укрывище, на несколько месяцев без переписки, – туда, где ждал меня спасенный утаённый «Архипелаг». Сколько мог, я за эту осень пошумел, подействовал, показался, круг этих бестолковых хлопот надо было и обрывать. Я ехал в такое место, где б не знали обо мне, не могли бы и взять. С освобожденной душой я снова возвращался к той работе, которую ГБ прервало и разметало.

Это удалось! В укрывище по транзисторному приёмнику следил я и за процессом Синявского-Даниэля. У нас в стране за 50 лет проходили и во сто раз худшие издевательства и в миллион раз толпянее – но то всё соскользнуло с Запада как с гуся вода, того всего не заметили, а что заметили – простили **нам** за Сталинград. Теперь же – опять знак времени, «прогрессивный Запад» заволновался.

Для себя я прикинул, что от этого шума придется жандармам избирать со мною какой-то другой путь. Они колебались. В конце декабря и в январе, как мне потом рассказали, на нескольких собраниях их чины объявляли, что захваченный мой архив «концентрировался для отправки за границу». Но не потому они эту версию покинули, что из квартиры Теуша не шли пути за границу (мастера подделки, они б это обставили шутя), – а потому, что **не влезал** второй такой же суд вслед за первым.

Как когда-то Пастернак отправкой своего романа в Италию, а потом затравленным покаянием, так теперь Синявский и Даниэль за своё писательское душевное двоение беспокаянным принятием расплаты, – открывали пути литературы и закрывали пути ее врагов. У мракобесов становилось простора меньше, у литературы – больше.

В Ленинграде на встрече КГБ с писателями (смежные специальности: и те, и другие – инженеры человеческих душ) Гранин спросил: «Правда ли, что у Солженицына отобрали роман?» С отработанной прелестной наивностью чекистов было отвечено: «Роман? Нет, не брали. *Да он нам и не жаловался.* Там был какой-то роман «В круге первом», но неизвестно чей». (На титульном листе – моя фамилия.)

Просто еще не решено было, что̀ делать.

А когда надумали – решение оказалось диковинным: решили **издать** мои отобранные вещи закрытым тиражом! Повидимому расчет был, что они вызовут только отвращение и негодование у всякого честного человека.

Когда в марте 1966 года я вернулся к открытой жизни и до меня дошел первый рассказ, что кто-то из ЦК не

в закрытой комнате и не под расписку, а запросто в автомобиле давал *почитать* мой роман Межелайтису – я просто не поверил: ведь это игра с огнем, неужели настолько лишил их Бог разума? этот огонь не удержишь скоро и в жароупорных рукавицах, ведь он разбежится! Да и в чтении не станет он работать на *них:* у моих врагов, у скально-надежных лбов он отнимет какую-то долю уверенности; головы затуманенные на долю просветлит. Смотришь, одного-второго-третьего это чтение и обернёт.

Однако, весною 66-го, месяц за месяцем, из одних уст и из других, рассказы накладывались: издали и роман, и «Пир победителей»! и **дают читать**! Кто же дает? Очевидно, ЦК, туда это всё перешло из ЧК. Кому дают? Крупным партийным боссам (но те не очень-то читчики, ленивы, нелюбознательны), и крупным чинам творческих союзов. Вот прочел Хренников, и на заседании композиторов загадочно угрожает: «Да вы знаете, какие он пьесы пишет? В прежнее время его б за такую пьесу расстреляли!». Вот прочел Сурков и разъясняет, что я – классовый враг (какому классу?). Вот сел изучать мой роман Кочетов, может что-нибудь украдет. Дают читать главным редакторам издательств – чтобы сам срабатывал санитарный кордон против моего имени и каждой моей новой строчки.

Нет, не тупая голова это придумала: в стране безгласности использовать для удушения личности не прямо тайную полицию, а контролируемую малую гласность – так сказать, номенклатурную гласность. Обещались те же результаты, и без скандала ареста: удушить, но постепенно.

И всё же дали, дали они тут маху! Плагиаторская афера! – без меня и против меня издавать мои же книги! Даже в нашей беззаконной неправовой стране (где закрытое ведомственное издание не считается и «изданием», даже в суд нельзя подавать на нарушение авторских прав!), но с нарождающимся общественным мнением, но со слабеньким эхошком еще и мирового мнения, – залез их коготь что-то слишком нагло и далеко. Эй, застрянет? Обернется этот способ когда-то против них.

Этим закрытым изданием на какое-то действие они толкали и меня, но я опять тугодумно не мог понять – на какое же? Я только не увидел в этой затее опасности, она мне даже понравилась. Настроят против меня номенклатуру? Так они и так меня все ненавидят. Зато значит, *брать* меня сейчас не собираются.

Вот как неожиданно и удивительно развивается история: когда-то сажали нас, несчастных, ни за что, за полслова, за четвертушку крамольной мысли. Теперь ЧКГБ имеет против меня полный судебный букет (по их кодексу, разумеется) – и это только развязало мне руки, я стал идеологически экстерриториален! Через полгода после провала с моими архивами прояснилось, что этот провал принес мне полную свободу мысли и исповедания: не только исповедания Бога – мною, членом атеистически-марксистского союза писателей, но исповедания и любой политической идеи. Ибо что̀ б я теперь ни думал, это никак не может быть хуже и резче, чем то сердитое, что̀ я написал в лагерной пьесе. И если не *сажают* за нее, значит не посадят и ни за какое нынешнее убеждение. Как угодно откровенно я теперь могу отвечать в письмах своим корреспондентам, что̀ угодно высказывать собеседникам – и это не будет горше той пьесы! Что угодно я теперь могу записывать в дневниках – мне незачем больше шифровать и прятаться. Я подхожу к невиданной грани: не нуждаться больше лицемерить! никогда! и ни перед кем!

Определив весною 1966-го, что мне дана долгая отсрочка, я еще понял, что нужна *открытая,* всем доступная вещь, которая пока объявит, что я жив, работаю, которая займет в сознании общества тот объем, куда не прорвались конфискованные вещи.

Очень подходил к этой роли «Раковый корпус», начатый тремя годами раньше. Взялся я его теперь продолжать.

ЧКГБ не ждало, не дремало, тактика требовала и мне с «Корпусом» поспешить – а как же можно спешить с писанием? Тут подвернулась мысль: пока выдать 1-ю часть

без 2-й. Сама повесть* не нуждалась в этом, но тактика гнала меня кнутом по ущелью.

Как хотелось бы работать не спеша! Как хотелось бы ежедён перемежать писание с неторопливой бескорыстной языковой гимнастикой. Как хотелось бы десяток раз переписывать текст, откладывать его и возвращаться через годы, и подолгу на пропущенных местах примерять и примерять кандидатов в слова. Но вся моя жизнь была и остаётся гонка, уплотнение через меру – и только удалось бы обежать по контуру того, что совсем неотложно! А может быть и по контуру не обежать...

Столькие писатели торопились! – обычно из-за договоров с издательствами, из-за подпирающих сроков. Но, казалось – чего бы торопиться мне? – шлифуй и шлифуй! Нет. Всегда были могучие гнавшие причины – то необходимость прятать, рассредоточить экземпляры, использовать помощь, освободиться для других задач, – и так ни одной вещи не выпустил я из рук без торопливости, ни в одной не нашел последних точных слов.

Кончая 1-ю часть «Корпуса», я видел, конечно, что в печать ее не возьмут. Главная установка моя была – Самиздат, потом присоветовали друзья давать ее на обсуждение – в московскую секцию прозы, на Мосфильм, и так утвердить и легализовать бесконтрольное распространение ее. Однако для всего этого нужно̀ было безукорное право распоряжаться собственной вещью, – а я ведь повинен был сперва нести ее в «Новый мир». После всего, что Твардовский у меня уже отверг, никак я не мог надеяться, что он ее напечатает. Но потеря месяца тут была неизбежна.

С той ссоры мы так и не виделись. Учтивым письмом (и как ни в чем не бывало) я предварил А.Т., что скоро предложу полповести и очень прошу не сильно задержать меня с редакционным решением.

---

* И *повестью*-то я ее назвал сперва для одного того, чтоб не путали с конфискованным романом, чтоб не говорили: ах, значит ему вернули? Лишь потом прояснилось, что и по сути ей приличнее называться повестью.

Сердце А.Т., конечно, дрогнуло. Вероятно, он не переставал надеяться на наше литературное воссоединение. Нашу размолвку он объяснял моим дурным характером, поспешностью поступков, коснением в ошибках – но все эти пороки и даже сверх он готов был великодушно мне простить.

А прощать или не прощать не предстояло никому из нас. Кому-то из двух надо было продуть голову. Моя уже была продута первыми тюремными годами. После хрущевской речи на XX съезде начал это развитие и А.Т. Но, как у всей партии, оно вскоре замедлилось, потом запетлилось и даже попятилось. Твардовский, как и Хрущев, был в довечном заклятом плену у принятой идеологии. У обоих у них природный ум бессознательно с нею боролся, и когда побеждал – тò было лучшее и высшее их. Одна из таких вершин мужика Хрущева – отказ от мировой революции через войну.

В «Новом мире» с первой же минуты получения рукописи «Корпуса» из нее сделали секретный документ, так определил Твардовский. Они боялись, что рукопись вырвется, *пойдёт*, остерегались до смешного: не дали читать... в собственный отдел прозы! А от меня-то повесть уже потекла по Москве, шагали самиздатские батальоны!

18 июня – через два года после многообещающего когда-то обсуждения романа, состоялось обсуждение 1-й части «Корпуса». Мнения распались, даже резко. Только умягчительная профессиональная манера выражаться затирала эту трещину. Можно сказать, что «молодая» часть редакции или «низовая» по служебному положению была энергично за печатание, а «старая» или «верховая» (Дементьев-Закс-Кондратович) столь же решительно против. Только что вступивший в редакцию очень искренний Виноградов сказал: «Если этого не печатать, то неизвестно, для чего мы существуем». Берзер: «Неприкасаемый рак сделан законным объектом искусства». Марьямов: «Наш нравственный долг – довести до читателя». Лакшин: «Такого сборища положительных героев давно не встречал

в нашей литературе. Держать эту повесть взаперти от читателя – такого греха на совесть не беру». – Закс начал затирать и затуманивать ровное место: «Автор дает себя захлестывать эмоциям ненависти... Очень грубо введено толстовство... Избыток горючего материала, а тут еще больная тема спецпереселенцев. **Что за этим стоит**?.. вещь очень незавершенная». – Кондратович уверенно поддержал: «Нет завершенности!.. Разговор о ленинградской блокаде и другие пятнышки раздраженности». – Дементьев начал ленивым тоном: «Конечно, очень хочется (ему-то!) напечатать повесть Солженицына... В смысле проявления сил художника уступает роману... (Но именно романа он не принимал! Теперь, когда роман не угрожал печатанием, можно было его и похвалить.) ...Объективное письмо вдруг уступает место обнаженно-тенденциозному... – А дальше возбуждаясь и сердясь: – У Толстого, у Достоевского есть внутренняя концепция, ради которой вещь пишется, а здесь ее нет, вещь не завершена в своих внутренних мотивах! (Каждый раз одно и то же: он тянет меня высказаться до конца, чтобы потом было легче бить. Шалишь!..) «Подумайте, люди, как вы живете» – это мало. Нет цельности – и, значит, печатать в таком виде нельзя. (– Как будто весь печатаемый хламный книжный поток превзошел эту ступень цельности!.. –) И, всё больше сердясь: – Как так не было предусмотрительности с Ленинградом? Уж куда больше предусмотрительность – финскую границу отодвинули!».

Вот это называется – литературная близость! Вот и дружи с «Новым миром»! Дивный аргумент: границу финскую и то отодвинули! И я – бит, я в повести наклеветал. Я же не могу «внутреннюю концепцию» открыть до конца: «Так нападение на Финляндию и была агрессия!». Тут не в Дементьеве одном, дальше в разговоре и Твардовский меня прервёт:

– О *принципиальных* уступках с вашей стороны нет и речи: ведь вы же не против советской власти, **иначе бы мы с вами и разговаривать не стали**.

Вот это и есть тот либеральный журнал, факел свободной мысли! Затаскали эту «советскую власть», и даже в том никого из них не вразумишь, что *советской*-то власти с 18 года нет.

В чем объединились все: осудили Авиету, и фельетонный стиль главы, и вообще все высказывания о советской литературе, какие только есть в повести: «им здесь не место». (А где им место? На весь этот ворох квачущей лжи кому-то где-то один раз можно ответить?) Здесь удивила меня общая немужественность (или забитость, или согбенность) «Нового мира»: по их же тяжелой полосе 1954 года, когда Твардовский был снят за статью Померанцева «Об искренности», я брал за них реванш, взглядом стороннего историка, а они все дружно во главе с Твардовским настаивали: не надо! упоминать «голубенькую обложку» – не надо! защищать нас – не надо!

Я думал – они только для газеты в свое время раскаялись, для ЦК, для галочки. А они, значит, душой раскаялись: нельзя было *об искренности* писать.

И еще обсуждался «важный» (по нашим условиям) вопрос: как же быть с тем, что повесть не кончена, что только 1-я часть? Одни говорили: ну, и напишем. Но Твардовский, хорошо зная своих чиновных опекунов, и обсуждать не дал: «Мы лишены возможности объявить, что это – 1-я часть. Нам скажут: пусть напишет и представит 2-ю, тогда решим. Мы вынуждены печатать как *законченную* вещь».

А она не закончена, все сюжетные нити повисли!.. Ничего не поделаешь, таковы условия.

Итак, раскололись мнения «низовых» и «верховых», надо ли мою повесть печатать, и камнем последним должно было лечь мнение Твардовского.

Каким же он бывал разным! – в разные дни, а то – в часы одного и того же дня. Выступил он – как художник, делал замечания и предложения, далекие от редакционных целей, а для кандидата ЦК и совсем невозможные:

– Искусство на свете существует не как орудие классовой борьбы. Как только оно знает, что оно орудие, оно уже не стреляет. Мы свободны в суждениях об этой вещи: мы же как на том свете, не рассуждаем – *пойдёт* или *не пойдёт*... Мы вас читаем не редакторским, а читательским глазом. Это счастливое состояние редакторской души: хочется успеть прочитать... Современность вещи в том, что разбуженное народное сознание предъявляет нравственный счет... Не завершено? Произведения великие всегда несут черты незавершенности: «Воскресенье», «Бесы», да где этого нет?.. Эту вещь мы хотим печатать. Если автор еще над ней поработает – запустим ее и будем стоять за нее **по силам и даже больше**!

Так он внезапно перевесил решение – за «младших» (они растрогали его своими горячими речами) и против своих заместителей (хотя, очевидно, обещал им иначе).

И тут же, на этом заседании, он говорил иное: то вот – о советской власти; то – «заглавие будем снимать», не испрашивая встречных мнений. То прерывал мой ответ державными репликами, тоном покровительственным и в политике и в мастерстве. Он абсолютно был уверен, что во всех обсуждаемых вопросах разбирается лучше присутствующих, что только он и понимает пути развития литературы. (Так высоко умел рассуждать! – а и сегодня не удержался от ворчания: «отрастил бороду, чтобы...» – не знал он, что борода уже *вторая*... Это не просто было ворчание, но подчиненность личного мнения мнению *компетентных органов*.)

Возражал я им всем дотошно, но лишь потому что все их выступления успел хорошо записать, и вот они всё равно лежали передо мной на листе. Только одно местечко с подъемом: каких уступок от меня хотят? Русановых миллионы, над ними не будет юридического суда, тем более должен быть суд литературы и общества. А без этого мне и литература не нужна, и писать не хочу.

Ни в бреде Русанова, ни в «анкетном хозяйстве», ни в навыках «нового класса» я не собирался сдвинуться.

А в остальном все часы этого обсуждения я заметил за собой незаинтересованность: как будто не о моей книге речь, и безразлично мне, что̀ решат.

Дело в том, что самиздатские батальоны уже шагали!.. А в печатание легальное я верить перестал. Но пока марш батальонов не донесся до кабинета Твардовского, надо было *пробовать*. Тем более, что 2-ю часть я предвидел еще менее «проходимой».

Нет, они не требовали от меня убирать анкетное хозяйство или черты нового класса, или комиссию по чистке, или ссылку народов. А уж ленинградскую блокаду можно было разделить между Сталиным и Гитлером. Главу с Авиетой со вздохом пока отсечь. Бессмысленнее и всего досаднее было – менять название. Ни одно взамен не шло.

Всё ж я покорился, через неделю вернул в «Н. мир» подстриженную рукопись и в скобках на крайний случай указал Твардовскому запасное название (что-то вроде «Корпус в конце аллеи», вот так они всё и мазали).

Еще через неделю состоялось новое редакционное обсуждение. Случайно ли, не случайно, но не было: ни Лакшина, считавшего бы грехом совести держать эту рукопись взаперти, ни Марьямова с нравственным долгом довести ее до читателя. Зато противники все были тут. Сегодня они были очень сдержанны, не гневались нисколько: ведь они уже сломили Твардовскому хребет там, за сценой.

Теперь начал А.Т. – смущенно, двоясь. Сперва он неуверенно обвинял меня в «косметической» недостаточной правке (зато теперь Дементьев в очень спокойном тоне за меня *заступился* – о, лиса! – де, и правка моя весьма существенна, и вещь стала закончена... от отсечения главы!). Требовал теперь А.Т. совсем убрать и смягченный разговор о ленинградской блокаде, и разговор об искренности. Однако тут же порывом отбросил все околичности и сказал:

– Внешних благоприятных обстоятельств для печатания сейчас нет. Невозможно и рискованно выступать с этой вещью, по крайней мере в этом году. (– Словно на будущий «юбилейный» станет легче!.. –) Мы хотим иметь такую

рукопись, где могли бы отстаивать любое ее место, разделяя его. (– Требование очень отяготительное: автор нисколько не должен отличаться от редакции? должен заранее к ней примеряться? –) А Солженицын, увы, – тот же, что и был...

И даже нависание над раковым корпусом лагерной темы, прошлый раз объявленное им вполне естественным, теперь было названо «литературным, как Гроссман писал о лагере по слухам». (Я о лагере – и «по слухам»!) Потом «редакции нужно прогнать вещи, находящиеся в заторе». (Это – бековский роман о Тевосяне и симоновские «Дневники». Дементьев и Закс обнадеживали, что пройдут «Дневники». Но зарезали и их.) В противоречии же со всем сказанным А.Т. объявил: редакция считает рукопись «в основном одобренной», тотчас же подписывает договор на 25%, а если я буду нуждаться, то потом переписывает на 60%. «Пишите 2-ю часть! Подождем, посмотрим».

Вторую-то часть я писал и без них. А пока что предлагалось мне получить деньги за то, чтобы первую сунуть в гроб сейфа и уж конечно, по правилам «Н. мира» и по личным на меня претензиям А.Т., – никому ни строчки, никому ни слова, не дать «Раковому корпусу» жить, пока в один ненастный день не приедет полковник госбезопасности и не заберет его к себе.

Такое решение редакции искренно меня облегчило: все исправления можно было тотчас уничтожить, вещь восстановить – как она уже отстукивалась на машинках, передавалась из рук в руки. Отпадала забота: как выдержать новый взрыв А.Т., когда он узнает, что вещь *ходит*. Мы были свободны друг от друга!

Но всего этого я не объявил драматически, потому что лагерное воспитание не велит объявлять вперед свои намерения, а сразу и молча действовать. И я только тò сказал, что договора пока не подпишу, а рукопись заберу.

Кажется, из сочетания этих двух действий могла бы редакция и понять! – но они ничего не поняли. Так и поняли, что я покорился, повинился, и вот буду работать дальше,

считая себя недостойным даже договора. Я опять стал для них овечкой «Н. мира»!

Однако не прошло и месяца, как Твардовский через родственников моей жены Туркиных срочно *вызвал* меня. Меня, как всегда «не нашли», но 3 августа я оказался в Москве и узнал: донеслось до А.Т., что *ходит* мой «Раковый корпус» и разгневан он выше всякой меры; только хочет убедиться, что не я, конечно, *пустил* его (разве б я смел?!..) – и тогда он знает, кого выгонит из редакции! (Подозревалась трудолюбивая Берзер, вернейшая лошадка «Н. мира», которая тянула без зазора.)

Был поэт и цекистом, мыслящим государственно: невозможная для печати, даже для предъявления цензуре «рискованная» книга, написанная однако под советским небом, была уже собственностью государства! – и не могла по произволу несмышлёныша-автора просто так даваться людям читать!

А я-то думал как раз наоборот! Вот уж год кончался после моего провала, и даже в моей неусвойчивой голове прояснялось положение их и мое: что нѐчего, нечего, нечего мне терять! Что открыто, не таясь, не отрекаясь, давать направо и налево «Корпус» для меня ничуть не опаснее, чем та лагерная пьеса, уже год томящаяся на Большой Лубянке. – Вы раздаёте? – Да, я раздаю!! Я написал – я и раздаю! Провалитесь все ваши издательства! – мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите! Пусть ваши ленинские лауреаты попробуют так распространить свои рукописи!

Так вот оно, вот оно в каком смысле говорится: «пришла беда – не брезгуй и ею!» **Беда может отпирать нам свободу**! – если эту беду разгадать суметь.

О моей силе толковал мне когда-то Демичев – я еще не допонял. Теперь своим годовым бездействием *они* мне во плоти показали мою силу.

Я, разумеется, не поехал на вызов Твардовского, а написал ему так:

«...Если вы взволнованы, что повесть эта стала известна не только редакции «Н. мира», то... я должен был бы выразить удивление... Это право всякого автора, и было бы странно, если бы вы намерились лишить меня его. К тому же я не могу допустить, чтобы «Раковый корпус» повторил печальный путь романа: сперва неопределенно-долгое ожидание, просьбы к автору от редакции никому не давать его читать, затем роман потерян и для меня и для читателей, но распространяется по какому-то закрытому избранному списку...».

Я писал – и не думал, что это жестоко. А для А.Т. это очень вышло жестоко. Говорят, он плакал над этим письмом. О потерянной детской вере? о потерянной дружбе? о потерянной повести, которая теперь попадет в руки редакторов-гангстеров?

С тех пор в «Н. мир» ни ногой, ни телефонным звонком, свободный в действиях, я бился и вился в поисках: что еще? что еще мне предпринять против наглого когтя врагов, так глубоко впившегося в мой роман, в мой архив? Судебный протест был бы безнадежен. Напрашивался протест общественный.

Когда-то, когда я смотрел на союз писателей издали, мне весь он представлялся глумливым торжищем в литературном храме, достойным только вервяного бича. Но – бесшумно растет живая трава, огибая наваленные стальные балки, и если ее не вытаптывать – даже балки эти закроет. Здоровые и вполне незагрязненные стебли неслышно прорастали это гнилое больное тело. После хрущевских разоблачений стал особенно быстр их рост. Когда я попал в СП, я с удивлением и радостью обнаружил здесь много живых свободолюбивых людей – искони таких, или не успевших испортиться, или сбрасывающих скверну. (Лишний пример того, что никогда не надо сметь судить огулом.)

Сейчас я легко мог бы найти сто и двести честных писателей и отправить им письма. Но они, как правило, не занимали в СП никаких ведущих постов. Выделив их не по признаку служебному, а душевному, я поставил бы

их под удар и нисколько не способствовал бы своей цели: гласности сопротивления. Посылать же протесты многолюдным и бездарным всесоюзному и всероссийскому правлениям СП было удручающе-бесплодно. Но маячил в декабре 1966 г. писательский съезд, недавно отложенный с июня – первый съезд при моем состоянии с СП и, может быть, последний. Вот это был случай! В момент съезда старое руководство уже бесправно, новое еще не выбрано, и я волен различить достойных делегатов по собственному пониманию. Да чем не ленинская тактика – апеллировать к съезду? Это ж он и учил так: ловить момент, пока **уже не**... и **еще не**...

Но не скоро будет съездовский декабрь, а подбивало меня как-то протестовать против того, что̀ делают с моими вещами. И я решил пока обратиться – еще раз и последний раз – в ЦК. Я не член партии, но в это полубожественное учреждение всякий трудящийся волен обращаться с мольбою. Мне передавали, что там даже ждут моего письма, конечно *искреннего,* то есть раскаянного, умоляющего дать мне случай охаять всего себя прежнего и доказать, что я – «вполне советский человек».

Сперва я хотел писать письмо в довольно дерзком тоне: что *они сами* уже не повторят того, что̀ говорили до XX съезда, устыдятся и отрекутся. Э. Генри убедил меня этого не делать: кроме накала отношений такое письмо практически ничего не давало – ни выигрыша времени, ни сосуществования. Я переделал, и упрек отнесся к литераторам, а не к руководителям партии. В остальном я постарался объясниться делово, но выражаться при этом с независимостью. Вероятно, это не совсем мне удалось: еще традиции такого тона нет в нашей стране, нелегко ее создать.

Письмо на имя Брежнева было отослано в конце июля 66 г. Никакого ответа или отзыва не последовало никогда. Не прекратилась и закрытая читка моих вещей, не ослабела и травля по партийно-инструкторской линии, может призамялась на время. И все-таки это письмо помогло мне на сколько-то месяцев замедлить ход всех событий и за это время

окончить «Архипелаг». Еще оно способствовало, кажется, разрешению устроить обсуждение 1-й части «Корпуса» в ЦДЛ (а то лежала она два месяца как под арестом у секретаря московского СП генерал-лейтенанта КГБ В.Н. Ильина).

Обсуждение было объявлено в служебно-рекламной книжечке ЦДЛ – и так впервые, вопреки «Н. миру» было типографски набрано это уже неотменимое название: «Раковый корпус». Однако, обнаружилось слишком много желающих попасть на обсуждение, руководство СП испугалось, дату сменили, и назначили час дневной, объявили уже не публично, и жестоко проверяли у входа пригласительные билеты прозаиков.

Было это 16 ноября. За три месяца прочли и многие враги, кто не только в журнальных статьях разносил мою убогую философию и убогий художественный метод, но даже (В. Панков) целые главы учебников посвящали этому разносу. Однако, чудо: из той всей шайки, кроме З. Кедриной («общественной обвинительницы» Синявского и Даниэля) и лагерного ортодокса (стукача?) Асанова, никто **не посмел явиться**. Это был двойной знак: силы уже возросшего общественного мнения (когда аргументов нет, так и не поспоришь, а доносов перестали бояться) и силы еще уверенной в себе бюрократии (зачем им идти сюда гавкаться и позориться, когда они и так втихомолку эту повесть затрут и не пустят?).

И превратилось обсуждение не в бой, как ждалось, а в триумф и провозвещение некой новой литературы – еще никем не определенной, никем не проанализированной, но жадно ожидаемой всеми. Она, как заявил Каверин в отличной смелой речи (да уж много лет им можно было смело, чего они ждали!), придет на смену прежней **рептильной** литературе. Кедриной и говорить не дали: демонстративно повалом – вслед за Виктором Некрасовым, стали выходить.*

* А новомирцам А.Т. *запретил* присутствовать на обсуждении! Ушла корова, так и подойник обземь.

Не по разумному заранее плану, а по стечению случаев сложился у меня очень бурный ноябрь в том году. Есть такие удивительные периоды в жизни каждого, когда разные внешние неожиданные силы сразу все приходят в движение. И в этом только движении, уже захваченный им, я из него же и понял, как мне надо себя вести: как можно дерзей, отказавшись от всех добровольных ограничений. Прежде я отказывался от публичных выступлений? А теперь – согласен на все приглашения. Я всегда отказывался давать интервью? А теперь – кому угодно.

Потому что – терять ведь нечего. Хуже, чем они обо мне думают – они уже думать не могут.

Не я первый тронул, не я первый сдвинул свой архив из его покойного хранения: ЧКГБ скогтило его. Но и ГБ не дано предвидеть тайного смысла вещей, тайной силы событий. В их раскруте уже стали и ГБ и я только исполнителями.

Мое первое публичное выступление сговорено было внезапно: случайно встретились и спросили меня на ходу, не пойду ли я выступить в каком-то «почтовом ящике». А отчего ж? – пойду. Состроилось всё быстро, не успели опознать охранительные инстанции, и у физиков в институте Курчатова состоялась встреча на 600 человек (правда, больше ста из них пришли со стороны, никому не известные персоны, «по приглашению парткома»). Были, конечно, гебисты в немалом числе, кто-нибудь и из райкома-горкома.

На первую встречу я шел – ничего не нёс **сказать**, а просто *почитать* – и три с половиной часа читал, а на вопросы отвечал немногие и скользя. Я прочел несколько ударных глав из «Корпуса», акт из «Света, который в тебе» (о целях науки, зацепить научную аудиторию), а потом обнаглел и объявил чтение глав (свидания в Лефортове) из «Круга» – того самого «Круга», арестованного Лубянкой: если *они* дают его читать номенклатурной шпане – то почему же автор не может читать народу? (Узелок запрета развязывал как будто первый не я, в этом было утешение моему лагерному фатализму.)

Нет, время не прежнее и мы не прежние! Меня не заглушили, не прервали, не скрутили руки назад, даже не вызвали в ГБ для объяснения или внушения. А вот что: министр КГБ Семичастный стал мне отвечать! – публично и заочно. На этом посту, зевая одну за другой свои подрывные и шпионские сети в Африке и Европе, все силы он обратил на идеологическую борьбу, особенно против писателей как главной опасности режиму. Он часто выступал на Идеологических совещаниях, на семинарах агитаторов. В том ноябре в своих выступлениях он выразил возмущение моей наглостью: читаю со сцены конфискованный роман. Всего таков был ответ КГБ!

Каждый их шаг показывал мне, что мой предыдущий был недостаточен.

Теперь я искал случая ответить Семичастному. Прошел слух, что я выступал у курчатовцев, и стали приходить мне многие приглашения – одни предположительные, другие точные и настоятельные, я всем подряд давал согласие, если только даты не сталкивались. И в этих учреждениях всё как будто было устроено, разрешено директорами, повешены объявления, напечатаны и розданы пригласительные билеты, – но не тут-то было! не дремали и там. В последние часы, а где и минуты, раздавался звонок из московского горкома партии и говорили: «Устроите встречу с Солженицыным – положите партийный билет!» И хотя учреждения-устроители были не такие уж захолустные (несмеяновский НИИ, карповский, семеновская Черноголовка, мехмат МГУ, Баумановский институт, ЦАГИ, Большая Энциклопедия), протестовать никто не имел сил, а академики-возглавители – мужества. В карповском так поздно отменили, что успели меня туда сами же и привезти, но уже объявление висело: «Отменено по болезни автора». А директор ФБОН отменил сам от испуга: ему позвонили, что придет на встречу инкогнито в штатском генерал КГБ, так место ему приготовить.

Поздно понял я, что у курчатовцев был слишком сдержан, искал теперь, где ответить Семичастному – но

захлопывались все двери: упущено, голубчик! **Одно**, всего одно выступление мне было нужно, чтоб ответить крепенько разок – да поздно! За всю жизнь не ощущал я так остро лишения свободы слова!

И вдруг из Лазаревского института Востоковедения, где однажды мое выступление уже запретили (а потом все партийные чины отперлись – не они это запретили) меня пригласили настойчиво: не отменят! Прямо с рязанского поезда и пошел я на ту встречу. И действительно – не отменили (30 ноября).

Теперь-то я пришел **говорить**! Теперь я пришел с заготовленной речью, и только повод надо было искать, куда ее пристроить. Прочел две главы из «Корпуса», набралось несколько десятков записок и, сцепив с какой-то из них, я спешил, пока не согнали меня с этого помоста, выкрикнуть и вылепить всё, что мне запретили в девяти местах. Рядом со мной на сцене посадили нескольких мужчин из парткома – не для того ли, чтоб и микрофон и меня выключить, если очень уж косо пойдет? Но не пришлось им вступить в действие: сидели в зале развитые гуманитарии, и для них достаточно было на хребте говорить, не обязательно перешагивать. Я волны принимал, что сидит здесь кто-то крупный из ГБ и может быть даже с портативным магнитофоном. В лепке старинных лазаревских стен я представлял выступающий горельеф шефа жандармов, и он ничего не мог мне сейчас возразить, а я ему – мог! И голосом громким, и чувством торжествующим, просто радостным, я объяснял публике – и **выдавал** ему. Ничтожный зэк в прошлом и может быть в будущем, прежде новых одиночек и прежде нового закрытого суда – вот я получил аудиторию в полтысячи человек и свободу слова!

Я должен вам объяснить, почему я отказывался от интервью и от публичных выступлений, – но стал давать интервью, но вот стою перед вами. Как и прежде, я считаю, что дело писателя – писать, а не мельтешить на трибуне, а не давать объяснения газетам. Но мне преподали урок:

нет, писатель не должен писать, он должен защищаться. Я принял урок! Я вышел сюда перед вами защищаться! Есть одна **организация**, которой вовсе бы не дело опекать художественное творчество, которая вовсе не должна руководить художественной литературой, – но она делает это. Эта организация отняла у меня роман и мой архив, никогда не предназначавшийся к печати. И еще в этом случае я – молчал, я продолжал тихо работать. Однако, используя односторонние выдержки из моего архива, начали кампанию клеветы против меня, нового вида клеветы – клеветы с трибуны на закрытых инструктажах. Что остается мне? Защищаться! Вот я пришел! Смотрите: я еще жив! Смотрите: еще эта голова – на шее! (кручу), – а уже без моего ведома и против моей воли мой роман закрыто издан и распускается среди избранных – таких, как главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов. Так скажите, почему от того же должен отказываться я? Почему же мне, автору, не почитать вам сегодня главы из того же романа? (крики: «Да!»).

Нужно прожить долгую жизнь раба, пригибаться перед начальством с детского возраста, со всеми вскакивать для фальшивых аплодисментов, кивать заведомой лжи, никогда не иметь права возразить, – и это еще рабом-гражданином, а потом рабом-зэком, руки назад, не оглядываться, из строя не выходить, – чтоб оценить этот час свободной речи с помоста пятистам человекам, тоже ошалевшим от свободы.

Кажется, первый раз – первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю. Я избрал читать главы о разоблачении стукачей («родина должна знать своих стукачей»), о ничтожестве и дутости таинственных оперуполномоченных. Почти каждая реплика сгорает по залу как порох! Как эти люди истосковались по правде! Боже мой, как им нужна правда! Записка: объясните вашу фразу из прочтенной главы, что «Сталин не допустил Красного Креста к советским военнопленным». Современникам и участникам всеохватной несчастной войны – им не дано ведь даже о ней знать как следует. В какой камере

какая тупая голова этого не усвоила? – а вот сидит полтысячи развитейших гуманитариев, и им знать не дано. Извольте, товарищи, охотно, эта история к сожалению малоизвестна. По решению Сталина министр иностранных дел Молотов отказался поставить советскую подпись под гаагской конвенцией о военнопленных и делать уплаты в международный Красный Крест. Поэтому наши были единственные в мире военнопленные, покинутые своей родиной, единственные обреченные гибнуть от голода на немецкой баланде...*

О, я кажется уже начинаю любить это свое новое положение, после провала моего архива! это открытое и гордое противостояние, это признанное право на собственную мысль! Мне, пожалуй, было бы уже и тяжело, уже почти невозможно вернуться к прежней тихости. Вот когда мне начинает открываться высший и тайный смысл того горя, которому я не находил оправдания, того швырка от Верховного Разума, которого нельзя предвидеть нам, маленьким: для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаянья я начал говорить и действовать.

Ибо – подошли сроки...

Я начал эти очерки с воспоминания, как становишься из обывателя подпольщиком – зацепка за зацепочкой, незаметно до какой-то утренней пробудки: э-э, да я уже... И так же, благодаря своему горькому провалу, подведшему меня на грань ареста или самоубийства, и потом стежок за стежком, квант за квантом от недели к неделе, от месяца к месяцу, осознавая, осознавая, осознавая – счастлив, кто мог бы быстрей понять небесный шифр, я – медленно, я – долго, – но однажды утром проснулся и я свободным человеком в свободной стране!!!

---

* В очередном «ответе» Семичастный заявит, что я клеветал, будто мы морили с голоду немецких военнопленных.

Так ударил я в гонг своим вторым выступлением, вызывая на бой – будто теперь только и буду, что выступать, – и в тех же днях без следа, хоть и не сбрив бороды в этот раз, нырнул опять в свое далекое Укрывище, в глушь – работать! работать! – потому что сроки подошли, да я не готов к ним, я еще не выполнил своего долга.

Я рассчитывал, что всем переполохом три месяца покоя себе обеспечил, до весны. Так и вышло. За декабрь-февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» – с переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 73 дня – еще и болея, и печи топя, и готовя сам. Это – не я сделал, это – ведено было моею рукой!

Но и рассчитано у меня было, что на Новый 1967-й год еще одна гранатка взорвется – мое первое интервью японскому корреспонденту Комото Седзе. Он взял его в середине ноября, должен был опубликовать на Новый год – однако шли дни января, а транзистор в моей занесенной берлоге ни по одной из станций – ни по самòй японской, ни по западным, ни даже по «Свободе» не откликался на это интервью.

В ноябре оно совершилось экспромтом и по официальным меркам – нагло. Существовали какие-то разработанные порядки, обязательные и для иностранных корреспондентов, если они не хотят лишиться московского места, и уж тем более для советских граждан. Писатели должны иметь согласие Иностранной комиссии СП (все «иностранные отделы» всех учреждений – филиалы КГБ). Я этих порядков не узнавал в свое время, а теперь и вовсе знать не хотел. Моя новая роль состояла в экстерриториальности и безнаказанности.

С. Комото обычным образом послал просьбу об интервью – мне, а копию – в Иностранную комиссию. Там и беспокоиться не стали: ведь я же давно от всяких интервью отказался. А я – я того и хотел уже больше года, с самого провала: высказать в интервью, чтò делается со мной. И вот она была, внезапная помощь: японский корреспондент (вроде и не криминальный западный, а вместе с тем

вполне западный) просил меня письменно ответить на пять вопросов, если я не захочу встретиться лично. Он давал свой московский адрес и телефон. Даже только эти пять вопросов меня вполне устраивали: там уже был вопрос о «Раковом корпусе» (значит, слух достаточно разнесся) и был вопрос о моих «творческих планах». Я подготовил письменный ответ. [1] Всё же идти на полный взрыв – объявлять всему миру, что у меня арестованы роман и архив, я не решился. Но перечислил несколько своих вещей и написал, что **не могу найти издателя** для них. Если этого автора три года назад рвали из рук и издавали на всех языках, а сейчас он у себя на родине «не может найти издателя», то неужели что-нибудь еще останется неясно?

Но как передать ответ корреспонденту? Послать по почте? – наверняка перехватят, и я даже знать не буду, что не дошло. Просить кого-нибудь из друзей пойти бросить письмо в его почтовый ящик на лестнице? – наверняка в их особом доме слежка на лестнице и фотографирование (я еще не знал: милиция, и вообще не пускают). Значит, надо встретиться, а уж если встретиться, так отчего не дать и устного интервью? Но где же встретиться? В Рязань его не пустят, в Москве я не могу ничью частную квартиру поставить под удар. И я избрал самый наглый вариант: в Центральном доме Литератора! В день обсуждения там «Ракового корпуса», достаточно оглядя помещения, я из автомата позвонил японцу и предложил ему интервью завтра в полдень в ЦДЛ. Такое приглашение очень официально звучало, вероятно он думал, что я всё согласовал, где полагается. Он позвонил своей переводчице (проверенной, конечно, в ГБ), та – заказала в АПН фотографа для съемки интервью в ЦДЛ, это тоже очень официально звучало, не могло и у АПН возникнуть сомнения.

Я пришел в ЦДЛ на полчаса раньше назначенного. Был будний день, из писателей – никого, вчерашнего оживления и строгостей – ни следа, рабочие носили стулья через распахнутые внешние двери. Вместо черного японца

вошла беленькая русская девушка и направилась к столику администратора, мне послышалась моя фамилия, я ее перехватил и просил звать японцев (их оказалось двое и ждали они в автомобиле). Привратники были те же, которые вчера видели меня в вестибюле в центре внимания, и для них авторитетно прозвучало, когда я сказал: «Это – ко мне». (Потом я узнал, что для входа иностранцев в ЦДЛ требуется всякий раз специальное разрешение администрации.) Я пригласил их в покойное фойе с коврами и мягкой мебелью и выразил надежду, что скромность обстановки не стеснит нашей деловой встречи. Тут, запыхавшись, прибежал и фотокорреспондент из АПН, притащил здешние ЦДЛ-овские огромные лампы-вспышки, и пошло наше двадцатиминутное интервью при свете молний. Администрация дома увидела незапланированное мероприятие, но его респектабельность, важность, а значит и разрешенность, не подлежали сомнению.

Комото неплохо говорил по-русски, так что переводчица была лишь для штата, она ничего не переводила. В конце встречи разъяснилось и это обстоятельство: Комото сказал, что три года сам провел в наших сибирских лагерях! Ну, так если он – зэк, он может быть и отлично понял *чернуху* в нашей встрече! И тем более должен он понять всё недосказанное. Мы сердечно попрощались.

Но вот прошла одна и вторая неделя после Нового года, а транзистор не доносил в моё уединение ни четверть-отклика, ни фразочки на мое интервью! Всё пропало зря? Что же случилось? Помешали самому Комото, угрозили? Или не захотел редактор газеты портить общей обстановки смягченности японо-советских отношений? (Их радиостанция на русском языке выражалась приторно-угодливо.) Только одного я не допускал: чтоб интервью было напечатано в срок и полностью, в пяти миллионах экземпляров, в четырех газетах, на четверть страницы, ну пусть в японских иероглифах – и было бы не замечено на Западе **ни единым человеком**! В связи с «культурной революцией» в Китае каждый день все радиостанции мира

ссылались на японских корреспондентов, значит просматривали же их газеты – а моего интервью не заметил никто! Была ли это краткость земной славы, и Западу давно уже было начхать на какого-то русского, две недели пощекотавшего их дурно переведенным бестселлером о том, как жилось в сталинских концлагерях ? И – это конечно. Но если бы промелькнуло где-то, хоть в Полинезии или Гвинее, сообщение, что левый греческий деятель не нашел для одного своего абзаца издателя в Греции – да тут бы Бертран Рассел, и Жан-Поль Сартр и все левые лейбористы просто криком благим бы изошли, выразили бы недоверие английскому премьеру, послали бы проклятье американскому президенту, тут бы международный конгресс собрали для анафемы греческим палачам. А что русского писателя, недодушенного при Сталине, продолжают душить при коллективном руководстве, и уже при конце скоро – это не могло оскорбить их левого миросозерцания: если душат в стране коммунизма, значит это необходимо для прогресса!

В многомесячном и полном уединении – как же хорошо работается и думается! Истинные размеры, веса́ и соотношения предметов и проблем так хорошо укладываются. В захвате безостановочной работы в ту зиму я обнаружил, что на сорок девятом году жизни окончу «n-1» свою работу – всё, что я собирался в жизни написать, кроме последней и самой главной – Р-17. Тот роман уже 30 лет – с конца 10-го класса, у меня обдумывался, перетряхивался, отлёживался и накоплялся, всегда был главной целью жизни, но еще практически не начат, всегда что-то мешало и отодвигало. Только вот весной 1967-го года предстояло мне наконец дотянуться до заветной работы, от которой сами ладони у меня начинали пылать, едва я перебирал т е книги и т е записи.

И вот теперь, в тишине почти невероятной для нашего века, глядя на ели, по-крещенски отяжеленные неподвижным снегом, предстояло мне сделать один из самых важных жизненных выборов. Один путь был – поверить во внешнее

нейтральное благополучие (не трогают), и сколько неустойчивых лет мне будет таких отпущено – продолжать сидеть как можно тише и писать, писать свою главную историю, которую никому до сих пор написать не дали, и кто еще когда напишет? А лет мне нужно на эту работу семь или десять.

Путь второй: понять, что можно так год протянуть, два, но не семь. Это внешнее обманчивое благополучие самому взрывать и дальше. Страусиную голову вытянуть из-под камешка. Ведь «железный Шурик» тоже не дремлет, он крадется там, по закоулкам, к власти, и из первых его будет движений – оторвать мне голову эту. Так вот, накануне самой любимой работы – отложить перо и рискнуть. Рискнуть потерять и перо, и руку, и голос, и голову. Или – так безнадежно и так громогласно испортить отношения с властью, чтоб этим и укрепиться? Не туда ли судьба меня и толкает? Не заставлять ее повторять предупреждение. Много десятков лет мы все вот так из-за личных расчетов и важнейших собственных дел – все мы берегли свои глотки и не умели крикнуть прежде, чем толкали нас в мешок.

Еще весной 66-го года я с восхищением прочел протест двух священников – Эшлимана и Якунина, смелый чистый честный голос в защиту церкви, искони не умевшей, не умеющей и не хотящей саму себя защитить. Прочел – и позавидовал, что сам так не сделал, не найдусь. Беззвучно и неосознанно во мне это, наверно, лежало и проворачивалось. А теперь с неожиданной ясностью безошибочных решений проступило: что-то подобное надо и мне!

Узнал я по радио, что съезд писателей отсрочили на май. Очень кстати! Уж если не помогло интервью – только письмо съезду и оставалось. Только **назвать** теперь больше и крикнуть сильней.

Бесконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную косную глыбу. Но нет другого пути, если вся материя – уже не твоя, не наша. А всё ж и от крика бывают в горах обвалы.

Ну, пусть меня и потрясет. Может только в захвате потрясений я и пойму сотрясенные души 17-го года?

Не рок головы ищет, сама голова на рок идет.

А ближайший расчет мой был – еще утвердиться окончанием и распространением 2-й части «Ракового корпуса». Уезжая на зиму, я оставил ее близкой к окончанию. По возврате в шумный мир предстояло ее докончить.

Но требовал долг чести еще и эту 2-ю часть перед роспуском по Самиздату всё же показать Твардовскому, хотя заведомо ясно было, что только трата месяца, а их и так не хватает до съезда. Чтобы выиграть время, я попросил моих близких принести Твардовскому промежуточный, не вполне оконченный вариант месяцем раньше с таким письмом, якобы из рязанского леса:

«Дорогой Александр Трифонович!

Мне кажется справедливым предложить вам быть первым... (где уж там первым) ...читателем 2-й части, если вы этого захотите... Текст еще подвергнется шлифовке, я пока не предлагаю повесть всей редакции... Пользуюсь случаем заверить вас, что несостоявшееся наше сотрудничество по 1-й части никак не повлияло на моё отношение к «Н. миру». Я по-прежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала... (Здесь натяжка, конечно.) ...Но обстановка общелитературная слишком крута для меня, чтобы я мог разрешить себе и дальше ту пассивную позицию, которую занимал четыре года...»

То есть, я даже не просил рассмотреть вопроса о печатании. После ссоры и полугодового разрыва я только предлагал Твардовскому *почитать*.

По времени сложилось отлично: пока я в марте 67-го вернулся и доработал 2-ю часть, – в «Н. мире» ее не только А.Т., но все прочли – и оставалось мне лишь получить их отказ, отказ от всяких дальнейших претензий на повесть. За год я получил из пяти советских журналов отказ напечатать даже самую безобидную главу из 1-й части

– «Право лечить» (ташкентский журнал не поместил ее даже в благотворительном безгонорарном номере); затем от всей 1-й части отказались – «Простор» (трусливым оттягиванием) и «Звезда» («в Русанова вложено больше ненависти, чем мастерства» – а ведь этого на страницах советских книг никогда не допускали!, «ретроспекции в прошлое создают ощущение, будто культ личности полностью перечеркнул всё, что было советским народом сделано хорошего» – ведь домны вполне возмещают и гибель миллионов и всеобщее развращение; и хотелось бы «увидеть более ясно отличие авторских позиций от позиций толстовства» – так уж тем более Льва Толстого строчки бы не напечатали!).

Каждый такой отказ был перерубом еще-еще-еще одной стропы, удерживающей на привязи воздушный шар моей повести. Оставалось последний переруб получить от Твардовского – и никакая постылая стяга больше не удерживала бы мою повесть, рвущуюся двигаться.

Наша встреча была 16 марта. Я вошел веселый, очень жизнерадостный, он встретил меня подавленный, неуверенный. Естественно было нам говорить о 2-й части, но за полтора часа с глазу на глаз меньше всего разговору было о ней.

Мой путь уже был втайне определен, я шел на свой рок, и с поднятым духом. Видя подавленность А.Т., мне хотелось подбодрить и его. За это время он потерпел несколько партийных и служебных поражений: на XXIII съезде его не выбрали больше в ЦК; сейчас не выбирали и в Верх. Совет («народ отверг», как объяснил Демичев); с потерей этих постов еще беспомощнее он стал перед наглой цензурой, как хотевшей, так и терзавшей наборные листы его журнала; стягивалась петля и вокруг «Теркина на том свете» в театре Сатиры: всё реже пьесу давали и готовились совсем снять; а недавно ЦК актом внезапным и непостижимым по замыслу, минуя Твардовского, не предупредив его, сняло двух вернейших заместителей – Дементьева и Закса: как когда-то из ГБ не возвращались люди домой, так и эти двое уже не

вернулись из ЦК на прежнюю работу.* Административно это было, конечно, плевком в Твардовского и во всю редакцию, но **по сути** это был такой же переруб строп, высвобождение ко взлёту, ибо снятые и были два вернейших внутренних охранителя,ослаблявшие энергию Твардовского. Однако А.Т. так привык доверяться Дементьеву, так верил в деловые и дипломатические качества Закса, так уже привычно был связан с ними, и еще форма снятия так груба была даже и для всех сотрудников редакции, – что едва ли не коллективная отставка готовилась в виде протеста, сам же А.Т. никогда не был столь близок к отказу от редакторства. (Значит, не глупо рассчитали враги. Еще, может быть, вот было соображение: без удерживающих внутренних защёлок сорвется в «Н. мире» вся стреляющая часть, выпалит через меру – и погубит сама себя.)

Я иначе принял отставку Дементьева и Закса: только очищение журнала. Но бесполезно оказалось убеждать в этом Твардовского, да и сотрудников. Во всем же другом я старался теперь перенастроить А.Т.: что снятие из ЦК и Верхсовета было для него не общественным падением, а **высвобождением**, что таким образом положение его и журнала всё более приближаются к пушкинским: вы – свободный поэт, ведущий независимый журнал. (Заслужить это сравнение было для А.Т. еще очень далеко. Но устоявшаяся внутрижурнальная форма бесед была такова, при том градусе. Не избежать было этой формы и мне, если я хотел в чем-то надоумить.) И А.Т. сразу откликнулся: что он **ничуть не жалеет** о снятии его, даже рад. (Уже это было хорошо, что так говорил, хотя явно неискренно. В тех самых днях в Столешниковом переулке, в пьяном состоянии, он остановил незнакомого полковника и открывался ему, бедняга, как больно задет.)

---

* Впрочем, Дементьев еще долго и жалостно навещал редакцию с голосом на слезе. Он и никогда не работал здесь ради зарплаты, он выполнял *общественное поручение,* а сейчас, наверно, и совсем бесплатно взялся бы.

Я: – Тем лучше! Я рад, что вы так понимаете, что у вас уже есть внутренняя свобода. – (О, если бы!)

Он (без моей наводки): ...«Или что *медальки* не дали! – (За месяц перед тем дали золотую звезду Шолохову, Федину, Леонову, Тычине, а ему – *первому* поэту России – ведь так же было установлено по табели рангов – не дали, нарушили табель из-за смелых общественных шагов.) – Соболев рыдает, а я рад, что не дали. Мне позор бы был. – (Неискренно).

Я: – Конечно позор, в такой компании!

Итак, хотя 8 месяцев мы не виделись и были как бы в разрыве, и в начале он меня встретил с обиженностью, и была взаимная боязнь новой обиды, боязнь неловко коснуться, – теперь свободно потёк разговор, интересный для него и для меня: моя цель всегда была, чтоб они хоть добровольный-то намордник сняли.

А.Т. подробно стал рассказывать, почему он не подал в отставку из-за Дементьева и Закса; как те сами отговаривали его; как *наверху* ему сказали: ваша отставка была бы поступком антипартийным. И еще рассказывал благодушно, как он хорошо и умно перестроил редакцию журнала, как одним и тем же (?) выражением «сочту за честь» приняли его предложение войти в редакцию Дорош, Айтматов и Хитров. А еще – как накануне прошло обсуждение журнала в секретариате союза (после ругательной статьи в «Правде»): вопреки ожиданиям благопристойно и благополучно.

И после такого огляда не горе изо всего выстроилось, а радость: в который раз журнал проявил свою непотопляемость! А что бы иначе? А иначе сомкнулись бы волны и погас бы светоч.

Но на этом светло-розовом небе вот что беспокоило А.Т.: вчера на секретариате Г. Марков сказал, что «Раковый корпус» уже напечатан на Западе. И грозно посмотрел на меня Главный редактор. (Вырастил бороду... Не сам ли и «Крохотки» отдал за границу?.. Всё сходилось против меня остриём.) Тут напомнил мне А.Т. по праву старшего,

что *даже* некий (безымянный) буржуазный орган (ближе к моему беспартийному пониманию он давал более понятный авторитет) написал, что конечно Солженицына был бы недостоин образ действий Синявского и Даниэля.

Я ответил: – Сам я не собираюсь посылать за границу ничего. Но от соотечественников скрывать своих книг не буду. Давал им читать, даю и буду давать!

А.Т. вздохнул. Но признал разумно:

– В конце концов это – право автора.

(В начале начàл!!)

А откуда мог пойти слух? Пытался я ему объяснить. Одна глава из «Корпуса», отвергнутая многими советскими журналами, действительно напечатана за границей – именно, центральным органом словацкой компартии «Правда». Да, кстати! я же дал на днях интервью словацким корреспондентам, вам рассказать? Да! я ведь в ноябре дал интервью японцу, я вам не рассказывал... («Слышал, – хмуро кивнул Твардовский. – Вы что-то незаконное передали в японское посольство...») Да! ведь мы же восемь месяцев не виделись, а завтра А.Т. едет в Италию, и надо ему быть осведомленным о моем новом образе действий: я ведь совсем иначе себя теперь веду! Дайте-ка расскажу!..

Но – всякий интерес потерял А.Т. к нашему разговору. Он стал звонить секретарю, связываться с Сурковым, с Бажаном, со всеми теми, о ком на полчаса раньше остроумно выразился, что «на одном поле не сел бы рядом с ними.....»: ведь именно с ними ему нужно было завтра ехать спасать КОМЕСКО. Я помнил, как парижским своим интервью осени 1965 года А.Т. успокаивал о моей судьбе и, значит, помогал меня душить. Теперь я очень выразительно сказал ему, как ненавижу Вигорелли за то, что тот солгал на Западе будто недавно беседовал со мною дружески и узнал от меня, что роман и архив мне возвращены. Он помогал душить. (Сиречь: да вы же там завтра не помогите!..)

А делаю я теперь вот что: даю рукописи обсуждать в секцию прозы...

А.Т. качает головой: – Не следовало давать.

– ...потом – публично выступаю...

А.Т. хмурится: – Очень плохо. Зря. Своими резкими выступлениями вы ставите под удар «Новый мир». Нас упрекают: вот, значит, вы кого *воспитали,* вот кого вытащили на свет!

(Да Боже мой, да не только значит я, но и вся русская литература должна замолкнуть и самопотопиться – чтобы только не упрекали и не потопили «Н. мир»?..)

– Я защищаю и вас! Я объясняю людям громко со сцены, почему на два-три месяца задерживаются ваши номера: цензура!

– Не надо объяснять! – все гуще хмурился он. – Мне говорили, что вы вообще против меня высказываетесь...

– **Против**? И вы могли **поверить**?

– Я ответил: пусть! А я против него – не буду.

(Поверил! сразу поверил бедный Трифоныч! – Но сам поступит благороднее!.. В том и дружба.)

И где ж во всем этом разговоре был «Раковый корпус»? Да был все-таки, переслойкой: по две фразы, по два абзаца.

2-й части «Корпуса» он высказал высшие похвалы; что это *в три раза* (прибор такой есть?) выше 1-й части. Но вот что...

(Я знаю: *сейчас,* как раз *сейчас,* такие условия, такая ситуация... Дорогой Александр Трифоныч! Я знаю! Я и не прошу печатать! Берегите журнал! Я и давал-то вам повесть только чтоб вы не обижались! Я в редакцию-то – не давал!)

– ...Но вот что: **Даже если бы печатание зависело целиком от одного меня – я бы не напечатал**.

– Вот это мне уже горько слышать, Александр Трифоныч! Почему же?

– Там – неприятие советской власти. Вы ничего не хотите простить советской власти.

– А.Т.! Этот термин «советская власть» стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, **только** их одних, **свободно** ими избранную и **свободно** ими контролируемую. Я – руками и ногами за такую

власть!.. А то вот и секретариат СП, с которым вы на одном поле не сели бы... – тоже советская власть?

– Да, – сказал он с печальным достоинством. – В каком-то смысле и они – советская власть, и поэтому надо с ними ладить и поддерживать их... Вы – ничего не хотите забыть! **Вы – слишком памятливы**!

– Но, А.Т.! Художественная память – основа художественного творчества! Без нее книга развалится, будет – ложь!

– **У вас нет** подлинной **заботы о народе**! – (Ну да, я же **не добр** к **верхам**!) – Такое впечатление, что вы не хотите, чтобы в колхозах стало лучше.

– Да А.Т.! Во всей книге ни слова ни о каком колхозе. – (Впрочем, не я их придумывал, почему я должен о них заботиться?..) – А что действительно нависает над повестью – так это система лагерей. Да! Не может быть здоровой та страна, которая носит в себе такую опухоль! Знаете ли вы, что система эта, едва не рассосавшаяся в 1954-55 годах, – снова укреплена Хрущевым и именно в годы XX и XXII съезда? И когда Никита Сергеич плакал над нашим «Иваном Денисовичем» – он только что утвердил лагеря не мягче сталинских.

Рассказываю.

Слушает внимательно. И всё равно:

– А что вы можете предложить вместо колхозов? – (Да не об этом ли был и «разбор» «Матрёны?..) – Надо же во что-то верить. **У вас нет ничего святого**. Надо в чём-то уступить советской власти! В конце концов, это просто неразумно. Плетью обуха не перешибешь.

– Ну так обух обухом, А.Т.!

– Да нет в стране общественного мнения!

– Ошибаетесь, А.Т.! Уже есть! уже растет!

– Я боюсь, чтобы ваш «Раковый корпус» не конфисковали, как роман.

– Поздно, А.Т.! Уже тю-тю! Уже разлетелся!

(Еще нет. Еще для 2-й части мне два месяца скромно терпеть. Но до писательского съезда столько и осталось.)

– Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству. – (Почему ж 2-я часть вышла «в три раза лучше» той, которую он хотел печатать?) – На что вы рассчитываете? Вас не будет никто печатать.

(Да, при моем поведении «достойней Синявского и Даниэля». Хороша ловушка!..)

– Никуда не денутся, А.Т.! Умру – и каждое словечко примут, как оно есть, никто не поправит!

И вот это – обидело его глубоко:

– Это уже самоуслаждение. Легче всего представить, что «я один – смелый», а все остальные – подлецы, идут на компромисс.

– Зачем же вы так расширяете? Тут и сравнивать нельзя. Я – одиночка, сам себе хозяин, вы – редактор большого журнала...

Берегите журнал! Берегите журнал... Литература как-нибудь и без вас...

То не последние были слова нашего разговора, и он не вышел ссорой или побранкой. Мы простились сдержанно (он – уже и рассеянно), сожалея о неисправимости взглядов и воспитания друг у друга. Такое окончание и было достойнее всего, я рад, что кончилось именно так: не характерами, не личностями мы разошлись. Советский редактор и русский прозаик, мы не могли дальше прилегать локтями, потому что круто и необратимо разбежались наши литературы.

На другой день он уехал в Италию и вскоре давал там многолюдное интервью (опять надеясь, что я не узнàю?). Его спрашивали обо мне: правда ли, что часть моих вещей ходит по рукам, но не печатается? правда ли, что и такие есть вещи, которые я из стола не смею вынуть?

«В стол я к нему не лазил, – ответил популярный редактор (в самом деле, в стол лазить – на это есть ГБ). – Но вообще **с ним всё в порядке**. Я видел его как раз накануне отъезда в Италию (подтверждение нашей близости и

достоверности его слов!). Он окончил 1-ю часть новой большой вещи (*когда*, А.Т.? *когда*?..), ее очень хорошо приняли московские писатели («не следовало давать туда»?..), теперь он работает дальше. (А – 2-ю часть потеряли, А.Т.? А как «излишняя памятливость»? а – «ничего нет святого»? Почему бы не сказать этому католическому народу: «у Солженицына ничего нет святого»?)

Сам в эти месяцы душимый, – он помогал и меня душить...

Не проходит поэту безнаказанно столько лет состоять в партии.

*

* *

Думал, в три раза тесней поместиться. Стыд, распёрло.

Я потому только писал, что еще несколько дней – и разлетится мое письмо съезду [2] , и не знаю, что̀ будет, даже буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам.

И больно, что это никем потом не распутается, не объяснится.

Не я весь этот путь выдумал и выбрал – за меня выдумано, за меня выбрано.

Я – обороняюсь.

Охотники знают, что подранок бывает опасен.

7 апреля – 7 мая 1967
Рождество-на-Истье

ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(ноябрь 1967)

ПЕТЛЯ ПОПОЛАМ

Вот, оказывается, какое липучее это тесто – мемуары: пока ножки не съежишь – и не кончишь. Ведь всё время новые события – и нужны дополнения. И сам себя проклиная за скучную обстоятельность, трачу время читателя и свое.

Ни с чем не могу сравнить этого состояния – **облегчения от высказанного**. Ведь надо почти полстолетия гнуться, гнуться, гнуться, молчать, молчать, молчать – и вот распрямиться, рявкнуть – да не с крыши, не на площадь, а на целый мир, – чтобы почувствовать, как вся успокоенная и стройная вселенная возвращается в твою грудь. И уже ни сомнений, ни метаний, ни раскаяния – чистый свет радости! Так надо было! так давно было надо! И до того осветилось всё восприятие мира, что даже благодушие заливает, хотя ничего не достигнуто.

Впрочем, как не достигнуто? Ведь около ста писателей поддержало меня – 84 в коллективном письме съезду и человек пятнадцать – в личных телеграммах и письмах (считаю лишь тех, чьи копии имею). Это ли не изумление? Я на это и надеяться не смел! Бунт писателей!! – у нас! после того, как столько раз прокатали вперед и назад, вперед и назад асфальтным сталинским катком! Несчастная гуманитарная интеллигенция! Не тебя ли, главную гидру, уничтожали с самого 1918-го года – рубили, косили, травили, морили, выжигали? Уж кажется начисто! уж какими глазищами шарили, уж какими метлами поспевали!

– а ты опять жива? А ты опять тронулась в свой незащищенный, бескорыстный, отчаянный рост! – именно ты, опять ты, а не твои благополучные братья, ракетчики, атомщики, физики, химики, с их верными окладами, модерными квартирами и убаюкивающей жизнью! Это им бы, сохранившимся, перенять твой горький рок, наследовать твой безнадежный жребий – нет! конному пешего не понять! Они будут нам готовить огненную гибель, а за цветущую землю – гибни ты!

Среди поддерживающих писем были и формальные, и осторожные, непредрешающие, и внутренне несвободные, и с мелкой аргументацией – но они были! И подписей было сто! А венчало их доблестное безоглядное письмо Георгия Владимова, еще дальше меня шагнувшего – в гимне Самиздату.

И опять моей шаровой коробки на шее не хватило предвидеть самые ближайшие последствия! Я писал и рассылал это письмо – как добровольно поднимался на плаху. Я шел по *их* идеологию, но навстречу подмышкой нес же и свою голову. Я видел в этом конец моей еще в чем-то неразваленной, нерасплaстованной жизни, обрыв последнего отрезка того усреднённого бытия, без которого все мы сироты. Я шел на жертву – неизбежную, но вовсе не радостную и не благоразумную. А прошло несколько дней – и В.А. Каверин сказал мне: «Ваше письмо – какой **блестящий ход**!» И с изумлением я увидел: да! вот неожиданность! оказалась не жертва вовсе, а ход, комбинация, после двухлетних гонений утвердившая меня как на скале.

Блаженное состояние! Наконец-то я занял своеродную, свою прирожденную позицию! Наконец-то я могу не суетиться, не искать, не кланяться, не лгать, а – пребывать независимо!

Уж кажется – боссов нашей литературы и боссов идеологии я ли не понимал? И все-таки недооценил их ничтожества и нерешительности: я боялся разослать письмо слишком рано, дать им подготовить контрудар. Я рассылал

письма лишь в последние пять дней,* – а можно было хоть и за месяц, всё равно бы по тупости не придумали они, чем ответить, всё равно б не нашлись. Зато многие порядочные люди получили слишком поздно, разминулись с письмом в дороге (треть писем и вообще цензура перехватила)** – и так не собралось подписей, сколько возможно бы, не полыхнуло под потолок зала съезда.

Но по Москве разошлось мое письмо с быстротой огня. И на Западе было напечатано удивительно во время – 31 мая в «Монд», тотчас после закрытия съезда, когда еще не увяла память об этом позорище. И дальше по Западу расколоколило оно во всю силу, опять превосходя мои ожидания (не то, что безудачное интервью японцам. А потому что всякое интервью немногого стоит, как понял я теперь. Письмо же Съезду было событием нашей внутренней жизни). Даже та сторона письма, где оспаривался западный опыт, кое-где была понята, а уж наша сторона была подчеркнута и подхвачена. И целую декаду – первую декаду июня, чередуя с накалёнными передачами о шестидневной арабо-израильской войне – несколько мировых радиостанций цитировали, излагали, читали слово в слово и комментировали (иногда очень близоруко) мое письмо.

А боссы – молчали гробово.

И так у меня сложилось ощущение неожиданной и даже разгромной победы!

---

* Список, кому разослать, я долго отрабатывал, каждую фамилию перетирая. Надо было разослать во все национальные республики и по возможности не самым крупным негодяям (ставка на помощь национальных окраин у меня, впрочем, сорвалась – не нашлось там рук и голосов); всем *подлинным* писателям; всем общественно-значительным членам Союза. И наконец, чтобы список этот не выглядел как донос – припудрить самими же боссами и стукачами.

** А ведь рассчитано было, бросалось по разным районам Москвы, по разным ящикам, не больше двух писем вместе. Несколько человек помогало мне.

И тут мне передали, что Твардовский срочно хочет меня видеть. Это было 8 июня, на Киевском вокзале, за несколько минут до отхода электрички на Наро-Фоминск, с продуктовыми сумками в двух руках, шестью десятками дешевых яиц – а по телефону давно неслышанный знакомый голос доброжелательно и многозначительно рокотал, что – очень важно, что немедленно, всё бросив, я должен ехать в редакцию. Досадно мне было и перестраиваться, электричку упускать, тащить продукты в редакцию (нашу земную жизнь – как им понять, кому всё на подносиках?), но быстрее и выше того я смекнул: зачем бы нужно было ему меня искать? только для какого-нибудь покаяния, в пользу «Нового мира», – но это впусте было и обсуждать. Если же, лето упустя, кинулись по насту за грибами, если решили меня печатать после стольких лет – так подождут еще до понедельника, именно те дни подождут, пока (расписание уже объявлено) будет Би-Би-Си трижды читать мое письмо на голову боссам. Крепче будет желание!

И я ответил А.Т., что – совершенно невозможно, приеду 12-го. Он очень расстроился, голос его упал. Потом, говорят, ходил по редакции обиженный и разбитый. Это – всегда в нем так, если возгорелось – то вынь да положь, погодить ему нельзя. А.Т. покоряется, когда помеха от начальства, но не может смириться, если помеха от подчиненных. А тут еще: он хорошо придумал, он в пользу мне придумал – и я же сам оттолкнул руку поддержки.

Столь уж разны наши орбиты – никак нам не столковаться...

Впрочем, я в тот день одним ухом слышал – и изумился: еще одна полная неожиданность – Твардовский нисколько не возмущен моим письмом съезду, даже доволен им! нет, не разобрался я в этом человеке! Написал о нем четыре главы воспоминаний, а не разобрался. Я представлял, что он взревёт от гнева, что проклянет меня навеки за ослушание. (А подумавши, всё понятно: ведь я не Западу жалуюсь, не у Запада ищу защиты – я тут, у нас, **внутри**, в морду даю. Это, по понятиям А.Т., можно. И просто,

по характеру кулачной драки: нас, «Новый мир», теснят, год поражений, – а мы им с другой стороны – в морду!)

12-го июня в редакции я увидел его впервые после того мартовского разговора, который считал нашим последним вообще. Ничего подобного! А.Т. сдерживался при рукопожатии, но веселые игринки прыгали в его глазах.

– Я очень рад, Александр Трифоныч, что вы не отнеслись к моей акции отрицательно.

Он (неудачно пытаясь быть строгим): – Кто вам сказал, что неотрицательно? Я не одобряю вашего поступка. Но нет худа без добра. Может быть вы в сорочке родились, если это вам так сойдет. А надежда есть.

Тут он перешел на внушение заклинательным голосом, и не увидел я надежды вернуться нам к дружбе:

– Вы должны вести себя так, чтобы не погасить то место, **откуда вы вышли, единственное место, где что-то горит**.

Самая трудная для меня аргументация, самое сильное, в чем может он меня упрекнуть... Но от вас ли я вышел, друзья?.. И неужто нигде больше не горит?.. И после всех колоколов – неужели я отойду хоть на ступню? Как можно так уж не понимать?

– Как получилось, – всё с той же нагнетенной серьёзностью спрашивал он, – что ваше письмо стало известно на Западе и вызвало такой шум?

– А как вы хотите в век всеобщей быстрой информации: функционировала бы демократия – и ничего не становилось бы известным за границу? В Англии же не упрекают Бертрана Рассела, что в СССР печатаются его статьи!

А.Т. замахал большими руками, большими пухлыми ладонями:

– Вы этой чуши пожалуйста не заводите на секретариате СП! Вы скажите вот что: обращались вы в самом деле к съезду или у вас был расчет на западный шум?

– Что вы, А.Т.! Конечно – только к съезду.

– Так вот давайте поедем в секретариат – и вы это им подтвердите. Скажите, что западный шум у вас у самого вызывает досаду.

(Мой спаситель, от которого я ликую?!)

– А.Т.! Ни от одного слова письма я теперь не отрекусь и не изменю. Если захотят, чтоб я что-нибудь **писал**, извинялся...

– Да нет! – опять махал он руками. – Никто от вас не просит ничего **писать**! Вы только подтвердите им то, что̀ сейчас сказали мне, больше ничего! Да не говорите им, что вы боретесь против советской власти! – Уже смеялся он, уже кончал одной из любимых своих шуток.

А оказалось вот что. Верхушкою Союза мое письмо было воспринято как «удар ниже пояса» (правила-то – в их руках, они знают), и призывали витии «ответить ударом на удар». Но быстро слабела решимость и у них и *наверху:* от поддержки меня ста писателями, главное же – от того, как разливался звон по загранице (ничего подобного они не ожидали!). Твардовский же проявил необыкновенную для себя поворотливость и дипломатический напор. Он и у Шауры (вместо Поликарпова, «отдел культуры») успел высказать («вы думаете, первый русский писатель – кто? Михаил Александрович? Ошибаетесь!») и вразумить секретариат союза, что так нельзя, невыгодно им самим: топя меня, они потопят и себя. И убедил их составить проект совсем другого коммюнике: подтвердить мою безупречную воинскую службу; признать что-то в моем письме как заслуживающее разбора; и «сурово» осудить меня за «сенсационный» образ действий. И так как никто в секретариате не мог предложить ничего умней, а это выглядело для них довольно спасительно, отмалчиваться же дальше казалось невозможным (в предвидении международных поездок и вопросов) – то и склонялись они представить *наверх* именно такой вариант решения. И в такой-то момент я не помог Твардовскому своим появлением, не дал ему завершить одну из лучших его операций!.. (Впрочем, не была б она всё равно завершена: *верхи* были заняты скандальным поражением арабов, а больше одной проблемы сразу не вмещают их головы.)

Почему же секретариат союза меня просто не *вызвал?*

Потому что после моего письма они не были уверены, соглашусь ли я прийти. А вдруг – не приду, а сверху не будет указания изгнать меня – и как им тогда выйти из этого тупика?.. Как я постепенно разобрался – для того и должны они были на меня взглянуть, чтоб убедиться, что я вообще с ними разговариваю. Иначе теряло смысл и их коммюнике.

Вот на какую скалу я вскочил своим «ловким ходом»!

Приехали мы в знаменитый колоннадный особняк на Поварской, и А.Т. повел меня к секретарям. Это были секретари-канцеляристы К. Воронков (челюсть!), Г. Марков (отъевшаяся лиса!), С. Сартаков (мурло, но отчасти комическое), даже и не писатели вовсе, но именно им шесть тысяч членов союза «поручили» вести все высшие и важные дела СП. Я вошел как жердь с головою робота – ни человеческого движения, ни человеческого выражения. Воронков подбросил из кресла с почтением свою фигуру коренастого вышибалы и украсил челюсть улыбкой: кажется начинался день из его счастливейших. Уже то для него было явной радостью, что в две двери он имел возможность пропустить меня вперед себя. В полузале с кариатидами и лепкой Марков с хитреньким мягеньким полубабьим лицом швырнул телефонную трубку, увидав наконец под сводами союза самого дорогого и желанного гостя. Из какой-то потайной, не сразу заметной, двери вышел Сартаков. Но этот нисколько не был мне рад, и вообще все часы просидел с безразличной угрюмостью. А еще ждали Соболева, тот же метался у себя на Софийской набережной, да не было свободной машины доехать, а другого пути он не знал. Я спросил, нет ли графина с водопроводной водой – и тут же та же потайная дверь раскрылась, и горничная из какого-то заднего тайного кабинета стала таскать на огромный полированный стол фруктовые и минеральные воды, потом крепкий чай с дорогим рассыпчатым печеньем, сигареты и шоколадные трюфели (народные денежки...). Начался гостиный разговор: о том, что это – дом Ростовых и как его берегут; и как графиня Олсуфьева, приехав из заграницы, просила его

осмотреть (со смаком выговаривал Воронков «графиню», представляю, как он перед ней вертелся – и как бы ту графиню вошел расстреливать в 17-м); и что̀ за тканые портреты Толстого (18 миллионов петель), Пушкина и Горького украшают стены этого полузала. От моей спины до окна, открытого в знойный неподвижный день, было метров шесть. Но сохранение моей драгоценной жизни так волновало Воронкова, что вкрадчиво он осведомился, не дует ли мне, а то у них «коварная комната».

За время этой болтовни я выложил перед собою на стол два-три старых моих письма – Брежневу и в «Правду». Белые листы с неизвестным машинописным текстом невинно легли на коричневый стол, но ужасно взволновали Маркова, сидящего по другую сторону. Он так, наверно, понял, что какую-то еще новую бомбу я положил, сейчас оглашу, и нетерпение не давало ему сил дождаться удара: он должен был прочесть! Нарушая весь приличный тон беседы, он выкручивал шею и выворачивал глаза.

Пришел Соболев – и Марков начал так: на съезде нельзя было разобрать моего письма, у съезда была «своя напряженная программа». К сожалению письмо стало фактом не внутреннего, а международного значения и задевает интересы нашего государства. **Надо разобраться и найти выход**. (Чем дальше, тем бо̀льше это станет главной мелодией: как *нам* выйти из положения? помогите найти *выход*!)

Коротко сказал и беспокойно смотрел на меня. Тем же гостиным тоном, как мы говорили об особняке Ростовых, я осведомился, не будет ли им интересно «узнать историю этого письма». Оказывается – да, очень интересно. Тогда я длинно стал рассказывать историю всех клевет на меня, и как я возражал, и как вот письма посылал (трясу ими, Маркову отлегло). Потом был – налёт, стоивший мне романа и архива...

Полканистый Соболев: – Какой **налёт**?

Я (любезно): – ...госбезопасности.

Затем – мои несколько жалоб в ЦК, и все оставлены

без ответа. Затем – начало «тайного издания» моих вещей, все условия для плагиата. А клевета всё расширяется. (Патетически): К кому же обращаться? Да к высшему органу нашего Союза – к съезду! Разве это незаконно? (Марков и Воронков вместе: вполне законно. Сартаков и Соболев дуются.) Съезд был назначен на июнь 1966 года, я готовил письмо (вру, еще идеи не было). Но съезд, как известно присутствующим, был перенесен на декабрь (кивают). Что же делать? Тогда я решил обратиться непосредственно к Леониду Ильичу Брежневу. Там я уже говорил и о положении писателя в нашем обществе и как вовремя можно было остановить культ Сталина. И что ж? На это письмо не было никакого ответа. (Они между собой быстро, как сговорясь, как актеры в хорошо отрепетированной массо̀вке: «Леонид Ильич не получил... не получил Леонид Ильич!.. Леонид Ильич конечно не получил!..») Я стал ждать декабря, чтобы писать съезду. (Вру, уезжал в Укрывище, дописывать «Архипелаг».) Но съезд опять перенесли – на май. (Кивки.) Хорошо! Я стал ждать мая. Если б его еще перенесли – я ждал бы еще. (Небось пожалели внутренне – отчего еще дальше не перенесли?)

Сартаков: – Но зачем же четыреста экземпляров?! (Цифра от Би-Би-Си.)

Я: – Откуда это – четыреста? Двести пятьдесят. Вот именно потому, что письма, посланные по одному-по два экземпляра, легли под сукно, – я был вынужден послать сотни.

Они: – Но это – непринятый образ действий!

Я: – А тайно издавать роман при жизни автора – это принятый?

Соболев (полканисто): – Но где логика? Зачем посылать делегатам, если шлется в президиум?

Я: – Мне важно было получить поддержку авторитетных писателей. Я получил от ста и вполне удовлетворен.

Марков: – Но зачем в какую-то «Литературную Грузию»?

Я: – А почему же органу братской республики не знать о моем письме?

Марков: – Со всех мест нам присылают ваши письма. **И не думайте, что все – за вас**, многие – решительно против.

Я: – Так вот я и хочу открытого обсуждения.

Марков (жалостливо): – Да, но если б это не стало известно нашим **врагам**. (У них для «сосуществования» нет и термина другого: все кругом – враги!)

Я: – Очень досадно. Но это – ваша вина, а не моя. Это почему произошло? Потому что три недели вы на мое письмо не отвечали! Зачем же потеряно столько времени? Я-то ждал, что в первый же день съезда президиум меня вызовет, даст возможность огласить письмо либо во всяком случае устроит обсуждение.

Марков (страдательно): – Ну что ж, это – упреки, а главное: как теперь быть?

(И все дробным эхом: как быть?)

Марков: – Вы, находящийся в самой гуще политики, посоветуйте!

Я (с изумлением): – Какая политика? Я – художник!

Воронков: – Да ведь как передают! – по два раза в одну передачу! (Врёт, но я не могу возражать: я же западного радио не слушаю.) Израиль! – ваше письмо! Израиль! – ваше письмо! Да читают как! – мастера художественного чтения!

Марков (язвительно): – А всё-таки в вашем письме есть маленькая неточность.

Одна **маленькая неточность**? В письме, где я головы рублю им начисто? Где на камни разворачиваю их десятилетия?..

– Какая же?

Марков: – А вот: что «Новый мир» отказался печатать «Раковый корпус». Он не отказывался.

Это Твардовский им так ответил. Он так помнит. Он честно, он искренно помнит так. Об этом мы уже в редакции с ним сегодня толковали: «А.И., когда я вам отказывал?» – «А.Т.! Да вы же взяли 2-ю часть в руки, подняли и говорите: даже если бы всё зависело от одного меня...». Нет, не помнит!

И что я «ничего не хочу забыть», и что у меня «ничего святого нет» – забыл. – «Может быть о какой-нибудь странице шла речь? А всю 2-ю часть я не отказывал...».

Сейчас Твардовский сидит в стороне, курит и с серьезно-внимательным видом наблюдает наш спектакль. Подошло, что все на него оглянулись.

Твардовский: – Ну, погорячились, чего не сказали оба. Это был, так, разговор, а редакция вам не отказала.

«Так, разговор», которым едва не закончились все наши отношения...

Твардовский: – Сейчас вся редакция согласна печатать весь «Раковый корпус». Там расхождение с автором у нас на полторы-две страницы, не стоит и говорить...

Полторы-две? Помнится, целые главы вычеркивали, целых персонажей... Но всё изменилось – победители не судимы. Первый раз в жизни я могу применить эту пословицу к себе.

А.Т. почувствовал заминку и – что же за молодец! откуда в нем эта расторопность и это умение? – вдруг тоном отечески-суровым, с торжественностью:

– Но в редакции я не задал вам, А.И., одного важного вопроса. Скажите, как по вашему: могут ли «Раковый корпус» и «Круг первый» достичь Европы и быть опубликованными там?

Это нам в цвет! Такие вопросики давайте!

Я: – Да, «Раковый корпус» разошелся чрезвычайно широко. Не удивлюсь, если он появится за границей.

Кто-то (сочувственно) – Да ведь переврут, да вывернут! (Не больше, чем ваша цензура!)

Соболев (ужасаясь попасть в такое беззащитное положение) – Да еще какие порядки объявили: принимают к печати даже рукописи, пришедшие через третьих лиц, а за авторами, видите ли, сохраняют гонорары!

Кто-то: – Но как случилось, что «Корпус» так разошелся?

Я: – Я давал его на обсуждение писателям, потом в несколько редакций, и вообще всем, кто просил. **Свои**

произведения своим соотечественникам отчего ж не давать?

И не смеют возразить! Вот времена...

Твардовский (как будто только вспомнив): – Да! Мне же Вигорелли прислал отчаянную телеграмму: Европейская Ассоциация грозит развалом. Члены запрашивают у него разъяснений по письму Солженицына. Я послал пока неопределенную телеграмму.

Воронков: – Промежуточную. (Смеется цинично.)

Твардовский: – Да ведь без нас Европейская Ассоциация существовать не может.

Марков: – Да она для нас и была создана.

(Потом я узнал от А.Т.: в июне он должен был ехать в Рим на пленум президиума Ассоциации обсуждать тяжелое положение писателей... в Греции и Испании. Всё сорвалось.)

Я: – А «Круг первый» я долго не выпускал из рук. Узнав же, что его дают читать и без меня, решил, что автор имеет не меньше прав на свой роман. И не стал отказывать тем, кто просит. Таким образом, уже расходится и он, но значительно меньше, чем «Раковый».

Твардовский (встал в волнении, начинает расхаживать): – Вот почему я и говорю: надо немедленно печатать «Раковый корпус»! Это сразу оборвет свистопляску на Западе и предупредит печатание его там. И надо в два дня дать в «Литгазете» отрывок со ссылкой, что полностью повесть будет напечатана... (с милой заминкой) ...ну, в том журнале, который автор изберёт, который ему ближе.

И никто не возражал! Обсуждали только: успеет ли «Литгазета» за два дня, ведь уже набрана. Может быть – «ЛитРоссия»?

Они были мало сказать растеряны в этот день – они были нокаутированы: не встречей, а до нее, радиобомбежкой. И самое неприятное в их состоянии было то, что кажется в этот раз им самим предложили выходить из положения (ЦК уклонилось, письмо – не к нему!) – а вот этого они не умеют, за всю жизнь они ни одного

вопроса никогда не решили **сами**. И пользуясь коснением их серости, всегда медлительный Твардовский завладел инициативой.

Марков и Воронков наперебой **благодарили** меня – за что же? За то, что я к ним пришел!.. (Теперь и я смягчился, и **благодарил** их, что они, наконец, занялись моим письмом.)

В этот день впервые в жизни я ощутил то, что раньше понимал только со стороны: что̀ значит проявить силу. И как хорошо они понимают этот язык! **Только этот язык! Один этот язык** – от самого дня своего рождения!

Мы возвращались с Твардовским в известинской черной большой машине. Он был очень доволен ходом дел, предполагал, что секретари уже *советовались,* иначе откуда такая податливость? где же «ударом на удар»?.. Тут же А.Т. придумал, какую главу брать для отрывка в «Литгазете», и сам надписал: «Отрывок из романа «Раковый корпус».»

Его искренняя, но обрывистая память нисколько не удерживала, что это самое название он год назад объявлял недопустимым и невозможным. Еще до всякого печатанья все уже запросто приняли: «Раковый корпус».

Ход самих вещей.

Но слишком это было хорошо, чтоб так ему и быть. Дальше всё, конечно, завязло: *наверху* же и задержали, и прежде всего, Демичев. (На одной из квартир, где я юмористически рассказывал, как дурил его при встрече, стоял гебистский микрофон (очевидно у Теушей). Перед Демичевым положили ленту этой записи. И хотя, если под дверью подслушиваешь и стукнут в нос, то пенять надо как будто на себя, Демичев рассвирепел на меня, стал моим вечным заклятым врагом. На весь большой конфликт наложилась на многие годы еще его личная мстительность. В его лице единственный раз со мной пыталось знакомиться Коллективное Руководство – и вот...)

Ни коммюнике секретариата, ни отрывка в «Литгазете», разумеется, не появилось: прекратилась радиобомбежка

с Запада, и боссы решили, что можно пережить, ничего не предпринявши. Были сведения у А.Т., что 30 июня *наверху* обсуждался мой вопрос. Но опять ничего не было решено. А Демичев придумал такой план: чтобы секретариату СП иметь суждение, надо всем сорока двум секретарям (Твардовский: «тридцать три богатыря, сорок два секретаря») прочесть мои тома: и «Круг», и «Раковый», но прежде и обязательнее всего – «Пир победителей» (жалко было им слезать с этого безотказного конька!) Если учесть, что среди секретарей не только не все владели пером, но и читали-то запинаясь, то задуманный спуск на тормозах был полугодовым и обещал перетянуть телегу в послеюбилейное время, когда можно будет разговаривать покруче.

Всё это я узнал от А.Т., зайдя в редакцию в начале июля. Он был кисл и мрачен. Каждый месяц он сталкивался с этой загораживающей тупой силой – но и за полтораста месяцев не мог привыкнуть. Цензура запрещала ему уже самые елейные повести (Е. Герасимова). Воронков, которого я таким подхватистым видел недавно, – и тот не всякий раз подходил к телефону, а отвечал – надменно. Но тут из-за моего прихода А.Т. посилился и позвонил еще. Воронков изволил подойти и сказать, что секретари читают, однако не знают, где взять «Раковый корпус» (ведь его не изымала ЧК, и нет в ЦК...). А.Т. оживился: я пришлю!

Надежда! Он решил послать тот единственный редакционный чистенький незатрепанный и выправленный экземпляр, который я им дал недавно. Я возмутился: «Не хочу им, собакам, отдавать! – затрепят, залохматят!» Вздыбился и А.Т.: «О голове идет! а вы – затрепят!..» Только стал меня просить «выбросить страничку про метастазы» – очевидно это и были те «полторы-две страницы» спорных. Помнилось ему (внушил кто-то из редакции, еще наверное Дементьев до ухода), якобы есть там длинное рассуждение, что лагеря проросли страну как метастазы (будто это пришлось бы размазывать на страницу!). Очень трудно высвобождать А.Т. от превоначального ложного убеждения. Я уверял, что нет такой страницы, он не верил. Я показал

абзац, где есть примерная фраза, ну могу ее вычеркнуть, ладно. Нет, есть где-то страница! Тут втерся в дверь маленький Кондратович и живенько стал носом поковыривать под страницы: у Шулубина должно быть, у Шулубина! Я стал при них пробегать шулубинские страницы и еще давал Кондратовичу смотреть, как своему же, не опасаясь, что тяпнет за ногу. Но у него разгорелись глаза – это не его были глаза, а вставленные подмененные глаза от цензуры, и ноздри были не его, а снаряженные нюхательными волосочками цензуры – и он уверенно-радостно выкусил клок:

– Вот! Вот!

– Где?

– Вот:

На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник!

– Так это – про метастазы?

– Всё равно, что про метастазы. Еще хуже!

Я это всё не о Кондратовиче рассказываю, – о журнале и о Твардовском. Измученный и напуганный Твардовский приник к предупреждению Кондратовича:

– Получается, что̀ сказано было о николаевской России – то относится и к нам?..

– Да не о николаевской России, а об Англии, которая собиралась выдать декабриста Тургенева.

То ли устыдясь, что не знал мотивов пушкинского стихотворения, то ли что вообще занес руку на Пушкина, А.Т. примирился:

– Ну, только уберите фразу, что Костоглотов согласен.

Это было их обычное сдавленное ожидание: кроме того, что̀ скажут обо всей вещи, еще надо предвидеть – из какой полоски вырежут ремешок, ремешок навяжут на кнут и будут кнутом цитировать по мордасам.

Для душевного покоя А.Т. убрал я и эту фразу. Он повеселел и решил «утешать» меня: что Егорычева* вот сняли,

---

* Секретарь Мосгоркома КПСС, замахнувшийся на Брежнева.

а меня – **не сняли**; что я хорошо себя вел на секретариате: и без задирки, и безо всякого раскаяния.

Ему совсем не хотелось, чтобы я теперь раскаивался! Ему определенно нравилась вся моя затея с письмом. Да кажется впервые за годы нашего знакомства он поверил, что я могу самостоятельно передвигать ноги.

Стали говорить о «Пире победителей» – как отвести его от обсуждения в секретариате, и что Симонов вслед за Твардовским отказался его читать.

– Вы хоть мне бы дали, – попросил он.

– Да ведь, А.Т., честно! – единственный экземпляр у меня был, и вот загребли. У самого не осталось.

– В конце концов, – рассуждал он покладисто, созерцательно, – у Бунина есть «Окаянные дни». Ваша пьеса не более же антисоветская! А его остального мы печатаем...

Нет, менялся Твардовский! Менялся, и совсем не медленно. Давно ли он спрашивал, как я смел какие-то лагерные пьески положить «рядом со святым Иваном Денисовичем»? Давно ли он целыми главами не принимал даже «Раковый корпус»? А сейчас вполне обнадеживающе написал:

Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчетов.

И лишь просил:

Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите!

Еще так сказал добродушно:

– Я тоже разрешаю себе высказываться против советской власти, но только в самом узком кругу. – (Надо понимать, что̀ у Твардовского значит – «против советской власти» с добродушной усмешкой. Это – не в газетном резком смысле, это – не касаясь основ и партийного замысла, а лишь: не со всем кряду соглашаться, иметь же свою точку, черт подери!) – А например за границу поеду – там выкуси, там всё наоборот.

Уж это – как водится, уж как воспитано.

Прошло еще полтора месяца – всё было так же, ни гласа, ни воздыхания. Да собственно, я не ждал ничего и не нужно мне было ничего – я-то стоял на скале! Но беспокойство, не упускаю ли еще какую-то возможность, навело меня предложить Твардовскому заключить на «Раковый» теперь договор: ведь мы, как будто, вновь сосватались. А в том болотном неустойчивом равновесии, где не говорят «да», и не говорят «нет», где все уклоняются от решения – один-то маленький толчок, может, всего и нужен? Вот и сделаем его. И пусть хоть на договор кто-нибудь наложит запрет! А не будет – можно и рукопись толкать. Надо же пробовать!

Этот планчик застал Твардовского врасплох: и неожиданно ему было, чтобы я о договоре первый завел, и толкал же я его на мятеж, не иначе – самому преступить волю начальства. И мне кажется так: внутренне в нем сразу сработало, что он – не может, не смеет, на это не пойдет. Но если жёсткие люди свое промелькнувшее ощущение тут же перекладывают в слова, люди с мягкотою не решаются так круто отказать. И он в основном обещал, но еще надо уточнить, и десятидневными уточнениями, двумя моими ненужными заездами в редакцию, а его неприездом (к нему на дачу газ проводили) и с дачи телефонным звонком уяснилось: «Я всё равно не могу заключить с вами договора на «Корпус», пока не получу на то разрешения».

С какой это поры даже на договор редакция нуждается в разрешении? Впал Твардовский в малодушие опять. В этих опаданиях и приподыманиях, между его биографией и душой, в этих затемнениях и просветлениях – его истерзанная жизнь. Он – и не с теми, кто всего боится, и не с теми, кто идет напролом. Тяжелее всех ему.

Для меня же отказ его имел уже характер освобождающий: потому что к этому дню у меня зародился новый план – толчка большого, а не малого, и договор только связывал бы меня.

До меня доходили слухи (потом оказались ложными),

будто в Италии уже готовится издание «Ракового корпуса». А у нас медлили! И я придумал предупредительный шаг, отметку: вот я вам сказал, впредь отвечать будете вы! Приходило же время разорвать их судебную хватку с литературной шеи. Разве при нашей цензуре, разве при нашем бесправии, разве при отказе государства от международного авторского права, – за книги, вышедшие на Западе, должны отвечать не наши боссы? Почему – авторы?.. [3]

По образцу первого письма я думал снова послать экземпляров 150, сократясь лишь на нацреспубликах. Однако склонили меня не делать огласки разом, не разрывать одежд с треском, – а только угрозить этим треском. Показалось мне – разумно. И я решил свое второе письмо разослать лишь «сорока двум секретарям» и секретариату – и никому не дать на руки, чтоб не пошло в Самиздат и не пошло заграницу.

Еще надо было выбрать наилучший срок. Хотя ничто меня теперь не гнало, у меня времени в запасе стояли озера, – но сходнее было сдерзить до пышного Юбилея Революции. И вместо полугодия от съездовского письма я выбрал три месяца от встречи на Поварской.

Однако снова петелька: надо же «советоваться» с А.Т., мы же опять в дружбе. А разве он может такой шаг одобрить?.. А разве я могу от задуманного отказаться?..

Я назначил день, когда буду в редакции. А.Т. обещал быть – и не приехал. Его томило, что я о договоре буду спрашивать! – и он избежал встречи. Так избыточная пустая затейка с этим договором тоже вложилась в общую конструкцию: я рвался с ним советоваться! но его не было! И к вечеру 12 сентября сорок три письма были уже в почтовых ящиках Москвы! Лучше оказалось и для А.Т. и для меня, что мы не встретились.

Но как он теперь? От этой новой дерзости – взовьется? *Секретари* взвились как от наступа на хвост, что-то кричал и рычал Михалков по телефону в «Новый мир», уже 15-го собрали предварительный секретариат для первого обгавки-

ванья, пока без стенограммы. И в тот же день послали мне вызов на 22-е. И в тот же день гнал за мной гонцов Твардовский.

Я ехал к нему 18-го, уже сомневаясь: не суета ли моя? Зачем уж я так наседаю на этот осиный рой? Ведь и крепко я стал, ведь и временем располагаю – ну, и работал бы тихо. Разве драка важнее работы?

Я и Твардовскому свое сомнение высказал в тот день, но он! – он сказал: **Надо было**!! раз уж начали – доводите до конца!

Опять он меня удивил, опять вынырнул непредсказуемый. Куда делись его опущенность, уклончивость, усталость? Он снова был быстр и бодр, мое второе письмо как сигнал трубы подняло его к бою – и он уже выдержал этот бой – предбой, Шевардино – на секретариате 15-го. Говорил, что его поддержали (печатать «Раковый корпус») Салынский и Бажан, а были и поколебленные. «Дела не безнадежны!» – подбодрял он себя и меня.

Одно единственное заседание казалось мне разрушением и моего рабочего ритма и душевного стиля, уж я тяготился и сомневался. А он на своем поэтическом веку как долгом темном волоку – сколько их перенес? триста? четыреста? Чему ж удивляться? – тому ли, что он поддался кривому ввинчиванию мозгов? Или душевному здоровью, с которым перенёс и уцелел?

Я сетовал, что он меня вызвал толковать, только от работы время отрывая. «Да может никакого **времени** скоро не останется!» – сверкнул он грозно. Он вот чего боялся, умелого сдержанного Лакшина призвал и с ним вместе готовился меня уговорить и настроить, чтоб я был сдержан *там,* чтоб не выскакивал, не сшибался репликами, не взрывался от гнева – ведь заклюют, ведь тогда я пропал, *они* же все опытные петухи.

Столько времени мы знакомы с А.Т. – и совсем друг друга не знаем!..

– Открою вам тайну, – сказал я им. – **Я никогда** не выйду из себя, это просто невозможно, в этом же лагерная

школа. Я взорвусь – только по плану, если мы договоримся взорваться, на девятнадцатой минуте или – сколько раз в заседание. А нет – пожалуйста, нет.

Если б так!.. Но А.Т. мне не верил. Он-то знал, как вытягивают жилы на этих заседаниях, как ставят подножки, колют в задницу, кусают в пятку. Невыгодность расположения состояла для нас в том, что *они* читали «Пир победителей», обсуждали «Пир», хотели говорить только о «Пире» и бить по «Пиру» и «Пиром» – меня. А надо было заставить их замолчать о «Пире» и говорить о «Корпусе».

Всё же мы разработали, как я должен сбивать «Пир», не прерывая ни одного оратора.

Два дня я еще имел время, в тишине, – но уже мысленно в бою. То, что̀ могут мне сказать, спросить, как наброситься – так и выступало со всех сторон из воздуха, изводило меня преждевременно, вызывало на ответы. Я записывал возможные реплики – и из них сама стала складываться речь. Никогда в жизни не готовил я письменной речи дословно, презирал это как шпаргальство – а вот написал. Конечно, я не мог предусмотреть точно всех задёвок, которыми меня встретят, но на наших собраниях и не привыкли, чтоб речи точно соответствовали друг другу, ведь чаще говорят мимо, кому что важней, и никто не удивляется.

Готовиться к этой первой (но тридцать лет я к ней шел!) схватке мне, собственно, не было трудно: и потому, что очень уж отчетливо я представлял свою точку зрения на всё, что̀ только могло шевельнуться под их теменами; и потому что на самом деле предстоящий секретариат не был для меня решилищем судьбы моей повести: пропустят ли они «Раковый корпус» или не пропустят – они всё равно проиграли. Равно не нужен мне был этот секретариат и как аудитория: бесполезно было пытаться воистину их переубедить. Всего только и нужно было мне: прийти к врагам лицом к лицу, проявить непреклонность и составить протокол. В конце концов – еще бы им меня не ненавидеть! Ведь я – отрицание не только их лжи, но и всей

их лукавой прошлой, нынешней и будущей жизни.

И всё-таки, готовясь к этому копьеборству, я к концу уставал и хотелось снять избыточное, нетворческое, совсем не нужное мне напряжение. А чем? Лекарствами? Простая мысль – перед вечером немного водки. И сразу смягчались контуры, и ничто уже не дёргало меня к ответу и огрызу, и сон спокойный. И вот еще в одном я понял Твардовского: а ему тридцать пять лет чем же было снимать это досадливое, жгущее, постыдное и бесплодное напряжение, если не водкой?.. Вот и брось в него камень. (Разговора о своих выпивках он очень не любил. Ему скажешь: «Должны же вы себя поберечь, А.Т.!» – отводит недовольно. И о куреньи его безостановном пытался я ему говорить, пугал Раковым корпусом – отмахивается.)

Мой план был такой: единственное, чего я хочу от заседания – записать его поподробней. Это даст мне возможность и головы не поднять, когда будут трясти надо мной десницами и шуями – «скажите прямо – вы **за** социализм или **против**?!», «скажите прямо – вы разделяете программу союза писателей?». Это и их не может не напугать: ведь для чего-то я строчу? ведь куда-то это пойдет? Они поосторожней станут выражения выбирать – они не привыкли, чтоб их мутные речи выплескивали под солнце гласности.

Я заготовил чистые листы, пронумеровал их, поля очертил – и в назначенные 13.00 22-го сентября вошел в тот самый полузал с кариатидами. А у них уже был густой, надышанный и накуренный воздух, дневное электричество, опорожненные чайные стаканы и пепел, насыпанный на полировку стола – они уже два часа до меня заседали. Не все сорок два были: Шолохову было бы унизительно приезжать; Леонову – скользко перед потомками, он рассчитывал на посмертность. Не было ядовитого Чаковского (может быть, тоже из предусмотрительности) и яростного Грибачева. Но свыше тридцати секретарей набилось, и три стенографистки заняли свой столик. Я сдержанно поздоровался в одну и в другую сторону и стал искать место.

Как раз одно и было свободно. И оказалось оно рядом с Твардовским.

Терпеливо прослушав обиженное фединское вступление («Изложение» секретариата, [4]), я уловил те единственные пять секунд заминки, когда он слюну глотал, готовился дать кому-то слово, – и елейным голоском попросил:

– Константин Александрович! Вы разрешите мне два слова по предмету нашего обсуждения?

Не заявление! не декларация! только два безобидных слова! – и по предмету же обсуждения... Как важно было их вырвать! Я просил так невинно – Федин галантно разрешил.

И тогда я торжественно встал, раскрыл папку, достал отпечатанный лист, и с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им свое первое заявление, отводящее «Пир победителей» – но не покаянно, а обвинительно – их всех обвиняя в многолетнем предательстве народа!!!

Я потом узнал: у них уже было расписано, кто за кем и как начнут меня клевать. Они уже стояли в боевых порядках, но прежде их условного звонка – я дал в них залп из ста сорока четырех орудий, и в клубах дыма скромно сел (копию декларации отдав через плечо стенографисткам).

Я сидел, готовый записывать, но они что-то не выступали. Я выбил из их рук всё главное – битьё «Пира победителей». Зашевелились, расчухивались – и Корнейчук полез с вопросом.

– Я не школьник, вскакивать на каждый вопрос, – ответил корректно я. – У меня будет же выступление.

Но вот второй вопрос! третий! Они нашли форму: они сейчас запутают и собьют меня вопросами, превратят в обвиняемого! Это они умеют, жиганы!

Я отказываюсь: у меня же будет выступление.

Ага, значит верно клюнули! Они сливаются в гомоне – в ропоте – в вое: «Секретариат не может начать обсуждать без ваших ответов!» – «Вы можете вообще от-

казаться разговаривать, но заявите!».

Смяты и наши стройные ряды, они сбивают и мой план боя – где уж тут бесстрастно записывать. Но бѐздари, но бездари! – отчего ж эти вопросы ваши я знал заранее? Почему на все ваши **устные** вопросы у меня уже обстоятельно изложены **письменные** ответы? Только одна жертва: разодрать свою речь в клочья и клочьями от вас отбиваться.

Я подымаюсь, вынимаю свои листы и уже не исторически-отрешенным, но свободнеющим голосом драматического артиста, читаю им готовые ответы.

И передаю стенографисткам.

Они поражены. Вероятно за 35 лет их гнусного союза – это первый такой случай. Однако прут резервы, второй эшелон, прёт нечистая сила! И мне задаются еще три вопроса.

А, будьте вы неладны, когда ж вас записывать! Это хорошо, что у меня все ответы готовы. Я встаю и выхватываю следующие листы. И уже все более свободно и все более расширительно, сам определяя границы боя, уже не столько на их вопросы, сколько по своему плану, я гоню и гоню их по всему бородинскому полю до самых дальних флешей.

И – тишина, рассеянность, растерянность, неопределенность наступают в пространстве. И с фланга идут чьи-то ряды, но это – не вполне враги, это – полунаши. Выступают Салынский и Симонов, они хоть не вовсе за нас, но хотя бы за «Раковый». Враг растерян, никто не просит слова, и вопросов уже нет. Что такое? Да не есть ли это победа? Тяжелыми драгунами Твардовский начинает реять и рыскать по полю: так принимаем решение! печатаем «Корпус»! и отрывок немедленно в «Литгазете»! да мы же принимали коммюнике, где коммюнике, Воронков?

Но подхватистый Воронков не спешит. Верней, он ищет коммюнике, он ищет, но не может сразу найти. (А только что мне моё *письмо* понадобилось для цитаты – он раньше меня вывернулся и поднес: – «Пожалуйста!» – листовку, изданную «Посевом», я догадался отклонить.) Еще немножко, еще немножко им продержаться! Да где же

имперские резервы?.. Там и здесь поднимаются из-под копыт: «Почему голосовать? Ведь еще не решили! Ведь **есть и против**!».

И вот она, черная гвардия! – Корнейчук (разъяренный скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях – перемётная конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины – новые и новые твердолобые – Озеров, Рюриков, на хоккеиста смахивающий Баруздин.

(Баруздин сидит рядом со мной, о каждом выступающем я у него осведомляюсь – кто это? А вон тот? Называет соседа. Нет, вон тот? Называет другого соседа. Нет, между ними! – лицо подобное холеному пухлому заднему месту, с насаженными светленькими очками. Ах, это товарищ Мелентьев из «отдела культуры» ЦК. Тайный дирижер! Сидит и строчит. Строчи! знай бывших зэков!)

И потом – все национальные части (Абдумомунов, Кербабаев, Яшен, Шарипов) – у них в республиках осваиваются целинные земли, строятся плотины – какой «Раковый корпус»? какой Солженицын? Зачем он пишет о страданиях, если мы пишем только о радостном?

И сколько их! Конца нет их перечню! Только прибалты молчат, головы опустив. Они видят упущенный свой жребий. Стиханья нет затверженному шагу, обрыва нет заученным фразам. Враги заполнили всё поле, всю землю, весь воздух! Поле боя останется за ними. Мы как будто были смелей, мы всё время атаковали. А поле боя – за ними...

Бородино. Нужно времени пройти, чтобы разобрались стороны, кто выиграл в этот день.

На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна на другую, одна на другую и без пропуска (и травлю Пастернака начал он, и суд над Синявским – его предложение). У Дориана Грея это всё сгущалось на портрете, Федину досталось принять – своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведет наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледнивший

его лицо, его череп еще улыбается и кивает ораторам: да не вправду ли верит он, что я им уступлю?..

Я уже давно вошел в ритм – пишу и пишу протокол. Лицо мое смиренно – о, волки, вы еще не знаете зэков! Вы еще пожалеете о своих неосторожных речах!

В последнем, уже четвертом, выступлении я позволяю себе и погрозить в сторону отдела культуры ЦК («за Пир Победителей ответит та организация, которая...») и поиграть с Фединым – ну конечно же я приветствую его предложение! (Всеобщие улыбки! я сломлен!..) Ну, конечно, я за публичность! Довольно нам прятать стенограммы и речи!.. Печатайте мое *Письмо,* а там посмотрим!..

Ропот и вой. Поднимается Рюриков и скорбно морща свой догматический лоб:

– Александр Исаевич! Вы просто не представляете, какой ужас пишет о вас западная пресса. У вас волосы встали бы дыбом. Приходите завтра в «Иностранную литературу», мы дадим вам подборки, вырезки.

Я смотрю на часы:

– Я хочу напомнить, что я – не московский житель. Сейчас я иду на поезд, и мне не удастся воспользоваться вашей любезностью.

Ропот и вой. Обманутый разгневанный Федин закрывает обсуждение, длившееся пять часов. Я корректно буркаю два досвиданья через два плеча и ухожу.

Поле боя – за ними. Они не уступили нигде, нисколько.

Но чья победа?

В тот день я не успел повидать А.Т. Он послал мне письмо:

«Я просто любовался вами и был рад за вас и нас... очевидное превосходство правды над всяческими плутнями и «политикой»... По видимости дело как будто не подвинулось... На самом же деле произошла безусловно подвижка дела в нашу пользу... Практически мой вывод такой, что мы готовы заключить с вами договор, а там видно будет».

Но еще больше Твардовского меня удивило Би-Би-Си. Заседание окончилось в пятницу вечером. Прошел week-end – и в понедельник днем англичане уже передавали о вызове меня на секретариат и о смысле заседания – довольно верно.

Не иголочка в стогу, теперь не потеряюсь!

ЦДЛ гудел слухами. Писатели, поддержавшие меня при съезде, теперь требовали разъяснений от секретариата.

Через несколько дней на правлении СП РСФСР огласили письмо Шолохова: он требует **не допускать меня к перу**! (не к типографиям – к перу! Как Тараса Шевченко когда-то!). Он не может больше состоять в одном творческом союзе с таким «антисоветчиком», как я! Русские братья-писатели заревели на правлении: «И мы – не можем! Резолюцию!». Перепугался Соболев (ведь указаний не было!): товарищи, это неправильно было бы ставить на голосование! Кто **не может** – пишите индивидуальные заявления.

И струсили братья-русаки. Ни один не написал.

Среди московских писателей: а может и мы с ними не можем?

Ну, разве доступно ввинтиться в гранит? Разве есть такие свёрла? Кто бы предсказал, что при нашем режиме можно начать громогласить правду – и выстоять на ногах?

А вот – получается?..

Узда лагерной памяти осаживает мои загубья до боли: хвали день по вечеру, а жизнь по смерти.

Ноябрь 1967
Рязань

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(февраль 1971)

Странная вырабатывается вещь. Не предвиденная ранними планами и не обязательная: можно писать, можно и не писать. Три года не касался, спрятав глубоко. Не знал, вернусь ли к ней, до того ли будет. Несколько близких друзей, прочитавших: бойко получается, обязательно продолжай! Вот, в передыхе между Узлами главной книги припадаю к этой опять.

И первое, что вижу: не продолжать бы надо, а дописать скрытое, основательней объяснить это чудо: что я свободно хожу по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в воздухе держусь без подпорки. Издали кажется: государством проклятый, госбезопасностью окольцованный – как это я не переломлюсь? как это я выстаиваю в одиночку, да еще и махинную работу проворачиваю, когда-то ж успеваю и в архивах рыться, и в библиотеках, и справки наводить, и цитаты проверять, и старых людей опрашивать, и писать, и перепечатывать, и считывать, и переплетать – выходят книга за книгою в Самиздат (а через одну и в запас копятся) – какими силами? каким чудом?

И миновать этих объяснений нельзя, а назвать – еще нельзее. Когда-нибудь, даст Бог, безопасность наступит – допишу. А пока даже план того объяснения на бумажке составить для памяти – боюсь: как бы та бумажка не попала в ЧКГБ.

Но уже вижу, перечитывая, что за минувшие годы я окреп, осмелел и осмеливаюсь больше и больше рожки высовывать и сегодня решаюсь такое написать, что три года назад казалось смертельно. Всё явней следится мое движение – к победе или к погибели.

Тем и странна эта вещь, что для всякой другой создаёшь архитектурный план, и ненаписанную видишь уже в целом и каждой частью стараешься служить целому. Эта же вещь подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей – как велика будет и куда пойдет. Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть ее, можно продолжать, пока жизнь идет, или пока телёнок шею свернёт о дуб, или пока дуб затрещит и свалится.

Случай невероятный, но я очень его допускаю.

ПРОРВАЛО!

Да, сходство с Бородиным подтверждалось: с битвы прошло два месяца, почти ни одного выстрела не было сделано с обеих сторон – ни газетного упоминания, ни особенной трибунной брани, – да ведь Пятидесятилетие проползали, и требовалось *им* как можно нескандальнее, как можно глаже. Тоже и я, со склонностью к перемирию, своего «Изложения» [4] о бое в ход не пускал, правильно ли, неправильно, бережа для слитного удара когда-нибудь. Не происходило никаких заметных перемещений литературных масс, и поле боя, помнится, оставалось за противником, у него осталась Москва, – но чувствовал я именно в этой затиши: где-то что-то неслышно, невидимо подмывалось, подрывалось – и не звала ли нас обагренная земля воротиться на нее безо всякой схватки?

С этим ощущением я приехал в Москву, спустя великий юбилей, и чтоб немного *действий* проявить перед тем, как на всю зиму нырну в безмолвие. Для действий – нужен был Твардовский, но его оказалось нет давно, уже целый месяц он пребывал в своей обычной слабости, в ней незаметно и провел барабанный Юбилей (от которого неизлечимо-наивный Запад ждал амнистии хоть Синявскому-Даниэлю да своему слабонервному Джеральду Бруку, – но не бросили, разумеется, никому ни ломтя с праздничного стола). Так всегда и получалось у нас с А.Т., так и должно было разъёрзнуться: когда нужен ему я – не дозваться, когда нужен мне он – не доступен.

День по дню пождал я его в редакции, созванивался с дачей, – наконец решено было 24-го ноября ехать мне

в Пахру, и вызвался со мною Лакшин. Выехали мы утром в известинской черной «волге» еще в легком пока снегопаде. Было у меня чтение в дорогу срочное, но не вышло, занимал меня спутник разговором. Это многим дико, а у меня инерция уже принятой работы и тянет обязательно доделывать по плану, хотя посылается единственный, может быть, случай – вот поговорить с Лакшиным, с которым никогда, почему-то, не выходило. Да при шофере-стукаче какой и разговор? Много было пустого, а всё-таки на заднем сиденьи негромко рассказал он мне интересное вот что: в 1954 году, когда решался вопрос о снятии А.Т. с Главного в «Н. мире», этого снятия могло бы не быть, если бы Твардовский вырвался из запоя. И его уже приводили в себя, но в самый день заседания он ускользнул от сторожившего его Маршака и напился. Заседание в ЦК складывалось благоприятно для «Н. мира»: Поспелов был посрамлен, Хрущев сказал, что интеллигенции просто *не разъяснили* вопросов, связанных с культом личности – и редакцию в общем не разогнали, но отсутствующего даже на ЦК главного редактора – как же было не снять?

Иногда спасительной разрядкой была эта склонность, иногда ж и погибелью.

Английский пятнистый дог встретил нас за калиткой. Вошли в дом беспрепятственно и звали хозяев. А.Т. медленно спустился с лестницы. В этот момент он был больнее, беспомощнее, ужаснее всего (потом в ходе беседы намного подправился и подтянулся). Сильно обвисли нижние веки. Особенно беззащитными выглядели бледно-голубые глаза. Как-то странно, ни к кому из нас отдельно, он высказал очень грустно:

– Ты видишь, друг Мак (?), до чего я дошел.

И у него выступили слёзы. Лакшин ободряюще обнял его за спину.

В том самом холле, и сейчас мрачном от сильного снегопада за целостенным окном, недалеко от камина, где разжигался хворост о погибшем романе, мы сели, а Трифоныч расхаживал нервно, крупно. Короткую минуту

мы ничего не говорили, чтобы А.Т. пришел в себя, а для него это очень тягостно оказалось, и он спросил:

– Что-нибудь случилось? –
и крупно тряслись, даже плясали его руки, уже не только от слабости, но и от страха.

– Да нет! – поспешил я вскричать, – абсолютно ничего. То есть, помните, какой мрачный приезд был *тогда* – так теперь всё наоборот!

Он несколько успокоился, руки почти освободились от тряски. Мял сигарету, но не закурил. И, сев на диван, спросил с половинной тревогой:

– Ну, что в мире?

Очень это меня кольнуло. Я вспомнил, как школьником, два-три дня пропустивши в школе, я бывал сильно угнетен, как будто провинился: а что там без меня делалось? Как будто за эти дни неминуемо сдвинулся в угрозу тот внешний опасный мир. И то же самое, очевидно, испытывал он, когда вот так, на целый месяц, начисто отключался не только от журнала, но от всего внешнего мира.

– В Новом мире или в остальном? – пошутил я.

– Во всём, – тихо попросил он.

Лакшин дал ему такую версию: после юбилея ничто не улучшилось, но ничто и не ухудшилось. А я даже хотел убедить, что лучше: в Англии была телевизионная инсценировка по процессу Синявского-Даниэля, поднимается новая волна в их защиту, так что дела не плохо... но *эта* аргументация до обоих не доходила совсем: не было для них Синявского-Даниэля.

Чтоб не тянуть, я начал излагать своё дело: что ощущаю у противника слабину. Распробовать ее лучше бы всего так: никого не спрашивая, пустить в набор несколько глав «Ракового корпуса». Даже если не пройдет, то, при появлении «РК» заграницей, я смогу справедливо негодовать на СП. Иначе, предупредил я, смотрите: вот появится «РК» заграницей, неизбежно, и на нас же с вами свалят: скажут, что это мы не предпринимали никаких попыток, не могли друг с другом договориться.

А.Т.: – Это надо подумать, так сразу не скажешь.

А тон этот я уже знаю: это отказ. Пытаюсь убеждать: в обоих случаях – откажут или пропустят – мы выигрываем!

А.Т.: – Это дерзость будет после всего случившегося – подать как ни в чем не бывало. Надо сперва идти *говорить,* но я уже *не могу,* поймите.

(Лакшин потом объяснит мне: в последний раз в «отделе культуры» Шаура опять навязывал Твардовскому читать «Пир победителей» – и А.Т. в который раз был достойно-непреклонен: ворованную вещь, распространяемую против воли автора, не взял в руки! – но слишком ругательно ответил Шауре, и больше не мог идти туда.)

Я: – Да не надо идти просить! Подать обычным образом – и ждать. Почему нельзя?

Лакшин (подобранно, вдумчиво): – Я не сказал Александру Исаевичу по дороге...

(А почему не сказал? не было времени? Да *из-за этого и ехал он,* теперь понимаю, но сказать должен был при шефе.)

– ...а есть такой вариант. Был Хитров в отделе Шауры, перебирали то да сё, зашла речь о Солженицыне. Там удивляются: ему же 24 писателя сказали – написать антизападное выступление, как же он смеет не писать? Пусть напишет – и всё будет в порядке. Ну, не обязательно в «Правде» или в «Литгазете»... Пусть хоть в «Н. мире»...

(Да-а-а? Так они на попятную уже идут, на попятную. Не привыкли встречать твердость!)

Итак, предлагает Лакшин: действительно, набрать несколько глав «Корпуса» – и в том же номере, «ну хотя бы в отделе писем... – какое-то заявление А.И., что он удивляется западному шуму...».

Благоразумный мальчик (в 35 лет)! он качался со мной на заднем сидении, вёз капитуляцию – и не показал. Очень благоразумно, да, для этого маленького квадрата, но их – шестьдесят четыре, и надо видеть, что противник **смят**!

Однако я не успел даже ответить Лакшину – отдать справедливость Трифонычу, он тут же нахохлился, забурчал:

– А что он может писать? О чём, если всё замяли? *письмо*-то съезду было, его же не изменишь!

И – стих Лакшин, ни довода больше: мнение А.Т. важней для него, чем мнение ЦК. Стих, хотя внутренне не согласился.

Ну, и я не настаивал больше. Говорили о разном. Пили чифирно-густой чай. А.Т. еще вставал, похаживал, садился – и всё больше благообразел, отходил от слабости. Тут Лакшин выложил на стол пачку новых книжечек Твардовского, а я по оплошности протянул А.Т. ручку:

– С вас библиотечный сбор.

Он даже не брал ее, не пытался, руки-то тряслись! Извинительно:

– Я сейчас не сумею надписать... Я – потом...

Чтоб А.Т. не потерял интереса печатать «РК», я не собирался прежде времени рассказывать ему об «Августе Четырнадцатого». Но так показалось тягостно его состояние, что решил подбодрить: вот, Самсоновскую катастрофу пишу, к будущему лету может быть удастся кончить.

А.Т., уже возвращаясь и к иронии:

– Никакой **катастрофы** не было и не могло быть. Теперь *установлено,* что дореволюционная Россия совсем не была отсталой. Я читал одну экономическую статью недавно, так и положение крепостных перед 1861 годом рисуется весьма благоприятно: чуть ли не помещики их кормили, старость и инвалидность их были обеспечены...

(Самое смешное, что новая казённая версия гораздо верней предшествующих «революционных»!..)

Мы пробыли меньше часа, ждала машина (известинские шофера всегда капризничали и торопили новомирских редакторов), стали собираться. А.Т. надумал идти гулять, надел какой-то полубушлат очень простой, фуражку, взял в руки палку для опоры, правда не толстую, и под тихим снегопадом проводил нас за калитку – очень похожий на мужика, ну, может быть мал-мало грамотного. Он снял

фуражку, и снег падал на его маловолосую светлую крупную, тоже мужицкую, голову. Но лицо было бледным, болезненным. Защемило. Я первый поцеловал его на прощанье – этот обряд был надолго у нас перебит ссорами и взрывами. Машина пошла, а он так и стоял под снегом, мужик с палкой.

В редакции я сам смягчил разговор Костоглотова-Зои о ленинградской блокаде, чтоб не оставить у них серьезных отговорок.

И уехал. Но едва до Рязани доехал – пришло письмо от Воронкова [5] – зондирующая нота: когда же, наконец, я отмежуюсь от западной пропаганды? Зашевелились?! Недолго думая, я тут же отпалил ему десятком контрвопросов: когда они исправятся? Жду и я, наконец, ответа!! [6]

И, облегченный, поехал дальше, в глубь, под Солотчу, в холодную темную избу Агафьи (второй Матрены), где в оттепельные дни дотапливали до 15°С, а в морозные я просыпался чаще при двух-трех градусах. По своему многомесячному плану я должен был теперь прожить здесь зиму. Обложился портретами самсоновских генералов и дерзал начать главную книгу своей жизни. Но робость перед ней сковывала меня, сомневался я – допрыгну ли. Вялые строки повисали, рука опадала. А тут обнаружил, что и в «Архипелаге» упущенного много, надо еще изучить и написать историю гласных судебных процессов, и это первее всего: неоконченная работа как бы и не начата, она поразима при всяком ударе. А тут достигло меня тревожное письмо, что продают «Раковый корпус» англичанам – да **от моего имени**, чего быть не могло, от чего я всеми щитами, кажется, оборонился! Так смешалась работа – а через несколько дней и еще брякнуло – то из Москвы уже выздоровевший Твардовский потянул длинную тягу вызывного колокольца: явись и стань передо мной! срочно нужно! А что̀ срочное – не названо, и конечно же выдуманное. Наработаешься с вами, леший вас раздери! Нехотя, медленно, брюзжа, я собирался.

Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план.

А Твардовский то-то дивился, что я не бросаюсь тотчас: звали его и меня в секретариат СП СССР придти *побеседовать* запросто; звонил ему Воронков, *беспокоился:* заплатил ли «Н. мир» Солженицыну хоть аванс за «Раковый корпус» – *надо же человеку что-то кусать!* («Кусать» – это расхожий термин у них для авторских потребностей.)

Ах, паразиты, вот как!! Да я и не удивляюсь: раз я стал неколеблемо – значит вам колебаться! Я другому удивляюсь, что за полвека весь мир не видит этого простейшего: только силы и твердости *они* боятся, а кто им улыбается да кланяется – тех давят.

18 декабря я застал А.Т. в редакции уже плавающим в мягких облачных подушках на полуторном небе. Тоже не извещенный точно, Твардовский по мелким побочным признакам безошибочно вывел, что кто-то *наверху,* чуть ли не *сам* (Брежнев), не то чтобы прямо указал печатать «Раковый корпус», нет, наверняка не так (признаки были бы иные), но обронил фразу в том смысле, что надо ли запрещать? И, где-то в воздухе опущенная, но не до пола, никем не записанная, эта фраза была тут же однако подхвачена и по людским рукам, по плечам, по ушам поползла, поползла, и онемел от нее аппарат Дёмичева, и все литературные марионетки, а какие поживей и поприспособленней, вроде Воронкова, кинулись перед нею и хвостом промести. Итак, нисколько не решено еще было, но поворот от сентября столь крут, что на сиденьи известинской «волги», везшей нас на улицу Воровского, Твардовский опять, как полгода назад, размечтался не только о журнальном печатании, но чтоб непременно сейчас же шла глава в «Литературку» для закрепления позиций, и опять перебирал, какую главу дать, какой «филейный кусочек». В благодушной уступке уже назвал-было предпоследнюю (Костоглотов по городу и зоопарку), но взял назад:

– Нет, *права первой ночи* я Чаковскому не отдам.

Были мы на пороге нового цензурного чуда? Тем и дивен

бюрократический мир, что на краткое время внутри себя он может отменить все физические законы – и тяжелые предметы вознесутся вверх, и электроны устремятся на катод. Но я в этот раз не ждал чуда и, помнится, не очень его хотел: ведь опять начнут выжимать строки и абзацы, гадость мелкая, а в Самиздате так беспрепятственно, так неискалеченно расходился «Корпус»! Мне уже больше нравился открываемый независимый путь. Однако я не препятствовал короткому счастью А.Т., не возражал.

Коренастый широчелюстный хамелеон Воронков снова был внимателен и любезен, хотя не так рассыпчато, как после моего письма съезду, но и не тот же вышибала, который подсовывал мне листовку «Посева»! Вчетвером сели мы как в карты играют: мы с Твардовским друг против друга, Сартаков против Воронкова, только мы трое за маленьким столиком, а Воронков отнесён от нас тушею письменного стола, и сам туша сидел в тяжелом кресле, однако и довольно подвижно. Я – только самое необходимое кидал, я сил нисколько не напрягал, не ощущая реальности всей игры, ехидно-аккуратный Сартаков тоже подбрасывал нечасто, а поединок, далеко не выражаемый в произносимых словах, происходил между Воронковым и атакующим Твардовским. Воронков хотел провести беседу, не сказав и не обещав ничего, а всё ж отметиться в дружелюбии. Твардовский, за 35 лет толканья в советско-литературном мире все эти ходы хорошо понимавший, хотел Воронкова прижать и хотя бы устного согласия от него добиться на печатание «Корпуса».

– Это – дело журнала, – удивлялся Воронков. – Как хотите, так и делайте.

– Но вы, по крайней мере, **не возражаете**?

– Да причем же тут союз писателей? – всё более изумлялся Воронков.

(Разве у нас кто-нибудь давит на издательства?)

– Не-ет, я не привык ездить в трамвае без билета! – фразою не из своего быта, но в СП отработанной, парировал Твардовский.

А если Воронков маневрировал наступательно, что надо же отрекаться (мне – от Запада и *письма*), нельзя же обмолчать всю историю, – я просто отмахивался, уж языком молоть надоело, а Твардовский уверенно:

– Можно! Смолчим – и всё будет в порядке.

– Да как же можно умолчать?? – поражался любитель гласности Воронков.

– А вот так, – очень значительно и уверенно, будто прислушавшись к верхней части стены, припечатывал Твардовский. – Хрущева сняли – умолчали, и прошло! А покрупней было событие, чем письмо Солженицына.

Как вообще дошел Воронков до этого кресла? почему он вообще руководил шестью тысячами советских писателей? был ли он первый классик среди них? Рассказывали мне, что когда-то Фадеев выбрал себе в любовницы одну из секретарш СП, тем самым она уже не могла вести простую техническую работу, и на подхват взяли прислужистого Костю Воронкова. Оттуда он вжился, въелся и поднялся. Но что же он *писал?* Шутили, что главные его книги – адресные справочники СП. А впрочем совсем недавно именно почему-то Воронкову (для того ль, чтоб судьбу «Н. мира» облегчить?), именно Твардовский доверил... драматургическую редакцию «Теркина». Уж какой там безизвестный негр ту работу для Воронкова сделал – а стал Воронков драматургом.

Проговорили часа полтора – но всё ж не дался склизкий объёмистый Воронков в пухлые ручища Твардовского: манил и заметал, а ничего не обещал и ничего не разрешил. Пошли мы с А.Т. переулками к Никитским воротам и дальше Тверским бульваром к редакции. И за эти полчаса легкоморозных при умеренном зимнем солнышке, поддерживая А.Т. под руку и особенно бережа его на переходах улиц, ему необычных, заметил я, как в нем внутри прорабатывается, дорабатывается, дозревает – и возвращается к нему исходное радостное состояние, но уже не на мечте, а на собственной твёрдости. Вошли в «Новый мир» – распорядился он созвать редакцию, а мне сказал сдержанно-торжественно:

– Запускаем «Раковый» в набор! Сколько глав?

Договорились на восемь. А.Т. «садился в трамвай, не беря билета»!

О, сила безликого **мнения**! Развивая свою твердость (заложенную, впрочем, и в фамилию его, и быть бы ему таким всю жизнь!), не погнушался Твардовский пойти сам и в типографию «Известий» и там дал понять какому-то начальнику, что с «Корпусом» – не самоуправство, а **есть такое мнение**, и надо поторопиться. И партийный начальник, не представляя же дерзкого самоуправства в другом партийном начальнике, так поторопился, что хоть и не в несколько ночных часов, как набрался «Иван Денисович», но к исходу следующего дня принесли в редакцию пачку гранок, и я, еще не успевши унырнуть в берлогу, тут же провел и корректуру. (И тут же выдержал яростную схватку с Твардовским: он до белых гневных глаз *запрещал* мне давать впереди оглавление – и сама идея, и шрифт, и возможное расположение – всё было ему отвратительно – «Так никто не делает!», а я стоял на своем – и хоть поссорься и разойдись, хоть рассыпь весь набор! Вот так, на нескольких уровнях сразу, обитал Твардовский.)

Совершился акт «набора», за рассыпку которого еще будет долго попрекать западная пресса наших верховных злодырей, – совершился от наплыва слабости в ЦК и от прилива твердости у издателя. Мне продлило это денег почти на два года жизни, важных два года. Но очень скоро в ЦК очнулись, подправились (ктò сказал ту неосторожную фразу – так и неизвестно, а может и никто не говорил, на подхвате не дослышали и переврали; кто теперь запретил – тоже неизвестно, вроде опять-таки Брежнев) – и засохло всё на корню.

Лишил их Бог всякой гибкости – признака живого творения.

А мне и легче – опять стелился путь неизведанный, но прямой, ощущаемо верный. Не отвлекало меня сожаление, что печатанье не состоялось.

Не то – Трифонычу. Для него этот срыв прошел как

большое горе. Ведь он поверил уже! он своею отчаянной храбростью как был воодушевлен! – но поглотило его порыв тупое рыхлое тесто. Ему надо же было в эти дни что-то предпринимать, и тянуло делиться со мной, и он слал мне в Рязань телеграммы, что нужен я срочно (кажется – подготовить смягчения). А я – не хотел смягчений, и больше всего ехать не хотел, два часа до Рязани да три часа до Москвы, да как объяснить забывчивому селянину, что под Новый год десять окружных голодных губерний едут в Москву покупать продукты, за билетами очереди, поездка трудна, не поеду я мучиться. Я телеграфировал отказ. Тогда иначе: приехать сразу *после* Нового года! Да не поеду я и после, когда же работать, измотаешься от этих вызовов! а не поймет: общая наша борьба, почему же я равнодушен? «Да где он? я вертолет к нему пошлю?!» Лакшин-Кондратович особенно изволили выйти из себя: «Если набирается вещь, автор обязан жить тут хоть две недели!»

А правильно, что я не поехал: из отдела культуры давили на Трифоныча опять, чтоб хоть смягченное, да написал я письмо-отречение: «Ему *пошли навстречу*, напечатали «Ивана Денисовича», а он чем отблагодарил? «Пиром Победителей»?.. – «Не с кем разговаривать», – очень грустно вздыхал Трифоныч моей жене. – Даже не «Корпус» говорят, а – «Раковая крепость»... – И мечтал: «А если б сейчас «Корпус» напечатать – ведь опять бы вся обстановка изменилась в литературе!.. Сколько б мы затем двинули!..»

Прошло еще дня два, и вот наш разлойяльный Трифоныч тоже взялся за *письмо!* – век писем! – не *открытое,* правда, письмо, лишь к одному Федину, зато объемом чуть не в авторский лист, А.Т. писал его целых три недели, писал на даче в лучшие рабочие часы, собирая к нему мысли и фразы в чистке снега.

А я в Солотче гнал последние доработки «Архипелага», по вечерам балуя слушаньем западного радио, и в феврале с изумлением услышал свое ноябрьское письмо Воронкову

– с изумлением, потому что никак не выпустил его из рук, отдельно и смысла не было – а вот так и береги документы в запасе... (Ускользнуло, конечно, у Воронкова, обрезана была дата, как при поспешном фотографировании, но много лет мне будут поминать, что это – я.)

К марту у меня начались сильные головные боли, багровые приливы – первый наступ давления, первое предупреждение о старости. А только «Архипелаг» вытянуть – надо было ни на час не разгибаться апрель и май. Лишь бы в эти два месяца ничто не ворвалось, не помешало!.. Я очень надеялся, что вернутся силы в моем любимом Рождестве-на-Истье – от касания с землей, от солнышка, от зелени.

Первый в жизни свой клочок земли, сто метров своего ручья, особая включенность во всю окружающую природу! Домик почти каждый год затопляло, но я всегда спешил туда на первый же спад прилива, еще когда мокры были половицы и близко к крыльцу подходил вечерами язык воды из овражка. При холодных ночах вся вода утягивается в речку, оставляя на пойменных склонах и на овражке – крыши белостеклистого льда. Он висит хрупкий над пустотой, утром проваливается большими кусками, будто кто идет по нему. В теплые ж ночи воды в реке не менеет, она не отступает, а звучно громко всю ночь журчит. Да даже и днем не заглушают весеннюю реку машины с шоссе, мудрый звук ее журчания можно сидеть и слушать часами, от часа к часу и выздоравливая. То сильно крупно булькнет, то странно шарахнет (упала ветка, застрявшая на иве от более высокой воды), и опять многогласное ровное журчание. Матовое заоблачное солнышко нежно отражается в бегучей воде. А потом начнет на взгорках подсыхать – и ласкаешь теплую землю граблями, очищая от жухлой травы для подрастающей зеленой. День-по-дню спадает вода, и вот уже можно вилами расчищать берег от нанесенного хлама и дрома. И просто сидеть и безмысло греться под солнышком – на старом верстаке, на дубовой скамье. Растут на моем участке ольхи,

а рядом – березовый лес, и каждую весну предстоит проверить примету: если ольха распускается раньше березы – будет мокрое лето, если береза раньше ольхи – сухое. (И каждый год: правильно! А когда распустятся одновременно – так и лето перемежное.)

Хорошо! Вот в такую же весну год назад здесь написана главная часть этих очерков. А через месяц, когда совсем потеплеет, озеленеет – тут будем печатать окончательный «Архипелаг» – сделать рывок за май, пока дачников нет, не так заметно.

Из Рязани в Рождество ехать через Москву. В Москве не миновать зайти в «Н. мир»: «Здравствуйте, Александр Трифонович!». Да что ж теперь «здравствуйте», отгорело давно, что̀ было, уже не тем голова занята. Почти уже три месяца, как отослано письмо Федину, уже и «горьковские торжества» были, и что же Федин? **Целовался** с Твардовским: «Благодарю, благодарю, дорогой А.Т.! У меня такая тяжесть на сердце...». – «А правда, К.А., что вы у Брежнева были?» «Да, товарищи вокруг решили, что нам надо повидаться.» – «И был разговор о Солженицыне?» – (Со вздохом): «Был.» – «И что̀ же вы сказали?» – «Ну, вы сами понимаете, что ничего хорошего я сказать не мог. – Спохватясь: – Но и плохого тоже ничего.» (? – Что̀ ж тогда?..)

Я слушаю, как всегда в «Новом мире», больше из вежливости, не спорю. Неплохо, конечно, что Трифоныч такое письмо послал (а по мне бы – вчетверо короче), еще лучше, что оно разгласилось...

Да! вот и рана, свежая: почему это по Москве *ходит* какое-то мое новое *произведение,* – а он, А.Т., обойдён – почему? почему я не принёс, не сказал ничего? Какие-то литераторы в Пахре *имели наглость* предложить А.Т. почитать, «я, конечно, отказался!».

Ах, ну как всё объяснить! Да потому что принеси – обязательно задержишь, скажешь не надо! А мне – надо, пусть гуляет. Это – «Читают Ивана Денисовича», бывшая глава из «Архипелага», при последней переработке выпавшая оттуда, а жалко пропадет, ну – и *пустил* ее...

– Да, А.Т., *не моя* это вещь, потому и не принес, я – не автор, я – составитель, там 85% цитат из читателей. **Я никак не думал**, что это распространится и даже будет иметь успех. Я **просто дал** двум старушкам, бывшим зэчкам, почитать.

– Где эти старушки? – грозно порывается он. – Сейчас берем машину, едем к ним и отбираем. Как могло **утечь**?

– А как ваше письмо Федину **утекло**? Вы ж никому не давали!

Вот это – поразительно для него. Тут он верно знает, что не давал.

– Вам надо тихо сейчас сидеть! – внушает.

Сейчас – да, я согласен. Но всё же честно предупреждаю: если «РК» напечатают заграницей – я разошлю писателям свои объяснения. (Какие объяснения – тоже нельзя говорить. Прежде времени ему покажи – лапу наложит, и плакало моё «Изложение». Та̀к запретитель сам себя обрекает не знать никогда во время правды!..)

На том и уезжаю – тихо сидеть. Это было 8 апреля. А уже 9-го во Франкфурте-на-Майне составлялась граневская динамитная телеграмма... Недолго мне в этом году предстояло попить ранне-весеннюю сласть моего «поместья». Шла Вербная неделя как раз, но холодная. В субботу 13-го пошел даже снег, и обильный, и не таял. А я в вечерней передаче Би-Би-Си услышал: в литературном приложении к «Таймсу» напечатаны «пространные отрывки» из «Ракового корпуса». Удар! – громовой и радостный! Началось! Хожу и хожу по прогулочной тропке, под весенним снегопадом – началось! И ждал – и не ждал. Как ни жди, а такие события разражаются раньше жданного.

Именно «Корпуса» я никогда на Запад не передавал. Предлагали мне, и пути были – я почему-то отказывался, без всякого расчета. А уж сам попал – ну, значит, так надо, пришли Божьи сроки. И что ж завертится? – после процесса Синявского-Даниэля через год и такая наглость? Но – предчувствие, что несёт меня по неотразимому пути: а вот – ничего и не будет!

За этой прогулкой под апрельским снегом застала меня жена, только что из Москвы. Взволнована. Знать бы ей неоткуда, ведь передали только-только. Нет, у нее другая новость: Твардовский уже четвертый день меня ищет, рвет и мечет – а где меня искать? В Рязани нет, московские родственники «не знают» (я втайне храню свое Рождество именно от «Нового мира», только это и создаёт защищенность, а то б уж дергали десять раз). В понедельник виделись, а со среды уже «рвет и мечет»? «Еще никогда не было так важно»? У них (у *нас*) – всегда «никогда», всегда «особый момент, так важно!». Только уши развешивай. Подождут. Не надо всякий раз «волки!» кричать, когда волков нет, тогда и будут вам верить. Не могу я каждый раз дергаться, как только дернутся внешние условия. Вот поеду через три дня, переживет Твардовский. Бесчеловечно к ним? – но они ко мне не заботливей: за эти годы на все их вызовы являться – я б и писателем перестал быть.

Уж новей моего известия у них не может быть: выходит «Корпус» на Западе! И не о том надо волноваться, что выходит, а: как его там примут? Первая настоящая проверка меня как писателя! И обдумывать надо – не чего там переполошился «Н. мир», а: не пришло ли время моего **удара**? Ведь томятся перележалые документы, Бородинского боя нашего никто не знает – не пора ль его показать? Хотелось покоя – а надо действовать! Не ожидать, пока сберутся к атаке – вот сейчас и атаковать их!

Не объемный расчет ведет меня – тоннельная интуиция.

С этим и еду я во вторник 16-го: *запускать* «Изложение»! Там страниц много, полста экземпляров перепечатаны впрок еще за зиму (уже Литвинов и Богораз передавали своё прямо корреспондентам, но я еще осторожничаю, я гнаный зверь, я прячусь за пятьдесят писательских спин), сейчас лишь сопроводиловку [7] допечатать быстро, связку бомбы, чтоб разрозненные части детонировали все разом и к понятному всем теперь сроку:

«...Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений заграницу, поскольку они давно и широко ходят по рукам... Упущен год, неизбежное произошло... ясна ответственность Секретариата».

В последний момент еще держат меня за рукава московские друзья: надо подождать! *именно сейчас, такой момент* – общая реакция, сламывают воли... не надо раздражать *верхи*...

Так вот именно потому сейчас и **двигать**!!!

Для этого я приехал в Москву. А между прочим – заглянуть и в «Н. мир»: что там за переполох?

Крайнее возбуждение! горестный темный гнев на лицах Лакшина и Кондратовича – но ничего по-людски не говорят: иерархия и дисциплина прежде всего, без А.Т. нельзя! А тот никак с дачи не доедет: лопнул скат по дороге, у известинского заевшегося шофера даже не нашлось ключа – колесо отвернуть. Через три часа А.Т. вошел напряженный внутренне, но и – убитый, мною убитый! Теперь собралась в его кабинете вся главная коллегия, как следственная комиссия, испытующе-строгая. И кладут передо мной – так брезгливо, что даже в руках держать ее мерзко – грязную, гадкую телеграмму из предательских подлых «Граней» (а название-то какое хорошее для мыслящих людей!):

«Франкфурт-ам-Майн, 9.4., Новый мир

Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад еще один экземпляр Ракового Корпуса, чтобы этим заблокировать его публикацию в Новом мире. Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу.

Редакция журнала Грани».

Так неожиданно, и столько тут противоречий, даже загадок – не могу понять, в голову не лезет. Но мне и понимать не требуется! – **провокация**! – и, как

советский человек, я должен... Им и самим тут почти ничего не ясно, но не хватает простой гражданской зрелости – с выяснения неясностей и начинать. К чему одному привыкли советские люди? – **дать отпор**! чем разбираться, чем исследовать, чем обдумывать – **дать отпор**! Прибитость многих десятилетий. Но и молодой, критичный, сообразительный же Лакшин немысляще нависает с остальными в той же стенке: **дать отпор**!

О, главная слабость моя – «Новый мир»! О, главная моя уязвимость! Ни с кем не трудно мне разговаривать, только с вами и трудно. Никакому советскому учреждению я давно ничего не должен, только вам одним, но через вас-то и цапает, и заволакивает меня вся липкая система: должен! должен! наш! наш!

Твардовский (значительно и даже торжественно):

– Вот наступает момент доказать, что вы – советский человек. Что тот, кого **мы открыли** – наш человек, что «Новый мир» не ошибся. Вы должны думать – обо **всей** советской литературе, вы должны думать о **товарищах**. Если вы неправильно себя поведете – наш журнал могут закрыть...

Постоянная угроза – **могут закрыть**... И я – не просто я, а либо жернов, либо шар воздушный на шее «Н. мира»...

После Бородина я возомнил, что я – свободный человек. Нет-нет, нисколько! Как вязнут ноги, как трудно вытаскивать их! Пытаюсь отнекаться тем, что:

– Опоздали «Грани». Вот уже «Таймс» напечатал...

«Таймс» – неважно, важны – «Грани»! важен отпор и советская принципиальность!..

Подсовываю А.Т. мою *сопроводиловку,* копию – Лакшину (Кондратовичу не даю, он читает через плечо Лакшина). Нет, на А.Т. не действует. И на остальных (глянув на А.Т.) не действует.

– «Таймс» – это не на русском...

Лакшин: – Очень важно, Александр Исаевич, перед историей. Ведь в справочниках всегда указывается первая

публикация на родном языке. И если будет указано – «Грани», какой позор!..

Вдруг А.Т. пробуждается и к сопроводиловке:

– А вы собираетесь это рассылать?! Не время, не время! Сейчас **знаете какое настроение** ...можно головы лишиться... В уголовный кодекс добавляют новую статью...

Я: – Ко мне вся гармошка кодекса да-авно не относится, не боюсь.

А.Т.: – И вы уже начали рассылать?

Не начал я, но вру: – Да. – (Чтоб неотвратимее.)

Не одобряет, не одобряет. И даже в стол себе не хочет взять такой ошибочной, опрометчивой бумаги. Не это главное сейчас! Единомысленно и строго сдвинулись вокруг меня опять. И Твардовский прямо диктует мне:

«Я категорически запрещаю вашему нео-эмигрантскому, откровенно враждебному журналу... Приму все меры...»

Какие?! Правительство наших прав не защищает, но требует, чтобы мы защищались сами! – вот это по-нашему.

– А иначе, Александр Исаевич, **мы вам больше не товарищи**!

И на лицах Лакшина-Хитрова-Кондратовича каменное, единое: нет, мы вам больше не товарищи! Мы – патриоты и коммунисты.

О, как трудно не уступить *друзьям!*.. Да мне и действительно не хочется, чтобы «Грани» печатали «РК», только всё испортят, особенно когда уже началось европейское печатание. Ну что ж... ну, ладно... ну, телеграмму я дам... (Я сломлен?.. Так быстро?..). Пытаюсь сложить – а слова не складываются. Дайте подумать! Отводят в кабинет Лакшина. Но я как бы под арестом: пока не напишу запретительной телеграммы – из редакции не отпустят.

А всегда надо подумать! Всегда осмотреться. На обороте той же телеграммы карандашом – что это? Черновик:

«Многоуважаемый Петр Нилович!

Я считаю, что Солженицын должен послать этому нео-эмигрантскому – (в этом **нео** они видят какой-то особенный

укор!) – откровенно-враждебному нашей стране... Я пытаюсь срочно вызвать Солженицына, местонахождение которого мне сейчас неизвестно, в Москву. Жду ваших указаний. Твардовский.

11 апреля».

(**Указаний** после того не получил Твардовский и, изнывая, через сутки позвонил Демичеву сам. Тот: «А-а, пусть как хочет». А вы, мол, расхлебаете. Еще в большем угрызении стал Твардовский искать меня.) А слова-то телеграммы никак не складываются. Что-то наскрёб, но совсем без ругани, понес показывать – А.Т. разгневался: слабо, не то! Я его мягко похлопал по спине, он пуще вскипел:

– Я – не нервный! Это – вы нервный!

Ну, ин так. Не пишется. Утро вечера мудреней, дайте подумать, завтра утром пошлю, обещаю.

Кое-как отпустили.

А на душе – мерзко.

Л.К. Чуковская с недоумением:

– Не понимаю. Игры, в которые играют тигры. Лучше устраниться.

И правда, что̀ за мо̀рок? Как мог я им обещать? Да разобраться-то – надо? Цепь загадок:

1) как могло случиться, что *такую* телеграмму вообще *доставили?* или огрех аппарата – или провокация КГБ.

2) кто такой Луи?

3) *«еще один* экземпляр»? а где и кем доставлен первый? (И оба же – не бесплатно! И деньги за мой «Корпус» уже пошли на укрепление Госбезопасности!)

Пока неотклонимо готовится мой залп из пятидесяти «Изложений», узнать о Луи – и сразу находится бывшая зэчка, сидевшая с ним в карагандинском лагере, приносит дивный букет: никакой не Луи, Виталий Левин, сел необучившимся студентом, говорят – что-то с иностранными туристами; в лагере был известным стукачом; после

лагеря не только не лишен Москвы, но стал корреспондентом довольно «правых» английских газет, женат на дочери английского богача, свободно ездит за границу, имеет избыток валюты и сказочную дачу в генеральском поселке в Баковке по соседству с Фурцевой. И рукопись Аллилуевой на Запад отвёз – именно он.

Всё ясно. Телеграмма – подлинная (доставлена по просчету, по чуду), ГБ торгует моим «Корпусом», «Грани» честно предупреждают Твардовского, за это я должен по-советски облить их грязью, а ГБ пусть и дальше торгует моей душой, она – власть, она – **наша**, она – имеет право.

И полдюжины редакционных новомирских лбов полдюжины дней хохлятся в кабинетах, изливают друг другу, какой я негодяй, что скрываюсь от редакции, во всем угодливо кивают Главному, а он топочет на меня ногами, и угодничает перед Демичевым, и изнывает от страха за «Новый мир» – и ни один не вчитается в телеграмму, и ни один не позвонит на телеграф: да подлинная ли телеграмма? не поинтересуется: существует ли такой Луи? **В какой стране**? **Кто он** и что?

Вот это и есть советское воспитание – верноподданное баранство, гибрид угодливости и трусости, только бы **дать отпор** – по направлению, где не опасно!.. Просто смешно, что накануне я мог обморочиться и заколебаться.

Оберёг меня Бог опозориться вместе с ними. Из штопорного вихря выносит меня на коне: потекли «Изложения»! И тут же, им вослед, попорхало еще новое мое письмо – о Луи! [8] Если б не было Виктора Луи – хоть придумай его, так попался кстати под руку! За всё печатание «Корпуса» отвечать теперь будет ГБ, а не я! Чтоб А.Т. пристыдился, две записки день за днем оставляю ему в редакции, – и, освобождённый, уезжаю в свое Рождество. Все удары нанесены и в лучшее время – теперь пусть гремит без меня, я же буду работать.

А прежде того – тихую теплую Пасху встречать. Церкви близко нет, обезглавленная видна с моего балкончика – в

селе Рождестве, церковь Рождества Христова. Когда-нибудь, буду жив или хоть после смерти, надо ее восстановить. А сейчас только ночная передача Би-Би-Си заменит всенощное стояние. А в Страстную Субботу, в мирный солнечный день, жаркий из-за того, что ветви еще голы, с наслаждением ворочаю завалы хвороста, натащенного наводнением, проникаюсь покоем. Как Ты мудро и сильно ведешь меня, Господи!

Вдруг – быстрые крепкие мужские шаги. Это – А.Е., мой славный друг, щедрый на помощь. Пришагал на длинных, прикатил новую беду: ..... (что случилось – когда-нибудь потом).

Нет, никогда не знаешь, где подостлать.

Нет покоя. То же мирное солнышко светит на тот же оголённый лес, и так же мудро журчит, струится поток – но ушел покой из души, и всё сменилось. Час назад, день назад победительна была скачка моего коня – и вот сломана нога, и мы валимся в бездну.

Что же мне делать? Отсечь и эту угрозу. Удержать защищенное равновесие на гребне или даже пике опасности, куда взметнули меня последние дни. Слишком много *писем* для нескольких дней, но уж такие дни, надо писать еще одно! Может быть, нет худа без добра: защита от *своих* и одновременно хорошая возможность прошерстить и западных издательских шакалов, испоганивших мне «Ивана Денисовича» до неузнаваемости, до политической агитки.

Человеку свойственно бить по слабому, сильно гневаться на беззащитного. Сколькие советские писатели с удовольствием (и без всякой даже надобности) лягали русскую церковь, русское священство (хотя б и в «Двенадцати стульях»), или весь «западный мир», зная, насколько это безопасно, безответно и укрепляет их шансы перед своим правительством. Этот подлый наклон чуть-чуть не овладевает и мной, свое письмо (в «Ле Монд», «Униту» и «Литгазету») я наклоняю слишком резко против западных издательств – как будто у меня есть какие-нибудь другие! Друзья во время поправляют меня...

И вот уже (25.4) с напечатанным письмом [9] я шагаю в редакцию «Литературной газеты». Только гадливо встречаться с Чаковским – но, к счастью, нет его. А два заместителя (нисколько, конечно, не лучше), ошарашенные моим приходом, встречают меня настороженно-предупредительно. Как ни в чем не бывало, как будто я их завсегдатай, кладу им на стол свое письмишко. Кинулись, наперебой читают, вздрагивают:

– А в «Монд» уже послали?

– Вот сейчас иду посылать.

– Подождите! Может быть... Вы понимаете, это *не от нас* зависит... – Брови к потолку. – Но если...

– Всё понимаю. Хорошо, два дня жду вашего звонка.

Еще в «ЛитРоссии» лысого, изворотливого, бесстыдного и осмотрительного Поздняева пугаю такой же бумажкой – и ухожу.

Текут часы – и вдруг меня серое щемление охватывает изнутри: а не допустил ли я подлости? а не слишком ли резок я к Западу? а не выглядит это как сломленность, как подслуживание к нашим?..

Очень мерзко на душе. Вот самая страшная опасность: защем совести, измаранье своей чистой чести, – никакая угроза, никакая физическая гибель и в сравненье идти не могут. Хотя уверяют меня друзья, что ничего позорного в письме нет, но с замиранием жду звонка «Литгазеты» – *не хочу звонка!*

Да его и нет. Лишил их Бог разума на их погибель, давно лишил (а всё не гибнут...). В международной политике они справляются неплохо – потому что Запад перед ними едва ли не на коленях, потому что все *прогрессисты* наперебой перед ними заискивают, – а вот во внутренней почти всегда *наши* выбирают худшее для себя решение изо всех возможных. При отсутствии свободных собеседников это не может быть иначе.

Отсылаю в «Ле Монд» заказное с обратным уведомлением. (Всё – кобелю под хвост, не отошлют.) А в «Униту»? Говорят, Витторио Страда в Москве, на днях уезжает,

коммунистический литературный критик, – вот его и попросим.

Но, по лагерной терминологии, Витторио Страда – *небитый фрей,* глупей бы не мог он выдумать: клочок письма не в карман положил, а – в чемодан, с пачками тяжелого Самиздата. А на него, видно, *стукнули,* что многое везёт – и осмелились проверить, да! – гдѐ гордость «свободных независимых» коммунистов? – протряхнули и ободрали как последнего буржуазного туриста. И что же в Италии? Написал в свою «Ринашиту»? Пожаловался в свой ЦК? Их ЦК опротестовал перед нашим? Да ничего подобного, смолчали, тут их независимость и кончается: ведь придут ко власти – сами будут делать так же.

А в Рождестве – нежная зелень, первые соловьи, перед утрами туман от Истьи. От рассвета до темени правится и печатается «Архипелаг», я еле управляюсь подавать листы, а тут еще машинка каждый день портится, то сам ее паяю, то вожу на починку. Самый страшный момент: с нами – единственный подлинник, с нами – все отпечатки «Архипелага». Нагрянь сейчас ГБ – и слитный стон, предсмертный шепот миллионов, все невысказанные завещания погибших – всё в их руках, этого мне уже не восстановить, голова не сработает больше. Столько десятилетий им везло, каждый раз перед ними уходила вода из Сиваша – неужели попустит Бог и теперь? неужели совсем невозможна справедливость на русской земле?

Но – щебечут, заливаются разноголосые птички, квакают лягушки, всё крупнее листы на деревьях, всё гуще тень, – а людей нет, дачные соседи еще не приехали, никакие шпионы не бродят, – да не знают *они,* да не видят нас, прохлопают!

Правда, слух дошел, что ободрали В. Страду на таможне. Провал на границе – как будто страшная вещь для советского человека, – но я так обнаглел, что уже и не пугаюсь: я начинаю ощущать свою силу и взятую высоту. Да и письмишко невинное, да и в коммунистическую газету – чёрт с ним. Работаем дальше!! И вдруг –

– по дачному адресу, куда никакие письма не приходят – (всем запрещено писать, приезжать) – письмо из таможни! ...«в связи с возникшей необходимостью... по касающемуся вас делу...» меня приглашают на шереметьевскую таможню к какому-то Жижину. (Куда утекла русская нация? Знаем куда, всосалась в землю Архипелага. А на поверхность вот эти и всплыли – какие-то Жижины, Чечевы, Шкаевы...)

Так не безмятежное небо над нами – огромное зреймо КГБ – и *мигнуло,* как Голова из «Руслана»: знай наших! поминай своих... Всё они видят, всё копошенье наше – и мы у них в руках...

Оледенели. Но – спокойно! Взять себя в руки, подумать несколько часов. Без лагерной выучки еще, пожалуй, и помчишься, свободный гражданин, *по вызову таможни.* А не пора бы – поставить их на место? А напишем так:

«...Выраженной вами необходимости встретиться я не вижу. Как правило, у художественной литературы не бывает общих дел с таможней. Если, однако, для вас эта необходимость настоятельна – ваш представитель может посетить меня...»

И – квартира Туркиных, в Москве, дата – на десять дней позже, чем они меня вызывают, и – три льготных часа, буду их ожидать.

Послано. Две рабочих недели продолжаем напропалую! – держимся, никто не огрызнулся, никто не нагрянул. И вот моя работа кончена, еще несколько дней работы на машинке. Еду в Москву. Сидим на квартире, час проходит – смеются родственники: и ты поверил, что придут? нашел дураков. Под окнами – сквер, я ухожу туда гулять с приятелем, а хозяина квартиры прошу: если придут – распахни вот это окно. Но заговорились, забыл я на окно оглядываться, и оттуда разбойничьи мне свистят на квартал. (Что подумали бедные таможенники? – попали в засаду! и со всеми документами...) Я быстро вернулся:

– Простите, заставил вас ждать.

Они – полны любезности, плащи сняли, еще стоят – да напуганные, после такого свиста: сейчас, гляди, их самих свяжут?

Майор, лет шестидесяти, с тонким пустым портфелем, и по виду, пожалуй, правда таможенник. Лейтенант молоденький – гебист безусловно.

Садимся, полчаса разговариваем – и никому ж не вдогляд, что рядом со мной на диване беспечно, открыто валяется только что мне привезенный мандадорьевский «Раковый корпус» – контрабанда явная!

Молодой: – Давайте дверь закроем, мы кому-то мешаем.

(А там за дверью моих двое молодчиков подслушивают.)

Я: – Ну что вы, кому ж мы мешаем? Тут все свои.

Пожилой: – Все-таки бывают исключительные случаи, когда у таможни находятся общие дела с литературой.

Открывает свой тонкий портфель, оттуда достает тонкую папочку и с ехидной готовностью подает мне – мое «Изложение»! Моё «Изложение», но первым же зырком ухватываю: машинка не моя, не из наших.

Я: – По содержанию моё, оформление – не моё, а как это к вам попало?

– На границе задержали.

Я (очень укоризненно): – На границе?! – (Качаю головой). – Это ведь – для внутреннего употребления.

Он: – Вот именно!

Пауза, в обоюдном сокрушении. Я ведь ничего не знаю, ни о Страде, ни о ком, нельзя сделать ошибочного движения, фигуру тронешь – ходи.

Тогда пожилой уже из кармана изящно-украдчивым движением достает конверт и подает мне с превосходной любезностью:

– А это?

И – впились в меня четыре глаза! Да зрячий и я: почерк на конверте мой, и даже обратный адрес рязанский, еще и лучше – значит, не прятался. Но теперь надо быстро хватать фигуру, а то опять неестественно будет, называй сам:

– Как – у Витторио Страды?! вы – взяли?.. Боже мой, что̀ вы наделали! Что вы наделали! Зачем же вы это сделали?

Пожилой (благородно): – Это – по нашим правилам. Ведь конверт был распечатан. Вот **если бы он был запечатан** – мы бы ни в коем случае не стали его открывать!

– А – что̀ же?

– Мы бы сказали пассажиру – бросьте при нас в почтовый ящик...

(А из того почтового ящика труба идет, конечно, к ним в заднюю комнату.)

– ...Ну, а уж если распечатано – мы смотрим, и вот видим такое дело – от вас... Надо выяснить...

А я «Изложением» трясу:

– Скажите, а вот с этим материалом вы познакомились?

Пожилой, не так уверенно:

– Д-да.

– У вас там много людей работает? Мне бы хотелось, чтоб как можно больше с ним познакомились! чтоб вы были в курсе литературной жизни.

– Н-ну, не все у нас прочли, – всё-таки обнадеживает меня майор, значит похватывали!

– Так вот, – приступаю я к нему уже плотней. – Вы теперь понимаете, что̀ делается? Происходит какая-то темная игра: какие-то мрачные силы продали мою вещь заграницу. Теперь я пытаюсь остановить это проституирование нашей литературы...

– Почему проституирование?

– А как же? Произведение наше – продаётся, там искажается, а каким словом это назвать? – и мне не дают возражать! Я пишу в одну газету, в другую, обещают – и не печатают! Тогда я протестую в «Ле Монд», сдаю письмо на почту, заказным с обратным уведомлением – перехватывают...

– Откуда вы знаете, что перехватывают?

– Ну, если обратное уведомление за месяц не вернулось – что̀ я должен думать?.. Надеялся на «Униту» – в «Уните» почему-то тоже нет. А теперь – мне понятно! теперь всё понятно... Что ж вы наделали?.. Кому ж вы на руку играете?..

Надо же: тотчас разобраться, и это письмо дослать Витторио Страде с извинениями, чтоб они его успели напечатать.

Он еще держится:

– Нет, простите, у нас *правила*...

Я (с легкостью, сочувствием, да просто как между советскими партийными людьми):

– Товарищи! Ну, я не хочу вас называть чиновниками, вы понимаете? Не хочу думать о вас так плохо. Ведь кроме своего служебного долга вы же **граждане** нашего общества! Вы же не можете так относиться: вот это – мое дело, а что̀ рядом – я не знаю? Ваши правила – да, хорошо, а – *почтовые правила?* Они – обязательны? Почему же письмо, отправленное по почтовым правилам – не идет? Хорошо, я не буду ссылаться на конституцию... Но **по смыслу** – если письмо было **выгодно** для нашей страны, для нашей литературы – почему было задерживать? Это же последняя тупость была...

– Ну, работы почты мы не можем касаться...

– Если вы **граждане**? Вы всё должны охватывать вокруг! Шло письмо против разбойников издателей – в итальянскую коммунистическую газету. Это выгодно для компартии Италии! Зачем же вы задержали? Разве только из общего отвращения к моему имени?

И вдруг пожилой таможенник улыбается, как бы извиняясь за свои погоны, как бы на миг и без них (сегодня вечером с этим выражением будет семье рассказывать?):

– Не у всех. Не у всех.

Щадя его перед молодым, я не замечаю поправки:

– И вот потеряно три недели!

– Так вы же не являлись!

– Позвольте, а что это за вызов? – Достаю, сую: – «Необходимо явиться...» – кого так вызывают? Это ж милицейский вызов! Одну старуху вызвали так – она чуть не умерла, а оказывается – реабилитация покойного мужа, приятное известие!

Майор стеснен:

– Ну, мы в письме не могли прямо написать...

Я уже – прямо в хохот:

– Перехватят? прочтут? да если вы не перехватите, кто же?..

Таможенник делает последнее усилие вернуться к программе, с которой его послали, но – между прочим, это же не существенный вопрос:

– А вы – сами Витторио Страде передавали?

– Нет, я сам его не повидал... – (Я его в жизни не видал.)

Еще легче, еще незначительней:

– А – через кого?

Но к этому легчайшему вопросу я наиболее готов! Обворожительно-язвительно, водя пальцем по их же бланку:

– Скажите, пожалуйста, это правда, здесь написано, что вы – министерство внешней торговли?

– Да, конечно, – еще не поняли они.

Я откидываюсь на диван, так мне с ними легко и хорошо:

– А для министерства внешней торговли – **не слишком ли много вопросов**?

Живо схватились оба:

– Мы – не **комитетчики**! Вы не думайте, мы – не **комитетчики**!

Ишь, какой термин у них. «Гебисты» – не говорят.

Так полное понимание:

– А если так – остальное вас не может интересовать!

Разговор – к концу, взаимная ясность, и только я настаиваю:

– Я настаиваю! Я очень прошу, чтоб вы как можно скорей отправили это письмо Витторио Страде!.. Вот сейчас наши представители едут на КОМЕСКО в Рим, и если бы это письмо было напечатано – ка̀к им было бы легко отвечать на вопросы!

– Мы доложим... мы доложим... Мы сами не можем.

Я уж совсем развязно:

– Там – марки нет. Если нужно – я, пожалуйста, сейчас наклею.

И приятно обрадованные, как будто очень довольные

выяснением, они ушли, не предлагая мне никакого *акта* и ничем не грозя.

Вот так с вами и разговаривать! Веселятся мои свидетели.

Через несколько дней «Архипелаг» закончен, отснят, пленка свернута в капсюлю – и *в этот самый день,* 2 июля, такая новость:

Вышел на западе «Круг первый»! – пока малый русский тираж, заявочный на «copyright», английское издание может появиться через месяц-два; и такое предложение: будет на днях возможность **отправить** «Архипелаг»!

Только потянулись сладко, что работу о̀б-угол, – так в колокол!! в колокол!!! – в тот же день и почти в тот же час! Никакой человеческой планировкой так не подгонишь! Бьёт колокол! бьёт колокол судьбы и событий – оглушительно! – и никому еще неслышно, в июньском нежном зеленом лесу.

Отправление будет авантюрное, с большим риском, но по малым возможностям другого не видно, не рисуется. Значит, отправляю... Только-только вынырнуло сердце из тревоги – и ныряет в новую. Отдышки нет.

А – выход на Западе двух моих романов сразу – **дубль**?! Как на гавайском прибое у Джека Лондона, стоя в рост на гладкой доске, никак не держась, ничем не припутан, на гребне девятого вала, в раздире легких от ветра – угадываю! предчувствую: а это – пройдет! а это – удастся! а это *слопают наши!*

Но – мрачная, давящая неделя. Неудачные случайности, затрудняющие отправку. Сгущается всё под 9-е июня, под православную Троицу. И так стекается, что провал или удачу я узна̀ю лишь несколькими днями позже. У меня уже следующая работа – последняя редакция истинного «Круга» – «Круга-96» (из 96 глав и сюжет неискаженный), которого никто не знает (на Западе выходит «Круг-87»), но валится из рук, работать не могу. Когда тебе слабо и плохо – так хорошо прильнуть к ступням Бога. В нежном березовом лесу наломать веток и украсить деревянную любимую дачку. Что̀ будет через несколько

дней – уже тюрьма или счастливая работа над романом? О том знает только Бог один. Молюсь. Можно было так хорошо вздохнуть, отдохнуть, перемяться, – но долг перед умершими не разрешил этого послабленья: они умерли, а ты жив – исполняй же свой долг, чтобы мир **обо всём** узнал.

Если провал – можно выиграть несколько дней, недель, даже месяцев, и еще поработать, последнее что-нибудь сделать, – только надо скрыться из дому, где я засечен, куда придут. И вечером под Троицу я убегаю с дачи (поспешные сборы, голова плохо соображает, это не первый мой побег из дому – горький побег из родного дома, а в гражданскую войну сколькие, наверно, вот так?!), сплю на укрытой квартире, без телефона.

И целый день – и еще день – и еще день – вся Троица в неизвестности. Работа – вываливается. Воздуха нет, простора нет. И даже к окнам подходить нельзя, увидят чужого. Я – уже самозаточён, только нет намордников и не ограничен паёк. А как не хочется на Лубянку! Тем, кто **это знает**... Вообще я стою крепко, мне многое спускается. Но «Архипелага» – не спустят! Поймав его на выходе, еще неизвестного никому, – удушат вместе его и меня.

Только на третий день Троицы узналось об удаче. Свобода! Легкость! Весь мир – обойми! я – разве в оковах? я – зажатый писатель? Да во все стороны свободны мои пути! Я свободнее всех поощряемых соц. реалистов! Сейчас за три месяца сделать «Круг-96», потом исполнить несколько небольших долгов – и сброшено всё, что годами меня огрузняло, нарастая на движущемся клубке, и распахивается простор в главную вещь моей жизни – «Р-17».

И – почти как юмор, летним пухлым, но не грозным, облаком прошла большая против меня статья «Литературки» (26.6.68). Я быстро проглядывал ее, ища чувствительных ударов – и не находил ни одного! Как они не находчивы, как обделены ясным соображением, как расшатались их дряхлые зубы! Даже рассердиться на эту статью – не

хватает температуры. И еще, выпарывая сами себя, привели с 9-недельным опозданием мое апрельское письмо, запрещающее «Раковый». И сколько, небось, обсуждали и правили статью в секретариате СП, в агитпропе ЦК, а никто не доглядел моего уязвимого места: что против печатания «Круга» – я ведь не возразил, не протестовал, – почему?..

Не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся.

Вот-вот, к осенним месяцам, на главных языках мира должны были появиться два моих романа. После улюлюканья вкруг Пастернака, после суда над Синявским и Даниэлем – казалось я должен был съёжиться и зажмуриться в ожидании двойного удара за мой наглый *дубль*. Но нет, другое наступило время – уж так обуздывали, уж так зарешечивали, – а оно текло всё свободней и шире! И все пути и ходы моих писем и книг как будто были не моей человеческой головой придуманы и уж конечно не моим щитом осенены.

Когда-нибудь должны же были воды Сиваша в первый раз не отступить!..

Счастливей того лета придумать было бы нельзя – с такой легкой душой так быстро доделывал я роман. Счастливей бы не было, если б – не Чехословакия...

Считая *наших* не окончательными безумцами, я думал – они на оккупацию не пойдут. В ста метрах от моей дачи сутки за сутками лились по шоссе на юг танки, грузовики, спецмашины – я всё считал, что наши только пугают, маневры. А они – *вступили* и успешно раздавили. И значит, по понятиям XX века, оказались **правы**.

Эти дни – 21, 22 августа, были для меня ключевые. Нет, не будем прятаться за фатум: главные направления своей жизни всё-таки выбираем мы сами. Свою судьбу я снова сам выбирал в эти дни.

Сердце хотело одного – написать коротко, видоизменить Герцена: **стыдно быть советским**! В этих трех словах – весь вывод из Чехословакии, да вывод из наших всех пятидесяти лет! Бумага сразу сложилась. Подошвы горели – бежать, ехать. И уже машину я заводил (ручкой).

Я так думал: разные знаменитости, вроде академика Капицы, вроде Шостаковича, ищут со мною встреч, приглашают к себе, ухаживают за мной, но мне даже и не почётна, а тошна эта салонная лескотня – неглубокая, ни к чему не ведущая, пустой перевод времени. А ну-ка, на машине быстро их объеду – еще Леонтовича, а тот с Сахаровым близок (я с Сахаровым еще не был знаком в те дни), еще Ростроповича (он в прошлом году в Рязани вихрем налетел на меня, знакомясь, а со второго свидания звал к себе жить), да и к Твардовскому же, наконец, – и перед каждым положу свой трехфразовый текст, свой трехсловный вывод: **стыдно быть советским**! И – довольно юлить! – вот выбор вашей жизни – подписываете или нет?

А ну-ка, за семью такими подписями – да двинуть в Самиздат! через два дня по Би-Би-Си! – со всеми танками не хватит лязга у *наших* на зубах – вхолостую пролязгают, осекутся!

Но с надрывом накручивая ручкой свой капризный «москвич», я ощутил физически, что не подниму эту семерку, не вытяну: не подпишут они, не того воспитания, не того образа мыслей! Пленный гений Шостаковича замечется как раненый, захлопает согнутыми руками – не удержит пера в пальцах. Диалектичный *прагматик* Капица вывернет как-нибудь так, что мы этим только Чехо-Словакии повредим, ну, и нашему отечеству, конечно; в крайнем случае и после ста исправлений, через месяц, можно написать на четырех страницах: «при всех успехах нашего социалистического строительства... однако, имеются теневые стороны... признавая истинность стремлений братской компартии к социализму...» – то есть, вообще душить можно, только братьев по социализму не следовало бы. И как-нибудь сходно думают и захлопочут искорёжить мой текст остальные четверо. А уж этого – не подпишу я.

Зарычал мотор – а я не поехал.

Если подписывать такое – то одному. Честно и хорошо.

И – прекрасный момент потерять голову: сейчас, под танковый гул, они мне ее и срежут незаметно. От самой публикации «Ивана Денисовича» это – первый настоящий момент слизнуть меня за компанию, в общем шуме.

А у меня на руках – неоконченный «Круг», не говорю уже – неначатый «Р-17».

Нет, такие взлёты отчаяния – я понимаю, я разделяю. В такой момент – я способен крикнуть! Но вот что: *главный* ли это крик? Крикнуть сейчас и на том сорваться, значит: такого ужаса я не видел за всю свою жизнь. А я – видел и знаю много **хуже**, весь «Архипелаг» из этого, о том же я не кричу? **все пятьдесят лет** из этого – а мы молчим? Крикнуть сейчас – это отречься от отечественной истории, помочь приукрасить ее. Надо горло поберечь для **главного** крика. Уже недолго осталось. Вот начнут переводить «Архипелаг» на английский язык...

Оправдание трусости? Или разумные доводы?

Я – смолчал. С этого мига – добавочный груз на моих плечах. О Венгрии – я был никто, чтобы крикнуть. О Чехословакии – смолчал. Тем постыдней, что за Чехословакию была у меня и особая личная ответственность: все признают, что у них **началось** с писательского съезда, а он – с моего *письма,* прочтенного Когоутом.

И только одним сниму я с себя это пятно: если когда-нибудь опять же с меня **начнётся** у нас в отечестве.

И – гнал, кончал «Круг-96». И опять – совпадение сроков, какого не спланируешь в человеческой черепной коробке: в сентябре я закончил и, значит, спас «Круг-96». И в тех же неделях, подменённый, куцый «Круг-87» стал выходить на европейских языках.

Была третья годовщина захвата моего архива госбезопасностью. Два моих романа шли по Европе – и, кажется, имели успех. Прорвало железный занавес! А я бродил себе по осеннему приистьинскому лесу – без конвоя и без кандалов. Не спроворилась чертова пасть откусить мне голову вовремя. Подранок залечился и утвердел на ногах.

Тут много б еще смешного можно было рассказать: как на истьинскую мою дачку повадился ходить изнеженный Луи со своей бригадой – выяснять отношения, а я вылезал к нему, чумазый и рваный работяга из-под автомобиля. Как он тайно фотографировал меня телеобъективом и продавал фотографии на запад с комментариями вполне антисоветскими, а по советско-чекистской линии доносил на меня само собой, да кажется и звукоаппаратуру рассыпал на моем участке. Как соседи дачные, по своей советской настороженности, считали, что у меня в лесу закопана радиостанция: иначе зачем я так часто в лес ухожу, да еще с приезжающими – очевидно, – резидентами разведок? Как выполняя договор, благородно навязанный мне Мосфильмом» года полтора назад, я тужился подать им сценарий кинокомедии «Тунеядец» (о наших «выборах») и как *наверх,* к Демичеву, он подавался тотчас и получал абсолютно-запретную визу. Как Твардовский с редакторским сладострастием выпрашивал у меня тот сценарий в тайной надежде: а вдруг, можно печатать?» – и возвращал с добродушной улыбкой: «Нет, *сажать* вас надо, и, как можно быстрей!»

Я шел по окаянно-запретным литературным путям, а вел себя с наглой уверенностью признанного советского литератора. И – сходило. В секретариате СП РСФСР допытывались у нашего рязанского секретаря Э. Сафонова: как я *ответил на критику* Литературной газеты» и «Правды» – они хотели бы тот документ посмотреть, проскочил он мимо них, – и поверить не могли, что никак не ответил! В советских головах это ведь не помещается, полвека так: если *критикуют,* значит надо покаяться, признать ошибки. А я, вдруг – никак.

В тот декабрь исполнилось мне пятьдесят. У моих предшественников в глухие десятилетия сколько таких юбилеев прошло задушенными, так что близкие даже друзья боялись посетить, написать. Но вот – отказали чумные кордоны, прорвало запретную зону! И – к опальному, к прòклятому, за неделю вперед, понеслись в Рязань

телеграммы, потом и письма, и меньше «левых», больше по почте, и мало анонимных, а всё подписанные. Последние сутки телеграфные разносчики приносили разом по 50, по 70 штук – и на дню-то несколько раз! Всего телеграмм было больше пятисот, писем до двухсот, и полторы тысячи отдельных личных бесстрашных подписей, редко замаскированных (как Шулубин, Нержины, Ида Лубянская, дети Сима).

– «...дай Бог вам таким держаться...»

– «...трудную минуту вспоминайте обсуждение в Союзе...»

– «...чтоб мы долго-долго еще были вашими читателями и отпала бы нужда быть вашими издателями...»

– «...дороги выбирает себе каждый, и верю я, вы не сойдете с избранного вами пути... радуюсь, что наше поколение по крайней мере выстрадало таких сыновей.»

– «Живите еще столько же всем сволочам назло; пусть вам так же пишется, как им икается.»

– «...пожалуйста, не откладывайте перо. Поверьте, не все любить умеют только мертвых.»

– «...и в дальнейшем быть автором только тех произведений, под которыми не стыдно подписываться.»

– «...Моя совесть это вы.»

– «...всё, что вы сделали – надежда на пути от духовной оторопи, в какой застыла вся страна...»

– «...жить в одно время с вами и больно и радостно.»

– «...Слава Богу, что в этот день вам не придется услышать ни полслова неискреннего, фальшивого...»

– «...читаем ваши книги на папиросной бумаге, оттого они нам еще дороже. И если за свои великие грехи Россия платит дорогой ценой, то наверно за великие ее страдания и еще, чтоб не упали совсем мы духом от стыда, посланы в Россию вы...»

– «когда мне надо думать, как вести себя на работе – я обращаюсь к вашим поступкам... когда бывают моменты душевного упадка – обращаюсь к вашей жизни...»

– «...оказываешься перед лицом своей совести и с

горечью сознаешь, что молчишь, когда молчать уже нельзя...»

– «Не люблю предателей. Вы отпраздновали свой день рождения, а спустя 10 дней мы будем праздновать **день рождения товарища Сталина. За этот день мы поднимем полные бокалы**!!! **История всё и всех поставит на свое место**. Заслужив признание Запада, вы приобрели **презрение** своего народа. Привет Никите – другу вашему» (на машинке, без подписи, брошено в дверной почтовый ящик).*

– «Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя, более долгожданного и необходимого, чем вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество. Лидия Чуковская».

– «...Живите еще пятьдесят не теряя прекрасной силы вашего таланта. Всё минется, только правда останется... Всегда ваш Твардовский».

Скажу, не ломаясь: в ту неделю я ходил гордый. Настигла благодарность при жизни и, кажется, не за пустяки. В день же 11-го, между сотенными пачками телеграмм, стали складываться, выхаживаться строки ответа, хотя и некуда их послать, только в Самиздат спасительный, ну с отвлеченьем на «Литературку» [10]:

«...Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России».

И не ведаю, что близок день, когда эта клятва стреножит меня.

---

* А по Самиздату пришли и такие поздравления:

– «...Поражены Вашей способностью дожив до 50-ти лет писать правду. Просим поделиться опытом страницах нашей газеты.

Редакция «Правды»».

– «...В год Вашего 50-летия по количеству и качеству выпускаемой продукции мы заняли первое место в мире. Надеемся сотрудничать Вами ближайшие 50 лет.

САМИЗДАТ»

– «Кацо! Дарагой! Бальшое спасиба уточнение отдельных деталей маей замечательной биографии. Нэ плохо, очень нэ плохо, паздравляю!

Иосиф Джугашвили»

ДУШАТ

Занесусь по своей линии, по своим планам и действиям – замечаю: линию Твардовского упустил, а уж она кровно в эту книгу вплелась, хотя сказать о ней могу всего лишь выведенное из встреч.

Весь 1968 год, начатый трехнедельным письмом к Федину, был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного расширения и углубления его взглядов и даже принципов, казалось бы устоявшихся, – а ведь исполнялось ему пятьдесят восемь! Не прямо̀, не ровно̀ пробивалось это развитие (хотя б вокруг той телеграммы «Граней») – а шло!

Когда летом 68-го я увидел А.Т., я поразился перемене, произошедшей в нем за 4 месяца. Он опять *вызвал* меня – криком в темную пустоту, ибо так и не знал, бедняга, где я есть (а от его дачи до моего Рождества – меньше часа автомобильной езды, уж он бы не раз ко мне накатывал!), явлюсь ли вообще. «Когда эта конспирация кончится?!» – топал он в редакции. И можно понять его раздражение и даже отчаяние: ну, как со мной договариваться и совместно действовать? Вероятно, не раз зарекался он обязать меня твердой связью, но я явлюсь, обезоружу его готовностью, дружелюбностью, – он смягчается и не имеет настояния жёстко условиться на будущее.

Может быть, я б и в этот раз не явился, но из редакции по секрету передали мне, в чем новость: в «отделе культуры» ЦК сказали Лакшину и Кондратовичу, что «скоро Солженицыну конец – Мондадори печатает «Пир победителей»». Беляев: «Его растерзают!» – т.е., разгневанные патриоты.

Мелентьев: «Ну, не растерзают, **у нас закон**. Но – посадят». Твардовский очень напугался и, главное: не я ли пьесу пустил? Он всё не верил до конца, что нет у меня «Пира», что только *они* могут пустить. (И ведь как им жàдалось этот «Пир» увидеть на Западе! сколько раз почесуха их брала – самим передать, а не решались, плюгавцы, потому что, через плечо, с оборотом, сильно кусал их «Пир», наломал-навредил бы им больше, чем мне.)

Я рванулся и приехал на дачу А.Т. тотчас – много раньше, чем он рассчитывал меня увидеть. Очень он обрадовался такой неожиданности, широкими руками принял меня. Сели опять в том же мрачном холле, где три года назад на хворостяном костре сжигались мое спокойствие и моя нерешительность. Я притворился, конечно, что повода не знаю, и А.Т. подробно мне всё рассказывал, я же, к его полному облегчению в десятый раз подтвердил, что нет у меня экземпляра «Пира», честно, что это – провокация агитпропа. (Тогда Трифоныч: «Да как же мне самому прочесть?». Я: «Возьмите у них, черт с ними, скажите – с моего согласия». Нет, так и не взял.) Но и встречный аргумент я ему положил: его-то «мальчики», Лакшин да Кондратович, такие изворотливые в защите журнала, могли бы не просто струхнуть и бежать плакаться А.Т., и он бы топал, меня вызывал, а сразу там, в «отделе культуры», сдвинув строго брови, ответить: «Позвольте, это – крайне важное сообщение. Чтобы действовать, редакции необходимо знать *источник* и достоверность его». Мол, если западная газета, так назовите число; а если вы узнали по тайным каналам – так не сами ли вы, голубчики, и продали?.. Трудно ли было найтись? Но для этого надо иметь дыхание свободное. Воспитанные же на советской службе, они, как и в случае с Луи, с «Гранями», всё, что знали и умели, по-советски: ловить сверху упреки и травить их вниз. А.Т. и сейчас мимо ушей пропустил мой аргумент как самый незначащий.

Однако всем остальным чрезвычайно порадовал он меня. Застал я его за чтением Жореса Медведева «Об иностранных

связях». Удивлялся: «Пробивные два братца!». И вообще о Самиздате, восхищенно взявшись за голову обеими руками: «Ведь это ж целая литература! И не только художественная, но и публицистическая, и научная!» Давно ли коробило его всё, что не напечатано *законно,* что не прошло одобрения какой-нибудь редакции и не получило штампа Главлита, хоть и не уважаемого нисколько. Лишь опасную контрабанду видел он уже во скольких моих вещах, пошедших самиздатским путем, – и вдруг такой поворот! И ревниво следил, оказывается, за самиздатскими ответами на облай меня в «Литературке». С большим одобрением: «А Чуковскую вы читали? Хорошо она!..» А с Рюриковым и Озеровым (предполагаемые авторы литературкинской статьи против меня) А.Т. решил ничего общего не иметь и в Лозанну ехать не вместе с ними, как посылают, а порознь.

Да что! сидели мы, болтали – вдруг он вскочил, легко, несмотря на свою телесность, и спохватился, не таясь: «Три минуты пропустили! Пошли Би-Би-Си слушать!» Это – о н ?! Би-Би-Си?!.. Я закачался. Он так же резво, неудержимо, большими ножищами семенил к «Спидоле», как я бросался уже много лет, точно по часам. Именно от этого порыва я почувствовал его близким как никогда, как никогда! Еще б нам несколько верст бок-о-бок, и могла б между нами потечь откровенная, не таящая дружба.

– Вы стали радио...? А о вашем письме к Федину слышали?

Нетерпеливо, но с опаской:

– А подробный текст его не передавали?

Вот, наверно, откуда! – от своего письма стал он и слушать. Естественный путь. Но первый-то рубеж – отважиться, переступить свободным актом воли, послать само письмо! Надо помнить, что именно с весны 1968 года растерянные было власти стали теснить расхрабрённую общественность, теснить очень примитивно и успешно: «собеседованиями» пять к одному с *подписантами* в парт-

комах и директоратах, исключениями одиночек из партии и из институтов – и поразительно быстро свелось на нет движение протестов, привыкшие пугаться люди послушно возвращались в согнутое положение. Твардовский же, напротив, *именно в это время* стал упираться там, где можно бы и уступить: не только по журналу, это всегда, но из-за отдельных абзацев обо мне жертвовал статьей о Маршаке и задерживал целый том своего собрания сочинений.

После Би-Би-Си:

– Такая серьёзная радиостанция, никакого пристрастия.

Недавно Твардовский ехал в Рим и предупредил Демичева: «Если спросят о Солженицыне – я скажу, **что думаю**». Демичев, уверенно-цинично: «Сумеете вывернуться!» Но, говорит А.Т., с ним за границей обращались как с больным, не напоминая о здоровьи: избегая вопросов о «Н. мире» и Солженицыне...

В этот раз научил я его приёму, как оставлять копии писем при шариковой ручке. Очень обрадовался: «А то ведь *не всё* машинистке дашь».

Сердечно мы расстались, как никогда.

Это было – 16 августа. А 21-го грянула оккупация Чехословакии.

И я не доехал до Твардовского со своей бумагой. Нет, ее бы он не подписал и, вероятно, кричал бы на меня. Однако, вот как он себя повел. Верховоды СП, чтобы шире и надежней перепачкать круг писателей, в эти дни прислали А.Т. подписать два письма: 1) об освобождении какого-то греческого писателя (излюбленный отвлекающий маневр) и 2) письмо чехословацким писателям: как им не стыдно защищать контрреволюцию? Твардовский ответил: первое – неуместно, от второго отказываюсь.

Отлистайте сто страниц назад – разве это прежний Твардовский?

Я ему, в сентябре: – Если это подлое письмо появится за безликой подписью «секретариат СП», можно ли рассказывать другим, что вы туда не вошли?

Он, хохлясь: – Я не собираюсь делать из этого секрета.

(Три года назад: «нежелательная огласка»!..)

– Я глубоко рад, Александр Трифоныч, что вы заняли такую позицию!

Он, с достоинством: – А какую я мог занять другую?

Да какую ж? ту самую... Ту самую, которую в этих же днях совсем неокупаемо, бессмысленно подписал «Новый мир»: горячо одобряем оккупацию! Гадко-казенные слова, в соседних столбиках «Литературки» – одни и те же у «Октября» и «Н. мира»!..

Глазами чехов: значит, русские – все до одного палачи, если передовой журнал тоже **одобряет**...

Напомним: во многих московских НИИ всё-таки нашлись бунтари в те дни. В «Новом мире» не нашлось. Правда, на предварительно собранной партгруппе не соглашался подписывать эту мерзость Виноградов, но благоразумные Лакшин-Хитров-Кондратович отправили его домой – и так состоялось единогласие, и его поднесли общему собранию редакции. Да впрочем, и «Современник» голосовал единогласно. Да кто не голосовал? кто себя не спасал? Сам ли я не промолчал, чтобы бросить камень?

И все-таки этот день я считаю духовной смертью «Нового мира».

Да, конечно, *жали:* не обычный секретариат СП, к которому уже привыкли, но райком партии (дело *партийной важности!*) звонил в «Н. мир» каждые два часа и требовал резолюцию. Замечешься! А Твардовского в редакции не было: он формально в отпуске. И Лакшин с Кондратовичем поехали к нему на дачу за согласием.

Твардовский уже распрямлял свою крутую спину, уже готовился – впервые в жизни! по такому важному вопросу! – к необъявленному, молчаливому устоянию против *верхов*. С какой же задачей неслись к нему по шоссе его заместители? Какие доводы везли? Если бы к этому новому Твардовскому они приехали бы с горячим движением: «на миру и смерть красна, а может и выстоим гордо!» (и выстояли бы! – чувствую, вижу!) – решение состоялось бы мгновенно и ясно какое: плюс на плюс дает только плюс.

Но если позиция Твардовского была плюс, это мы знаем, а умножение дало минус, то позиция Лакшина открывается нам алгебраически. Ясно, что, приехав, он сказал Твардовскому: «надо *спасать журнал!*».

Спасать журнал! Дать визу на публичную позорную резолюцию – и сосморкано на земь собственное одинокое горделивое устояние главного редактора. Разъезжались ноги – одна на земле, одна на плотике. Устоять душой – и сдаться публично! Разве надолго это спасет журнал? Разве злопамятные *верхи* забудут ему, что сам он сказал оккупации нет, да только ловкости не имел разгласить.

Спасать журнал! – крик, на который не мог не отозваться Твардовский! С тех лет, как всё реже и реже поэмы и стихи выходили из-под его пера, он всё страстней любил свой журнал – действительно, чудо вкуса среди огородных пугал всех остальных журналов, умеренный человеческий голос среди лающих, частное лицо свободолюбца среди циничных балаганных харь. Журнал постепенно становился не только главным делом, но **всею жизнью** Твардовского, он охранял детище своим широкоспинным толстобоким корпусом, в себя принимал все камни, пинки, плевки, он для журнала шел на унижения, на потери постов кандидата ЦК, депутата Верховного Совета, на потерю представительства, на опадание из разных почетных списков (что больно переживал до последнего дня!), разрывал дружбы, терял знакомства, которыми гордился, всё более загадочно и одиноко высился – отпавший от закоснелых *верхов* и не слившийся с динамичным новым племенем. И вот – не из этого разве племени? – приезжает к нему молодой, полный сил, блеска и знаний заместитель и говорит: надо *уступить*, сила солому ломит.

Солому! – только солому. Ну, еще хворост. Но даже жердинника не берет.

Хотя много раз виделись мы с Лакшиным, но всегда бегло, кратко, наспех (из-за меня), да и дел-то мы с ним ни одного никогда не решали, все мои решались Твардовским. А по закрытости характера его и моего у нас

не возникало и подробных ненаправленных разговоров. Итак, не имею прочных оснований судить о его убеждениях и побуждениях. Но – не обойти его повествованием. И рискну, опираясь на явные факты, дать не столько достоверный портрет его, сколько этюд о нем.

Я считаю Лакшина весьма одарённым литературным критиком – уровня наших лучших критиков XIX века, и не раз высказывал так ему. Он и сам эту традицию знал в себе и очень ею дорожил, со *вкусной* баритональностью поставленного голоса произносил: До-бро-лю-бов. Как и многие у нас, вряд ли он ощущал эстетическую ущербленность той критики, никогда не отделенной от общественного *направления,* никогда не достигавшей высшего возможного интуитивного уровня, как судит крупный художник о другом крупном художнике, Ахматова о Пушкине. Ведь дар великого критика редчайший: чувствовать искусство так, как художник, но почему-то не быть художником.

У Лакшина тесная преемственность с русской критикой XIX века. И в том, что статьи его обычно не содержат собственно-художественного анализа, а состоят из анализа социального, дотолковывают сюжет, нравственно доясняют персонажей (что̀ очень полезно и потребно одичавшему советскому читателю). И в том, что он прочно начитан в предшественниках, немало и к месту цитирует их. И в приёмах живого разговора с читателем, в приверженности неторопливой, очень вкусной манере изложения, отчего самый процесс чтения лакшинских статей доставляет удовольствие, а это важное достоинство всякого литературного произведения всегда, – хотя по темпу и по плотности мысли такое замедленное изложение уже не поспевает за нашим временем.

Еще и отличным русским языком пишет Лакшин иногда, а это в наше время стало редкостью: многие авторы статей и даже книг вообще не ведают, что̀ такое русский язык, особенно – русский синтаксис. Например (потеха, до чего не допишешься в этой вторичной литературе: автор дает

критический разбор собственного критика), например статья об «Иване Денисовиче». Перелагая и толкуя повесть, критик и сам старается выдержать соответствующий ей *лексический фон* – «ведаться с бедами», «стыден был», «со свежа», – приём художника, а не критика. И другой приём художника: Лакшин вводит в статью самого себя – то для характеристики своего поколения («едут мимо жизни, семафоры зеленые»), то даже для прямого политического обвинения, но выраженного художнически-мягко, очень тонко: в дни когда Иван Денисович ходил на зимний развод, юный Лакшин «любил смотреть на красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены Кремля» и «зубрил курс сталинского учения о языке». Такое – по расчёту не получится, оно рождено искренним движением в те немногие месяцы перемежной хрущевской оттепели, когда можно было увлечься и вправду поверить, что «это не повторится».

Если оценить еще и трудолюбие критика, читающего свой материал явно не по разу, то вдоль, то поперек. Если добавить его великолепную приноровленность к подцензурному многозначительному писанию, к полемике и иронии, когда цензура на стороне противника, а у тебя скованы руки, зубы и губы, – надо признать: этому критику дано от природы многое. К тому ж, его способности были счастливо углублены долгими болезнями в юности и, значит, обильным чтением и размышлением.

Но и печать государственной обстановки, те «семафоры зеленые» и «недоступные зубцы Кремля», тоже все вошли в личность, талант и судьбу критика. Университет принес ему не только систематический курс русского языка и литературы, но и обширный курс марксизма-ленинизма, и для успешности диплома требовалось потеснить любимых критиков XIX века в пользу классиков изма-изма. (Впрочем, это потеснение не такое мучительное: те и другие во многом не противоречат друг другу, а в утилитарности, общественной страстности, особенно же в настойчивом атеизме – очень сходны. Где ж они рòзнят – гибкий ум

может усмотреть переходную формулу. И вся Передовая Теория воспринимается тогда нисколько не мертвой, но – родником для духовной жажды.) Другое требование университетской успешности – для поступления в аспирантуру, состояло в том, чтобы быть комсомольцем, да не рядовым, а заметным на факультете. (Это требование не упустили многие, да даже, не смейтесь, автор этих строк, хоть и не для аспирантуры – уж так велось для успешливых советских молодых людей 30-х–50-х годов.)

Но что делать после всякого учения? Ведь литературный критик еще уязвимее художника для любого политического разноса. Как же иметь выдающиеся способности и **несмотря** на это найти им простор? Сама природа защищает свои творения, снабжает их качествами для выживания. Поколение, кончавшее среднюю школу близ великого сталинского семидесятилетия, не расщепляло в себе служебности и искренности, это перевивалось в нем – и оно могло брать воздух там, где его совсем не было. Во всяком случае, мы видим, что Лакшин не задохнулся: он вел семинары в Университете, стал нерядовым критиком, даже заведывал отделом критики «Литгазеты», а через комиссию по наследству Щеглова, утерянного «Новым миром», всё ближе становится к этому журналу, сдруживается с редколлегией, замечен и излюблен Твардовским, который решает, что вот этого мальчика он выведет в литературные звезды.

И взял его, с ревнивым нетерпением к своим лучшим открытиям, и приобрел перо, украшающее журнал. Правилен был и выбор Лакшина: он нашел единственную из ста невозможностей расцвести в этой стране, в эти годы – защищенный верным прочным крылом Твардовского. И быстро стало укрепляться их взаимопонимание, двоякое: художественное и общественное, две линии, которые Твардовскому всегда очень трудно было гармонировать, он как бы разными органами их воспринимал, а у Лакшина всегда сходилось ладно и примирительно, всегда подворачивались

ленинские цитаты, которые соединяли мостиками несоединимое. В апреле 1964-го у меня записано: «Вл. Яков. принимается Твардовским предпочтительно перед другими членами редакции», легко вхож к нему в кабинет. Как ни был А.Т. издавна близок с Дементьевым, он чутьем художника ощущал, что дементьевские формулы уж слишком окостенели, что надо связывать судьбу журнала с более гибким, отзывчивым молодым поколением. С другой стороны, сколько я помню и могу теперь сопоставить, мнение наблюдательного, внимательного, догадливого Лакшина *всегда* совпадало с мнением Твардовского, иногда опережая и еще невысказанное и хорошо аргументируя его. (Впрочем, на открытом лице Твардовского работа его мысли бывала предварена.) Не помню их не только спорящими, но хоть с каким-нибудь клином возражения. Так смена первого заместителя была подготовлена душевно, прежде чем она грянула *сверху* организационно, и тем была смягчена, оказалась для Твардовского переносимой. Очень кстати в том же 1966 году Лакшин вступил и в КПСС – и ведь, вероятно, без противоречия с общим мировоззрением (хотя уже многие интеллектуалы в тот год не знали, как из той партии ноги унести) – и лишь враждебность секретариата СП помешала Лакшину стать первым заместителем официально. Стали числить «первым» главного ходатая в цензуру литературно-холостого Кондратовича (А.Т. не думал так о нем, сам его сотворя), а реально первым стал Лакшин.

Сами мы себя вперед не ожидаем, как изменимся, занимая новые посты, принимаясь за новую работу. Не только внешне – осанка, другое лицо, тонко-шнуровые усики, другая походка, переход на «вы», кого называл раньше на «ты». Но и сам твой литературно-критический талант как-то переображается, перераспускается в талант административный, талант оглядчивости, учета опасностей – словом, для либерального журнала, талант хождения по канату, без чего журнал такой не может выходить. *Главный* – поэт и ребенок, может себе разрешить быть простодушным и в гневе, и в милости, и в щедрых обещаниях, – первый

заместитель не может отдаться порыву чувства, а должен осторожно подправить Главного, должен отсекать опасности. Раньше эту благородную работу выполнял твой предшественник, а ты мог позволить себе бо̀льшую свободу, – теперь же обручи мономаховой шапки отзывно стягивают кожу твоей головы. И если приносят тебе рукописи двух сестер: огненного «Пушкина и Пугачева» покойной Марины и длинноватые, не колкие, никому не обидные воспоминания живой Анастасии, то оценив: «да, талантливы обе сестры!», ты откладываешь блистательно-опасную рукопись, а гладенькую еще приглаживаешь – и всё равно будет шаг передовой. Ведь «Новый мир» – это единственный светоч во тьме нашей жизни, и нельзя дать задуть его. Для такого журнала – чем не пожертвуешь? на что не пойдешь? **только здесь** развивается наша литература, наша мысль, и тому нисколько не мешает марксистско-ленинская идеология, **умно понятая**, – а Самиздат, какие-то молодые группки, петиции и демонстрации – всё гиль. В том-то и чрезвычайная сложность задачи, что несдержанным бунтарям не дано высказываться перед публикой в ста сорока тысячах экземпляров. Вот почему слишком выхлёстывающие, резкие публикации лучше *самому* прежде цензуры приостановить, переубедить, подрезать. Это уже теперь не только наш журнал, но в каком-то смысле и твой – высшего положения нет и не будет для критика, пишущего по-русски, а ты достиг его моложе пушкинского возраста, так будь же не по возрасту оглядчив, и именно для общего литературного дела береги этот журнал от слишком опрометчивых рядовых редакторов, которым лишь бы *продвинуть* материал, даже с антисоветским душком, послать в цензуру «на пробу», подвергая журнал смертельной опасности.

По тому, что̀ я раньше писал о Дементьеве – как же должна была посвободнеть редакция от замены его! Но вот говорит Дорош: «С Александром Трифонычем только разбеседуешься по душам – войдет в кабинет Лакшин, и сразу меняется атмосферное давление, и уже ни о чем не хочется».

Новое поколение не всегда приносит обновление форм жизни (достаточно видим это и по руководству нашей страны), напротив: расчет на долголетний путь заставляет искать стабильности.

А сам критик? Меняется ли он? Да, с человеком меняется и критик, но, разумеется, неизменна в нем ось Единственно Верного мировоззрения. То, что в раннем Лакшине было лишь досадными тенями (вера баптиста «наивна и бессильна» по сравнению с мужицким здравым смыслом; но и Шухову «непосильно» охватить общее положение в деревне), теперь выступает черными полосами.

Вот он оценивает роль насилия. Естественно заметить, что именно насилие, а не самоусовершенствование ведет к историческим вершинам. Конечно, благородным деятелям оно дается не всегда легко. Такие мягкие сердечные люди, как Урицкий, мечтательно шепчут между двумя казнями: «Не пылит дорога, Не дрожат листы, Подожди немного, Отдохнешь и ты...». Так неоспоримо принимается критиком вся мифологическая ложь о нашей новейшей истории. И в таких пропорциях понимается история двух веков. Если Александр II дал там какое-то освобождение крестьян и другие куцые реформы (величайшие во всей русской истории), то он «либерал поневоле», а за подавление польского восстания (это уже – свободной волей), осуждение Чернышевского и нескольких сот (!) революционеров – палач, достойный своей бомбы. Напротив, Никита Хрущев со своим светоносным XX съездом, **не** освободивший крестьян, **не** давший ни одной последовательной освободительной реформы, подавивший (поневоле) венгерское восстание и Новочеркасск, осудивший **десятки тысяч** в лагеря, не мягче сталинских, возобновивший лютое гонение на религию – начал великое прогрессивное движение современности, в которое, не щадя сил, и вливается «Н. мир».

Не замечает никогда сам человек, как его душевные движения отлагаются на его наружности. Не замечает и – как перо его меняется. Как ты долго готовишься, как пробиваешься к заветной статье о редком романе. Но вот –

достигнуто, открылось, можно писать – а само перо выписывает и выписывает вензеля оговорок на всякий случай. В интересе к Булгакову есть, конечно, «издержки сенсационности». «Коли уж говорить о его слабостях» (*коли* очень придает оттенок хлебосольной манеры глаголанья). Что ж, тот Булгаков? – «субъективность его социальных критериев и эмоций заметно сужала его художественный обзор», «изображение социальной конкретности – **наиболее уязвимая сторона его таланта»** (! выделено мной. Ну, в самом деле, кто изобразил нам Москву раннесоветских лет так вяло и бледно, как Булгаков?..). Да и с художественной стороны «пусть не всё (в романе) отделано ровно и до конца». Да и с философской: «христианская *легенда*», «как если бы» реальный эпизод истории. Да ведь *известно,* что и у Лермонтова «Божий суд» нисколько «не выражает религиозного чувства». Ну, может какой «суеверный читатель» и осенит себя «крестным знамением» (это ж милая такая ужимка, создающая с читателем благорасположенное доверие). А наша линия – «в согласии со старой марксистской традицией...»; «коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы»...

Для этого романа – в пируэтах фантазии, во вспышках смеха, тридцать лет трагически таимого, едва не растоптанного – *рост ли в рост* написана статья? Опять подражательная старомодная замедленность, кружной путь пересказа, манерная эпиграфичность (накопилось эпиграфов про запас – куда их деть-то?) – а мыслей, скачущих как воландовская конница – нет! а разгадки загадочного романа – нет! Это распутное увлечение нечистой силой – уже не в первой книге (в «Диаволиаде» – и до бесвкусия), и это сходство с Гоголем уже во стольких чертах и пристрастиях таланта – откуда? почему? И что за удивительная трактовка евангельской истории с таким унижением Христа, как будто глазами Сатаны увиденная – это к чему, как охватить?..

Да что там, да куда там! – возражает Лакшин. – И за

эту-то статью, с реверансами, чуть голову не отгрызли. Ну, правда, правда... Но вот опаска: сносно, если только *пишешь* так, при нагнутой шее – а что если и *думаешь* не выше, не шире? В ноябре 68 г. всё это о статье я высказал Лакшину, и он ответил:

– Я не хочу сослаться на то, что мне что-то не дали из-за цензуры говорить. Я умею всё сказать и при цензуре.

Так это и – всё?..

И что ж теперь, если эта статья подписана к печати 19 августа, а в ночь на 21-е начинается чехословацкий ужас, а 23-го, когда еще сигнального экземпляра нет, а весь тираж и ничего не стоит пустить под нож – звонят из райкома партии и требуют незначащей формальности, ни к чему не обязывающей резолюции в поддержку оккупации, которая всё равно и без этого произошла и победила – почему бы этой резолюции не дать? с каким склонением поедешь на дачу к Твардовскому?

Может быть не всё так именно Лакшин думал – но так делал.

А Твардовский, недавно именно так думавший и веривший – вот стал переколыхиваться, переливаться, не помещаться.

И с тех месяцев 1968 г., когда я кончил «Архипелаг», и Твардовский так зримо углублялся, искал, – потянуло меня дать ему прочесть. Это нужно было ему – как опора железная, это заменило бы ему долгие околичные рысканья по нашей новейшей истории. Но препятствия были:

– меньшее: доставить «Архипелаг» из глубокого укрытия и те 5 дней, какие А.Т. будет его читать, жить с ним вместе, не упускать книгу из виду;

– бо̀льшее: при первой же нетрезвости он не удержится, станет делиться впечатлениями и – потечет, потечет мой хранимый, мой самый тайный. (Почему-то подозревая такую же человеческую слабость – неспособность держать тайны, я и Ахматовой не мог дать читать своих скрытых вещей, даже «Круга» – такому поэту!

современнице! уж ей бы не дать?! – не смел.* Так и умерла, ничего не прочтя.)

Всё же на ноябрь договорились мы, что привезу я Трифонычу «Архипелаг». Однако, к моему приезду он не оказался на ногах, появился, тут же опять на чьем-то юбилее распил коньячка, снова ослаб. Потом не приехал в редакцию из-за того, что оборудовал у себя на даче какую-то комнату-книжный шкаф.

И спрятал я «Архипелаг».

А через несколько дней, 29 ноября, А.Т. вышел ко мне с редакционного партсобрания в теплом веселѐ, очень доброжелательный, сразу целоваться.

– Ничего, что с собрания?

– Да я ж там не председатель. Видели, что пришел, сидел – хватит!

Конечно, о бороде прошелся. Тут же, самокритично:

– Когда будете знатным и богатым – не заводите шкафов-комнат... А впрочем, что̀ делать с подаренными книгами? Шлют, шлют, наплывом, каждый с надеждой получить рецензию в «Н.мире». Я им отвечаю: «Вы знаете, как поступил в редакцию «Иван Денисович»? Через окошко регистратуры. Причем автор по забывчивости не написал своего адреса, и мне пришлось его искать через угрозыск».

Новая легенда, и не без тенденции.

В этих днях состоялись выборы в Академию Наук. По секции русского языка был в кандидатах Твардовский, но давлением сверху не дали его выбрать. Очень огорчен. Однако:

– Для честолюбия достаточно, что в газете была кандидатура.

От меня узнал, что физматики на общем голосовании прокатили и Леонова. Доволен.

---

* И зря. Я круто ошибся. Лидия Чуковская теперь объяснила мне: «А.А. всегда была на стороже от стукачей, видя их иногда там, где их и не было. Замечала слежку. Верила в существование подслушивающих приборов, когда никто не верил. Держала «Реквием» *незаписанным* 34 года! Хранила свои рукописи *не* дома. Политическая осторожность была ее манией».

Но вот и новая тревога: позавчера в Би-Би-Си, будто бы «провокационная передача», «меняет всю картину». Что такое? Передавали цитаты из его письма к Федину – «и совершенно точно! Как могло просочиться?»

Это – за десять-то месяцев!..

– Вот – как? Вы даже мне дали читать под арестом, вот тут в кабинете, без выноса!

А.Т. (добродушно довольный своею выдумкой): – Не могли ж вы переписать все семнадцать страниц!

(Верно, я только четыре тогда переписал, экстракт.)

Всё же надеется: – Может быть, всех семнадцати у них нет?

Я: – В Самиздате – всё письмо! К нам в Рязань привезли даже не из литературных кругов, а – врачи.

– И всё – точно?

– Совершенно точно!

А.Т. изумляется неисповедимости путей, однако больше с удовольствием, чем со страхом. Вообще-то он Би-Би-Си одобряет, и что оттуда «Раковый» читают – «хорошо, пусть читают». Вздохнул, но не завистливо ничуть:

– У вас в Европе уже бо̀льшая слава, чем у меня.

Я перевёл: в армии сейчас, если у кого увидят голубую книжку «Н. мира», занесенную с «гражданки» – таскают к политруку, как за подпольную литературу. Вот это – слава.

Он вдруг:

– А всё-таки шкаф красивый получился, хотя из самого дешевого, из ясеня! Вот приедете ко мне следующий раз, торопиться не будете...

Когда это бывало, чтоб я не торопился... когда это будет?..

Денег опять мне предлагал:

– Тысячу? Две тысячи? Три тысячи?.. Раньше говорили: мой кошелек – ваш кошелек, теперь: моя сберкнижка – ваша сберкнижка!

Я отклонил. Мне бы вот – за «Раковый» 60% получить, а не 25. Мне нужны официальные поступления по годам – на какие средства живу.

Смутился. Это – ему трудней. Это надо опять продвигать через начальство, через бухгалтерию «Известий», еще прежде – через своего же молодого выдержанного осмотрительного Хитрова.

– Вот Хитров приедет, может сообразит.

(Еще и эту последнюю выплату А.Т. устроит мне – «семь бед – один ответ», вопреки возражениям Лакшина-Кондратовича, что это может повредить журналу.)

А узнав, что я сценарий сдал на Мосфильм – стал просить с милой хмельной настойчивостью, как запретную рюмку – дать ему тот сценарий, и сейчас же!

Я – пошел за ним, к портфелю, А.Т. сразу ревниво:

– Вы с *первым* этажом ближе, чем со *вторым?*

(На втором – главные члены коллегии, на первом – все рядовые, и отдел прозы, и мой портфель всегда остаётся там, к постоянной ревности А.Т.)

Убрал прочь крамольные (особо номерованные) листы, остальное принес А.Т. (Бедный Трифоныч! Он со мной – открыто, а я – никогда не имею права.) Через час, после партсобрания, уже вся коллегия собралась над моим «Тунеядцем», и А.Т. уже требовал:

– Право первой ночи – нам! Предупредите Мосфильм – право первого печатания за «Н. миром»!

Это – пока не прочли подробно.

Но вот интересно, отмечено в моей тетради: хотя в тех самых днях прошлась по мне «Правда» – мы с Трифонычем в разговоре даже о том **не помянули**! даже для него правдинское ругательство уже было **ничто**!.. Времена-а!..

После того следующий раз о чтении «Архипелага» договорились мы с А.Т. на четыре майских дня 1969-го (был день Победы в пятницу, смыкались выходные), что беру его в свой «охотничий домик» (так он ласково, не повидав, называл мою неведомую истьинскую дачу). Но перед самым тем А.Т. снова «впал в слабость» – не глубоко, еще вызволимо. Узнал я, что Лакшин едет к нему в Пахру, кинулся к Лакшину на квартиру, передал для Трифоныча подбодряющую записку, а самого Лакшина

упрашивал: подействуйте на него, уговорите ехать ко мне, это важно для его же стойкости, для отстаивания журнала.

(Сосредоточенный всегда на своем, я не удосуживался тогда приглядеться и размыслить: ведь для осторожных целей Лакшина моё влияние на АТ. было разрушительно. По старой привычке, со времен «Ивана Денисовича», я привык видеть в Лакшине своего естественного союзника. А это давно не было так.) Лакшин кивал мне – вежливо, дружелюбно, но, пожалуй, отсутствующе. Увидел я: нет, не станет он уговаривать. Тем более, что у меня застрянет Твардовский и на понедельник, а в тот понедельник состоится *важный* звонок Воронкова в редакцию, и по всем соображениям расчетливой дипломатии надо Главному быть к звонку на своем кабинетном месте. (Шла молчаливая осада Твардовского, применялась новая тактика: давили на него с глазу на глаз, вынуждая добровольно подать в отставку.)

Да только при всех раскинутых лабиринтах дипломатия не знает неба. Для этого-то скрытого противостояния и нужна была Твардовскому огнеупорная твердость, какую лишь на зэковском Архипелаге и воспитывают.

Нет, не приехал АТ. Зря протаскал я книгу. И спрятал, – уже навсегда для него.

Вот так мы жили: рядом колотились – а прочесть он не мог.

Из оплетенья своих чиновных-депутатских-лауреатских десятилетий высвобождался Твардовский петлями своими, долгими, кружными. И прежде всего, естественно, силился он проделать этот путь на испытанной пахотной лошадке своей поэзии. В душные месяцы после чехословацкого подавления он писал – сперва отдельные стихотворения: – «На сеновале», потом они стали расширяться в поэму – «По праву памяти». В те самые весенние месяцы 69 года он ее дописывал, когда я не дозвался его читать «Архипелаг». Бедняге, ему искренне казалось, что он важное новое слово говорит, прорывает пелену всеми недодуманного, приносит освобождение мысли не одному себе, но миллионам жажду-

щих читателей (уже давно шагнувших на километры вперед!..). С большой любовью и надеждой он правил эту поэму уже в вёрстке, отвергнутой цензурой, и летом 69-го снова собирался *подавать* ее куда-то *наверх*. (Судьба главного редактора! В своем журнале свою любимую поэму напечатать не имел права!) В июле подарил вёрстку мне и *очень* просил написать, как она мне. Я прочел – и руки опустились, замкнулись уста: чтò я ему напишу? чтò скажу? Ну да, снова Сталин (как будто дело в нем, ягненке!) и «сын за отца не отвечает», а потом «и званье сын врага народа»,

«И всё, казалось, не хватало
Стране клеймёных сыновей»;

и – впервые за 30 лет! – о *своем* родном отце и о сыновней верности ему – ну! ну! еще! еще! – нет, не хватило напора, тут же и отвалился: что, ссылаемый в теплушке с кулаками, отец автора

«Держался гордо, отчуждённо,
От тех, чью долю разделял...
...Среди врагов советской власти
Один, что славил эту власть».

И получилась личная семейная реабилитация, а 15 миллионов – сгиньте в тундру и тайгу? Со Сталиным Твардовский теперь уже не примирялся, но:

«Всегда, казалось, рядом был...
Тот, кто оваций не любил...
Чей образ вечным и живым...
Кого учителем своим
Именовал О т е ц смиренно...»

Как же и чем я мог на эту поэму отозваться? Для 1969-го года, Александр Трифонович, – мало! слабо! робко!

Вообще, у Твардовского и возглавленной им редколлегии увеличенное было представление о том, насколько они – пульс передовой мысли, насколько они ведут и возглавляют общественную жизнь даже всей страны. (Чтò они знали хотя б о националистах Украины и Прибалтики? о церковных вопросах? о сектантах?..) В редакции все они друг

друга так восполняли и убеждали, по нескольку человек по нескольку часов просиживая в комнате, что казалось им: они, члены редакционной коллегии, и есть движущий духовный центр, самозамкнутый во владении истиной, авторы – воспитуемые, от авторов не получишь светового толчка.

Зимой 68/69-го, снова в солотчинской темной избе, я несколько месяцев мялся, робел приступать к «Р-17», очень уж высок казался прыжок, да и холодно было, не раскутаешься, не разложишься, – так часами по лесу гулял и на проходке читал «Новый мир», прочел досконально целую сплотку, более двадцати номеров подряд, пропущенных из-за моей густой работы, – и сложилось у меня цельное впечатление о журнале. Конечно: более приятного и разумного чтения в СССР не было. Чтение освежающее, броунизирующее мысли. Интеллектуальная легкая гимнастика. Всегда – благородно, честно, старательно (если простить, пролистывать целые сотни пустых или гадких страниц туполобых казенно-революционных, казенно-интернациональных и казенно-патриотических публицистов).

Но это – сравнивая со всем печатным. Если же рядом с журналом есть выбор чего-либо из Самиздата – какая рука не предпочтет самиздатского? С развитием в 60-х годах самовольного машинописного печатания живая жизнь всё более уходила туда, – редакция же «Н. мира» трагически не понимала этого, и заместители, собираясь в кабинете Твардовского, серьёзно планировали стратегию отечественной мысли. Пожалуй, самой неудачной из таких попыток была статья Дементьева (НМ-1969-№ 4, а вышла в июне) – давно уже не члена редакции, а все еще – родственной идеологической души, а всё еще – радетеля, запечного друга.

Историю той несчастной статьи либо обойти совсем, либо разобрать подробней. Она как будто отводит от стержня этой книги, но почему-то не обминуется.

В 1968 г. в «Молодой Гвардии» опубликованы были две статьи заурядного темноватого публициста Чалмаева

(а вероятно за ним стоял кто-то поумней), давшие повод к длительной газетно-журнальной полемике. Сумбурно построенные, беспорядочно-нахватанные по материалу (изо всех рядов, куда руки поспевали), малограмотные по уровню, сильно-декламационные по манере, с хаосом притянутых цитат, со смехотворными претензиями дать «существенные контуры духовного процесса», «ориентацию в мировой культуре» и «цельную перспективу движения художественной мысли», – эти статьи всё же не зря обратили на себя много гнева и с разных сторон: изо рта, загороженного догматическими вставными зубами, вырывалась не речь – мычанье немого, отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее. Конечно, идея эта была казенно вывернута и отвратительно раздута – непомерными восхвалениями русского характера (**только в нашем** характере – правдоискательство, совестливость, справедливость!.. только у нас «заветный родник» и «светоносный поток идей»), оболганьем Запада («ничтожен, задыхается от избытка ненависти» – то-то у нас много любви!..), поношеньем его даже и за «ранний парламентаризм», даже и Достоевского приспособив (где Достоевский поносил социализм – перекинули ту брань на «буржуазный Запад»). Конечно, идея эта была разряжена в ком-патриотический лоскутный наряд, то и дело автор повторял коммунистическую присягу, лбом стучал перед идеологией, кровавую революцию прославлял как «красивое праздничное деяние» – и тем самым вступал в уничтожающее противоречие, ибо коммунистичность истребляет всякую национальную идею (как это и произошло на нашей земле), невозможно быть коммунистом *и* русским, коммунистом *и* французом – надо выбирать.

Но вот что удивительно: из того мычанья вырывались похвалы «святым и праведникам, рожденным ожиданием чуда, ласкового добра», и даже кое-кто назван не без погрешностей: Сергий Радонежский, патриарх Гермоген, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский; и помянута «Русь уходящая» Корина (разумеется, «лишенная рели-

гиозного чувства»); и «народная тоска о нравственной силе»; и с симпатией цитирован Достоевский в довольно божественных своих местах, и даже один раз «De profundis» сокрыто; а один раз и прямо о Христе – что он «ризы над поляной отряхнул»; и даже прорвалось (лучшее место!) глубокое предупреждение – не согрешить, отвечая насилием на насилие; и против жестокости, и *против взаимной отчужденности сердец* – вот уж не по-ленински! и никак не с ленинской позиции возражали Горькому (!), защищая *духовное слово* от базарного; и даже намёкнуто на масштаб русской тысячелетней истории, где тонут «формации», несколько их помещается (социализм не назван трусливо); и заикнуто даже о происшедшем уничтожении русской нации – только, оказывается, не от ЧК и ЧОНа, а от «буржуазного развития» – от русских купцов, что ли; и на обнищание нашей современной деревни указано на *духовное* – когда в кинотеатр стекаются с окружных деревень, как прежде стекались на всенощное бдение; где-то там на краю и по «алюминиевым дворцам» хлопнуто мимоходом, по Базарову... Да можно выделить, перечислить и оценить отдельные мысли этой и смежных статей «Молодой гвардии», весьма неожиданные для советской печати:

1) Нравственное предпочтение «пустынножителям», «духовным ратоборцам», раскольникам – перед революционными демократами. (Как прохороводили они у нас от Чернышевского до Керенского.) (Честно говоря – присоединяюсь.)

2) Что в дискуссиях «Современника» мельчали и покрывались публицистическим налетом культурные ценности 30-х гг. XIX в.(От *вечного?* – мельчали, конечно.)

3) Что передвижники не выражали народной тоски по идеалу красоты, по нравственной силе, а Нестеров и Врубель возродили ее. (Не может быть оспорено.)

4) Что в 10-е годы XX в. русская культура сделала новые шаги в художественном развитии человечества – и упреки Горькому (!) за оплёвывание этого десятилетия. (Не вызывает сомнений.)

5) Народ хочет быть не только сытым, но и вечным. (А если уже не так, то ничего мы не стоим.)

6) Земля – вечное и обязательное, в отрыве от нее – не жизнь. (Да, я ощущаю – так, я в этом убежден. А Достоевский воскликнул: «Если хотите переродить человечество к лучшему... то наделите его землей! В земле есть что-то сакраментальное... Родиться и всходить нация должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут».*)

7) Деревня – оплот отечественных традиций. (Опоздано. Сейчас, увы, уже – не оплот, ибо деревню убили. Но было – так. Разве – царский Санкт-Петербург? Или Москва пятилеток?)

8) Еще и купечество ярко проявляло в себе русский национальный дух. (Да, не меньше крестьянства. А сгусток национальной энергии – наибольший.)

9) Народная речь – питание поэзии. (На том стою и я.)

10) У нас выросло просвещенное мещанство. (Да! – и это ужасный класс – необъятный, некачественный образованный слой, **образованщина**, присвоившая себе звание интеллигенции – подлинной творческой элиты, очень малочисленной, насквозь индивидуальной. И в той же образованщине – весь партаппарат.)

11) Молодого человека нашей страны облепляют: выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство; телевизионная суета; беготня кинофильмов. (И – спорт. И – партпрос.)

Одним словом в 20е-30е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли. Года до 33-го за дуновение русского (сиречь тогда «белогвардейского», а ругательно на мужиков – «русопятского») чувства казнили, травили, ссылали (вспомним хотя бы доносительские статьи О. Бескина против Клюева и Клычкова). Исподволь чувство это разрешали, но – красно-перемазанным, в пеленах кумача и с непременным тавром жгучего атеизма. Однако уцелевших подросших крестьян-

* «Дневник писателя», 1876 г., июль-август, гл. Четвертая, IV.

ских (и купеческих? а то и священских?) детей, испоганенных, пролгавшихся и продавшихся за красные книжечки, – иногда, как тоска об утерянном рае, посещало все-таки неуничтоженное истинное национальное чувство. Кого-то из них оно и подвинуло эти статьи составить, провести через редакцию и цензуру, напечатать.

И понятно, что в тех же месяцах официальная советская пресса, начиная с «Коммуниста», лупанула «М. Гвардию» за эти статьи. «Порицание было единодушным», как пишет Дементьев, и «казалось, что дальнейший разговор не имеет смысла». Но компатриоты из «М. Гвардии» еще и после разгрома чалмаевских статей пытались вытягивать противоестественное соединение «русскости» и «коммунистичности», эту помесь дворняжки со свиньей, столько же стоящую, сколько «диалог» между коммунистами и христианами до того дня, пока коммунисты не пришли к власти.

Но обо всем том, может быть, не узналось бы и не упомнилось, и мои 6 очерки были на несколько густых страниц полегче, если бы редакции «Н. мира» не взбрела несчастная идея – влиться в общее «ату», да еще поруча статью писать засохшему Дементьеву.

Если вспомнить десятилетия советской литературы, поток ортодоксально-помойной критики разных напостовцев, литфронтовцев, рапповцев, ЛитЭнциклопедии 1929-33 года, а потом официальщины СП, – право же статьи Чалмаева никак не покажутся худшим образцом. Чем же так они рассердили и раззарили «Новый мир»?

Эмоциональный толчок был – расплатиться за свою вечную загнанность: изо всех собак, постоянно кусающих «Н. мир», одна провинилась, отбилась – и свои же кусают ее. Смекнув ситуацию: вот удобно ударить и нам! Чем ударить? – марксизмом, конечно, чистейшим Передовым Учением. Дементьеву это было очень сродни. Но по крайней мере один человек в редакции – Твардовский, мог бы помнить и понимать пословицу: **волка на собак в помощь не зови**. Даже на злых враждебных собак всё-таки не

зови в помощь волка марксизма, бей их честной палкой – а волка не зови. Потому что волк твою собственную печень слопает.

Но в том-то и дело, что марксизм не был для «Н. мира» принудительным цензурным балластом, а так и понимался, как учение Единственно-Верное, лишь бы было «исходно-чистым». Так и *атеизм,* очень необходимый для этого выступления, был своеродным, искренним убеждением всей редколлегии «Н. мира», включая, увы, Твардовского. И потому неслучайны были и не показались им ошибочными аргументация и тон этого позорного выступления журнала – так незадолго до его конца.

В исходном замысле, еще не перенесенном на бумагу, еще обсуждаемом в кабинете, очевидно были у новомирцев и вполне правильные соображения: «эта банда» кликушески поносит Запад не только как капиталистический Запад (такого марксистам не жалко, и Дементьеву тоже), а как псевдоним всякого свободного веяния в нашей стране (вопреки марксизму, эти передовые веяния почему-то поддерживаются именно обреченным Западом), как псевдоним *интеллигенции* и самого «Н. мира». В статьях «М. Гвардии» что-то слишком подозрительно выпячиваются «народные основы», церковки, деревня, земля. А в нашей стране так это смутно напряжено, что произнеси похвально слово «народ» – и уже это воспринимается как «бей интеллигенцию!» (увы, *образованщину* на 80%, а из кого *народ* состоит – и вовсе неведомо...), произнеси похвально «деревня» – значит угроза городу, «земля» – значит упрек «асфальту». Итак, против этих тайных, невысказанных угроз, защищая себя под псевдонимом интернационализма и пользуясь всеми ловкостями диалектического марксизма – в бой, Александр Григорьич!

И вот, с профессорской ученостью, легко находя неграмотное и смешное в статьях молодогвардейских недоучек (да ведь двадцать пять этажей голов срубили в этом народе, удивляться ли мычанью лилипутскому?) тараном попер новомирский критик в пролом проверенный, разминиро-

ванный, безопасный, куда с 20-х годов бито всегда наверняка, и сегодня тоже вполне угодно государственной власти.

Критик помнит о задаче, с которой его напустили – ударить и сокрушить, не очень разбирая, нет ли где живого, следуя соображениям не истины, а тактики. Начиная с давней истории, без тряски не может он слышать о каких-то «пустынножителях, патриархах...» или допустить похвалу 10-м годам, раз они сурово осуждены т. Лениным и т. Горьким; уже по разгону, по привычке, хотя к спору не относится – дважды охаять «Вехи»: «энциклопедия ренегатства», «позорный сборник», заодно лягнуть Леонтьева, Аксакова, даже Ключевского, «почвенничество», «славянофильство» – а что противопоставим? **нашу науку**. (Ах, не смешили б вы кур «вашей наукой»! – дважды два сколько назначит Центральный Комитет...) Впрочем, учит партия (только с 1934 года) от *наследия* не отказываться – и в наследие широко захватывает Дементьев «и Чернышевского, и Достоевского» (один звал к топору, другой к раскаянию, надо бы выбирать), да хошь «и «Троицу» Рублева» (после 1943-го тоже можно).

От всего *церковного* шибче всего трясет новомирского критика: и от порочного «церковного красноречия» (высшей поэзии!) и от каких-то «добрых храмов», «грустных церквей» у поэтов «Молодой гвардии». (Уж там какие ни стихи, а боль несомненная, а сожаление искреннее: уходит под воду церковь –

Я удержу, спасу, но если
Всё ближе пенная волна,
Прижмусь к стене и канем вместе...)

А Дементьев холодно и фальшиво: «Событие совсем не из веселых», но не надо «состояния экзальтации», «церковная тема требует более продуманного и трезвого подхода». (Да уж *продуманней,* чем церкви – что̀ у нас уничтожали? при Хрущеве и бульдозерами. Какова б «М. Гвардия» ни была, да хоть косвенно защитила религию. А либеральный искренно-атеистический «Н. мир» с удовольствием поддерживает послесталинский натиск на церковь.)

И что такое *патриотизм,* мы от Дементьева доподлинно узнаём: он – не в любви к старине да монастырям, его возбуждать должны «производительность труда» и «бригадный метод». Что за уродливая привязанность к «малой родине» (краю, месту, где ты взрос), когда и Добролюбов и КПСС разъяснили, что надо быть привязанным к *большой родине* (так, чтоб границы любви точно совпадали с границами государственной власти, этим упрощается и армейская служба). И почему бы это образный русский язык хранился именно в деревне (если Дементьев прописал всю жизнь социалистическим жаргоном – и ничего)? Фу-фу, *мужиковствующие,* еще смеют нам предсказывать, что

«...с протянутой рукою
К своим истокам собственным придем» –

нет, не придем! – знает Дементьев. Если уж хотите деревню воспевать, так воспевайте *новую,* «узнавшую большие перемены», покажите «духовный смысл и поэзию колхозного земледельческого труда и социалистического преобразования деревни» (поди, потрудись, красный профессор, когда в морлоков гнут, поди!).

Раз по тактике надо Европу защищать – так чем плохо «М. Гвардии» магнитофонное завывание в городском дворе? или что в воронежской слободе «сатанеет джаз», а Кольцова не читают? Чем поп-музыка хуже русских песен? Советское благополучие «ведет к обогащению культуры» (на доминошниках, на картежниках, на пьяницах – на каждом шагу мы это видим!). Нас ли учить выворачивать? Уверяют в «М. Гвардии», что Есенина – травили? убили? **Есенина любили**! – бесстыдно помнит Дементьев (не сам, конечно, он, комсомольским активистом, не парткомы, не месткомы, не газеты, не критики, не Бухарин – но... любили).

А главное: «свершилась великая революция!», «возник строй социализма», «моральный потенциал русского народа воплотился в большевиках», «уверенно смотреть вперед!», «ветер века дует в наши паруса»...

И – до уныния так, устаёт рука выписывать. И обязательно цитаты из Горького, и обязательно из Маяковского, и всё

читанное по тысяче раз... Угроза? Есть, конечно, но вот какая: «проникновение идеалистических» (тут же и с другого локтя, чтоб запутать:) «и вульгарно-материалистических»..., «ревизионистских» (и для баланса:) «догматических... извращений марксизма-ленинизма!». Вот, что нам угрожает! – не национальный дух в опасности, не природа наша, не душа, не нравственность, а марксизм-ленинизм в опасности, вот как считает наш передовой журнал!

И это газетное пойло, это холодное бессердечное убожество неужели предлагает нам не «Правда», а наш любимый «Новый мир», *единственный светоч* – и притом как свою программу?

Так в нашей стране, в наше время нельзя ни об одной проблеме (а – тысяча их гнется в исковерканьи) сказать незамутнённо, ясно, чисто. В обоих спорящих журналах мысли не только не прояснены, но – заляпаны коммунистической терминологией и слюной, – а тут подхватились самые поворотливые трупоеды – «Огонёк», и дали по «Н. миру» двухмиллионный залп – «письмо одиннадцати» писателей, которых и не знает никто. Да уж не в защиту «страны отцов», или там «духовного слова», а – последние следы спора утопляя в политическом визге, в самых пошлых доносных обвинениях: провокационная тактика наведения мостов! чехословацкая диверсия! космополитическая интеграция! капитулянтство! неслучайно Синявский – автор «Н. мира»!..

Да ведь как аукнется. Ведь и Дементьев пишет: в опасности – марксизм-ленинизм, не что-нибудь другое. Волка на собак в помощь не зови.

Тут, дернувши веревочкой, спроворились поместить, почему-то в «Соц. индустрии», письмо Твардовскому какого-то токаря: «хотелось бы всем нам шагать в ногу» (сталеварам и литераторам), «ответ хотим партийный, иного ответа рабочий класс (– а от его имени токарь Захаров –) не примет».

По-шла *дискуссия* по-советски! Типичная своей бездарностью оскорбительная подделка некритикуемой, неответ-

ственной прессы. Унизительная участь, слоновье терпенье – быть главным редактором официального журнала и всерьёз выслушивать, как безграмотный дурак оценивает твою литературу – и сколько лет жизни Твардовского прошло в том!.. В этот раз он нашелся с остроумием: попросил «Соц. индустрию» прислать *хотя бы фотокопию* этой подделки и дать *анкетные сведения* о таинственном Захарове. Впрочем, Захаров оказался вполне реальный – *тот* токарь, который депутат Верховного Совета и член ЦК, и уж теперь-то предупреждал пророчески: «кто в рабочий класс не верит, тому и рабочий класс в доверии откажет». И фотокопию тоже приводила газетка, вот чудо, – но какую! Уверенная (и обоснованная) наглость советских газетчиков: что *наш* читатель не станет сверять газету за 10 дней, – и даже страничку малую, какую привели, не потрудились подделать под газетную статью!

<table>
<tr><td>(на фотокопии:)</td><td>(в газете на 10 дней раньше:)</td></tr>
<tr><td>Уважаемые т.т. из газеты «Соц. индустрия!»</td><td>Уважаемый Александр Трифонович!</td></tr>
<tr><td>давно собирался поднять в печати</td><td>давно собирался написать Вам.</td></tr>
<tr><td colspan="2">но откладывал:</td></tr>
<tr><td>(ноль)</td><td>на заводе работы много, да и на общественные дела постоянно отвлекаешься
(этакая рабочая подлинность интонации!)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Но один разговор</td></tr>
<tr><td>состоялся недавно</td><td>состоялся недавно в цехе</td></tr>
<tr><td>спросил меня мой товарищ</td><td>спросил меня мой товарищ, рабочий наш</td></tr>
<tr><td>(товарищ – по ЦК? по Верховному Совету?)</td><td>(и еще ниже добавлено:)
и наш брат рабочий</td></tr>
</table>

Только первой страничкой показали нам свою подделку, дальше сам догадывайся.

И никому нигде не опровергнуть! – в этом наша непродажная пресса, не зависимая от денежного мешка.

(Давно мечтаю: какой-нибудь фотограф приготовил бы такой альбом: **Диктатура пролетариата**. Никаких пояснений, никакого текста, только **лица** – двести-триста чванных, разъеденных, сонных и свирепых морд – как о н и в автомобили садятся, как на трибуны восходят, как за письменными столами возвышаются – никаких пояснений, только: **Диктатура пролетариата**!)

Каково жить Твардовскому? каково – всей редакции «Н. мира»? Если где в этой книге я проглаживаю их слишком жёстко – исправьте меня: на муки их, на скованность их, на беззащитность.

Я-то об этих атаках ничего не знал. Я – у себя на истьинской даче прочел с большим опозданием статью Дементьева – и ахнул, и завыл, и рассердился на «Н. мир». Составил даже анализ на бумажке. 2-го сентября пришел в редакцию. Они все только и жили своей дискуссией (да уж веселей публичная схватка, чем как весной душили Твардовского в закрытом кабинете) и своим маленьким ответом «Огоньку», который, при месячной неповоротливости и цензурных задержках «Н. мира», всё-таки удалось прилепить в последний номер и выпустить в свет. Торжествовал Твардовский скромно:

– Ответ достойный?

(Да ничего особенного. Умеренное остроумие. Дементьевского шибающего духа, к счастью, нет.)

– Достойный. Но вообще, А.Т., статья Дементьева доставила мне боль. *Не с той стороны* вы их бьете. Эта засохлая дементьевская догматичность...

Очень насторожился:

– Да я *сам* половину этой статьи написал. (– Не верю. У Твардовского есть эта несоветская черта: от ругаемой вещи не отшатываться, а любить больше прежнего. –) Ведь *они* – банда!

– Не отрицаю. Но вы – всё равно не с той стороны... Помните, вы в Рязани, когда роман читали:

«идти на костер – так было б из-за чего».

– Я зна-аю, – возбуждался он к спору и раскуривался, – вы ж – за церковки! за старину!.. (– Да не плохо бы и крестьянскому поэту тоже...–) То-то *они* вас не атакуют.

– Да меня не то что атаковать, меня и *называть* нельзя.

– Но вам я прощаю. А мы – отстаиваем ленинизм. В нашем положении это уже очень много. *Чистый* марксизм-ленинизм – очень опасное учение (?!), его не допускают. Хорошо, напишите нам статью, в чем вы не согласны.

Статья-не статья, а предыдущие страницы уже у меня были, тезисно на листочке. Статьи, конечно, я писать не буду вместо самсоновской катастрофы, но – можно ли **говорить**? После полувека подавленья всякого изъясняющего слова, отсеченья всякой думающей головы – такая всеобщая перепутанность, что даже и близким друг друга не понять. Вот им, *друзьям,* об этом открыто – можно ли? Да в «Н. мире» для меня такая уж добрая всегда обстановка, что часто духу не хватает развертывать им неприятные речи.

– Александр Трифоныч, вы «Вехи» читали?

Три раза он меня переспросил! – слово-то короткое, да незнакомое.

– Нет.

– А Александр Григорьич читал когда-нибудь? Думаю, что не читал. А зачем безо всякой надобности лягнул два раза?

Нахмурился А.Т.,вспоминая:

– О ней что-то Ленин писал...

– Да мало ли что Ленин писал... *В разгаре борьбы,* – добавляю поспешно, без этого – резко, без этого – раскол!..

Твардовский – не прежняя партийная уверенность. Новые поиски так и пробиваются морщинками по лицу:

– А где достать? Она запрещена?

– Не запрещена, но в библиотеках ее *зажимают.* Да пусть ваши ребята вам достанут.

Тут перешли в другой кабинет, как раз к этим самым *ребятам* – Хитрову, Лакшину.

Твардовский, громогласно-добродушно, но и задето:

– Слушайте, он, оказывается, двенадцатый к «письму одиннадцати», просто не успел подписаться!

Когда смех перешел, я:

– А.Т., так нельзя: кто не с нами на 100%, тот против нас?.. Владимир Яковлевич! Вы обязаны найти «Вехи» для А.Т. Да вы сами-то читали их?

– Нет.

– Так надо!

Лакшин, достаточно сдержанно, достаточно холодно:

– Мне – сейчас – это – не надо.

(Интересно, как он внутренне относится к статье Дементьева? Не могут же не оскорблять его вкуса эти затхлые заклинания. Но если нравятся Главному – не надо противоречить.)

– А зачем же вы их лягаете?

Так же раздельно, выразительно, баритонально:

– Я – не лягаю.

Ну да, не он, а – Дементьев!..

Я: – Великие книги – всегда *надо*.

И вдруг А.Т. посреди маленькой комнаты стоя большой, малоподвижный, еще руки раскинув, и с обаятельной улыбкой откровенности:

– Да вы **освободите меня от марксизма-ленинизма**, тогда другое дело. А пока – мы на нем стоим.

Вот это – вырвалось, чу́дным криком души! Вот это было уже – вектор развития Твардовского! Насколько же он ушел за полтора года!

Была бы свободная страна, действительно – открыть другой журнал, начать с ними публичную дискуссию *с другой* стороны, доказать самому Твардовскому, что он – совсем не Дементьев. А в нашей стране иначе распорядилась серая лапа: накрыла и меня, накрыла и их.

Как уже давила, давила, давила всё растущее, пятьдесят лет.

После бурной весны 68-го года – что-то слишком оставили меня в покое, так долго не трогали, не нападали.

Получил французскую премию «за лучшую книгу года» (дубль – и за «Раковый», и за «Круг») – *наши* ни звука. Избран в американскую академию «Arts and Letters» – *наши* ни ухом. В другую американскую академию, «Arts and Sciences» (Бостон), и ответил им согласием – *наши* и хвостом не ударили. На досуге и без помех я раскачивался, скорость набирал на Р-17 и даже в Историческом музее, в двух шагах от Кремля, работал – дали официальное разрешение, и только приходили чекисты своими глазами меня обсмотреть, как я тут. И по стране поездил – никаких помех. Так долго тихо, что даже задыхаешься. Правда, летом получил я агентурные сведения (у меня сочувствующих – не меньше, чем у них платных агентов), что готовится моё исключение из СП – но замялось как-то, телеграмма странная была: «отложить заседание до конца октября», далекий расчет! Настолько Рязанское отделение СП само ничего не знало – что за неделю до исключения выдавало мне справки на жизнь. Разрешительный ключ был: что в четвертый четверг октября объявили Нобелевскую по литературе – и не мне! Одного этого и боялись. А теперь развязаны руки. Дернул Соболев из Москвы, вызвал туда нашего Сафонова, завертелось.

И ведь так сложилось – целый 69-й год меня в Рязани не было, а тут я как раз приехал: слякотный месяцок дома поработать, с помощью читальни – над острейшим персонажем моего романа. Как раз и портрет Персонажа утвердили (навеки) – на улице, прямо перед моим окном. И хорошо пошло! так хорошо: в ночь под 4-е ноября проснулся, а мысли сами текут, скорей записывай, утром их не поймаешь. С утра навалился работать – с наслаждением, и чувствую: получается!! Наконец-то! – ведь 33 года замыслу, треть столетия – и вот лишь когда...

Но Персонаж мой драться умеет, никогда не дремал. В 11 часов – звонок, прибежала секретарша из СП, очень поспешная, глаза как-то прячет и суетливо суёт мне

отпечатанную бумажку, что сегодня в 3 часа дня совещание об *идейном воспитании* писателей. Ушла, можно б еще три с половиной часа работать, но: что̀ так внезапно? Да еще *идейное воспитание*... Нет, думаю, тут что-то связанное со мной. И пытаюсь дальше сладко работать – нет, раскручивается, внутри что-то раскручивается, чувствую опасность. Бросил роман, беру свою старую папку, называется «Я и ССП», там всякие бумажонки – по борьбе, по взаимным упрекам, и доносы мне разных читателей: где, кто, что про меня сказал с трибуны. Всё это в хаосе, думаю – надо подготовиться. И срочно: ножницы, клей, монтирую на всякий случай, есть и заготовки позапрошлого года к бою на секретариате, не использовано тогда – и это теперь переклеиваю, переписываю.

Особенно приготовил я про это *идейное воспитание* им вызвездить, так (немножко из Дидро): «Что̀ значит – человек берется быть писателем? Значит, он дерзко заявил, что берется, так сказать, за идейное воспитание других людей и делает это книгами. А что̀ значит – идейно воспитывать писателей? Двойная дерзость! Так не ставьте *вопрос,* не устраивайте *заседаний,* а напишите к н и г у – мы прослезимся, нас просветит: ах, вот как надо писать, а мы-то, дураки, в темноте бродим!..» – Приготовил, да в поспехе забыл, очень во времени жали.

Пришел я в СП раньше назначенного за 5-7 минут, чтоб не на коленях досталось писать, если писать, а захватить бы место у единственного там круглого столика, на нем бы разложиться со всеми цветными ручками. (Я – давно исключения ждал и собирался диктофон нести на заседание, и принёс бы! – да ведь не исключение, просто «идейное воспитание».) Но и с ручками я, кажется, зря спешил: до собрания всегда за час околачиваются рязанские писатели, дома-то делать нечего, – а тут, гля, пустая комната, и только сидит на подоконнике временно исполняющий должность «секретаря» отделения (Сафонов – вдруг заболел, вдруг на операцию лег, аппендицит себе изобрел, чтоб только не позориться) Василий Матушкин – благообразный такой,

круглолицый, доброе русское лицо, уже пенсионер, он-то в дни хрущевского бума сам и нашел меня, сам таскал мне заполнять анкеты в СП, так радовался «Ивану Денисовичу», говорил, что это ему – важный языковой урок. Я ему руку жму:

– Здравствуйте, Василь Семеныч! Не будет, что ль?

Отвечает важно, с подоконника не слезая:

– Почему? Будет.

– Да когда ж соберутся?

– Соберу-утся.

Понурый какой-то, и глаза отводит. Вдвоём мы с ним, никого больше, ну что б ему стоило шепнуть, сказать? – нет, сукин сын, молчит. Я с ним – вежливый разговор: вы, говорят, новую пьесу написали, и опять областной театр ставит... Стол мне, как будто, не пригодится, но на всякий случай занял.

А – никто не идет. До последней минуты! И вдруг – сразу все, и даже больше, чем все, с большой скоростью входят – и не замечаю я, что все уже раздеты, пальто и шапок ни на ком, а обычно только тут снимают.* Один за другим идут, и хоть можно бы стол мой миновать, но все писатели сворачивают и жмут мне руку – и Родин (лица на нем нет, сильно болен, больше 38°, я расспрашиваю, ахаю, да зачем же вы приехали?) и Баранов, лиса такая (недавно: «Можно ли в Ростов от вас привет передать? Мне там завидуют, что я с вами встречаюсь»), и Левченко – душа открытая, парень-простак, хоть и серый, и Женя Маркин – молодой, слишком левый и слишком передовой для Рязани поэт. Да вот и Таурин, представитель секретариата РСФСР, почтительно мне представляется, почтительно жмет руку. Нет, никакого исключения не будет. Да вот же и еще идет какой-то сияющий, радостный, разъеденный гад – и этот ко мне, и этот прямо радостно руку мне трясет, у него – особенный праздник сегодня!

* Как их всех собрали, как *подготовили* – об этом было в «Хронике текущих событий» № 12, не повторяю.

Жму и я. А кто такой – не знаю. Остальные не здороваются. Расселись, 6а – 12 человек, а членов СП – только 6, остальные – посторонние.

Разложился я, но писать, видно, не придется. А один уже что-то строчит, на коленях – да не гебист ли в штатском? Таурин докладывает, скучно, вяло: вот Анатолий Кузнецов бежал, такой позорный случай, СП РСФСР имеет решение, в Тульской организации проработали, все глубоко возмущены (безо всякого выражения), решили на всех организациях проработать. Ну, конечно, усилят меры по контролю за писателями, выезжающими за границу, и воспитательные меры...

(Давно уж я, кажется, вырос из рабских недомерков, уже не сжимается сердце, что выдернут: «Теперь своё отношение пусть выскажет т. Солженицын...», – уж распрямился, уж за язык меня не потянешь. А впрочем, глупое положение: ведь предложат голосовать за суровое осуждение Кузнецова? А что̀ надо – одобрять?)

...А вот в Московской организации на высоком, на хорошем уровне прошло собрание. Были высказаны деловые обвинения против Лидии Чуковской, Льва Копелева, Булата Окуджавы...

(Не избежать – за них придется заступаться. Но мельком еще рабская мысль: а может промолчать? ведь не Москва, Рязань, здесь кому какое... И если 6 не близкие друзья, если бы просто либеральные писатели – пожалуй бы и пригнулся, пронеси спокойней. Но про *этих* твердо решил: скажу! вот повод и «за резолюцию в целом» не голосовать!)

Мягко этак Таурин стелет, печально, и как о незначащем:

– Ну... кое-что говорили и о вашем члене, о товарище Солженицыне.

Всё. Доклад кончен. «Кое-что». Очевидно – несерьезное.

Кто возьмёт слово? Матушкин. Слезает с подоконника старик, жмется. Дают ему 10 минут регламента. Я (предвидя, что и мне понадобится): – «Давайте больше, чего там!» Все (предвидя, что и мне понадобится): Нет, десять, десять!

Походя, с медленным разворотом, начинает Матушкин нападать на меня. (Текст известен.) Я строчу, строчу, а сам удивляюсь: как же они решились? почти уверен я был, что не решатся, и обнаглел в своей безнаказанности. Да нет, ясно вижу: им же это невыгодно, на свою они голову, зачем? Отняла им злоба ум.

Один за другим, без задержки, выступают братья-писатели: и обходительный Баранов, и простак Левченко, и чистая душа Родин, и тревожный лохматый Маркин. Маркин так явно колеблется даже в своем выступлении: «Не хочу я участвовать в этом маятнике – сейчас мы А.И. исключаем, потом принимать, потом опять исключать, опять принимать...» – и голосует *за* исключение. (Его б совсем немного поддержать, раньше мне выступить бы, что ли, – да вот как сошлось: добивался он два года комнаты – и завтра обещают ему ордер выписать. И Левченко сколько лет без квартиры. И Родин который год просится в Рязань – тоже не дают. И опыт показывает: так – крепче.)

Я: – Разрешите вопрос задать.

Не дают: нет! нельзя.

Я: – Стенографистки нет. Протокола не будет!

Ничего, им не надо!

Что-то разговорился этот брюхатый, победительный как Наполеон, я ему:

– Простите, кто вы такой, что здесь, на собрании писателей...

Он даже хохочет от изумления:

– Как – **кто**? Ха-ха! Не знаете? Представитель обкома!

– Ну, и что ж, что представитель? А – кто именно?

– Секретарь обкома.

– Какой именно секретарь? – не унимаюсь я.

Это даже омрачает ему радость выигранного сражения: что̀ за победа, если противник тебя и не узнаёт?

– По агитации.

– Позвольте, ваша фамилия как?

– Хм! Фамилии моей не знаете? – Явно оскорблен,

даже унижен: – Кожевников!!!

Ну-у-у! – действительно смешно, засмеялся б и я, да времени нет. По советским меркам это дико даже: он – отец родной всем рязанским деятелям идеологии, он – бессменно в Рязани, я – уже семь лет рязанский писатель и спрашиваю, кто он такой!.. Обидишься...

– Да, – назидает, – мы с вами никогда не виделись.

– Нет, виделись, – говорю, – просто у меня слабая зрительная память. – (Каких только шуток она со мной не играла.) – Мы виделись, когда я из Кремля приехал, рассказывал о встрече с Хрущевым, вы приходили послушать меня.

Как я прославился – он вызывал меня из школы по телефону, я ответил: устал, не могу. На мою славу прихрущевскую он послушно притопал, сел в уголке. Потом сколько было наставлений писателям – а меня всегда нет. (Правильно делают, что меня исключают: какой я, в самом деле, советский писатель, подручный партии?!) А год назад позвонил мне домой: – «Как вы относитесь, что «Советская Россия» вас нехорошо упоминает?» – «А я ее не читал». Изумился: «Слушайте, я по телефону вам прочту». – «Да нет, я так не умею». – «Приходите побеседовать». – «На тайное собеседование, в кабинет? не пойду! Собирайте всех писателей, гласно побеседуем». – «Нет, митинга мы не будем устраивать».

Ну, вот дождался, вот, у праздничка, оттого и сиянье такое.

Исключенье – решено, но как мне успеть всё записать? Вот и мне слово дают, а у меня и речь не готова, кое-как склеена, ни разу не прочтена. Только разошелся, кричат:

– Десять минут! Конец!!

– Что значит – десять? Вопрос жизни! Сколько надо – столько и дайте.

Матушкин, елейно-старчески: – Три минуты ему дать.

Вырвал еще десять. Пулеметной скоростью гнал: ведь только то, что успею *сказать,* только то и можно будет завтра по свету пустить, а что̀ за щекой останется, какое

б разящее ни было – не пойдет, не сразит. Ничего, за 20 минут наговорил много. Вижу – Маркин просто счастлив, слушает, как я их долблю, да и Родину через болезнь, через температуру, нравится: им самим приятно, что хоть кто-то сопротивляется.

А проголосовали – покорно.

И я, с удовольствием – против всей резолюции *в целом* (про меня – только пунктик там).

Разошлись веселые, кулуары, разговоры. Собрал я карандаши, рванулся – Таурин меня ловит, да обходительно, да сочувственно:

– Я вам очень советую, вы езжайте сейчас же в секретариат, именно завтра будет полный секретариат, **это в ваших интересах**!

Я: – Нигде в уставе не написано, чтобы в 24 часа исключать, можно и с разрядочкой.

(Про себя: мне б только слух успеть пустить, мне б «Изложение» скорей пустить, а тогда посмотрим, как вы будете заседать. Уверен я всё-таки был, что **без меня** нельзя исключать, – а можно! всё у нас можно!)

– Слушайте, – цепляется Таурин за рукав, – никто исключать вас не хочет! Вы только напишите вот эту бумажечку, единственное, чтò от вас требуют, вот эту бумажечку, что вы возмущены, что на Западе там...

Может быть, и правда, они рассчитывали? подарок к октябрьской годовщине?.. А без этого, ведь, совсем никакого смысла не было в исключении, только месть одна. Пока они меня не исключали, положение, казалось, в их пользу: стоит шеститысячная глыба, из сожаления не давит меня, а захочет – раздавит. А вот как исключат, да я цел – тогдà что?

Еще в коридоре ловил меня Маркин, громко просил прощения (это – по хорошему Достоевскому, еще несколько раз он будет каяться, плакаться, на колени становиться, и опять отрекаться, ему и правда тяжко, он душой и правда за меня, да грешное тело не пускает), – я скорей, скорей, и на переговорную. В Рязани я – в капкане, в Рязани

меня додушить не трудно, надо, чтобы вырвалась, вырвалась весть по Москве – и в этом только спасение. У нас в Рязани завели единственный междугородний автомат, и если он сейчас не испорчен... нет... и очереди нет... Набираю номер. Никого. Набираю другой. Не подходят. Куда же звонить? В «Новый мир»! – еще нет пяти вечера, еще не разошлись. Так и сделал. (Потом возникнет рабское истолкование: «За то и разогнали «Новый мир».)

Тогда, уже спокойный, воротился домой, сел записывать «Изложение». В 6 утра проснулся, включил по обычаю «Голос Америки», безо всякой задней мысли, и, как укололо:

«По частным сведениям из Москвы, вчера в Рязани, в своем родном городе, исключен из писательской организации Александр Солженицын!»

Я – подскочил! Ну, век информации! Чтобы так моментально – нет, не ожидал!!

Четыре раза в кратких известиях передали, четыре раза в подробных. Хор-рошо! Вышел в сквер заряжаться, когда нет еще никого на улице, смотрю: заметенный снегом, стоит грузовик с кузовной надстройкой уже на другой слежке мною однажды замеченный, а в темной кабине сидят двое. Прошел мимо их кабины близко, оглядел; они без радио, не знают, что уже упустили.

Однако и тревожно: не *схватят* ли меня? Чуть отъедешь от Москвы – глухой колодец, а не страна, загородить единственный продух ничего не стоит.

С предосторожностями отправил один экземпляр «Изложения», спасти. [11]

Рассвело, раздернул занавеси – и с уличного щита мой затаённый Персонаж бойко, бодро глянул на меня из-под кепочки. Да не писалось мне больше о нем, и в том была главная боль – от таких оторвали страниц! (С тех пор полтора года прошло – а всё не вернусь. Персонаж мой за себя постоять сумел.)

В рязанском обкоме переполошились! оказывается: «Би-Би-Си уже передаёт, что Солженицына исключили! Ясно, что у них в Рязани есть агентура, следят за нашей

идеологической жизнью и моментально передают в Лондон!» И догадались: посадить того же бездомного Левченко к телефону и на все звонки из Москвы отвечать, что он – посторонний, ничего не знает, никого не исключали. Западные корреспонденты, действительно, звонили, наскочили, поверили – и начались по западному радио опровержения. А в этот же самый день 5 ноября, секретариат РСФСР меня-таки исключил, управился и без меня!

Я этого сам еще два дня не знал и кроме «Изложения» ничего больше не собирался писать и распространять. Лишь когда узнал, – заходил во мне гнев, и сами высекались такие злые строки, каких я еще не швырял Союзу советских писателей – это само так получалось, это не было ни моим замыслом, ни моим маневром. (Замысел был лишь спопутный: защитить угрожаемых Лидию Чуковскую и Копелева. Они хорошо воткались в текст – и, кажется, защита удалась: замялась чёртова сотня.)

«Изложение» я отправил в Москву вперед себя, а сам в Рязани еще пытался работать над моим Персонажем, но уже утерян был покой и вкус, а строки грозного письма шагали по-солдатски через голову, выколачивались из груди к бою. Кончились ноябрьские праздники, посвободнели поезда – и я поехал в Москву. Еще не думал, что это, – навсегда. Что жить мне в Рязани уже не судьба, исключеньем закрыли, забили мне крест-на-крест Рязань. (А как еще приезжал туда по беде, подходил к столу – а через окно-то, с уличного щита, всё так же щурился на меня в кепочке Персонаж – так и проторчал он, год и другой, во все непогоды, перед моим покинутым окном – есть незавидность в избыточной славе. Я опять уехал, он опять остался.)

А уж в Москве-то меня Трифоныч дождаться не мог! (Мы еще тем были сближены нежно, что в октябре он прочел двенадцать пробных глав самсоновской катастрофы и остался ими сверх-доволен, очень хвалил и уже редакторски предсмаковал, как я кончу – и всё будет *проходимое,* патриотическое, и уж тут нас никто не остановит, и на-

печатается Солженицын в «Новом мире», и заживем мы славно! Ведь не говорил же я ему, какие еще будут в «Августе» шипы. Никак не мог он принять и поверить, что открытый им, любимый им автор – *непроходим* навеки...) Накануне Твардовский настаивал, чтобы я скорей приехал: ему надо говорить со мной **больше даже о себе, чем обо мне**. (Опять эта тема, опять эта разбережённость, как и после чтения «Круга»!..)

11 ноября я пришел в редакцию прямо с поезда. Вся редколлегия сидела в кабинете А.Т., перед кем-то лежало моё «Изложение», они только-что вслух его прочли и обсудили. Все, как по команде, поднялись и оставили нас вдвоем (это так уж повелось, черта иерархии, никогда не ждали, чтоб А.Т. сказал: «мы наедине хотим поговорить»). Заказал А.Т. чай с печеньем и сушками – высшая форма новомирского гостеприимства.

Предполагая Трифоныча на низшем гражданском градусе, чем он был, я стал объяснять ему, почему не мог успеть на секретариат, что они даже и вызова мне не прислали, а косвенное извещение, и то поздно. Но, оказывается, в этом А.Т. не надо было убеждать: он и для себя считал презренным там быть, не пошел. (Слухи-слухи! Слух по Москве: он *был* и яростно меня защищал.)

Он вот что, он с тревогою (и не первый раз!) – о западных деньгах: неужели правда, что я получаю деньги за западные издания романов?

Заклятая советская анафема: кто думает *не так*, обязательно продался за вражеские деньги; если советских не платят – умри патриотически, но западных не получай!

Я: не только за романы, пришло за «Денисовича» от норвежцев – и то пока не беру. Просто, сволота из СП не может представить, что доступно человеку прожить и скромно.

Сияет А.Т. Хвалит «Изложение». Но опять же: как могло получиться, что уже вчера «читатели-почитатели» ему приносили это самое «Изложение»?

– *А я – пустил.*

Он отчасти напуган: как же можно? ведь разъярятся! (т.е., *наверху*).

А у меня в портфеле уже томится, своего часа ждет, готовое «Открытое письмо» секретариату. И ведь вот же: распа̀хнут, расположен А.Т., однонастроены мы! – а показать ему боюсь, по старой памяти об его удерживаниях и запретах. Всё-таки подготовлю:

– А.Т.! Вы меня любите, и хотите мне добра, но в советах своих исходите из опыта другой эпохи. Например, если бы я в свое время пришел к вам советоваться: посылать ли письмо Съезду? распускать ли «Раковый Корпус» и «Круг»? – вы бы усиленно меня отговаривали. – (Мягко сказано... стекло настольное об меня бы разбил.) – А ведь я был прав!

Старое-то приемлется. Но о новом – не смею. Просто:

– Поймите. Так надо! Лагерный опыт: чем резче со стукачами, тем безопаснее. Не надо создавать видимости согласия. Если промолчу – они меня через несколько месяцев тихо проглотят – по «непрописке», по «тунеядству», по ничтожному поводу. А если нагреметь – их позиция слабеет.

Он: – Но на что вы надеетесь? Все эти «читатели-почитатели» только играют в поддержку. Лицемерно вздыхают о вашем исключении и тут же переходят на другие темы. Я верю, что вы не позу занимаете, когда говорите, что готовы к смерти. Но ведь – бесполезно, ничего не сдвинете.

Если память не изменяет – не первый раз мы уже на этом брёвнышке противовесим. Только сегодня – без горячности, с грустным благожелательством. Да больше: такой сердечности, как сегодня, не бывало у нас сроду. Нет, сердечность бывала, а вот р а в е н с т в а такого не бывало. Впервые за 8 лет нашего знакомства действительно как с равным, действительно как с другом.

Я: – Если так – пусть так, значит жертва будет пока напрасна. Но в дальнем будущем она всё равно сработает. Впрочем, думаю, что найдет поддержку и сейчас.

(Да, я так думал. Меня избаловала поддержка ста писателями моего съездовского письма. С обычным для меня перевесом оптимизма, предчувствием успеха, где его нет, я и сейчас ожидал массового писательского движения, борьбы, может быть выхода из СП. А его – не получилось. Не было никакого настоящего гнёта, не было арестов, не было громов, – но усталые люди потеряли всякий порыв сопротивляться. С разной степенью громкости и резкости написали протесты 17 членов СП, да восемь – сходили Воронкова пугать, потом их по одному тягали в ЦК на расправу.)

А.Т.: – Сейчас идет отлив, обнажаются коряги, водоросли, безобразная картина.

Я: – *Где была вода – там и будет.*

А – разговор о нём, о Трифоныче? Наконец, и он. Для меня потеря СП – формальность, и даже облегчающая, на Твардовского находит трагедия бо̀льшая, ибо – души касается: подходит неизбежное время покидать ему своё детище, «Н.мир». И в моем исключении он видит последний к тому толчок. А предпоследний: звонил инструктор ЦК, хочет приехать «подрабатывать» состав редакции (почему? никто его не звал; видимо – Лакшина, Хитрова, Кондратовича выталкивать).

Как вдумчивые верующие люди всю жизнь, и в высший час ее, размышляют о своей грядущей, неизбежной смерти, так сколько раз уже, сколько раз А.Т. заговаривал со мной о своей отставке – еще когда мне только не дали ленинской премии, еще когда мы все казались на гребне хрущевской волны. И всякий же раз, и сегодня особенно энергично (обойдя со стулом его большой председательский стол и к его креслу туда, рядом) убеждал я его: «Н. мир» сохраняет культурную традицию, «Н. мир» – единственный честный свидетель современности, в каждом номере две-три очень хороших статьи, ну пусть одна – и то уже всё искуплено, например вот лихачёвская «Будущее литературы», – А.Т. сразу повеселел, встряхнулся, с удовольствием поговорили о лихачёвской статье. А от чего приходится отказываться!

– например, есть воспоминания участника сибирского крестьянского восстания 1921 года. («А дадите почитать?» – «Дам». – Вот тут мы – не разлей, как и начинали с «Денисовича».)

– Но, – твердил А.Т., – я не могу унизиться править Рекемчука. Я стоял, сколько мог, а теперь я шатаюсь, я надломлен, я сбит с копыльев.

Я: – Пока стоите – еще не сбиты! Зачем вы хотите поднести им торт – добровольно уйти? Пусть эту грязную работу возьмут на себя.

Договорились: если не тронут Лакшина-Хитрова-Кондратовича – он стоит, если снимут их – уходит.

Прощался я от наперсного разговора, – а за голенищем-то нож, и показать никак нельзя, сразу всё порушится. Бодро:

– Александр Трифоныч, в общем, если вынудят меня на какие-нибудь резкие шаги – вы не принимайте к сердцу. Вы отвечайте им, что за меня головы не ставили, я вам не сын родной!

Еще и к Лакшину зашел, для амортизации:

– Владимир Яковлевич! Прошу вас: сколько сможете, смягчите А.Т., если...

Неуклонным взглядом через молодые очки смотрит Лакшин. Кивает.

Нет, не сделает. У него – своя проблема, своё уязвимей. Неужели же в такую минуту наперекор становиться разгневанному А.Т.? Направленье моё – не его, я ему не союзник.

На другой день, с опозданием в неделю – удар! Секретариат объявил свое решение.

И я без колебаний – удар! Только дату и осталось вписать. Рас-пус-каю!!! 12

Борис Можаев (прекрасно вёл себя в эти дни, как и во все тяжелые дни «Нового мира») со всем своим внутренним свободным размахом ушкуйника, за годы привык искать и гибкие выходы, держит меня за грудки, не пускает: нельзя посылать такое письмо! зачем рубить канаты? не лучше ли формально обжаловать решение секретариата

РСФСР в секретариат СССР, пойти туда на разбирательство?

– Нет, Боря, сейчас меня и паровозом не удержишь!

Смеется:

– Ты как задорный шляхтич, лишь бы поссориться.

А по-моему вот это и есть самое русское состояние: размахнуться – и трахнуть! В такую минуту только и чувствуешь себя достойным сыном этой страны. Разве я смелый? – я и есть предельный боязливец: «Архипелаг» имею – молчу, о современных лагерях сколько знаю – молчу, Чехословакию – промолчал, уж за это одно должен сейчас себя выволочить. Да правильно сказала Лидия Корнеевна о политических протестах:

– Без этого не могу главного писать. Пока этой стрелы из себя не вытащу – не могу ни о чем другом!

Так и я. При всеобщей робости и не хлопнуть выходною дверью – да что я буду за человек! (Кому надо оправдаться, такой встречный слух распустят: он сам своей резкостью помешал за себя заступиться – мы только-только собирались, а он хлопнул и всё испортил. Если уж «классовую борьбу» обсмеял – действительно, не подступишься. Да ведь всё отговорка – кто хотел, тот раньше успел.)

А послал – и как сразу спокойно на душе. Хотя в тот день гнали за мной по московским улицам двое нюхунов-топтунов, – мне казалось: за город, в благословенный приют, предложенный мне Ростроповичем (в самом сердце *спецзоны,* где рядом – дачи всех вождей!), за мной не ехали. Здесь (хоть уже и *газовщики,* и *электрики* приходили какие-то) кажется мне: я скрылся ото всех, никому не ведом, не показываюсь, по телефону не звоню. Пусть там бушует мое письмо, а здесь так исцелительно, тихо – и так ясно работает радиоприёмник, лови своё отраженное письмо и еще устаивайся на сделанном. Да и работать же начинай.

Не помню, кто мне в жизни сделал бо̀льший подарок, чем Ростропович этим приютом. Еще в прошлом, 68-м году, он меня звал, да я как-то боялся стеснить. А в этом – нельзя было переехать и устроиться уместней и свое-

временней. Что̀ б я делал сейчас в рязанском капкане? где бы скитался в спертом грохоте Москвы? Надолго бы еще хватило моей твёрдости? А здесь, в несравнимой тишине *спецзоны* (у них ни репродукторы не работают, ни трактора) под чистыми деревьями и чистыми звёздами – легко быть непреклонным, легко быть спокойным.

Не первый раз стучится Ростропович в переплет этих очерков. Но – невозможно: уже не держит вещь, и без того взбухла, в Ростроповиче жизни и красок на десятерых, жаль описывать его побочно.

В ту осень он охранял меня так, чтоб я не знал, что земля разверзается, что градовая туча ползет. Уже был приказ посылать наряд милиции – меня выселять, а я не знал ничего, спокойно погуливал по аллейкам.

Иногда беспечная близорукость – спасение для сердца. Иногда борони нас, Боже, от слишком чуткого предвидения.

Впрочем, на случай прихода милиции у меня была отличная защита придумана, такая ракета, что даже жалко – запустить не пришлось.

Хранил я надежду, что раз я «не Западу жаловался» и раз А.Т. «на одном поле не сел бы.....» с тем секретариатом, – вдруг и это последнее мое письмо встретит он благоприятно? Вот открывалась бы подлинная дорога к пониманию!

Но слишком многого захотел я от Твардовского! Он и так уже в своей перестройке, развитии, приятии и понимании отдался крайнему взлету качелей, – а моё письмо, такое грубое по отношению к священной классовой борьбе, и с объявленьем «тяжелой болезни» самого передового в мире общества, – рывком реальной тяжести поволокло, поволокло его вниз и назад.

Было буйство в редакции, стулья ломал, кричал: «Предатель!!» «Погуби-и-ил!!!» (т.е. «Новый мир» погубил...). Конечно – «Вызвать!!», конечно – меня нет и «никто не знает». Схватился звонить Веронике Туркиной, набросал кучу оскорблений заодно и е й, она тихо слушала и только осмелилась:

– А.Т.! Но что̀ пишет А.И. – ведь это всё правда.

– Не-е-ет! – заревел он в телефон. – Это – **антисоветская листовка**! это – ложь! И я **доложу куда следует**!!

Не он выкрикивал те несчастные слова, а наша низменная природа 30-х годов, угнетенно-приученный советский язык, верноподданный сын, который «не отвечает за отца». Я распространил *открытое* письмо, а он, бедняга – *доложит,* куда следует.

Потянуло Веронику на беду пойти в редакцию, мутно-угодливый Сац увидел ее и побежал донести А.Т. предположительно, что она пришла «распространять письмо Солженицына» по редакции – в их лбы не помещалось, что «первый этаж» журнала вообще читает самиздатское прежде «второго этажа». И Твардовский стал вымещать свой гнев на Веронике: «Кто ее сюда пускает? Кто даёт ей рецензии?» (она подрабатывала у них). «Не давать!».

И какие-то произошли у него переговоры с СП, где Твардовский от меня отрекался, и какие-то с Дёмичевым (а тот – пугал, надеясь, видимо, через А.Т. остановить меня от распространения). Вчера готовый покинуть «Новый мир» – нет, Твардовский не был еще готов, он еще топырился по-курячьи в надежде отстоять своё детище от коршунов. Косвенный телефонный звонок нашел меня на даче Ростроповича: А.Т. в очень тяжелом состоянии! требует меня! готов ждать до ночи!

А разве я – облегчу? Если приеду и еще раз поругаемся – кому станет легче? Всё равно письмо уже пошло̀. И не откажусь я от него. И я не санитарная команда. Я – прячусь от ГБ. Не хочу мельтешить по Москве и хвосты сюда приводить.

Не поехал.

Через несколько дней после спада его гнева послал ему смягчительное письмо: «...Сейчас эпоха другая – не та, в которую Вы имели несчастье прожить большую часть Вашей литературной жизни, и навыки нужны *другие*. Мои навыки – каторжанские, лагерные. Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу и обязан *не больше*,

чем русской каторге, я воспитался *там* и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный шаг, я прислушиваюсь прежде всего к голосам моих товарищей по каторге, иных уже умерших, от болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на моем месте.

...Этим письмом я: 1) показал, что буду сопротивляться до последнего, что мои слова «жизнь отдам» – не шутка; что и на всякий последующий удар отвечу ударом, и может быть посильнее. Итак, если умны, то остерегутся, трогать ли меня дальше. В такой позиции я могу обороняться независимо от позиции «литературной общественности»; 2) использовал неповторимый однодневный момент: я *уже* свободен от устава и терминологии и *еще* имею право к ним обратиться; а секретариат – очень удобный адресат; 3) всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъём с колен, постепенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот письмо Съезду, а теперь это письмо были такими моментами **высокого наслаждения, освобождения души**...».

А Твардовский и сам постепенно смягчался. Жесткий мах качелей кинул его назад, отпускал же и снова вперед. Говорил, вздыхая: «Да, он имел право так написать: ведь он в лагере был, когда мы сидели в редакциях». И... перечитывал «Ивана Денисовича». (Уже верный год он писал мемуары, и в них обо мне. А я – о нем. Такие вот прятки.)

Три месяца мы не встречались, тоже была детская игра. На редакцию приходила мне часть поздравительных писем ко дню рождения, потом к новому году. Он не велел их пересылать, и когда я попросил Люшу Чуковскую забрать у него те письма – не дал: «Не обязательно ко мне лично, но должен *сам* придти за письмами». Почему – сам? Да потому что помириться хотелось. О, трудно ему!.. (А я поздравлял его и редакцию так: писал под Москвой, везли в Рязань, а там – в почтовый ящик. Де, может, я все-таки в Рязани, оттого не являюсь.)

Игра-то игра, но меня настигли новые тревоги: не давая взнику налетела опасность, пожалуй страшней предыдущих

всех: необъяснимым путем вырвался в «Ди Цайт» 5 декабря отрывок из «Прусских ночей» и обещалась вскоре вся поэма! Это удалось остановить, потому что с осени, спасибо, я обзавелся адвокатом на Западе. (Да ведь и адвоката надо бы Твардовскому объяснять: почему взял, не посоветовался? почему – буржуазный? *Так не делают!*) Но тут слух пришел, что и в Москве поэму уже *читают*. Я кинулся со следствием по Москве, разъяснилось: некие добродеи из членов же СП, считавшие опасным меня защищать, *для меня* после исключения считали уже не опасным ничто – и решили... распространять «Прусские ночи»!*

За этими тревогами и за своим углубленьем в Р-17, я проглядел, не заметил издали, как собиралась гроза над Твардовским и «Новым миром». Верно чувствовал А.Т.: **душенье** не было эпизодом, оно было рассчитанной кампанией.

В «Посеве», родственнике «Граней», появилась (хотя совсем по Самиздату не ходила) злосчастная, недописанная, ни властями ни публикою не принятая, поздняя гордость и горечь автора – его поэма «По праву памяти». Потрясен, обескуражен, удручён был А.Т. – вот уж не хотел! вот уж не ведал! вот уж не посылал! да даже и не распускал!

В январе 70-го г. стали его дёргать *наверх*, требовать объяснений, негодований и отречений, как полагается от честного советского писателя, – да он и не против был, но одного отречения уже мало было властям, просто так отречения они уже и помещать не хотели, им надо было разгромить ненавистный журнал. Сколько лет и месяцев текла у них слюна на эту жертву! Сколько месяцев и недель обормоты и дармоеды из агитпропа потратили на соста-

---

* Я считал, что подавил поэму и в Самиздате и в «Цайт», и не дал ГБ её понюхать. Много позже как же я поразился, узнав: «Цайту» поэму предложил... агент ГБ, я еще назову его! Т.е., ГБ *тотчас* получила поэму, лишь только стали ее читать московские литераторы. Но – странно растерялась, но – не нашла путей, как меня ударить.

(Примечание 1974 г.)

вление планов, на манёвры, атаки и обходы! – засушенные мозги их не замечали, что уже рушилась вся их эпоха целиком, все пятьдесят междуэтажных перекрытий, – они жадали вот эту одну лестничную площадку захватить. Разливался по стране свободный Самиздат, уходили на Запад, печатались там русские романы, возвращались на родину радиопередачами, – этим плеснякам казалось: вот эту одну супротивную площадку захватить – и воцарится, как при Сталине, излюбленное хоровое единомыслие, не останется последнего голоса, кто б мог высмеивать их.

Твардовскому, теперь ослабленному своей виною – что поэма-то стала **оружием врага**! – опять как весной минувшего года стали предлагать сменить редколлегию – одного члена, двух, трех, четырех! Чтоб усилить нажим – на каком-то из бессчетных писательских пленумов выступил некий Овчаренко – лягавый хваткий волк (только фамилия пастушья), и назвал Твардовского *кулацким поэтом*. А Воронков **каждый день**, как на службу, **вызывал** к себе этого поэта на собеседование, – и подавленный, покорный, виноватый Твардовский ехал на вызов. **И этого самого Овчаренко** ему предложили взять в редакцию!.. (Выворот 30-х годов!)

Тут, перед концом, особенно больно проявилось, что либеральный журнал* был внутри себя построен так же чиновно, как и вся система, извергавшая его: живя извечно в номенклатурном мире, нуждался и Твардовский внутри своего учреждения отделить доверенную номенклатуру (редакционную коллегию) от прочей массы. А «масса»-то была в «Н. мире» совсем не обычная: здесь не было просто платных безразличных сотрудников, работавших за деньги, здесь каждый рядовой редактор, корректор и машинистка

---

* Лакшин, по традиционным интеллигентским меркам, обижался: «наш журнал не *либеральный,* а *демократический*», т.е. гораздо *левей*. Как ни парадоксально, он был *октябристским,* но не в бандитском кочетовском смысле, а в терминологии предреволюционной России: они хотели, чтоб именно *этот* режим существовал, лишь придерживаясь своей конституции.

жили интересами всего направления. Но как в хорошие дни не разделяли с ними заслуг Главный редактор и его ближайшие, так и теперь в горькие не приходило им в голову хоть не таить, как дела идут, не то, чтобы всех собрать: «Друзья! Мы с вами 12 лет работали вместе. Я не ставлю на голосование, но важно знать, как думаете вы: если нескольких членов редколлегии заберут – оставаться нам всем или не оставаться? вытянем – или нет? Мне – уходить в отставку или ждать, пока снимут?» Нет! Рассеянно отвечая на поклоны, молча проходил Твардовский в кабинет, стягивались туда члены коллегии, и за закрытыми дверьми часами обсуживались там новости и планы, и с каждого слово бралось – не разглашать! А рядовые редакторы, всё женщины, чья личная судьба решалась не менее, и не меньшим же было щемленье за судьбу журнала, – собирались в секретарскую подслушивать голоса через дверь, ловить обрывки фраз и истолковывать их. Кому-нибудь из писателей в дачном посёлке Твардовский открывал больше – и от этого писателя вызнавали потом в редакции.

Разносился по Москве слух, что топят «Новый мир» – и всё больше авторов стекалось в редакцию, заполнены были и комнаты, и коридоры, «вся литература собралась» (да если вообще *была* советская литература – так только тут), писатели – во главе с Можаевым, стали сколачивать коллективное письмо опять тому же Брежневу, да всё равно судьба того письма, как и тысяч, была остаться неотвеченным. А редколлегия сторонилась этих писательских попыток! – состоя на честной службе, она не могла участвовать в открытом бунте, даже жаловаться с перескоком инстанций.

В такой день, 10 февраля, когда уже решено было снятие Лакшина-Кондратовича-Виноградова, пришел и я в это столпотворение. Все кресла были завалены писательскими пальто, все коридоры загорожены группами писателей. А.Т. у себя в кабинете (когда Косолапов здесь на стене прибьёт барельеф Ленина, – тогда станет ясно, *чего не хватало* у Твардовского) сидел трезво, грустно,

бездеятельно.* Это первая была наша встреча после ноябрьской бури. Мы пожали руки, поцеловались. Я пришел убеждать его, что пока еще остаются, считая с ним вместе, четверо членов редакции – можно внутри редакции продолжать борьбу, еще 2-3 месяца пойдут приготовленные номера, лишь когда надо будет подписать уже совсем отвратный номер – тогда и уйти. А.Т. ответил:

– Устал я от унижений. Чтоб еще сидеть с ними за одним столом и по-серьезному разговаривать... Ввели людей, каких я и не видел никогда, не знаю – брюнеты они или блондины.

(Хуже: они даже писателями не были. Руководить литературным журналом назначались люди, не державшие в руках пера, Трифоныч был прав, да я б на его месте еще и раньше ушел, – а предлагал я в духе того терпенья, каким и жили они все года.)

– Но как же так, А.Т., *самому* подавать? Христианское мировоззрение запрещает самоубийство, а партийная идеология запрещает отставку!

– Вы не знаете, как это в партии принято: скажут *подать* – и подам.

Более настойчиво и более уверенно я убеждал его не отрекаться от западного издания своей поэмы, не слать ей хулы. Я не знал: уже отречено было! – и, напротив, как милости и прощения ждал А.Т., чтоб *не отказались* его отречение напечатать в газете... (Бедный А.Т.! Не станет злопамятности напомнить ему, как «*наверно я сам*» отдал «Крохотки» в «Грани» – иначе как бы они появились?..) Ни того отречённого письма, ни письма Брежневу (написал: «Я – не Солженицын, а Твардовский, и буду действовать иначе». И очень жаль, на этом пути не выиграешь...) он мне не показал – «копий нет». (Чего-то стыдился в них передо мной.)

---

* Бездеятельно, если б не так ужасно курил – одну за другой, одну за другой грубые сильные сигареты.

И всё-таки, полузастенчиво и с надеждой:

– А вы поэму мою не читали?

– Ну как же! Вы мне подарили, я читал...

(А сказать-то ничего не могу, не хочу – да еще в такой день...)

Он чувствует: – Вы не последнюю редакцию читали, она потом лучше стала...

(Боюсь, что последнюю...)

Опять беспокоился, не живу ли я на западные деньги, и тем себя мараю. В который раз предлагал своих денег.

Подбодрял я его:

– Ну что ж, вы своё отбухали, теперь будете отдыхать. Вот приедем за вами с Ростроповичем, заберем вас в его замок, дам вам т у книгу свою почитать.

(Под потолками не скажешь: «Архипелаг».)

Даже сиял, нравилось ему.

Высказал очень странное:

– Вòт у вас есть и *повод,* почему вы сегодня пришли в редакцию: вам надо было получить свои новогодние письма.

Это – не в виде укора, не подцепить, а – какое-то затмение, надвинутое из 37-го года.

– Да чтò вы, А.Т.! Какой **повод**? Перед кем?

– Ну, – потупленно говорил А.Т., – если вас станут спрашивать, почему в такой день...

– Меня, Александр Трифоныч! Да уж я-то в своем отечестве ни перед кем не отчитываюсь!

Или не знал, что все коридоры 1-го этажа забиты авторами?..

А вот что было трогательное.

– А.Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие. Сегодня – день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью. (– И годовщина суда над Синявским-Даниэлем. Но этого ему не надо говорить. –) И в эти же дни вас разгромили...

Он вдруг очень от души:

– А вот хотите мистику? Сегодня ночью я не спал.

Выпил кофе, потом снотворное, заснул тревожно. Вдруг слышу приглушенный, но ясный голос Софьи Ханановны (секретарша А.Т.): «Александр Трифоныч! Пришел Александр Исаич». И так именно днем произошло.

Очень меня это тронуло. Значит, сегодня он приехал с такой надеждой. Который раз он проявлял, насколько наши нелады ему тяжелее...

В этот день всё ожидалось, что̀ будет в завтрашней «Литературке», и агенты приносили разные сведения: то – *идёт* отречное письмо А.Т., то *не идёт;* то – будет подтасовка, что он согласен с переменами в редакции, то – не будет.

Изменила б «Литгазета» своему характеру, если бы не сжульничала. На другой день и подтасовка была конечно, и невозвратное объявление о выводе четырех членов редколлегии, и – письмо А.Т., которого уже истомился он ждать в печати, но чести оно принесло ему мало:

«...моя поэма... абсолютно неизвестными мне путями, разумеется, помимо моей воли... в эмигрантском журнальчике «Посев»... искаженном виде... Наглость этой акции... беспардонная лживость... провокационное заглавие... *будто бы* она «запрещена в Советском Союзе». А разве же – не запрещена? А разве не спрашиваете вы друзей: «читали мою поэму?» А разве это письмо – откроет ей печатанье в СССР?

И – за что заплачена цена? За то, что разогнали вашу редакцию, Александр Трифонович?..

Сломали...

Перейдена была мера унижений, мера стойкости, и 11 февраля Твардовский подписал, столько лет из него выжимаемое: «прошу освободить»...

И еще мы не знали: в это самое 11-е вызвали его на «совещание членов Президиума Комеско» – ну, наших обязательных представителей в угодливой вигорреллевской организации, которая теперь на дыбки всё же поднялась из-за меня. И Твардовский – за что платя теперь, сегодня? – подписал продиктованное заявление об уходе с вице-

председателя «Комеско» – т.е. сдал еще одну позицию, сдал себя и меня, хоть и безвредно. И с самым искренним чувством обнял меня на следующий день, не упомянув об этом, да даже и не понимая. Ведь если партия указывает – надо подписывать.

12-го был я в редакции вновь. Уже всё было другое – у редакции не ожидание судьбы, у писателей – не попытка к бою. Чистили столы. Во множестве нахлынули авторы, забирали свои рукописи (потом иные вернут). Другие рукописи рвались в корзины, в мешки, и в бумажках рваных были полы. Это походило на массовый арест редакции или на высылку, эвакуацию. Там и здесь приносили водку, и авторы с редакторами распивали поминальные. Однако в кабинет А.Т. писателям, как всегда, не было открытого доступа. Несколько их с водкою и колбасой пошли в кабинет Лакшина и просили позвать Трифоныча, но от имени А.Т. Лакшин извинился и отказал. Уже и снятому Главному было неприлично вот так непартийно появиться среди недовольных авторов.

В кабинете я застал А.Т. опять одного – но на ногах, у раскрытых шкафов, тоже за сортировкой папок и бумаг. Сказал он, что испытывает облегчение оттого, что заявление подал. Я согласился: уже оставаться было нельзя. Но вот во вчерашнем письме фраза... (если б только одна!)... Поэму **будто бы** запретили?

Трифоныч стал живо возражать, даже ахнул, как я слабо разбираюсь (ахнул, потому что чувствовал промах):

– Это вы не поняли! Это очень тонкая фраза. Из-за неё-то письмо и **не хотели печатать**! Ведь я объявил по всему Советскому Союзу, что существует вот такая поэма и её держат.

Я не искал переубеждения, избегал обострения.

Упомянул про его близкое 60-летие. Он подсчитал, что вел «Н. мир» в два приёма целых 16 лет, а ни один русский журнал никогда не существовал больше десяти.

– Еще до семидесяти, А.Т., вполне можете писать! – утешал я.

– Да Мориаку – восемьдесят пять, и то как пишет! – Покосился: – Бунин вот, в жизни никого не хвалил, кроме Твардовского, а Мориака похвалил.

А вот и зёрнышко:

– А.Т.! Крупным-то ничего: Лакшину, Кондратовичу, им уже устроили посты, будут деньги платить. А мелким что делать?

– Виноградову? Да он еще лучше устроится.

– Нет, аппарату.

Не расслышал. Не понял! Как тогда с «Вехами» – просто не понял, понятия такого – «аппарат», еще 20 человек, которые...

– Авторам? Они в «Новом мире» не будут печататься.

Правда, на следующий день, 13-го, А.Т. начал обход всех комнат трех этажей, где и не бывал никогда: он шел **прощаться**. Он еле сдерживал слёзы, был потрясён, растроган, всем говорил хорошие слова, обнимал... – но почему *прежде* никогда не собрал все свои две дюжины? И почему сегодня **не боролись**, а так трогательно, так трагично-печально **сдавались**?*

Потом члены редколлегии выпили в просторном кабинете Лакшина, посидели, уехали. А мелкой сошке всё не хотелось расходиться в последний день. Скинулись по рублю, кто-то и из авторов скромных, принесли еще вина и закуски, и придумали: а пойдем в кабинет Твардовского! Уже темно было, зажгли свет, расставили тарелки, рюмки, расселись там, куда пускали их изредка и не вместе – «они нас бросили». За стол Твардовского никто не сел, поставили ему рюмку: «Простим ему неправые гоненья!..»

---

* Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками – и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! – тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота – и практическая беспомощность, и непоспеванье за веком. Еще и – аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот – и лучше понял каждого из них.

На другой день ждали прихода нового Главного. А – нет, и это снова по-советски! – бумажка, заложенная в заглот аппарата, почему-то сразу не пошла. В таком темпе душили час за часом – и вдруг ослабли руки, и замерло. Всего-то из пяти соседних комнат надо было секретарям СП сбежаться и постановить – но, видимо, не поступило верховного телефонного согласования, и заела машина, и все замерли по кабинетам, – и Твардовский в своём, на Пушкинской площади, ожидая приговора. И так потекли дни, и вторая неделя – Твардовский приезжал, трезвый, тревожный, ожидал телефонного звонка, входа, снятия – не звонили, не шли... Наконец, и сам он звонил, ускоряя удар – но уж как заколодит нечистую силу, так нет ее! – скрывался Воронков, не подходил к телефону, эта техника у советских бюрократов высочайше поставлена: легче к ним на крыльях долететь и крышу головой прошибить, чем по телефону от секретарей дознаться: есть ли он на свете вообще, когда̀ будет, когда можно позвонить? И в один вечер, когда уже Твардовский ушел, а секретарь его еще присутствовала (и наверное ж точно высчитав момент!), Воронков позвонил сам, в игриво-драматическом тоне: «Уже ушел? Ах, как жалко... Ведь он, наверно, на меня обижается... А ведь это не от меня зависит. Я всё послал в Центральный Комитет. А сам я – что̀ могу? Без Центрального Комитета я ни бэ, ни мэ». – И довольно верно поняли в редакции: Воронков зашатался, может быть и *слетит,* не так *провернул.*

Решенье повисло, решенье могло и не состояться. Хотя такие тягостные оттяжки под секирой – не лучшие поры для размышлений, а выдалось всем подумать: если Твардовского не снимут, так может журнал еще существует? Твардовский есть – так есть и журнал? можно остаться и бороться? Но поскольку о снятии Лакшина, Кондратовича, Виноградова уже было напечатано в газете, это, по советским понятиям, невозвратимо, невосстановимо, ибо самая драная желто-коричневая советская газетка не может ошибиться. Бывшие заместители Твардовского уже ходили на свои

новые должности, но каждый день бывали и здесь, – и в этом новом положении выяснилось, что любимцы А.Т., его заместители, не хотят, чтобы Твардовский вдруг остался бы без них: «Н. мира» без себя они не мыслили.

Можно гибнуть по-разному. «Новый мир» погиб, на мой взгляд, без красоты, с нераспрямленной спиной. Никакого даже шевеленья к публичной борьбе, когда она уже испробована и удаётся! Уж не говорю: ни разу не посмели, еще при жизни журнала, пустить в Самиздат изъятую цензурой статью или абзацы, как сделала с «Мастером» Е.С. Булгакова. Скажут: погубили бы журнал. Да ведь всё равно погубили, к тому уже шло, уже горло хрипело, – а всё бы не на коленях! В эти февральские дни – ни одного открытого письма в Самиздат (а потому что – риск для партийных билетов и следующих служб отрешенных членов?), робость даже в ходатайствах по команде, два унизительных письма Твардовского в «Лит. газету». Хуже того: Твардовский и Лакшин не брезгливо посетили ничтожный писательский съезд РСФСР, проходивший вскоре. Твардовский пошел и сел в президиум, и улыбался на общих снимках с проходимцами, как будто специально показывая всему миру, что он нисколько не гоним и не обижен. (Уж пошел – так **выступи**!) А Лакшин таким образом внешне отметился в верноподданстве, в кулуарах же ловил новомирских авторов и убеждал забирать свои рукописи назад.

Вот это направление усилий старой редакции было неблагородно. И вообще-то нельзя вымогать жертв из других, можно звать к ним, но прежде того и самим же показав, как это делается. Уходящие члены редколлегии – не сопротивлялись, не боролись, оказали покорную сдачу, кроме Твардовского – и не пожертвовали ничем, шли на обеспеченные служебные места, – но от всех остальных после себя ожесточённо требовали жертв: после нас – выжженная земля! мы пали – не живите никто и вы! чтобы скорей и наглядней содрогнулся мир от затушения нашего светоча: все авторы должны непременно и немедленно уйти из

«Нового мира», забравши рукописи, кто поступит иначе – предатель! (а где ж печататься им?) весь аппарат – редакторы, секретари, если что хорошее попытаются сделать *после нас* – предатели! тем более члены коллегии, еще не исключенные – должны немедленно подать в отставку, уйти любой ценой! (выходом из СП? гражданской смертью? Повинуясь этой линии, 60-летний тяжело больной Дорош подал заявление, не отпускали – предатель!).

Но если весь новомирский век состоял из постоянных компромиссов с цензурой и с партийной линией, – то почему можно запрещать авторам и аппарату эту линию компромиссов потянуть и подолжить, сколько удастся? Как будто огрязнённый «Новый мир» становится отвратнее всех других, давно грязных, журналов. Не сумели разгрома предотвратить, не сумели защитить судно целым – дайте ж каждому в обломках барахтаться, как он понимает. Нет! в этом они были непримиримы.

А потому что, как это бывает, свою многолетнюю линию жизни совсем иначе видели – вовсе не как вечную пригнутость в компромиссах (иной и быть не может у журнала под таким режимом!). Видели совсем иначе, высоко и стройно – и это проявилось, когда осмелели всё-таки на Самиздат, осмелели: выпустили два анонимных – и исключительно **партийных**! – панегирика погибшему журналу. (И зачем же такая робкая выступка: совсем не опасно, зачем же анонимно? Вероятно потому, что авторы должны были не открыть своей близости к старой редакции – уж и так просвечивала осведомленность: что̀ осталось в портфеле старой и как проходят дни новой. Да не трудно угадать, рассмотреть и лица их.)

Уже шибало в нос, как они подписаны: Литератор, Читатель – по худшему образцу советских газет. У Читателя – обстоятельный, медленного разгону эпиграф, как и любили в «Новом мире», – да эпиграф-то из кого? – из **Маркса**! – это в 70-м году! это для Самиздата! а дальше и Ленин цитируется – о, мышление подцензурника, как ты выдаёшь свои приёмы!.. В том самом феврале, когда разогнали

«Новый мир», гнусный суд над Григоренко засудил первого честного советского генерала в сумасшедший дом; дюжина «Хроник» на своих бледных исчитанных папиросных страницах уже назвала сотни героев, отдавших за свободу мысли – свободу своего тела, заплативших потерей работы, тюрьмой, ссылкой, сумасшедшим домом, – анонимы объявляют разгром «Н. мира» – «важнейшим событием внутренней жизни», которое «будет иметь значительные политические последствия» (чтобы имело последствия – надо самим-то выступать посмелей); надуто хвалят себя: «наши **самые** честные уста» (честнее тех, кто замкнуты тюрьмою?), «непобедимость новомирской Правды» (и в воспоминаниях маршала Конева? и коминтерников?) *«важнейший* элемент оздоровления советского общества», «голос народной совести» (одобривший оккупацию). «**Только он один** продержался в защите очистительного движения после XX съезда» (в чём *очистительного*? все золы режима перевалить на Сталина?). Эта линия верности XX съезду КПСС *искренне понимается* авторами как «дух фундаментальных проблем,...в которых вся наша историческая судьба». Только бы одолеть «положительный фанатизм» «сталинистов-экстремистов», ну и конечно же «отрицательный фанатизм... беспроблемное нигилистическое критиканство и озлобленность» – да это же и в «Правду» можно подавать, зачем же анонимно, братцы? Эта верноподданность тем особенно и разит, что она – анонимна и в Самиздате! На страницах «Н. мира» ее можно было хоть цензурою оправдывать... Итак, какая главная беда от разгона «Н. мира»? – «теперь *нашим врагам* будет гораздо легче бороться с идейным влиянием коммунистического движения во всем мире». Но всего главней, конечно, *социализм!* – только он «способен быть прогрессивной исторической альтернативой миру капитала» (прямо с подцензурных страниц), «неумерщвлённая в народе способность к борьбе за подлинный социализм» (тю-тю-у! поищите-порыщите, где она осталась, только не в нашей стране). А кто ж в неудачах социализма виноват? да кто ж! – Россия, как

всегда: «извращения социализма коренятся в многовековом наследии русского феодализма» – неужели ж допустим, товарищи, что социализм порочен **сам по себе**, что он *вообще* не осуществим в доброте?!

Более мелкой эпитафии нельзя было произнести «Н. миру» и тем выразить мелкость собственного понимания истинно-большого дела.

Впрочем, Самиздат – не дурак, разбирается: панегирики эти не были приняты им, хождения не получили, канули; до меня только и дошли через редакционные круги. И огорчили не меньше статьи Дементьева.

От отставленных членов я не скрыл, что осуждаю всю их линию в кризисе и крахе «Н. мира». Так и передано было Твардовскому, но безо всех вот этих мотивировок.

И снова, в который раз, наша утлая дружба с Трифонычем утонула в темной пучине. Придушенные одним и тем же сапогом, замолкли мы – врозь.

Моё одиночество, впрочем, не одиночество было, а деятельная работа над «Августом». И не стал я слаб вне Союза и не ослабел без журнала, напротив, только независимей и сильней – уже никому теперь не отчитываясь, никакими побочными соображениями не связанный. Der Starke ist am mächtigsten allein, без слабых союзников свободнее руки одинокого.

Одиночество же Трифоныча было полно горечи всеобщего, как ему ощущалось, предательства: он годами жертвовал собою для всех, а для него теперь никто не хотел жертвовать: не уходили из «Н. мира» сотрудники, и лишь немногие отхлынули авторы. Вся эта возня с «теневой» редакцией, непрерывными обсуждениями, что делается в реальной, только больше должна была изводить его и усилить начавшийся от угнетения скрытый ход болезни.

Тут защита схваченного Ж. Медведева снова сроднила нас, хоть и по-за-очью. Я, как обычно, писал в Самиздат, а Трифоныч – ездил в психбольницу в Калугу (мимо ворот моего Рождества, так никогда им не найденного и не

виденного), ошеломив там своим явлением всех врачей-палачей.

Тут приближался 60-летний юбилей А.Т., открывая возможность снова перекликнуться. Я телеграфировал:

«Дорогой наш Трифоныч! Просторных вам дней, отменных находок, счастливого творчества зрелых лет! В постоянных спорах и разногласиях неизменно нежно любящий вас, благодарный вам Солженицын.»

Говорят, он очень был рад моей телеграмме, уединялся с нею в кабинет. Мог бы и не отвечать, юбиляру это трудно, он ответил:

«Спасибо, дорогой Александр Исаевич, за добрые слова по случаю 60-летия моего. Расходясь с вами во взглядах, неизменно ценю и люблю вас как художника. Ваш Твардовский.»

И, по темпам наших отношений, месяцев еще через несколько мы бы с ним повидались. Я написал ему письмо, *прося разрешения* показать в октябре свой оконченный роман. Я знал, это доставит ему удовольствие.

Но – не пришло ответа. А узналось – что рак у него (и – скрывают от него). Рак – это рок всех отдающихся жгучему желчному обиженному подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома, смотришь – и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнется... – скажем, **дух**. Лишь выдающееся здоровье Твардовского при всех коновальских ошибках кремлевских врачей даёт ему еще много месяцев жизни, хоть и на одре.

Есть много способов убить поэта.

Твардовского убили тем, что отняли «Новый мир».

Жуковка
Февраль 1971

ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(декабрь 1973)

НОБЕЛИАНА

«Нобелиана» – это я не придумал, это краткий телеграфный адрес Нобелевского фонда (Nobelianum), да ведь и так же принято обозначать всякие растянутые торжества или пышные оркестровые разработки. Со мной торжество-не торжество, мученье-не мученье, но суматошная разработка потянулась два полных года.

В странах нескованных что̀ есть присуждение нобелевской премии писателю? Национальное торжество. А для самого̀ писателя? Гряда, перевал жизни. Камю говорил, что он не достоин, Стейнбек – что готов от гордости львом рычать. (Правда, Хемингуэй на такую безделицу отвлечься не удосужился, ответил, что интереснее писать очередную книгу, – и то тоже правда, хоть и не без кокетства.)

А что такое нобелевская премия для писателя из страны коммунизма? Через пень колоду, не в те ворота, или неподъёмное или под дёготный зашлёп. Оттого что в нашей стране не кто иной, как именно сама власть, от кровожадноюных дней своих, загнала всю художественную литературу в политический жолоб – долблёный, неструганный, как на Беломорканале ладили из сырых стволов. Сама власть внушила писателям, что литература есть часть политики, сама власть (начиная с Троцкого и Бухарина) выкликала все литературные оценки политическим хриплым горлом – и закрыла всякую возможность судить иначе. И поэтому каждое присуждение нобелевской премии нашему отечественному писателю воспринимается прежде всего как событие политическое.

Кто у нас был писатель истинный в 20-е, 30-е, 40-е годы – того через ведьминскую вьюгу разобрать из Стокгольма было невозможно. И первый русский, получивший эту премию, был эмигрант Бунин, бесцензурно и неподнасильственно печатавший заграницей свои вещи именно в том виде, в каком он их писал. Ну уж, разумеется, ничего кроме брани и презрения такая премия, институт таких премий вызвать в СССР не мог. Навсегда было решено, что премии эти ничтожны, и даже газетного петита не заслуживают. А на размах листа печатались – сталинские. И мы все о нобелевских почти думать забыли. И вдруг через 25 лет доглядела Шведская академия Пастернака и решилась дать ему. Известно, какой это вызвало гнев коммунистической партии (Хрущев), комсомола (Семичастный) и *всего* советского народа. И сейсмоволны этого гнева так ударили под фундамент Шведской академии, что в глазах *прогрессивного человечества* она обязана была себя реабилитировать да поскорей. И, выдержав приличные 7 лет, присудили третьему нашему соотечественнику, именно автору прославленной книги (только ее одной), напечатанной за треть столетия до того и по достоинству оцененной еще прежде бунинской премии. И эта поспешность, и эта задержка, и вся форма заглаживания, и наше казенное удовольствие – равно отшлёпали и на третьей премии остро-политическую печать.

Хотя в *политике* всё время обвинялась Шведская академия, но это *наши* лающие голоса делали невозможной никакую другую оценку. Так произошло и с четвертой премией, и, если не очнется Россия – с пятой будет то же самое.

А так как и учёные наши не больно часто те заморские премии получали, то у нас почти и не поминали их, до пастернаковской бури мало кто и знал о существовании таких. Я узнал, не помню, от кого-то в лагерях. И сразу определил, в духе нашей страны, вполне политически: вот это – то, что нужно мне для будущего моего Прорыва.

Прорыва – большого, а я пока и малого был сделать не в состоянии. Конечно, не хочется писать только посмерт-

ное, *напечататься* бы при жизни, тогда и умереть спокойно! Но из лагеря это грезилось как несбыточное: *где* ж такое возможно при жизни? Только заграницей. Но и после лагеря, вечно-ссыльный: ни сам туда не попадёшь, ни дошлёшь туда свои вещи.

Впрочем, в ссылке я сумел довести всю свою лагерную работу до начинки книжного переплёта (пьесы Б. Шоу, на английском). Теперь если бы кто-нибудь взялся поехать в Москву, да там на улице встретив иностранного туриста – сунул бы ему в руки, а тот, конечно, возьмёт, легко вывезет, вскроет переплёт, дальше в издательство, там с радостью напечатают неизвестного Степана Хлынова (мой псевдоним) – и... Мир, конечно, не останется равнодушным! Мир ужаснется, мир разгневается, – *наши* испугаются – и распустят Архипелаг.

Но – и попросить было некого, кто бы в Москву повёз, я был один–одинёшенек в те годы, и москвичи не приезжали в наш Кок-Терек погостить.

Когда же в 1956 году я и сам поехал в Москву и присматривался, кому б из западных туристов эту книгу перекинуть, – увидел: при каждом туристе идет переводчик от госбезопасности, а самое-то изумляющее старого зэка: те туристы такие сытые, лощеные, развлеченные своей веселой советской поездкой, – зачем им наживать неприятности?

И уехал я в Торфопродукт, потом в Рязань, работать дальше. Дальше – еще больше будет написано, еще сильней можно тряхнуть. Но и страшней: еще бòльший объём зависает в опасности погибнуть, никому никогда не показавшись. Один провал – и всё пропало. Десять лет, двадцать лет сидеть на этой тайне – утечет, откроется, и погибла вся твоя жизнь, и все доверенные тебе чужие тайны, чужие жизни – тоже.

И в 1958-м, рязанским учителем, кàк же я позавидовал Пастернаку: вòт с кем удался задуманный мною жребий! Вот *он*-то и выполнит это! – сейчас поедет, да как *скажет* речь, да как напечатает своё остальное, тайное, что не-

возможно было рискнуть, живя здесь! Ясно, что поездка его – не на три дня. Ясно, что назад его не пустят, да ведь он тем временем весь мир изменит, и нас изменит – и воротится, но триумфатором!

После лагерной выучки я, искренно, ожидать был не способен, чтобы Пастернак избрал иной образ действий, имел цель иную. Я мерил его своими целями, своими мерками – и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих «ошибках и заблуждениях», «собственной вине», вложенной в роман, – от собственных мыслей, от своего духа отрекаться – только, чтоб не выслали?? И «славное настоящее», и «гордость за то время, в которое живу», и, конечно, «светлая вера в общее будущее» – и это не в провинциальном университете профессора секут, но – на весь мир наш нобелевский лауреат? Не-ет, мы безнадёжны!.. Нет, если позван на бой, да еще в таких превосходных обстоятельствах, – иди и служи России! Жестоко-упречно я осуждал его, не находя оправданий. Перевеса привязанностей над долгом я и с юности простить и понять не мог, а тем более озвенелым зэком. (Никто бы мне в голову тогда не вместил, что Пастернак уже и напечатался и высказался, и та бы речь стокгольмская могла б оказаться не грозней его газетных оправданий.)

Тем ясней я понимал, задумывал, вырывал у будущего: *мне* эту премию надо! Как ступень в позиции, в битве! И чем раньше получу, тверже стану, тем крепче ударю! Вот уж, поступлю тогда во всём обратно Пастернаку: твердо *приму,* твердо поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато: всё напечатаю! всё выговорю! весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степлаговские зимние разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголоданных и замерзших! Дотянуть до нобелевской трибуны – и грянуть! За всё то доля изгнанника – не слишком дорогая цена. (Да я физически

видел и своё возвращение через малые годы.)

Однако «Иван Денисович», во всём мире расхватанный как хрущевская политическая сенсация, не выше (в Москве перегнанный на английский прихлебателем халтурщиком Р. Паркером, да так и осталось понынь), – не много приблизил меня к Нобелевской. Просто уж по задумке, смешивая замысел с предчувствием, я почему-то верил и ждал ее, как неизбежности. Хотя Пастернак своим отречением, а затем и скорой смертью закрывал дорогу следующему лауреату прийти из России: как же можно давать премию русским, если она убивает их?..

А годы – шли, а вещи – всё писались, а напечатать – нельзя, голову отрубят, и всё труднее скрыть их в тайне, и всё обидней держать их втуне, – и какой же выход у подпольного писателя?..

Все годы я в этом и не переменялся, как в лагере выковался, как думал вместе с лагерными друзьями: самая сильная позиция – разить нашу мертвечину лагерным знанием, но *оттуда*. Тогда всё моё оружие – к моим рукам, ни одно слово более не утаено, не искажено, не пригнуто. И так это прочно я усвоил, что когда в 68-м году Аля (Наталья Светлова), поражённая, стала убеждать меня горячо, что как раз наоборот: *оттуда* все слова мои будут отшибаться железною коркой, охватившей нашу страну, а пока я внутри – приемлющая порая масса всасывает их, дополняя, достраивая несказанное и намёкнутое, – я поразился встречно. Я решил: она оттого так рассуждает, что в лагере не сидела.

А была она мне не случайный собеседник и не одноразовый. К 69-му году я решил передавать ей всё своё наследие, всё написанное, и окончательные редакции и промежуточные, заготовки, заметки, сбросы, подсобные материалы – всё, что жечь было жаль, а хранить, переносить, помнить, вести конспирацию не было больше головы, сил, времени, объёмов. Я как раз перешел тогда через пятьдесят лет, и это совпало с чертой в моей работе: я уже не писал о лагерях, окончил и всё остальное, мне предстояла совсем

новая огромная работа – роман о 17-м годе (как я думал сперва – лет на десять). В такую минуту своевременно было распорядиться всем прошлым, составить завещание и обеспечить, чтоб это всё сохранилось и осуществилось уже и без меня, помимо меня, руками наследными, твердыми, верными, головою, думающею сродно. Я счастлив был, я облегчен был, найдя всё это вместе, и весь 69-й год мы занимались передачей дел. Тогда же, вместе, мы нашли пути дать доверенность доктору Хеебу защищать мои интересы на Западе, и создать опорный пункт заграницей, как наш филиал и продолжение, на случай гибели обоих тут. И – надёжный «канал» туда для связи в обе стороны. Неслышно, невидимо моё литературное дело превращалось в фортификацию.

При всей этой работе вопрос о том, гдѐ буду я и чтò со мной через год, через два, имел совсем не теоретическое значение, от этого на каждом шагу зависело, как решать. К тому ж, были и другие живые планы: еще с 65-го года я носился с затеей журнала – то ли будущего, в свободной России, то ли самиздатского, и уже сейчас. Летом 69-го года мы сидели с Алей у Красного Ручья на берегу Пинеги и разрабатывали такую сложную систему издания журнала, при которой он будет самиздатски издаваться здесь (отдел распределения – глубже его действующая редакция – еще глубже теневая редакция, готовая принять дела, когда провалится действующая, и создать себе вторую теневую), а я – может быть здесь, а может быть и *там,* но и в этом случае подписываю журнал (участвую в нем оттуда). И при всех этих разработках мы так и не сошлись в коренном вопросе: Аля считала, что надо на родине жить и умереть при любом обороте событий, а я, по-лагерному: нехай умирает, кто дурней, а я хочу при жизни напечататься. (Чтобы в России жить и всё напечатать – тогда еще представлялось чересчур рискованно, невозможно.)

Как в насмешку, именно в эти дни, бежал на Запад А. Кузнецов, мы на Пинеге слушали по транзистору. Перепугались на *верхах,* а он ликовал, думал наверно:

вот сейчас всю историю повернет. Ан ошибка бегляческая, смещение масштабов. Главное же: тут у нас, в СССР, почти поголовно не одобрил его образованный класс, и не только за податливость гебистам, за игру в доносы, но и за самый побег: легкий жребий! Человеку беззвестному, досажденному, можно простить, но писателю? Какой же, мол, тогда ты наш писатель? Нерациональные мы люди: десятилетиями бродим и хлюпаем в навозной жиже, брюзжим, что плохо. И не делаем усилий выбраться. А кто выбарахтывается и бежит прочь, кричим: «изменник! не наш!»

А как думало правительство? Уверен: так же, как я. Пока я *тут*, в клетке, – я им полустрашен, меня всегда можно прихлопнуть. А *оттуда* – я ужасен для них, я успею (пока не всадят ножа мне в рёбра, не отравят, не застрелят, не выбросят из поезда), успею развернуть всё, укрытое ими за полстолетия! – и после того захлёста им уже не жить, или только доковыливать (так мне казалось).

При Сталине так и понимали: всех несогласных покрепче вязать. Но, видимо, в последние годы какие-то новые веяния пробились даже в их туполобую дремучесть: посадили Синявского-Даниэля – неожиданный для них международный скандал; отправили Тарсиса заграницу – сразу всё стихло, никаких неприятностей. (Что я – не совсем Тарсис, этого им не домыслить.) И вот Дёмичев, в задушевных беседах, какие бывали у него то с одним, то с другим писателем, стал проговариваться:

– Вот мы *вышлем* Солженицына за границу, *к его хозяевам,* увидит он капиталистический рай – *сам к нам на брюхе приползёт.*

Мне пересказывали, я значения не придавал: обычный агитпропский приём. Вдруг, через десять дней после моей оплеухи секретариату СП, вечером 25 ноября 69 года, включаю «Голос Америки» и слышу: «Писатель Солженицын высылается из Советского Союза». (Завтрашнее сообщение «Литгазеты» они неправильно передали.)

Это было на даче Ростроповича, первые месяцы там,

только устроился. Я встал. Чуть прошлись мурашки под волосами. Может быть, через какой час за мной уже и приедут. О рукописях, о заготовках, о книгах – сразу много надо было сообразить, чересчур много! Хоть всю жизнь готовься, а застаёт всегда не вовремя. Вышел погулять по лесным аллейкам. Стоял не по времени теплый, грозно-ветренный, сырой, темный вечер. Я гулял, захватывал воздух грудью. И не находил в себе ни борения, ни сомнения: всё шло по-предначертанному.

Из моих любимых образов – пушкинский царевич Гвидон. Чтобы верно погубить, засадили, засмолили младенца с матерью в бочку и пустили по морю-океану. Но – не потонула бочка, а аршинный младенец рос по часам, поднатужился, выпрямился,

Вышиб дно и вышел вон! –

правда, на берегу чужеземном. И сам вышел и, заметим, в ы п у с т и л с в о ю м а т ь.

Не до точности чужого берега должен образ сойтись, и непомерно честь велика выпустить на свободу Мать, – а вот ка̀к донья трещат у меня под подошвами и над макушкой, как из бочки вываливаются клёпки – это я ощущаю уже несколько лет, и только точного момента не ухватил, когда ж я именно донья выпер, уже ли? Не в тот ли самый момент, когда исключенье меня из СП обернулось громким поражением моих и наших гонителей? когда *стенка* из тридцати одного западного писателя, выказывая единство мировой литературы, объявила письмом в «Таймс», что в обиду меня не даст? Или еще это впереди? И сейчас, когда пишу – впереди?

Что-то из этого треска доносилось до ушей того решилища, который Чехословакию осмелел давить, а меня – нет, что-то из занозистой обломанной древесины отлетало к ним, – ибо не высылали меня заграницу, нет (через час принесли мне завтрашнюю «Литгазету», выкраденную из редакции), – а только *приглашали* уехать, только *разрешали*.

А это – другой расклад. Экибастузскому затерянному зэку *предложили* бы – минуты бы не колебался. Но мне

сегодняшнему – *предлагать*? В ответ им пустил по Москве «мо», устный Самиздат:

– **Разрешают** мне из родного дома уехать, благодетели! А я им **разрешаю** ехать в Китай.

Они мне – еще в одной газете намёк. Еще в одной. На Западе – отзвон изрядный. И норвежцы – духом твердые, единственные в Европе, кто ни минуты не прощал и не забывал Чехословакии, – предложили мне даже приют у себя – почетную резиденцию Норвегии, присуждаемую писателю или художнику. «Пусть Солженицын поставит свой письменный стол в Норвегии!» Несколько дней я ходил под тем впечатлением. Вторая родина сама назвалась, сама распахнула руки. Север. Зима, как в России. Крестьянская утварь, деревянная посуда, как в России.

Пауза. *Верхи* затихли. И я молчал.

Не легко покидается жгучий зэческий замысел, ненапечатанные вещи кричат, что жить хотят. Но скорбным контуром вырастала и другая согбенная давняя лагерная мысль: неужели уж такие мы лягушки-зайцы, что ото всех должны убегать? почему н а ш у землю мы должны и м так легко отдавать? Да начиная с 17-го года всё отдаём, все отдают – так оно вроде легче. Уже сколькие поддались этой ошибке – переоценили силы *их,* недооценили свои. А были же люди – Ахматова, Пальчинский, кто не поехал, кто отказался в 23-м году подписать заявление на лёгкий выезд.

Неужели мы так слабы, что *здесь* побороться не можем?

А властям эта мысль уже, видно, заседала: от неугодных избавляться высылкой заграницу – мысль Дзержинского и Ленина, план новой «третьей» эмиграции, чего мы и вообразить не могли тогда, с 69-го года на 70-й. На разных закрытых семинарах в полный голос объявляли: «Пусть Солженицын убирается заграницу!». Первоосведомлённый Луи шнырял на посольских приёмах, предлагал западным деятелям: «Не пригласите ли Солженицына лекции, что ли, у вас почитать?» – «Да разве пустят?» – удивлялись. – «Пу-устят!».

Но публично не высказывалось более ничего. Осенний кризис мой как будто миновал, затягивался. С дачи Ростроповича, где я жил безо всяких прав, непрописанный, да еще в правительственной зоне, откуда выселить любого можно одним мизинцем – не выселяли, не проверяли, не приходили. И постепенно создалось у меня внешнее и внутреннее равновесие, гнал я свой «Август», и в тот год, 70-й, сидел бы тише тихого, писка бы не произнёс. Если бы не несчастный случай с Жоресом Медведевым в начале лета. Именно в эти месяцы, конца первой редакции и начала второй, определялся успех или неуспех всей *формы* моего Р-17, а так потребна была удача! так нужен был систематический объёмный рассказ именно о революции: ведь замотают ее скоро свои и чужие, что не доищешься правды. И благоразумные доводы о жребии писателя приводили мне отговаривающие друзья.

Но – разумом здесь не взвесить: вдруг запечёт под ногами, оказывается – сковорода, а не земля, – как не запляшешь? Стыдно быть историческим романистом, когда душат людей на твоих глазах. Хорош бы я был автор «Архипелага», если б о продолжении его сегодняшнем – молчал дипломатично. Посадка Ж. Медведева в *психушку* для нашей интеллигенции была даже опаснее и принципиальнее чешских событий – это была удавка на самом нашем горле. И я решил – писать. Я первые редакции очень грозно начинал:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(то есть, *им всем,* палачам. В начале меня особенно заносит, потом умеряюсь). За лагерное время хорошо я узнал и понял врагов человечества: **кулак** они уважают, больше ничего, чем сильней кулаком их улупишь – тем и безопасней. (Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить.) Едва продирал я глаза по утрам – тянуло меня не к роману, а Предупреждение еще раз переписать, это было сильней меня, так во мне и ходило. Редакции с пятой стало помягче:

ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ. [13]

В ноябре 69-го упрекали меня, что быстротою своего выскока с ответом СП я *помешал* братьям-писателям и общественности за меня заступиться, отпугнул резкостью. Теперь, чтоб своей резкостью не потопить Медведева, я взнуздал себя, держал, дал академикам высказаться – и только в Духов день, в середине июня, выпустил своё письмо. По делу Жореса оно оказалось может уже и лишним – струхнули власти и без того. Но зато – о *психушках* крупно сказал, кого-то же всё-таки напугал, если не Лунца, у кого-то сердце сожмётся впредь.

Этого письма не могли мне простить. И насколько есть достоверные сведения, в тех же июньских днях решили высылать меня заграницу. Подготовили *ведущие* соцреалисты (кажется, в апостольском числе двенадцать) ходатайство к правительству об изгнании мерзавца Солженицына за рубежи нашей святой родины. Новой идеи тут не заключалось, но ход делу был дан формальный. Марков да Воронков, упряжка неленивая, передали это в «Литгазету», да говорят с прибавкой уже готового и постановления Президиума Верхсовета о лишении меня советского гражданства.

Но опять же – не сработала машина, где-то защёлка не взяла. Я думаю так: слишком явна и близка была связь с жоресовской историей, неудобно было з а э т о выгонять, отложили на месяца два-три, ведь провинюсь еще в чем-нибудь...

А тут – Мориак, царство ему небесное, затеял свою кампанию выхлопатывать мне Нобелевскую премию. И опять у *наших* расстроилась вся игра: теперь высылать – получится в ответ Мориаку, глупо. А если премию дадут – за премию выгонять, опять глупо. И затаили замысел: сперва премию задушить, а потом уже выслать.

(А я за эту осень как раз и кончал, кончал «Август».)

Премию душить – это мы умеем. Собрана была важная писательская комиссия (во главе ее – Константин Симонов, многоликий Симонов – он же и гонимый благородный

либерал, он же и всевходный чтимый консерватор). Комиссия должна была ехать в Стокгольм и социалистически пристыдить шведскую общественность, что нельзя служить темным силам мировой реакции (против таких аргументов никто на Западе не выстаивает). Однако, чтоб лишних командировочных не платить, наметили комиссионерам ехать 10 октября, как раз в срок. А Шведская Академия – на две недели раньше и объяви, вместо четвертого четверга да во второй! Ах, завыли *наши*, лапу закусали!..

Для меня 70-й год был последний год, когда Нобелевская премия еще нужна мне была, еще могла мне помочь. Дальше уже – я начал бы битву без нее. ⊗

А премия – свалилась, как снегом веселым на голову! Пришла, как в том анекдоте с Хемингуэем: от романа отвлекла, как раз две недельки мне и не хватило для окончания «Августа»!.. Еле-еле потом дотягивал.

Пришла! – и в том удача, что пришла, по сути, р а н о: я получил ее, почти не показав миру своего написанного, лишь «Ивана Денисовича», «Корпус» да облегчённый «Круг», всё остальное – удержав в запасе. Теперь-то с этой высоты я мог накатывать шарами книгу за книгой, утягченные гравитацией: три тома «Архипелага», «Круг»-96, «Декабристы без декабря», «Знают истину танки», лагерную поэму...

Пришла – и сравняла все ошибки 62-го года, ошибки медлительности, нераскрыва. Теперь как бы и не было их.

Пришла – прорвалась телефонными звонками на дачу Ростроповича. Век мне туда не звонили – вдруг несколько звонков в несколько минут. Неразвитая, даже дураковатая женщина жила в то время в главном доме дачи, бегала за мной всякий раз, зная меня под кличкой «сосед», и за руку тянула, трубку вырывала:

– Да вы что – с *корреспондентом* разговариваете? Дайте я ему расскажу – квартиры мне не дают!

Она думала – с корреспондентом «Правды», других не воображая.

То был норвежец Пер Эгил Хегге, отлично говорящий

по-русски, редкость среди западных корреспондентов в Москве. Вот он добыл где-то номер телефона и задавал вопросы: принимаю ли я премию? поеду ли в Стокгольм?

Я задумался, потом ходил за карандашом с бумагой, он мог представить, что я – в смятеньи. А у меня замыслено было: неделю *никак* не отзываться и посмотреть – как *наши* залают, с какого конца начнут. Но звонок корреспондента срывал мой план. Промолчать, отклониться – уже будто сползать на гибельную дорожку. И при старом замысле: **всё не как Пастернак**, всё наоборот, оставалось уверенно объявить: да, принимаю! да, **непременно** поеду, **поскольку это будет зависеть от меня**! (У нас же и наручники накинуть недолго.) И еще добавить: **моё здоровье – превосходно** и не помешает такой поездке! (Ведь все неугодные у нас *болеют*, потому не едут.)

В ту минуту я нисколько не сомневался, что поеду.

Потом, давая ответную телеграмму Шведской Академии: «Рассматриваю Нобелевскую премию как дань русской – (уж не советской, разумеется) – литературе **и нашей трудной истории»**.

Тут начали постигать меня неожиданности. Ведь как ни обрезаны с Западом нити связей, а – пульсируют. И стали ко мне косвенными путями приходить: то – упрёк, зачем это про **трудную историю**, вот и скажут, что мне дали премию именно по политическим соображениям. (А мне без **трудной истории** – и премия бы не нужна. При легкой истории мы бы справились и без вас!) Потом двумя косвенными путями одно и то же: не хочу ли я избежать *шумихи* вокруг моего приезда в Стокгольм? в частности Академия и Фонд опасаются демонстраций против меня маоистски настроенных студентов – так поэтому не откажусь ли я от Гранд-Отеля, где все лауреаты останавливаются, а они спрячут меня на тихой квартире?

Вот это – так! Для того я к премии шагал с лагерного развода, чтобы в Стокгольме прятаться на тихой квартире, от лощёных сопляков уезжать в автомобиле с детективами!

По левой я ничего не ответил, – тогда стали и обыкновенной почтой приходить: от Нобелевского Фонда – телеграмма о том же: «постараемся найти для вашего пребывания более тихое и укрытое место», от Академии письмо: считают они, что

«Вы сами хотели бы провести по возможности спокойнее ваш стокгольмский визит» и они сделают всё возможное, «чтобы обеспечить вас оберегаемой квартирой. Позвольте добавить, что получатель премии вовсе не обязан иметь какие-либо сношения с печатью, радио и т.д.».

«По возможности спокойнее»? – отнюдь не хочу! «Не иметь сношений с печатью и радио»? – на лешего тогда и ехать?

Оборвалась храбрость шведов! – на том оборвалась, что решились дать мне премию. (Да уж какое спасибо-то, в семиэтажный дом!) А дальше – боятся скандала, боятся политики.

Да, им – так надо, это – прилично. Но мой неисправимо-лагерный мозг никак не ожидал. Идешь-бредёшь, спотыкаешься в колонне по пять, руки назад, думаешь: только и ждут *там* услышать нас. А они – нисколько не ждут. Они дают премию по литературе. И естественно не хотят *политики*. А для нас это не «политика», это сама жизнь.

Так шло – по одной линии. А по другой: через несколько дней после объявления премии мелькнула у меня идея: вот когда я могу первый раз как бы на равных поговорить с правительством. Ничего тут зазорного нет: я приобрел позицию силы – и поговорю с нее. Ничего не уступаю сам, но предложу уступить им, прилично выйти из положения.

А – *кому* послать, колебания не было: Суслову! И вот почему. Когда в декабре 1962 года на кремлевской встрече Твардовский представлял меня Хрущеву, – никого из политбюро близко не было, никто не подошёл. Но когда в следующий перерыв Твардовский водил меня по фойе и знакомил с писателями, кинематографистами, художниками по своему выбору, – в кинозале подошел к нам

высокий, худощавый, с весьма неглупым удлиненным лицом – и уверенно протянул мне руку, очень энергично стал ее трясти и говорить что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я осведомился: «С кем же...», незнакомец и тут себя не назвал, а Твардовский мне укоризненно вполголоса: «Михаил Андреевич...». Я плечами: «Какой Михаил Андреич?..». Твардовский с двойной укоризной: «Да Су-услов!!». Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частенько подводит – вот я и не узнал. И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал. Но вот загадка: отчего так горячо он меня приветствовал? Ведь при этом и близко не было Хрущева, никто из политбюро его не видел – значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? законсервированный в политбюро свободолюбец? – главный идеолог партии!.. Неужели?*

Запало это загадкой во мне на много лет, ни разу не разъяснилось. Но, думал я, мистика еще проявится, еще скрестятся наши пути. Однако, и не скрещивались. А теперь, в октябре 70-го года, меня толкнуло – ему! [14]

Если здесь сдвинуть только то, что я предложил (амнистию пойманным читателям, быстрый выход и свободная продажа «Корпуса», снятие запрета с прежних вещей, затем и печатанье «Августа»), это было бы изменение не только со мной, а – всей литературной обстановки, а там дальше и не только литературной. И хотя сердце рвется к чему-то большему, к чему-то решающему, но историю меняют всё-таки постепеновцы, у кого ткань

---

* Кстати, 4 месяца перед тем, в июле 62-го, это именно Суслов вызвал В. Гроссмана по поводу отобранного романа: слишком много политики, да и лагеря понаслышке, кто же так пишет, несолидно. Твердел себе в кресле, уверен был: не по наслышке – никогда не будет, передушили. И вдруг такая радость ему – «Иван Денисович»!..

событий не разрывается. Если б можно плавно менять ситуацию у нас – надо с этим примириться, надо б и делать. И это было бы куда важней, чем ехать *объяснять* Западу.

Но так и зависло. Ответа не было никогда никакого. И в этом деле, как и всяком другом, по надменности и безнадёжности *они* упускали все сроки что-либо исправить.

А шведы тем временем слали мне церемонийные листы: какого числа на каком банкете, где в смокинге с белой бабочкой, где во фраке. А речь – произносится на банкете (когда все весело пьют и едят – о нашей трагедии говорить?), и *не более трех минут,* и желательно только слова благодарности.

В сборнике Les Prix Nobel открылся мне беспомощный вид кучки нивеллированных лауреатов со смущенными улыбками и прездоровыми папками дипломов.

Который раз крушилось моё предвидение, бесполезна оказывалась твердость моих намерений. Я дожил до чуда невероятного, а использовать его – не видел как. Любезность к тем, кто присудил мне премию, оказывается, тоже состояла не в громовой речи, а в молчании, благоприличии, дежурной улыбке, кудряво-барашковых волосах. Правда, можно составить и прочесть нобелевскую *лекцию*. Но если и в ней опасаться выразиться резко – з а ч е м тогда и ехать вообще?

В эти зимние месяцы ждался первенец мой, но вот премия приносила нам разлуку, и я уезжал, как было прежде между нами решено. Без надежды даже раз единый увидеть родившегося сына.

Уезжал, чтобы грудь писательскую освободить и дышать для следующей работы. Уезжал – убедить? поколебать? сдвинуть? – Запад.

А на родине? – кто и когда это всё прочтёт? Кто и когда поймет, что для *книг* – так было лучше?

В 50 лет я клялся: «моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России». А представился отъезд – и убежал?..

А что̀ , правда: остаться и биться до последнего? И бу́дь, что будет?

Еще эти кудряво-барашковые волоса да белая бабочка...

Как в наказательную насмешку, чтоб не поспешен был осуждать предшественников, я на гребне решений онемел и заколебался.

Я вот как сделать уже хотел: записать нобелевскую лекцию на магнитофон, *туда* послать ленту, и пусть в Стокгольме ее слушают. А я – *здесь*. Это – сильно! Это – сильней всего!

Но в напряженные эти полтора месяца (тут наложилось семейного много) я уже не в состоянии был составить лекцию.

А в Саратове или в Иркутске будущий, следующий наш лауреат корчится от стыда за этого Солженицына: почему ж не мычит, не телится? почему не едет *трахнуть речугу?*

Наши очень ждали моего отъезда, подстерегали его! Как раз бы и был он в согласии с правилами поддавков: я как будто пересекал всю доску, бил проходом несколько шашек – но на том-то и проигрывал! Достоверно знаю: было подготовлено постановление, что я лишаюсь гражданства СССР. Только оставалось – меня через границу перекатить. Есть какие-то сроки подачи заявлений и анкет, после которых уже опаздываешь; никто тех сроков не знает, но в Отделе Виз и Регистраций, в ГБ и в ЦК думают, что все знают, – и удивлялись: как же я их пропускаю? На те недели притихла, вовсе смолкла и газетная кампания против меня. Лишь на одном, другом инструктаже прорывало, не выдерживали их нервы, секретарь московского обкома партии, за ним и шавки-«международники» (без меня давно ни одна «международная» лекция не обходилась):

– Господин Солженицын до сих пор почему-то не подаёт заявления на выезд.

А Твардовский, передавали, за меня в кремлевской больнице тоже томился и раздумывал: как бы мне премию получить, не поехавши? Он лежал с полуотнятой речью, бездеятельной правой рукой, но мог слушать, читать, следил

за моей нобелевской историей, а когда возвращалась речь, говорил и даже кричал сестрам и нянечкам:

– Браво! Браво! Победа! ⊗

А у меня на столе уже лежало отречное письмо и каждое утро правилось, где буквочкой, где запятой. Я выбирал наилучший день – ну, скажем, за две недели до нобелевской процедуры. Несмотря на внешнюю твердокаменность нашего государства, *внутри* инициатива не уходила из моих рук: от первого до последнего шага я вел себя так, будто *их* вообще не было, я игнорировал *их:* сам решил, объявил, что **поеду** – и не вязались переубеждать; теперь сам решил, объявлял, что **не поеду**, и наши позорные полицейские тайны выкладывал, – и опять-таки слопают, и не сунутся пересоветывать мне.

А как – переслать? Почта задержит. Надо снести самому в шведское посольство, да и договориться: диплом с медалью пусть мне вручат в Москве. Вот мысль: соберем с полсотни видных московских интеллигентов – тут и *трахну* речь! Отсюда говорить – еще посильнее выйдет, и насколько!

А как прорваться в посольство? Счастье такое: перед шведским не стоит милиционер! Уютный маленький особнячок в Борисоглебском переулке. На целое кресло разъевшийся кот. Эстафета шведов, принимающих меня из двери в дверь (были предупреждены). Как раз возвратился в Москву Г. Ярринг – шведский посол, а более того – арабо-израильский примиритель, а еще более того, как меня предварили – претендент на место уходящего У-Тана, а потому старательный угождатель советскому правительству. Семь лет уже Ярринг послом в Москве, при нем была премия Шолохову, и с Шолоховым он очень дружил и носился.

Скрытный, твердый, высокий, черный (на шведа не похож?), меня встретил настороженно. Я удобно расселся в посольском кресле и, помахивая своим письмом, а читать его не давая:

– Вот, я написал письмо в Шведскую Академию насчёт моей поездки [15], но боюсь, что по почте задержится,

а им важно знать моё решение уже теперь. Вы не взялись бы отправить?

По-русски он понимает, а мне через переводчика, атташе по культуре, Лундстрема:

– Как вы решили?

– Не ехать.

Продрогнуло удовлетворение. Ему – спокойней.

– Завтра утром будет в Стокгольме.

Значит, берет дипломатической почтой. Хорошо. Отсылаю и автобиографию. А диплом и медаль? Нельзя ли устроить приём в вашем посольстве?

– Невозможно. Так никогда не было.

– Но ведь и такого случая, как со мной, никогда не было. Не загадывайте, господин Ярринг. Пусть подумает Академия.

Уверенно отвечает Ярринг: или по почте, или вручим вам в кабинете, как сейчас, без присутствующих.

Без лекции? Так мне не надо. Нехай остаётся всё в Академии.

При себе не дал ему письма прочесть, всё оставил и ушёл. А обещанье-то взято.

Клал я три дня, чтоб Академия, получив, распоряжалась моим письмом. К исходу третьих суток назначил выход в Самиздат. Академия же послала мне телеграмму, что хочет объявлять письмо только на банкете. Мне это поздно было, мне *сейчас* надо было прояснить, что – не еду. Но испытать взрывное действие русского Самиздата шведам не пришлось: у самих же утекло между пальцами, кажется при переводе на шведский, и внагон послали мне вторую телеграмму: извиняются, досадуют, что ускользнуло, не пришлю ли к банкету еще чего-нибудь?

Я – ничего не собирался: пока сказал кое-что, умеренно, а всё главное – в лекцию. Но от телеграммы – толчок! Этого не было в моем плане, но что̀ бы, правда, один абзац, выпадающий из нобелевской лекции, а сюда – по сцепленью дат:

«Ваше Величество! Дамы и господа!

...Не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днем Прав человека...»

Господа, это – моя скифская досада на вас: зачем вы такие кудряво-барашковые под светом юпитеров? почему обязательно белая бабочка, а в лагерной телогрейке нельзя? И что это за обычай: итоговую – всей жизни итоговую – речь лауреата выслушивать за едой? Как обильно уставлены столы, и какие яства, и как их, непривычные, привычно, даже не замечая, передают, накладывают, жуют, запивают... А – пылающую надпись на стене, а – «мэне, тэкел, фарес» не видите?..

«...Так, за этим пиршественным столом не забудем, что сегодня политзаключенные держат голодовку в отстаивании своих умалённых или вовсе растоптанных прав.»

Не сказано – чьи заключённые, не сказано – где, но ясно, что у нас. И это – не придумано, это – не совпадение: известно мне, что 10 декабря наши зэки во Владимирском централе, и в Потьме некоторые, и некоторые в **дурдомах** будут держать голодовку. Объявится о том с опозданием – а я вот в самый срок.

(Средь поздравлений меня с премией было и из потьминских лагерей коллективное, но там проще подписи собрать, а как вот во Владимирской тюрьме умудрились стянуть 19 подписей через каменные стены? и мне принесут на днях, самое дорогое из поздравлений:

«Яростно оспариваем приоритет Шведской Академии в оценке доблести литератора и гражданина... Ревниво оберегаем... друга, соседа по камере, спутника на этапе».)

Без колебания – посылать! Есть уже крыльная легкость, отчего ж не позволить себе это озорство? Как посылать? – да опять же через посольство.

Повадился кувшин по воду ходить.

Прошлый раз, опасаясь преграды, пошел без телефонного звонка. Сейчас есть и номер:

– Господин Лундстрем?.. Вот я получил две телеграммы из Шведской Академии, хотел бы с вами *посоветоваться*...

(Не говорить же – несу подсунуть кое-что.)

Бедный Лундстрем, у него открыто крупно дрожали руки. Он не желал оскорбить лауреата грубым отказом, а Ярринга не было, но (потом узнàю) посол запретил еще что-нибудь от меня принимать после того наглого письма, не прочтенного вовремя: – «Довольно с меня посредничества между Израилем и арабами, чтоб я еще посредничал между Солженицыным и Академией.» 14 лет уже служил Лундстрем в Москве, очевидно спокойно, и всеми нитями связан с ней – а теперь рисковал карьерой под силовым напором бывшего зэка, не умея ему отказать. Отирая пот, нервно куря, и всей фигурой, и голосом, и текстом извиняясь:

– Господин Солженицын... Если вы разрешите мне высказать свое мнение... Но я должен говорить как дипломат... Понимаете, ваше приветствие [16] содержит политические мотивы...

– Политические?? – совершенно изумлён я. – Какие же? Где?

Вот, вот, – и пальцами, и словами показывает мне на последнюю фразу.

– Но это не направлено ни против какой страны, ни – группы стран! Международный День Прав человека – это не политическое мероприятие, а чисто нравственное.

– Но, видите, такая фраза... не в традиции церемониала.

– Если бы я был там – я бы ее произнёс.

– Если бы вы сами были – конечно. Но без вас устроители могут возражать... Вероятно, будут советоваться с королем.

– Пусть советуются!

– Но пошлите почтой!

– Поздно, может опоздать к банкету!

– Так телеграммой!

– Нельзя: **разгласится**! А они просят сохранить тайну.

Трудно достались ему 15 минут. Брал от меня, еще с извинениями, заявление в посольство (об отправке письма). Предупреждал, что может и не удаться. Предупреждал, что это – последний раз, а уж нобелевскую лекцию ни в коем случае не возьмёт...

Безжалостно я оставил ему свою речужку, ушел.

А оказалось: на собственные деньги, потративши свой уикэнд, он частным образом поехал в Финляндию, и оттуда послал.

Вот он, европеец: не обещал, но сделал больше, чем обещал.

Впрочем, совесть меня не грызёт: те, кто держат голодовку во Владимирской тюрьме, достойны этих затрат дипломата.

Обидно другое: фразу-то выкинули, на банкете ее не прочли! То ли – церемониала стеснялись, то ли, говорят, опасались за меня. (Они ведь все меня жалеют. Как сказал шведский академик Лундквист, коммунист, ленинский лауреат: «Солженицыну будет вредна Нобелевская премия. Такие писатели, как он, привыкли и должны жить в нищете.»)

Этот мой необычный – нобелевский – вечер мы с несколькими близкими друзьями отметили так: в чердачной «таверне» Ростроповича сидели за некрашенным древним столом с диковинными же бокалами, при нескольких канделябрах свечей и время от времени слушали сообщения о нобелевском торжестве по разным станциям. Вот дошло до трансляции банкетных речей. Одну передачу смазала *заглушка,* но такое впечатление, что моей последней фразы не было. Дождались повторения речи в последних известиях – да, не было!

Эх, не знают русского Самиздата! – завтра утречком па-а-сыпятся бумаженьки с моим банкетным приветствием.

Снова на инструктажах: «Ведь была ему дана возможность уехать – не уехал! остался вредить здесь! Всё делает как хуже советской власти!» Но газетная кампания против меня в этот раз (как всегда, когда проявишь силу) не сложилась. Прорвалась статья в «Правде», что я «внутренний эмигрант» (после отказа эмигрировать!), «чуждый и враждебный всей жизни народа», «скатился в грязную яму», романы мои – «пасквили». Подпись под статьёй была та самая, что под статьями античехословацкими, толкнувшими

оккупацию, и естественно было ждать разворота и свиста. Но – не наступило. Еще в генеральской прессе, более верной идеям партии, чем сама партия, разъяснили армейским политрукам, что: «нобелевская премия есть каинова печать за предательство своего народа.* Еще на инструктажах, как по дёргу верёвочки: «Он *между прочим* не Солженицын, а Солженицер...» Еще в «Литгазете» какой-то беглый американский эстрадный певец учил меня русскому патриотизму...

Как и всё у них, закисла и травля против меня, и письмо у Суслова – в той же их немощной невсходной опаре. Движение – никуда. Цепенение.

Не сбылась моя затея найти какой-то мирный выход. Но и нобелевский кризис, угрожавший вывернуть меня с корнем, перенести за море или похоронить под пластами, после слабых этих конвульсий – утих.

И всё осталось на местах, как ничего не произошло.

В который раз я подходил к пропасти, а оказывалась – ложбинка. Главный же перевал или главная пропасть – всё впереди, впереди.

*

* *

Хотя и следующий, 71-й, год я совсем не бездеятельно провёл, но сам ощутил его как проход полосы затмения, затмения решимости и действия.

Во многом я чувствовал так потому, что проступила, надавила, ударила та сторона жизни, которая, на струне моего безостановочного движения всегда была мною пренебрежена, упущена, не рассмотрена, не понята и теперь отбирала сил больше, чем у всякого другого бы на моем месте, едва ли не больше, чем ухабы главного моего пути. Пять последних лет я сносил глубокий пропастный семейный разлад и всё откладывал какое-нибудь его решение – всякий

* «Коммунист Вооруженных Сил» – 1971, № 2.

раз в нехватке времени для окончания работы, или части работы, всякий раз уступая, смягчая, ублаготворяя, чтобы выиграть вот еще три месяца, месяц, две недели спокойной работы и не отрываться от главного дела. По закону сгущения кризисов отложенное хлопнуло как раз на преднобелевские месяцы – и дальше растянулось на год, на два и больше. (Государство не упустило вкогтиться в затянувшийся развод как в добычу, и сложилась такая уязвимость: что̀ ни случись со мной, сестра моей работы и мать моих детей не может ни ехать со мною, ни придти в тюрьму на свидание, ни защищать меня и мои книги, это всё попадало к врагам.)

А еще потому, должно быть, что не бывает пружин вечного давления, и всякий напор когда-то осуждён на усталость.

Так ждал этого великого события – получить Нобелевскую премию, как высоту для атаки, – а как будто ничего не совершил, не пшиком ли всё и кончилось? – даже лекции не послал.

Моя нобелевская лекция заранее рисовалась мне колокольной, очистительной, в ней и был главный смысл, зачем премию получать. Но сел за нее, даже написал – получалось нечто, трудно осиливаемое.

Хотел бы я говорить только об общественной и государственной жизни Востока, да и Запада, в той мере, как доступен был он моей лагерной смётке. Однако, пересматривая лекции своих предшественников, я увидел, что это дерёт и режет всю традицию: никому из писателей свободного мира и в голову не приходило говорить о том, у них ведь другие есть на то трибуны, места и поводы; западные писатели, если лекцию читали, то – о природе искусства, красоты, природе литературы. Камю это сделал с высшим блеском французского красноречия. Должен был и я, очевидно, о том. Но рассуждать о природе литературы или возможностях ее – скучная, тягостная для меня *вторичность:* что̀ могу – то лучше покажу, чего не осилю – о том и не рассуждаю. И такую лекцию мою – каково

будет прочесть бывшим зэкам? Для чего ж мне был голос дан и трибуна? Испугался? Разнежился от славы? Предал смертников?

Посилился я *соединить* тему общества и тему искусства – всё равно не получилось, два многогнутых стержня, отделяются, распадаются. И пробные близкие подтвердили – не то. И послал я шведам письмо, всё объяснил, как есть, честно: потому и потому хочу от лекции отказаться.

Они вполне обрадовались: «То, что для учёного кажется естественным, может оказаться неестественным для писателя – как раз в вашем случае... Вы не должны чувствовать, что как бы нарушили традицию.»

И на том – закрыли мы лекцию. Впрочем, тут еще недоразумение было: директору Нобелевского Фонда пришлось публично объявлять о моем отказе. Но, видимо опасаясь причинить мне вред, он не обнародовал истинной причины отказа, а сочинил свою, для Запада вполне приличную, не догадавшись (роковой разрыв западного и восточного сознаний!), что на Востоке такая причина позорна для меня: потому де не посылаю лекции, что не знаю, каким путем отправить: легальным – цензура задержит, нелегальным – рассматривается властями моей страны как преступление. То-есть, получив Нобелевскую премию, я стал благонамеренный раб?.. Это меня уязвило, пришлось посылать опровержение, оно застряло в пути. Поди, из нашей дыры руками маши, ведь мы бесправны и безголосы, нас выверни как хочешь. (Через полтора года, уже после лекции, это выплывет в «Нью-Йорк Таймс» такой наоборотицей: будто я сперва составил вариант лекции вялый, чисто-литературный, а друзья пристыдили меня: нужно острей!)

Но та̀ была правда в этом случайном вздоре, что пригнулась моя стальная решимость, с какой я прореза̀лся все годы от ареста и без какой – не дойти.

Я не заступился за Буковского, арестованного в ту весну. Не заступался за Григоренко. Ни за кого. Я вел свой дальний счет сроков и действий.

Главный-то грех ныл во мне – «Архипелаг». В конце 69-го года я отодвинул его печатанье до Рождества 71-го. Но вот оно и пришло, и прошло – а у меня отодвинуто снова. Для чего же спешили с таким страхом и риском? Уже Нобелевская премия у меня – а я отодвигаю? Какие бы объясненья я ни подстилал, но для тех, кто в лагерные могильники свален, как мороженые бревна, с дрог по четыре, мои резоны – совсем не резоны. Что было в 1918-м, и в 1930-м, и в 1945-м – неужели в 1971-м еще не время говорить? Их смерть хоть рассказом окупить – неужели не время?..

Если бы я *поехал* – уже сейчас бы сидел над корректурой «Архипелага». Уже весной бы 71-го напечатал его. А теперь измысливаю оправдание, как отодвинуть, отсрочить неотклонимую чашу.

Нет, не оправдание! – но для строгости лучше признать так. Не оправдание, потому что не я один, но и многие из 227 зэков, дававших показания для моей книги, могут жестоко пострадать при ее опубликовании. И для них – хорошо бы она вышла попозже. А для тех, похороненных – нет! скорей!

Не оправдание, потому что Архипелаг – только наследник, дитя Революции. И если скрыто о нем – то еще скрытее, еще недокопаемей, еще искажённее – о ней. И с *ней* спешить – еще более надо, никак не отлагательней. И так сошлось, что – именно мне. И как всё успеть одному?

В мирной литературе мирных стран – чем определяет автор порядок публикации книг? Своею зрелостью. Их готовностью. Хронологической очередностью – как писал их или о чём они.

А у нас – это совсем не писательская задача, но напряженная стратегия. Книги – как дивизии или корпуса: то должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме и беззвучии переходить мосты; то, скрыв подготовку до последнего сыпка земли – с неожиданной стороны в неожиданный миг выбегать в дружную атаку. А автор, как главный полководец, то выдвигает одних,

то задвигает других на пережидание.

Если после «Архипелага» мне уже не дадут писать «Р-17», то как можно бо̀льшую часть его надо успеть до.

Но и так – бессмысленная задача: 20 Узлов, если каждый по году – 20 лет. А вот «Август» 2 года писался – значит, 40 лет? Или 50?

Постепенно сложилось такое решение. Критерий – открытое появление Ленина. Пока он входит по одной главе в Узел и не связан прямо с действием – этим главам можно оставлять пустые места, утаивать их, Узлы выпускать без них. Так возможно с первыми тремя, в IV Узле Ленин уже в Петрограде и ярко действует, открыть же авторское отношение к нему – это всё равно, что «Архипелаг». Итак: написать и выпустить три Узла – а потом уже двигать всё оставшееся, в последнюю атаку.

По расчётам казалось, что это будет весна 1975 года. Человек предполагает...

Окончательное решение, окончательный срок приносили легкость и свет. Пока – отодвинуть и работать, работать. Зато потом – вплотную неизбежно, безо всякой лазейки. И радость: неизбежно? – тем проще!

Пока – печатать уже готовый «Август». Новизна шага: открыто, в западном издании, от собственного имени, безо всяких хитрых уклонов, что кто-то использовал мою рукопись, распространил без ведома, а остановить де руки мои коротки. Всё-таки – новый угол радостного распрямления, всё-таки – движение в ту же сторону. Что-то скажется прямо и о Боге, залузганном семячками атеистов. И для будущих публикаций небезразлично, как будет принят на Западе «Август».

Без вынутой ленинской главы не было в «Августе» почти ничего, что разумно препятствовало бы нашим вождям напечатать его на родине. Но слишком ненавистен, опасен и подозрителен (не без оснований) был я, чтобы решиться утверждать меня тут печатанием. Я это понимал и не дал себе труда послать рукопись «Августа» советскому издательству (да это было бы и уступкой по сравнению с «сусловским»

письмом: сперва пусть «Раковый» печатают). «Нового мира» не было теперь, и я свободен был от частных обязательств. В марте я уже отправил рукопись в Париж, обещали за три месяца набрать. Тут Ростропович, в духе своих блестящих шахматных ходов, предложил всё-таки послать и в советское издательство – изобличить их нежелание. «Да я даже экземпляра им не дам трепать! Одна *закладка* сделана, для Самиздата!» – «А ты и не давай. Ты пошли им бумажку – *извести,* что кончил роман, пусть сами у тебя просят!» Это мне понравилось. Не одну, а семь бумажек отпечатал, в семь издательств, в разных вариантах: ставлю вас в известность, что окончил роман на такую-то тему, такой-то объём. Разослал. Игра, всё-таки, с риском: а вдруг запросят? придется дать рукопись, и тогда остановить набор в Париже? Печатать всё равно не будут, а год вполне могут у меня вырвать. Но так уже тупо заклинило у нас, что и этого хода они не использовали: ни одно издательство и ухом не повело, не отозвалось. Впрочем, рукопись они раздобыли иначе и дали в ФРГ Ланген-Мюллеру готовить пиратское издание еще раньше, чем вышел оригинал в Париже. Откуда ж они взяли текст? Ведь я не давал в Самиздат. Думаю: в квартире, где считывали отпечатки вслух – записали на магнитофон, ведь везде подслушивание.

Быть может, произошла *утечка* у кого-то из моих «первочитателей» (зимой 70-71 года человек 30 их читало. По новизне дела, исторический роман, я просил их заполнить некую авторскую анкету, помочь мне разобраться). А не совсем исключено, что перефотографировали тот экземпляр, который с февраля по май был у Твардовского и давался на вынос нескольким читателям, не известным мне.

Твардовский-то! – так ждал эту вещь, для своего журнала когда-то. Теперь ему хоть перед смертью бы ее прочесть.

В феврале 71-го, как раз через год после разгрома «Нового мира», его выписали из кремлевской больницы, искалеченного неправильным лечением, с лучевой болезнью. И мы с Ростроповичем поехали к нему.

Мы ожидали застать его в постели, а он – стараясь для нас? – сидел в кресле, в больничной курточке фиолетово-зелёно-полосчатой и в лечебных кальсонах, обернут еще пледом. Я наклонился поцеловать его, но он для того хотел обязательно встать, поднимали его с двух сторон дочь и зять, правая сторона у него бездействует и сильно опухла правая кисть.

– По-ста-рел, – тяжело, но четко выговорил он. Неполная по движениям губ улыбка выражала сожаление, даже сокрушение.

По краткости фразы (а оказалась она едва ли не самой длинной и содержательной за всю беседу!..), по недостатку тона и мимики я так и не понял: извинялся ли он за постарение своё? или поражался моему?

Опять его опустили, и мы сели против него. Всё в том же памятном холле, в сажени от камина, и даже на том самом месте, где впервые, в живых движениях и словах, он поразил меня своей склонностью к Самиздату и к Би-Би-Си. Теперь, лицом к целостенному окну, он сидел почти без движений, почти без речи, и голубые глаза, еще вполне осмысленные, а уже и рассредоточенные, как будто теряющие собранную центральность, – то ли понимание выражали, то ли пропуски его, а всё время жили наполненней, чем речь.

Быстро определилось, что связных фраз он уже не говорит вообще. В напряжении начинает – вот, скажет сейчас – нет, выходит изо рта набор междометий, служебных слов – без главных содержательных:

– А как же... как раз... это самое... вот... ?

Но действующей левой рукой – курил, курил неисправимо.

Жена А.Т. принесла 5-й, последний том его собрания сочинений. Я высказал, что помню: тот самый том, который задерживало упорство А.Т. не уступить абзацев обо мне. (Но не спросил, как теперь, наверно уступлены.) А.Т. – кивает, понимает, подтверждает. Потом я вытащил переплетенный в два тома машинописный «Август» и, невольно

снижая темп речи, упрощая слова, показывал и растолковывал Трифонычу как мальчику – что это часть большого целого, и какая, зачем приложена карта. Всё с тем же вниманием, интересом, даже бо̀льшим, но отчасти и рассредоточенным, он кивал. Выговорил:

– Сколько... ?

Второе слово не подыскалось, но очень ясен редакторский вопрос – сколько авторских листов? (Во скольких номерах «Нового мира» это бы пошло?..)

Читал я расстановочно и своё письмо Суслову, объяснял свои ходы и препятствия в «Нобелиане», и с Яррингом, и с премиальными деньгами – всё это с большим вниманием и участием вбирал он, и движеньями головы и заторможенной мимикой выказывал своё вовсе не заторможенное отношение. Усиленно и иронично кивал, как он с Сусловым меня знакомил. Как бы и смеялся не раз, даже закатывался – но только глазами и кивками головы, не ртом, не полнозвучным хохотом. Увидев карту, изумленно мычал, как делают немые, так же – на тайное мое исключение из Литфонда. Будто понимал он всё – и тут же казалось: нет, не всё, с перерывами, лишь когда сосредотачивался.

Мне приходилось разговаривать с людьми, испытывающими частный паралич речи, – эти мучения передаются и собеседнику, тебя дергает и самого. У А.Т. – не так. Убедясь в невозможности выразиться, и не слыша правильного подсказывающего слова, он не сердится на это зря, но общим теплым принимающим выражением глаз показывает свою покорность высшей стихии, которую и все мы, собеседники, признаем над собой, но которая нисколько не мешает же нам понимать друг друга и быть единого мнения. Активная сила отдачи скована в А.Т., но эти теплые потоки из глаз не ущерблены, и болезнью измученное лицо сохраняет его изначальное детское выражение.

Когда Трифонычу особенно требовалось высказаться, а не удавалось, я помогающе брал его за левую кисть – теплую, свободную, живую, и он ответно сжимал – и вот это было наше понимание.

...Что всё между нами прощено. Что ничего плохого как бы и не бывало – ни обид, ни суеты...

Я предложил домашним: отчего б ему не писать левой рукой? всякий человек может, даже не учась, я в школьное время свободно писал, когда правая болела. Нашли картон, прикрепили бумагу, чтоб не сползала. Я написал крупно: «Александр Трифонович». И предложил: «А вы добавьте – Твардовский». Картон положили ему на колени, он взял шариковую ручку, держал ее как будто ничего, но царапающе-слабые линии едва-едва складывались в буквы. И хотя много было простора на листе – они налезли на мою запись, пошли внакладку. А главное – цельного слова не было, смысловая связь развалилась:

Т р с и . . .

Как же он отзовётся на мой роман? Что̀ теперь ему в этом чтении? Я предложил два цвета закладок – для мест хороших и плохих. (Не осуществилось и это...)

И еще сколького не увидит он, не узнает! – самого интересного в России XX века. Предчувствовал:

Смерть – она всегда в запасе,
Жизнь – она всегда в обрез.

А болезни своей он так и не ведает. Грудь болит, кашель – думает: от курения. Голова? – «у меня болезнь, как у Ленина», – говорил домашним.

Потом затеяли чай, одевали А.Т. в брюки, вели к столу. Особенно на ковре бездейственная нога никак не передвигалась, волочилась, ее подтягивали руками сопровождающих; усадив отца на стул, весь стул вместе с ним, крупным, еще подтягивали к столу.

Ростропович за чаем вмеру весело, уместно, много рассказывал. А.Т. всё рассеянней слушал, совсем уже не отзывался. Был – в себе. Или уже т а м одной ногой.

А потом опять мы отвели его в кресло к окну – так чтобы видел он двор, где три года назад, чистя снег, складывал своё письмо к Федину; и прочищенную не им дорожку к калитке, по которой мы с Ростроповичем сейчас уйдем.

Ах, Александр Трифонович! Помните, как обсуждали «Матрёнин двор»? – если бы октябрьская революция не произошла, страшно подумать, кем бы вы были?..

Так вот и были бы: народным поэтом, покрупней Кольцова и Никитина. Писали бы свободно, как дышится, не отсиживали бы четыреста гнусных совещаний, не нуждались бы спасаться водкой, не заболели бы раком от неправедного гонения.

...А когда через три месяца, в конце мая, я еще раз приехал к нему, – Трифоныч, к моему удивлению, оказался значительно лучше. Он сидел в том же холле, в том же кресле, так же повёрнутый лицом к дорожке, по которой приходили из мира и уходили в мир, а он сам не мог добрести и до калитки. Но свободной была его левая нога, и левая рука (всё время бравшая и поджигавшая сигареты), свободнее мимика лица, почти прежняя, и, главное, речь свободнее, так что он осмысленно мог мне сказать о книге (прочёл! понял!): «Замечательно», и еще добавил движением головы, глаз, мычанием.

Стояло в холле предвечернее веселое освещение, щебетали птицы из сада, Трифоныч был намного ближе к прежнему виду, рассказываемое всё понимал и можно было вообразить, что он выздоравливает... Однако, левой рукой не писал и связных фраз более не выговаривал.

Увы, и в этот последний раз я должен был скрытничать перед ним, как часто прежде, и не мог открыться, что через две недели книга выйдет в Париже...

Тем более не мог ему открыть, не мог высказать при домашних, чем еще я очень занят был в ту весну (в перерыве между Узлами, в перерывах главной работы всегда проекты брызжут, обсуждался уже со многими самиздатский «журнал общественных запросов и литературы» – с открытыми именами авторов. Уже и «редакционный портфель» кое-что содержал).

В ту весну внешне только и было одно событие со мной: выход «Августа», открыто от моего имени. (При этом я

предполагал опубликовать свое письмо Суслову, объясняя, что *им* – было предложено, это *они* отвергли все мирные пути. Но потом раздумал: сам по себе выход книги сильнее всякого письма, нападут – опубликую. Не напали.)

На самом же деле, как бывает при затишьи военных действий, шла непрерывная подземная, подкопная, минная война. Она полна была труда, забот, высших волнений – пройдет или нет? срыв или удача? – а снаружи совершенно не видна, снаружи – бездействие, дремота, загородное одиночество. Мы – готовили фотокопии недостающих на Западе моих вещей, еще много было прорех, и пользуясь каналом, о котором когда-нибудь, благополучно отправили всё на Запад, создали недосягаемый для врага *Сейф*. Это была крупнейшая победа, определяющая всё, что случится потом. («Архипелаг» пришлось сдублировать, послать вторично. Та рискованная Троицкая отправка расплылась потом в несовершенстве, я перестал быть ее полным хозяином и мне надо было снабдить адвоката независимым экземпляром. Об этом тоже когда-нибудь.) Только с этого момента – с июня 1971 года, я действительно был готов и к боям и к гибели.

Нет, даже еще не с этого. Мое главное завещание (невозможное к предъявлению в советскую нотариальную контору) было отправлено д-ру Хеебу в 71-м году, но – не заверенным. Лишь в феврале 72-го приехавший в Москву Генрих Бёлль своей несомненной подписью скрепил каждый лист, – и вот только отправив на Запад это завещание, я мог быть спокоен, что будущая судьба моих книг – в руках моих вернейших друзей.

Завещание начиналось с *программы* для отдельной публикации:

«...Настоящее завещание вступает в силу в одном из трех случаев:

– либо моей явной смерти;

– либо моего бесследного (сроком в две недели) исчезновения с глаз русской общественности;

– либо заключения меня в тюрьму, психбольницу, лагерь, ссылку в СССР.

В любом из этих случаев мой адвокат г. Ф. Хееб публикует моё завещание одновременно в нескольких видных газетах мира. Этой публикацией завещание вводится в силу. Никакое в этом случае моё письменное или устное возражение из тюрьмы или иного состояния неволи **не отменяет**, не изменяет в данном завещании ни пункта, ни слова. Некоторые скрытые подробности завещания и личные имена получателей, устроителей, распорядителей оглашаются моим адвокатом лишь после того долгожданного дня, когда на моей родине наступят элементарные политические свободы, названным лицам не будет грозить опасность от разглашения и откроется ненаказуемая легальная возможность это завещание исполнять...»

И дальше – распределение Фонда Общественного использования (я называл не цифры – цели, в которых хотел бы участвовать, надеясь, что они привлекут и других желателей помочь, и таким образом будут восполнены недостающие суммы).

Такая публикация сама по себе представляла сильный отдельный **удар**.

Долго это, долго: подготовить к бою корпуса, снабдить до последнего патрона и вывести на исходные позиции.

А враги – вели подкопы свои, о которых мы, естественно, не знали. В Западной Германии и в Англии в 71-м году готовились пиратские издания «Августа» с целью подорвать права моего адвоката и с *этой* стороны разрушить возможное моё печатание на Западе. В СССР по тексту «Августа» начались розыски моего *соцпроисхождения*. Почти все родственники уже были в земле, но выследили мою тётушку – и к ней отправилась гебистская компания из трёх человек выкачать на меня «обличительные» данные.

А я тем летом был лишен своего Рождества, впервые за много лет мне плохо писалось, я нервничал – и среди лета, как мне нельзя, решился ехать на юг, по местам

детства, собирать материалы, а начать – как раз с этой самой тёти, у которой не был уже лет восемь.

В полном соответствии с ситуациями минной войны иногда подкопы встречаются лоб в лоб. Если б я доехал до тети, то гебистская компания приехала бы при мне. Но меня опалило в дороге, и я с ожогом вернулся от Тихорецкой, не доехав едва-едва. Гебисты-«почитатели» успешно навестили тётю, от нее получили (для «Штерна») записи, рассказы, и вот ликовали! По 20-м–30-м годам обвинения были убийственные, это всё и скрывали мы с мамой всю жизнь, дрожа и сгибаясь в раздавленных хибарках. Однако, сорвался другой их подкоп: благодаря внезапному возврату (всё те же правила минной войны) я попросил приятеля (Горлова) съездить в Рождество за автомобильной деталью. Он мог поехать во всякий другой день, но по случаю поехал тотчас, едва я вернулся с юга – 11 августа, и час в час накрыл 9 гебистов, распоряжавшихся в моей дачке! Не вернись я с юга – их операция прошла бы без задоринки – ктò больше выиграл, ктò проиграл от моего возврата? В Рождестве в это лето жила моя бывшая жена, она была под доглядом своего знакомого (*их* человека), и в этот день гебистам было гарантировано, что она – в Москве и не вернется. А я – на юге. Они так распустились, что даже не выставили одного человека в охранение – и Горлов застал их в разгар работы и может быть – лишь при начале ее: ставили ли они какую-нибудь сложную аппаратуру? но обыска подробного еще не успели произвести, или так и не научились этого делать? Сужу по тому, что много позже, уже в 72-м году, опять живя в Рождестве, я обнаружил там не уничтоженный мною по недосмотру, привезенный на сожжение **за год** до того, полный комплект копирики *от этого самого* «Телёнка», которого сейчас читает читатель (включая предыдущую главу) и такой же комплект копирки от сценария «Знают истину танки»! Каждый лист пропечатывался дважды, но очень многое легко читалось – и давно б у них были почти полные тексты, – нет, прошлёпали гебисты! (Позже я узнал: на

другое утро, в 4 часа, в тумане, под лай собак, опять приходил их десяток, что-то доделать или следы убрать. Напуганные соседи подсматривали меж занавесок, не вышел никто.) Из-за Горлова пришлось им всё бросить и бежать, правда – Горлова волокли за собою как пленного, лицом об землю, и убили бы его, несомненно, но он успел изобрести и в горячие минуты выдать себя за иностранного подданного, а такого нельзя убивать без указания начальства, затем сбежались соседи, потом обычный допрос в милиции – и так он уцелел. Он мог бы смолчать, как требовали от него, – и ничего б я не узнал. Но честность его и веяния нового времени не позволили ему скрыть от меня. Правда, моего шага [17] он не ждал, даже дух перехватило, а это было – спасенье для него одно. Я лежал в бинтах, беспомощный, но разъярился здоровей здорового, и опять меня заносило – в письме Косыгину [18] я сперва требовал отставки Андропова, еле меня отговорили, высмеяли.

Так взорвался наружу один подкоп – и, кажется, дёрнул здорово, опалило лицо самому Андропову. Позвонили (!) ничтожному зэку, передали от министра лично (!): это не ГБ, нет, милиция... (Надо знать наши порядки, насколько это нелепо.) Вроде извинения...

Другие подкопы они взорвали осенью: два пиратских издания «Августа», потом статья в «Штерне». Считаю, что взрывы намного слабей: мудростью главным образом английского судьи, создавшего юридический прецедент, проиграли они годовые судебные процессы, и права моего адвоката утвердились крепче, чем стояли. А статья «Штерна», перепечатанная «Литературкой», вызвала в СССР не гнетущую атмосферу травли, как было бы в славные юно-советские годы, а взрыв веселого смеха: так трудолюбивая хорошая семья?! (И сами же себе развалили «сионистскую» трактовку моей деятельности.)

Вот времена! – кучка нас, горсточка, а у них – величайшая тайная полиция мировой истории, какой опыт, сколько лбов дармовых, какая механизация врубового дела, сколько динамита, – а минную войну не могут выиграть.

Тàк говорю, потому что: не всё тут, много еще случаев. Если рассказывать подробно и всё вспоминать, то все годы бòльшая часть наших забот и тревог уходила не на крупные действия, дающие плодоносные результаты, но на волненья, метанья, поиски, предотвращенья, предупрежденья, – это в условиях, когда у *них* слежка, у них связь, телефонная, почтовая, а нам нельзя ни звонить, ни писать, иногда и встречаться – а как-то спасать положение. Таких острых опасностей было два десятка, не преуменьшу – когда-нибудь рассказать о них подробней.

Тут вспомню два-три случая. Один – в провинциальном городе, куда заслан на хранение «Круг Первый», 96-главый. Не по слежке, не по подозрению, но по обстоятельству, которого предвидеть невозможно, в комнату, где хранится «96-й», приходят гебисты. Ясно, что обыск и спасенья нет. А они – обыска не делают, берут и требуют признания, что у человека есть «Читают Ивана Денисовича». Он признаётся, сдаёт. Но 96-го не уничтожает – ведь велено хранить, и еще долгая переписка с оказиями, мы знаем о визите ГБ, возможен повторный и захватят «96-й», сжигайте скорей! ответа долго нет! пока наконец сжигается.

Другой раз грянуло: «Телёнок» – вот этот самый опять, который вы держите сейчас в руках, «Телёнок» – *ходит по Москве!* Ошеломительно! Ведь тут – всё нараспашку, всё названо открыто, опаснее этого – чтò же еще? Хранили, таили – как вырвалось? где? через кого? почему? Начинаем следствие, проверяем наши экземпляры, надо ехать за город и физически проверить, что на месте, что не двигались, что не могли перефотографировать. Подозрение, недоверие, всё в суматохе и переполохе.

И – поиск с другого конца: кто слышал, что читали? кому рассказали, что кто-то читал? и кто же – читал сам? как выглядел экземпляр? на чьей квартире читали? их адрес, их телефон? (Не обойтись без называний по телефонам голосами взволнованными, уже на Лубянке, наверно, заметили, вперебой нам пометёт и *их* погоня сейчас!) На ту

квартиру! *Колитесь* честно, лучше передо мной, чем ждать, пока прикатит ГБ. Кòлятся, называют. И – машинописный отпечаток кладут передо мной. Экземпляр – не наш! (наши честно на месте оказались). Не наш – значит, новая перепечатка! Еще четыре-пять таких? Не наш – и не фотокопия нашего. Но спечатан – *точно* с нашего, и даже рукописно внесены мои последнейшие поправки. Значит – воровали мне вослед, копировали из-под руки, кто-то самый близкий, тайный, кто же? Звонить тому человеку, кто приносил. Нет дома. Сидим и ждем, меньше мельканья. Через несколько часов – приходит тот человек, и смущенно называет источник. Из самых доверенных! Дали ей – только прочесть. Она – тайком перепечатала (для истории? для сохранности? просто маниакально?). И дала прочесть – одному ему (он – близкий). А он принес – *этим,* в благодарность за какой-то должок. А *эти* – позвали на радостях ближайшую подругу. А та взахлёб по телефону поделилась со своей подругой. И на этом четвертом колене – схвачено нами! передали – нам! Велика Москва, а пути по ней – короткие. Звоним и виновнице. Встречаемся и с ней. Признанья, рыданья. Впредь отсечена. Конфискую добычу. За эти часы есть признаки: гебисты взволновались, засновали гебистские легковые по четыре молодчика в темном нутре. Облизнитесь, товарищи! Опоздали на полчасика! (Так и не знают: о *чём* был переполох? чтò мы искали? чтò они упустили?)

А в декабре 69-го – очень похожий случай с «Прусскими ночами». Так же вот слух по Москве: *ходят!* невозможно, но – *ходят!* Так же бросился по квартирам, по следам, так же поймал копию: тоже – не наша! но – *точно* с нашей! Украдено! близким! кем? Находятся и следы: мой приятель держал несколько дней, дал *почитать*. А те – *перешпòкали*. И держали в тайне 4 года! Но поскольку меня изгнали из Союза – теперь отчего ж не пустить в Самиздат? (Не скоро узнаю: из Самиздата выловило ГБ. Тотчас же наш излюбленный «Штерн» предложил рукопись в «Ди Цайт», горячо уверяя, что действует по моему поручению

и что мое настойчивое желание видеть поэму как можно скорее напечатанной на Западе. Так состраивали на меня криминал. Но почему таким сложным путём? В «Цайт» мы погасили с другого конца. И почему-то больше не вспыхивало.) Как мог – погасил по Москве. Движение рукописи прекратилось.

Вот из таких *спокойных* недель составляются *спокойные* наши годы, мирные, без заметных событий, когда главные силы неподвижны и «ничего не происходит».

И сколько же лет так можно тянуть? До сегодня – 27 лет, от первых стихов на шарашке, первых пряток и сжогов.

А над этой скрытой мелкой войною высоким слоем облаков – плывет история, плывут события всем видные – и своим чередом зовут к действию, исторгают выклик. Сколько-то удержано, сколько-то не удержать.

В декабре 71-го мы хоронили Трифоныча.

Перегорожены были издали прилегающие улицы, не скупясь на милиционеров, а у кладбища – и войска (похороны поэта!), отвратительно командовали через мегафон автомобилям и автобусам, какому ехать. Кордон стоял и в вестибюле ЦДЛ, но меня задержать не посмели всё-таки (жалели потом). От неуместного алого шелка, на котором лежала голова покойного (в первые же часы после смерти вернулось к нему детское доброе примирённое выражение, его лучшее) и чем затянут был гроб весь, от лютых и механических физиономий литературного секретариата, от фальшивых речей – всё, чем мог я его защитить, было два крестных знамения – после двух митингов – одно в ЦДЛ, другое на кладбище. Но думаю, для нечистой силы и того довольно. Допущенный ко гробу лишь по воле вдовы (а она во вред себе так поступила, зная, что выражает волю умершего), я, чтобы не подводить семью, не решился в тот же вечер дать в Самиздат напутственное слово – и придержал его до девятого дня, оттого – каждый день читал его, читал, повторял – и вжился

в это прощальное настроение, когда события жизней мерятся совсем другими отрезками и высотами, чем мы делаем повседневно. [19]

Высказал. Так естественно – смолкнуть теперь, само горло не говорит. Но всего через неделю, в сочельник ночью слушаю по западному радио рождественскую службу, послание патриарха Пимена – и загорается: писать ему письмо! Невозможно не писать! И – новые заботы, новое бремя, новая сгущенность дел.

(С того письма, нет, уже с «Августа» начинается процесс раскола моих читателей, потери сторонников, и со мной остаётся меньше, чем уходит. На «ура» принимали меня пока я был, по видимости, только против сталинских злоупотреблений, тут и всё общество было со мной. В первых вещах я маскировался перед полицейской цензурой – но тем самым и перед публикой. Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить всё точней и идти всё глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять современников, в надежде на потомков. Но больно, что терять приходится даже среди близких.)

*

* *

Но почему это всё здесь рассказывается? а где же обещанная Nobeliana?

А нобелиана – своим чередом. Пер Хегге был сильно сердит на Ярринга за низость в нобелевской истории и обещал непременно его разоблачить. Но Хегге выслали из СССР, я об его угрозе и забыл. А он – исполнил и попал на лучшее время: в сентябре, за месяц до присуждения новых премий и в начале той сессии ООН, где будут выбирать генерального секретаря, куда Ярринг жаждет, опубликовал книгу воспоминаний – и в ней подробно, как Ярринг подыгрывал советскому правительству

против меня.* И – создал в Швеции скандал, даже премьер-министру Пальме, легкокрылому и быстроумому социалисту, тоже сердечно расположенному к стране победившего пролетариата, пришлось оправдываться – и по шведскому телевидению, и письмом в «Нью-Йорк Таймс». Сперва: он, Пальме, не знал, как Ярринг распорядился. Потом и посмелей: а что ж оставалось делать? посольство – не место для политической демонстрации (как он заранее уверен, что чистой литературы тут не жди!). И опять качнули Шведскую Академию, покоя нет ей со мной, такой хлопотной лауреат был ли раньше? Секретарь Академии Карл Гиров заявил: вот в понедельник напишу письмо Солженицыну, не хочет ли он получить нобелевские знаки в посольстве. Юмор: это он – в субботу сказал, в субботу же и по радио передали. А у меня как раз оказия на Запад в воскресенье, сижу ночью письмо пишу. Я сразу и ему *ответ,* отослал в воскресенье. А Гиров, оказывается, не только в понедельник, но и три недели письма не отправил. А мой *ответ* – получил... Мой ответ: неужели нобелевская премия – воровская добыча, что ее надо передавать с глазу на глаз в закрытой комнате?.. А пока прислали мне коммюнике Академии (срок легальных писем – 3 недели в один конец), я и коммюнике услышал по радио и – ответил тотчас же.

После долгой болезни я только вошел в работу над «Октябрём 16-го», оказалось – море, двойной Узел, если не тройной: за то, что я «сэкономил», пропустил «Август 15-го», несомненно нужный, и за то, что я в 1-м Узле обошел всю политическую и духовную историю России с начала века – теперь всё это сгрудилось, распирает, давит. Только бы работать, так нет, опять зашумела Нобелиана, как будто мне с медалью и дипломом на руках будет легче выстаивать против ГБ. Раз так – надо Узел

* Книги я не читал, но судя по цитатам, Хегге поместил там и непроверенные слухи – например, что только Сахаров отговорил меня от поездки в Стокгольм. О том и разговора у нас не было с Сахаровым.

бросать, опять оживлять и переделывать лекцию, а напишешь – с нею выступать. А там такого будет наговорено – может быть, и разломается моё утлое бытие, и мое пристанище тихое бесценное у Ростроповича, ах, как жаль бросать II-й Узел, так хорошо я наметил: трудиться тихо до 75-го года.

Человек предполагает...

В этот раз мне как-то удалось освободить лекцию от избытка публицистики и политики, стянуть ее точнее вокруг искусства и, может быть, приблизиться к – еще никем не определенному и никому не ясному – жанру нобелевской лекции по литературе. Тем временем шла переписка с секретарем Шведской Академии Карлом Рагнаром Гировым [20]. Шведское м.и.д. снова отказало предоставить посольство для церемонии, я предложил квартиру моей жены, где сам еще не имел права жить [21]. Прецедента, кажется, не было, но Гиров согласился. За эти месяцы я очень оценил его такт и глубокие душевные движения, он всё более проявлял себя не исполнителем почётной должности, но сердечным, решительным и смелым человеком (была ему и в Швеции на многих нужна смелость). Стали уточнять срок. Он не смог в феврале и марте. Такая отложка устроила и меня: чтение лекции казалось мне взрывом, до взрыва надо было привести в порядок дела (сколько ни приводи, всегда они в расстройстве): хоть часть глав II Узла довести до чтимости; рассортировать перед возможным разгромом свои обильные материалы, накопленные для Р-17; съездить еще раз в Питер и посмотреть нужные места, пейзажи, до которых, может быть, меня уже никогда не допустят (отдельная новелла, как я проник в... Другой раз когда-нибудь).

Немало сил отобрало непривычное письмо Патриарху, надо было советоваться с людьми понимающими и не дать разгласиться. Тут ударила «Литературка» по моей родословной и по мне, приходилось изнехотя обороняться. Еще плохо зная нравы западных корреспондентов, я дал ответ через корреспондента гамбургской «Ди Вельт», а он

струсил, отдал в третьи руки, смазал, ответа не вышло, было мелко-досадно. А отвечать (не только на это, уж много накопилось, снесенного молча) мне казалось необходимым. И появилась естественная мысль: несколько назревающих выступлений стянуть во времени, так чтоб они прошли кучно, каскадом, семь бед один ответ, а не поодиночке. Такие сгущения событий рождаются сами собой в кризисные моменты, как было в апреле 68-го при выходе «Ракового», но кроме того их можно сгущать и по собственному плану, используя неповторимую особенность советских *верхов:* тупоумие, медленность соображения, неспособность держать в голове сразу две заботы. Дату нобелевской церемонии – 9 апреля, на первый день православной Пасхи, Гиров объявил, подавая заявление на визу, кажется, 24 марта. 17-го я послал свое письмо Патриарху, рассчитывая, что оно опубликуется лишь в конце марта. Через несколько дней после него дам интервью, первое за 9 лет, форма, которой они от меня не ждут, да большое. И прежде, чем они успеют его переварить – проведу нобелевскую церемонию и прочту лекцию, в которой и полагал самое опасное. После чего и можно смирно сидеть и ждать всех кар.

А пошлò так: письмо Патриарху, пущенное лишь в узко-церковный Самиздат, с расчетом на медленное обращение среди тех, кого это действительно трогает, вырвалось в западную печать мгновенно. Как я потом узнал, оно вызвало у госбезопасности захлёбную ярость – бòльшую, чем многие мои предыдущие и последующие шаги. (Немудрено: атеизм – сердце всей коммунистической системы. Но, парадоксально: и среди интеллигенции этот шаг вызвал осуждение и даже отвращение: как я узок, слеп и ограничен, если занимаюсь такой проблемой, как церковная; или с другой мотивировкой: причем тут духовенство? оно бессильно – то-есть, как и интеллигенция, самооправдание по аналогии, – пусть пишет властям. Дойдет дело и до властей. При многом осуждении я ни разу не пожалел об этом шаге: если не духовным отцам первым показать

нам пример духовного освобождения ото лжи – то с кого же спрос? Увы, наша церковная иерархия так и оставила нас на самоосвобождение.) И (позднейшая реконструкция) где-то в 20-х числах марта было принято давно откладываемое правительственное решение: ошельмовать меня публично и выслать из страны. Для этого расширилась и усилилась газетная кампания против меня. По обычному своему недоумию они выбрали невыгоднейшее для себя поле: клевать «Август», не перехваченный пиратскими перепечатками, так теперь объявленный моей самой лютой антипатриотической и даже антисоветской книгой. Для того мобилизовали коммунистическую западную прессу (ибо в СССР кто же мог «Август» прочесть?) и перепечатывали оттуда всякую ничтожную писанину – большей частью в «Литературке», но затем и в других центральных газетах, иные статьи обвиняли меня прямыми формулировками из уголовного кодекса, а послушная советская «общественность» от писателей до сталеваров посылала гневные «отклики на отзывы». На этот раз настолько твердо решенье было принято, что придумывались и практические приёмы, как меня будут этапировать: через полицейское *задержание,* то-есть временный арест (просочился к нам и этот замысел, сменивший прежний план автомобильной аварии, «вариант Ива Фаржа»); настолько твёрдо, что Чаковский на «планёрке» в своей редакции при 30 человеках открыто, многозначительно объявил: «**Будем высылать**!». Видимо, на середину апреля намечалась эта операция, к тому времени должна была достичь максимума газетная кампания.

Но мой график был стремительней. Американские корреспонденты пришли ко мне без телефонного звонка. Газеты их были две сильнейшие в Штатах, происходило это за полтора месяца до приезда американского президента в СССР. Интервью не имело значения общественного, я не говорил ни об узниках, ни о разлитых по стране несправедливостях – уже скоро 2 года молчал я об этом в своем внешнем «затмении», в жертве всем для Р-17,

так и сейчас отмерял не перейти неизбежный уровень столкновения и не заслонить лекцию. Интервью было в основном разветвленною личной защитой, старательной метлой на мусор, сыпаный мне на голову несколько лет, – но сам вид этого мусора сквозь ореол «передового строя» вызвал достаточное впечатление на Западе.

По внезапности появления и открывшимся мерзостям интервью [22] оглушило моих противников, как я и рассчитывал. И даже больше, чем я рассчитывал. Оно появилось 4 апреля – и менее чем за сутки, вопреки своей обычной медлительности, власть, не успев обдумать, защитилась рефлекторным рывком, простейшим движением: себе на посмех и позор отказала секретарю Шведской Академии в праве приехать и вручить мне нобелевские знаки. Что будет читаться лекция – не писалось в письмах, не говорилось под потолками, только смутно догадываться могли власти, публично шла речь лишь о том, что на частной московской квартире будут вручены нобелевские знаки в присутствии друзей автора – писателей и деятелей искусства. И этого – испугалось всемирно-могучее правительство!.. – будь левый Запад не так оправдателен к нам, одна эта самопощёчина надолго бы разоблачила всю советскую игру в культурное сближение. Но по закону левого выворота голов – *красным* всё прощается, *красным* всё легко забывается. Как пишет Оруэлл: те самые западные деятели, которые негодовали от одиночных смертных казней где бы то ни было на Земле, – аплодировали, когда Сталин расстреливал сотни тысяч; тосковали о голоде в Индии – а исполегающий голод на Украине замечен не был.

По нашему обычному ловкому умению давать отмазку, советское посольство в Стокгольме оговорилось, впрочем, что «оно не исключает, что виза Гирову будет дана в другое, более удобное время» – чтобы смягчить раздражение, создать иллюзию и плавный переход на ноль. Шведское МИД сделало заявление в масть. Но мы-то здесь слишком понимаем такую игру! – и я стремительно разрубил её

особым заявлением [23]. Запрет на приезд Гирова закрывал, обессмысливал всю церемонию. Да и облегчал – и устроителей, и тех, кто дал согласие прийти.

Подготовка этой церемонии кроме бытовых трудностей – прилично принять в рядовой квартире 60 гостей и всё именитых, либо западных корреспондентов, – подготовка была сложна, непривычна и во всех отношениях. Сперва: определить список гостей – так, чтобы не пригласить никого сомнительного (по своему общественному поведению), и не пропустить никого достойного (по своему художественному или научному весу) – и вместе с тем, чтобы гости были реальные, кто не струсит, а придет. Затем надо было таить пригласительные билеты – до дня, когда Гиров объявил дату церемонии, и теперь этих гостей объехать или обослать приглашениями – кроме формальных еще и мотивировочными письмами, которые побудили бы человека предпочесть общественный акт неизбежному будущему утеснению от начальства. Число согласившихся писателей, режиссёров и артистов удивило меня: какая ж еще сохранялась в людях доля бесстрашия, желания разогнуться или стыда быть вечным рабом! А неприятности могли быть для всех самые серьезные, но правительство освободило и приглашенных и себя от лишних волнений. Конечно, были и отречения – характерные, щемящие: людей с мировым именем, кому не грозило ничто.

В подготовку церемонии входил и выбор воскресного дня, чтоб никого не задержали на работе, и дневного часа – чтобы госбезопасность, милиция, дружинники не могли бы в темноте скрыто преградить путь: днем такие действия доступны фотографированию. Надо было найти и таких бесстрашных людей, кто, открывая двери, охранял бы их от врыва бесчинствующих гебистов. Предусмотреть и такие вмешательства, как отключение электричества, непрерывный телефонный звонок или камни в окно – бандитские методы последние годы становятся в ГБ всё более излюбленными.

Ото всех этих хлопот избавило нас правительство.

В виде юмора я посылал приглашение министру культуры Фурцевой и двум советским корреспондентам – газет, которые до сих пор не нападали на меня: «Сельской жизни» и «Труда». «Сельская жизнь» и прислала на несосостоявшуюся церемонию единственного гостя-гебиста, проверить, не собрался ли всё-таки кто. А «Труд», орган известного ортодокса Шелепина, поспешил исправить свой гнилой нейтрализм и в эти самые дни успел выступить против меня.

Но то было – из последних судорог их проигранной кампании: потеряв голову, опозорясь с нобелевской церемонией, власти прекратили публичную травлю и в который раз по несчастности стекшихся против них обстоятельств оставили меня на родине и на свободе.

И так была бы исчерпана полуторагодичная Nobeliana, если б не осталось главное в ней – уже готовая лекция. Чтоб она попала в годовой нобелевский сборник, надо было побыстрей доставить ее в Швецию. С трудом, но удалось это сделать (разумеется, снова тайно, с большим риском). К началу июня она должна была появиться. Я всё еще ждал взрыва, в оставшееся время поехал в Тамбовскую область – глотнуть и ее, быть может, в последний раз.

Но ни в июне, ни в июле того изнурительно-жаркого лета лекция не появилась. Неужели ж настолько прошла незамеченной? Лишь в августе я узнал, что летом была в отпуску многая шведская промышленность, в том числе и типографские рабочие. Годовой сборник опубликовался лишь в конце августа.

Пресса была довольно шумная, больше недели. Но две неожиданности меня постигли, показывая неполноту моих предвидений: лекция не вызвала ни шевеления уха у *наших,* ни – какого-либо общественного сдвига, осознания на Западе.

Кажется, я *очень* много сказал, я даже всё главное сказал – и проглотили? А: лекция была хоть и прозрачна, но всё же – в выражениях общих, без единого имени

собственного. И *там,* и *здесь* предпочли не понять.

Нобелиана – кончилась, а взрыв, а главный бой – всё отлагался и отлагался.

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ

Встречным боем называется в тактике такой вид боя, в отличие от наступательного и оборонительного, когда обе стороны назначают наступление или находятся в походе, не зная о замыслах друг друга, – и сталкиваются внезапно. Такой вид неспланированного боя считается самым сложным: он требует от военачальников наибольшей быстроты, находчивости, решительности и обладания резервами.

Такой бой и произошел на советской общественной арене в конце августа-сентябре 1973 года – до той степени непредвиденный, что не только противники не ведали друг о друге, но даже на одной стороне «колонны» (Сахаров и я) ничего не знали о движениях и планах друг друга.

Хотя прогляженные в предыдущей главе 1971 и 72 годы уж не такие были у меня спокойные, но и не такие сотрясательные, то ли я притерпелся. У меня всё время было сознание, что я скрылся, замер, пережидаю, выигрываю время для Р-17, а современность как будто перестаю различать в резком фокусе. И всякий раз, отказываясь от вмешательства, я даже не мог никому, тем более деятелям «демократического движения» (очень легким на распространение сведений) объяснять, почему ж я именно молчу, почему так устраняюсь, хотя как будто мне «ничего не будет», если вмешаюсь. Да при дремлющем роке и само житьё у Ростроповича в блаженных условиях, каких у меня никогда в жизни не было (тишина, загородный воздух и городской комфорт), тоже размагничивало волю. Не взор-

вался на письме министру ГБ, не взорвался на письме Патриарху, не взорвался на нобелевской лекции – и сиди, пиши. Тем более, так труден оказался II-й Узел, и переход к III-му не обещал облегчения. И ту развязку, что передо мной неизбежно висела всегда – я откладывал. И даже когда в конце 72-го года я окончательно назначил появление «Архипелага» на май 75-го, мне это казалось – жертвой, добровольным *ускорением* событий.

Житьё у Ростроповича подтачивалось постепенно. Узнав меня случайно и почти тотчас предложив мне приют широкодушным порывом, еще совсем не имея опыта представить, какое тупое и долгое обрушится на него давление, даже вырвавшись с открытым письмом после моей нобелевской премии, и еще с год изобретательно защищаясь от многочисленных государственных ущемлений, – Ростропович стал уставать и слабеть от длительной безнадёжной осады, от потери любимого дирижёрства в Большом театре, от запрета своих лучших московских концертов, от закрыва привычных заграничных поездок, в которых прежде проходило у него полжизни. Вырастал вопрос: правильно ли одному художнику хиреть, чтобы дать расти другому? (Увы, мстительная власть и после моего съезда с его дачи не простила ему четырёхзимнего гостеприимства, оказанного мне.)

Подтачивался мой быт и со стороны полицейской, уже не только министерство культуры жаждало очиститься от такого пятна. Да все *верхи* раздражал я как заноза, живя в их запретной сладостной привилегированной барвихской *спецзоне*. А по советским законам выселить меня ничего не составляло: 24 часа было достаточно в такой особой правительственной зоне. Но соединение двух имен – моего и Ростроповича, сдерживало. А попытки делались. Наезжал капитан милиции еще перед нобелевской премией, я сказал: «гощу». Отвязался.

В марте 71-го года как-то был у меня «лавинный день» – редкий в году счастливый день, когда мысли накатываются неудержимо и по разным темам и в незаказанных

направлениях, разрывают, несут тебя, и только успевай записывать хоть неполностью, на любом черновике, разработаешь потом, а сейчас лови. В счастливом состоянии я катался на лыжах, еще там дописывая в блокнотик, воротился – зовет меня старушка Аничкова на верхний этаж большой дачи:

– А.И., идите, пришла вас милиция выселять!

Сколько этого я ждал, и ждать уже перестал, хотя на такой случай лежала у меня приготовленная бумага – в синем конверте, в несгораемом шкафике. Неужели осмелились, да перед самым своим XXIV съездом (как сутки, не знали бы своего XXV-го!) – или не понимают, какой будет скандал?

Трое их, от капитана и выше. Постепенно выясняется, что главный, некто Аносов – начальник паспортного отдела московской области, немалая пишка, – умный, с юмором, есть у них всё-таки люди, попадаются. Я в своем счастливом легком состоянии так же легко, свободно влился в разговор – победоносно-развязно, в лучшей форме, как когда-то с таможенниками.

За бумагой мне сходить в мой флигель – три минуты и сейчас я перед вами ее положу или прочту драматически, стоя, тем и вас понужу приподняться из кресел. Нет. Нет, сегодня еще не выселяют они меня: не составляют *протокола,* первого, а по второму передаётся в суд. Они только давят на меня, чтобы я в несколько дней озаботился о прописке, или уезжал бы. В Рязань. В капкан.

Естественно. Всякий советский человек, без верховой защиты, что̀ может сделать в таком положении? Тихо подчиниться. Выхода нет. Но, слава Богу, я уже вышагнул и выпрямился из ваших рядов.

Сперва, с большой заботой к их личным судьбам:

– Товарищи, пожалуйста, составляйте протокол – но остерегитесь! Очень прошу вас – не сделайте *личной* ошибки, на которой вы можете пострадать. Прошу вас, прежде проверьте **на самом верху**, действительно ли там решили, что надо меня выселить. А то ведь потом на вас же и свалят.

Тупой майор: – Если я действую по закону и в своём районе – мне ни у кого не надо спрашивать.

– Ах, товарищ майор, вы еще мало служите!.. Вы же окажетесь и самоуправ. Мой случай – очень *деликатный*.

Областной начальник: – Но ведь я же насилия и не применяю.

– Еще бы вы применяли насилие! Но даже и при самом нежном обращении – может произойти большой скандал.

Так я уверенно говорю, как будто из соседней комнаты хоть сейчас могу Брежневу звонить. Опытный царедворец понимает: осторожно, заминировано, откуда-то моя уверенность идёт. Заминается.

Но что ж мне выигрывать несколько дней? Мне надо *наверх* через них передать, как это серьёзно, насколько я *готов*. Дача Ростроповича для меня – рубеж жизни и работы, пусть знают, что *тихо* не выйдет.

И в новом повороте разговора сделав страшноватые арестантские глаза, я заявляю металлически:

– Своими ногами в Рязань? – не пойду, не поеду! Судебному решению? – не подчинюсь! **Только в кандалах**!

Вот так – мне легче, совсем легко. Утопить в луже я себя не дам, накатывайте уж море! Чувствую себя молодо, сильно, снова в бою.

Уходят вежливые, растерянные. Не ожидали.

– Будет грандиозный скандал! – напутствую я их поощрительно.

Потому что следующий раз, когда они составят протокол, я поиграю еще с ними в советскую букашку, буду проверять в протоколе каждую закорючку, требовать второй экземпляр для себя, а когда подойдёт дело подписывать – вдруг выну, подпишу своюбумагу и поменяю на протокол:

«МИЛИЦИИ, понуждающей меня выселиться из подмосковного дома Мстислава Ростроповича – в Рязань, по месту моей милицейской «прописки», –

МОЙ ОТВЕТ

Крепостное право в нашей стране упразднено в 1861 г. Говорят, что октябрьская революция смела его последние остатки. Стало быть я, гражданин этой страны, – не крепостной, не раб, и...»

С *ними* так надо стараться в каждом деле: поднимать звук на октаву. Обобщать, как только хватает слов. Не себя одного, не узкий участок защищать, но взламывать всю их систему!

И всё – не подошёл тому час?! Доколе же?

Ветер борьбы дунул в лицо – и как сразу весело, и даже жалко, что вот – уходят, и готовая чудная такая бумага остаётся втуне.

Через полгода – пришли опять. Тот же Аносов с каким-то штатским, кривым. Я к ним пошел уже сразу с синим конвертом. Положил, между ним и собой. Но Аносов – сама любезность, лишь напоминание: как же всё-таки с пропиской?.. *неудобно*... вот уже два года (где два дня нельзя, где московская прописка тоже значит ноль!) ...Ну, при таком тоне: вот, как улажу семейные дела... – Так улаживайте, улаживайте! – обнадёживает, торопит. – Да ведь мне и после регистрации брака всё равно московской прописки не дадут? – Что̀ вы, что̀ вы, по закону – обязаны прописать.

На всякий-то случай и другой регистр: – Ведь мы можем и к Ростроповичу как к домохозяину предъявить претензии. У него могут и дачу отнять. – Смотрите, говорю, эта сковородка и так накалена, зачем на нее еще лить?..

А синий конверт – лежит между нами – безобидный, неразвёрнутый, туневой. И я: – Если на вас очень нажмут – вы не утруждайте себя визитом, отдайте районной милиции распоряжение, они так хотели составить протокол. Правда, я предам гласности...

Кривой: – Что̀ значит «гласность»? Закон есть закон.

Я (с металлом): – Гласность? Это: я по протоколу никуда не уеду, и в суд не пойду, а выносите уголовный приговор о ссылке.

– Что вы, что вы! – заверяют, – до этого не дойдёт.

И – не двинулась моя бумага. Все так же беззаконно прожил я у Ростроповича еще полтора года.

Когда же развод состоялся и регистрация с женою, живущей в Москве, тоже – и я законно подал заявление на московскую прописку – вот тут-то новый начальник паспортного отдела города Москвы (перешедший с областного) Аносов («по закону обязаны прописать») с той же любезной улыбкой объявил мне *лично от министра:* что «милиция вообще не решает» вопросы прописки, а занимается этим при Моссовете совет почётных пенсионеров (сталинистов): рассматривает политическое лицо кандидата, достоин ли он жить в Москве. И вот *им*-то я должен подать прошение.

Я тоже с самой любезной улыбкой (у меня уже готов был к ходу синий конверт и только ждал назначенной даты) попросил выдать мне отказ в письменном виде. Он – еще любезнее, как старый знакомый:

– Александр Исаич, ну – вам и нужна какая-то бумажка?

Ожидал я, что будут молчать-тянуть, но что прямо вот так откажут – всё-таки не ждал. Наглецы. Откровенно толкали: убирайся сам с русской земли!

(А может быть можно понять и их обиду: не повлиял ли на власти слух, который был мне так досаден, слух от самоназванных «близких друзей», каких немало бралось объяснять мою жизнь и намерения: «да ему только бы соединиться с семьёй, он сейчас же уедет, ни минуты не останется!» Вот развели – и «законно» ждали моего отъезда – а я что̀ ж не уезжал?)

И с июня 73-го они применили новый выталкивающий приём: анонимные письма от лже-гангстеров. По почте, поспешно-небрежно разоблачая себя и заклейкою поверх почтового штампа приёма (раз для дрожи нервов вклеивши загадочный извилистый волосок) и стремительной почтовой доставкой (когда остальная переписка отметалась). Печатными разноцветными буквами, а стиль – Бени Крика,

с большим ущербом вкуса. Сперва: мы – не гангстеры, вы передаёте нам 100 тысяч долларов, взамен – «мы гарантируем вам спокойствие и неприкосновенность Вашей семьи», и в знак своего согласия я должен появиться на ступеньках центрального телеграфа. Следующий раз – уже никаких требований, а откровенно одни угрозы: «Третьего предупреждения не последует, мы не китайцы. Мы откажем вам в своем доверии и уже ничего не сможем гарантировать» – напугать, чтоб спасаясь от этих «гангстеров», бежал за границу.

После второго такого письма применил и я новый приём: откровенное «внутреннее» письмо в ГБ, безличное предупреждение [24]. Письмо дошло, вернулось обратное уведомление: экспедитор КГБ имя рек (разборчиво). Три недели думали. По телефону позвонил всё тот же полковник, который в 71 г. звонил от имени Андропова. И теперь та же пластинка: «Ваше заявление (??) передано в милицию». Такую бумажку – и передадут?.. Толкали, намекали, как и в анонимках: обращайтесь в милицию за защитой. (И сами же под видом охраны на голову сядут.) Больше, чем на месяц, подмётные письма прекратились. В конце июля, однако, пришло третье: «Ну, сука, так и не пришёл? Теперь обижайся на себя. Правилку сделаем». Ничего не требовали, только пугали: уезжай, гад!

То было тяжелое у нас лето. Много потерь. Запущены, даже погублены важные дела. Своих малышей и жену в тяжелой беременности я оставлял на многие недели на беззащитной даче в Фирсановке, где не мог работать из-за низких самолётов, сам уезжал в Рождество писать. Поддельные ли бандиты или настоящие, только ли продемонстрируют нападение или осуществят, – ко всем видам испытаний мы с женой были готовы, на всё то и шли.

Если оглядеться, то и почти всю жизнь, от ареста, было у меня так: вот именно *эту* неделю, *этот* месяц, *этот* сезон или год почему-нибудь неудобно, или опасно, или некогда писать – и надо бы отложить. И подчинись я этому благоразумию раз, два, десять – я б не написал ничего сравнимого

с тем, что мне удалось. Но я писал на каменной кладке, в многолюдных бараках, без карандаша на пересылках, умирая от рака, в ссыльной избёнке после двух школьных смен, я писал, не зная перерывов на опасность, на помехи и на отдых, – и только поэтому в 55 лет у меня остаётся невыполненной всего лишь 20-летняя работа, остальное – успел.

Я знаю за собой большую инерционность: когда глубоко войду в работу, меня трудно взволновать или оторвать любой сенсацией. Но и в самом глубоком течении работы не бываешь совсем защищён от современности: она ежедневно вливается через радио (западное, конечно, но тем смекается и вся наша обстановка), а еще какими-то смутными веяниями, которые нельзя истолковать, назвать, а – чувствуются. Эти струйки овевают душу, переплетаются с работой, не мешая ей (они – не посторонние ей, как посторонни бытовые помехи вокруг), создают атмосферу жизни – спокойную, или тревожную, или победную. А порой эти веяния начинают наслаиваться до толщины какого-то решения, угадки: почему-то (иногда – ясно почему, иногда – нет) пришло время *действовать!*

Я не могу объяснить этого причинно, тут не всегда и различишь желание от предчувствия, но чутье такое появлялось у меня не раз и – правильно.

Так и в это лето. Независимо от неудач и угроз, обступивших нас, своей чередою у меня: как Запад сотряхнуть, что собственных дел вести не могут: кто послабей, вокруг тех бушуют непримиримо, а тиранам каменным – всё проигрывают, всё сдают («Мир и насилие»). И еще почему-то, толчком родившееся, никогда прежде не задуманное – «Письмо вождям». И так сильно это письмо вдруг потащило меня, лавиной посыпались соображения и выражения, что я на два дня в начале августа должен был прекратить основную работу, и дать этому потоку излиться, записать, сгруппировать по разделам.

Все эти статьи легко и быстро писались потому, что это была как бы уборка урожая – использование нако-

пленных текущих и беглых заготовок, естественное распрямление.

Среди таких веяний попадаются иногда и реальные события, мы не всегда успеваем их истолковать. Ощущался душный провальный надир* в общественной жизни: новые аресты, другим – угрозы, и тут же – отрешённые отъезды за границу. Приезжал Синявский прощаться (одновременно – и знакомиться) и тоской обдало, что всё меньше остаётся людей, желающих потянуть наш русский жребий, куда б ни вытянул он. Расчёт властей на «сброс пара» посредством третьей эмиграции вполне оправдывался (хорош бы я был, оказавшись в ней, хотя б и с нобелевскими знаками в руках...): в стране всё меньше оставалось голосов, способных протестовать. В начале лета исключили из Союза писателей Максимова, в июле он прислал мне справедливо-горькое письмо: где же «мировая писательская солидарность», которую я так расхваливал в нобелевской лекции, почему ж его, Максимова, не защищаю я?..

А я не защищал и его, как остальных, всё по тому же: разрешив себе заниматься историей революции и на том отпустив себе все прочие долги. И по сегодня: не стыжусь таких периодов смолкания: у художника нет другого выхода, если он не хочет искипеться в протекающем и исчезающем сегодня.

Но приходят дни – вот, ты чувствуешь их надирный провал, когда все твои забытые долги стенами ущелья обступают тебя. На II-й Узел мне не хватало совсем немного – месяца четыре, до конца 73-го. Но их – не давали мне. (Только срочно продублировать на фотоплёнку роман, как он есть, чтоб это-то не погибло в катастрофе.) Тем более мерк III-й Узел, так manивший к себе, в революционное полыханье. Сламывались все мои искусственные сроки, ничего не оставалось ясным, кроме: надо выступать!

---

* астр. – Точка на небесной сфере, внизу, под ногами наблюдателя, противоположная зениту.

И очевидно, усвоенным приёмом *каскада:* нанести подряд ударов пять-шесть. Начать с обороны, с самозащиты из своего утонутого положения, постараться стать на твёрдую землю – и наступать.

Когда пишешь с оборотом головы на прошлое, то непонятно: чего уж так опасался? не преувеличено ли? И сколько раз так, что за паника! – и всегда сходило благополучно.

Всегда сходило – и всегда могло не сойти (и когда-нибудь – не сойдёт). А размах удара моего каждый раз – всё больше, сотрясение обстановки больше, и опасность больше, и *перед* нею справедливо готовишься к прекращению своего хоть и утлого, а как-то налаженного бытия.

Кроме рукописей какая еще у меня вещественная драгоценность? – в 12 сотых гектара моё «именьице» Рождество, где половину этого – последнего, как я думал, лета – я так впивался в работу. Лишь половину, ибо теперь делил его по времени со своей бывшей женой. Настаивала она забрать его совсем, и, очевидно, перед намеченными ударами, разумно было переписать участок на неё. В середине августа, уезжая на бой, я обходил все места вокруг и каждую пядь участка, прощался с Рождеством навсегда. Не скрою: плакал. Вот этот кусочек земли на изгибе Истьи и знакомый лес и долгая поляна по соседству есть для меня самое реальное овеществление России. Нигде никогда мне так хорошо не писалось и может быть уже не будет. Каким бы измученным, раздёрганным, рассеянным, отвлечённым ни приезжал я сюда – что-то вливается от травы, от воды, от берез и от ив, от дубовой скамьи, от стола над самой речушкой, – и через два часа я уже снова могу писать. Это – чудо, это – нигде так.

Последняя неделя, последние ночи перед наступлением были совсем бессонные. Всё ревели самолёты над самыми крышами Фирсановки, как возвращаются чёрные штурмовики, отбомбясь. Опасались мы, что на дачном участке сказали вслух неосторожную какую фразу, и рассыпанные микрофоны подхватили ее, и враг уже может догадаться,

что я готовлю что-то. А весь успех – во внезапности, перед началом атаки надо быть особенно беззаботным, дремлющим, ни лишних мотаний, ни лишних приездов и встреч, и разговоры, наверно подслушиваемые, должны быть медленные, беззаботные.

Тревожило именно: не успеть выполнить весь замысел. Такое ощущение, будто идёшь заполнять какой-то уже заданный, ожидающий тебя в природе объём, как бы форму, для меня приготовленную, а мною – только вот сейчас рассмотренную, и мне, как веществу расплавленной жидкости, надо успеть, нестерпимо не успеть, залить ее, заполнить плотно, без пустот, без раковин – прежде, чем схватится и остынет.

Сколько раз уж так: перед очередным *шагом,* прорывом, атакой, каскадом – весь сосредотачиваешься *только* на этом деле, *только* на этих малых последних сроках, – а остальная жизнь и время *после* этих сроков совсем забываются, перестают существовать, лишь бы вот *этот* срок выдержать, пережить, а та-ам!..

Первый удар я намечал – письмо министру внутренних дел – ударить их о **крепостном праве** [25]. (Не красное словцо, действительно таковò: крепостное. Но противопоставив право миллионов на свободу в своей стране – праву сотен тысяч на эмиграцию, я покоробил «общество».)

Я пометил письмо 21-м августа (пятилетие оккупации Чехословакии), но из-за серьёзности его текста задержал отправку до 23-го, чтобы беспрепятственно нанести второй удар – дать интервью. Интервью – дурная форма для писателя, ты теряешь перо, строение фраз, язык, попадаешь в руки корреспондентов, чужих тому, что тебя волнует. Извермишелили моё интервью полтора года назад – но опять я вынужден был избрать эту невыгодную форму из-за необходимости защищаться по разрозненным мелким поводам. (И *его* опять извермишелят в «Монд», непорядочно, и даже спрячут во французском МИДе, и придется с многомесячным опозданием печатать полный текст в русском эмигрантском журнале, чтобы восстановить объём и смысл.)

Но в этом интервью я успевал стать на твёрдую землю – сперва на колено – потом на обе ноги – и от униженной обороны перейти к отчаянному нападению [26].

Сразу после интервью я вышел в солнечный день на улицу Горького (так испорченную, что уже и не хочется называть ее Тверской), быстро шел к Телеграфу сдать заказное письмо министру и повторял про себя в шутку: «А ну-ка, взвесим, сколько мы весим!». Два удара вместе, кажется, весили немало.

К тому ж накануне я уже знал из радио, что независимо от меня (издали это воспринималось как согласованное движение, и власти были уверены, что согласовано хитро) в тот же день 21 августа (совпадение первое) пошла в наступление и другая колонна: Сахаров дал пресс-конференцию по международным вопросам, откровенностью и активностью захватывающую дух: «СССР – большой концентрационный лагерь, большая зона». (Что за молодец! Нашу зэческую мысль и высказал раньше меня! Залежался «Архипелаг».) «С каким легкомыслием Запад отказался от телевизионных передач на территорию Советского Союза!» «Москва прибегает к прямому надувательству.»

Я только не знал, что в эти самые часы 23 августа в своей тёмной «достоевской» да еще коммунальной квартире на Роменской улице в Ленинграде просовывала голову в петлю несчастная Елизавета Денисовна Воронянская, терзаемая тем, что открыла ГБ, где хранится в земле «Архипелаг». Противник наступал своим порядком.

(Я этого не ведал, я настроен был превесело, и созоровал: 31 августа послал шутливо-злую записочку в КГБ по адресу той экспедиторши, так чётко расписавшейся на уведомлении [27]. В этот раз уведомление не вернулось: генерал Абрамов не оценил возможностей такой откровенной пикировки. А может быть, он уже листал «Архипелаг», откопанный 30-го августа из земли, под Лугой?)

Под начавшееся улюлюканье нашей прессы, Сахаров, никак не ожидая никакого положительного продолжения, поехал отдохнуть в Армению, и часть событий воспри-

нимал там, не могучи сесть на поезд (предсентябрьский пик).

А власти тем более не знали наших планов. У них план был: к этой осени окончательно разгромить оппозицию. Для этого (по тупости мысли их) надо было провести показательный процесс Якира-Красина, те раскаются, что всё «демократическое движение» было сочинено на западные диверсионные деньги – и тогда советская интеллигенция и западная общественность окончательно отвернутся от такой мерзости, и последние диссиденты заглохнут. Конечно, поражение таилось уже в самом идиотском замысле: применить в 70-е годы избитый приём 30-х. И всё-таки угнетение общественного настроения в Союзе, еще худший опуск его были бы достигнуты, если бы не уляпались они с этим судебным процессом – да во встречный бой: 14 месяцев они всё откладывали, откладывали этот свой бездарный процесс, думая, что грозней подготовят, страшней напугают, – и влезли с открытием в 27 августа!

Этой даты, конечно, никто из нас не знал. Но я, предвидя, что когда-то они соберутся всё же, решил загодя парировать, накрыть их еще до открытия, – и сказал в интервью, что процесс будет унылым (на Западе перевели «прискорбным», совсем другой смысл) повторением недаровитых фарсов Сталина-Вышинского, даже если допустят западных корреспондентов. Опубликовать интервью назначил – 28 августа, на Успение.

27-го они и открыли процесс, еще дешевле сортом – *без* допуска иностранных корреспондентов, и не успели посмаковать свою пятидневную тягомотину, как на другой день Ассошиэйтед Пресс по всему миру понесло мою презрительную оценку. (Совпадение второе. Правда, успели они на ходу вставить за это и меня в процесс: я оказался главный вдохновитель и направитель «Хроники»!)

Встречный бой! – где в ловушку захлопнули мы их, где – они нас. 29, 30, 31-го я слушал по всем радиостанциям, как идёт моё интервью, ликовал и дописывал – несло

меня – «Письмо вождям». А тем временем выкопан был «Архипелаг», и – худые вести не сидят на насесте – 1-го сентября пришли мне сказать об этом, еще не совсем точно. 3-го – уже наверняка.

Как именно и что произошло в Ленинграде – мы не узнали тогда, не узнали и до сих пор: все затронутые этой историей были окружены слежкой ГБ, и моя открытая поездка туда по горячему следу могла бы только повредить. Воронянской было уже за 60, расстроенное здоровье, больная нога, – ленинградский Большой Дом навалился на нее всей своей мощью, началось с подробного обыска, потом 5 суток допросов, потом дни неотступной слежки. За всё это время никто не сумел дать нам никакого сообщения. Что именно происходило с Воронянской – все последние сведения от соседки по квартире, которая сама не вызывает доверия. В вариантах ее рассказа – пятна крови или даже ножевые раны на повешенном трупе, что противоречит версии о самоубийстве через петлю. Есть большие основания подозревать и убийство, если боялись, что она сообщит мне, если она попытки такие делала. Медицинская же констатация была записана – «удушение», а труп не показан родственникам. После конца допросов миновало две недели, за это время в несчастной женщине взяли верх иные чувства, чем тот страх, который она всегда испытывала к *шерстяным родственникам,* чьи *когти* и *зубы* особенно остро изо всех нас предчувствовала, хотя как будто – в шутку и к острому словцу. Она металась по квартире, говорила соседке: «Я – Иуда, скольких невинных людей я предала!». Откуда и как пришло на Воронянскую подозрение и розыск – мы еще выясним когда-нибудь до конца, как и всю историю ее смерти. Реальной работы со мной она не вела уже три года и не виделась почти. Но самое досадное, что провала никакого бы и не было: никакого *хранения* ей не было оставлено, но из страсти к этой книге, из боязни, что погибнут другие экземпляры, она обманула меня, поклялась и красочно описала, как, исполняя моё уже третье настойчивое требование, – *сожгла* «Архипелаг».

А на самом деле – не сожгла. И из-за этого только обмана – госбезопасность схватила книгу.

Да и схватила-то еще не сразу. Считая, что книга теперь в руках – не спешили. Очевидно, более всего опасались (и справедливо) – чтобы я *не узнал,* это важней даже было, чем схватить. Своё хранимое Воронянская стала держать на даче у своего знакомого Леонида Самутина, бывшего зэка. Теперь на допросах сама и открыла хранение. (Сколько говорит мой опыт, никогда ничего закопанного не находили прямым рытьём, всегда – дознанием и добровольным показанием. Земля хранит тайны надёжней людей.) Открыла – а брать не шли. Но когда после ее похорон, известие о смерти передали по телефону мне в Москву, – ГБ, очевидно, решила, что дальше ждать нельзя, я могу приехать за «Архипелагом» через несколько часов. И пошли брать. И об этом я тоже узнал совсем случайным фантастическим закорочением, какими так иногда поражают наши многомиллионные города, – ГБ надеялась глодать и грызть свою добычу втайне от меня, – я же, почти с места не пошевелясь, к вечеру 5-го сентября отозвался в мировую прессу [28]. Тут – не всё точно, мне передали, что Елизавета Денисовна пришла из ГБ 28-го и кончила 29-го. Но – встречный бой, удары не планируются, не проверяются, а наносятся на ходу.

Так судьба повесила еще и этот труп перед обложкой страдательной книги, объявшей таких миллионы.

Провал был как будто бездный, непоправимый: самая опасная и откровенная моя вещь, которая всегда считалась «голова на плаху», даже если б оглашена по всему миру и тем меня защищала, – теперь была в руках у *них,* еще и не двинувшись к печатанью, готова к негласному удушению, вместе со мной. Провал был намного крупней, чем провал 65-го года, когда взяли «Круг», «Пир» и «Республику труда».

А настроение, а ощущение – совершенно другое: не только никакого конца, гибели жизни, как тогда, но даже почти нет и ощущения поражения. Отчего же? Во-первых:

сейф на Западе, ничто не пропадет, всё будет опубликовано, хотя бы пал я сию минуту. А во-вторых: вокруг мечи блестят, звенят, идет бой, и в нашу пользу, и мы сминаем врага, идет бой при сочувствии целой планеты, у нее на глазах, – и если даже наш главный полк попал в окружение – не беда! это – на время! мы – вызволим его! Настроение веселое, боевое, и в памяти: именно с 4-го на 5-е сентября 44-го года у Нарева, близ Длугоседло, мы выскочили вперед неосторожно и маленький наш пятачок отжимали от главных сил, сжимали перешеек с двух сторон, нас – горстка, а почему-то никак не уныло: потому что всё движение – в нашу пользу, размахнутое фронтокрылое движение, и уже завтра мы не только будем освобождены, но на плотах поплывём через реку, захватывать плацдарм.

Ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жаль было бедную опрометчивую женщину с ее порывом – сохранить эту книгу лучше меня, и вот погубившую – и ее, и себя, и многих. Но, достаточно уже ученый на таких изломах, я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Благодарю за науку! Во всём этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше – разве бы я сам решился? разве понял бы, что *пришло время пускать* «Архипелаг»? Наверняка – нет, всё так же бы – откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что̀ спишь, ленивый раб? Время давно пришло, и прошло, – **открывай**!!!

Я еще был пощажён – сколько провалов я миновал: за год до того с «96-м», за полтора – с «Телёнком», когда я был в затменьи, в задушьи, в косном недвиженьи, не способный подняться быстро. А тут – на коне, на скаку, в момент, избранный мною же (вот оно, предчувствие! – начинать кампанию, когда как будто мирно и не надо!) – и рядом другие скачут лихо, и надо только завернуть, лишь немного в сторону, и – руби туда!!! Провал – в момент, когда движутся целые исторические массы, когда впервые серьёзно забеспокоилась Европа, а у *наших* связаны руки

ожиданием американских торговых льгот, да европейским совещанием, и несколько месяцев стелятся впереди, просто *просящих* моего действия! То, что месяц назад казалось «голова на плаху», то сегодня – клич боевой, предпобедный! Помоги Бог, еще и выстоим!

Пониманье, обратное 65-му году: после захвата моего архива – кто же ущемлён? я? или они? Тогда, полузадушенный, накануне ареста, я мечтал и путей не имел: о, ктò б объявил о взятии моего архива? Объявили через 2 месяца, и прошло в тумане для Запада. А сейчас – я сам, через 2 дня, и на весь мир, и все откинулись: ого! что ж *там* за жизнь, если за книгу платят повешением?

И чтò за заклятая полицейская жадность: искать и выхватывать хранимые рукописи? Лежал бы «Круг первый» еще и еще, нет, выследили, схватили, взликовали и я *пустил* его, и через 3 года он напечатан. Лежал бы «Архипелаг» еще и еще, нет, выследили, схватили, взликовали – пускаю! Читайте через 3 месяца! Их же руками второй раз решается действие против них!

Оглянуться – так и все годы, во всём: сколько ни били по мне – только цепи мои разбивали, только высвобождали меня! В том-то и видна обречённость *их*.

3-го вечером я узнал, 5-го вечером посылал не только извещение о взятии «Архипелага» – но распоряжение: **немедленно печатать**!

И в тот же день – послал и «Письмо вождям». И это было – истинное время для посылки такого письма: когда *они* впервые почувствовали в нас силу. (Меня в такие минуты заносит, я уже писал. «Письмо вождям» я намерен был делать с первой минуты громогласным, жена остановила: это бессмысленно и убивает промиль надежды, что внимут, а сразу как пропаганда, дай им подумать в тиши! Дал. «Письмо» завязло, как крючок, далеко закинутый в тину. Закинутый, но потянем же и его.)

Буря в газетах, удары по Сахарову больше, но сыпались и по мне, объединяют два имени наших и на Востоке и на Западе, и всё, что он говорил (а я б такое и не

вымолвил: «Страна в маске... Хитрый партнёр с тоталитарным режимом... Берут экономическую помощь, с чем справиться не могут (сильно отстают с компьютерами), а зато сохранившиеся силы переключают на войну»), приписывают уже как бы и мне. Достаются мне удары, плашмя, с его плеча, а по другому понять – как гонка за лидером: главное сопротивление среды преодолевать ему, а я подсохраниваю свои силушки. И того не стыжусь: мой бой – впереди, мои-то силы – все, все еще пригодятся. (А впрочем, гудит западное радио десятикратно в день: преследования, гонения Солженицына – а я этих *гонений* и не замечаю пока, тьфу-тьфу-тьфу, нешто это гонения по сравнению с лагерной жизнью? Того, что в наших газетах гавкают – я того не читаю, для нервов зэка пустое дело. А остальных гонений с меня и не сослабляли никогда. Я к ним притерпелся.)

За 55 лет это был, я думаю, первый случай, что травимые советской прессой смели отлаиваться. Действия и решительность этой осени потому дались нашей кучке «инакомыслящих» (выступили Турчин, Шафаревич), что были – просто естественным распрямлением затёклой, изнывшей гнуться спины. И еще потому, что мы поднялись в самом надире, когда уже дальше невозможно было молчать и сносить. Когда уже так было плохо, что просто *выстоять* – не спасение было для нас, нам нужно было достоять до победы.

В ту же разгарную неделю я отправил на публикацию «Мир и насилие». Эта статья готовилась у меня как конкретное разъяснение моей нобелевской лекции – против западных иллюзий, искажающих пропорций. Она не была целью своей связана с нобелевскими премиями мира, хотя толковала и их. Но когда 31.8, в самый разгар боёв, я услышал, что нобелевский комитет мира отобрал 47 кандидатов, и среди них Никсона и Тито (я еще не знал о Ле-Дык-Тхо!) – я решил обратить статью в форму помехи тем кандидатам и выдвинуть Сахарова на эту премию, в соответствии со смыслом изложенного. К 4-му сентября

статья была у меня закончена, 5-го отправлена. А 6-го, за несколько дней до намеченной публикации, я дал прочесть ее Сахарову. Это и было наша единственное свидание и согласование за весь встречный бой. Победа прорисовывалась в те дни. И всё-таки нельзя было думать, что уже так близка! – что через день дадут отбой травли, еще через четыре дня снимут глушение западных передач!

Вступая в этот бой, ни он, ни я не могли рассчитывать на западную поддержку бо̀льшего размаха, чем она бывала все эти годы: достаточно ощутительная, чтоб оградить нас от ареста и уничтожения, но недостаточная, чтобы влиять на ход дел у нас или заграницей. А теперь, как почти и все исторические движения непредсказуемы для человеческого ума, так и накал западного сочувствия стал разгораться до температуры непредвиденной. (Приводимые дальше факты и цитаты скороспешно записаны мною по русским передачам западных радиостанций еще в период глушения их, не всё расслышано, не каждый день слушано, ни одной газеты за это время я не видел. Даты могут быть с ошибкою в день-два: иногда – день события, иногда – день слушания.)

Уже всю первую неделю, с 24 августа по конец его, «инакомыслящие в СССР» были *главной темой* всей европейской печати (сюда ведь и процесс Якира-Красина ввалился). Но сверх нашего ожидания на еще бо̀льшем накале прошла следующая неделя – первая сентябрьская: в ответ на советскую газетную травлю – *там* еще более распыхивалось.

«За разрядку напряженности нам предлагают платить слишком большую цену – укреплением тирании.» – «Советская власть опять хочет одурачить западных интеллектуалов. Может быть поэтому Сахаров и Солженицын решили предупредить Запад об опасности» (Би-Би-Си). – «В мрачной обстановке Солженицын и Сахаров бросили свой вызов руководителям советским и западным. Если их заставят замолчать силой – это только докажет, что они говорят правду.» – Бывший посол Великобритании в СССР В. Хейтер:

«Нельзя сотрудничать в разрядке с диктаторским режимом.»

В поддержку советских инакомыслящих выступили: 3.9 – канцлер Австрии; 6.9 – шведский министр иностранных дел (это – из правительства Пальме, так до сих пор к СССР предупредительного! – и то было «наиболее резкое высказывание в Швеции об СССР со времени оккупации Чехословакии»); в ФРГ – не только христианские демократы, но и президиум с-д (и только отмалчивался миротворец Брандт); начиная с 7.9 поднял скандал Гюнтер Грасс, до сих пор один из общественных столпов брандтовской Ostpolitik: теперь он назвал ее (в «Штерне») политическим безумием: разрядка не должна идти экономическая за счёт областей культуры; он дал вызывающее интервью германскому телевидению.

К 8 сентября уже накопилось довольно, чтобы наши власти поняли, что проиграли с газетною травлей и надо ее кончать. 8 сентября в «Правде» *подвели итоги* – и кончили по этому сигналу. По привычке десятилетий представлялось Старой Площади так, что с этим оборвётся и всё: вольно̀ травителям смолкнуть, тут же благодарно вздохнут перепуганные травимые, и естественно стихнет Запад. А не тут-то было! – всё только начиналось!

8-го же сентября Сахаров дал новую прессконференцию – о злодейской психиатрии у нас, о галлопириде, и, отбиваясь от газетных обвинений: советские газеты «бесстыдно играют на ненависти нашего народа к войне». («Дэйли Телеграф»: «Перчатка, брошенная КГБ!» Еще позавчера ей казалось: «Всё тесней сжимается кольцо вокруг них», а теперь: «Вся кампания велась, чтоб они замолчали, но оба полны решимости стоять до конца.») И 9-го дал интервью недерландской радиостанции: пусть представители Красного Креста проинспектируют наши психдома! 9-го президент американской Академии Наук: «Нас охватило чувство негодования и стыда, когда мы узнали, что в этой травле приняло участие 40 академиков. Нарушение этоса науки лишило русской народ своего полного гения

в ней. Если Сахарова лишат свободы, американским учёным будет *трудно* выполнять обязательства правительству по сотрудничеству с СССР.» (Самый чувствительный удар по *нашим,* да обидно как: Никсон подписал, а ученые откажутся – и ничего не вырвешь!) – Присоединилась к защите и молодёжная организация с-д ФРГ (уж самая левая): «нельзя расширять торговые отношения за счёт таких людей как Сахаров и Солженицын». – И молодёжная организация ХДС. – И министр иностранных дел Норвегии. – И Баварская Академия Искусств. – «Отправить нобелевского лауретата в Сибирь? – фашизм, сравнимый с делом Карла Осецкого». – «Обсервер»: «пробный камень – какого рода человеческое общество предлагает нам СССР?» 10-го раздался голос больного, со своей фермы, Вильбора Милза, председателя бюджетной комисии палаты представителей США: он – против расширения торговых связей с СССР, пока не прекратятся преследования таких людей, как Солженицын и Сахаров. То-есть, расширялась поправка Джексона: от эмиграции до прав человека в СССР! А в его комиссии обсуждение подходило как раз к решительному моменту!

Вообще, сила западной гневной реакции была неожиданна для всех – и для самого Запада, давно не проявлявшего такой массовой настойчивости против страны коммунизма, и тем более для наших властей, от силы этой реакции они просто растерялись. Суммировали комментаторы, что к этому времени «советское правительство оказалось почти в таком же положении, как в августе 1968 г.». И, спасаясь из этого состояния, 13-го сентября правительство сняло глушение западных передач, введенное именно под лязг чехословацкой оккупации!!! Уж это была победа ошеломительная, совсем неожиданная (как все победы, вырываемые у *наших*) и вполне историческая – ибо прежде того только XX съезд снимал глушение.

И как же взбодрилось наше *общество,* так недавно столь упавшее духом, что даже отказалось от Самиздата!

10-го «Афтенпостен» напечатала «Мир и насилие» (статья предназначалась для «Монд», но та отшатнулась: благоприличную ее левизну такая прямота из Советского Союза уже оскорбляла. Тем естественней статья перешла к норвежской газете). Сперва она была понята лишь как выдвижение Сахарова на нобелевскую премию мира, он 10-го же ответил корреспондентам (да они рвались к нему ежедённо и по телефону и в двери, отказа не было никому), что рад будет принять ее, что «выдвижение моей кандидатуры на нобелевскую премию положительно скажется на положении преследуемых в нашей стране. Это – лучший ответ» на травлю. И – покатилась новая всемирная кампания вокруг выдвижения Сахарова. Хотя Нобелевский комитет мира (где уже зрела позорная мысль разделить премию между оккупантом и капитулянтом?) в тот же день отверг моё право и время выдвигать кандидатов, – тотчас полились предложенья взамен: 11.9 выдвижение переняли члены британского парламента, 12.9 – целая либеральная фракция датского парламента, затем – мюнхенская группа физиков, затем и другие: если не в 73-м, так в 74-м *дать* Сахарову премию! (Лишь 12.9 более полно перевели статью с норвежского, разобрались, что она не ограничивается выдвижением Сахарова, – и возбудились противоречивые комментарии по сути статьи. Она шла вразрез и не во вкус тем самым западным кругам, которые более всех нас и поддержали.)

Но кампания западной поддержки как разогнанный маховик с силою вымахивала и дальше. Публиковались телеграммы Сахарову то от ста британских психиатров, то от трехсот французских врачей («послать международную комиссию для проверки деятельности психдомов в СССР»). В нашу защиту выступал премьер Дании, бургомистр Западного Берлина, итальянские с-д («можно ли доверять стране, которая преследует мнения внутри себя?»), Комитет Обеспокоенных ученых (США), Комитет Интеллектуальной Свободы (там же), итальянская палата представителей, Консультативная Ассамблея Европейского Сообщества, норвежские писатели, ученые и актеры, швейцарские писа-

тели и художники, 188 канадских творческих интеллигентов; собирались подписи 89 нобелевских лауреатов по всему миру (это – задержится, и потом они сами задержат из-за ближне-восточной войны); в Париже собиралась конференция писателей, философов, редакторов, журналистов и священнослужителей, – где упрекали французское общество в примиренчестве с советскими несвободами. Сенат США публиковал декларацию (для правительства необязательную) в защиту свободы в СССР, а палата представителей в тот же день предлагала присвоить Сахарову и Солженицыну звание «почётных граждан Соединенных Штатов». – 12.9 «Немецкая волна» говорила: «Западные люди чувствуют себя в бо̀льшей безопасности, если такие, как Сахаров и Солженицын, свободно передвигаются по своей земле и высказываются». – 19.9 Би-Би-Си: «Запад и сам окажется под инфекцией тирании, если мы проигнорируем преследование инакомыслящих в СССР». И суммируя к 22.9 четвертую неделю нашего боя: «По всему видно, советским властям не удалось запугать инакомыслящих». «Крисченс Сайенс Монитор»: «Дело Сахарова-Солженицына стало крупным международным событием. Оно стало быстро влиять на американскую политическую жизнь».

В ту неделю был и Григоренко переведён в больницу обычного типа. В те же самые дни пошел через огонь Евгений Барабанов. 15.9 он пришел ко мне (я уже знал, как его тягают в ГБ и душат) и у меня сделал корреспонденту своё тоже вполне историческое заявление: распрямлялся рядовой раб, до сих пор никому не известный, подымался с ноля – и сразу в мировую известность, распрямлялся на том, на чём мы согнуты были полвека: что отправить рукопись заграницу не преступление, а честь: рукопись этим спасалась от смерти.

И – чудо! Уже назначен был Барабанову в ГБ последний допрос, чтобы с него не вернуться домой, обещаны 7 лет заключения! – и вдруг отвалилась от него нечистая сила, как руки отсохли: материал угрожающего следствия, вынесенный пред очи мира оказался похвальным

листом. Барабанов был только изгнан с работы.

Вот именно этого распрямления, одного такого духовного распрямления безо всякого действия достаточно было бы ото всех наших рабов, чтобы мы в одно дыхание стали свободными. Но – не смеем.

Западная реакция на Заявление Барабанова, как и многое в тот месяц, превосходила наши ожидания. В Италии католическим священникам было рекомендовано коснуться его поступка в проповедях, во Франции его защищали академики.

После того как западный мир равнодушно промалчивал уничтожение у нас целых народов и события миллионные, – нынешний отзыв на такое малозначительное событие на Востоке, как публичное поношение малой группки инакомыслящих, поражал нас, мы ушам не верили, переходя от одной станции на другую, ежеутренне и ежевечерне. Еще не успели высохнуть моё интервью и статья с горькими упрёками Западу за слабость и бесчувственность, а уже и старели; Запад разволновался, расколыхался невиданно, так что можно было поддаться иллюзии, что возрождается свободный дух великого старого континента. На самом деле сошлись какие-то временные причины, которых нам отсюда не разглядеть (одна из них, вероятно, – наболевшая настороженность к СССР из-за препон, чинимых эмиграции). Эта вспышка, напоминавшая славные времена Европы, уже невозможна была бы месяцем позже, когда та же Европа трусливо и разрозненно склонилась перед арабским нефтяным наказанием.

Но в сентябре – она прополыхала! И ослепила наших сов. Тупо задуманный, занудно подготовленный якировский процесс пролетел холостым прострелом, никого не поразив, никого не напугав, только позором для ГБ. Они заняли позицию худшую, чем без процесса бы. Сколотили, сочинили заявление советских психиатров, что у нас не сажают в *дурдома* (3.10) – молниеносно (4.10) в западной прессе ответили им Сахаров и Шафаревич. Семь месяцев пыжились, готовили – кто будет подавлять выход советских рукописей

зарубежом, 21-го утром объявлено о создании ВАПП, – 21-го вечером объявлено, что я «бросил им вызов»: чтоб испытать их юридическую силу, отдаю в Самиздат главы из «Круга»-96. (Третье совпадение в нашу пользу! Это был очередной из моей серии ударов по графику [29].) Мы как будто действовали с быстротой сверхтанковой, техникой, какой у нас и не бывало. Мы носились по полю боя, будто нас вдесятеро больше, чем на самом деле.

А с Запада, с неизбежными ошибками дальнего зрения, это выглядело так. В конце августа, перед началом боя («Дэйли Телеграф»): «В СССР всё задушено, остался единственный голос Сахарова, но скоро замолкнет и он». В конце сентября («Дойче Альгемайне»): «От Магдебурга до Москвы госбезопасность уже не имеет прежней силы, ее уже не боятся, с ней мало считаются».

Всё это время высказывались наирезче круги левые и либеральные – всё друзья СССР и наиболее влиятельные в западном общественном мнении, создававшие десятилетиями общий левый крен Запада. Американская интеллигенция стала в оппозицию к советско-американскому сближению. В безвыходном положении юлили и лицемерили коммунисты всех западных стран: невозможно вовсе не оказать поддержки свободе слова в «будущем» обществе, но и как-нибудь тут же нас принизить и опорочить. И в таком же затруднении были *правительства* Никсона и Брандта, кому стоянием нашим срывалась вся игра. Киссинджер уклонялся так и сяк. Американские министры финансов и здравоохранения всё это время визитствовали в СССР, один обещал кредиты, другой, воротясь на родину, настаивал: американо-советское сотрудничество в здравоохранении (с нашими психиатрами!) важнее, чем преследование инакомыслящих. Из Брандта своя собственная партия вырвала нехотное «духовное родство с советскими диссидентами» – 9.9, а уже через три дня, спасая Ostpolitik: он «искал бы наладить отношения с СССР, даже если бы во главе его стоял Сталин». («Наладить отношения» с убийцей миллионов – отчего ж тогда б и не с его младшим

братом Гитлером? Ненужной крайностью своего заявления Брандт оскорбил и всех нас, живых, и всех погибших узников лагерей.) К концу сентября ступил и назад, с оговоркой иной. Так и протоптался.

И с еще большей настойчивостью в эти недели боя за свободу духа поддерживали восточную тиранию – западные бизнесмены, читай: «диктатуру пролетариата» вернее всех поддерживали капиталисты. Они уговаривали американский конгресс, что именно *торговля* и возвысит права человека в СССР!.. Лишь редкий из них прозорливец, Самуэль Пизар, многолетний сторонник торгового сближения с СССР, опубликовал 3.10 открытое письмо Сахарову: «**Свобода одного человека важнее всей мировой торговли**». И Ватикан, парализованный всё тем же *сближением* с Востоком, прохранил весь месяц молчание, несмотря на критику папы рядовыми священниками. Папа так и не промолвил ни слова. Начальник его отдела печати изнехотя заявил уже в пустой след, в октябре: «Права человека в СССР – не внутреннее его дело».

Для меня весь этот размах мировой поддержки, такой неожиданно-непомерный, победоносный, сделал с середины сентября излишним дальнейшее моё участие в бою и окончание задуманного каскада: – бой тёк уже сам собою. А мне надо было экономить время работы, силы, резервы – для боя следующего, уже скорого, более жестокого – неизбежного теперь после того, как схватили «Архипелаг».

21-го сентября, точно через месяц после начала, я счел кампанию выигранной и для себя ее пока законченной (выпуском в этот день глав из «Круга»). *Для себя* – увы, по рассогласовке действий я никак неспособен был передать этого Сахарову.

А его выход из боя растянулся еще на месяц и с досадными, чувствительными потерями. Андрей Дмитриевич замедлил выходом, не умея отказать допытчивым, честолюбивым и даже бездельным корреспондентам, кто и в Москву съездить не удосуживался, но снявши трубку где-нибудь в Европе, по телефонному проводу рвал кусочек сахаровской

души и себе. Ясность действий Сахарова была сильно отемнена расщеплённостью жизненных намерений: стоять ли на этой земле до конца или позволить себе покинуть ее? (Всё обсуждался план, не проситься ли ему на курс лекций в США?) И еще – его доверчивостью к добросоветчикам. Затянули его в несчастный эпизод с Пабло Нерудой (21.9) доказать своим и чужим, что мы – объективны, мы – за свободу везде, и вот на всякий случай беспокоимся и о Неруде (которому ничто не угрожало). Однако же не в хамской манере, принятой у *нас,* писать защитное письмо, вежливо оговориться о высоких целях возрождения страны, которые, возможно, есть у чилийского правительства, – и так подставили коммунистам нашим и западным свой бок в беззащитном повороте. Остервенело на Сахарова навалились, и ослаблены были уже выигранные позиции.

Дав интервью истинному или подставному корреспонденту ливанской газеты, Сахаров тоже открыл свою беззащитную сторону и коммунистическому, и арабскому мирам, когда уже арабо-израильская война положила естественный предел или перерыв нашему бою. Это интервью повлекло за собой налёт мнимых же арабских террористов, – снова Сахаров был под угрозой, требовалась выручка, так был зловещ приём ГБ. [30]

Выходя из боя, я по привычке примерял за врагов: что̀ теперь они придумают против меня, какой шаг? Главная для них опасность – не то, что уже произошло, а то, что произойти может и должно: лавинная публикация всего моего написанного. Всегда *они* меня недооценивали; и до последних дней, пока не взяли «Архипелаг», в самом мрачном залёте воображения, я думаю, не могли представить: ну, что̀ уж такого опасного и вредного мог он там сочинить? Ну, еще два «Пира победителей». Теперь, держа в когтях «Архипелаг», нося его от стола к столу (а наверно, от своих же засекретили, прячут в несгораемых), от экспертов к высоким начальникам, даже и Андропову самому – должны ж они оледениться, что такая публикация почти смертельна для их строя (строй бы – черт с ним,

для их *кресел*!)? Должны ж они искать – не как отомстить мне когда-нибудь потом, но как *остановить* эту книгу прежде ее появления? Может быть, они и не допускают, что я осмелюсь? А если допускают? Я видел за них такие пути:

1. Взятие заложников, моих детей, – «гангстерами», разумеется. (Они не знают, что и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не остановим ни за что.)

2. Перехват рукописей *там,* на Западе, где они готовятся к печати. Бандитский налёт. (Но где их надежда, что они захватят все экземпляры и остановят всякое печатание?)

3. Юридически раздавить печатание, открыто давить, что оно противозаконно. (Предвидя этот натиск, мой адвокат д-р Хееб уже составляет для меня проект «Подтверждения полномочий» – специально на «Архипелаг» и в условиях после конвенции.)

4. ....

(Но это требует времени, и всё равно не остановит публикации. Даже наоборот: усилит ее, терять станет совсем нечего.)

5. Личное опорочение меня (уголовное, бытовое) – с тем, чтобы обездоверить мои показания.

6. Припугнуть – по пункту 1 или по 4?

7. Переговоры?

Это я совсем под вопросом ставил, их надменность не позволит спуститься до переговоров ниже межправительственного уровня. Запалялся же Дёмичев: «С Солженицыным – переговоры? Не дождётся!» (Я-то думаю – дождусь. Когда, может быть, поздно будет и для дела и для них, и для меня.)

Кончая бумажку этим вопросом – «Переговоры?», не верил я в их реальность, да для себя не представлял и не

хотел: о чем теперь переговоры, кроме того, что в «Письме вождям»? Не осталось мне, о чём торговаться: ни – что запрашивать, ни – что уступать.

Да и каким путем они ко мне обратятся? Всех подозрительных, промежуточных, переносчиков и услужников я давно обрезал. Общих знакомых у нас с ними нет.

Составил я такой перечень 23-го сентября, а 24-го звонит взволнованно моя бывшая жена Наталья Решетовская и просит о встрече. В голосе – большая значительность. Но всё же я не догадался.

Дня за два перед тем я виделся с ней, и она повторяла мне всё точно, как по фельетону «Комсомольской правды»: что я истерично себя веду, кричу о мнимой угрозе, клевещу на госбезопасность. Увы, уже клала она доносно на стол суда мои письма с касанием важных проблем, да все мои письма уже отдала в ГБ. И уже была ее совместная с ними (под фирмой АПН) статья в «Нью-Йорк Таймс». Но всё-таки: были и колебания, были там отходы, и хочется верить в лучшее, невозможно совсем отождествить ее – с *ними*.

На Казанском вокзале, глазами столько лет уже стальными, злыми, глядя гордо:

– Это был звонок Иннокентия Володина. Очень серьёзный разговор, такого еще не было. Но – *не волнуйся,* для тебя – *очень хороший*.

И я – понял. И – охолодел. И в секунду надел маску усталой ленивости. И выдержал ее до конца свидания.

Я изгубил свои ссыльные годы – годы ярости по женщине, из страха за книги свои, из боязни, что комсомолка меня предаст. После 4 лет войны и 8 лет тюрьмы я изгубил, растоптал, задушил три первые года своей свободы, томясь найти такую женщину, кому можно доверить все рукописи, все имена и собственную голову. И, воротясь из ссылки, сдался, вернулся к бывшей жене.

И вот через 17 лет эта женщина пришла ко мне, не скрываясь – вестницей от ГБ, твердым шагом по перрону законно вступая из области личной в область общественную, в эту книгу. (Моя запись – в первый же

час после разговора, ещё вся кожа обожжена.)

– Ты согласишься встретиться *кое с кем*, поговорить?

– Зачем?

– Ну, в частности, обсудить возможности печатать «Раковый корпус».

(«Раковый корпус»? Схватилась мачеха по пасынку, когда лёд прошёл...)

– Удивляюсь. Тут не нужна никакая встреча. Русские книги естественно печатать русским издательствам.

(А всё-таки – *переговоры! Они* идут – на переговоры? Здòрово ж мы их шибанули! Больше, чем думали.)

– Но ты – пойдешь в издательство заключить договор? Ведь от тебя не знают, чтò ждать, боятся. Нужно же обговорить условия.

(Хотят выиграть время! Понюхали «Архипелаг» – и хотят меня замедлить, усыпить. Но и мне нужно выиграть три месяца. И мне полезно – их усыпить.)

– Условий никаких не может быть: точный текст слово в слово.

– А после издательства еще с *кем-то* встретишься?

– А этот кто-то, в штатском, и так будет сидеть около стола главреда, сбоку.

Эти штатские и сейчас с параллельных перронов фотографируют нас или подслушивают, я чувствую их всем охватом спины, этого не спутать привычному человеку. Это заметно и в *ее* поведении, она держит себя ответственно, как не сама по себе.

– Ну, а... *выше?*

– Только – политбюро. И о судьбах общих, не моей лично.

– Тебя преследовало как раз не ГБ, а ЦК. Это они издавали «Пир победителей», и *это была ошибка*. (Какая уверенная политическая оценка ЦК в устах частной женщины.) ...А э т и, пойми, *совсем другие люди,* они не отвечают за прежние ужасы.

– Так надо публично отречься от прошлого, осудить его, рассказать о нём – тогда и не будут отвечать. *Кто*

убил 60 миллионов человек?

Какие «60» – не переспрашивает, хоть и не знает, но быстро, но уверенно:

– Это *не они!* Теперь мой круг очень расширился. И каких же умных людей я узнала! Ты таких не знаешь, вокруг тебя столько дураков... Что̀ ты всё валишь на Андропова? Он вообще не при чём (!). Это – другие. – Всматривается в меня как в заблудшего, как в потерянного, как в недоумка: – Вообще, тебя кто-то обманывает, разжигает, страшно шантажирует! Изобретает мнимые угрозы.

– Например, «бандитские письма»?

– (горячо): ГБ не при чём!

– А ты откуда знаешь?

Я – ленив, я допускаю и ошибку. Она – воинственно уверена – в себе и в своих новых друзьях:

– Когда-нибудь покажешь мне одно из этих писем! *Они* на тебя не нападают, *тебя никто не трогает!*

– Выперли от Ростроповича, не дают прописки?

– Перестань ты настаивать с пропиской! Не могут же *они* тебе сразу дать! Постепенно.

– Хватают архив второй раз...

– Это *их функция* – искать!

– Художественные произведения?

Я – только удивляюсь, я не спорю, я устал от долгой, правда, борьбы с этим ГБ, я и рад отдохнуть бы... Я из роли – ни на волосок.

– Ты объявляешь, что *главные* произведения еще впереди, в случае твоей смерти потекут, – и этим *вынуждаешь* их искать. Ты вот в письме съезду назвал «Знают истину танки», теперь ищут и их...

(Да откуда ж ты знаешь, что ищут, что̀ ищут? А что̀ ты сама им добавила в названия? Вот этого «Телёнка» – тоже?)

– ...Они вынуждены искать, у какой-нибудь (имя рек).

Так – уже назвала?.. Я – первый раз в полную силу:

– Кроме тебя – никто не может ее назвать! И если...

– Ты шёл на развод – должен был предвидеть все последствия.

(Я и предвидел. Давно-давно ты не знаешь многого, многих. А – прежних?..).

– Но не низость.

– Не беспокойся, я знаю, что я делаю.

(Да, да! Как можно скорей печатать «Архипелаг». Чтоб никого не схопали, не слопали в темноте. Им темнота нужна – но я им её освещу!)

– ...А ты – сделай заявление, что всё – исключительно у тебя одного. Что ты 20 лет не будешь ничего публиковать.

(Очень добивается именно этого! За *них* добивается, это *им* так нужно! Но как же *ты* всю жизнь меня не знала, если думаешь, что через месяц еще есть о чём говорить? что через час еще не было решено? а через день не приведено в действие?)

Я мету в другом месте:

– Если тронут кого-нибудь из двухсот двадцати или вроде Барабанова – за всех обиженных буду заступаться тотчас.

А она – метлой сюда, сюда, знает:

– Кто *рассказывал* о лагерях – тому ничего не будет. А вот кто помогал *делать*...

(Всю ту весну 68-го года, как мы печатали в Рождестве – в задушевной беседе этим умным-умным людям – ты уже всё рассказала, да?..)

– Я буду каждого *отдельного* человека защищать немедленно и в полную силу!

(Когда-то, когда-то мы были так просты друг с другом... Но давно уже ловлю, что ты – актриса, нет, ловлюсь, в пустой след, во-время не заметив. Но сегодня на этом твёрдом хребте, на моей главной дороге жизни – не обыграете вы меня, со всеми режиссёрами.)

– Вообще, если ты будешь *тихо сидеть*, всем *будет лучше!*

– А я сам и не нападаю, *они* вынуждают...

– Ты одержимый, своих детей не жалеешь...

И другой раз о детях:

– Что ж, с ребенком что-нибудь случится – тоже ГБ?

(Их ход мысли: за ребенка их не заподозрят.)

– Да, конечно, сейчас вы одержали победу! Но если «Раковый корпус» сейчас напечатают – ты не сделаешь публичного заявления, что ты одержал победу?

– Никогда. Даже удивляюсь вопросу. В крайнем случае скажу: разумная мера, для русской читающей публики... *Мне*-то это печатание почти уже и не нужно.

(А правда: нужно или не нужно? Как же не желать, не добиваться первей всего – своего печатания на родине? Но вот уродство: так опоздано, что уже не стоит жертв. Символический тираж, чтобы только трёп пустить о нашей свободе? Продать московским интеллигентам, у кого и так самиздатский экземпляр на полке? Или, показавши в магазинах, да весь тираж – *под нож?* Вот сложилось! – я уже и сам не хочу. Москва – прочла, а России – вся правда нужней, чем старый «Раковый». Препятствовать? – не смею, не буду. Но уже – и не нужно...)

– В декабре 67-го «Раковый» не напечатали – по твоей вине!

– Как??

– А помнишь: ты притворился больным, не поехал, послал меня. А Твардовский хотел просить тебя подписать совсем *мягкое* письмо в газету.

(Да, совсем *мягкое,* отречение: зачем шумят на Западе... Только об этом шло тогда и на Секретариате... Вот так и вывернут мою историю: это не власть меня в тупик загоняла (и всех до меня), это я сам... (мы сами)...)

– Напечатают книгу – ты получишь какие-то деньги... Но ты должен дать некоторые заверения. Ты не сделаешь заявления корреспондентам об этом предложении? Об этом нашем разговоре? Он должен остаться в полном секрете.

Превосходя наибольшие желания *их* и ее, я:

– Разговор не выйдет за пределы этого перрона.

(Длинного, узкого перрона между двумя подъездными путями рязанских поездов, откуда мы приезжали и куда уезжали с продуктами, с новостями, с надеждами – 12 лет... Долгого перрона в солнечное сентябрьское утро, где мы

разгуливаем под киносъёмку и магнитную запись. В пределах этого перрона я и описываю происшедший разговор.)

Узнаю, как она старается в мою пользу:

– Я считаю, что своими высказываниями в беседах и отдельными главами мемуаров, посланными *кой-кому,* я *объяснила* твой характер, защитила тебя, облегчила твою участь...

Она взялась *объяснять!* Никогда не понимав меня, никогда не вникнув, ни единого поступка моего никогда не предвидя (вот как и сейчас) – взялась объяснять меня – тайной полиции! И в содружестве с ними – объяснять всему миру...

Всегда ли так: насыщения требует уязвлённое самолюбие, и тем бо̀льшего, чем больше зрителей? Когда самолюбие, наверно – всегда. Но – пойти и за тайной полицией?.. Не каждая.

Не с тобой ли переписывали из блокнота в блокнот? диктовала ж ты мне и эту пословицу: та не овца, что за волком пошла.

– Смотри, не принимай легко услуги черных крыл. Это так приятно: вдруг поднимают, несут...

– Не беспокойся, я знаю, что̀ я делаю.

И что̀ б еще ни сделала на этом пути и для этих хозяев (сегодня она разговор провела не так, не склонила меня к частной встрече с гебистами, будем «ждать» предложения от издательства, – зато уверенно доказано, что я не атакую, не печатаю «Архипелага», что я мирно настроен) – что̀ б ни сделала она в будущем, никогда я не смогу отъединиться и швырнуть: «Это сделала – ты!» Раз она, так и я... И каким еще ядом ни протравится будущее – оно и из прошлого, я сам виноват: я в тюрьмах пронизывал человека, едва входящего в камеру; я ни разу не всмотрелся в женщину рядом с собой. Я допустил этому тлеть и вспыхнуть.

Так мы платим за ошибки в пренебрежённой второстепенной области – так называемой, в месткомовских открытках, *личной жизни...*

Увы, с соседней союзной колонной не налажено было у нас путей совета и совместных действий.

Осмелюсь сказать тут о Сахарове – в той мере, в какой надо, чтобы понять его поступки, уже имевшие и маячащие иметь последствия, значительные для России.

Когда Ленин задумал и основал, а Сталин развил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, всё было ими предусмотрено и осуществлено, чтоб эта система могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вождей, чтоб не мог раздаться свободный голос и не могло родиться противотечение. Предусмотрели всё, кроме одного – **чуда**, иррационального явления, причин которого нельзя предвидеть, предсказать и перерезать.

Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова – в сонмище подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции, да ещё в одном из главных, тайных, засыпанных благами гнёзд – близ водородной бомбы. (Появись он поглуше – его упроворились бы задушить.)

Создатель самого страшного оружия XX века, трижды Герой Социалистического Труда, как бывают генеральные секретари компартии, и заседающий с ними же, допущенный в тот узкий круг, где не существует «нельзя» ни для какой потребности, – этот человек, как князь Нехлюдов у Толстого, в какое-то утро почувствовал, а скорей – от рождения вечно чувствовал, что всё изобилие, в котором его топят, есть прах, а ищет душа правды, и нелегко найти оправдание делу, которое он совершает. До какого-то уровня можно было успокаивать себя, что это – защита и спасение нашего народа. Но с какого-то уровня уже слишком явно стало, что это – нападение, а в ходе испытаний – губительство земной среды.

Десятилетиями создатели всех страшных оружий у нас были бессловесно покорны не то, что Сталину или Берии, но любому полковнику во главе НИИ или шарашки (смотря куда изволили изобретателя помещать), были бесконечно благодарны за золотую звездочку, за подмосковную

дачу или за стакан сметаны к завтраку, и если когда возражали, то только в смысле наилучшего технического выполнения желаний самого же начальства. (Я не имею свидетельств, что «бунт» П. Капицы был выше, чем против неудовлетворительности бериевского руководства.) И вдруг Андрей Сахаров осмелился под размахнутой рукой сумасбродного Никиты, уже вошедшего в единовластие, требовать остановки ядерных испытаний – да не каких-то полигонных, никому не известных, но – многомегатонных, сотрясавших и оклублявших весь мир. Уже тогда попал он в немилость, под гнев, и занял особое положение в научном мире, – но Россия ещё не знала, не видела этого. Сахаров стал усердным читателем Самиздата, одним из первых ходатаев за арестованных (Галанскова-Гинзбурга), но и этого еще не видели. Увидели – его меморандум, летом 68-го года.

Уже тут мы узнаём ведущую черту этого человека: прозрачную доверчивость, от собственной чистоты. Свой меморандум он раздаёт печатать по частям служебным машинисткам (других у него нет, он не знает таких путей) – полагая (! он служил в наших учреждениях – и не служил в них, парил!), что у этих секретных машинисток не достанет развития вникнуть в смысл, а по частям – восстановить целое. Но у них достало развития снести каждая свою долю копий – в спецчасть, и та читала меморандум Сахарова ещё прежде, чем он разложил экземпляры на своем столе, готовя Самиздат. Сахаров был менее всего приспособлен (и потому – более всех готов!) вступить в единоборство с бессердечным зорким хватким, неупустительным тоталитаризмом! В последнюю минуту министр атомной промышленности пытался отговорить, остановить Сахарова, предупреждал о последствиях, – напрасно. Как ребенок не понимает надписи «эпидемическая зона», так беззащитно побрёл Сахаров от сытой, мордатой, счастливой касты – к униженным и оскорблённым. И – кто ещё мог это, кроме ребенка? – напоследок положил у покидаемого порога «лишние деньги», заплаченные ему государством

«ни за что» – 150 тысяч хрущевскими новыми деньгами, 1,5 миллиона сталинскими.

Когда Сахаров еще не знал либерального-самиздатского-мыслящего мира, на поддержку к нему пришел молодой бесстрашный историк (с его грандиозными выводами, что всемирная закономерность была загублена одним неудачным характером) – как же не обрадоваться союзнику! как же не испытать на себе его влияния! Прочтите в первом сахаровском меморандуме – какие реверансы, какое почтение снизу вверх к Рою Медведеву. Виснущие предметы отягчают воздушный шар. Предполагаю, что задержка сахаровского взлёта значительно объясняется этим влиянием Роя Медведева, с кем сотрудничество отпечатлелось на совместных документах узостью мысли, а когда Сахаров выбился из марксистских ущербностей, закончилось выстрелом земля-воздух в спину аэронавту.

Я встретился с Сахаровым первый раз в конце августа 68-го года, тотчас после нашей оккупации Чехословакии и вскоре после выхода его меморандума. Он еще тогда не был выпущен из положения особосекретной и особо-охраняемой личности: он не имел права звонить по телефону-автомату, а только по своему служебному и домашнему; не мог посещать произвольных домов или мест, кроме нескольких определенных, проверенных, о которых известно, что он бывает там; телохранители его то ходили за ним, то нет, он наперед не мог этого знать. Поэтому мою встречу с ним было весьма трудно устроить. К счастью, нашелся такой дом, где я уже был однажды, а он имел обычай бывать там. Так мы встретились.

С первого вида и первых же слов он производит обаятельное впечатление: высокий рост, совершенная открытость, светлая мягкая улыбка, светлый взгляд, теплогортанный голос и значительное грассирование, к которому потом привыкаешь. Несмотря на духоту, он был старомодно-заботливо в затянутом галстуке, тугом воротнике, в пиджаке, лишь в ходе беседы расстёгнутом – от своей старомосковской интеллигентской семьи, очевидно, унаследо-

ванное. Мы просидели с ним четыре вечерних часа, для меня уже довольно поздних, так что я соображал неважно и говорил не лучшим образом. Еще и перебивали нас, не всегда давая быть вдвоем. Еще и необычно было первое ощущение – вот, дотронься, в синеватом пиджачном рукаве – лежит рука, давшая миру водородную бомбу!

Я был, наверно, недостаточно вежлив и излишне настойчив в критике, хотя сообразил это уже потом: не благодарил, не поздравлял, а всё критиковал, опровергал, оспаривал его меморандум, да еще без хорошо подготовленной системы, увы, как-то не сообразил, что она понадобится. И именно вот в этой моей дурной двухчасовой критике он меня и покорил! – он ни в чем *не обиделся,* хотя поводы были, он ненастойчиво возражал, объяснял, слабо-растерянно улыбался, – а не обиделся ни разу, нисколько – признак большой, щедрой души. (Кстати, один из аргументов его был: почему он так преимущественно занят разбором проблем *чужих,* а не *своих,* советских? – ему больно наносить ущерб своей стране! Не связь доводов переклонила его так, а вот это чувство сыновней любви, застенчивое *чувство* вело его! Я этого не оценил тогда, подпирала меня пружина лагерного прошлого, и я всё указывал ему на пороки аргументации и группировки фактов.)

Потом мы примерялись, не можем ли как-то выступить насчёт Чехословакии, – но не находили, кого бы собрать для сильного выступления: все именитые отказывались поголовно.

Кажется, та наша встреча прошла тайно от властей, и я из обычной осторожности еще долго скрывал, что мы познакомились, не выявлял этого внешне никак: такое соединение должно было показаться властям очень опасным. Однако через год, когда я переехал в Жуковку к Ростроповичу, я оказался в 100 метрах от дачи Сахарова, надо же так совпасть. А быть в соседах – жить в беседах. Мы стали изредка встречаться. В конце 69-го я дал ему свою статью по поводу его меморандума – всё ту же критику, но уже сведенную в систему и намечаемую в

Самиздат. На последнее я не решился, а Сахаров (почти единственный читатель той статьи тогда), хотя и с горечью прочёл (признался) и даже перечитывал – но никакого налёта неприязни это не наложило на его отношение ко мне.

У него был свой период замиранья: долго болела и умерла его жена. Совсем его не было видно, потом появлялся он по воскресеньям с любимым сыном, тогда лет двенадцати. Иногда мы говорили о возможных совместных действиях, но всё неопределённо.

И для зоны униженных-оскорблённых Сахаров всё еще был слишком чист: он не предполагал, что и здесь могут быть не одни благородные порывы, не одни поиски истины, но и корыстные расчёты – построить своё имя не общепринятым служебным способом, не в потоке машин и тягачей, но – касанием к чуду, но прищепкою к этому странному, огромному, заметному воздушному шару, без мотора и без бензина летящему в высоту.

Другим из таких людей, взявших высоту с помощью воздушного шара, был В. Чалидзе. Сперва он выпускал скучнейший самиздатский юридический журнал. Затем изобрёл Комитет Защиты Прав Человека, с обязательным участием Сахарова, но с хитросоставленным уставом, дающим Чалидзе парировать в Комитете всякую иную волю. В октябре 70-го Сахаров пришел ко мне посоветоваться о проекте Комитета, но принёс лишь декларацию о создании, ни о каком уставе речи не было, структура не проявлялась. Странный конечно Комитет: консультировать людоедов (если они спросят) о правах загрызаемых. Зато была принципиальная беспартийность, на нашей бесправности – всё-таки нечто. Я не нашёл возражений. 10-го декабря, в самый день выдачи нобелевских премий, Сахаров приехал из города на такси, очень спешно, на 5 минут, узнать, не согласился ли бы и я войти в Комитет членом-корреспондентом? Это не потребует от меня никакой конкретной деятельности, участия в заседаниях и т.д. Ну... Как будто мне там и не место совсем, а с другой

стороны – что̀ ж отшатываться, не поддержать? Я согласился, «в принципе», т.е. вообще когда-нибудь... Мне невдомёк было – отчего так спешно? И Сахаров сам не понимал, он был наивным гонцом. Оказывается: для того Чалидзе и погнал его так быстро за 30 км: тут же по возвращении состоялось 5-минутное заседание, Комитет заочно «принял» меня (и Галича), немедленно же Чалидзе сообщил о том западным корреспондентам, и накладываясь на нобелевскую процедуру, полетела в западную прессу такая важная весть, что нобелевский лауреат в этот самый день и час, вместо присутствия в Стокгольме сделал решающий поворотный шаг своей жизни – вступил в Комитет, отчего (растолковано было корреспонденту и дальше) «начинается новый важный период в жизни писателя», чушь такая.

В этот Комитет и вложил Сахаров много своего времени и сил, размазываемый утончёнными прениями, исследованиями и оговорками Чалидзе – там, где нужно было действовать. (Возникал ли вопрос о политзаключенных – «надо дать определение политзаключённого», как будто в СССР это не ясно; о *психушках* против инакомыслящих – расширить изучение на всю область прав душевнобольных, до «возможностей освобождения от контроля их сексуальной жизни».) Холодно-рациональным торможением Чалидзе остановил и испортил достаточно начинаний Комитета, который мог бы сыграть в нашем общественном развитии значительно бо̀льшую роль. (С какого-то момента, «утомясь» от защиты прав человека, главный вдохновитель Комитета решил переехать за океан. Самый последний наивец согласится, что для получения визы на выезд заграницу *читать лекции о правах человека в СССР* – не обойтись без разработанной уговорённости с ГБ, которая не достигается единократной встречей, – и это будучи членом Комитета!) После вступления в Комитет Игоря Шафаревича постепенно создался перевес действия, были выражены главные обращения Комитета – к мировым конгрессам психиатров, по поводу преследования религии и др. Все многочисленные заступничества Сахарова за отдельных преследуемых,

стояния у судебных зданий, куда его обычно не пускали, ходатайства об оправдании, помиловании, смягчении, выпуске на поруки, часто носили форму деятельности как бы от имени Комитета, – на самом деле были его собственными действиями, его постоянным настоятельным побуждением – заступаться за преследуемых.

Эта форма – защиты не всего сразу «человечества» или «народа», а – каждого отдельного угнетаемого, была верно воспринята нашим обществом (кто только слышал по радио, хоть в дальней провинции, кто только мог знать) как чудесное целебное у нас правдоискательство и человеколюбство. Но она же (при злобно-мелочном сопротивлении и глухоте властей) была и изнурительной, забравшей у Сахарова сил и здоровья непропорционально результатам (почти нолевым). И она же, благодаря бессчётности обращений за его подписью, начинала уже рябить, дробиться в сообщениях мировой прессы, тем более, что употреблялась (иногда выпрашивалась, вырывалась) несоразмерно бедствию. И когда весной 1972 года Сахаров написал наиболее решительный из своих документов общего типа (Послесловие к Памятной Записке в ЦК, где он далеко и смело ушел от своего первого «Размышления», где много высказано истин, неприятных властям, о состоянии нашей страны, и предложен мудрый статут «Международного Совета Экспертов»), – этот документ прошел незаслуженно ниже своего истинного значения, вероятно из-за частоты растраченной подписи автора.

Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым в Жуковке 72-й год, но не возникли между нами совместные проекты или действия. Во многом это было из-за того, что теперь не оставлено было нам ни одной беседы наедине, и я опасался, что сведения будут растекаться в разлохмаченном клубке вокруг «демократического движения». Отчасти из-за этого расстроилась и попытка привлечь Сахарова к уже начатой тогда подготовке сборника «Из-под Глыб». (Из моих собственных действий я за все годы не помню ни одного, о котором можно было бы говорить не тайно прежде его

наступления, вся сила их рождалась только из сокровенности и внезапности. Даже о простой поездке в город на один день я не говорил ни под потолками, ни по телефону, всё намёком или по уговору заранее – чтоб не управилось ГБ совершить налёт на моё логово, как это случилось в Рождестве, и перепотрошить рукописи.) Отчасти же Сахаров не вдохновился этим замыслом.

Так мы обреклись на раздельность, и при встречах обменивались лишь новостями да оценками уже происшедших событий. Да и приезжал он всё реже.

Зимою на 1973 год расстраивались и отношения А.Д. с «демократическим движением» (половина которого, впрочем, уже уехала заграницу): «движение» даже написало «открытое письмо» с укорами Сахарову. Тут еще и с официозной стороны поддули привычной травли, что Сахаров – виновник смерти ректора МГУ Петровского. Как это может сложиться в самых огромных делах или жизнях, – стечение мелких, а то и гадких, враждебных обстоятельств, омрачало и расстраивало великую жизнь, крупные контуры. К сумме всех этих мелких расстройств добавлялась и общая безнадёжность, в какой теперь видел Сахаров будущее нашей страны: ничего нам никогда не удастся, и вся наша деятельность имеет смысл только как выражение нравственной потребности. (Возразить содержательно я ему не мог, просто я всю жизнь, вопреки разуму, не испытывал этой безнадёжности, а напротив, какую-то глупую веру в победу.) Весной 73 года Сахаровы в последний раз были у меня в Жуковке – в этом мрачном настроении, и рассказали о своих планах: детям жены пришло приглашение учиться в одном из американских университетов, самому А.Д. скоро придет приглашение читать лекции в другом – и они сделают попытку уехать.

Всё тот же, тот же роковой выбор, прошедший черезо всех нас, раздвоился и лёг теперь перед А.Д. Не лёг свободным развилком, но повис на шее раздвоенным суком.

У него появилась новая поза: сидеть на стуле не ровно-высоко, как раньше, когда мы знакомились, когда он с

добро-веселой улыбкой вступал в эту незнаемую область общественных отношений, – но оседая вдоль спинки, и уже сильно лысоватой головой в туловище, отчего плечи становились высоки.

Тут я уехал от Ростроповича, подобие соседства нашего с Сахаровым перестало существовать – и мы уже не виделись до самого август-сентябрьского встречного боя, вошли в него порознь. В августовских боевых его интервью не замолкает разрушительный мотив отъезда. Мы слышим, что «было бы приятно съездить в Принстон». 4.9 западная пресса заключает, что «Солженицын и Сахаров заявили о твердом намерении остаться на родине, что̀ бы ни случилось». 5.9 Чалидзе из Нью-Йорка: он по телефону разговаривал с Сахаровым, тот *рассматривает приглашение* Принстонского университета. 6.9 – подтверждает то же и сам Сахаров. 12.9 (германскому телевидению) Сахаров «опасается, что его не пустят назад». 15.9 («Шпигелю»): «Принципиально готов занять кафедру в Принстоне». (И западная пресса: «Сахаров готов покинуть СССР. Это – новый **вызов** (??) советскому правительству!»)

Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не возьмусь я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные – и частны все их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную общественную позицию, – у этих лиц решения могут быть частными лишь в «тихие» периоды, в период же напряжённого общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, со сбоем то выполнял его, то нарушал, и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русскою судьбой – такого движения не было в нем ни минуты!) – нарушал, уступая воле близких, уступая чужим замыслам.

Давние, многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ль не предпочтительнее перед всеми остальными проблемами, были

навеяны в значительной мере тою же волей и тем же замыслом. И такой же вывих, мало замеченный наблюдателями боя, а по сути – сломивший наш бой, лишивший нас главного успеха, А.Д. допустил в середине сентября – через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперед. Группа около 90 евреев написала письмо американскому конгрессу с просьбой, как всегда, о своём: чтоб конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешат еврейской эмиграции. Чужие этой стране и желающие только вырваться, эти девяносто могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени подписать такой же текст отдельно, была уже традиция, что к Сахарову с этим можно идти и он не откажет. И действительно, по традиции и по наклону к этой проблеме, Сахаров подписал им – через 2-3 дня после поправки Вильбора Милза! – не подумав, что он ломает фронт, сдаёт уже взятые позиции, сужает поправку Милза до поправки Джексона, всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. И письмо 90 евреев было тут же обронено, не замечено, а письмо Сахарова «Вашингтон Пост» набрала 18.9 *крупными буквами*. И конгресс – возвратился к поправке Джексона... Если мы просим только об эмиграции – почему ж американскому сенату надо заботиться о большем?..

Этот перелом в ходе боя, это колебание соседней колонны прошло незамеченным для тех, кто не жил в ритме и смысле событий. Но меня – обожгло. 16.9 из загорода я написал А.Д. об этом письмо – и то был второй и последний контакт наших колонн во встречном бою.

В ноябре Сахаров днями просиживал в тюремной приёмной, пока допрашивали жену, и 29.11 мы услышали по радио: «Сахаров подал заявление на поездку в Принстон». И «Дэйли Мэйл» выразила общее чувство: «Казалось чудом сопротивление малой группы лиц тоталитарному государству. Грустно сознавать, что чудо не произошло. Тирания

снова одержала победу».

И неужели же свойство всякого чуда – что оно должно оборваться?..

А со снятием глушения в Москве даже многие школьники стали приникать к радиоприёмникам, следить за волнами нашего боя. В какой-то школе восьмиклассник остановил учительницу истории: «Если вы так говорите о Сахарове (по-газетному), то ничему полезному мы у вас научиться не можем». И тут же стали свистеть, мяукать, сорвали ей урок, предупредили два параллельных класса, сорвали и там. А теперь они должны все узнать, что Сахаров на том и покидает их? Приходят письма из провинции, раздаются телефонные звонки: «Передайте Сахарову – пусть ни за что не уезжает!».

1 декабря Сахаровы пришли к нам, как всегда вдвоем. Жена – больна, измучена допросами и общей нервностью: «Меня через две недели посадят, сын – кандидат в Потьму, зятя через месяц вышлют как тунеядца, дочь без работы». – «Но всё-таки мы подумаем?» – возражает осторожно Сахаров. – «Нет, это думай т ы».

Мы сами ждали выхода «Архипелага» через месяц и с ним – судьбы, которую уже твёрдо приняли. *Здесь.* И к *тому* – убеждали их.

А.Д. красен до темян от невыносимой проблемы, глубоко думает, еще глубже теперь утанывает телом – в жестком кресле, головой между плеч. Можно поверить, что трудней – еще не складывалось ему в жизни, изгнание из касты он перенёс весело. Заявления об отъезде он, оказывается, еще не подавал, но *попросил характеристику* в своем академическом институте, как это принято по рядовым советским порядкам. Он! – в сентябре арбитр европейских правительств, победитель над самым страшным из них, теперь просил через нижайшее окошечко себе *характеристику* от злобно-поражённых!..

«Да я сразу бы и вернулся, мне б только и х (детей жены) отвезти... Я и не собираюсь уезжать...» – «Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич!». «Как же могут

меня не пустить, если я приеду прямо на границу?..» (Искренно не понимает – как.)

Уже столько вреда от этой затеи, а внутри его и движенья такого нет – уехать. Мало того, что его не выпустят, – я думаю, он и сам в последнюю минуту дрогнет, визы не возьмёт. Уж мы стали с ним как будто не лицами, а географическими понятиями, что ли, так связались с нашей поверхностью, что как будто не подлежим физическому перемещению по ней, а только разве на три аршина вниз.

Весь минувший бой имел для меня значение, теперь видно, чтоб занять позицию защищённую и атакующую – к следующему, главному сражению, шлемоблещущему, мечезвенящему. Уже вижу завязи его, кое-что и сейчас наметить можно бы, да это уже – к расстановке сил, план операции.

А *они,* противник, – научились ли чему во встречном бою? Похоже по их началу, что – нет. Дмёт их гордость всемирных победителей, и мешает видеть, и мешает рассчитывать движения. Грозятся вынести домашний скандал на улицу, бить детей не в чулане, а на мостовой, открывать заграницей судебные процессы против «Архипелага». Глупей придумать нельзя, только чванство их повело. Но и за них рассудить: а что̀ им остаётся?

Подсылаются новые анонимные письма: «В смерти найдёшь успокоение! Скоро!». На лекциях для крупных чиновников, узко, вот на днях, в декабре: «Солженицыну мы *долго ходить не дадим»*.

Слышу: зубы дракона скребут по камню. Ах, как он алчет моей крови! Но и: как вам моя смерть отрыгнется, злодеи, подумали? Не позавидую вам.

Есть сходство в той поре, в том настроении, с каким я кончал главный текст этой книги весной 67-го года и кончаю теперь – может быть уже и навсегда, надо и честь знать, за всею жизнью пером не поспеешь. И тогда, и сейчас распутывал я нити памяти, чтоб легче быть перед ударом, перед выпадом. Тогда казалось, да и было, страшней: слабей позиция, меньше уверенности. Теперь – ударов много будет, взаимных, но и я же стою насколько сильней, и в первый раз, *в первый раз* выхожу на бой в свой полный рост и в свой полный голос.

Мою биографию для Нобелевского Сборника я так и кончил – намёком: даже событий, уже происшедших с нами, мы почти никогда не можем оценить и осознать тотчас, по их следу, тем более непредсказуем и удивителен оказывается для нас ход событий грядущих.

Для *моей* жизни – момент великий, та схватка, для которой я, может быть, и жил. (А когда б эти бои – да отшумели? Уехать на годы в глушь и меж поля, неба, леса, лошадей – да писать роман неторопливо...)

Но – для *них*? Не то ли время подошло, наконец, когда Россия начнет *просыпаться*? Не тот ли миг из предсказаний пещерных призраков, когда **Бирнамский лес пойдёт**?

Вероятно, опять есть ошибки в моем предвидении и в моих расчётах. Еще многое мне и вблизи не видно, еще во многом поправит меня Высшая Рука. Но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и утверживает, что не я всё задумываю и провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый

рубить ее и разгонять.

О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!

Переделкино
Декабрь 1973

ЧЕТВЕРТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(июнь 1974)

ПРИШЛО МОЛОДЦУ К КОНЦУ

Предыдущее Третье Дополнение уже окончено было, но еще оставалось его перепечатать, перефотографировать, отправить на Запад, остаток спрятать, когда 28 декабря в Переделкине, на даче Чуковских, где с осени был мой новый пустынный зимний приют, во время обычного дневного пережёва под слушанье дневного Би-Би-Си, я неожиданно услышал, что в Париже вышел на русском языке первый том «Архипелага». Неожиданно – лишь в днях, я просил его и ожидал – 7 января, на православное Рождество, но по перебивчивости нашей связи опоздала моя просьба, а самоотверженные наши издатели, не зная ни воскресений, ни вечернего досуга, силами настолько малочисленными, каким удивятся когда-нибудь, опередили мои расчёты. Всего на 10 дней, но именно *дни* и решают судьбу подпольной литературы: не хватит вёдра на уборку – пропал многомесячный урожай.

Услышал – не дрогнул, и вилка продолжала таскать капусту в рот. Уж сколько шагов за эти годы я делал, и каждый казался отчаянным, и каждый оставался без последствий от правительства – изумляла слабость, неупругость той стены или той непомерной дубины, незаслуженно названной дубом, лишь вподгон к пословице. Столько раз проходило – отчего б ещё раз не пройти?..

Через час опалило мне руку из газового котла, пришлось с ожогом ехать в Москву, я подумал: символ? А ощущался со всеми близкими – праздник, так и провели вечер. И какое ж освобождение: скрывался, таился, нёс – донёс!

С плеч – да на место камушек неподъёмный, окаменелая наша слеза. Даже держать не смели дома, а сейчас – кому не лень, друзья, приходите читайте!

Много лет я так понимал: напечатать «Архипелаг» – заплатить жизнью. Не отрубить за него голову – не могут они: перестанут быть сами собой, не выстоит их держава. Чтобы голову сохранить, надо прежде уехать на Запад. А если *здесь* – то естественно, человечески, оттягиваешь: вот еще бы I-й Узел написать, вот еще бы II-й, а и до IV-го бы хорошо, когда уже Ленин приедет в Петроград, и историко-военный роман взорвётся в революционный, и уж заодно под брёвнами горящими погибать. А пока между делом еще проверять, доводить старые редакции прежних вещей, а пока между делом и «Телёнка» бы дочертить. (Только потому и довел его, что вовремя спохватывал Первое-Второе-Третье Дополнения; не написал бы в срок – нипочём бы сегодня, когда уж оборвалась вся эта напряжка подполья, и зашвырнуло меня в изменённую жизнь, под окном моего горного домика – солнечная чаша швейцарских гор, и рукописи уже не стерегутся, и под потолками говорится в открытую. Другая жизнь.) Так и откладывался «Архипелаг» – от января 70-го года, своего первого срока, и всё дальше, и в май 75-го, уже срок совсем окончательный, – как вот прорвало на Рождество 73-го.

И как же явственно, кто видеть умеет: до чего они ослабели! Городили *конвенцию* – хлипкую загородочку против разнесшегося быка, *конвенцией* думали остановить «Архипелаг». Еще 23 декабря начальник вертухайского ВАППа Панкин грозил: «сделка будет признана недействительной... а также иная ответственность» по законодательству, – да кто же кошачьего расцарапа боится, когда шашки рассвистались наотмашь? Заявление ВАППа перед самым «Архипелагом» могло выражать такое решение, что *нашим* легче задушить заграницей несколько издательств, чем здесь меня самого. Но и это был ложный расчёт: не *сделка* была «Архипелаг». Они могли останавливать

любой роман, хотя бы мой «Октябрь 16-го», и их претензии еще давали бы юристам пищу подумать – обосновано? не обосновано? Но душить «Архипелаг» юридическими волосяными петлями выражало слишком явную беспомощность. Американские издатели поспешили заявить, даже *просить:* они *очень хотят,* чтобы советские власти померялись силами, затеяли бы судебный процесс. (Прошло полгода и недавно Панкин, как кот, не доставший молока в кувшине, облизнулся: на Западе очень хотели, чтобы мы судились против «Архипелага», а *мы разочаровали их*.)

Удивительно: еще в августе схватили эту книгу, разглядели. Видели раскалённую, уже оплавленную массу – и всё еще думали: температуры не хватит, металл не потечет? Ни канавок, ни опок, ни изложниц – ничего не готовили, куда б его отвести. Убаюкал я их на Казанском вокзале, обманул любимое министерство. Проспали октябрь, проспали ноябрь. (Только в декабре зашевелились: слали в письмах череп и кости, похоронные вырезки из «Русской мысли», кто ж в Союзе еще получает ее, номер за номером? обещанья расправиться до конца года, – но до конца же года я их опередил!) Пример беспечности, характерный для слишком великой бюрократической системы. Стоило создавать величайшую в мире контрразведку, чтоб не только прохлопать свою смертельную книгу, но даже собственными руками вытащить ее на поверхность? Стоило создавать величайший в мире пропагандистский аппарат, чтоб на скосительную свою книгу не подготовить ни единого аргумента встречь?

Первую неделю обомление полное. С 4 января посыпались судорожные ТАСС'овские заявления, но только для заграницы, без перевода на русский, без печатанья для своих: «*якобы* окутавшая всю страну сеть секретной разведки... *якобы* психиатрические больницы... Повод приписать советской действительности язвы капитализма... Пасквиль в обмен на валюту...». В этой убогости аргументации – вся их растерянность и страх. Всего-то? Полстолетия убивать миллионы – и всего-то защиты? Но и всех

перемахнул французский коммунист Ларош 7 января по московскому телевидению: Солженицын *не отразил* (в «Архипелаге»...) рекордного урожая последнего года и вообще *не учитывает* (над могилами) экономических достижений СССР!.. Один за другим поспешные слабые небольные удары.

На Новый год опять составил я прогноз – «Что сделают?». Вот он:

1. Убийство	– Пока закрыто
2. Арест и срок	– Мало вероятно
3. Ссылка без ареста	– Возможно
4. Высылка заграницу	– Возможно
5. В суд на издательство	– Самое желательное для меня и самое глупое для них
6. Газетная кампания, подорвать доверие к книге	– Скорее всего
7. Дискредитация автора (через мою бывшую жену)	– Скорее всего
8. Переговоры	– Не ноль. Но – рано
9. Уступки, отгородиться: до 1956 г. – «не мы» (К тому и подзаголовок был поставлен: 1918-1956).	– Не ноль

Двумя последними пунктами оценивал я их слишком высоко. Дорасти до такого понимания они не могли. А ведь лежало у них с сентября мое «Письмо вождям», могли б соотнести, подумать. (Да читали ли они его, кто-нибудь?..) Мой замысел отчасти и был: нанося прямой крушащий удар «Архипелагом» – тут же смутить отвлекающей перспективой Письма», поманить их по тропке 9-го пункта. В декабре я послал моему адвокату и издателям такой график: печатать «Письмо» автоматически – через 25 дней после первого тома «Архипелага». То есть, давши вождям подумать 25 дней и ничего не дождавшись, перенести эту двойственность, это смущение вовне, в обществен-

ность, чтоб нависло не над одною закрытою комнатой политбюро, но знали бы: и все наблюдают их выбор.

И верил я: еще могло потянуть разно. Не могло, чтоб совсем никто наверху не задумался над «Письмом». (Хотя б *другие,* кто взойдёт: как путь, для себя возможный, как выход их тупика.)

Из-за того, что «Архипелаг» вышел раньше, и срок «Письма вождям» переходил теперь с 31-го января на 22-е. Но когда ТАСС закричало так гневно и бранно, в этой багровой окраске примирительный тон письма мог восприняться как уступка *моя,* как будто я напуган, не заметят и даты «5 сентября». Мой замысел – от «Архипелага» сразу и прямо пытаться толкнуть нашу государственную глыбу, оказался слаб, плохо рассчитан. Да, предстояло «Архипелагу» менять историю, в этом я уверен, но не так быстро и, видимо, не с Москвы начиная. И 10 января со случайной оказией я поспешил остановить печатанье «Письма». Это успело телефонным звонком в последний миг, ведь вещь не мала, уж ее запустили в набор. Остановили.

Возможно было и другое совмещение, более логичное, я раньше имел его в виду: спарить «Письмо вождям» с «Жить не по лжи», уже четыре года томившимся, и с кем составляли они две стороны единого: отшатнуться от одной и той же мерзости и народу и правительству.

Впрочем, начиная печатать такую поворотную книгу, а за ней теперь и все прочие накопившиеся, сплошь, – нуждался ли я вообще в тактических шагах и каскадах? текли бы просто книги. (О таком образе жизни и сегодня мечтаю. Из долгого боя выйти непросто, вот уже 4 месяца в Европе и еще многие месяцы придется дояснять, договаривать, отражать догонные удары, а истинно хочется: уйти совсем в тишину, писать – и книги пусть текут. Общественное поведение людей объясняют общественными обстоятельствами, но ведь и законы возраста и внутренних наших перемен подготавливают наши общественные решения.)

После отмены «Письма» я настроился: пусть свистят

и улюлюкают, я свое дело сделал пока. Придёте, *возьмёте*? – берите, и к тюрьме готов. Пассивное защитное состояние. Впрочем, по-серьёзному, мы с женою не ждали, что расправа – будет. Многажды сходило с рук, и эту безнаказанность начинаешь ложно продлять вперед. Жена в этот раз особенно была убеждена: кроме газетной брани ничего не будет, проглотят. Я не думал так, но вёл себя именно так: не самозаперся в нашей московской квартире без дневного света (от прогляда и фото закрыты были наши занавеси круглосуточно), без воздуха и простора, но мирно ездил в Переделкино, неторопливо надышивался под соснами, и в темпе необычно для меня медленном (ах, спохвачусь я по этим денечкам!) доканчивал статьи для сборника «Из-под Глыб». Сейчас даже не верится, что размеренно, ровно, буднично текла наша жизнь в январе. (Во время газетной травли друзья приходили к нам и говорили: «только у вас в доме и покойно».) Аля перепечатывала последние главы «Телёнка», мы их фотографировали, готовили к отправке. И, за городом, радио наслушивался я вдосталь: собственный «Архипелаг» доносился из эфира как живущий сам по себе, своими болями полный, а мной никогда не построенный, не могущий созданным быть – и меня же до слёз пронимал. Мировой отклик на русское издание книги превзошел по силе и густоте всё мыслимое. Ну, конечно, перемешивали со своим, более понятным: страшные вести о диком Архипелаге – и снятие запрета с воскресных автомобильных поездок в ФРГ; в головы невмещаемая архипелажная жизнь и трехдневная рабочая неделя в Великобритании. Топливный кризис дохнул на преблагополучный Запад – и эти первые слабые ограничения поразили его чувства. К чести Запада, однако, страдания с бензином не показались сильней, чем страдания тех вымерших туземцев.

Только теперь, нет, только сегодня, я понимаю, как удивительно вел Бог эту задачу к выполнению. Когда весь 1962-й год «Иван Денисович» сновал по Самиздату до Киева, до Одессы, и *ни один* экземпляр *за год,* каким чудом?

не уплыл заграницу – Твардовский так боялся, а я нисколько, мне по задору даже хотелось, чтоб «Денисович» вырвался неискажённый, – я совсем не понимал, что *только так, именно так* вколачиваюсь я, по наследству от Хрущева, невыемным костылём в кремлевскую стену. И когда ленинградский экземпляр «Архипелага» не сожжён был, как я понуждал, как был уверен, а достался гебистам, и вызвал спешное печатанье, под яростный их рёв, – именно *этим* путем возводился «Архипелаг» в свидетельство неоспоримое. Сейчас тут, на Западе, узнаю: с 20-х годов **до сорока** книг об Архипелаге, начиная с Соловков, были напечатаны здесь, переведены, оглашены – и потеряны, канули в беззвучие, никого не убедя, даже не разбудя. По человеческому свойству сытости и самодовольства: **всё было сказано** – и всё прошло мимо ушей. В случае с советским Архипелагом тут веял еще и славный социалистический ветер: стране социализма можно простить злодейства и непомерно бóльшие, чем гитлеровские: это всё гекатомбы на светлый алтарь. Напечатай я «Архипелаг» с Запада – половины бы не было его убойной силы при появлении.

А теперь даже удивительно, как понимали:

«Огненный знак вопроса над 50-летием советской власти, над всем советским экспериментом с 1918 г.» («Форвертс»).

«Солженицын рассказывает всему миру правду о трусости коммунистической партии» («Гардиан»).

«Может быть когда-нибудь мы будем считать появление «Архипелага» отметкой о начале распада коммунистической системы» («Франкфуртер Альгемайне»).

«Солженицын призывает к покаянию. Эта книга может стать главной книгой национального возрождения, если в Кремле сумеют ее прочесть» («Немецкая волна»).

Ассоциация американских издателей выразила готовность опубликовать исторические материалы, которые советское правительство захотело бы противопоставить «Архипелагу». Но – не было таких материалов. За 50 лет палачи не подсобрали себе оправданий. И за последние полгода, уже книгу имея в ГБ, – не удосужились. Напечатали в

«Нью-Йорк Таймс» вялую статью Бондарева, в «Известиях» статью о генерале Власове – обширную, я развернул, думаю: ну, сейчас будут опровергать, кто Прагу от немцев освободил, документы – у них, каких нет – подделают, а где ж мне моих сокамерников теперь созвать? Но – нет! даже не хватило наглости, главного не опровергли: что единственным боевым действием власовских дивизий был бой против немцев – за Прагу!

За полстолетия нисколько разумом не возрастя, но много даже поубавившись от изворотливых коминтерновских 20-х годов, советская пресса умела и знала одно: лобовую брань, грубую травлю. Ее и открыла «Правда» 14-го января: «Путь предательства». Материал – *директивный:* на другой день перепечатали ее все другие крупные и местные газеты, это уже тираж миллионов под 50. Еще на следующий день «Литгазета» указала и специальный термин для меня: *литературный власовец*. И в несколько дней посыпало изо всех типографий, со всех витрин. И главный передёрг: тюрьмы, лагеря – вообще не упоминались как тема, вся осуждаемая книга есть оскорбление памяти погибших на войне, а главное, изящно-непрозрачным выражением: как будто (и отступить можно) у подлеца три автомашины – и этот смачный кусок, брошенный толпе, более всего дразнит: «Гад! *чего ему не хватало*?!».

Со следующего же дня после сигнала «Правды» началась трехнедельная атака телефонных звонков в нашу московскую квартиру. Новое оружие XX века: безличным дребезжаньем телефонного звонка вы можете проникнуть в запертый дом и ужалить проснувшегося в сердце, сами не поднявшись от своего служебного стола или из кресла с коктейлем.

Началось – блатным рыком: «Позови Солженицына!» – «А вы кто такой?» – «Позови, я – его друг!». Жена положила трубку. Снова звонки. Взяла трубку молча (ни «да», ни «слушаю») – тот же блатной хрипящий крик: «Мы хоть и сидели в лагерях, но свою родину не продавали, понял?? Мы ему, суке, ходить по земле не дадим, хватит!!».

(Лектор ЦК в декабре – слово в слово, только без «суки».) Телефонная атака была неожиданное, непривычное дело, требовала нервов, мгновенного соображения, находчивых ответов, твердого голоса (нас не проймёте, не старайтесь). Аля быстро овладела, хорошо находилась. Слушала, слушала всю брань эту молча, потом тихо: «Скажите, зарплату дают в ГБ два раза в месяц или один, как в армии?» – по ту сторону в таких случаях всегда терялись. Или даже поощряла междометиями, давая выговориться, потом: «Вы всё сказали? Ну, так передайте Юрию Владимировичу (то-есть, министру КГБ), что с такими тупыми кадрами ему плохо придётся». Звонили так сдирижированно непрерывно, что не давали прорваться звонкам друзей, а не взять трубку – может быть именно друг и звонит? Всё ж удалось и самим сообщить об этом шквале (и в тот же вечер западные радиостанции, дай Бог им здоровья, уже передавали о телефонной атаке). Голоса мужские и женские, ругань, угрозы, сальности, – и так непрерывно до часу ночи, потом перерыв – и снова с 6 утра. Немного звонили и к Чуковским в Переделкино, оскорбляли Лидию Корнеевну, вызывали меня («с женой плохо»). К счастью, заготовлено было у нас приспособление записывать телефонные разговоры на диктофон, я по телефону же, через ГБ, проинструктировал Алю – как включать, и она по телефону же демонстрировала воспроизведение: вот, мол, наберем на кассету самых отборных... Цивилизация рождает оружие – рождает и контроружие. Подействовало, стали остерегаться, говорить помягче, разыгрывать роли сочувственников («боимся, что его арестуют!»).

В тот первый вечер затевали и бо̀льшее, чем звонки – кажется, *народный гнев:* какие-то лица созваны были во двор, и сюда же стянуто несколько десятков милиционеров – *охранять,* но ни битья стёкол, ни «охраны» не осуществилось, очевидно, переменили команду, когда-нибудь узнаем.

А телефонные звонки зарядили на две недели, хотя уже не с такою плотностью, как в первый день, зато разнообразнее:

– ...Власовец еще жив?..

– ...Я читал все его произведения, молился на него, но теперь вижу, что мой кумир – подонок.

А то и – крик отчаяния (после моего нового заявления прессе):

– Да что ж он делает, гад?!! Что ж он не унимается?!

Темы не столько перемежались, сколько сменяли друг друга по команде: день-два только угрозы убить, потом – только «разочарованные почитатели», потом – только «друзья по лагерю», потом – доброхоты, с советами: не выходить на улицу, или детей беречь, или не покупать продуктов в магазине – для нас успеют их отравить. Но удивительно: среди сотен этих звонков не было ни одного умелого, артистического, фальшивость выявлялась в первом же слове и звуке, независимо от сюжета. И все сбивались от встречной насмешки. И, чтоб не тратить досуга, все стали вмещаться в служебное время.

Такова была попытка сломить дух семьи – и через то мой. Но госбезопасности не повезло на мою вторую жену. Аля не только выдержала эту атаку, но не упустила течения обязанностей. Шла работа, и семья жила, и малыши еще нескоро поймут, что их младенчество было не совсем обычное.

Параллельно телефонной атаке (и, само собою, газетной) велась еще и почтовая. По почте враждебные письма всегда были с полными точными адресами – но анонимны. Прорвалось несколько и дружеских (ошибка цензуры: «Немецкая волна» назвала наш адрес без № квартиры – и *эти* письма шли другою разборкой, не попадали под арест) – то от «рабочих с Урала», то – от детей погибших зэков.

Советская газетная кампания, шумливая, яростная и бестолковая, на международной арене была проиграна в несколько дней, так глупа она была. Предупреждала «Нью-Йорк Таймс»: «Эта кампания может принести СССР бо̀льший вред, чем само издание книги». И «Вашингтон Пост»: «Если хоть волос упадет с головы Солженицына –

это прекратит культурный обмен и торговлю». Уж там прекратит-не прекратит, преувеличение, конечно, *разрядку*-то упускать никак нельзя, однако, читая западные газеты на Старой Площади, можно и раздуматься: чёрт ли в этом Солженицыне, стоит ли из-за него портить всю международную игру? Западная пресса звучала таким могучим хором моей защиты, что исключала и убийство, и тюрьму.

А тогда – *куда* ж и к чему это всё лаялось? Куда выносило необдуманно серые паруса наших газет? (Для себя я видел в газетной кампании уже ту победу, что отдавшись крику на весь мир, *они* упускали простую бывалую молчаливую хватку – зубами на горло и в мешок.) Но – начали, по срыву, по злости, не вырешив до конца, начали, задели миллионы неведавших голов у себя в стране, – и теперь з а н и х, прежде всего – за соотечественников, начиналась борьба. Да и перед Западом как будто непонятно становилось: отчего уж я так не оправдываюсь, ни единым словом? может, в чем-то клевета и права?

Вот так и зарекайся – в драке дремать молчаливо. На то нужен не мой нрав.

Я ответил в два удара – заявлением 18-го января [31] и коротким интервью журналу «Тайм» 19-го [32]. В заявлении ответил на самые занозистые и обидные обвинения советских газет, подсобравши всё к двум страничкам; в интервью развил позицию: упущенный в ноябре ответ Медведевым; и образумленье себе, Сахарову, и всем, кто за гомоном и гоненьем потерял ощущение меры: что как бы нас на Западе ни защищали, спасибо, но надо скорей на ноги свои; и – пока еще рот не заткнут, а как там вывернется с «Жить не по лжи» не знаешь, высунуть на свет и этот главный мой совет молодёжи, эту единственную мою реальную надежду; и просто вздохнуть освобожденно, как чувствует душа: «Я выполнил свой долг перед погибшими...».

Отстонались, отмучились косточки наши: сказано – и услышано...

Передавали по многим радио, телевидениям – а в газетах пришлось во многих на 21-е января – в полустолетие

со дня смерти Ленина, какого и не вспомнили в тот день. Броском косым и укусом мгновенным сколько схваток он выиграл при жизни! – а вот как проигрывал через полвека, еще неназванно, еще полузримо.

Би-Би-Си: «Двухнедельная кампания против Солженицына не смогла запугать его и заставить замолчать». – «Ди Вельт»: «За устранение его Москве пришлось бы заплатить цену, аналогичную Будапешту и Праге».

И так перестояли мы неделю после правдинского сигнала – бить во все! Перестояли, и даже ТАССу пришлось отзываться – но как же отозваться на мой призыв молодёжи – не лгать, а выстаивать мужественно? Вот как: «Солженицын обливает грязью советскую молодёжь, что у нее нет мужества». Но это было уже 22-го января, день, когда в Вашингтоне перед зданием Национального клуба печати состоялась демонстрация американских интеллектуалов разных направлений, очень ободрившая меня: читали отрывки из «Архипелага», возглашали: «Руки прочь от Солженицына! Наблюдает весь мир!». 22-го, когда появился «Архипелаг» уже и на немецком и первый тираж был распродан в несколько часов. Мы перестояли неделю, но ею завершался почти полный первый месяц от выхода книги, самый трудный месяц, когда плацдарм еще так мал, еще мир и *не читал* – а уже так много понял! Теперь же плацдарм расширялся, начиналось массовое чтение на Западе, при взятом уже разгоне даже трудно было предвидеть последствия. 23-го у меня записано: «А что, если враг дрогнет и отойдёт (начнёт признавать прошлое)? Не удивлюсь». (Еще раньше, вслед за русским тотчас, должно было появиться американское издание, мною всё было сделано для того, но два-три сухих корыстных человека западного воспитания всё обратили в труху, всю Троицыну отправку 1968 года; американское издание опоздает на полгода, не поддержит меня на перетяге через пропасти – и только поэтому, думаю, наступила развязка. А могло быть, могло бы быть – чуть ли бы не отступление наших вождей, если бы на Новый 1974 год вся Америка читала

бы реально книгу, а в Кремле только и умели сплести, что она воспевает гитлеровцев...)

Я понял тогда так: если первый месяц решалось, что̀ будет со мной, – от нынешнего момента сражение расходится шире и глубже: теперь о том идёт, проглотит ли Россию пропагандистская машина еще раз – или поперхнется? газетная ложь – опять и опять разольётся свободно или наконец встретит сопротивление? Я верил, что благоприятный перелом возможен, и тем более понимал смысл положения своего: делать следующие заявления не к Западу, а по внутренним адресам.

В конце января газетная брань еще ожесточилась, умножилась, гроздьями и гроздьями набирали подписи, теперь уже и известных, для толпы выставляли афишу на улице Горького: моя книга с желтым черепом и черными костями, – но и молодые бестрепетные выступали по одному как на смерть, выходили в полный рост, беззащитные, под свинец – Боря Михайлов, Дима Борисов, Женя Барабанов, по совпадению у каждого – неработающая жена и по двое малых детей. И Лидия Корнеевна назвала, кто кого предал [33]. Газетная брань гремела выгибанием жестяных полотнищ, но с Запада издали чутко заметили: что мои заявления были «явно-наступательного характера», а власти – как будто бы отступают, тратя усилия многие и все равно беспомощно.

Утки в дудки, тараканы в барабаны, на своем месте каждый посильно толкал. Пока газеты бранились – в госбезопасности обряжали Виткевича на интервью кому-нибудь западному. Такой поворот поразительный: обвиняла меня госбезопасность, что я был против нее недостаточно стоек, не с первого знакомства по морде бил, как сегодня. Хоть и сам я ожидал вероятнее всего дискредитации личной, но ждал, что это будут вести через первую жену, не предполагал через друга юности. Кем я у них уже не был – полицаем, гестаповцем – теперь доносчиком в ГБ. Предпочёл бы я вовсе не отвечать, слишком часто. Да влезши в сечь, не клонись прилечь. Ну, а раз отвечать – так во весь колокол. [34]

И снова мировое радио и пресса подхватили. «Против вооруженных повстанцев можно послать танки, но – против книги?» («Кёльнише Рундшау»). «Расстрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы, как прав Солженицын» («Монитор»). «Пропаганда оказалась бумерангом...». И уже не впервые поддержал меня звучно Гюнтер Грасс.

И мне показалось: я выиграл еще одну фазу сражения. Дал новый залп, а *их* атаки как будто замирают или кончились (как уже было в сентябре)? Я – еще и еще укрепился? 7 февраля записал: «Прогноз на февраль: кроме дискредитации от них вряд ли что будет, а скорей передышка». Неразумно так я писал, сам же и не забывая, что конец января-начало февраля всю жизнь у меня роковые, многие в эти дни сгущались опасности, окруженье, арест, этап, операция, и помельче, а как переживёшь – так сразу и спадало. Я больше *хотел* так, передышку: замолчать, убраться в берлогу, как много уже раз после столкновений – уцелевал и замолкал. Хотя по ходу сражения даже жалко было – в передышку.

Особенность человека, что он и грозные, и катастрофические периоды жизни переживает схоже с рядовыми, занят и простым вседневным, и только издали потом оглядясь: ба, да земля под ногами крошилась, ба, да при свете молний!

Сам я никакого перелома не заметил. А жена в начале февраля почуяла зловещий перелом: в том, что телефонная атака на нашу квартиру прекратилась, да даже и газетная кампания увяла как-то – всё, чем прикрывали до сих пор нерешительность власти. (Брежнев вернулся с Кубы, я значения не придал. А его и ждали – принять обо мне решение.)

Среди множества, прозвучавшего за этот месяц, было и вещее, да не замеченное, как всегда это бывает, могущее и впусте пройти, пока возможность не стала выбором. Сейчас, пересматривая радиобюллетень за тот месяц, нахожу с удивлением для себя: 18 января, корреспондент Би-Би-Си из Москвы: «Есть намёки, что склоняются к *высылке*».

20 января, Г. Свирский, эмигрант: «Солженицына физически заставят войти в самолёт». Как по печатному! И ведь я допускал возможность высылки, а вот *этой формы* простейшей – силою, в самолёт, да меня одного, без семьи – как-то не видел, упустил. (Да что! – сейчас в печать отдавая, проглядываю эту книгу – откинулся: в марте 72-го нас же и предупреждали, что именно так будет: высылка через временный арест. Совершенно забыли, никогда не вспомнили!..) И уж меньше всего мог думать, что так прилипнет ко мне, что̀ канцлер Брандт 1 февраля сказал молодым социалистам (нисколько тем не довольным, провалился бы я и сквозь землю): «В Западной Германии Солженицын мог бы беспрепятственно жить и работать». Сказал – и сказал.

Высылка – могда быть, но она и прежде уже не раз быть могла, да никогда к ней не подкатывало. А если будет, то, представляли мы с женой: охватят кольцом нашу квартиру, всех вместе, отрежут телефон и велят собираться – поспешно или посвободнее. Если бы продумать медленно, могли бы мы догадаться, что такая форма властям не подойдёт. Но медленно никогда не доставалось нам подумать: всегда мы были в гонке текущих дел. Уже третий год, как держали мы такую бумажку: «Землетряс», и варианты: застигло нас вместе, порознь, в дороге – но так никогда и не собрались детально разработать. Да перебрать все годы по неделям – каждая была наполнена как главная из главных: что-то пишу, срочно доделываю, или исправляю старую редакцию, перепечатываем, фотографируем, рассредоточиваем (и сколько изменных решений: *эту* вещь – лучше дома держать? не дома? и так пробуем, и этак), отправляем заграницу, сопровождаем пояснительным письмом. И за теми заботами и за свалкой с врагами, так никогда и не углубились превратить «Землетряс» в график.

8 февраля в Швеции вышел «Архипелаг», поддержка прибывала. И в Норвегии после выступлений в стортинге министр иностранных дел передал советскому послу беспо-

койство норвежской общественности. Тут и датская с-д партия – тоже в мою защиту. Спокойно я работал в Переделкине. И вдруг от Али внеурочный звонок: приносили повестку из генеральной прокуратуры [35], явиться мне туда и немедленно, к концу рабочего дня. (Это и невозможно было из Переделкина, голову сломя, ка̀к не рассчитали, зачем написали так?) Придравшись, что повестка не мотивирована, не указаны причины вызова, в качестве кого вызываюсь, исходящего номера нет (придраться непременно надо было, глазами ела эту повестку), – жена отклонила вызов.

У Чуковских в столовой много лет телефон стоял на одном и том же месте – на резном овальном столике, противоположно окну, так что в пасмурный день, да к концу его – серо было. И взявши трубку, и услышав о генеральной прокуратуре, я сразу вспомнил, так и прокололо, как на этом самом месте в такие же полусумерки из этой же трубки в сентябре 65-го, я услышал от Л. Копелева: «Твое дело передано в генеральную прокуратуру». *Дело* мое тогда было – захваченный архив, с «Пиром победителей» и «Кругом», и передача его в генеральную прокуратуру означала судебный ход. (Почему они на него не решились тогда – загадка. Имели бы успех.) Тогда-то – в генеральной прокуратуре «Круг» мой просто заснул в сейфе. Но какое-то пророчество было в том: чтобы через 8 лет та же задремавшая змея на том же месте меня ужалила.

Что ж. Громоглашу я против них уже 7 лет, должны были и они, наконец, подать *команду*.

По телефону с женой мы разговаривали всегда условно, притворно, всё через Лубянку, так и сейчас – будто этот вызов в прокуратуру не выше прыща (она и звонила не тотчас). А поняли оба, что дело серьёзно. Серьёзно, однако сбивало, что летом туда же вызывали Сахарова и всего навсего для увещательной беседы: прекратить непристойную деятельность. Правда, и не сбив это вовсе, к нему и ко мне отношение властей всегда было разное. Номенклатурно мысля: он – три медали «Золотая звезда», уж от него

ли государство не попользовалось? зачеркнуть даже *им* не просто. А я, сколько знают они меня – как спирт нашатырный под нос, другого от меня не видели. Вызывать меня на увещание – никак не могли. А тогда – на что? И почему – к концу рабочего дня, последнего в неделе? Тут бы и вникнуть. Нет, аналогия отвлекала. (Они на нее и рассчитывали, заманить?..) Ясно было, что своими ногами я не пойду, но и будто – простор еще оставался, время.

Двух часов не прошло – вдруг топот мужской на крыльце и сильнейший грозный стук по стёклам – *именно так* стучали, как ЧКГБ – властно, *последним* стуком. А Лидия Корнеевна ничего не знала – чтоб работы ее не прерывать, я ей о прокуратуре еще и не сказал, и впопыхах объяснять уже некогда. Не готовы мы оказались, впустили! В чужом доме и не мог я советовать – не впускать.

Трое. С глупейшим поводом: для ремонта дачи (какого делать не будут) уже приходили дважды (осматривать меня и мою комнату) – так вот, два месяца назад «забыли книгу сметы» в этом доме, теперь искать пришли. Выедали меня глазами, с полуслепой Л.К. ходили по комнатам. Вдруг – телефонный звонок, и – чужой ремонтник, в чужом доме! – хватнул трубку, выслушал, буркнул – и тут же, книгу потерянную более не ища, – ушли сразу все. Пошла Л.К. за ними, успела увидеть за воротами машину и еще двоих-троих.

Кажется, так явно: приходили за мной. Нет, безнаказанность стольких уже сошедших эпизодов, а главное – инерция работы, не давшая мне много лет нигде завязть, захряснуть, затиниться, – эта самая инерция мешала мне тотчас же кинуть всю работу, методически собраться и утром катить в Москву. Кончалась пятница, и двое суток – субботу и воскресенье, могли мы потратить на самое нетерпящее, улаживая, обдумывая, признав, что Землетряс уже начался! Нет, я просидел еще три ночи и два дня в Переделкине, вяло продолжая и ничего не докончив, уже как будто невесомо взвешенный, а всё еще и на земле, и даже в понедельник утром, не слишком рано спеша в Москву,

оставил на месте свой быт, поверхность письменного стола, книги.

Утром 11-го, по дороге в Москву, я знал уже, что̀ отвечу прокуратуре. Но так не рано приехал я, а посыльной прокуратуры (офицер, конечно, но с застенчивой улыбкой) так в рани рабочего дня с новою повесткой, что я не успел и с женой обсудить, как следует, и уже при нём, посыльном, посадивши его в передней, перепечатывал на машинке свой ответ [36] – и вместо подписи приклеил его к повестке. Растянулось долго, и посыльной офицер нервничал в передней (думал ли, что мы ему засаду готовим?), при моем проходе зачем-то вскакивал и вытягивался. Получив ответ – благодарил, и так торопился уйти, листа не сложив, что я ему: «В конверт положите, дождь». Втиснул неловко.

Началась драка – бей побыстрей! Еще при посыльном стали мы звонить корреспондентам, звать к себе. Сперва – объявить мой ответ. Но заскакивало чувство дальше, раззудись рука, – после этаких слов какие ж еще остались запреты? Выговаривать – так до дна. И, схвативши третий том «Архипелага», выпечатывали мы уже отрывок из 7-й части, из брежневского времени: **закона нет**. Пришли от «Нью-Йорк Таймс», от Би-Би-Си, я прочел им вслух на микрофон. Вот эти два ответа за несколько часов – стоили ситуации.

Но собираться, прощаться – мы и не начинали. Бой – так не первый же раз, не грознее прежних.

Я и сегодня не могу точно понять: почему не взяли меня в Переделкине на даче? почему дремали субботу и воскресенье? И после дерзкого моего ответа 11-го утром – почему не шли взять меня тотчас, если было уже всё решено? Ведь если в пятницу вечером я пришел бы в прокуратуру (а так просто метнуться по моему характеру, она – рядом, на Пушкинской, две минуты ходьбы и не какое-нибудь же заклятое ГБ) – вот попался бы гусь, вот бы в ловушку! – меня бы тут же и взяли, беззвучно, неглядно. Почему ж не брали в понедельник и во вторник, давали трубить на весь мир? Может быть, и сробели – от

громкости моего отпора. Если б я явился в прокуратуру – значит, еще признавал их власть, значит, еще была надежда на меня давить, переговариваться.

К вечеру пошли мы с женой погулять, поговорить на Страстной бульвар: это было любимое наше место для разговора подольше – и удивительно, если нас не прослушивали там никогда (правда, мы старались все время менять направление ртов). Тот самый Страстной бульвар – уширенный конец его, почти кусочек парка – и вообще любимый, и за близость к «Новому миру», сколько здесь новомирских встреч! В этот раз следили за нами плотно, явно. Но когда не следили совсем? – от этого день не становился изрядным.

Перебрали, что в чертах общих мы готовы как никогда, все главные книги спасены, недосягаемы для ГБ. И что к аресту надо приготовиться, простые вещи собрать. Но – усталые, приторможенные мозги: на настоящее обсуждение Землетряса – он пришёл, но он ли уже? – не достало четкости, какая-то вялость. Я повторил, как и прежде, что два года в тюрьме выдержу – чтоб дожить до напечатания всех вещей, а дольше – не берусь. Что в лагере работать не буду ни дня, а при тюремном режиме можно бы и писать. Что̀ писать? Историю России в кратких рассказах для детей, прозрачным языком, неукрашенным сюжетом. (С тех пор задумал, как свои сыновья пошли, а – соберусь ли?) Обсуждали, как при свидании передавать написанное серьезное. Как буду вести себя на следствии, на суде (давно решено: не признаю̀ их и не разговариваю с ними).

Был бессолнечный полуснежный день (земля – под белым, деревья и скамьи черны), а вот уже и к сумеркам – горели враждебные огни в АПН, и с двух сторон бульвара катили огоньки автомобилей. Кончался день, не взяли.

Покойный рабочий вечер. Делали последнюю фотоплёнку с «Тихим Доном». Слушали радио, как мой утренний ответ уже по миру громыхал. Собрали простейшие тюремные вещи, а мешочка не нашли – вот заелись: тюремного мешка нет наготове! Ночью, в обычную бессонницу, я тоже хорошо

поработал, сделал правку «Письма вождям»: оценки и предложения все оставались, но надо было снять прежний уговорительный тон, он сейчас звучал бы как слабость.

И так на душе было спокойно, никаких предчувствий, никакой угнетённости. Не кидался я проверять, сжигать, подальше прятать – ведь для работы завтра и через неделю – всё это понадобится, зачем же?

С утра опять работали, каждый за своим столом. У жены много стеклось опасного и всё лежало на столе. 10 часов, назначенные во вчерашней повестке. Одиннадцать. Двенадцать. Не идут. Молча работаем. Как хорошо работаем! – отпадает с души последняя тяжесть: **Отступили**! Живём дальше!! Я ответил: **Судить виновников геноцида**! – и мир, и покой, облизнулись и отступили. Потерпят и дальше. Никакие *патриоты* не звонили, никто не рвался в квартиру, никто подозрительный не маячил под парадным. Может быть потому не шли, что иностранные корреспонденты дежурили близ нашего дома?

И я даже не проверил как следует большой заваленной поверхности своего письменного стола, не видел плёнки-копии, давно назначенной на сожжение. Хуже. Лежали на столе письма из-за границы от доверенных моих людей, от издателей, их надо было срочно обработать и сжечь – и тоже времени не было. Да, вспоминаю, вот же почему: 14-го вечером назначена была моя встреча с западным человеком – и я гнал подготовить то, и только то, необходимое, что предполагал в этот вечер отправить.

Теперь имею возможность открыть, во что поверить почти нельзя, отчего и КГБ не верило, не допускало: что *все передачи на Запад* я совершал не через посредников, не через цепочку людей, а с а м, своими руками! Следило ГБ за приходящими ко мне, за уходящими, и с кем они там встречались дальше – но по вельможности своего сознания, по себе меря, не могли представить ни генерал-майоры, ни даже майоры, что нобелевский лауреат – сам, как мальчишка, по неосвещенным углам в неурочное время шныряет со смененной шапкой (обычная в рюкзаке), таится

в бесфонарных углах – и передаёт. **Ни разу не уследили и ни разу не накрыли**! – а какое бы торжество, что за урожай!.. Правда, помогало здесь моё загородное житьё – то в Рождестве, то в Жуковке, то в Переделкине, обычно шел я на *встречи* оттуда. Из Рождества можно было гнать пять верст по чистому полю на полустанок, да одеться как на местную прогулку, да выйти лениво в лес, а потом крюку и гону. Из Жуковки можно было ехать не обычной электричкой (на станции то и дело дежурили топтуны) – в другую сторону и кружным автобусом на Одинцово. Из Переделкина – не как обычно на улицу, а через задний проходной двор, где не ходили зимой, на другую улицу и пустынными снежными ночными тропами – на другой полустанок, Мичуринец. И перед тем по телефону с женой – успокоительные разговоры, что мол спать ложусь. И – ночной огонёк оставить в окне. А если попадало ехать на встречу из самой Москвы, то либо выехать электричкой же за город, плутануть в темноте и воротиться в Москву, либо, либо... Нет, городские рецепты пока придержим, другим пригодятся. ...А ещё ж остаётся и быстрая ходьба. В 55 лет я не считал себя старым для такой работы, даже очень от нее молодел и духом возвышался. Обрюзгшие гебисты не предполагали во мне такого, сейчас прочтут – удивятся.

В 3 часа дня, не обедая, я со Степаном, 5-месячным моим сынком, пошел гулять во двор – понес его коляску подмышкой. На просмотре всех окон, всех прохожих и дворовых, стал похаживать с бумагами, как обычно, почитывать, подумывать. Спокойный день получился. Вот когда только и дошла очередь до чтения тех писем из-за границы – к завтрему надо было на них ответить. Так, на просмотре, на полной открытости, похаживал мимо спящего Стёпки, и читал конспиративные письма... Но не суждено было мне их дочитать: пришел, подошел ко мне Игорь Ростиславич Шафаревич.

А не пора ли мне и о нем написать, открыто? К тому времени, как эта книга напечатается, уже он выступит

с опасным своим и примет свой рок или Бог отведет от него. В этой книге много было писано о Твардовском, как он пробивал мне дорогу и как я двигался самовольно – рядом с ним, но нельзя сказать, чтобы вместе. И о Сахарове: только так и виделось издали, что вместе мы. Но – ни одного замысла у нас не составилось совместного никогда и даже ни одного заявления мы никогда не подписали вместе, странно; и о выходе «Архипелага» я не предупреждал его. А с Игорем Шафаревичем мы действительно были вместе, плечо о плечо, уже три года к тому времени готовя «Из-под Глыб». Соединяли нас не прошлые воспоминания (их не было) и даже не нынешнее стояние против Дракона – нет, более прочная связь: соединяли нас общие взгляды на *будущее* русское (это будущее очень не едино скоро раскроется в нашей стране).

Мы познакомились в начале 68-го. Время ценя, а зубоскальство застольное нисколько, я отклонял многие знакомства, в академических особенно был разочарован, насторожен был и к этому, зашел на полчаса. Глыбность, основательность этого человека не только в фигуре, но и во всем жизненном образе, заметны были сразу, располагали. Но первый наш разговор не дошел до путного, тут еще вмешалась насмешливая случайность: лежали у него на столе цветные адриатические пейзажи, он был там в научной командировке и мне показал зачем-то. Ему самому это было крайне не в масть, нельзя придумать противоположней. А я решил: балуют его заграничными командировками (а как раз наоборот!), такие – безнадёжны для действий. Сказал я ему: вообще, сколько академиков видел – поговорить интересно и даже смело все любят, а как действовать да выстаивать, так и нет никого. И ушел. Не открылось вмиг, на чем бы нам сблизиться. Позже. Уже с третьей встречи стала проступать наша общая работа. Тот год был, кажется, самый шумный в «демократическом движении», и уже тогда стал опасно напоминать 900-е и 10-е годы: только – отрицание, только – дайте

свободу! а что̀ дальше – никто с ответственностью не обдумывал, с ответственностью перед нашей несчастной страной – чтоб не новый крикливый опыт повторить и не новое потрошенье внутренностей ее, сама она хоть пропади.

Все мы – из теплого мяса, железных не бывает, никому-никому не даются легко первые (особенно первые) шаги к устоянию в опасности, потом и к жертве. Две тысячи у нас в России людей с мировой знаменитостью, и у многих она была куда шумней, чем у Шафаревича (математики витают на Земле в бледном малочислии), но граждански – все нули, по своей трусости, и от этого нуля всего с десяток взял да поднялся, взял – да вырос в дерево, и средь них Шафаревич. Этот бесшумный рост гражданского в нем ствола мне досталось, хоть и не часто, не подробно, наблюдать. Подымаясь от общей согнутости, Шафаревич вступил и в сахаровский Комитет Прав: не потому, что надеялся на его эффективность, но стыдясь, что никто больше не вступает, но не видя себе прощения, если не приложит сил к нему.

Вход в гражданственность для человека не гуманитарного образования – это не только рост мужества, это и поворот всего сознания, всего внимания, вторая специальность в зрелых летах, приложение ума к области, упущенной другими (притом свою основную специальность упуская ли, как иные, или *не* упуская, как двудюжий Шафаревич, оставшийся посегодня живым действующим математиком мирового класса). Когда такие случаи бывают поверхностны, мы получаем дилетантство, когда же удачны – наблюдаем сильную свежую хватку самобытных умов: они не загромождены предвзятостями, доведенными до лозунгов, они критически провеивают полновесное от трухи. (И.Р. эту свою вторую работу начал совсем частным образом, для себя, с музыки, и именно естественнее всего – с гениального, трагического и жалко-опустившегося Шостаковича, к которому его всегда тянуло. Он пытался понять, за чем застаёт Шостакович наши души и что обещает им – сама собою

просится такая работа, но никем из советских музыковедов не совершена. Напечатать статью было, конечно, негде – и по сей день. Исследование о Шостаковиче привело И.Р. к следующему расширению: к общей оценке духовного состояния мира как кризиса безрелигиозности, как порога новой духовной эры.)

Вот назвал я три крупных имени, вошедших в эти *литературные заметки* – лиц, делавших или делающих нашу гражданскую историю. Заметим: лишь Твардовский из них – гуманитарист от начала до конца. Сахаров – физик, Шафаревич – математик, оба занялись как будто не своим делом, из-за того, что некому больше на Руси. (Да и про меня заметим, что образование у меня – не литературное, а математическое, и в испытаньях своих я уцелел лишь благодаря математике, без неё бы не вытянул. Таковы советские условия.)

А еще Шафаревичу прирождена самая жильная, плотяная, нутряная связь с русской землей и русской историей. Любовь к России у него даже ревнива – в покрытие ли прежних упущений нашего поколения? И настойчив поиск, как приложить голову и руки, чтобы по этой любви заплатить. Среди нынешних советских интеллигентов я почти не встречал равных ему по своей готовности лучше умереть на родине и за неё, чем спастись на Западе. По силе и неизменности этого настроения: за морем веселье да чужое, а у нас и горе да своё.

Два года обсуждая и обсуждая наш сборник «Из-под Глыб» и материалы, стекающие к нему, мы с Шафаревичем по советским условиям должны были всё это произносить где-то на просторной воле. Для этого гуляли мы подолгу – то под Жуковкою, то по несравненным холмам близ Рождества (граница Московской области и Калужской), то, однажды (в разгар «встречного боя», 31 августа 73 года, перед тем, как я узнал о захвате «Архипелага») близ села Середникова с его разреженными избами, печальными пустырями (разоренное в коллективизацию, сожженное в войну, оно никогда уже более не восстановилось), с его

дивной церковкой времен Алексея и кладбищем. Мы переходили малую светлую речушку в мягкой изгибистой долине между Лигачёвым и Середниковым, остановились на крохотном посеревшем деревянном мостке, по которому богомолки, что ни день, переходят на подъём и кручу к церкви, смотрели на прозрачный бег воды меж травы и кустов, я сказал:

– А как это всё вспоминаться будет... если... не в России!

Шафаревич, всегда такой сдержанный, избегающий выразить чувство с силою, не показалось бы оно чрезмерным, ответил, весь вытягиваемый изнутри, как рыбе вытягивает внутренности крючком:

– Да **невозможно** жить не в России!

Так выдохнул «невозможно» – будто уж ни воздуха, ни воды там не будет.

Со свежестью стороннего непредубежденного точного ума Шафаревич взялся и за проблему социализма – с той свободой и насмешкой, какая недоступна сегодня загипнотизированному *слева* западному миру. В сборник помещалась лишь статья умеренного объёма, Шафаревич начал с книги, с обзора подробного исторического, от Вавилона, Платона, государства инков – до Сен-Симона и Маркса, мало надеясь на доступность ему источников после того, как опубликуется «Из-под Глыб».

Очередная редакция этой книги и лежала у меня последние недели, я должен был прочесть, всё некогда было, тут обнаружилось что машинописный отпечаток мне достался очень бледный, я просил – нельзя ли ярче. 12 февраля, часа в 4 дня, Игорь и принес мне другой экземпляр своей книги, оставил портфель в квартире, а сам спустился ко мне во двор. И здесь, среди бела дня, насквозь наблюдаемые и неужели же не слушаемые (уже несколько таких важнейших бесед по вечерам проводили мы в нашем дворе – и если б хоть раз подслушали бездельники из ГБ, неужели бы не приняли мер захватить и остановить наш сборник)? – здесь мы, потупляя рты от лазеров, меняя направление лиц, продолжали обсуждать

состояние дел со сборником. Обсудили без помех. Оставалось разменяться экземплярами. Для этого нужно было мне подняться в квартиру. И на минутку оставив малыша со старшим мальчиком, я поднялся с Игорем в дом. В большую, уже тугую, портфельную сумку уложил Игорь кроме «Социализма» еще и две моих статьи сборника, недавно оконченные, тут раздался звонок в дверь. Жена открыла на цепочку, пришла, говорит: «Опять из прокуратуры, теперь двое. С этим же вызовом, что-то, говорят, выяснить надо». Было уже близко к пяти, конец рабочего дня. Выяснить? Так успокоительно миновал день, уже спàла вся тревога. Выяснить? Ну, пойдём вместе, откроем. Так и не прочтённые письма из-за границы кинув на письменный стол, я пошел ко входной двери, это особый целый коридорчик от кабинета, затем передняя с детской коляской. И ничто в сердце не предупредило, потерял напряженность! Чтобы дверь открыть, надо прежде ее закрыть – цепочку снять, стала жена прикрывать дверь – мешает что-то. Ах, старый приём: ногою не дают двери закрыться. «Старый приём!» – выругался я вслух, – но куда же девалась старая зэчья реакция? – после этой *ноги* – как же можно было не понять и дверь открывать? Успокоенность, отвычка. И ведь были у нас с Алей переговоры, планы: когда придут на обыск – как поступать? не дать создать им численный перевес, не впускать их больше, чем есть нас взрослых тут (подбросят на обыск любую фальшивку, не углядишь), а стараться, если телефон еще не перерезан, назвонить друзьям, сообщить. Но ведь их же – двое, но ведь – *выяснить*... И так не даём себе времени оттянуть, подумать – то есть, подчиняемся *их* игре, как и описал же я сам в «Архипелаге» – и вот теперь подчиняюсь опять, сколько же надо нас, человеков, бить-молотить-учить разуму? Да ведь минувшие дни – посыльных впускали, ничего.

Если б я сообразил и двери не открыл – они бы ломали, конечно. Но еще позвонили бы, постучали бы? Еще сходили бы за ломами. Да по лестнице же часто ходят, значит – либо

при людях, так огласка, а то задержать движение – тоже заметность. Может, 15 минут мы бы продержались, но в обстановке яснеющей, уже что-то бы сожгли, уже друг другу бы что-то обещали, разъяснили... Очень слабое начало: просто – открыли. (Увы, всё не так, узнается после меня и то не сразу: пока жена ходила меня звать, гебисты уже испортили, заколодили английский замок, и двери уже **нельзя было запереть**! *Не открывать* – это значило, с самого начала не открывать, но – как догадаться? У нас и смотрелки в двери не было... А считали – будем держаться в осаде.)

И первый, и второй еще шли, как обычно идут, но тут же, из темного лестничного угла навалив, задние стали передних наталкивать – мы сообразить не успели (и для чего ж твое восьмилетнее ученье, балбес?) – они уже пёрли плотной вереницей, между коляской, вешалкой, телефонным столиком, пятя, пятя нас с женою, кто в штатском, кто в милицейском, маленьких ростом и слабогрудых нет – восьмеро!!!

Я стал кричать, что-то бессмысленное и повторительное – «Ах, вòт вы как?!.. Так вы тàк?!..» – наверно, это звучало зло-беспомощно. И – дородный, черный, в роскошной шубе, играя под почтенного, раскрывая твердую папку, в каких содержат премиальные грамоты за соцсоревнование, а в ней – большая белая немятая бумага с гербами: «Старший советник юстиции Зверев! **Привод**!». И – ручку совал, чтоб я расписался. Я отказался, конечно.

Вот эта обожжённость внезапности, как полыхнуло пламенем по тебе, и на миг ни рассудка, ни памяти, – да для чего ж тебя тренировали, дурбèнь?! да где ж твое хваленое, арестантское, волчье? **Привод**? В обожжённости как это просто выглядит: ну да, ведь я не иду по вызову, вот и пришли нарядом. Время – законное, действие власти – законное. Приводу? я подчиняюсь (говорю вслух) уже «в коробочке», уже стиснутый ими к выходу. Драться с восемью? – не буду. Привод? – простое слово, воспринимается, схожу – вернусь, прокуратура тут рядом. Нет,

раздвоенность: я иду, конечно, как в тюрьму, как подготовились («Да не ломайте комедию, – кричат, – он сейчас вернется!»), – надо за тюремным мешочком идти в кабинет, иду – и двое прутся за мной, жене отдавливая ноги, я требую отстать – нет! (Мелькнул, как туча чёрный, неподвижным монументом Шафаревич, в руке – перенабитый портфель, с алгеброй и с социализмом.) И вот мы в кабинете, я – за мешочком, те – неотступно, дюжий капитан в милицейской шинели нагло по моему кабинету, сокровенному закрытому месту, где только близкие бывали, но – обожжённость! – я забыл, не думаю, не гляжу, что на столе раскидана, разбросана вся конспирация, ему только руку протянуть. Мне б его из кабинета выпереть (а он липнет за мной, как за арестованным, у него задача – чтоб я в окно не выпрыгнул, не порезался, не побился, не повесился, ему тоже не до моего стола). «У вас что̀? – опоминаюсь, – есть ордер на обыск?» Отвечают: «Нет». «Ах, нет? Так вон отсюда!» – кричит жена. Как на камни, не шелохнутся. Э-э, мешочек-то не приготовлен! Есть другой – школьная сумка для галош, в ней бумаги, какие я всегда увожу и за городом сжигаю, то есть, самые важные – и вот они не сожжены, и более: я выпотрашиваю их на стул и в этот мешочек жена кладёт приготовленные тюремные вещи. Но в таком же обожжении (или бесправии?) гебисты: они и не смотрят на бумаги, лишь бы я сам был цел и не ушел. Взял мешочек, иду назад, все идем коридорчиком назад, толкаемся – и я не медлю, я даже *спешу* – вот странно, зачем же спешу? теперь бы и поизгаляться – сесть пообедать на полчаса, обсудить с семьёй бытовые дела? непременно бы разыграл, это я умею! Зачем же принял гебистский темп? – а, вот зачем: скорей их увести (от обожжённости: я уйду – они уйдут, и квартира чистая). Только соображаю: одеться похуже, по-тюремному, как и готовился – шапку старую, овчинный полушубок из ссылки. Гебисты суют мне куртку мою меховую – «да вот же у вас, надевайте!», – э, нет, не так глуп, на этом не проведёте: а на цементном полу валяться в чём будем? Но не прощаюсь

ни с кем, так спешу! (скоро вернусь?) – и только с женой, только с женой, и то уже в дверях, окруженные гебистами, как в троллейбусной толкучке, целуемся – прощально, неторопливо, с возвратом сознания, что может быть навсегда. Так – вернуться? так еще распорядиться? так – помедлить, потормозить, сколько выйдет? – нет, обожжённость! (А всё от первого просчёта, оттого, что в дверь так глупо впустил их, и теперь дожигаюсь, пока не очищу квартиры, пока не уведу их за собой; в обожжённости спутал: кто кого уводит.)

Медленно перекрестил жену. Она – меня. Замялись гебисты.

– Береги детей.

И – уже не оглядываясь, и – по лестнице, не замечая ступеней. Как и надо ждать: за парадной дверью – впритык (на тротуар налезши) легковая (чтобы меньше шага пройти мне по открытому месту, иностранные корреспонденты только-только ушли), и, конечно, дверца раскрыта, как у них всегда. Чего ж теперь сопротивляться, уже *сдвинулся,* теперь сажусь на середину заднего сиденья. Двое с двух сторон вскочили, дверцы захлопнули, а шофер и штурман и без того сидели, – поехали. В шоферское зеркальце вижу – за нами пошла вторая, тоже полная. Четверо со мной, четверо там, значит – всех восьмерых увёл, порядок? (За обожжённостью не соображу: шофёр, и штурман, да кажется и охранники по бокам – все новые, где ж мои восемь?) Сколько тут ехать, тут и ехать нечего, через задние ворота ближе бы пешком. Сейчас на Пушкинскую, по Пушкинской вниз машины не ходят, значит вверх, объехать по Петровке. Вот и Страстной бульвар. Вчера обсуждали: а е с л и ч т о – так ка̀к? Вчера еще морозец не вовсе сдал, а сейчас слякоть, мечется по стеклу протиратель – и вижу, что мы занимаем левый ряд: поворачивать не вниз, к прокуратуре, а наверх – к Садовому кольцу.

– Ах, во-от что... – говорю. (Как будто другого чего ожидал. В тюрьму – не всё ли равно, в какую? Это я по обожжённости промахнулся. Но вот уже – и охлаждён,

одним этим левым поворотом у Петровских ворот.) Шапку – снял (оба вздрогнули), на колени положил. Опускается, возвращается спокойствие. Как сам написал, о прошлом своем аресте:

На тело мне, на кости мне
Спускается спокойствие,
Спокойствие ведомых под обух.

Двумя пальцами потянуло зачем-то обязательно пощупать около гортани, как бы помассировать. Справа конвоир напряженно, быстро:

– Опустите руку!

Я – с возвращенной благословенной медленностью:

– Права знаю. Колющим-режущим не пользуюсь.

Массирую. Очень помогает почему-то. Опять правый (левый молчит, из разбойников обочь один всегда злей):

– Опустите руку! (Похоже, что задушусь?)

Массирую:

– Права знаю.

По Садовому кольцу – направо. Наверно – в Лефортово. Дополним коллекцию: на свиданьях бывал там, а в камерах не сидел.

И вот как просто кончается: бодался-бодался теленок с дубом, стоял-стоял лилипут против Левиафана, шумела всемирная пресса: «Единственный русский, кого власти боятся!.. Подрывает марксизм – и ходит по центру Москвы свободно!». А всего-то понадобилось две легковых, восемь человек, и то с избытком прочности.

Спокойствие вернулось ко мне – и я совершил вторую ошибку: я абсолютно поверил в арест. Не ждал я от них такой решительности, такого риска, ставил их ниже, – но что ж? крепки, приходится признать. К аресту я готовился всегда, не диво, пойдем на развязку.

((А жена, едва оторвясь от меня, и не дожидаясь, пока выйдут все чекисты, затолпившие прихожую, бросилась в кабинет, сгребла со столов моего и своего всё первое-

страшное. Невосполнимое прятала на себе, другое, поплоше – сжигала на металлическом подносе, который в кабинете и стоял для постоянного сожжения «писчих разговоров». К телефону кинулась – отключен, так и ждали, конечно. Но почему никто из своих к ней не идет? Не слышно ни разговоров, ни шагов, квартира беззвучна – что̀ там еще случилось? Ощупав себя, запрятано плотно, пошла в прихожую, а там вот что: из восьмерых остались двое: «милицейский» вышибала-капитан и тот самый первый застенчивый «посыльной». Та-ак, значит ждут новую группу, будет обыск. А дети-то, двое, остались на улице – и выйти за ними никому из женщин нельзя – нельзя ослабить силы здесь. И – опять в кабинет, кивнувши И.Р. защищать дверь. Он – и стал, загородил, со своим пудовым портфелем не расставаясь. Теперь – вторая разборка бумаг, уже более систематическая, а всё молниеносная. И жечь – жалко, в такие минуты чего не сожжёшь, потом – зубами скрипи. Что можно – листочками отдельными – по книгам, найдут – не соединят. Кабинет – в гари сжигаемого, форточка не выбирает, тянет конечно и в прихожую, там чуют – а не идут!.. Ни горя, ни возбуждения, ни упадка, глаза сухие, – спокойная ярость: жена сортирует, перекладывает, жжет со скоростью, не возможной в обычности. А еще сколько разных материалов – почерками людей! А весь роман! а все заготовки – горы конвертов и папок, ни до какого обыска не успеть! Вышла в прихожую, а их нет: всё время взглядывали на часы. Через 20 минут после увода один сказал: «Пойдём?» Другой: «Еще пару минут». Ушли молча. 22 минуты? Не прокуратура, не Лубянка... Лефортово? Только тут обнаружилось, что двери за ними уже запереть нельзя, замок сломан, полуторагодовалый Игнат лезет выйти на лестницу. Пошли за другими – узнаётся: весь двор был полон милиции. Какого ж сопротивления они ждали? Какого вмешательства?.. Жена набирает и набирает телефонные номера, хотя надежды никакой. Но – не ватная тишина, а кто-то на линии дежурит (посмотреть, по каким номерам звонят?): гудок,

нормальный набор – и тут же разрыв, и снова длинный гудок. А отстать – нельзя: **увели** – и никто не знает! И жена – всё набирает. Прикатили Стёпку. Теперь – в детский сад за Ермолаем. Может быть, там из автомата позвонят корреспондентам. И вдруг – по какой случайности? – соединения не разорвали, и Аля успевает выпалить Ирине Жолковской: «Слушай внимательно, полчаса назад А.И. увели из дому силой, восемь гебешников, постановление о принудительном приводе, скорей!». И сама повесила, и скорей следующий! И еще почему-то два звонка удались. И – опять на прежнюю систему разрыва, часа на полтора. Но хватит и трех – по всей Москве зазвонили.))

Лефортовские знакомые подступы. (На самом взлёте, кандидатом на ленинскую премию, приходил я сюда изучить Лефортово снаружи, никогда не помешает). Знакомые раздвижные ворота, двор, галлерея кабинетов, где у нас бывали свидания. Пока доехали – уже темновато, фонарей на двор не хватает, какие-то офицеры уже стоят, меня ждут. Да без лишней скромности: не совсем рядовой момент в истории Лефортова, не удивлюсь, если тут и по партийной линии кто-нибудь дежурит, наблюдает. Ну как же, столько гавкал, столько грозил – а схвачен. Как Пугачёв при Екатерине – вот он, у нас, наконец!

Распоряжаются, как в бою: куда машине точно стать, обсыпали круговой цепочкой человек десять, перебегают, какие дверцы в машине открыть, какие нет, в каком порядке выходить. Я – сижу спокойно, пока мягко, тепло, лаучше не будет. «Выходите!» – в сторону тюремных ступенек.

И, нисколько вперед не обдумав, вот сразу тут родилось: как бы мне выйти пооскорбительней, подосадней для них? Мешочек мой – для галош, темный, на длинной поворозке, как на вешалках они свисают, – я перекинул через спину – и получилась нищего сума. Выбрался из машины не торопясь и пошел в тюрьму – несколько шагов до ступенек, по ступенькам, потом по площадке – в потертой шапке-кубанке, в тулупчике казахстанском покроя пастушьего

(«оделся как на рыбалку» скажет потом Маляров, метко) – пошел хозяйской развалкой, обремененный сумою с набранной милостынею – как будто к себе в конуру, и будто их нет никого вокруг.

А кабинеты следовательские куда-то переведены, и здесь теперь у них шмональные боксы: всё в камне, голый стол, голых две скамьи, лампочка сверху убогая. Два каких-то затруханных мусорных мужичка на скамье сидели, я думал – зэки (потом оказалось – понятые из соседнего ЖЭКа! ведь вот законность!..). Сел и я, на другую скамью, положил мешочек рядом.

Нет, не думал. Честно говоря – не ждал.

Решились...

Рано, сказала лиса в капкане. А знать ночевать.

Тут вошел обыкновенный бойкий шмональщик серо-невыразительного вида и бодро предложил мне кидать на стол мои вещи. И этот самый обыкновенный тюремный приём так был прост, понятен, даже честен, без обмана, что я незатруднённо ему подчинился: порядок есть порядок, мы под ним выросли, ну как же тюрьме принять арестанта без входного шмона, это все равно как обедать сесть без ложки или рук не помыв. Так отдавал я ему свою шапку, тулупчик, рубаху, брюки, ожидая, встречно по-честному, тут же получать их и назад (для помощи приспел и еще детина, рубчики перещупывать, но не строго щупали, я бы сказал). Шмональщик меня и не торопил догола раздеваться – посидите пока так. И тут вошел наблещенный висломясый полковник с сединой.

Когда я рисовал себе будущую свою тюремную посадку – уже теперешний я, со всей моей отвоёванной силой и значением, я твердо знал, что не только следствие от меня ничего не услышит, легче умру; что не только суда не признаю, отвод ему дам в начале, весь суд промолчу, лишь в последнем слове их прокляну; – но уверен я был, что и низменному тюремному положению наших политических не подчинюсь. Сам я довольно писал в «Архипелаге», как еще в 20-е годы отстаивала молодёжь гордые традиции

прежних русских политических: при входе тюремного начальства не вставать и др., и др.... А уж мне теперь – что̀ терять? Уж мне-то – можно упереться? кому ж еще лучше меня?

Но пройдя первым светлым чистым (жестоким в чистоте) тюремным коридором, в первом боксе на первую севши скамью, и почему-то так легко поддавшись шмону – да по привычности, как корова замирает под дойку, – я уже задумался: где ж моя линия? Машина крутилась, знать не зная (или притворяясь, что не знает), кто там известность, кто беззвестность. А я – я силен, когда ем по своей охотке, гуляю вволю, сплю вдосталь, и разные мелкие приспособления: что̀ под голову, да как глаза защитить, да как уши. А сейчас я вот лишился этого почти всего, и вот уже изрядно пылает часть головы от давления, и начни я еще и по мелочам *принцип давить* перед тюремным начальством – ничего легче карцер схватить, холод, голод, сырость, радикулит, и пошло̀, пошло̀, – 55 лет, не тот я уже, 27-летний, кровь с молоком, фронтовик, в первой камере спрошенный: с какого курорта? И так ощутил я сейчас, что на *два* фронта – и против следствия, и против тюремного начальства, может мне сил не хватить. И, пожалуй, разумней, все силы поберечь на первый, а на втором сразу уступить, шут с ними.

И тут вошел наблещенный хитроватый седой полковник, с сопровождением. И спросил – самоуверенно, хотя и мягко:

– Почему не встаёте? Я начальник Лефортовского изолятора, полковник Комаров!

Раньше всяко я эти картины воображал, но сразу в камере (да прежде камеры начальство не приходит к арестанту). Вот, сижу на кровати и предлагаю: «А вы тоже присаживайтесь». Или конспективно: «В старой России политические перед тюремным начальством не вставали. Не вижу, почему в советской». Или что-нибудь о непреклонности своих намерений. Или слукавить, по грому ключа уже стоять на ногах – и как будто встал не к ним.

Но вот, в шмональном боксе, почти раздетый и врасплох, вижу перед собой эту свиту, слышу формальное, всем тут обязательное требование встать, – и, уже рассчитавши, что силы надо беречь для главного, – медленно, искривь, нехотя, как одолжение, – а встаю.

А по сути – вот уже и первая уступка? не начало ли слома? Как высоко доложили, что я тюремным правилам подчинился? Мог ли там кто оценить и взрадоваться? Очень-очень у них мог быть расчёт в первый же вечер меня ломать – а отчего ж не попробовать?

Ну – и следующие наскоки, и следующие уступки: с формуляром офицер спрашивает фамилию-имя-отчество-год, место рождения – смешно? не отвечать? Но я же знаю, что это – со всех, я же знаю, что это – просто порядок. Ответил. (Слом продолжается?) Врач, типичная тюремная баба. Какие жалобы? Никаких. (Неужели объявлю вам – давление?) Ничего, стетоскопом, дышите, не дышите, повернитесь, разведите руки. Не подчиниться медосмотру, отказаться? Вроде глупо. А тем временем шмон подходит к концу, тоже: разведите руки! (Я же – подчинился началу шмона, чего ж теперь?) Повернитесь, присядьте... Правильно сказано: не постой за волосок – бороды не станет. Но вот странно, выпадает из обычая, – еще и другой врач лезет, мужчина, не так, чтоб интеллектуал, хорёк тюремный, но очень бережно, внимательно: разрешите, я тоже вас посмотрю? Пульс, опять стетоскоп. (Ну, думаю, много не наслушаете, сердце ровное – дай Бог каждому, спокойствие во мне изумительное, в родных пенатах, тут всё знакомо, ни от чего не вздрогнешь.) Так достаёт, мерзавец, прибор для давления: разрешите? Вот именно давление и не разрешить? Открывается моя слабость, кошусь на шкалу, сам по ударам слушаю – 160-170, и это только начало, еще ни одной тюремной ночи не было. Да, не хватит меня надолго. «На давление жалуетесь?» – спрашивает. Уж об этом давлении сколько мы по телефону говаривали через гебистов, вполне откровенно, о чём другом по телефону? – «Нет, нет».

Но я-то порядку подчинился, а вот они? – *барахла* моего мне не отдают! Почему? На часы, на крест нательный – квитанция, это как обычно, хотя о кресте поспорил, первый спор. «Мне в камере нужен!» Не отдают: металл! Но вещи мягкие, по рубчикам промятые, без железки запрятанной и без железного крючочка – почему вещи не отдают?? Ответ: в дезинфекцию. А перечень – пожалуйста, до наглазника самодельного, всё указано. Раньше так не бывало. Но, может быть, я от тюремной техники отстал, отчего б теперь и не делать дезинфекции? На полушубок показываю – «Это же не прожаривается!» – «Понимаем, не прожарим». Удивило это меня, но приписал новизне обычаев. Взамен того – грубая-прегрубая майка, остьями колет бока, это нормально. И черная курточка, тюремно-богаделенная, по охотке не купишь. Но поверх – костюм, настоящий, там хороший-нехороший, я в них никогда не разбирался, и полуботинки (без шнурков) – так наверно, так теперь одевают? у нас на шарашке тоже ведь маскарад бывал, в костюмы одевали. Через час-другой всё моё вернут. Пошли. Спереди, сзади по вертухаю, с прищелкиванием, коридоры, переходы, разминные будки – это всё по-старому. С интересом поглядываю, где ж эта американская система навесных железных коридоров, сколько мне о Лефортове рассказывали, теперь и сам посмотрю. На второй этаж. Не очень-то посмотришь, еще придумали новое: междуэтажные сетки покрыли сероватыми полотнищами, и взгляда через сетки с этажа на этаж не осталось. Какой-то мрачный молчаливый цирк, ночью между спектаклями.

⟪По телефонным звонкам собралось пятеро, во главе с Сахаровым, и пикетировали на Пушкинской перед Генеральной прокуратурой – отчасти демонстрация, отчасти поджидая, не выйду ли я. А к нам в квартиру шли и шли, по праву чрезвычайности, близкие и неблизкие, по два, по три, по пять, за каждым дверь ставилась на цепочку и так болталась со щелью, зияя разорением.

Жена рассказала первым как что было, а потом уже слышавшие рассказывали следующим, она – опять за бумаги: о, сколько их тут, только теперь ощутить, жили – не замечали. Всё то ж сочетание: холодная ярость – и рабочее самообладание. Мысли плывут как посторонние, не вызывая отчаяния: что сделают с ним? убьют? невозможно! но и арест казался невозможным! А другие, четкие мысли: как делать, что̀ куда.)

Не упустить номер на камере. Не заметил, как будто нету. Уверен, что шагаю в одиночку – вступаю: одиночка-то одиночка, по размеру, но – три кровати, двое парней лежат – и курят, всё задымлено. Вот этого никак не ожидал: почему ж не в одиночку? И куренье: когда-то сам тянул, наслаждался, сейчас в 10 минут голова откажет. По лучшей твердой линии – промолчать. По линии слабости – заявляю: «Прошу поместить в одиночку. Мне куренье мешает.» Сопровождающий подполковник вежливо: доложит. Вообще, все очень вежливы, может быть и это теперь стиль такой новый? (если не считать, что двух моих сокамерников тот же подполковник при входе облаял). Ну, на их вежливость и у меня же покойность, как будто я все четверть столетия так от них и не уходил, сроднился. (А вот что: спокойствие это потому беспрепятственно мне досталось, что я подчинился тюремным правилам. Иначе б на мелкие стычки и раздёргался весь. Хоть не задумано, а умно получилось: нате моё тело, поворачивайте, а от спокойствия моего – лопните! Если там с надеждой запрашивает куратор из ЦК – бешусь? буяню? истерику бью? – ни хрёнышка! не возвысил голоса, не убыстрил темпа, на кровати сижу – как дремлю, по камере прохаживаюсь – топ-топ, размеренно. И если сохраняли *они* такой расчёт, что вдруг я забьюсь, ослабну, стану о чем-то просить или скисну к соглашению, то именно от спокойствия моего *их* расчеты подвалились.)

Заперли дверь. Мои ребята что-то растеряны. И с куреньем как же? А что ж у вас форточка закрыта?

Да холодно, плохо топят, пòльтами накрываемся, всё равно холодно. Ну всё ж, после перекура давайте проветрим.

Так, так. Всё, как рассказывали, камеры не изменились: серый пакостный унитаз, а всё-таки не параша; кружки на столе, но не съезжают от рёва и дрожи аэродинамических труб по соседству, как тогда, тишина – и то какое благо; яркая лампочка под сеткой в потолке; на полке – черный хлеб, еще много целò, а ведь вечер. Глазок то и дело шуршит, значит, не дежурный один улупился, а многие меняются. Смотрите, смотрите, взяли. Да как бы вам не поперхнуться.

Слежу за собой, отрадно замечаю – никаких ощущений новичка. С полным вниманием смотрю на сокамерников (новички бывают только своим горем заняты). Оба ребята молодые, один – чернявый, продувной, очень живой, но весь так и крутится от обожжения, взяли его лишь сутки назад, еще не опомнился; второй – белокурый, тоже будто трёх суток нет, не арестованный, мол, а задержанный, но, если не болен, – вяловат, одутловат, бледен, – многие признаки долгого уже тюремного сиденья, такими *наседки* бывают. А между собой они уже – впросте, и, наверно, первый второму всё рассказал... Не спрашиваю – «за что сели?», спрашиваю – «в чем обвиняют?». Валютчики.*

В чем они еще не узнали тюремной сласти – ходить по камере. Четыре шага небольших – а всё-таки. Проходка, от какой я за всю жизнь не отставал, – и вот опять пригодилась. Медленно-медленно. В ботинках чужих и мягко бы хотел, да стучат как деревянные. Глазкòм шуршат, шуршат, смотрят, не насмотрятся.

Решились...

---

* Западу это трудно объяснить: виновны в том, что совершали операции по истинному соотношению валют, а не по искусственному советскому.

⟪От прокуратуры с улицы сахаровская группа время от времени звонила: что – спокойно, и сказали им: «никакого Солженицына здесь нет». Всё больше подваливало своих, на длинную вместительную кухню, уже и иностранные корреспонденты, а с обыском всё не шли. Дожидаться ли его? Жена кипела в решениях: сейчас – раздать архив друзьям, знакомым? рассуют по пазухам, портфелям, сумкам? А может – *того и ждут*? И всех сейчас по одиночке похватают, засуют в автомашины, там обыщут безо всякого ордера и без протокола, даже не докажешь потом... Нет, не напороть бы горячки. Люди неповинные пострадают. (А, может, и не арест? Еще, может, и вернется? Сказали – «через час вернется». Уже прошло три. Арестован, конечно.) Предложили трёхлетнего Ермолая увести от тяжелых впечатлений. «Пусть привыкает, он – Солженицын».⟫

Решились. Да неужели ж не понимали, что я – как тот велосипед заминированный, какие бросали нам немцы посреди дороги: вот лежит, доступный, незащищенный, но только польстись, потяни – и нескольких наших нет. Всё – давно на Западе, всё – давно на старте. Теперь сама собой откроется автоматическая программа: моё завещание – еще два тома «Архипелага» – вот этот Телёнок, с Третьим Дополнением. – Сценарий и фильм. – Прусские ночи. – Пир победителей. – Декабристы. – Шоссе энтузиастов. – «Круг»-96. – Ленинские главы. – Второй Узел... Всей полноты заряда они, конечно, не понимают. Ну, отхватите! Если б не это всё, я бы вился, сжигался сейчас хуже несчастного моего соседа. А теперь – спокоен. К концу – так к концу. Надеюсь, что и *вам* тоже.

Ребята предлагают мне – хлеба с полки и сухарей. Есть, пожалуй, хочется. Вспоминаю: предлагали мне дома в 3 часа пообедать, сказал – нет, Степана прогульну. Так с утра и не ел, и голодный в камеру пришел, и уже до утра ничего не дадут, все выдачи миновали. Плохой арестантский старт, перед первым днем следствия. И даже

не оказалось в кармане кошелька, ни рубля, ни копейки на ларёк, вот уж спешил! Хлеб? а как же вы? Да мы не хотим. Да его дают *от пуза*. От пуза?! Чудеса, неузнаваемо. Начинаю пощипывать. После средней московской черняшки – довольно мерзкий хлеб, глиноватый, специально пекут похуже. Ничего, втянусь.

Но что ж это? Уже часа два прошло, а вещей моих нет. «Голосую» (палец подняв). Сразу с готовностью открывают кормушку: тут они все толкутся, и офицер один, второй. Тихо говорю, нисколько не шумя, не как бывало, звонко *права качая,* а лениво даже (тогда – вся сила была в этой звонкости, а сейчас – силища другая – книги ползут неуклонно): пора вещи вернуть, все сроки прожарки кончены. «Выясняется... Вопрос выясняется.» Хренà тут выяснять? Ну, может быть, теперь всё по-новому. (Упускаю у ребят спросить: а у них – долго прожаривали?) Ребята говорят: без пальто пропадёте, ночью под одним одеялом холодно. Вдруг распахивается дверь, подполковник принимает парад, а еще один чин несёт мне второе одеяло, со склада̀ новое, еще не пользованное. Ребята изумлены – что̀ я за птица?.. Так значит, прожарка – до утра? Странно. Ну ладно. Теперь чего мне только не хватает? – скорей бы спать. Привык я в 9 уже ложиться, не стыжусь и в 8, а здесь только в 10 формальный будет отбой, да пойди засни. К завтрашней первой схватке всё решает первая ночь. Счастливое вечернее торможение, мысли вялые, – вот сейчас бы и выиграть час-два-три. Снотворных нет, и ночь будет бессонная, сейчас – самое спать. Но нельзя: разрешается лежать поверх одеяла, не раздеваясь, не укрываясь. Лежу, да только голова затекает. Как низко! (И – как это скрыть, что я стал уязвим на низкое изголовье?) А ребята – еще по одной папиросе, еще, но каждый раз проветривают. Чернявый вертится у меня за головой: «Ну, кто мог сказать? Кто?? Во̀т что меня одно интересует.» С любимой, видно, женой, устраивали они жизнь покрасивше, как понимали – что̀ из мебели, а вот и машину купили – что̀ в нормальной стране рабочий может просто

заработать, а у нас надо исхитриться против закона. Какие-то монетки у него взяли при обыске, теперь эти монетки надо было объяснять. «Слышь, парень, ты вообще в камере вот это поменьше. Тут – микрофоны, не беспокойся. Может и не было *ничего*, понимаешь? Ты – про себя крути больше.» Задумался. Еще им из тюремного опыта кой-что рассказал, дотянуть до сна. Вдруг – замок гремит. Точно, как на Лубянке бывало – ближе к отбою на допрос. Но теперь-то ночами не допрашивают? (Я и днем-то разговаривать не буду.)

Однако подполковник, фамилии моей ни разу так и не назвав, и не спросив, приглашает меня *пройти*. После отбоя нипочём бы не пошёл. Но сейчас – ладно, может тулупчик отдадут, – как хорошо в него укутаться – хоть на рельсах сидючи, хоть в *краснухе*, хоть на лагерных нарах. А идти мне оказывается – почти ничего, вот как камеру выбрали, не успеваешь глазами прошастать по этим полотнищам, офицер впереди, офицер позади, – а полковник, начальник Лефортова поперек дороги: пожалуйте вбок. Вестибюльчик – вестибюльчик – дверь в кабинет. Ярко. Вкруговую по стульям: уже двое сидят (лиц не разглядываю – откуда, кто? ряженые?), а со мной пришедшими – пятеро их. А за главным столом, сверкая лысиной, – маленький, во̀стрый, пригнулся, и еще под настольной лампой ярко-бело от бумаг. А посреди комнаты, на просторе, как нормальные люди не садятся, под самыми лампами – стул, к вострому лицом, и – туда мне показывают полковник и подполковник. Ничего, сидеть – лучше, чем стоять. Сел. И, чую, задние все уселись, полукругом за моей спиной. Молчим.

Главный вострый – щуп, щуп меня глазами, как никогда людей не видавши.

Ничего, пош-шупай.

И остро, стараясь даже пронзительно:

– Солженицын??

Ошибся. Ему бы: «Фамилия?»... Ну, ладно, поймали, держите:

– Он самый.

Опять остро:
– Александр Исаич?
Успокоительно:
– Именно.
И – с возможной звонкостью и значением:
– Я – заместитель генерального прокурора СССР – Маляров!
– А-а-а... Слышал.
У Сахарова читал. Да не написал Сахаров, что он маленький такой. По записи можно подумать – номенклатурная глыба, Осколупов.
Но – не размазывает, деловой. А может быть, воздухом одной комнаты со мной дышать не может, торопится:
– Зачитываю постановление...
Не запомнил я, кто «утверждает» – он ли, или самый генеральный прокурор, а «постановил» всего навсего старший советник юстиции тот самый Зверев, в роскошной шубе, – на квартиру почти как милиционер приходил, а тут, вишь, за всё политбюро управляется:
– ...За...за... Предъявляется обвинение по статье 64-й! (еще там буква или часть?).
Я – голосом дрёмным, я – с мужицким невежеством:
– Вот этого нового кодекса... (он ведь только 13 лет)... совсем не знаю. Это – что̀, 64-я?
То̀ ли было в добрые времена, при Сталине-батюшке, как посидишь *десятку,* так шпарь любой подпункт в темноте наизусть.
Маляров вылупился рачьи:
– Измена родине!
Не шевелюсь.
(Они за спиной впятером засели – ждут, я кинусь на прокурора?)
– Распишитесь! – поворачивает ко мне лист, приглашает к столу подойти.
Без шевеленья, давно отдуманное, слово на вес:
– Ни в вашем следствии, ни в вашем суде я принимать участия не буду. Делайте всё без меня.

Ожидал, наверно. Не так уж и удивляется:

– Только расписаться, что – объявлено.

– Я – сказал.

Не спорит. Повёртывает лист, и сам же расписывается.

Ах, как меня жал следователь 29 лет назад, неопытного, зная, что в каждом человеке есть невыжатый объём. И до чего ж хорошо – зарекомендовать себя камнем литым, даже и не пытаются, не прикасаются пожать, попробовать. Следствие – не будет трудным: напрягаться умом не надо. Всех, всех предупреждал: говорите, валите, что̀ хотите, со мной противоречий не будет никогда, потому что я не отвечу ни на вопрос.

Так – и надо. Вот она, лучшая тактика.

Всё. Тем же чередом – встают сзади меня, встаю я, офицер впереди, офицер позади, через два вестибюля – руки назад! (не резко, мягко-напоминающе). Можно бы и не брать, конечно. Но я руки назад – беру. Для меня руки назад, если б вы знали, даже еще и увереннeй: чего ж ими болтать, строить вольняшку недобитого, для меня руки назад – я железный зэк во мгновение, я сомкнулся с миллионами. Вы не знаете: вот такая маленькая пустая проходочка под конвоем насколько укрепляет зэка в себе.

А тут и не долго, вот уже и в камере. Ребята: «Ну, что̀?».

Говорить, не говорить?..

Я и действительно не помню: до пятнадцати лет – это точно. Но, конечно, и расстрел же есть.

Да, осмелели, не ожидал от них. Вот тебе – и варианты. На всякого мудреца довольно простоты.

⟪Сейчас по минутам восстановить нельзя. Но вызывали меня – еще до 9 вечера. Жене позвонили: «ваш муж задержан» в 9.15. Заявка нашего посла министерству ин. дел ФРГ о том, что завтра утром он явится с важным заявлением, была довольно поздно вечером по-европейски, значит – еще позже этого. Такое сопоставление не исключает, что мои первые тюремные часы и когда меня вызывал Маляров – еще не до последней точки была у них высылка

решена. (А если решена – нужна ли статья?) Еще оставляли они себе шанс, что я дрогну – и можно будет начать выжимать из меня уступки? Если был такой расчет, то каменность моя ленивая – задавила его.

Полукультурный голос в трубке предложил моей жене справки наводить по телефону завтра утром у следователя Балашова, того самого, к которому меня якобы вызывали. Вот и всё, арестован. Повесила трубку, – и снова уже другие набирали, разнося по Москве.⟫

Наконец, объявили в кормушку отбой. Ну, теперь побыстрей, это мы ловко когда-то умели: одеяла – откачены, куртку – прочь, брюки – прочь, да не очень-то: холодно, правда, ах, сволочи, замотали тулупчик! и носки шерстяные! Побыстрей. Так спешили обвиненье объявить – завтра, гляди, с утра и следствие покатят. И в общих движениях, в суматохе, незаметно, ботинки – под подушку! старый зэчий приём – для сохранности, а сейчас мне для высоты. Лампа бьёт, полотенцем накрыть глаза, на Лубянке не запрещали. А потребуют ли руку наружу? – может, и нет. Спать! Дышать глубоко-глубоко-глубоко. (Чем дышать? в камере – не воздух, я забыл уже про такой.)

Нет, собачий сын, заметил, что под моей кроватью пусто, откинул кормушку:

– Опустите ботинки на пол!

Строил, строил подушку без них. Потом дышал глубоко. Заснул.

⟪Дети не засыпали, пугались шума, света, многих голосов. Всё новые приходили, и Сахаровская группа от прокуратуры. (А всё-таки вот это обилие бесстрашных сочувствующих в квартире арестованного – это **новое время**! Пропали вы, большевики, как ни считай!..) Из нашей квартиры Сахаров отвечал канадскому радио: «Арест Солженицына – месть за его книгу. Это оскорбление не только русской литературы, но и памяти погибших». К нам звонили Стокгольм, Амстердам, Гамбург, Париж, Нью-Йорк, гости

брали трубку, подтверждали подробности. А в мыслях: если *взяли* заговорённого Солженицына – то кого теперь запретно взять? то кого *заметут* завтра?..

Кто не знал конспирации, не разделит этих колебаний мучительных: где лучше хранить? Унести? Оставить? Сейчас гостей так много – раздать? Всех, пожалуй, не похватают. Упустишь этот момент – а утром нагрянут и всё возьмут!? Но раздавать – людей губить. И удастся ли потом собрать? Ладно уж, пока не прояснится, понадеяться на захоронки домашние.⟫

С вечера заснуть не мудрено, мудрено заснуть после первого просыпа. Всё, что было плохое за день, прорывается в первом просыпе – и жжёт грудь, жжёт сердце, гдѐ тут спать. Не вздохи, не круговерть моего валютчика за головой, не куренье его всю ночь, ни даже лампа сатанячья, разрывающая глаза, – но свои просчёты, свои промахи, и откуда только выныривают они в ночной мозг, какой чередой подаются, подаются!

Больше всего зажгло: как там обыск идёт, у Али? Почему-то с вечера хватило мне впечатлений и событий, или заторможенность, – на домашний обыск я не стянулся тревогой. А сейчас – всё на нём, и всё – из моих ошибок. Зачем я дверь открыл?! Полчаса у нас быть могло на сжиганье, на сборы, на уговоры. Зачем я спешил уйти? Остались почти все, я тех, восьмерых, потом уже не видел, тот же Зверев и обыском руководит. И надо же так сложиться: два «Социализма» сразу – и Шафаревич при них, тут же. Портфель-то еще, может, не даст, – но один экземпляр вынул мне на стол, и уже не успеет спрятать! Хорошо, взял мои статьи для Сборника – но другие экземпляры – на столе же прямо! и еще других авторов проекты, полузаконченные, ай-ай-ай, пропал «Из-под Глыб», три года готовили – в прорву. Да! А письма с Запада! – просто на столе, и искать не надо, только руку протяни! никогда ни одно не попадалось, а эти – прочтут, все карты открываем!.. Да много может быть там... Да! Испра-

вления к «Письму вождям», в последнюю ночь сделанные. Да хуже! К «Тихому Дону» последнее приложение – мало, что не отправим, но – узнают всё! Да! Еще одна плёнка, полуиспорченная, дубликат от прошлой отсылки, нужно было сжечь, я забыл за город взять, а в доме сложно палить – уж этот трофей отдать совсем бессмысленно, совсем позорно. Да! А в несгораемом шкафу – ведь «Телёнок» весь! «Телёнок» весь, отпечатанный! – реветь хочется на всю камеру, вертеться, бегать! Ведь годы так, лотерея: то кажется, у меня всего безопаснее, и собираем ко мне, то кажется – я горю, и тащим, везем куда-нибудь целый мешок, зарываем. Да «Декабристов» экземпляр не дома ли? А уж о Втором Узле и говорить нечего, и ленинские главы – всё это теперь в их руке. Боже мой, Боже, стоял как скала, 25 лет конспирации, одни успехи, одни успехи – и такой провал. И всего-то надо было им, на что никогда не решались по трусости, – просто прийти ко мне прямо. И всё.

Вздыхал бедняга-валютчик за моим изголовьем, крутился, жёгся, папиросы жёг. «Спи, – говорил я ему, – спи, силы всего нужней пригодятся.» Нет, – «кто продал?» жгло его. Кроме своих промахов еще предательство близких больше всего и жжёт всегда. А второй спал спокойно.

⟪К полуночи налились ноги, голова, глаза, ушла вся ясность. Даже не отрывочные мысли, а какое-то месиво, но спать не хотелось Але нисколько. Думала по третьему заходу начать просматривать бумаги, но силы ушли. Тут вспомнила, что от завтрака не ела ничего, и мужа взяли без обеда. Прежний поднос для сжиганья бумажек стал слишком мал, поставили в кухне на пол большой таз под костёр, – стоять ему так полтора месяца.

А обыск в эту ночь был – вели его 14 гебистов в Рязани – у Радугиных, моих знакомых, у которых отроду ничего я не держал, а пришли искать чего-то грандиозного, хуже «Архипелага», вот этого Телёнка искали, всего, что еще не досталось им. И ничего не нашли.⟫

Жгло-жгло, да не непрерывно же. В чём преимущество перед сидением прежним? Голова свободна от этих изнурительных расчётов: а если *так* спросит? – а я *так* отвечу, а если так? – так. Какая свобода: ни единого ответа, ка-титесь!.. Глубоким дыханием себя успокаивал, молился – и благодетельно наплывали полоски сна. А после них – опять ясность жестокая. Голова пылает, затекает, уж оба кулака под подушкой – всё равно низко. Обещал я жене: в тюрьме и в лагере 2 года выдержу, что̀ б со мной ни было – 2 года выдержу. Чтобы знать, что всё моё напечатано и умереть спокойно: врезал. А теперь вижу – обещал не по силам. Еще много лет я мог бы устоять в любых склонениях, но чтобы – воздух, тишина, писать бы можно. А здесь – в 2 месяца не кончусь ли? Минимальный срок следствия, в два месяца. Не страшно, и не уступлю ничуть, но – кончусь?

И уже жизнь свою отстранённо обозревал как законченную. Ничего, удалась. С тем, что я нагрохал – ни э т и м вождям, ни следующим не разделаться и за пятьдесят лет. Хотел, хотел еще Узлы, больше-то всего их, но что успел – и на том Богу слава. Если выше, выше подняться над мелкими неудачами обыска – всё удалось, книги отправлены к печатанию, а что в движеньи, в набросках, вариантах, замысле – всё в твердых верных Алиных руках. Хорошо уходить из жизни, оставив достойного наследника. Там и трое сыновей подрастут, в чем-то батькину линию продолжат.

⟪Не спали всю ночь. Просматривали, жгли, но не много: жалко, ведь ничего этого не восстановить. Да *придут* ли утром? – отчего ж тогда не сразу вечером? Вдруг – вспомнила! Вспомнила – и стала искать: прошлым летом перед встречным боем было написано заявление о неправомочности суда над русской литературой, да и покинуто без применения, черновиком. А вчера на Страстном повторил: никаких допросов, следствия, суда не признаѐт. Догадалась, где искать! Нашла!! [37] Так пустить! Среди ночи?. .

Руки жжёт! как бы не опоздать! А с 6 утра, по «закону», могут *придти* – накроют, погасят, останется неизвестным. Надо пустить сейчас же, ночью!! Позвонить корреспонденту? Кому? По разным соображениям – «Фигаро» (Ляконтр). «Можете ли приехать? У меня к вам просьба». «Буду через 5 минут!» (Как? В дом арестованного, ночью, зовут по телефону иностранного корреспондента – и *не задержат*?? Нет, ослабли, ослабли большевики. О, где ты, пламенный Дзержинский?..) Аля садится за машинку и сразу стучит 10 экземпляров на тонкой бумаге. Ляконтр – корреспондент, почему новости не взять? Законно. Аккуратно сворачивает, заверяет, что раздаст всем агентствам. Уехал. Разбираются бумаги дальше. Сколько писем чужих надо жечь, сколько почерков надо спасать! А это что за ужас? Целых две плёнки. Надо протягивать, протягивать их долго через лупу, чтоб убедиться: ненужные, дубликаты, жечь. А горят – плохо. Около таза – очередь бумаг на сожжение. В общем – к обыску приготовились неплохо. Да если придут – не открывать (уже замок исправили) : «Арест Солженицына считаю незаконным, тем более – обыск в его отсутствие. Ломайте!» 6 часов утра. Не *приходят*. А вот и 7, проснулись дети, некогда взрослым спать.⟫

Странно, в эту ночь в камере не было холодно, хотя форточка открывалась часто. Но и не от моего ж дыхания потеплело? Пощупать батарею невозможно, она вся в заградительном ящике, а регулируется, конечно, от вертухаев и вероятно – каждая камера отдельно, иначе как создашь нужный режим? (Вот, думаю теперь: для меня и подкрутили тепла.)

Подъём самый обычный: под ночной лампочкой грохот кормушки. Конечно, к подъёму как раз все и спят, нет поворачивайся, подымайся быстро. Прохлопали все двери по разу, теперь по второму: кто дежурный по камере? Щётку, подметать. Но какие мягкости: оделся, постель застелил, сверху можно опять лечь. (От этих одеял какая-то

мелкая нитка липнет на костюм.) Нет мрачней тюремного утра, об этом уже писано сколько раз, но и утр же сколько! При всё том же свете ночном ярком из потолка, всё том же тёмном окне – ждать теперь обычных тюремных событий: хлеба, кипятка, утренней поверки. На следствие раньше полдесятого не выдернут никого.

Как бы не так! – грохот замка, и опять подполковник, в глубине капитан (слишком чины высоки для раннего утра, да ведь не знаю теперешних порядков, кто̀ у них корпусной) – и без «кто на сы..?», без малейшего сомнения в моей фамилии – жестами и словами: *пройти* надо мне.

Ну, пожарный порядок! В хорошей тюрьме за 12 часов еще из бани в камеру не попадёшь (а кстати, почему бани не было?), а тут уже и обвинение предъявлено и на первый допрос! Торопятся.

Туда ж, где вчера, но перед самым «маляровским» кабинетом – в другую сторону. На̀ тебе, санчасть! Два врача вчерашних, а офицеры задом-задом, и ретировались. Бабёшка – вовсе не суется, держится как медсестра, мужчина же полон заботы: как я себя чувствую?

А, звери, что-то всё-таки вам мешает, инструкция какая-то. Но и открывать себя перед следствием? нельзя. Разденьтесь до пояса. Ляжьте. Где у вас опухоль была? Всё знает, стервец, и щупает неплохо, прямо идет по краям петрификата. Значит, врач неподдельный. Опять давление мерит, и для утра высоко, да. «Что̀ вы обычно от давления принимаете?» Не скроешься, да по телефонам сто раз уже слышали: «Травы». «А – какие?» Что̀ они тут, будут мне заваривать? А что мне терять? Если при следствии буду давление сбрасывать, так еще как потяну!! И, обнаглев: «Некоторые в настойках готовые продаются: боярышник, пустырник». Он – взгляд на сестру, она – тык в шкаф, и уже несет пузырёчек родной, пустырника! (Да чего удивляться, из десяти арестантов тут восьмерых до давленья доводят.) Налили, выпил – натощак, как хорошо, самое лучшее!

В камеру. Дивятся ребята: какой-то я привилегированный,

не ихний. Мне и самому забава: сам легенды слышал про именитых арестантов, сам видал, как содержали полковника МВД Воробьёва, – теперь на тот лад и меня?

А вот и пайка. Не пайка: за кормушкой на подносе нарезанные буханки, отламывай и бери, сколь хошь. Ну, жизнь! У ребят – никакого аппетита, взяли с полбуханки. Я с кровати испугался:

– Э, э! Что вы! – вскочил и нарушая все приличия привилегированных и омрачая все возможные легенды обо мне – сунулся в кормушку и захватил две полных буханки. Потом подумал – треть буханки сдал назад.

– До вечера всё смолотим, что вы!

Тут же и начал. Впрочем, к Лефортовскому хлебушке в день не привыкнешь, одним сознаньем не ужуёшь, надо и *доходить* начать.

Вот и сахар, и кипяток, даже чем-то подкрашенный. Сахара – как и в 45-м году, не разбогатела родина, и даже не пиленый светлый, а песок темноватый от Фиделя. На бумажке целый день хранить – ветром сдует, в кипяток его – и рассчитался.

Нет, как бы не так! Кашу принесли! Утром – еще и кашу? Невероятно. Да сколько! Почти полная миска. Прежних лубянских обеденных порций – шесть или семь. Ну, на убой!..

Нет, не совсем-то убой: жира нет, это ясно, но – соли! – как бы не жмень. И при всём арестантском высоком сознании – есть эту пшёнку я не могу. Вот чем просто они меня и доведут: всё будет пересоленное.

А тут – обход утренний. И приди мне в голову по растущей наглости, да для забавы больше: делаю формальное заявление, что нуждаюсь в бессолевой диете. (Уж всё равно карты открыты, солоней не принесут, чем эта каша.)

⟪А жене бесконечно тянется время до девяти – когда можно будет звонить в прокуратуру. Магазин открылся – закупают продукты, *на осаду*. Ночью события внешнего мира как будто остановились, а вот утром – замирание,

сжатие: что̀ из трубки узнается, вломится сейчас? Руки виснут с утра – устала, как будто поздний вечер. Наконец – 9 часов. Звонит этому Балашову. Конечно, никто не подходит. Снова, снова – каждые 10 минут. Нет, нет... Что̀ ж теперь думать? что̀ сделали с *ним*? Провалы и гудки пустой телефонной трубки. Вот когда стемнело к дурноте: убили. Несуществующий телефон, и Балашова никакого не существует, никто никогда не снимет трубку, и никогда не ответят. Потому что̀ – убили. Как же не поняла этого вчера? – суетилась, перепрятывала, сжигала. И куда ни бросься теперь – встретит стена. Рядом советуют: звонить Андропову. По советской логике – да. Но: убийцу – просить дать справку? ни за что! Никуда не денутся, сами сообщат! Только как дождаться?.. Однако и с обыском не идут – почему? Ведь за сутки можем всё запрятать. Или считают, что мы в руках, можно не спешить? Или – вообще не страшное что-то? Если б убили – как же не броситься, не захватить всё до последней строки? – Пошла стирать, детское накопилось.⟫

Пришло время допросов – вызвали одного парня, вызвали другого, только не меня. Где-то светало, даже день наступал – не в лефортовском дворе, конечно, а *над* двором, во дворе же была пасмурь, а за камерным окном – какой-то желтый рассвет. И лампочка треклятая в потолке будет мертво светить весь день, неотличимо от ночи. Эх, вспомнишь роскошные лубянские камеры, особенно верхних этажей! Сократили министерство в «Комитет при» – а штаты, небось, расширили, и все бессмертные славные камеры Внутрянки переделали себе под кабинеты.

Метучего валютчика привели с первого допроса, а одутловатого взяли зуб рвать (да не оттого ль и был он такой взялый и сосредоточенный, всего лишь?). Парню моему объявили арест. Но после первого допроса он несколько успокоился (как бывает этот первый успокоительный: отрицаешь? – отрицаю! – ну, хорошо, распишись, иди, подумай. Следователю нужна исходная отметка, с

которой он начал свою мастерскую работу. Предупредил я его, как может следствие пойти, как надо себе определить точные рубежи и на них стоять на смерть, а где отступать неизбежно – подготовить приличные объяснения. Какие бывают следовательские приёмы главные. (И зачем меня сунули к ним, не в одиночку? Соткровенничаю в чём?..) Уж он, после двух тюремных ночей понимая неизбежность: а что̀, ка̀к в лагерях? Да многое изменилось, о старых могу рассказать... Рассказываю. Кругозор его интересов быстро растёт (в перепуганного кролика уже заранивается бессмертная душа зэка). Первый признак – интерес к собеседнику: а когда я сидел? за что? Немного рассказываю, потом думаю: отчего след не оставить живой? проглотят меня, никто больше живого не увидит, а этот в лагере расскажет, дальше передадут.

– Ты не читал такого «Ивана Денисовича»?

– Н-не. Но говорили. А вы – и есть Иван Денисович?

– Я-то не я... А такого Солженицына слышал?

– Вот это... в «Правде» писали? – живей, но и стеснённо: ведь *предатель,* небось обидно. Заинтересовался, вспоминает, спрашивает: так у меня что, капиталы заграницей? А нельзя было туда уехать?

– Можно.

– И чего ж?

– Не поехал.

– Как?? Как??? – изумился, ноги на кровать, назвал я ему одну нобелевскую, 70 тысяч рублей, он за голову взялся, он стонал от боли – за меня: да как же я мог?! да на эти деньги сколько машин можно купить! сколько... И в его восклицаниях, сожалениях не было корысти, ведь он – за меня, не за себя! Просто в советское миропонимание он не мог вместить такой дикости: иметь возможность уехать к 70 тысячам золотых рублей – и не уехать. (Чтоб и *верхушку* нашу понять, не надо забираться выше: не тем ли и заняты головы их всегда, как строить на казённый счёт дачи – сперва себе, потом детям? Отчего и ярились они на меня, искренне не понимая: почему не уезжаю добровольно?)

Он сидел с поджатыми ногами на кровати, а я ходил, ходил медленно, сколько было длины, в чужих деревянистых ботинках, при тускло желтом дневном окне, и в голосе этого острого сожаления представилось мне: правда, сам ведь я сюда пришел, полной доброй волей, на самоубийство. В 70-м году через Стокгольм открыт мне был путь в старосветский писательский удел, как мои предшественники могли: поселиться где-то в отъединенном поместьи, лошади, речка, аллеи, камни, библиотека, пиши, пиши, 10 лет, 20 лет. Но всей той жизни, теперь непроглядываемой, я велел не состояться, всей главной работе моей жизни – не написаться, а сам еще три года побездомничал и пришел околевать в тюрьму.

И я – пожалел. Пожалел, что в 70-м году не поехал...

За три года не пожалел я об этом ни разу: врезал им – чего только не сказал! Не произносилось подобное никогда при этом режиме. И вот теперь напечатал «Архипелаг», в самой лучшей позиции – *отсюда*!

Выполнил долг. О чем же жалеть? А: легко принимать смерть неизбежную, тяжко – выбранную самим.

Дверь. Опять подполковник. За мной, значит. Приглашающий жест. Вот и мой допрос. Повели – вниз, туда, где следовательские кабинеты были раньше. Но сейчас-то там приёмные боксы. И в соседнем с тем, где вчера меня шмонали, на столе лежит какое-то барахлишко. А вот что: шапка котиковая или как её там чёрта; пальто, понятия не имею, из чего; белая-белая рубашка; галстук; шнурки к ботинкам! – тонкие, короткие, на них и воробья не удушишь, а всё ж примета *вольного* человека; и вместо грубо-остевой моей майки – традиционное русское многовековое солдатское-тюремное бельё. Подполковник как-то стеснительно:

– Вот это... оденьте всё.

Вижу: заматывают мой тулупчик, да любимую кофту верблюжьей шерсти:

– Зачем это мне? Вы – *мои* вещи верните! До каких пор прожаривать?

Подполковник пуще смущен:

– Потом, потом... Сейчас никак нельзя. Вы сейчас – поедете...

Поедете... Точно, как мне комбриг Травкин говорил при аресте. И *поехал* я из Германии – в московскую тюрьму.

– ...А костюм оставьте на себе. Э-э!..

Ба, с костюмом-то что! В камере не видно было, а здесь при дневном свете: и пиджак, и брюки, как лежал я на тюремном одеяле – нарочно так не выделаешь, не в пухе, не в перье, в чем-то мелком-мелком белом, не сотни, а тысячи, как собачья шерсть! Засуетился подполковник, позвал лейтенанта, щётку одёжную, а кран благо тут, и велит лейтенанту чистить пиджак, да не так, ты воду стряхивай, а потом чисть, да в одну сторону, в одну сторону! Я – нисколько не помогаю им, мне-то что, мне – тулупчик верните, кофту верблюжью и брюки мои... Пиджак почистили, а брюки – уже на мне, и вот, приседая по очереди, спереди и сзади, лейтенант и подполковник чистят мне брюки, работа немалая, въедаются эти шерстинки, хоть каждую ногтями снимай отдельно, да видно и времени в обрез.

Куда же? Сомненья у меня нет: в правительство, в это самое их политбюро, о котором так Маяковский мечтал. Вот когда, наконец, первый и последний раз – мы поговорим! Пожидал я такого момента порой – что просветятся, заинтересуются поговорить, ну неужели ж им не интересно? И когда «Письмо вождям» писал – это взамен такого разговора и не без расчета на следующий: не хочется совсем покинуть надежду: что если отцы их были простые русские люди, многие – мужики, то не могут же детки ну совсем, совсем, совсем быть откидышами? ничего, кроме рвачества, только – себе, а страна – пропади? Надежду *убедить* – нельзя совсем потерять, это уже – не людское. Неужели же они последнего человеческого лишены?

Разговор – серьёзный, может быть главный разговор жизни. Плана составлять не надо, он давно в душе и в голове, аргументы – найдутся сами, свободен буду – предельно,

как подчиненные с ними не разговаривают. Галстука? – не надену, возьмите назад.

Одет. Суетня: выводить? Побежали, не возвращаются. Машины ждут, на Старую Площадь? Не идут. Не идут. Вернулся подполковник. Опять с извинением:

– Немножко подождать придется..., – не выговаривает ужасного, неприличного слова «в камере», но по жестам, по маршруту вижу: возвращаемся в камеру.

Всё те же переходы, начинаю подробно запоминать. Нет, пожалуй не цирк, а – корабль на ремонте, паруса плашмя.

Валютчики мои аж откинули лбы: рубашка белая на всю камеру сверкает. И присел бы на одеяло, да труд подполковника жалко, похожу уж.

Хожу – и мысленно разговариваю с политбюро. Вот так мне ощущается, что за два-три часа я в чем-то их сдвину, продрогнут. Фанатиков ленинского политбюро, баранов сталинского – пронять было невозможно. Но этих – смешно? – мне кажется, можно. Ведь Хрущ – уже что-то понимал.

((Да не постираешь долго, набегают вопросы, а голова помрачённая. Что делать с Завещанием-программой? А – с «Жить не по лжи»? Оно заложено на несколько стартов, должно быть *пущено,* когда с автором случится: смерть, арест, ссылка. Но – что̀ случилось сейчас? Еще в колебании? еще клонится? Еще есть ли арест? А может, уже и не жив? Э-э, если уж *пришли,* так решились. Только атаковать! *Пускать!* И метить вчерашнею датой. (*Пошло* через несколько часов.) Тут звонит и из Цюриха адвокат Хееб: «Чем может быть полезен мадам Солженицыной?». Сперва – даже смешно, хотя трогательно: чем же он может быть полезен?! Вдруг просверкнуло: да конечно же! Торжественно в телефон: «Прошу доктора Хееба немедленно приступить к публикации всех до сих пор хранимых произведений Солженицына!» – пусть слушает ГБ!.. А телефон – звонит, звонит, как будто в чужой квартире: в звонках этих ничего не может содержаться. Звонят из разных

столиц, ни у них узнать, ни самой сказать.)

За мной. Выводят. С Богом! Пошел быстро, ночным молчаливым цирком, идти далеко. Ничего подобного – опять ближайший боковой заворот, мимо врачебного кабинета, полковник Комаров, еще один полковник, – и в тот же кабинет, где вчера мне предъявили измену родине, – только светлый-светлый сейчас от пасмурного дня, и за вчерашним столом – вчерашний же... Маляров, да, всего-навсего Маляров. Чего ж меня наряжали? И для меня – тот же стул посередь комнаты. И высшие офицеры рассаживаются позади, если кинусь на Малярова.

И с той же остротой, как вчера, и с той же взвинченной значительностью читаемого, отчетливо выделяя все слова:

– **Указ президиума верховного...**

И с этих трех слов – мне совершенно уже ясно всё, в остальные вслушиваюсь слегка, просто для контроля.

Эк они мне за 18 часов как меняют нагрузки – то на сжатие, то на растяжку. Но с радостью замечаю, что я не деформируюсь – и не сжался вчера, и не растянулся сейчас.

Значит, говорить со мной не захотели, сами всё знают. Сами знаете, но отчего же ваши ракеты, ваша мотопехота, и ваши гебистские подрывники и шантажисты, – почему все в отступлении, ведь – в отступлении, так? Бодался телёнок с дубом – кажется, бесплодная затея. Дуб не упал – но как будто отогнулся? но как будто малость подался? А у телёнка – лоб цел, и даже рожки, ну – отлетел, отлетит куда-то.

Но секунды текут – надо быстро соображать.

– Я могу – только с семьёй. Я должен вернуться в семью.

Маляров – в черном торжественном костюме, сорочка белее моей, встал, стоит как актёр на просторе комнаты, с приподнятой головой:

– Ваша семья последует за вами.

– Мы должны ехать вместе.

– Это невозможно.

Вот как. Какая неожиданная форма высылки. А вдуматься – у них и другого пути нет, только такой: меня быстро-быстро убрать.

– Но где гарантия?

– Но кто же будет вас разлучать?

Вообще-то, визгу не оберётесь, верно.

– Тогда я должен..., – секунду не сообразишь, обязательно что-нибудь упустишь, с *ними* так всегда..., – я должен заявление написать.

Зачем заявление – до сих пор не понимаю, как будто заявление что-то весит, если они решатся иначе. А просто – время выиграть, старая арестантская уцепчивость. Подумал Маляров:

– В ОВИР? Пишите.

– Ни в какой ОВИР. Указ Подгорного. Ему.

Подумал. К столу меня, сбоку. Бумагу.

Пишу, пишу. Перечень семьи, года рождений. Зачем пишу – не знаю. (Ошибка: они боятся – я стекла буду бить, а я заявление мирно пишу.) Что̀ б еще придумать?

– Самолётом – я не могу.

– Почему?

– Здоровье не позволяет.

Неподвижно-торжественен (да ведь операция почти боевая, может и орден получить). То ли кивнул. В общем, подумает.

Некогда мне проанализировать, что поездом они никак не могут рискнуть – а вдруг по дороге демонстрации, разные события?

И – в камеру назад. Я – руки нарочно сзади держу, крепче так. Вошел – свет погашен, разгар дня, от полудня до часу дают отдохнуть электричеству. Боже, какая темень, затхлость, гибельность. И будто ступни мои всё легче, всё легче касаются пола, я взмываю – и уплываю из этого гроба. Сегодня к утру я примирился, что жить осталось 2 месяца и то под следствием, с карцерами. И вдруг, оказывается, я ничем не болен, я ни в чем не виновен, ни хирургического стола, ни плахи, я могу продолжать жизнь!

Второго парня опять нет, а мой сочувствующий пялится на меня, ждет рассказа. Но сказать ему – мне совестно. Из бутырских камер провожали меня на свободу (по ошибке), тогда я ликовал, выкрикивал приветы, а сейчас почему-то совестно. Да теперь еще чудо какое: в камере – ежедневная газета. Фамилию мою знает, завтра сам прочтёт Указ. Всплеснется пуще сегодняшнего: ай да-да, вот так наказали!

Отваливается кормушка. Обед. Подходим брать. Щи и овсяная каша. Но в мои руки попадают миски не простые, я не сразу понял. Парень уносит к себе на кровать, я сажусь на единственное место за столик. Беру первую ложку щей – что̀ это? Соли – вообще тут не бывало, как я и люблю, и как не могли по тюрьме готовить. Значит – по моему заказу, бессолевая! И я с наслаждением до конца выбираю, выхлёбываю тюремные, но они же и простые русские тощие щи, не баланду какую-нибудь. А потом и кашу овсянку, ничем не заправленную, но порция – пятерная, с Лубянкой сравнивая, да и круче насколько! У меня в «Декабристах без декабря» украденный из Европы наш парень на берлинском аэродроме по солдатской каше узнаёт возвращённую горькую родину. Так и я теперь прощаюсь с Россией по каше, по вот этой лефортовской каше, последней русской еде.

Доесть не дали, гром замка, выходить. Ну, хоть щи долопал. А хлеба-то я навалил на полку – кто теперь его одолеет? Сунул кус в карман пиджака, до этих Европ еще пожрать понадобится. Парню пожал, пожелал – пошел. Не успел я подробно всех лефортовских переходов запомнить. Только в месте каком-то всё предупреждали меня головой не стукнуться.

В приёмном боксе вернули мне часы, крест, расписаться. Подполковник побеспокоился – что̀ это мой карман оттопырен. Я показал хлеб. Поколебался, ну – ничего.

Опять ждать. И провести время со мной зашел хитроватый начальник лефортовской тюрьмы. Уже не давя своей наблещенностью, а даже как-то задумчиво, как тянет его на меня. Как на всё таинственное, необъяснимое, не под-

чиненное законам жизни, метеорит пролётный. Даже как будто и улыбается мне приятно. Головой избочась, разглядывает:

– Вы какое артиллерийское училище кончали?

– Третье Ленинградское.

– А я – Второе. И ровесник ваш.

Смешно и мне. В одно и то же время бегали голодными курсантами, мечтали о скрещенных пушечках в петлицах. Только сейчас у него на погонах – эмведистский знак.

– Да... Воевали на одной стороне, а теперь вы – по другую сторону баррикад.

Эх, язычёк ленинско-троцкий, так и присохло на три поколения, весь мир у них в баррикадах, куста калины не увидят. Баррикады-баррикадами, но с вашей стороны что-то много мягкой мебели натащено. А с нашей – «руки назад!»

Выходим. Опять – кольцо во дворе, опять на заднее сиденье меж двоих, тесно. И – штурман вчерашний, что̀ из дому вёз, та же шапка, воротник, да что-то лицо слишком знакомо? Ба, растяпа я! это ж мой врач! – вчерашний, сегодняшний на рассвете. Вот неприглядчивость, я бы больше понял: от самой двери дома врач был неотлучно при мне, с чемоданчиком, в одном шаге, берегли.

Разверзлись проклятые ворота, поехали. Две машины, и в той – четверо, значит восьмеро опять. Попробовал опять по гортани поводить – насторожились.

День и сегодня ро̀степельный, на улицах грязно, машины друг друга обшлёпывают. Курский миновали. Три вокзала миновали. Выворачиваем, выворачиваем – на Ленинградский проспект. Белорусский? откуда и привезли меня когда-то арестованного, из Европы. Нет, мимо. По грязному-грязному проспекту, в неуютный грязный день – куда ж, как не в Шереметьево. Самую эту дорогу я ненавижу, с прошлого лета, с Фирсановки нашей грозной. Говорю врачу:

– Самолётом я не могу.

Поворачивается, и вполне по-человечески, не по-тюремному:

– Ничего изменить нельзя, самолёт ждёт.

(Да знал бы я – сколько ждёт! – три часа, пассажиры измучились, кто и с детьми, отчего задержка, никто не знает. И две комиссии, одна за другой, проверяли его состояние. И из Европы запрашивают, наши врут: туман.)

– Но я буду с вами, и у меня все лекарства.

Опять полукольцо – теперь вокруг трапа: а что, если буду нырять и в сторону бежать? Трап ведет к переднему салону. В салоне – семеро штатских да восьмой – врач, со мною. Кроме врача все опять сменились (должны ж охрану подготовить, освоиться). Мне указывают точное место – у прохода и в среднем ряду, вот сюда. От меня к окну – сосед, позади нас двое, впереди один. И через проход двое. И позади них двое. Так что я окружен как поясом. А вот и врач: он склонился ко мне заботливо и объясняет, какое рекомендует мне лекарство принять сейчас, какое через полчаса, какое через два часа, и каждую таблетку на моих глазах отрывает от фабричной пачки, показывая мне, что – не отрава. Впрочем одна из таблеток по моей мерке – снотворное, и я ее не беру. (Усыпить меня в дороге или одурить?) «А что, так долго лететь? – наивно спрашиваю я его. – Сколько часов?» Еще более наивно озадачивается и он: «Вот, не знаю точно...». И больше уже не ждут: захлопнулись люки, зажглась надпись о ремнях. Мой сосед тоже очень заботливо: «Вы не летали? Вот так застёгивается. И – «взлётных» берите, очень помогает». От стюардессы, в синем. А уж она – тем более невинна, совсем не знает, что тут за публика. Наши простые советские граждане.

И рулит самолёт по пасмурному грязно-снежному аэродрому. Мимо других самолётов или зданий каких, я ничего не замечаю отдельно: каждое из них отвратительно мне, как всякий аэродром, а всё вместе – последнее, что̀ я вижу в России.

Уезжаю из России я второй раз: первый раз – на фронтовых машинах, с наступающими войсками:

Расступись, земля чужая!
Растворяй свои ворота!

А приезжал – один раз: из Германии и до самой Москвы с тремя гебистами. И вот опять из Москвы с ними же, только уже с восемью. Арест наоборот.

Когда самолёт вздрагивает, отрываясь, – я крещусь и кланяюсь уходящей земле.

Лупятся гебисты.

⟪В телефонных этих звонках ничего не может содержаться... Вдруг по квартире вопли: – «Летит! Выслали! В Западную Германию!» Звонят, что слухи от друзей Бёлля: тот ожидает гостя во Франкфурте. Правдоподобно? можно поверить? *Сами* же пустили и слух, отвлечь от своих подвалов. «Я поверю только если услышу голос А.И.» Причём тут друзья Бёлля? Спектакль какой-то... Зачем тогда было так брать, восемь на одного? принимать всемирный позор с арестом – чтобы выслать? Но опять, опять звонят агентства, одно за другим. Министерство внутренних дел Рейн-Вестфалии подтвердило: «ожидается в Западной Германии»... Да больше: уже прибыл, и находится на пути в резиденцию Бёлля!..». Значит, так?.. Но почему у всех радость? Это же – несчастье, это же насилие, не меньшее, чем лагерь... *Выслали* – свистящее, чужое... Выслали, а у нас, конфискация? – ах, надо было успеть раздать, потеряла время! Жжёт. Всё жжёт. Звонят, поздравляют – с несчастьем?..⟫

Дальше всё – читателям привычнее, чем мне, разный там проход облаков, над облаками, солнце, как над снежною равниной. И как установился курс, я соображаю: который час (около двух, на 15° больше истинного полдня), как летим относительно солнца – и получается: линия между Минском и Киевом. Значит, вряд ли будет еще посадка в СССР и значит, значит... Вена? Не могу ничего вообразить другого, не знаю я ни рейсов, ни аэродромов.

Летим, как висим. Слева спереди ослепительно светит

солнце на снежно-облачные поля. А камеры для людей, думающих *иначе,* устроены так, что опять уже в потолках зажглись ночные лампочки – и до следующего полудня.

Господи, если ты возвращаешь мне жизнь – как эти камеры развалить?

Многовато для меня переходов за неполные сутки. Мягкое сиденье, конфетки. А в кармане – кусок лефортовского хлеба: как в сказке удаётся из дурной ворожбы вырвать, унести вещественный кусок: что – *было,* что не приснилось.

Да я б и без этой краюхи не забыл.

Перелёт – как символ: оборвалось 55 лет за плечами, сколько-то где-то ждёт впереди. Висеть – как думать: правильно жил? Правильно. Не ошибись теперь, новый мир – новые сложности.

Так вишу, думаю, и даже конвой свой разглядывать нет ни досуга, ни охоты. Один – вытащил приёмник, рожа улыбится, веселая командировка, включить больно хочется, другого спрашивает – можно ли? (Кто старший – не знаю, не видно старшего.) Я – явно брови нахмурил, покачал головой: «Мешает» (думать). Махнули ему, убрал. Двое задних – какие-то *не такие,* читают немецкие газеты, «Frankfurter Allgemeine». Дипломаты, что ли? А гебисты от скуки исходят, читают разбросанные рекламы, проспекты... и расписания. Расписания Аэрофлота? Совсем лениво, как тоже от скуки крайней, беру расписание и так же лениво просматриваю. Типов самолётов я не различаю. А рейсов тут полно, есть и Вена, есть и Цюрих, но час – ни один не подходит. В половине второго-два не выходит в Европу ни один самолёт подходящего направления. Значит, подали мне специальный. Да на это у нас казна есть, русский революционный размах.

Даже и не думать. Коромысло. Висеть и только понимать: таких часов в жизни – немного. Как ни понимай – победа. Телёнок оказался не слабее дуба. На чем бы мысль ни собрал – не получается. Д о м а – какова там добыча в обыске? (Но уже не жжёт, как ночью.) И что̀ там сейчас мои?

⟪Все радио десять раз повторили уже: летит – прибыл – едет к Бёллю. И когда никто уже в том не сомневался: «самолёт прибудет через полтора часа». А как же министр сообщал: «давно прибыл»? А как же все корреспонденты? Так никто еще не видел его живого?? Так – спектакль?! он никуда не летит?!? Так то было еще не несчастье!? А – вот оно... Сообщения сыпятся вперебой: еще в полёте... уже сел... **Еще не вылетал из Москвы**, *рейс откладывается*! И тогда – окончательно ясно: везут. Увезут в Египет или на Кубу, выбросят – и за него не в ответе. Ну, мерзавцы, стану вам костью в горле, устрою вам звон!⟫

Стюардесса разносит кофе с печеньями. Попьём, пригодится, хлебушек сэкономим. Опять наклонился врач: как я себя чувствую? какие ощущения? не хочу ли еще вот эту таблетку? Право же, как любезен, от самого лефортовского подъёма, и спал, наверно, в тюрьме. «Простите, как ваше имя-отчество?» Сразу окостенел и голосом костяным: «Иван Иваныч». Ах, продешевился я!..

А вот что! Заветного гражданства я лишен, значит теперь человек свободный, выйду-ка я в уборную. Где она? Наверно, в хвосте. Никому ни слова, независимо встаю и быстро пошел назад. Так быстро, что переполох у них на две секунды опоздал, но тем больший потом. Открываю дверь – сзади еще пассажирский салон, человек на 20 – и *совершенно пуст*! Ну, эта роскошь социализму по карману. Иду дальше, но тут уже нагоняют меня трое – средь них и «Иван Иваныч». Мол: что такое? Как, что такое? В уборную. Так – не туда, не там, в носу! Ах, в носу, ну ладно. Повернул. Это еще могу понять как повышенную любезность. Но достигнув носовой уборной, не могу за собой закрыть дверь: туда же ломятся и двое гебистов, впрочем не отнимая у меня первенства. Воспитание арестантское: желаете наблюдать? пожалуйста, у мужчин это совершается вот так. Вот так, и всё. Разрешите! Конечно, пожалуйста, расступаются. Однако рядом со мной у окна уже сел другой, пособачистей, прежний не оправдал доверия.

Я оглядываю внимательно нового соседа: какой, однако, убийца. Внимательно остальных. Да их тут трое-четверо таких, почти несомненно, что уже убивали, а если какой еще упустил – то готов отличиться сегодня же. Сегодня... Да какой же я лопух, чт̀о ж я разблагодушествовал? Кому ж я поверил? – Малярову? Подгорному? Старый арестант – а второй день одни ошибки. Вот отвык. Разве настоящий арестант – «тонкий, звонкий и прозрачный», смеет поверить хоть на грош, хоть на минуту – советскому прокурору или советскому президенту? Я-то! мало ли знаю историй, как наши молодчики после войны в любой европейской столице, днем на улице – втолакивали жертву в автомобиль и увозили в посольский подвал? и потом экспортировали куда хотели? В каждом советском посольстве довольно таких комнат, полуподвальных, каменных, прочных, не обязательно на меня лефортовскую камеру. Сейчас в Вене, в припугнутой нейтральной Австрии, к самому трапу пустого самолёта вот так же подкатит вплотную посольский автомобиль, эти восьмеро толканут меня туда без усилий (да что! здесь, в самолёте, упакуют в тюк и отнесут, сколько таких историй!). Несколько дней подержат в посольстве. Объявлен Указ, я выслан, – когд̀а, куд̀а – не обязательно предъявлять корреспондентам. А через несколько дней находят меня убитого на обочине австрийского шоссе – и почему за это должно отвечать советское правительство? Все годы, к сожалению, они за меня отвечали, и в этом была моя безопасность, – но уж *теперь*-то нет?

Весь этот прояснившийся мне план настолько в стиле ГБ, что даже проверять, исследовать его не нужно. Как же это я не сообразил сразу?.. А что – теперь? Теперь вот что: как можно больше беспечности, я отдыхаю, я расслаблен, я улыбаюсь, даже с кем-то перебрасываюсь словами – я полностью им доверяю. (Хотя бы – не в тюк, хотя бы своими ногами выйти. Не знаю, совсем не знаю аэродромных порядков, но не может быть, чтобы при посадке самолёта не было *ни одного* полицейского вблизи.

А если будет хоть один, я успею громко крикнуть. Ну-ка, ну-ка, в детстве ученый, давно заброшенный немецкий язык, выручай! Составляю в уме, составляю: «– Herr Polizei! Achtung! Ich bin Schriftsteller Solshenizyn! Ich bitte um Ihre Hilfe und Verteidigung!» Успею выкрикнуть? Даже если половину и рот зажмут – поймёт!)

И теперь – только наблюдаю их. Полудремлю и наблюдаю: какие лица? как переговариваются? похоже ли на деятельную подготовку? какие у них с собой вещи? Да руки почти у всех пусты. То есть, свободны...

А летим мы уже – скоро три часа. Долгонько. Сколько до этой Вены? ничего не знаю, никогда не интересовался. Но вот начинаем сбавлять высоту. И не удерживаюсь от еще одной проверки: не порывисто, развалисто, уже известной тропой иду в носовую уборную. За 10 минут до аэродрома – еще я зэк или уже не зэк? За мной – двое, и даже что-то укоризненно, почему не сказал? (То есть, чтоб один выводной успел занять позицию впереди меня.) «Разве еще имеет значение?» – улыбаюсь я. «Ну как же, вот я вам дверь открою.» И опять – стали вдвоем на пороге, чтоб я не закрыл. С холодком: нет, дело не просто. Что-то готовят. (Теперь-то понимаю: инструкция их была: не дать мне кончить самоубийством или порезаться, повредить себя, как блатные, когда на этап не хотят. Хороши б они выглядели, выведя меня порезанного!)

Ладно. Сел на старое место и поглядываю расслабленно-беззаботно. Спускаемся. Ниже. Различается большой город. На реке. Не такая широкая река, но и не малая. Дунай? Кто его знает. Делаем круг. Венских парков и предместий что-то не видать, больше промышленности, да где ее теперь нет? ...А вот и аэродром. Покатили по дорожкам. Среди других зданий одно возвышается, и на нем надпись «Frankfurt-am-Main». Э-ка!.. Рулим, вертимся – ѐсть полицейские, есть, и немало, если форму правильно понимаю. И вообще людей порядочно, сотни две, так что крикнуть будет кому.

Остановились. Снаружи везут трап. *Наши* некоторые

к пилоту бегают и назад. Я все-таки не выдерживаю, да естественное движение пассажира – где там пальтишко моё (лефортовское, чехословацкой братской выделки), надеть его, что ли? Сразу перегородили, и даже властно: «Сидите!» Плохо дело. Сижу. Трое-четверо бегают, суетятся, остальные сидят вокруг меня, как тигры. Сижу беспечно: и что, правда, в этом пальто париться? И вдруг от пилотского тамбура сюда в салон команда – громко, резко:

– Одевайте его! Выводите!

Всё по худому сбывается, только о зэке так можно крикнуть. Ладно, повторяю про себя немецкие фразы. Впрочем, пальто своими руками надел. Шапку. Всё-таки не в тюк. Вдруг на пороге тамбура один из восьми налетает на меня лицо к лицу, грудь к груди – и от живота к животу передает мне пять бумажек – пятьсот немецких марок. Во-как?? Поскольку я зэк – отчего не взять? ведь беру же от них пайку, щи... Но всё-таки джентльменничаю:

– Позвольте... А кому я буду должен?

(Мало они нашей кровушки попили. С 1918-го года заработали когда-нибудь один русский рубль своими руками?)

– Никому, никому...

И – исчез с дороги, я даже лица его не отличил, не заметил.

И вообще – дорога мне свободна. Стоят гебисты по сторонам, пилот вылез. Голос:

– Идите.

Иду. Спускаюсь. С боков – нету двоих коробочкою, не жмут. Шагнул перекладины три-четыре – всё-таки оглянулся, недоумеваю. Не идут! Так и осталась нечистая сила – вся в самолёте.

И – никто не идет, я ж на два салона – пассажир единственный.

Тогда – под ноги, не споткнуться бы. Да и вперед глянул немножко. Широким кольцом, очевидно за запретною чертой, стоят сотни две людей, аплодируют, фотографируют или крутят ручку. Ждали? знают? Вот этой самой простой

вещи – встречи – я и не ожидал. (Я совсем забыл, что нельзя привезти человека в страну, не спрося эту страну. По коммунистическим-то нравам спрашивать не надо никого, как в Праге приземлялись под 21-е августа.)

А внизу трапа – очень симпатичный, улыбаясь, и неплохо по-русски:

– Петер Дингенс, представитель министерства иностранных дел Федеративной республики.

И подходит женщина, подносит мне цветок.

Пять минут шестого по-московски. Ровно сутки назад, толкаясь, вломились в квартиру, и не давали мне собраться... Для одних суток многовато, конечно.

Но это уже вторые начались – на полицейской машине вывозят меня с аэродрома запасным выездом, спутник предлагает ехать к Бёллю, и мы гоним по шоссе, уже разговаривая о жизни *этой:* уж она началась.

Мы гоним 120 км в час, но того быстрей перегоняет нас другая полицейская машина, велит сворачивать в сторону. Выскакивает рыжий молодой человек, подносит мне огромный букет, с объяснением:

– От министра внутренних дел земли Рейн-Пфальц. Министр выражает мнение, что это – первый букет, который вы получаете от министра внутренних дел!

Да̀ уж! Да уж, конечно! От *наших* – наручники разве. Даже с семьёй своей жить было мне отказано...

((Иностранным корреспондентам в Москве объявили указ о лишении гражданства. «Семья может соединиться с ним, как только пожелает.» – «Не поверю, пока не услышу его голоса.» Теперь из ФРГ: подробности встречи на аэродроме. Такого не придумаешь, не актер же прилетел? Звонит корреспондент «Нью-Йорк Таймс»: он только что звонил Бёллю и разговаривал с Солженицыным... Наконец – и сам звонит. В кабинет, где два рабочих стола и еще вчера в напряженной тишине дорабатывали, потом врывались гебисты, потом сжигалось столько – теперь столпилось 40 человек – друзья, знакомые, – посмотреть разговор.

...Предъявили *измену*... одели во всё гебешное... полковник Комаров... Тут слух был (пустили да впопыхах, не успели разработать), что добровольно выбрал изгнание вместо тюрьмы. «Ты никакого обещанья не подписал?» «Да что ты, и не думал.» Ну, сейчас он *им врежет*! Сейчас он там им врежет!!..)

Вечером, в маленькой деревушке Бёлля мы пробирались меж двух рядов корреспондентских автомобилей, уже уставленных вдоль узких улочек. Под фотовспышками вскочили в дом, до ночи и потом с утра слышали гомон корреспондентов под домом. Милый Генрих развалил свою работу, бедняга, распахнул мне гостеприимство. Утром, как объяснили мне, неизбежно выйти, стать добычей фотографов – и что-то сказать.

Сказать? Всю жизнь я мучился невозможностью громко говорить правду. Вся жизнь моя состояла в прорезании к этой открытой публичной правде. И вот, наконец, я стал свободен как никогда, без топора над головою, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту – говори! и даже неестественно не говорить! сейчас можно сделать самые важные заявления – и их разнесут, разнесут, разнесут – ...А внутри меня что-то пресеклось. От быстроты пересадки, не успел даже в себе разобраться, не то что подготовиться говорить? И это. Но больше – вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, та̀м говорить, где и все говорят, где дозволено. И вышло из меня само:

– Я – достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь – помолчу.

И сейчас, отдаля, думаю: это – правильно вышло, чувство – не обмануло. (И когда потом семья уже приехала в Цюрих, и опять рвались корреспонденты, полагая, что уж теперь-то, совсем ничего не боясь, я сказану, – опять ничего не сostраивалось, н е ч е г о было объявить.)

Помолчу – я имел в виду помолчать перед микрофонами, а свое состояние в Европе я уже с первых часов, с первых

минут понял как деятельность, нестеснённую наконец: 27 лет писал я *в стол,* сколько ни печатай издали – не сделаешь, как надо. Только теперь я могу живо и бережно убрать свой урожай. Для меня было главное: из лефортовской смерти выпустили печатать книги.

А у нас там в России, мое заявление могло быть истолковано и загадочно: да как же это – *помолчу*? за столько стиснутых глоток – как же можно молчать? Для них, там, главное было – насилие, надо мной совершённое, над ними совершаемое, а я – молчу? Им слышалось это в громыхании лермонтовского «На смерть поэта», лучше всего выраженном у Регельсона [38]. Им та̀к казалось (аффект минуты): лучше в советском лагере, чем доживать заграницей.

Так и среди близких людей разность жизненной встряски даже за сутки может родить разнопонимание.

⟪Одели во всё гебешное!»... мерзко! И чтобы ссыльные прирождённые вещи лежали у них? – грязь прилипает. Как будто еще держат тело. Забрать. Но как попасть в Лефортово? Оно заперто. Телефон? Таких телефонов не бывает в книжке. Телефоны следователей? – Кое-кто знает своих мучителей. Но следователь даёт следующий телефон, который уже не ответит. Прокуратура? – «У нас нет телефона Лефортовской тюрьмы.» – «Но *вы* отвезли туда Солженицына.» – «Ничего не знаем.» Вспомнили: четверг в Лефортово – день передач. И поехала прямо. Дубасить в закрытое окошко: «Позовите полковника Комарова!» В стене – гремят, гремят замки и, сопровождённый двумя адъютантами (они выскакивают и строятся с двух сторон), висломясый, седой, с важностью:

– Начальник Лефортовского изолятора полковник Петренко!

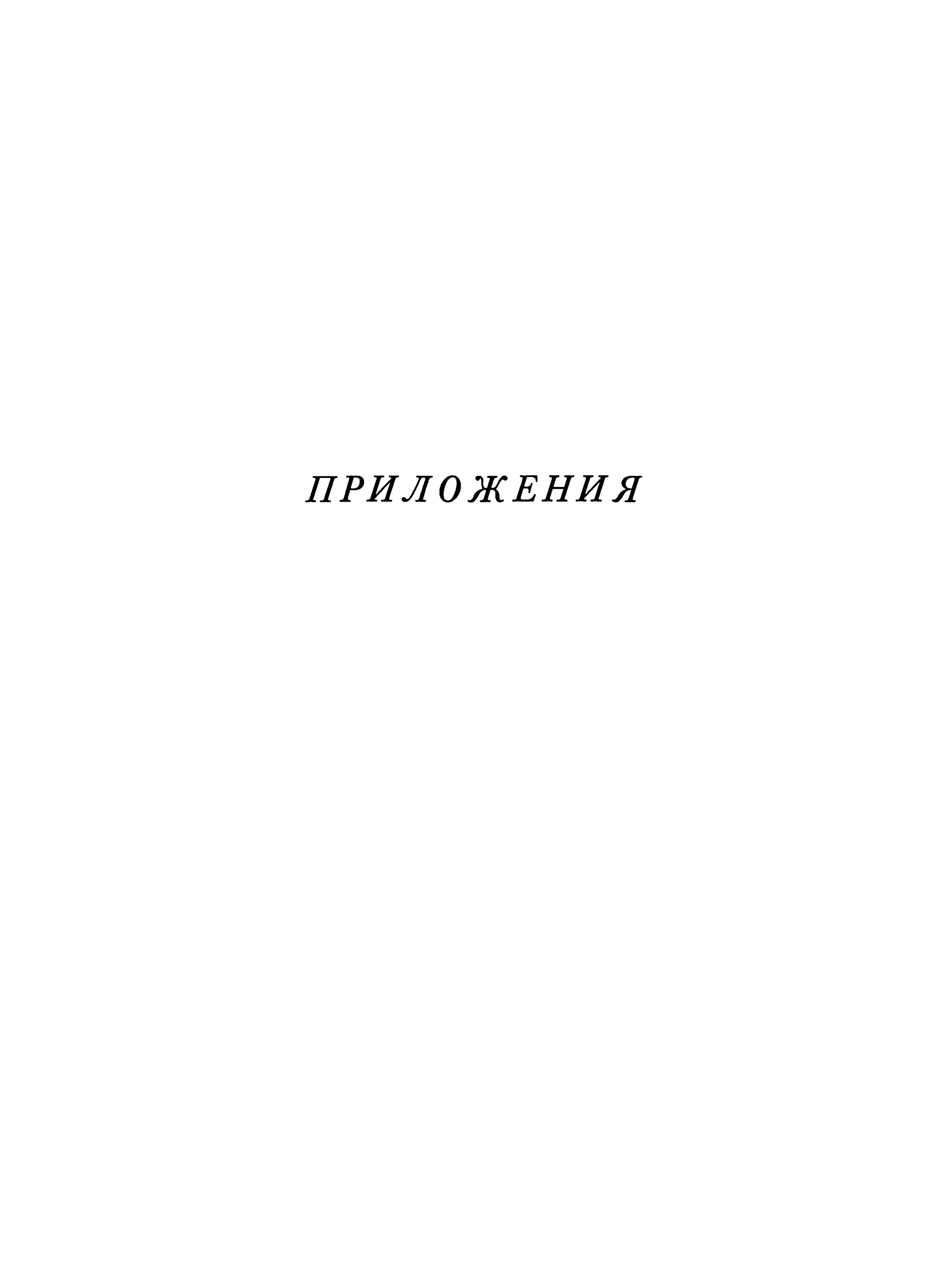
По *эту* сторону баррикады свищи-ищи конца фамилий! А тем более – вещей... *Сожжены*! В тот же день, мол, сожжены. Или между своими разобраны? Или взяты для подделок?»⟫

То ли ей предстояло! Ей предстояло теперь самое главное, начать и кончить: весь мой огромный архив, 12-летние заготовки по многим Узлам вперед – перенести в Швейцарию, по воздуху, по земле или по воде, не утеряв ни бумажки, ни упаковочного привычного конверта, в те же ящики вложить в этот письменный стол, когда он приплывёт туда, – и по дороге ни единого важного листика (а неважных мало у меня) не пронести через железный обруч погранохраны, не дать им на таможне сфотографировать десятком приготовленных копировальных аппаратов, уж не говоря – не дать отобрать, ибо физически *не может* ЧКГБ, физически *не может* советская власть выпустить на свободу хоть листик один, который им не по нраву.

И эта задача моей жене – удалась. Без этого был бы я тут, в изгнании, с вырванным боком, со стонущею душой, инвалид, а не писатель.

И эту бы историю еще как раз в сию книгу вставить. Да – нельзя, нельзя...

Sternenberg, нагорье Цюриха
Июнь 1974



ПРИЛОЖЕНИЯ

1

15.11.66
Москва

Многоуважаемый С. Комото!

Я очень тронут Вашим любезным предложением обратиться в новогодних номерах к японским читателям. Все три издания «Одного дня Ивана Денисовича» на японском языке у меня есть. Не имея возможности оценить переводов, я восхищен внешним видом изданий.

До сих пор я отказывался давать какие-либо интервью или обращения к читателям газет. Однако, с недавнего времени я пересмотрел это решение. Вы – первый, кому я это интервью даю.

Отвечаю на Ваши вопросы.

1. (Как я расцениваю отзывы читателей и критиков на мои произведения.)

Лавина читательских писем после первого опубликования моих произведений была для меня пока одним из самых трогательных и сильных переживаний всей моей жизни. Много лет я занимался литературной работой, не имея совсем никаких читателей, даже измеряемых одним десятком. Тем более ярким было это живое ощущение читающей страны.

2. (Что бы я мог сказать о «Раковом корпусе».)

«Раковый корпус» – это повесть объёмом в 25 печатных листов, состоит из двух частей. Часть 1-ю я закончил весной 1966 г., но еще не сумел найти для неё издателя. Часть 2-ю надеюсь закончить вскоре. Действие повести происходит в 1955 г. в онкологической клинике крупного южного советского города. Я сам лежал там, будучи при

смерти, и использую свои личные впечатления. Впрочем, повесть – не только о больнице, потому что при художественном подходе всякое частное явление становится, если пользоваться математическим сравнением, «связкой плоскостей»: множество жизненных плоскостей неожиданно пересекаются в избранной точке.

3. (Мои творческие планы.)

Отвечать на такой вопрос имеет смысл писателю, который уже напечатал и представил на сцене свои предыдущие произведения. Со мной не так. До сих пор не напечатаны мой большой роман («В круге первом»), некоторые мелкие рассказы, не поставлены мои пьесы («Олень и шалашовка», «Свет, который в тебе»). При таких обстоятельствах как-то нет желания говорить о «творческих планах», они не имеют реального значения.

Наиболее влекущая меня литературная форма – «полифонический» роман (без главного героя, где самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» повествование) и с точными приметами времени и места действия.

4. (Моё отношение к Японии, японскому народу, его культуре.)

Я стремлюсь всегда писать плотно, т.е. вместить густо в малый объём. Как мне со стороны и издали кажется, эта черта является одной из важных в японском национальном характере – само географическое положение воспитало её в японцах. Это даёт мне ощущение «родственности» с японским характером, хотя никаким специальным изучением японской культуры это у меня никогда не сопровождалось. (Исключение представляет философия Ямага Соко, с которой даже поверхностное знакомство произвело на меня неизгладимое впечатление.) Большую часть жизни то лишенный свободы, то занятый математикой и физикой, которые одни давали мне средства к существованию, я остаток времени отдавал собственному литературному

труду и поэтому оказался мало осведомлен о событиях современной мировой культуры, мало знаю современных зарубежных авторов, художников, театр и кино. Это относится и к Японии. Мне удалось побывать только на одном японском спектакле (театра «Кабуки») и повидать только три японских фильма. Из них сильное впечатление оставил «Голый остров».

Я глубоко уважаю незаурядное трудолюбие и талантливость японского народа, проявляемые им в постоянно нелёгких природных условиях.

5. (Как я смотрю на обязанности писателя в деле защиты мира.)

Я понимаю этот вопрос более широко. Борьба за мир есть только часть из обязанностей писателя перед обществом. Никак не менее важна и борьба за социальную справедливость и упрочение духовных ценностей в своих современниках. Именно с отстаивания нравственных ценностей в душе каждого только и может начинаться плодотворное отстаивание мира.

Воспитанный на традициях русской литературы, я не могу себе представить своего литературного труда без этих целей.

Желаю японским читателям счастливого Нового Года!

А. Солженицын

2

ПИСЬМО IV-му ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

(вместо выступления)

В президиум съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов

Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу Съезд обсудить:

I. то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем «Главлита» тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, – запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным.

Отличные рукописи молодых авторов, еще никому не известных имен, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется в свет в искаженном виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически-вредный», «порочный» и т.д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент – смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер – и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

Они любить умеют только мертвых!

Но позднее издание книг и «разрешение» имен не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов – Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа личности и на особые свойства Сталина, – однако их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях «пропустят – не пропустят», «об этом можно – об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь – косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырьё.

Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого и в начале нынешнего века, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня неизмеримо бедней, площе и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если б ее не ограничивали и не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом общественном мнении, проигрывает и мировая литература: располагай она всеми нестесненными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом – всё мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем идет, приобрело бы новую устойчивость, взошло бы даже на новую художественную ступень.

Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой – явной или скрытой – цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист.

II. ...обязанности Союза по отношению к своим членам. Эти обязанности не сформулированы четко в уставе ССП («защита авторских прав» и «меры по защите других прав писателей»), а между тем за треть столетия плачевно выявилось, что ни «других», ни даже авторских прав гонимых писателей Союз не защитил.

Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того – личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Андрей Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман.) Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, – но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключенных из Союза, либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артем Веселый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы узнали после XX съезда партии, что их было **более шестисот** – ни в чем не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтется нашими глазами: в нем записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времен Ягоды-Ежова-Берии-Абакумова.

Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять со старыми руководствами ответственность за прошлое.

Я предлагаю четко сформулировать в пункте 22-м устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям – с тем, чтобы невозможно стало повторение беззаконий.

Если Съезд не пройдет равнодушно мимо сказанного, я прошу его обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною:

1. Мой роман «В круге первом» (35 авт. листов) скоро два года, как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его редакционное движение. Напротив, еще при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Добиться публичного чтения, открытого обсуждения романа, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах. Мой роман показывают литературным чиновникам, от большинства же писателей прячут.

2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Закрыто «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда обреченные на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей **никто** не выступил против репрессий), давно покинутая, эта пьеса теперь приписывается мне как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведется против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награжденного боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок как уголовник, или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведется на закрытых инструктажах и собраниях людьми, занимающими официальные посты.

Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление ССП РСФСР и в печать: Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Напротив, в последний год клевета с трибун против меня усилилась, ожесточилась, использует искаженные материалы конфискованного архива, – я же лишен возможности на нее ответить.

4. Моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Простором» и «Звездой»).

5. Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.

6. Киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, который в тебе», мелкие рассказы («Правая кисть», «Как жаль», серия крохотных) не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.

7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельною книгою ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Гослитиздат, «Библиотека Огонька») и таким образом недоступны для широкого читателя.

8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочесть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана.

При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав – возьмется или не возьмется IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор

немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы – еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть. Но может быть многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни?

Это еще ни разу не украсило нашей истории.

А. Солженицын

16 мая 1967 г.

3

В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Всем секретарям Правления

Мое письмо IV-му съезду Союза Писателей, хотя и поддержанное более, чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились единообразные, повидимому централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но все это – ложь, как вы знаете.

Секретари Правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 г. заявили, что Правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах агитаторов обо мне распространяется новый фантастический вздор – вроде того, что я бежал в Арабскую республику, не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорей). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что не умер в лагере, что был освобожден оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования.)

Те же секретари Правления обещали «рассмотреть вопрос» по крайней мере о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца – четверть года! – и это нисколько не сдвинулось. За три месяца сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о ее печатании. В этом странном равновесии – без прямого запрета и без

прямого дозволения – моя повесть существует уже более года, с лета 1966-го. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения.

Думает ли Секретариат, что от такой бесконечной затяжки моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать и не надо уже будет голосовать о включении или невключении ее в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить ее печатать, если мы хотим ее появления сперва на русском языке; что в таких условиях мы не сможем остановить ее неконтролируемого появления на Западе.

После многомесячной бессмысленной затяжки приходит пора заявить: если так произойдет, то по явной вине (а может быть и по тайному желанию?) Секретариата Правления СП СССР.

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно!

Солженицын

12 сентября 1967 г.

4

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

22 сентября 1967 г.

Присутствовало около 30 секретарей СП и т. **Мелентьев** из Отдела культуры ЦК. Председательствовал **К.А. Федин**. Заседание по разбору писем писателя Солженицына началось в 13 часов, окончилось после 18 часов.

Федин – Второе письмо Солженицына меня покоробило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. Три с половиной месяца – совсем небольшой срок для рассмотрения его рукописей. Мне здесь услышалась своего рода угроза. Такая мотивировка показалась обидной! Второе письмо Солженицына как бы заставляет нас силком браться за рукописи, скорее их издавать. Вторым письмом продолжается линия первого, но там более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. В сложном вопросе о печатании вещей Солженицына что происходит? Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его т о н в непозволительную сторону. Читая письмо, ощущаешь его как оплеуху – мы будто негодники, а не представители творческой интеллигенции. В конце концов своими требованиями он сам тормозит рассмотрение вопроса. Не нашел я в его письмах темы писательского товарищества. Хотим мы или не хотим, мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что надо говорить в общем по письмам.

Солженицын просит разрешения сказать несколько слов о предмете обсуждения. Читает письменное заявление:

«Мне стало известно, что для суждения о повести «Раковый корпус» секретарям Правления предложено было читать пьесу «Пир победителей», от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры кроме захваченного, а теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написана не членом Союза Писателей Солженицыным, а бесфамильным арестантом Щ-232 в те далекие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу, и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не захотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году. На этой пьесе отпечаталась безвыходность лагеря тех лет, где сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитв за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор ее есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести «Раковый корпус».

Кроме того, недостойно писательской этики – обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры т а к и м способом.

Разбор же моего романа «В круге первом» есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести «Раковый корпус».

Корнейчук – У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от нее не отмежуется? Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать еще до съезда?

Федин предлагает Солженицыну ответить.

Солженицын указывает, что он – не школьник вскакивать на каждый вопрос, у него будет выступление, как и у других.

Федин говорит, что можно собрать несколько вопросов и ответить на все вместе.

Баруздин – Хотя Солженицын возражает против обсуждения пьесы «Пир победителей», но нам волей-неволей приходится говорить об этой пьесе. Вопрос: какова была необходимость Солженицыну вообще называть эту пьесу съезду, упоминать ее?

Салынский – Я прошу, чтобы Солженицын рассказал, кто, когда и при каких обстоятельствах изъял эти материалы? Просил ли автор о возвращении их? Кого просил?

Федин предлагает Солженицыну ответить на сообравшиеся вопросы.

Солженицын повторяет, что ответит на вопросы при выступлении.

Федин, поддержанный **другими**: – Но Секретариат не может приступить к обсуждению, не имея ответа на эти вопросы.

Ропот голосов – Солженицын может вообще отказаться разговаривать с Секретариатом, пусть об этом заявит.

Солженицын – Хорошо, я отвечу на эти вопросы. Это неверно, что письмо стали передавать по западному радио до съезда: его стали передавать уже после закрытия съезда: и то не сразу. (Далее буквально:) «Здесь употребляют слово «заграница» и с большим значением, с большой выразительностью, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это странно. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет – узнавать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь – земля отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Почему пьеса «Пир победителей» была упомянута в письме съезду? – это ясно из самого письма: чтобы протестовать против незаконного «издания» и распространения этой пьесы вопреки воле автора и без его ведома. Теперь

относительно изъятия моего романа и архива. Да, я несколько раз, начиная с 1965 года, писал в ЦК по этому поводу, протестовал. (Далее буквально:) «Но за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим еще человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли (не называют что), не мое нашли, но решили меня оберечь от такого знакомства. Все это – ложь. У знакомого моего Теуша два года назад было следствие, но такого обвинения ему даже не выставлялось. Хранение мое было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и подслушивателем в комнате. Но вот примечательно: едва появилась новая версия – она единым толчком обнаруживается в разных местах страны: лектор Потёмкин только что изложил ее многолюдному собранию в Риге, один из секретарей СП – московским писателям. Причем от себя он добавил и свое измышление: что все это я будто бы признал на прошлой встрече в секретариате. А об этом у нас и разговора не было. Не сомневаюсь, что скоро начну со всех концов страны получать письма о распространении этой версии».

Вопрос – Отвергнута ли редакцией «Нового мира» повесть «Раковый корпус» или принята?

Абдумомунов – Какое разрешение требуется «Новому миру» на печатание повести и от кого?

Твардовский – Вообще решение печатать или не печатать ту или иную вещь – в компетенции редакции. Но в данной ситуации, сложившейся вокруг имени автора, решать должен Секретариат Союза.

Воронков – Солженицын ни одного раза не обращался непосредственно в Секретариат союза писателей СССР. После письма Солженицына съезду у товарищей из Секретариата было желание встретиться, ответить на вопросы – поговорить и помочь. Но после того, как письмо появилось в грязной буржуазной прессе, а Солженицын никак не реагирует...

Твардовский – Ну, точно как Союз писателей!

Воронков – ...это желание отпало. А тут вот появилось второе письмо. Оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей писательской общественности. Сейчас Солженицын упомянул об «одном секретаре», дававшем информацию партийному собранию московских писателей. Секретарь этот – я. Вам поспешили передать, но плохо передали. Об изъятии ваших вещей я только то сказал на последнем собрании, что вы признали, что отобранные вещи – ваши, и что обыска у вас дома не было. После вашего письма съезду мы естественно сами запросили – почитать все ваши произведения. Но нельзя так грубо обращаться с вашими товарищами по труду и по перу! А вы, Александр Трифонович, если считаете нужным печатать эту повесть и если автор примет ваши исправления – так и печатайте сами, при чем тут Секретариат?

Твардовский – А с Беком как было? И Секретариат занимался, и рекомендовали – и все равно не напечатали.

Воронков – Но меня сейчас больше всего интересует гражданское лицо Солженицына: почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду? И почему так обращается с нами?

Мусрепов – И у меня вопрос: как это он пишет в письме: более высоко стоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере? Какое право он имеет так писать?

Шарипов – И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?

Федин предлагает Солженицыну ответить на заданные вопросы.

Солженицын – Да то ли еще обо мне говорили! Лицо, занимающее очень высокое положение и сегодня, заявило публично, что сожалеет: не он был в составе той тройки, которая выносила мне приговор в 1945 году, он бы тогда же приговорил меня к расстрелу!.. Здесь мое второе письмо истолковывают как ультиматум: или печатайте повесть, или ее на Западе напечатают. Но этот

ультиматум не я ставлю Секретариату, а вам и мне вместе ультиматум этот ставит жизнь. Я пишу, что меня беспокоит распространение повести в сотнях – эта цифра на глазок, я ее не подсчитывал – в сотнях машинописных экземпляров.

Голос – Как это получилось?

Солженицын – А вот такое странное свойство обнаружилось у моих вещей: их настойчиво просят почитать, а взяв почитать – за счет своего досуга или своих средств перепечатывают и дают читать дальше. Первую часть повести еще год назад перечитала московская секция прозы, удивляюсь, почему тут т. Воронков сказал – не знали, где достать, запрашивали в КГБ. Года три назад такое же быстрое распространение получили «крохотные рассказы» или стихотворения в прозе: едва я их стал давать людям читать, как они быстро разлетелись по разным городам Союза. А потом в редакцию «Нового мира» пришло письмо с Запада, из которого мы узнали, что эти крохотные рассказики и там уже напечатаны. Вот чтобы такая утечка не успела произойти с «Раковым корпусом», я и написал свое настоятельное письмо Секретариату. Я не меньше могу удивляться, как мог Секретариат нисколько не реагировать на мое письмо съезду – еще п р е ж д е Запада? И не реагировать на всю ту клевету, которой меня окружили? Т. Воронков употребил здесь замечательное выражение «братья по перу и по труду». Так вот эти братья по перу и по труду уже два с половиной года спокойно взирают на то, как меня притесняют, преследуют, клевещут на меня.

Твардовский – Не все безучастны.

Солженицын – ...А редакторы газет, тоже братья, не помещают моих опровержений. (Далее буквально:) «Я уже не говорю, что моей книги не дают читать в лагерях: ее не пропускали в лагеря, изымали обысками и сажали за нее в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили «Один день Ивана Денисовича» и обещали, что «это не повторится». Но за последнее время книгу стали тайно изымать и из вольных библиотек. О запрете выдавать

ее мне пишут из разных мест: велено отвечать читателям, что книга в переплете, или на руках, или доступа нет к тем полкам и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма:

> «В районной библиотеке мне по секрету (я – активист этой библиотеки) сказали, что ваши книги велено изъять. Одна из сотрудниц хотела подарить мне на память ненужный им теперь «Один день» в журнале-газете, другая тут же остановила свою опрометчивую подругу: «Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в особый отдел, то опасно ее кому-нибудь дарить».

Не скажу, что книга изъята изо всех библиотек, кое-где еще есть. Но приезжающие ко мне в Рязань посетители не могли достать моей книги в Рязанской областной читальне: им отнекивались разными способами, да так и не дали.

Давно известно, что клевета неистощима, изобретательна, быстра в росте, но когда столкнешься с клеветою сам, да еще с невиданной новой формой ее – клеветою с трибуны, то диву даешься. Беспрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. Но этого уже кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения, например в Болшево, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же все записывается в блокноты и разносится дальше с коэфициентом сто. И это рядом со столицей! Есть и другой вариант. В Соликамске (п/я 389) майор Шестаков объявил, что я бежал по туристской путевке в Англию. Говорит заместитель по политчасти – кто же смеет не верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально запрещено писать! Ну, тут он хоть близок к истине.

Еще так обо мне заявляют с трибун: «его освободили досрочно, а зря». Зря или не зря освободили, это мы можем видеть из судебного решения Военной Коллегии Верховного Суда по реабилитации, оно предложено Секретариату...

Твардовский – И там боевая характеристика офицера Солженицына.

Солженицын – А вот «**досрочно**» – это очень смачно употреблено! Сверх восьмилетнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно, затем без приговора получил вечную ссылку, с этой вечной обреченностью просидел три года в ссылке, только благодаря XX съезду освобожден – и это называется **досрочно**! Как это словечко выражает удобное мировосприятие 1949-53 годов: если не умер у лагерной помойки, если хоть на коленях из лагеря выполз – значит освобожден «досрочно»... Ведь срок – вечность, и что раньше – то всё досрочно.

Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы, не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комичных обвинений, было такое: «Солженицын материально поддерживает капиталистический мир тем, что не берет гонорара» какого-то за вышедшую где-то книгу, очевидно «Ивана Денисовича», другой нет. Так если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтоб эти деньги я у капитализма вырвал – почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. «Международная книга»? Иностранная Комиссия СП? – сообщите: вот мол твой патриотический долг забрать эти деньги. Ведь это уже комедийная путаница: кто берет гонорары с Запада – тот продался капиталистам, кто не берет – тот их материально поддерживает. А третий выход? – на небо лети. Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы Всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли ее дальше. Например, ее повторил 16 июля этого года лектор А.А. Фрейфельд в Свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын! – умудрился, не выходя из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки – материально укрепить мировой капитализм. (Действительно, история для цирка.)

Вот такую чушь обо мне беспрепятственно рассказы-

вает всяк, кому не лень.

12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование – тихое, мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время – и вдруг слухи по всей Москве, все рассказывается не так, как было, все вывернуто, начиная с того, что будто бы Твардовский здесь кричал и стучал на меня кулаком по столу. Но ведь те, кто были, знают, что ничего подобного не было, зачем же лгать? Вот и сейчас мы однозначно слышим, что̀ тут говорится, но где гарантия, что и после сегодняшнего секретариата опять все не вывернут наизнанку? И если уж «братья по перу и труду», так первая просьба: давайте, рассказывая о сегодняшнем Секретариате, ничего не придумывать и не выворачивать.

Я – один, клевещут обо мне – сотни. Я, конечно, не успею никогда оборониться и вперед не знаю – от чего. Еще меня могут объявить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костер Джордано Бруно, не удивлюсь».

Салынский – Я буду говорить о «Раковом корпусе». Я считаю, что эту вещь необходимо печатать – это яркая и сильная вещь. Правда, там патологически пишется о болезнях, читатель невольно поддается раковой боязни, и без этого распространенной в нашем веке. Это надо как-то убрать. Еще надо убрать фельетонную хлесткость. Еще огорчает, что почти все судьбы персонажей в той или иной форме связаны с лагерем или лагерной жизнью. Ну, пусть Костоглотов, пусть Русанов, – но зачем обязательно и Вадиму? и Шулубину? и даже солдату?

В самом конце мы узнаём, что он – не просто солдат из армии, а из лагерной охраны. Общее направление романа в том, что он говорит о конце тяжелого прошлого. Теперь о нравственном социализме. По-моему, здесь ничего страшного. Если бы Солженицын проповедовал **без**нравственный социализм – это было бы ужасно. Если бы он проповедовал национал-социализм или национальный социализм по-китайски – это было бы ужасно. Каждый человек волен думать по-своему о социализме и его развитии.

Сам я думаю – социализм определяется экономическими законами. Но спорить – можно, зачем же не печатать повести? – Далее призывает Секретариат решительно выступить с опровержением клеветы против Солженицына.

Симонов – Роман «В круге первом» я не приемлю и против его печатания. А «Раковый корпус» – я за публикацию. Мне не всё нравится в этой повести, но не обязательно, чтобы всем нравилось. Может быть, что-то из делаемых замечаний автору надо и принять. А все принять конечно невозможно. Мы обязаны опровергнуть и клевету относительно него. И книгу его рассказов надо выпустить – и вот там-то, в предисловии будет хороший повод рассказать его биографию – и так клевета отпадет сама собой. Покончить с ложными обвинениями должны и можем мы – а не он сам. «Пира победителей» я не читал и у меня нет желания его читать, раз автор этого не хочет.

Твардовский – Солженицын находится в таких условиях, что ему с выступлением и соваться нельзя. Это именно мы, Союз, должны дать заявление, опровергающее клевету. Одновременно мы должны строго предупредить Солженицына за недопустимую, непринятую форму его обращения к съезду, во столько адресов. Редакция «Нового мира» не видит никаких причин не печатать «Ракового корпуса», конечно с известными доработками. Мы хотели только получить одобрение Секретариата или хотя бы – что Секретариат не возражает. (Просит Воронкова достать уже прежде подготовленный, еще в июне, проект коммюнике Секретариата.)

Воронков не спешит достать коммюнике. Тем временем

Голоса – Да ведь еще не решили! Есть и против!

Федин – Нет, это неверно, Секретариат не должен ничего печатать и опровергать. Неужели мы в чем-то виновны? Неужели вы, Александр Трифонович, считаете себя виновным?

Твардовский (быстро, выразительно) – Я?? – нет.

Федин – Не нужно искать искусственного повода для выступления. Какие-то слухи – недостаточный повод.

Другое дело, если Солженицын сам найдет повод развязать возникшую ситуацию. Тут должно быть публичное выступление самого Солженицына. Но вы подумайте, Александр Исаевич, в интересах чего мы станем печатать ваши протесты? Вы должны прежде всего протестовать против грязного использования вашего имени нашими врагами на Западе. При этом, конечно, вы сумеете найти возможность высказать вслух и какую-то часть ваших сегодняшних жалоб, сказанных здесь. Если это будет удачный и тактичный документ – вот мы его и напечатаем, поможем вам. Именно с этого должно начаться ваше оправдание, а не с ваших произведений, не с этой торговли – сколько месяцев мы имеем право рассматривать вашу рукопись – три месяца? четыре? Разве это страшно? Вот страшное событие: ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях.

(одобрение среди членов секретариата)

Корнейчук – Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Мы позвали вас, чтобы помочь вам выйти из этого тяжелого и двусмысленного положения. Вам задавали вопросы, но вы ушли от ответа. Отдаете ли вы себе отчет: идет колоссальная мировая битва и в очень тяжелых условиях. Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы защищаем свое правительство, свою партию, свой народ. Вы тут иронически высказались о заграничных поездках как о приятных прогулках, а мы ездим за границу вести борьбу. Мы возвращаемся оттуда измотанные, изнуренные, но с сознанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу по делам Всемирного Совета Мира. Мы знаем, что вы много перенесли, но не вы один. Было много других людей в лагерях, кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря – и шли на фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие, был подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления – только прокурорские. «Пир победителей» – это злобно, грязно, оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ

ее читает! Вы сидели когда там? Не в 37-м году! А в 37-м нам приходилось переживать!! – но ничто не остановило нас! Правильно сказал вам Константин Александрович: вы должны выступить публично и ударить по западной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны! Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие и несмотря на все наши мирные усилия Соединенные Штаты могут его применить? Как же нам, советским писателям, не быть солдатами?

Солженицын – Я повторно заявляю, что обсуждение «Пира победителей» является недобросовестным, и настаиваю, чтобы он был исключен из рассмотрения!

Сурков – На чужой роток не накинешь платок.

Кожевников – Большой промежуток времени от письма Солженицына до сегодняшнего обсуждения свидетельствует как раз о серьезности отношения секретариата к письму. Если бы мы обсуждали его тогда, по горячим следам, мы бы отнеслись острей и менее продуманно. Мы решили сами убедиться, что̀ это за антисоветские рукописи. И потратили много времени на их чтение. По-видимому, документально доказана военная судьба Солженицына, но мы обсуждаем сейчас не офицера, а писателя. Я сегодня впервые услышал, что Солженицын отказывается от пасквильного изображения советской действительности в «Пире победителей», но я не могу отказаться от своего первоначального впечатления от этой пьесы. Для меня момент отказа Солженицына от «Пира победителей» еще не совпал с моим воприятием этой пьесы. Может быть потому, что в «Круге первом» и в «Раковом корпусе» есть ощущение той же мести за пережитое. И если стоит вопрос о судьбе этих произведений, то автор должен помнить, что он обязан тому органу, который его открыл. Я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матрениного двора». Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи, которые вы не решались даже дать ни в какую редакцию. «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма, от нагнетания всевозможных ужасов, но все-таки

главный план его – не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем. И как будто сюда же относится и название вещи. Своим вторым письмом вы вымогаете публикацию своей недоработанной повести. Достойно ли такое вымогательство писателя? Да все у нас писатели охотно прислушиваются ко мнению редакторов и не торопят их.

Солженицын (буквально) – «Несмотря на мои объяснения и возражения, несмотря на полную бессмыслицу обсуждать произведение, написанное двадцать лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке и другим человеком, к тому же никогда не опубликованное, никем не читанное и выкраденное из ящика, – часть ораторов сосредотачивается именно на этом произведении. Это гораздо бесмысленнее, чем, например, на 1-м съезде писателей поносить бы Максима Горького за «Несвоевременные мысли» или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые ведь были опубликованы, и лишь за 15 лет до того. Здесь сказал Корнейчук, что «такого не было и не будет, и в истории русской литературы такого не было». Вот именно!

Озеров – Письмо съезду оказалось политически страшным актом. Оно прежде всего пошло к врагам. В письме были вещи неправильные. В той же куче с несправедливо репрессированными писателями оказался и Замятин. По поводу печатания «Ракового корпуса» можно условиться с «Новым миром»: вещь может идти при условии исправления рукописи и дискуссии по проведенным исправлениям. Тут предстоит ещё очень серьезная работа. Повесть разнослойна по качеству, есть в ней и удачи и неудачи. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Я просил бы о целом ряде купюр по повести, о которых сейчас здесь просто нет времени говорить. Философия нравственного социализма не просто принадлежит герою, она звучит как отстаиваемая автором. Это недопустимо.

Сурков – Я тоже читал «Пир победителей». Ее настроение: «да будьте вы все прокляты!» И в «Раковом

корпусе» продолжает звучать то же. Кто изо всех персонажей вошел в мир героя? Только этот странный Шулубин, так же похожий на коммуниста, как я на... Шулубин, с его бесконечно устарелыми взглядами. Не буду скрывать, я человек начитанный. Все эти экономические и социальные теории я хорошо знаю, нюхал я и Михайловского, и Владимира Соловьева, и это наивное представление, что экономика может зависеть от нравственности. Претерпев столько, вы имели право обидеться как человек, но вы же писатель! Знакомые мне коммунисты имели, как вы выражаетесь, вышку, но это нисколько не повлияло на их мировоззрение. Нет, повесть эта – не физиологическая, это – политическая повесть, и упирается всё в вопросы концепции. И потом этот идол на Театральной площади, – хотя памятник Марксу еще не был тогда поставлен. Если ваш «Раковый корпус» будет напечатан, эта вещь может быть поднята против нас и будет посильнее мемуаров Светланы. Да, конечно, надо было бы упредить появление повести на Западе, но – трудно. Вот я был последнее время близок к Анне Андреевне Ахматовой, знаю: дала она нескольким человекам почитать «Реквием», походил он несколько недель – и сразу напечатан на Западе. Конечно, наш читатель уже настолько развит и настолько искушен, что его никакая книжка не уведет от коммунизма, а все-таки произведения Солженицына для нас опасней Пастернака: Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын – с живым, боевым, идейным темпераментом, это – идейный человек. Мы – первая революция в истории человечества, не сменившая ни лозунгов, ни знамен! «Нравственный социализм» – это довольно обывательский социализм, старый, примитивный и (в сторону Салынского) не знаю, как можно в этом не разобраться, что-то тут найти.

Салынский – Да я его не защищаю вовсе.

Рюриков – Солженицын пострадал от тех, кто его оклеветал, но он пострадал и от тех, кто его чрезмерно захваливает и приписал ему качества, которых у него нет,

– Солженицыну если отказываться – то и от «продолжателя русского реализма». Поведение маршала Рокоссовского, генерала Горбатова – честнее, чем ваших героев. Источник энергии этого писателя – в озлоблении, в обидах. По-человечески можно это понять. Однако вы пишете, что ваши вещи запрещают? Да цензура не прикоснулась ни к одному из ваших романов! Удивляюсь, почему Твардовский испрашивает разрешения у нас. Вот я же, например, никогда не просил у Союза Писателей разрешения – печатать или не печатать. (Просит Солженицына отнестись с доверием к рекомендациям «Нового мира» и обещает от «любого из присутствующих» постраничные замечания по «Раковому корпусу».)

Баруздин – Я как раз принадлежу к тем, кто и с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына. Уже «Матренин двор» намного слабее первой его вещи. А в «Круге первом» очень много слабого, так убого наивно и примитивно показаны Сталин, Абакумов и Поскребышев. «Раковый корпус» же – антигуманистическая вещь. Конец повести подводит к тому, что «по другому надо было идти пути». – Неужели Солженицын мог рассчитывать, что его письмо «вместо выступления» так-таки сразу и прочтут на Съезде? Сколько съезд получил писем?

Воронков – Около пятисот.

Баруздин – Ну! И разве можно было в них быстро разобраться? – Не согласен с Рюриковым: это правильно, что вопрос о разрешении поставлен на Секретариате. Наш секретариат должен чаще превращаться в творческий орган и охотно давать советы редакторам.

Абдумомунов – Это очень хорошо, что Солженицын нашел мужество отказаться от «Пира победителей». Найдет он мужество подумать, как выполнить предложение К.А. Если мы выпустим в свет «Раковый корпус» – еще будет больше шума и вреда, чем от его первого письма. И что это значит – «насыпал табаку в глаза макаке-резус – просто так»? Как это – просто так? Это – против всего нашего строя высказывание. В повести есть Русановы, есть вели-

комученики от лагеря – и только? А где же советское общество? Нельзя так сгущать краски, нельзя подавать повесть так беспросветно. Много длиннот, повторов, натуралистических сцен – всё это надо убрать.

Абашидзе – Успел прочесть только 150 страниц «Ракового корпуса», поэтому глубокого суждения иметь не могу. Но не создалось такого впечатления, чтоб этот роман нельзя было печатать. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу. Может быть самое главное там дальше. Мы все, честные и талантливые писатели, всегда боролись против лакировщиков, даже когда нам это запрещали. Но у Солженицына есть опасность впасть в другую крайность: у него места чисто очеркового разоблачительного характера. Художник – как ребенок, он разбирает машину, чтобы посмотреть, что̀ внутри. Но истинное искусство начинается со сборки. – Я замечаю, как он спрашивает у соседа фамилию каждого оратора. Почему он нас никого не знает? Потому что мы его никогда не приглашали. Правильно предложил К.А., пусть сам Солженицын ответит на клевету, может быть сперва по внутреннему употреблению.

Бровка – В Белоруссии много людей, тоже сидевших, – например, Сергей Граковский, тоже отсидел 20 лет. Но они поняли, что не народ, не партия, не советская власть виноваты в беззакониях. Записки Светланы Сталиной – это бабья болтовня, народ уже раскусил и смеется. А тут перед нами – общепризнанный талант, вот в чем опасность публикации. Да, вы чувствуете боль своей земли, и даже чрезмерно. Но вы не чувствуете ее радости. «Раковый корпус» – слишком мрачно, печатать нельзя. – (Как и все предыдущие и последующие ораторы, поддерживает предложение К.А. Федина: Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма.)

Яшен – (Ругает «Пир победителей».) Автор – не измучен несправедливостью, а отравлен ненавистью. Люди возмущаются, что есть в рядах Союза писателей такой писатель. Я хотел предложить его исключить из Союза. Не он один пострадал, но другие понимают трагедию

времени лучше. Вот, например, молодой Икрамов. – В «Раковом корпусе», – конечно, рука мастера. Автор знает предмет лучше любого врача и профессора. Но вот за блокаду Ленинграда он обвиняет кроме Гитлера – «еще других». Кого это? – непонятно. Берия? Или сегодняшних замечательных руководителей? Надо же ясно сказать. – (Все же оратор поддерживает мужественное решение Твардовского поработать над этой повестью с автором. И после этого можно будет дать посмотреть узкому кругу.)

Кербабаев – Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все – бывшие заключенные, всё – мрачно, ни одного теплого слова. Просто тошнит, когда читаешь. Вера предлагает герою свой дом и свои объятия, а он отказывается от жизни. Потом это «девяносто девять плачут, один смеется» – это как понять? это – про Советский Союз? Я согласен с тем, как говорил мой друг Корнейчук. Почему автор видит только черное? А почему я не пишу черное? Я всегда стараюсь писать только о радостном. Это мало, что он от «Пира победителей» отказался. Я считал бы мужеством, если бы он отказался от «Ракового корпуса» – вот тогда я б обнял его как брата.

Шарипов – А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил! В пьесе у него всё советское представлено отрицательно и даже Суворов. Совершенно согласен: пусть откажется от «Ракового корпуса». Наша республика освоила целинные и залежные земли и идет от успеха к успеху.

Новиченко – Письмо съезду разослано с недопустимым обращением через голову формального адресата. Присоединяюсь к строгим словам Твардовского, что мы эту форму должны решительно осудить. Не согласен с главными требованиями письма: нельзя допускать всё печатать. Это что ж тогда – и «Пир победителей» печатать? По поводу «Ракового корпуса». Сложное испытываю отношение. Я – не ребенок, мне тоже придется умирать и может быть в таких же мучениях, как герои Солженицына. И здесь-то важнее всего: какова твоя совесть? каковы твои моральные

резервы? И если бы роман ограничивался этим, я бы считал нужным печатать. Но – низкопробное вмешательство в нашу литературную жизнь – каррикатурная сцена с дочкой Русанова. Идейно-политический смысл нравственного социализма – это отрицание марксизма-ленинизма. Потом эти слова Пушкина – «Во всех стихиях человек Тиран, предатель или узник» – это оскорбительная теория. Все эти вещи категорически неприемлемы ни для нас, ни для нашего общества и народа. Судьями общества в повести взяты все пострадавшие, это оскорбительно. Русанов – отвратный тип, правдиво изображен. Но недопустимо, что он становится из типа – носителем и выразителем всего нашего официального общества. Коробит частое употребление имени Горького в этих подлейших и грязнейших русановских устах. Даже если роман будет доведен до определенной кондиции – он не станет романом соцреализма. Но будет явлением, талантливым произведением. Прочел я и «Пир победителей» – и что-то по-человечески надломилось по отношению к автору. Надо преодолеть всяческие корешки, ведущие от этой пьесы.

Марков – Состоялось ценное обсуждение. Оратор только что приехал из Сибири, пять раз выступал перед массовой аудиторией. Надо сказать, никакого особенного ажиотажа вокруг имени этого автора нигде нет. Только в одном месте подали записку – я прошу извинения, но именно так было написано: «а когда этот Долженицын перестанет поносить советскую литературу?» – Мы ждем от Солженицына совершенно четкого ответа на буржуазную клевету, ждем выступления в печати. Он должен защитить свою честь как советского писателя. Заявлением о «Пире победителей» он снял с моей души камень. «Раковый корпус» я оцениваю, как и Сурков. Вещь стоит все-таки в каком-то практическом плане. Совершенно не приемлю в ней всех общественно-политических заходов. «Кто-то сделал» – безвестные адреса. При установившемся добром сотрудничестве между «Новым миром» и Александром Исаевичем эта повесть может быть дописана, хотя и потребуется

очень серьезная работа. А сегодня пускать в набор конечно нельзя. Что же дальше? Конструктивно: А.И. готовит такое выступление в печати, о котором тут все говорили, очень хорошо будет как раз в преддверии праздника – а уж потом возможно будет какое-то коммюнике со стороны Секретариата. Все же я продолжаю считать его нашим товарищем. Но в сложной ситуации мы, А.И., оказались по вашей вине, а не по чьей другой. Предложения об исключении из Союза? – при тех началах товарищества, которые должны сложиться, мы не должны торопиться.

Солженицын – Уже несколько раз я выступал сегодня против обсуждения «Пира победителей», но приходится опять о том же. В конце концов я могу упрекнуть вас всех в том, что вы – не сторонники теории развития, если серьезно предполагаете, что за двадцать лет и при полной смене всех обстоятельств человек не меняется. Но тут я услышал и более серьезную вещь: Корнейчук, Баруздин и еще кто-то высказались так, что «народ читает» «Пир победителей», будто эта пьеса распространяется. Я сейчас буду говорить очень медленно, пусть каждое слово мое будет записано точно. Если «Пир победителей» пойдет широко по рукам или будет напечатан, я торжественно заявляю, что вся ответственность за это ляжет на ту организацию, которая использовала единственный сохранившийся, никем не читанный экземпляр этой пьесы для «издания» при моей жизни и против моей воли: это она распространяет пьесу! Я полтора года непрерывно предупреждал, что это очень опасно! Я предполагаю, что у вас там не читальный зал, а пьесу дают на руки, ее возят домой, а там есть сыновья и дочери, и не все ящики запираются на замок – я предупреждал! и сейчас предупреждаю!

Теперь о «Раковом корпусе». Упрекают уже за название, говорят, что рак и раковый корпус – не медицинский предмет, а некий символ. Отвечу: подручный же символ, если добыть его можно, лишь пройдя самому через рак и умирание. Слишком густой замес – для символа слишком

много медицинских подробностей – для символа. Я давал повесть на отзыв крупным онкологам – они признавали ее с медицинской точки зрения безупречной и на современном уровне. Это именно рак, рак как таковой, каким его избегают в увеселительной литературе, но каким его каждый день узнают больные, в том числе ваши родственники, а может быть вскоре и кто-нибудь из присутствующих ляжет на онкологическую койку и поймет, какой это «символ».

Совершенно не понимаю, когда «Раковый корпус» обвиняют в антигуманистичности. Как раз наоборот: это преодоление смерти жизнью, прошлого – будущим, я по свойствам своего характера иначе не взялся бы и писать. Но я считаю, что задачи литературы и по отношению к обществу и по отношению к отдельному человеку не в том заключаются, чтобы скрывать от него правду, смягчать ее, а говорить истинно то, как оно есть, как ждет его. И в русских пословицах мы слышим то же правило:

Не люби поноровщика, люби спорщика.
Не тот доброхот, у кого на устах мед.

Да вообще задачи писателя не сводятся к защите или критике того или иного способа распределения общественного продукта, к защите или критике той или иной формы государственного устройства. Задачи писателя касаются вопросов более общих и более вечных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя и тех законов протяженного человечества, которые зародились в незапамятной глубине тысячелетий и прекратятся лишь тогда, когда погаснет солнце.

Меня огорчает, что некоторые места в повести товарищи прочли просто невнимательно и отсюда родились извращенные представления. Уж этого-то быть не должно. Вот «девяносто девять плачут, один смеется» – это ходовая лагерная пословица; к тому типу, который лезет без очереди, Костоглотов подходит с этой пословицей, чтобы дать себя опознать, и только. А тут делают вывод, что это – про весь

Советский Союз. Или – макака резус, она два раза там встречается, и из сопоставления ясно, что под злым человеком, насыпавшим в глаза табаку *просто так*, подразумевается конкретно Сталин. А что мне возражают? – что не «просто так»? Но если не «просто так» – так значит, это было закономерно, необходимо? Удивил меня Сурков, я даже не мог сразу понять, почему он заговорил о Марксе, где он там у меня в повести? Ну, Алексей Александрович! Вы же поэт, человек с тонким художественным вкусом, и вдруг ваше воображение дает такой промах, вы не поняли этой сцены? Шулубин приводит учение Бэкона в его терминологии, он говорит «идолы рынка» – и Костоглотов пытается это себе представить: рынок, а посреди возвышается сизый идол; Шулубин говорит – «идолы театра» – и Костоглотов представляет идола внутри театра, нет, не лезет, – так значит, на Театральной площади. И как же вы могли вообразить, что речь идет о Москве и о памятнике Марксу, еще не поставленном?..

Сказал товарищ Сурков, что несколько недель понадобилось «Реквиему» походить по рукам – и он оказался за границей. А «Раковый корпус» (1-я часть) ходит уже больше года. Вот это-то меня и беспокоит, вот потому я и тороплю Секретариат.

Еще тут был мне совет товарища Рюрикова: отказаться от продолжения русского реализма. Вот от этого – руку на сердце положа – никогда не откажусь.

Рюриков – Я не сказал – отказаться от продолжения русского реализма, а от истолкования этой роли на Западе, как они делают.

Солженицын – Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно публичности я и добиваюсь все время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи и прятать наши стенограммы за семью замками. Вот было обсуждение «Ракового корпуса». Решено было секцией прозы – послать стенограмму обсуждения в заинтересованные редакции. Куда там! Спрятали, еле-еле согласились

мне-то дать, автору. И сегодняшняя стенограмма – я надеюсь, Константин Александрович, получить ее?

Спросил К.А.: «в интересах чего печатать ваши протесты?» По-моему, ясно: в интересах отечественной литературы. Но странно говорит К.А., что развязать ситуацию должен я. У меня связаны руки и ноги, заткнут рот – и я же должен развязать ситуацию? Мне кажется, это легче сделать могучему Союзу Писателей. Мою каждую строчку вычеркивают, а у Союза в руках вся печать. Я все равно не понимаю и не вижу, почему мое письмо не было зачтено на съезде. Теперь К.А. предлагает бороться не против причин, а против следствия – против шума на Западе вокруг моего письма. Вы хотите, чтобы я напечатал опровержение – а чего именно? Не могу я вообще выступать по поводу ненапечатанного письма. А главное: в письме моем есть общая и частная часть. Должен ли я отказаться от общей части? Так я и сейчас все так же думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Ведь это письмо – о чем?

Голоса – О цензуре.

Солженицын – Ничего вы тогда не поняли, если – о цензуре. Это письмо – о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила свое положение. Говорят нам с Запада: умер роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не умер. А нужно не доклады делать, а романы опубликовывать – такие, чтоб там глаза зажмурили, как от яркого света – и тогда притихнет «новый роман», и тогда окоснеют «нео-авангардисты». От общей части своего письма я не собираюсь отказываться. Должен ли я, стало быть, заявить, что несправедливы и ложны восемь пунктов частной части моего письма? Так они все справедливы. Должен ли я сказать, что часть пунктов уже устранена, исправляется? Так ни один не устранен, не исправлен. Что же мне можно заявить? Нет, это вы расчистите мне сперва хоть малую дорогу для такого заявления: опубликуйте во-первых мое письмо, затем – коммюнике Союза по поводу письма, затем укажите,

что̀ из восьми пунктов исправляется – вот тогда и я смогу выступить, охотно. Мое сегодняшнее заявление о «Пире победителей», если хотите, тогда печатайте тоже, хоть я не понимаю ни обсуждения украденных пьес, ни опровержения ненапечатанных писем. 12 июня здесь, в Секретариате, мне заявили, что коммюнике будет напечатано безо всяких условий, – а сегодня уже ставят условия. Что изменилось?

Запрещается моя книга «Иван Денисович». Продолжается и вспыхивает все новая против меня клевета. Опровергать ее можно вам, но не мне. Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закаляли меня в сталинских лагерях.

Федин – Нет, очередность не та. Первым публичным выступлением должно быть ваше. Получив столько одобрительных замечаний вашему таланту и стилю, вы найдете форму, сумеете. Сперва мы, а потом вы – такая реплика не имеет твердого основания.

Твардовский – А само письмо будет при этом опубликовано?

Федин – Нет, письмо надо было публиковать тогда, во-время. Теперь нас заграница обогнала, зачем же теперь?

Солженицын – Лучше поздно, чем никогда. И из моих восьми пунктов ничего не изменится?

Федин – Это потом уже посмотрим.

Солженицын – Ну, я уже ответил, и всё, надеюсь, застенографировано точно.

Сурков – Вы должны сказать, отмежевываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции, которую вам приписывают на Западе?

Солженицын – Алексей Александрович, ну, уши вянут такое слышать – и от вас: художник слова – и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?

Несколько коротких выступлений, настаивающих, чтобы Солженицын принял сказанное Фединым.

Голоса – Он подумает!..

Солженицын еще раз говорит, что такое выступление ему первому невозможно, отечественный читатель так и не будет знать, о чем речь.

(Запись велась в ходе заседания А. Солженицыным.)

5

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ПРАВЛЕНИЕ

№ 3142

25 ноября 1967 г.

Товарищу А.И. Солженицыну.

Уважаемый Александр Исаевич!

В ходе заседания Секретариата Правления Союза писателей СССР 22 сентября с.г., на котором обсуждались Ваши письма, наряду с резкой критикой Вашего поступка, товарищами высказывалась доброжелательная мысль о том, что Вам необходимо иметь достаточную по времени возможность тщательно обдумать всё, о чем говорилось на Секретариате, и уже затем выступить публично и определить Ваше отношение к антисоветской кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой вокруг Вашего имени и Ваших писем. Прошло два месяца.

Секретариату хотелось бы знать, к какому решению Вы пришли.

С уважением

К. Воронков

По поручению Секретариата,
Секретарь Правления Союза
писателей СССР

6

1.12.67
Рязань

В СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Из Вашего № 3142 от 25.11.67 я не могу понять:

1) Намеревается ли Секретариат защитить меня от непрерывной трехлетней (мягко было бы назвать ее «недружественной») клеветы у меня на родине? (Новые факты: 5.10.67 в Ленинграде в Доме Прессы при многолюдном стечении слушателей главный редактор «Правды» Зимянин повторил надоевшую ложь, что я был в плену, а также нащупывал избитый прием против неугодных – объявить меня шизофреником, а лагерное прошлое – навязчивой идеей. Лекторы МГК выдвинули новые лживые версии о том, будто я «сколачивал в армии» то ли «пораженческую», то ли «террористическую» организацию. Непонятно, почему не увидела этого в деле Военная Коллегия Верхсуда.)

2) Какие меры принял Секретариат, чтобы отменить незаконный запрет моих печатных произведений в библиотечном пользовании и цензурное распоряжение изымать мою фамилию из упоминания в критических статьях? (В «Вопросах литературы» так поступили даже... в переводе японской статьи. В Пермском университете подвергнута санкциям группа студентов, пытавшихся обсуждать мои печатные произведения в своем научном сборнике.)

3) Хочет ли Секретариат предотвратить бесконтрольное появление «Ракового корпуса» заграницей или он остаётся равнодушен к этой опасности? Делаются ли какие-нибудь шаги для печатания отрывков из повести в «Литературной газете», а всей повести – в «Новом мире»?

4) Нет ли у Секретариата намерения ходатайствовать перед правительством о присоединении нашей страны к международной конвенции об авторском праве? Тем самым

наши авторы получили бы надежное средство защиты своих произведений от незаконных зарубежных изданий и бесстыдной коммерческой гонки переводов.

5) За прошедшие полгода от моего письма Съезду прекращено ли наконец распространение незаконного «издания» отрывков из моего архива и уничтожено ли это «издание»?

6) Какие меры принял Секретариат к возвращению мне изъятого архива и романа «В круге первом», кроме публичных заверений, что они уже якобы возвращены (секретарь Озеров, например)?

7) Принято или отвергнуто Секретариатом предложение К.М. Симонова издать сборник моих рассказов?

8) Почему я до сих пор не получил стенограммы заседания Секретариата 22 сентября для ее изучения?

Я был бы очень признателен за разъяснение этих вопросов.

Солженицын

7

ЧЛЕНУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Скоро год, как я послал свое безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор еще дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничто не изменилось и по сегодня: мой архив мне не возвращен, книги не издаются, имя под запретом. Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам. Секретариат же не только не помог напечатанию уже набранного в «Новом мире» «Ракового корпуса», но упорно противодействовал тому, даже воспрепятствовал московской секции прозы обсудить 2-ю часть повести.

Упущен год, неизбежное произошло: на днях главы из «Р. Корпуса» напечатаны в литературном приложении к «Таймс». Теперь не исключены и другие публикации – быть может с неточных и неокончательных редакций повести. Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилегающих писем и высказываний – чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата 22.9.67, записанное лично мною, разумеется не полно, но совершенно достоверно и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

16.4.68

Солженицын

Приложения:

1. Мое письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12.9.67.
2. Изложение заседания в Секретариате 22.9.67.
3. Письмо К. Воронкова 25.11.67.
4. Мое письмо в Секретариат 1.12.67.

8

В СЕКРЕТАРИАТ СП СССР

– Журнал «Новый мир»
– «Литературная газета»
– Членам СП

В редакции «Нового мира» меня познакомили с телеграммой:

«НМО177 Франкфурт на Майне Ч2 9 16.20 Твардовскому Новый мир

Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на запад еще один экземпляр «Ракового корпуса», чтобы этим заблокировать его публикацию в «Новом мире». Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу.

Редакция журнала «Грани».»

Я хотел бы протестовать против публикации как в «Гранях», так и осуществляемой В. Луи, но мутный характер телеграммы требует прежде всего выяснить:

1) действительно ли она подана редакцией журнала «Грани» или подставным лицом (это можно установить через международный телеграф, запросом московского телеграфа во Франкфурт-на-Майне)?

2) кто такой Виктор Луи, что за личность, чей он подданный? Действительно ли он вывез из Советского Союза экземпляр «Ракового корпуса», кому передал, где грозит публикация еще? И какое отношение имеет к этому Комитет Госбезопасности?

Если Секретариат СП заинтересован в выяснении истины и остановке грозящих публикаций «Ракового корпуса» на русском языке за границей, – я думаю, он может быстро получить ответы на эти вопросы.

Этот эпизод заставляет задуматься о странных и темных

путях, какими могут попадать на Запад рукописи советских писателей. Он есть крайнее напоминание нам, что нельзя доводить литературу до такого положения, когда литературные произведения становятся выгодным товаром для любого дельца, имеющего проездную визу. Произведения наших авторов должны допускаться к печатанию на своей родине, а не отдаваться в добычу зарубежным издательствам.

Солженицын

18.4.68

9

В РЕДАКЦИЮ «МОНД»
«УНИТА»
«ЛИТГАЗЕТЫ»

Из сообщения газеты «Монд» от 13 апреля мне стало известно, что на Западе в разных местах происходит печатание отрывков и частей из моей повести «Раковый корпус», а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли Хэд (Англия) уже начат спор о праве «копирайт» на эту повесть.

Заявляю, что **никто** из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать ее. Поэтому **ничью** состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю издательских прав; всякое искажение текста (неизбежное при бесконтрольном размножении и распространении рукописи) наносит мне ущерб; всякую самовольную экранизацию и инсценировку решительно порицаю и запрещаю.

Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен «Иван Денисович» из-за спешки. Видимо, это же ждёт и «Раковый корпус». Но кроме денег существует литература.

Солженицын

25.4.68

10

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Копия: журнал «Новый мир»

Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить моим многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас:

«Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России.

А. Солженицын

Рязань, 12 декабря 1968 г.»

11

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 4 НОЯБРЯ 1969 г.

(Заседание длилось с 15 ч. до 16 ч. 30 м.)

Присутствовали из семи членов Рязанской писательской организации – шестеро (секретарь Рязанского отделения Эрнст Сафонов лег на операцию); секретарь СП РСФСР – **Ф.Н. Таурин**; секретарь по агитации и пропаганде Рязанского обкома КПСС – Александр Сергеевич **Кожевников**; редактор издательства **Поварёнкин** и еще три товарища из областных организаций.

Данная запись в ходе заседания велась **Солженицыным**.

На повестке дня – один объявленный вопрос: «Информация секретаря СП РСФСР **Таурина** о решении Секретариата СП РСФСР «О мерах усиления идейно-воспитательной работы среди писателей».

Сама информация не занимает много времени. Ф. Таурин прочитывает решение секретариата СП РСФСР, вызванное побегом А. Кузнецова заграницу, с указанием новых мер по усилению контроля за писателями, выезжающими заграницу, а также мер идейного воспитания писателей. Сообщает, что подобные заседания уже проведены во многих областных писательских организациях и прошли на высоком уровне, особенно – в Московской писательской организации, где были выдвинуты обвинения против Лидии Чуковской, Льва Копелева, Булата Окуджавы, а также и против члена Рязанской организации СП – Солженицына.

Прения (регламент – 10 мин.)

Василий **Матушкин** (член СП, Рязань). После нескольких общих фраз о состоянии Рязанской организации: – Не могу не сказать об отношении т. Солженицына к литературе

и к нашей писательской организации. Тут есть и моя ответственность: я когда-то давал ему рекомендацию при поступлении в Союз писателей. Таким образом, критикуя сегодня его, я критикую и сам себя. Когда появился «Иван Денисович» – не всё в нем сразу принималось, многое в нем не нравилось. Но после рецензий Симонова и Твардовского мы не могли спорить. Всё же у нас были надежды, что Солженицын станет украшением нашей писательской организации. Эти надежды не сбылись. Взять его отношение к нашей писательской организации. За все эти годы – никакого участия. На перевыборных собраниях он, правда, бывал, но не выступал. Помощь молодым писателям – одна из важнейших наших обязанностей по уставу, он ее не оказывал, не участвовал в обсуждениях произведений начинающих авторов. Работы никакой у него не было. Возникает мнение и боль, что он высокомерно относится к нашей писательской организации и к нашим небольшим достижениям в литературе. Скажу честно и откровенно, что всё его последнее творчество (правда, мы его не знаем, не читали, нас на обсуждение не приглашали) идет вразрез с тем, что пишем мы, остальные. Для нас существует Родина-мать, и нет ничего дороже. А творчество Солженицына публикуется за рубежом, и всё это потом выливается на нашу родину. Когда нашу мать поливают грязью, используя его произведения, и Александру Исаевичу дают указания, как надо ответить, и даже печаталась статья в «Литературной газете», а он не реагировал, считая себя умнее.

С. Баранов (председательствующий): Ваш регламент кончился, 10 минут.

Матушкин – просит еще.

Солженицын – Дать, сколько товарищ просит.

(продляют)

Матушкин – Союз писателей есть организация совершенно добровольная. Есть люди, которые печатаются, а в Союзе не состоят. В уставе Союза прямо говорится: Союз объединяет единомышленников, кто строит комму-

низм, отдаёт этому все творчество, кто следует социалистическому реализму. А Солженицыну тогда не место в писательской организации, пусть творит отдельно. Как ни горько, но я должен сказать: у нас с вами, А.И., пути разные и нам придется расстаться с вами.

Николай **Родин** (член СП, г. Касимов, для создания кворума срочно доставлен на это собрание в больном состоянии): – Василий Семенович сказал так, что и добавить нечего. Если взять устав Союза и сравнить с ним гражданскую деятельность Александра Исаевича, то увидим большие расхождения. Мне после Василия Семеновича и добавить нечего. Он не выполнял устава, не считался с нашим Союзом. Бывает так, что некому отдать на рецензию рукопись начинающего писателя, а Солженицын не рецензировал. У меня к нему большие претензии.

Сергей Х. **Баранов** (член СП, Рязань) – Это очень серьезный вопрос и своевременно его поднимает правление Союза писателей. Мы в Союзе должны хорошо знать душу друг друга и помогать друг другу. Но что будет, если мы разбежимся по углам, кто же будет воспитывать молодежь? Кто же будет руководить литературными кружками, которых у нас много на производстве и в учебных заведениях. Правильно Василий Семеныч затронул вопрос об А.И. Творчества его мы не знаем, мы его творчества не знаем. Вокруг его произведений вначале была большая шумиха. А я лично в «Иване Денисовиче» всегда видел сплошные черные краски. Или «Матренин двор» – да где он видел такую одинокую женщину с тараканами и кошкой, и чтоб никто не помогал – где такую Матрену найти? Я всё же надеялся, что Александр Исаевич напишет вещи, нужные народу. Но где он свои вещи печатает, о чём они? Мы не знаем. Надо повысить мнение к себе и друг к другу. Солженицын оторвался от организации, и нам, очевидно, придется с ним расстаться.

Солженицын просит разрешения задать один общий вопрос выступавшим товарищам, председательствующий отказывает:

Евгений **Маркин** (член СП, Рязань) – Мне труднее всего говорить, труднее всех. Глядя правде в глаза – речь идет о пребывании Александра Исаевича в нашей организации. Я не был еще членом Союза в то время, когда вы его принимали. Я нахожусь в угнетенном состоянии вот почему: небывалое колебание маятника из одной амплитуды в другую. Я работал сотрудником «Литературы и Жизнь» в то время, когда раздавались Солженицыну небывалые похвалы. С тех пор наоборот: ни о ком я не слышал таких резких мнений, как о Солженицыне. Такие крайности потом сказываются на совести людей, принимающих решение. Вспомним, как поносили Есенина, а потом стали превозносить, а кое-кто теперь опять хотел бы утопить. Вспомним резкие суждения после 1946 года. Разобраться мне в этом сейчас труднее всех. Если Солженицына сейчас исключат, потом примут, опять исключат, опять примут – я не хочу в этом участвовать. Где тогда найдут себе второй аппендикс те, кто ушли от обсуждения сегодня? А у нас в организации есть большие язвы: членам Союза не дают квартир. Нашей рязанской писательской организацией два года командовал проходимец Иван Абрамов, который даже не был членом Союза, он вешал на нас политические ярлыки. А с Анатолием Кузнецовым я вместе учился в Литинституте, интуиция нас не обманывает, мы его не любили за то, что ханжа. На мой взгляд статьи устава Союза можно толковать двойственно, это палка о двух концах. Но, конечно, хочется спросить Александра Исаевича, почему он не принимал участия в общественной жизни. Почему по поводу той шумихи, что подняла вокруг его имени иностранная пресса, он не выступил в нашей печати, не рассказал об этом нам? Почему Александр Исаевич не постарался правильно разъяснить и популяризировать свою позицию? Его новых произведений я не читал. Мое мнение о пребывании А.И. в Союзе писателей: к рязанской писательской организации он не принадлежал. Я полностью согласен с большинством писательской организации.

Николай **Левченко** (член СП, Рязань) – В основном предыдущими товарищами вопрос освещен. Мне бы хотелось поставить себя на место А.И. и представить, как бы я себя вел. Если бы мое творчество поставили на вооружение заграницей – что бы я делал? Я бы пришел к товарищам посоветоваться. Он сам себя изолировал. Я присоединяюсь к большинству.

Поварёнкин – На протяжении многих лет А.И. был в отрыве от Союза писателей. Не приезжал на перевыборные собрания, а присылал телеграммы: «я присоединяюсь к большинству» – разве это принципиальная позиция? А Горький говорил, что Союз писателей – это коллективный орган, это – общественная организация. А.И., видимо, вступил в Союз с другими целями, чтобы иметь писательский билет. Идейные качества его произведений не помогают нам строить коммунистическое общество. Он чернит наше светлое будущее. У него самого нутро черное. Показать такого бескрылого человека, как Иван Денисович, мог только наш идейный противник. Он сам поставил себя вне писательской организации.

Солженицын снова просит разрешения задать вопрос. Ему предлагают вместо этого выступать. После колебаний разрешают вопрос.

Солженицын просит членов СП, упрекавших его в отказе рецензировать рукописи, в отказе выступать перед литературной молодежью, назвать хотя бы один такой случай.

Выступавшие молчат.

Матушкин – Член Союза писателей должен активно работать по уставу, а не ожидать приглашения.

Солженицын – Я сожалею, что наше совещание не стенографируется, не ведется тщательных записей. А между тем оно может представить интерес не только завтра и даже позже, чем через неделю. Впрочем, на Секретариате СП СССР работало три стенографистки, но Секретариат, объявляя мои записи тенденциозными, так и не смог или не решился представить стенограмму того совещания.

Прежде всего я хочу снять камень с сердца товарища Матушкина. Василий Семеныч, напомню вам, что вы никогда не давали мне никакой рекомендации, вы, как тогдашний секретарь СП, принесли мне только пустые бланки анкет. В тот период непомерного захваливания секретариат РСФСР так торопился меня принять, что не дал собрать рекомендаций, не дал принять на первичной рязанской организации, а принял сам и послал мне поздравительную телеграмму.

Обвинения, которые мне здесь предъявили, разделяются на две совсем разные группы. Первая касается Рязанской организации СП, вторая – всей моей литературной судьбы. По поводу первой группы скажу, что нет ни одного обоснованного обвинения. Вот отсутствует здесь наш секретарь т. Сафонов. А я о каждом своем общественном шаге, а каждом своем письме Съезду или в Секретариат ставил его в известность в тот же день и всегда просил ознакомить с этими материалами всех членов Рязанского СП, а также нашу литературную молодежь. А он вам их не показывал? По своему ли нежеланию? Или потому, что ему запретил присутствующий здесь товарищ Кожевников? Я не только не избегал творческого контакта с Рязанским СП, но я просил Сафонова и настаивал, чтобы мой «Раковый корпус», обсужденный в Московской писательской организации, был бы непременно обсужден и в Рязанской, у меня есть копия письма об этом. Но и «Раковый корпус» по какой-то причине был полностью утаён от членов Рязанского СП. Так же я всегда выражал готовность к публичным выступлениям – но меня никогда не допускали до них, видимо чего-то опасаясь. Что касается моего якобы высокомерия, то это смешно, никто из вас такого случая не вспомнит, ни фразы такой, ни выражения лица, напротив, я крайне просто и по-товарищески чувствовал себя со всеми вами. Вот что я не всегда присутствовал на перевыборах – это правда, но причиной то, что я бóльшую часть времени не живу в Рязани, живу под Москвой, вне города. Когда только что был напечатан «Иван Денисович», меня

усиленно звали переезжать в Москву, но я боялся там рассредоточиться и отказался. Когда же через несколько лет я попросил разрешения переехать – мне было отказано. Я обращался в Московскую организацию с просьбой взять меня там на учёт, но секретарь ее В.Н. **Ильин** ответил, что это невозможно, что я должен состоять в той организации, где прописан по паспорту, а неважно, где я фактически живу. Из-за этого мне и трудно было иногда приезжать на перевыборы.

Что же касается обвинений общего характера, то я продолжаю не понимать, какого такого «ответа» от меня ждут, на что «ответа»? На ту ли пресловутую статью в «Литературной газете», где мне был противопоставлен Анатолий Кузнецов, и сказано было, что надо отвечать Западу так, как он, а не так, как я? На ту анонимную статью мне нечего отвечать. Там поставлена под сомнение правильность моей реабилитации – хитрой уклончивой фразой «отбывал наказание» – отбывал наказание и всё, понимайте, что отбывал за дело. Там высказана ложь о моих романах, будто бы «Круг первый» является «злостной клеветой на наш общественный строй» – но кто это доказал, показал, проиллюстрировал? Романы никому не известны и о них можно говорить всё, что угодно. И много еще мелких искажений в статье, искажен весь смысл моего письма Съезду. Наконец, опять обсасывается надоевшая история с «Пиром победителей» – уместно, кстати, задуматься: откуда редакция «Литературной газеты» имеет сведения об этой пьесе, откуда получила ее для чтения, если единственный ее экземпляр взят из письменного стола госбезопасностью?

Вообще с моими вещами делается так: если я какую-нибудь вещь сам отрицаю, не хочу, чтоб она существовала, как «Пир победителей», – то о ней стараются говорить и «разъяснять» как можно больше. Если же я настаиваю на публикации моих вещей, как «Ракового корпуса» или «Круга», то их скрывают и замалчивают.

Должен ли я «отвечать» Секретариату? Но я уже отвечал

ему на все заданные мне вопросы, а вот Секретариат не ответил мне ни на один! На мое письмо Съезду со всей его общей и личной частью я не получил никакого ответа по существу. Оно было признано малозначительным рядом с другими делами Съезда, его положили под сукно и, я начинаю думать, нарочно выжидали, пока оно две недели широко циркулировало, – а когда напечатали его на Западе, в этом нашли удобный предлог не публиковать его у нас.

Такой же точно приём был применен и по отношению к «Раковому корпусу». Еще в сентябре 1967 г. я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности, что «Корпус» появится заграницей из-за его широкой циркуляции у нас. Я торопил дать разрешение печатать его у нас, в «Новом мире». Но Секретариат – ждал. Когда весной 1968 г. стали появляться признаки, что вот-вот его напечатают на Западе, я обратился с письмами: в «Литературную газету», в «Ле Монд» и в «Унита», где запрещал печатать «Раковый корпус» и лишал всяких прав западных издателей. И что же? Письмо в «Ле Монд», посланное по почте заказным, не было пропущено. Письмо в «Унита», посланное с известным публицистом-коммунистом Витторио Страда, было отобрано у него на таможне – и мне пришлось горячо убеждать таможенников, что в интересах нашей литературы необходимо, чтоб это письмо появилось в «Унита». Через несколько дней после этого разговора, уже в начале июня, оно-таки появилось в «Унита» – а «Литературная газета» всё выжидала! *Чего* она ждала? Почему она скрывала мое письмо в течение *девяти* недель – от 21 апреля до 26 июня? Она ждала, чтобы «Раковый корпус» появился на Западе! И когда в июне он появился в ужасном русском издании Мондадори – только *тогда* «Литгазета» напечатала мой протест, окружив его своей многословной статьей без подписи, где я обвинялся, что *недостаточно энергично* протестую против напечатания «Корпуса», недостаточно резко. А зачем же «Литгазета» держала протест девять недель? Расчет ясен: пусть «Корпус» появится на Западе, и тогда можно будет

его проклясть и не допустить до советского читателя. А ведь, напечатанный во время, протест мог остановить публикацию «Корпуса» на Западе. Вот например два американских издательства Даттон и Прегер, когда только слухи дошли до них, что я протестую против напечатания «Корпуса», в мае 1968 г. отказались от своего намерения печатать книгу. А что было бы, если б «Литгазета» напечатала мой протест тотчас?

Председательствующий **Баранов**: – Ваше время истекло, 10 минут.

Солженицын – Какой может быть тут регламент? Это вопрос жизни.

Баранов – Но мы не можем вам больше дать, регламент.

Солженицын настаивает. Голоса – разные.

Баранов – Сколько вам еще надо?

Солженицын – Мне много надо сказать. Но по крайней мере дайте еще десять минут.

Матушкин – Дать ему три минуты.

(посовещавшись, дают еще десять)

Солженицын (еще убыстряя и без того быструю речь) – Я обращался в Министерство Связи, прося прекратить почтовый разбой в отношении моей переписки – недоставку или задержку писем, телеграмм, бандеролей, особенно зарубежных, например, когда я отвечал на поздравления к моему пятидесятилетию. Но что говорить, если Секретариат СП СССР сам поддерживает этот почтовый разбой? Ведь Секретариат не переслал мне ни одного письма, ни одной телеграммы из той кипы, которую получил на мое имя к моему пятидесятилетию. Так и держит беззвучно.

Переписка моя вся перлюстрируется, но мало того: результаты этой незаконной почтовой цензуры используются с циничной открытостью. Так, секретарь Фрунзенского райкома партии г. Москвы вызвал руководителя Института Русского языка Академии Наук и запретил запись моего голоса на магнитофон в этом институте – узнал

же он об этом из цензурного почтового извлечения, поданного ему.

Теперь об обвинении в так называемом «очернении действительности». Скажите: когда и где, в какой теории познания отражение предмета считается важней самого предмета? Разве что в фантомных философиях, но не в материалистической же диалектике. Получается так: неважно, что̀ мы делаем, а важно, что̀ об этом скажут. И чтобы ничего худого не говорили – будем обо всём происходящем молчать, молчать. Но это – не выход. Не тогда надо мерзостей стыдиться, когда о них говорят, а когда делают. Сказал поэт Некрасов:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизну свою.

А тот, кто всё время радостно-лазурен, тот, напротив, к своей родине равнодушен.

Тут говорят о маятнике. Да, конечно, огромное качание маятника, но не со мной только одним, а во всей нашей жизни: хотят закрыть, забыть сталинские преступления, не вспоминать о них. «А надо ли вспоминать прошлое?» – спросил Льва Толстого его биограф Бирюков. И Толстой ответил, цитирую по бирюковской «Биографии Л.Н. Толстого», том 3/4, стр.48 (читает поспешно):

«Если у меня была лихая болезнь и я излечился и стал чистым от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и еще хуже, и мне хочется обмануть себя. А мы больны и всё так же больны. Болезнь изменила форму, но болезнь всё та же, только ее иначе зовут... Болезнь, которою мы больны, есть убийство людей... Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо – и наше новое теперешнее насилие откроется.»

Нет! Замолчать преступления Сталина не удастся бесконечно, идти против правды не удастся бесконечно. Это преступления – над миллионами, и они требуют раскрытия. А хорошо б и задуматься: какое моральное влияние на молодежь имеет укрытие этих преступлений? Это – раз-

вращение новых миллионов. Молодежь растет не глупая, она прекрасно понимает: вот были миллионные преступления, и о них молчат, всё шито-крыто. Так что ж и каждого из нас удерживает принять участие в несправедливостях? Тоже будет шито-крыто.

Мне остаётся сказать, что я не отказываюсь ни от одного слова, ни от одной буквы моего письма Съезду писателей. Я могу закончить теми же словами, как и то письмо (читает):

«Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы – еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть» – смерть! а не только исключение из Союза. «Но может быть многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни? Это еще ни разу не украсило нашей истории».

Что ж, голосуйте, за вами большинство. Но помните: история литературы еще будет интересоваться нашим сегодняшним заседанием.

Матушкин – У меня вопрос к Солженицыну. Чем вы объясните, что вас так охотно печатают на Западе?

Солженицын – А чем вы объясните, что меня так упорно не хотят печатать на родине?

Матушкин – Нет, вы мне ответьте, вопрос к вам.

Солженицын – Я уже отвечал и отвечал. У меня вопросов больше и поставлены они раньше, пусть Секретариат ответит на мои.

Кожевников (останавливая Матушкина) – Ладно, не надо. Товарищи, я не хочу вмешиваться в ваше собрание и в ваше решение, вы совершенно независимы. Но я хотел возразить против (голос с металлом) того политического резонанса, который Солженицын хочет навязать нам. Мы берем один вопрос, а он берет другой. В его распоряжении все газеты, чтобы ответить загранице, а он ими не пользуется. Он не желает ответить нашим врагам. Он не желает дать отповедь загранице и не ссылаясь на Некрасова и

Толстого, а своими словами ответить нашим врагам. Съезд отверг ваше письмо как ненужное, как идейно неправильное. Вы в том письме отрицаете руководящую роль партии, а мы на этом стоим, на руководящей роли партии! И я думаю, что правильно здесь говорили ваши бывшие товарищи по перу. Мы не можем мириться! Мы должны идти все в ногу, спаянно, стройно, все заодно – но не под кнутом каким-то, а по своему сознанию!

Франц **Таурин** – Теперь этим делом придется заниматься Секретариату РСФСР. Это правильно, что главная суть не в рецензировании рукописей, не в ведении литературных кружков. Главное, что вы, т. Солженицын, не дали отпора использованию вашего имени на Западе. Это можно отчасти объяснить и несправедливостями, допущенными к вам, накопившимися обидами. Но иногда надо поставить судьбу Родины выше своей собственной судьбы. Поймите, никто не хочет поставить вас на колени. Это заседание – попытка помочь вам распрямиться от всего, что на вас навешали с Запада. Там изображается так, что вы, с присущим вам талантом, выступаете против своей родины. Может быть, в этой борьбе допускаются и передержки, но я знаком со стенограммами заседания Секретариата. Секретари, а особенно товарищ Федин просто по-стариковски просили вас: уступите, дайте публичный отпор западной шумихе. В этом двойной вред: чернят нас как страну и вырывают у нас талантливого писателя. Любое решение, которое сегодня будет принято, будет обсуждено в Секретариате РСФСР.

Левченко (встает читать отпечатанный заранее на машинке проект решения. Читает.)

...«Пункт 2-й. Собрание считает, что поведение Солженицына носит антиобщественный характер, в корне противоречащий целям и задачам Союза писателей СССР.

За антиобщественное поведение, противоречащее целям и задачам Союза писателей СССР, за грубое нарушение основных положений устава СП СССР, исключить литератора Солженицына из членов Союза писателей СССР.

Просим Секретариат утвердить это решение».

Маркин – Хотелось бы знать мнение нашего секретаря т. Сафонова. Он – информирован или нет?

Баранов – Он болен. Собрание наше правомочно.

Голосуют. За резолюцию – пятеро, против – один (я).

12

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Секретариату Союза Писателей РСФСР

Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов – добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что *решение* предшествовало «обсуждению». Опасались ли вы, что придется и мне выделить десять минут? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! – ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! – вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это – не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжело-больному обществу вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держать и не пущать!»

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие – а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы вместе взятые. А готовятся на нее административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают? Раз *инстанции* решили тебя не печатать –

задавись, удушись, не существуй! никому не давай читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева – фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно – теперь же виноватого в том, что заступается за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил **тайну кабинета**. А зачем ведете вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всем знать и судить открыто?

«Враги услышат» – вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» – удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что б вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала **ненависть**, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества – и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики – и все мы превратимся в тонущее человечество – и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую борьбу»? Уж не говорю – когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Всё-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим – это человечество. А человечество отделилось от животного мира – *мыслью* и *речью*. И они естественно должны быть *свободными*. А если их сковать – мы возвращаемся в животных.

Гласность, честная и полная **гласность** – вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности – тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности – тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

А. Солженицын

12 ноября 1969

13

ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ

Вот как мы живём: безо всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача, врачи заявляют, что он – помешанный, майор милиции кричит: «Мы – органы насилия! Встать!», крутят ему руки и везут в сумасшедший дом.

Это может случиться завтра с любым из нас, а вот произошло с Жоресом Медведевым – учёным-генетиком и публицистом, человеком гибкого, точного, блестящего интеллекта и доброй души (лично знаю его бескорыстную помощь беззвестным погибающим и больным). Именно *разнообразие* его дарований вменено ему в ненормальность: «раздвоение личности»! Именно отзывчивость его на несправедливость, на глупость и оказались болезненным отклонением: «плохая адаптация к социальной среде»! Раз думаешь не так, как *положено* – значит, ты ненормальный! А адаптированные – должны думать все одинаково. И управы нет – даже хлопоты наших лучших ученых и писателей отбиваются, как от стенки горох.

Да если б это был первый случай! Но она в моду входит, кривая расправа без поиска вины, когда стыдно причину назвать. Одни пострадавшие известны широко, много более – неизвестных. Угодливые психиатры, клятвопреступники, квалифицируют как «душевную болезнь» и внимание к общественным проблемам, и избыточную горячность, и избыточное хладнокровие, и слишком яркие способности, и избыток их.

А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удержать. Ведь Чаадаева в свое время не тронули пальцем – и то мы клянем палачей второе столетие. Пора бы разглядеть: захват свободомыслящих в сумасшедшие дома есть **духовное убийство**, это вариант **газовой**

камеры, и даже более жестокий: мучения убиваемых злей и протяжней. Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся **никогда**, и **все** причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно.

И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людоеда!

Это – куцый расчёт, что можно жить, постоянно опираясь только на силу, постоянно пренебрегая возражениями совести.

А. Солженицын

15 июня 1970

14

Секретарю ЦК КПСС
т. М.А. СУСЛОВУ

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ!

Пишу именно Вам, памятуя, что мы с Вами были познакомлены в декабре 1962 г. и Вы тогда отнеслись к моей работе с пониманием.

Прошу Вас рассмотреть лично и сообщить другим членам государственного руководства следующее мое предложение.

Я предлагаю пересмотреть ситуацию, созданную вокруг меня и моих произведений недобросовестными деятелями из Союза Писателей, дававшими правительству неверную информацию.

Как Вам известно, мне присуждена Нобелевская премия по литературе. В течение 8 недель, оставшихся до её вручения, государственное руководство имеет возможность энергично изменить литературную ситуацию со мной и тогда процедура вручения будет происходить в обстановке, несравненно более благоприятной, чем сложилась сейчас. По малости оставшегося времени ограничиваю своё предложение минимальными рамками:

1) В кратчайший срок напечатать (при моей личной корректуре) отдельной книгой, значительным тиражом, и выпустить в свободную продажу повесть «Раковый корпус» (Гослитиздату, если ему будет указано, вся эта работа посильна в две-три недели). Запрет этой повести, одобренной московской секцией прозы, принятой «Новым миром», является **чистым недоразумением**.

2) Снять все виды наказаний (исключения студентов из институтов и др.) с лиц, обвиненных в чтении и обсуждении моих книг. Снять запрет с библиотечного пользования еще уцелевшими экземплярами моих прежде

напечатанных рассказов. Дать объявление о подготовке к печати сборника рассказов (не издававшегося ни разу).

Если это будет принято и осуществлено, я могу передать Вам для опубликования мой новый, в этих днях кончаемый, роман **«Август четырнадцатого»**. Эта книга и вовсе не может встретить цензурных затруднений: она представляет детальный военный разбор «самсоновской катастрофы» 1914 г., где самоотверженность и лучшие усилия русских солдат и офицеров были обессмыслены и погублены параличом царского военного командования. Запрет в нашей стране еще и этой книги вызвал бы всеобщее изумление.

Если потребуется личная встреча, беседа, обсуждение – я готов приехать.

Солженицын

14 октября 1970 г.

15

КОРОЛЕВСКОЙ ШВЕДСКОЙ АКАДЕМИИ НОБЕЛЕВСКОМУ ФОНДУ

Многоуважаемые господа!

В телеграмме на имя секретаря Академии я уже выражал и теперь повторно выражаю благодарность за честь, оказанную мне присуждением Нобелевской премии. Внутренне я разделяю ее с теми своими предшественниками в русской литературе, кто по трудным условиям минувших десятилетий не дожил до присуждения такой премии, либо при своей жизни мало был известен читающему миру в переводах и даже своим соотечественникам – в подлинниках.

В той же телеграмме я выразил намерение принять Ваше приглашение приехать в Стокгольм, хотя и представлял ожидающую меня, принятую в нашей стране при всякой заграничной поездке, унизительную процедуру заполнения специальных анкет, получения характеристик от партийных организаций – даже для беспартийного, и инструктажей о поведении.

Однако за минувшие недели враждебное отношение к моей премии, проявленное в отечественной прессе, и по-прежнему преследуемое состояние моих книг (за их чтение увольняют с работы, исключают из институтов) заставляют предположить, что моя поездка в Стокгольм будет использована для того, чтоб отсечь меня от родной земли, попросту преградить мне возврат домой.

С другой стороны, в присланных Вами материалах по распорядку вручения премий я обнаружил, что в нобелевских торжествах много церемонийной праздничной стороны, утомительной для меня, непривычной при моем образе жизни и характере. Деловая же часть – нобелевская лекция, не входит собственно в церемониал. Позже, в телеграмме и письме, Вы высказали сходные опасения по

поводу суеты, могущей сопутствовать моему пребыванию в Стокгольме.

Взвесив всё вышесказанное и пользуясь Вашим любезным разъяснением, что личный приезд на церемонию не является обязательным условием получения премии, я предпочел в настоящее время не подавать ходатайства о поездке в Стокгольм.

Нобелевские диплом и медаль я мог бы, если такая форма окажется для Вас приемлема, получить в Москве от Ваших представителей в обоюдно удобный для Вас и меня срок. Как предусмотрено уставом Нобелевского фонда, в течение полугода от 10 декабря 1970 г. я готов прочесть или представить письменно Нобелевскую лекцию.

Письмо это – открытое, и я не возражаю, если Вы опубликуете его.

С лучшими пожеланиями

А. Солженицын

27 ноября 1970 г.

16

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! ДАМЫ И ГОСПОДА!

Я надеюсь, мое невольное отсутствие не омрачит полноты сегодняшнего церемониала. В череде коротких приветственных слов ожидается и мое. Еще менее я хотел бы, чтобы мое слово омрачило торжество. Однако не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днем Прав человека. Нобелевским лауреатам нельзя не ощутить ответственности перед этим совпадением. Всем собравшимся в стокгольмской ратуше нельзя не увидеть здесь символа. Так, за этим пиршественным столом не забудем, что сегодня политзаключенные держат голодовку в отстаивании своих умалённых или вовсе растоптанных прав.

А. Солженицын

10 декабря 1970

17

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

министру госбезопасности СССР Андропову

Многие годы я молча сносил беззакония Ваших сотрудников: перлюстрацию всей моей переписки, изъятие половины ее, розыск моих корреспондентов, служебные и административные преследования их, шпионство вокруг моего дома, слежку за посетителями, подслушивание телефонных разговоров, сверление потолков, установку звукозаписывающей аппаратуры в городской квартире и на садовом участке и настойчивую клеветническую кампанию против меня с лекторских трибун, когда они предоставляются сотрудникам Вашего министерства.

Но после вчерашнего налёта я больше молчать не буду. Мой садовый домик (село Рождество, Наро-Фоминский район) пустовал, обо мне был расчёт у подслушивателей, что я в отъезде. Я же, по внезапной болезни вернувшись в Москву, попросил моего друга Александра Горлова съездить на садовый участок за автомобильной деталью. Но замка на домике не оказалось, а изнутри доносились голоса. Горлов вступил внутрь и потребовал от налётчиков документы. В маленьком строении, где еле повернуться трем-четырем, оказалось их до десятка, в штатском. По команде старшего: «В лес его! И заставьте молчать!» – Горлова скрутили, свалили, лицом о землю поволокли в лес и стали жестоко избивать. Другие же тем временем поспешно бежали кружным путём, через кусты, унося к своим автомобилям свертки, бумаги, предметы (может быть – и часть своей привезенной аппаратуры). Однако Горлов энергично сопротивлялся и кричал, созывая свидетелей. На его крик сбежались соседи с других участков, преградили налётчикам путь к шоссе и потребовали документы. Тогда один из налётчиков предъявил красную

книжечку удостоверения, и соседи расступились. Горлова же с изуродованным лицом, изорванным костюмом повели к машине. «Хороши же ваши методы!» – сказал он сопровождающим. «Мы – на *операции*, а на операции нам всё позволено.»

По предъявленному соседям документу – капитан, а по личному заявлению – Иванов сперва повез Горлова в наро-фоминскую милицию, где местные чины почтительно приветствовали «Иванова». Там «Иванов» потребовал с Горлова же (!!) объяснительную записку о происшедшем. Хотя и сильно избитый, Горлов изложил письменно цель своего приезда и все обстоятельства. После этого старший налётчик потребовал с Горлова подписку **о неразглашении**. Горлов наотрез отказался. Тогда поехали в Москву, и в пути старший налётчик внушал Горлову в следующих буквальных фразах: «Если только Солженицын узнает, что произошло на даче, считайте, что ваше дело кончено. Ваша служебная карьера (Горлов – кандидат технических наук, представил к защите докторскую диссертацию, работает в институте **Гипротис** Госстроя СССР) дальше не пойдёт, никакой диссертации вам не защитить. Это отразится на вашей семье, на детях, а если понадобится – мы вас **посадим**.»

Знающие нашу жизнь знают полную осуществимость этих угроз. Но Горлов не уступил им, подписку дать отказался, и теперь над ним нависает расправа.

Я требую от Вас, гражданин министр, публичного поименования всех налётчиков, уголовного наказания их и публичного же объяснения этого события. В противном случае мне остаётся считать их направителем – Вас.

А. Солженицын

13 августа 1971 г.

18

Председателю Совета Министров СССР

А.Н. КОСЫГИНУ

Препровождаю Вам копию моего письма министру госбезопасности. За все перечисленные беззакония я считаю его ответственным лично. Если правительство СССР не разделяет этих действий министра Андропова, я жду расследования.

А. Солженицын

13 августа 1971 г.

19

Есть много способов убить поэта.

Для Твардовского было избрано: отнять его детище – его страсть – его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырем, – только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! – и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода, через полгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор – до последнего часа в сознании. В страдании.

Третий день. Над гробом портрет, где покойному близ сорока и желанно-горькими тяготами журнала еще не бороздён лоб, и во всё сиянье – та детски-озарённая доверчивость, которую пронёс он черезо всю жизнь, и даже к обреченному она возвращалась к нему.

Под лучшую музыку несут венки, несут венки... «От советских воинов»... Достойно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного «Тёркина» от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на «Новый мир». И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос.

А вот вся нечётная дюжина *Секретариата* вывалила на сцену. В почётном карауле те самые мёртво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. Это давно у нас так, это – с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт. И расторопно распоряжаются телом, вывёртываются в бойких речах.

Обстали гроб каменной группой и думают – отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают – победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчёт непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие – вы еще как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгребать, чтобы Трифоныча вернуть. Да поздно.

А. Солженицын

к девятому дню

(27 декабря 1971)

20

Москва, 22 октября 1971

ШВЕДСКАЯ АКАДЕМИЯ, г. КАРЛУ РАГНАРУ ГИРОВУ
НОБЕЛЕВСКИЙ ФОНД, г. НИЛЬСУ К. СТОЛЕ

Многоуважаемые господа!

Получил Ваше «Сообщение для прессы» от 7.10.71, благодарю.

Действительно, в прошлом году посол г. Ярринг в числе других вариантов предлагал передать мне Нобелевский диплом и медаль в шведском посольстве в Москве. Уже поняв к моменту нашей с ним беседы, что я не смогу выехать в Стокгольм, я хотел принять именно этот предложенный мне вариант, понимая так, что вручение будет происходить открыто, при каком-то числе собравшихся, и я смогу прочесть перед ними свою Нобелевскую лекцию. Однако посол Ярринг категорически возразил мне, что вручение может быть только конфиденциальным, «вот как сейчас, в кабинете».

Согласиться на такое предложение мне казалось унизительным для самой Нобелевской премии; как будто она есть что-то порочное, что надо скрывать от людей. Как я понимаю, вручение Нобелевских премий потому и происходит публично, что церемония эта содержит общественный смысл.

Когда я писал Вам 27.11.70, что готов принять Нобелевские знаки и в Москве, я подразумевал именно такое естественное истолкование.

С тех пор ни мое положение, ни моя точка зрения не изменились. И в нынешнем году, как и в прошлом, я готов получить Нобелевские знаки в Москве, но, разумеется, не конфиденциально. Если же, как и в прошлом году,

такое вручение будет сочтено нежелательным или неудобным, я вновь буду просить Вас оставить мои Нобелевские знаки для дальнейшего хранения в Нобелевском Фонде, тем более, что это не противоречит Вашим правилам, как я узнал из присланного Вами коммюнике.

В этом случае я вместе с Вами буду сохранять терпеливую надежду, что в каком-то году обстоятельства станут, наконец, благоприятны для моего участия в традиционной Нобелевской церемонии в Стокгольме.

Лично Вам обоим я приношу свои глубокие извинения, что невольно послужил причиной излишних беспокойств и забот, которых Вы не испытывали с большинством моих предшественников.

С самыми теплыми пожеланиями

А. Солженицын

Стокгольм, 22 ноября 1971 г.

Дорогой господин Солженицын,

Нильс Столе и я встретились теперь с Гуннаром Яррингом. Наша беседа ни к чему новому не привела, но мы едва ли и ожидали положительных результатов. Приходится констатировать, что в посольстве нет подходящего помещения для публичной лекции и что Академия в данное время лишена возможности устроить такое помещение в другом месте в Москве. Нам придется вооружиться терпением, как Вы пишете, в надежде, что обстоятельства позволят нам позже осуществить желания, от которых сейчас приходится отказаться. Знаки почета все еще остаются здесь. Но я, естественно, всегда готов поехать в Москву, чтобы передать Вам в достойных формах Нобелевский диплом и медаль в посольстве или другом, удобном для Вас месте, по мере возможности. В этом случае я может быть мог бы взять с собой копию Вашей лекции, чтобы она могла быть опубликована в Les Prix Nobel в ожидании случая, когда Вы могли бы сами прочитать ее. Это только предложение, о котором я хотел упомянуть.

С самыми искренними пожеланиями

Ваш

К.Р. Гиров

21

Москва, 4 декабря 1971

ГОСПОДИНУ КАРЛУ РАГНАРУ ГИРОВУ,
КОРОЛЕВСКАЯ ШВЕДСКАЯ АКАДЕМИЯ,
СТОКГОЛЬМ

Дорогой господин Гиров!

Четыре последних Ваших письма (от 7 и 14 октября, 9 и 22 ноября) всё более проясняют, посильно ли вручить мне Нобелевские знаки в Москве, в достойной, как Вы пишете, обстановке.

Скажу прежде всего: хотя помехи как будто упрочиваются, а бодрость ослабевает, я высоко и даже сердечно ценю высказанное Вами непреклонное намерение приехать в Москву лично, во всякое время и при любых обстоятельствах, для того, чтоб это вручение состоялось. Я искренне благодарен Вам за это решение и, откровенно говоря, считаю, что оно как луч проходит сквозь эту препятственную ситуацию.

Итак, после всех запросов, газетных статей, коммюнике для прессы, ответов шведского МИД и даже личных разъяснений Вашего премьер-министра, нас возвращают к тому, что безо всяких усилий великодушно предлагал мне г. Ярринг еще год назад: тайное безгласное вручение Нобелевских знаков в его закрытом кабинете.

По пословице, из большой тучи да малая капля...

А вся досадность оказывается в том, что шведское посольство в Москве просто не имеет **помещения** для любой иной процедуры. (И от этого бедствия, может быть, даже никогда не проводит приёмов?)

Закрадывается: а нет ли здесь семантического недоразумения? Не понимает ли господин посол Ярринг и стоящая

над ним администрация под «публичностью», «гласностью» процедуры – непременно «массовость» её? – уж если не с глазу на глаз, так только при тысяче человек? Для того, действительно, помещения нет. Но в кабинете самого господина Ярринга – неужели не расставить стульев на 30 человек? И *если* эти гости будут приглашены Вами и мною, – то вот, по-моему и вполне достойная публичная обстановка для чтения Нобелевской лекции. Таково самое простое решение.

Увы, увы, боюсь, что не поверхностная семантика разлучает нас и владельцев помещений, но неожиданная разность в понимании того, где проходят границы *культуры*. По делам культуры шведское посольство имеет в своем составе атташе и, стало быть, обнимает своим ведением всевозможные культурные вопросы, акты, события, – но вот рассматривает ли оно вручение Нобелевской премии (к сожалению, на этот раз мне) как явление культурной жизни, соединяющее наши народы? А если нет, а скорее даже как предосудительную тень, грозящую омрачить посольскую деятельность, – то ведь тогда и при самом просторном помещении, господин Гиров, для нашей с Вами процедуры места никак не найти.

Но тут я с утешением вспоминаю Ваши слова, что Шведская Академия и Нобелевский Фонд в своей деятельности и в своих решениях независимы и неприкосновенны, и этому факту могла бы нанести даже и ущерб официальная церемония, организованная «как бы» шведским государством.

Очень понимая и разделяя это Ваше чувство, с другой же стороны не зная в Москве такой общественной или кооперативной организации, которая согласилась бы предоставить нам помещение для искомой цели, я осмелюсь предложить Вам иной вариант: совершить всю церемонию в Москве на частной квартире, а именно – по адресу, по которому Вы посылаете мне письма. Квартира эта, правда, никак не просторнее шведского посольства, но 40-50 человек разместятся, по русским понятиям, вполне свободно.

Церемония может несколько потерять в официальности, зато выиграть в домашней теплоте. И зато, вообразите, господин Гиров, какой душевный груз мы при этом снимем и с господина шведского посла и даже со шведского министерства Иностранных дел?!

Я не знаю Нобелевских анналов, но предполагаю, что уже и в прошлом мог быть случай, когда нобелевский лауреат оказывался прикован к месту – ну, например, болезнью – и представитель Фонда или Академии выезжал и вручал ему премию прямо на дому?

А если все варианты окажутся нам с Вами прегражденными? Что ж, тогда подчинимся судьбе: пусть мои Нобелевские знаки продолжают и дальше храниться в Нобелевском Фонде, они ведь нисколько от того не обесцениваются. И когда-нибудь, даже после моей смерти, Ваши преемники с пониманием вручат эти знаки моему сыну?

Однако, уже переждавшая год, старится Нобелевская лекция по литературе за 1970 год. Как нам быть с ней?..

В этом письме, господин Гиров, я допустил несколько шутливый тон – лишь для того, что так легче одолеваются неприятные затруднения. Но Вы почувствуете, что этот тон нигде не отнёсся лично к Вам. Ваше решение благородно, находится на пределе Ваших возможностей, и я снова тепло благодарю Вас за него.

Передайте мои самые добрые пожелания господину Нильсу Столе, который, как я понял, вполне разделяет Ваши взгляды и оценки.

Всё же веря, что нам с Вами не закрыто в жизни и встретиться,

крепко жму Вашу руку.

Искренне Ваш

А. Солженицын

22

ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
газетам «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост»

Москва, 30 марта 1972

(Над чем сейчас работает.)

«Октябрь Шестнадцатого», это второй Узел той же книги.

(Скоро ли кончит.)

Нет. В ходе работы выяснилось, что этот Узел сложнее, чем я предполагал. Приходится охватить историю общественных и духовных течений с конца XIX века, ибо они впечатлелись в персонажей. Без предшествующих событий не понять и людей.

(Не опасается ли, углубясь в детальную историю России, удалиться от тем общечеловеческих и вневременных.)

Мне кажется, наоборот: тут многое выясняется общее и даже вневременное.

(Много ли материалов приходится изучать.)

Очень много. И эта работа с одной стороны для меня малопривычна, ибо до последнего времени я занимался только современностью и писал из своего живого опыта. А с другой стороны так много внешних враждебных обстоятельств, что гораздо легче было никому не известному студенту в провинциальном Ростове в 1937-38 годах собирать материалы по Самсоновской катастрофе (еще не зная,

что и мне суждено пройти по тем же местам, но только не нас будут окружать, а – мы). И хотя хибарка, где мы жили с мамой, уничтожена бомбой в 42-м году, сгорели все наши вещи, книги, бумаги – эти две тетрадочки чудом сохранились, и когда я вернулся из ссылки, мне передали их. Теперь я их использовал.

Да, тогда мне не ставили специальных преград. А сейчас... Вам, западным людям, нельзя вообразить моего положения. Я живу у себя на родине, пишу роман о России, но материалы к нему мне труднее собирать, чем если бы я писал о Полинезии. Для очередного Узла мне нужно побывать в некоторых исторических помещениях, но там – учреждения, и власти не дают мне пропуска. Мне преграждён доступ к центральным и областным архивам. Мне нужно объезжать места событий, вести расспросы стариков – последних умирающих свидетелей, но для того нужны одобрение и помощь местных властей, которых мне не получить. А без них – все замкнутся, из подозрительности никто рассказывать не будет, да и самого меня без мандата на каждом шагу будут задерживать. Это уже проверено.

(Могут ли это делать другие – помощники, секретарь.)

Не могут. Во-первых, как не-член Союза писателей я не имею права на секретаря или помощника. Во-вторых, такой секретарь, представляющий мои интересы, так же был бы стеснен и ограничен, как и я. А в-третьих, мне просто было бы нечем платить секретарю. Ведь после гонораров за «Ивана Денисовича» у меня не было существенных заработков, только еще деньги, оставленные мне покойным К.И. Чуковским, теперь и они подходят к концу. На первые я жил шесть лет, на вторые – три года. Мне удалось это потому, что я ограничил свои расходы на прежнем уровне, как в преподавательское время. На самого себя я никогда не трачу больше, чем надо было бы платить секретарю.

(Нельзя ли брать деньги с Запада.)

Я составил завещание, и когда создастся возможность осуществлять его – все гонорары будут направлены моим адвокатом для общественного использования у меня на родине. (Чистосердечная, никогда не лгущая «Литературная газета» так и напечатала: «он дал подробные указания, как следует распорядиться гонорарами», а что для общественного использования на родине – попало у нее в невинное сокращение.) Сам же я буду пользоваться лишь Нобелевской премией. Однако получение и этих денег сделали мне унизительным, трудным и неопределённым. Министерство внешней торговли объявило мне, что на каждую приходящую сумму потребуется специальное решение коллегии: выплачивать ли мне ее вообще, в каком виде, сколько процентов.

(Как же всё-таки удаётся собирать материалы.)

Тут опять особенность нашей жизни, которую западному человеку, вероятно, трудно понять. Насколько я представляю, может быть тоже неверно, на Западе установилось, что каждый труд должен быть оплачен, и малопринято делать работу бесплатно. А у нас например тот же Самиздат на чём и держится, как не на бесплатности? Люди тратят свой труд, свободное время, сидят ночами над работой, за которую могут попасть только под преследования.

Так и со мной. О моей работе, моей теме широко известно в обществе, даже и за пределами Москвы, и доброхоты, часто мне незнакомые, шлют мне, передают, разумеется не по почте, а то бы не дошло – разные книги, даже редчайшие, свои воспоминания и т.д. Иногда это бывает впопад и очень ценно, иногда невпопад, но всегда трогает и укрепляет во мне живое ощущение, что я работаю для России, а Россия помогает мне. И иначе. Часто я сам прошу знающих людей, специалистов – о консультациях, порой очень сложных, о выборке материалов, которая

требует времени и труда, и не только никто никогда не спрашивал вознаграждения, но все наперебой рады помочь.

А ведь это бывает еще и очень опасно. Вокруг меня и моей семьи создана как бы запретная, заражённая зона. И посегодня в Рязани остались люди, уволенные с работы за посещение моего дома несколько лет назад. Директор московского института членкор Т. Тимофеев, едва узнав, что работающий у него математик – моя жена, так перетрусил, что с непристойной поспешностью вынудил ее увольнение, хотя это было почти тотчас после родов и вопреки всякому закону. Семья совершила вполне законный квартирный обмен, пока не было известно, что эта семья – моя. Едва узналось – несколько чиновников в Моссовете были наказаны: как они допустили, что Солженицын, хотя не сам, но его сын-младенец, прописан в центре Москвы?

Так что мой консультант иногда встретится со мной, поконсультирует час или два – и тут же за ним начинается плотная слежка, как за государственным преступником, выясняют личность. А то и дальше следят: с кем встречается уже этот человек.

Впрочем, не всегда так. У госбезопасности свой график, свои глубокие соображения. Иные дни внешнего наблюдения нет или только простейшее. Иные – как обвисают, например, перед приездом Генриха Бёлля. Поставят у двух ворот по машине, в каждой сидят по трое, да и смена ведь не одна, и вослед моим посетителям едут, так и гоняются за пешеходами. Если вспомнить, что круглосуточно подслушиваются телефонные и комнатные разговоры, анализируются магнитные плёнки, вся переписка, а в каких-то просторных помещениях все полученные данные собирают, сопоставляют, да чины не низкие, – то надо удивляться, сколько бездельников в расцвете лет и сил, которые могли бы заниматься производительным трудом на пользу отечества, заняты моими знакомыми и мною, придумывают себе врагов. А еще кто-то роется в моей биографии, кто-то посылает агентов заграницу, чтобы внести

хаос в издание моих книг. Кто-то составляет и регулирует общий план удушения меня. План этот еше не принёс успеха и потому несколько раз перестраивался на ходу. Но развитие его за минувшие годы можно проследить по стадиям.

Удушить меня решили с 1965 года, когда арестовали мой архив и ужаснулись моим произведениям лагерных лет – как будто они могли не нести на себе печати обречённых навек людей! Если б это были сталинские годы, то ничего проще: исчез и всё, и никто не спросит. А после XX и XXII съездов сложней.

Сперва решили *замолчать* меня. Нигде ни строчки не появится, никто не упомянет даже бранно, и через несколько лет меня забудут. Тогда и убрать. Но уже шла эпоха Самиздата, и мои книги растекались по стране, потом уходили и заграницу. Замолчать – не вышло.

Тогда-то против меня начали (и по сегодня не кончили) *клевеету с закрытых трибун*.

Этого тоже западному человеку почти и представить нельзя. Существует по всей стране устоявшаяся сеть партийного и общественного просвещения и лекционная сеть. Нет такого учреждения или воинской части, районного центра или совхоза, где бы по определённому расписанию не выступали лекторы и пропагандисты, и все они, во всех местах, в одно и то же время говорят одно и то же, полученное по инструкциям из одного центра. Бывают и некоторые варианты – столичные, областные, армейские, академические и т.д. Благодаря тому, что допускаются только свои сотрудники или живущие в данном районе, такие лекции фактически носят закрытый характер, или прямо закрытый. Иногда так и командуют, даже научным работникам: уберите записные книжки и авторучки. В эту сеть можно заложить любую информацию, любой лозунг. С 1966 года дали команду говорить обо мне: сперва, что я сидел при Сталине *за дело*, что я реабилитирован неверно, что произведения мои преступны и т.д. Причем сами лекторы сроду не читали тех произведений, потому что

боялись дать и им, но им велено было так говорить.

Система, замысел в том, что читают только своим сотрудникам. Снаружи – тишь и благодать, никакой травли, а по стране разливается клевета и неотразимая: не поедешь во все города, не пустят в закрытые аудитории, лекторов этих тысячи, возражать некому, а клевета завладевает умами.

(Как это становится известно.)

А – эпоха новая, эпоха другая. И из провинции и по Москве очень много ко мне стекается. Время такое, что на всех этих лекциях, даже самых закрытых, везде сидят мои доброжелатели и потом разными путями мне передают: такого-то числа в такой-то аудитории лектор по фамилии такой-то говорил о вас такую-то ложь и гадость. Самое яркое я записываю, может когда-нибудь и пригодится, какому-то из этих лекторов и предъявить. Может быть, наступит в нашей стране и такое время, когда они за это персонально ответят по суду.

(Почему слушатели не возражают тут же, если видят искажение.)

О, это у нас невозможно и сегодня. Встать и возразить партийному пропагандисту никто не смеет, завтра прощайся с работой, а то и со свободой. Бывали и такие случаи, что по мне, как по лакмусу, проводили проверку лояльности при отборе в аспирантуру или на льготную должность: «Читали Солженицына? Как к нему относитесь?» – и от ответа зависит судьба претендента.

Говорят на этих лекциях много и пустяков. Одно время перемалывали мою семейную историю, нисколько не зная сути ее, а – на самом кухонном уровне. Представьте, какая у нас занятость и за что платят зарплату, если не бабы базарные, но штатные пропагандисты в сети *просвещения* обсуждают с трибун чью-то женитьбу, рождение и крещение сына. Одно время очень охотно обыгрывали

моё отчество «Исаевич». Говорили, так вроде небрежно: «Между прочим, его настоящая фамилия Солжени*цер* или Солжени*цкер,* но это конечно в нашей стране не имеет значения».

А по-серьёзному была взята установка, к чему легко склоняется ухо слушателей: *изменник родине*. У нас вообще для травли приняты никогда не аргументы, но самые примитивные ярлыки, грубейшие клички, наиболее простые, чтобы вызвать, как говорится, «ярость масс». В 20-е годы это был «контрреволюционер», в 30-е – «враг народа», с 40-х – «изменник родине». Ах, как листали мои военные документы, как искали, не был ли я хоть два денечка в плену, как Иван Денисович, – вот была бы находка! Но впрочем, с закрытых трибун можно плести доверчивой публике любую ложь. И понесли – годами, *годами*, по всем близким и отдалённым аудиториям, по всей стране: Солженицын добровольно сдался немцам в плен! Нет, целую батарею сдал! После этого служил у оккупантов полицаем! Нет, был власовцем! Нет, прямо служил в Гестапо!.. Снаружи – тихо, никакой травли, а под коркой – уже опухоль клеветы. Как-то проводил «Новый мир» чиатательскую конференцию в Новосибирске – прислали Твардовскому записку: «Как вы могли допустить, что в Вашем журнале печатался сотрудник гестапо?» Таким образом, общественное мнение по всей стране было вполне подготовлено к любой расправе надо мной. А всё-таки – эпоха не та, и раздавить без гласности...

Правда, пришлось публично признаться, что я был боевой офицер, что моя боевая служба безупречна. Туман повисел-повисел без дождя и стал рассеиваться.

Тогда началась новая кампания обвинений, что я сам передал «Раковый корпус» на запад. С закрытых трибун чего только ни врали: как на границе (неизвестно, где) задержали знакомого моего знакомого (имен – никаких), а у него в чемодане двойное дно, а там-то – мои произведения (названий никаких). И эту дребедень серьёзно внушали всей провинции, и люди ужасались, какой я злодей,

опять-таки изменник родине. – Потом с исключением из Союза писателей открыто мне намекали, чтоб я убирался из страны – под ту же «измену родине» подводя. Потом – вокруг Нобелевской премии. Со всех трибун заладили: **Нобелевская премия – иудина плата за предательство своей родины.** И сейчас повторяют, не стесняясь, что могут бросить тень, например, на Пабло Неруду. Незапасливо оскорбляют всех нобелевских лауреатов и сам институт Нобелевских премий.

(Но ведь «Август Четырнадцатого» передал заграницу сам – и это действие не инкриминируют.)

Пока хватает ума не инкриминировать. Но честная «Литературная газета» и здесь допускает сокращение, невинное, как все ее «сокращения»: «Солженицын *сразу* передал рукопись своего романа заграницу», – о, не ложь! упущено самое маленькое: *после того как предложил семи советским издательствам* – «Художественной литературе», «Советскому писателю», «Молодой гвардии» и разным журналам, *не хотят ли они хоть прочесть*, хоть полистать мой роман – и *ни одно не изъявило желания* даже взять его в руки. Как сговорились. Ни одно не ответило на мое письмо, ни одно не попросило рукописи.

Однако, появление «Августа» надоумило моих преследователей о новом пути. Дело в том, что в этом романе я подробно рассказал о материнской и отцовской линиях. Хотя моих родственников знали многие ныне живущие друзья и знакомые, но, как ни смешно, всеведущая госбезопасность только из этого романа и узнала. Тут они и бросились «по следу» с целью скомпрометировать меня – по советским меркам. Усилия их при этом раздвоились. Сперва ожила опять *расовая* линия. Верней, еврейская. Специальный майор госбезопасности по фамилии Благовидов кинулся проверять личные дела всех Исаакиев в архивах Московского университета за 1914 г. в надежде

доказать, что я – еврей. Это дало бы соблазнительную возможность «объяснить» мою литературную позицию. Ведь с появлением исторического романа задача тех, кто травит меня – сложнеет: мало опорочить самого автора, еще надо подорвать доверие к его взглядам на русскую историю – уже высказанным и возможным будущим.

Увы, расовые исследования сорвались: оказался я русский.

Тогда сменили расовую линию на *классовую*, для чего поехали к старой тетке, сплели статью из ее рассказов и поручили бульварному «Штерну» напечатать.

Главный редактор «Штерна» теперь настаивает, что именно его корреспондент был у моей тетушки в сентябре, после Ливадии. Но всё врёт. Приехали в *августе*, а не в сентябре трое советских граждан, прекрасно говоривших по-русски (а Штейнер, кажется, и не говорит) и были у тетушки пять раз, не торопились. Очень восхищались ее собственной биографией, попросили у нее записки почитать на несколько часов – и больше не вернулись, украли. Наружностей их она, почти слепая, не видела, но по ухватке, по психологической окраске – характер диккенсовского Иова Троттера, гости были из компании Виктора Луя, да не исключу, что и сам он. Связь «Штерна» с Виктором Луем давно хорошо известна. Например, когда Луй приезжал ко мне оправдываться, будто не он продал «Раковый корпус» на запад, – детали нашего с ним разговора и его воровские фотографии (телеобъективом из кустов) появились именно в «Штерне», уже не за его подписью. Даже на моем малом опыте я заметил, что «Штерн» имеет особые льготы в нашей стране, ему доступны такие телефоны и адреса, которые можно получить лишь от тех, кто подслушивает мои телефонные разговоры и перлюстрирует мои письма. Едва появилась статья в «Штерне», как секретарь Союза писателей Верченко сказал на партсобрании: **«Это тот источник, которому мы имеем все основания верить»**. Публикация в «Штерне» руководится из того же центра, откуда и пиратские издания

Флегона и Ланген-Мюллера, которыми хотели подорвать систему международной защиты моих книг.

(Есть мнение, что у Ланген-Мюллера неплохой перевод.)

Я уверен, что перевод нивеллирован, то-есть срезан языково̀й рельеф. У меня там часто эллиптический синтаксис, то есть, с пропусками как будто даже необходимых слов, это очень трудно для иностранца, да еще за 4 месяца? Может быть, их там коллектив переводчиков сидел, денег ведь не жалели? Но от коллектива перевод не станет лучше.

(Издатель Фляйсснер уверяет, что он получил рукопись еще весной, из Самиздата.)

Такой же лгун. Как мог он получить, если я до июня выпустил из стола только тот один экземпляр, который пошёл в ИМКА-пресс? Ну, пусть назовёт, *от кого* получил. Это должен быть или очень уж близкий ко мне человек или вор из разряда тех, кто приходит в отсутствие хозяина в его дом с надёжным удостоверением. Фляйсснер хочет неблагородно спрятаться за наш благородный Самиздат. Он делает логическую натяжку: раз предыдущие мои вещи сперва появлялись в Самиздате, значит и в этот раз так. А как раз и не так! Предыдущие вещи я давал читать беспрепятственно. Эту же книгу я хотел сам непременно довести до печатания. Лишь когда книга вышла – лишь тогда я стал давать и рукопись желающим.

Так вот по ухватке штерновской статьи, по шкодливой подсказке, проглядываются знакомые сочинители, особенно там, где решаются судить о природе литературного творчества. Мы узнаём, что Солженицын применил такой *хитрый* литературный приём: перенёс действие в дореволюционное время – для того углубился в людей другой эпохи, прочёл немало военных и исторических трудов,

напрягся изобразить не ту войну, которую сам прошёл, а другую, непохожую, – и всё для того, чтобы на 740-й странице высунуться с одной фразой, которую «Штерн» подсказывает понять в переносном смысле и посадить Солженицына в тюрьму. Точно, как в свое время вожди Союза писателей упрекали меня, что я подробно изучал онкологию, вступил в раковую клинику и раком заболел нарочно, – чтобы подсунуть какой-то символ. Трусливые шкодники лезут судить о природе художественной литературы. Им невозможно в голову вобрать, что человек давно не нуждается в прятках и говорит о современности открыто всё, что думает.

(Насколько достоверны сведения в статье «Штерна».)

Да уж будем говорить без псевдонима – в статье «Литгазеты». Достоверны в том, что уже совпадает с напечатанным моим романом. В остальном есть смехотворный вздор, а есть и очень направленная, продуманная ложь. Только в усердии перебрали. Например, утверждают, что оба моих деда были *помещиками* на Северном Кавказе. «Литературной газете» всё-таки неудобно до такой степени не знать отечественной истории. Кроме нескольких всем известных казачьих генералов, никаких *помещиков*, то есть, дворян-землевладельцев, потомков древней знати, получившей земли за военную службу, на Северном Кавказе вообще никогда не бывало. Все земли принадлежали Терскому и Кубанскому линейным казачьим войскам. Эти земли до самого XX века многие пустовали, не хватало рабочих рук. Крестьяне-поселенцы могли получать в собственность лишь небольшие участки, но казачье войско охотно сдавало в аренду сколько угодно, по баснословно низкой цене.

Деды мои были не казаки, и тот и другой – мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I (газета «Воронеж-

ская коммуна» от 9 марта 1969 г., статья о городе Боброве). А прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустующих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в Ставрополье до революции несколько пар быков и лошадей, десяток коров да двести овец никак не считались богатством. Большая семья и работали все своими руками. И на хуторе стояла простая глинобитная землянка, помню ее. Но для *классовой* линии, чтобы оправдалась Передовая Теория, нужно приврать какой-то банк, приписать ноли к имуществу, придумать 50 батраков, двоюродную сестру-колхозницу вызвать в правление на допрос, а под кисловодским дачным домом Щербаков, где я родился, подписать, что это «деревенское поместье» Солженицыных. И дураку видно, что не станичный дом. Вот такие мы «помещики». Всю эту ложь раздула нечисть еще и для того, чтобы отцу моему, народнику и толстовцу, приписать трусливое самоубийство «из страха перед красными» – не дождавшись желанного первенца и почти не пожив с любимой женой! Суждение пресмыкающегося.

(О матери.)

Она вырастила меня в невероятно тяжелых условиях. Овдовев еще до моего рождения, не вышла замуж второй раз – главным образом опасаясь возможной суровости отчима. Мы жили в Ростове до войны 19 лет – и из них 15 не могли получить комнаты от государства, всё время снимали в каких-то гнилых избушках у частников, за большую плату; а когда и получили комнату, то это была часть перестроенной конюшни. Всегда холодно, дуло, топилось углем, который доставался трудно, вода приносная издали; что такое водопровод в квартире, я вообще узнал лишь недавно. Мама хорошо знала французский и английский, еще изучила стенографию и машинопись, но в учреждения, где хорошо платили, ее никогда не принимали

из-за ее *соц. происхождения*, даже из безобидных, вроде Мельстроя, ее подвергали *чистке*, это значит – увольняли с ограниченными правами на будущее. Это заставляло ее искать сверхурочную вечернюю работу, а домашнюю делать уже ночью, всегда недосыпать. По условиям нашего быта она часто простужалась, заболела туберкулёзом, умерла в 49 лет. Я был тогда на фронте, а на ее могилу попал лишь через 12 лет, после лагеря и ссылки.

(О тете Ирине.)

Раза два-три мама отправляла меня к ней на летние каникулы. Остальное – плод ее воображения, уже затемнённого. Я не жил с ней никогда.

(Что помнит об отце.)

Только фотокарточки, да рассказы матери и знавших его людей. Из университета добровольно пошёл на фронт, служил в Гренадёрской артиллерийской бригаде. Горела огневая позиция – сам растаскивал ящики со снарядами. Три офицерских ордена с первой мировой войны, которые в моё детство считались опасным криминалом, и мы с мамой, помню, закапывали их в землю, опасаясь обыска. Уже весь фронт почти разбежался – батарея, где служил отец, стояла на передовой до самого Брестского мира. Они с мамой и венчались на фронте у бригадного священника. Папа вернулся весной 1918 года и вскоре погиб от несчастного случая и плохой медицинской помощи. Его могила в Георгиевске закатана трактором под стадион.

(О другом деде.)

А дед по матери пришёл из Таврии молодым парнем – пасти овец и батрачить. Начал с голá, потом стал арендовать землю и к старости, действительно, весьма разбогател. Это был человек редкой энергии и трудолюбия. В пятьдесят

своих лет он выдавал стране зерна и шерсти больше, чем многие сегодняшние совхозы, и не меньше тех директоров работал. А с рабочими обращался так, что после революции они старика 12 лет до смерти добровольно кормили. Пусть директор совхоза после снятия попробует своих рабочих попросить.

(Ставится ли сейчас в вину происхождение.)

Конечно, не бушует, как в 20-е–30-е годы, но это «суждение по соцпроисхождению» – оно очень прочно внедрено в сознание и весьма еще живо в нашей стране, ничего не стоит снова раздуть костёр в любую минуту. Да совсем недавно враги Твардовского публично ставили ему в вину так называемое «кулацкое» происхождение. И со мной: если «измена родине» не вышла через плен, так может натянется через *классовую основу*? Так что последние статьи в «Литгазете» при всей их безграмотности и глупости – совсем не простое, бесцельное зубоскальство.

Кстати, Вы замечаете, что «Литгазета», и никогда не спорившая с моими произведениями и взглядами *по существу*, никогда не отважившаяся напечатать обо мне ни одного подлинного критического разбора, хотя бы самого враждебного, ибо тем самым приоткрыла бы часть невыносимой правды, – она в суждениях обо мне как будто и вообще потеряла свой голос, как будто лишилась собственных критиков и авторов. В нападках на меня она всё прячется за перепечатки, за бульварный журнал, за иноземных журналистов, а то даже – эстрадных певцов или жонглёров. Я этой робости не понимаю. Может быть потому, что «с детства вскормленные уксусом, как говорят в Финляндии» становятся же всё-таки и образцовыми соц. реалистами и даже пробираются в руководство Союза писателей и той же «Литгазеты»?..

Так вот, по заданию «Литгазеты» финский журналист Ларни взялся написать и напечатать не у себя в Финляндии, а еще в третьей стране, взялся натянуть зубами стальную

пружину. Смертельный номер. Знаете, как бывает в цирке: выходит дураковатый клоун, все над ним смеются, он лезет куда-нибудь к мастерам, под купол, на проволоку, вдруг виснет на зубах – и весь цирк замирает и видит, что он совсем не клоун, что он пошел на смертельный номер. Ларни *намекает* на какие-то *намёки*, я так могу понять: что в моем романе социал-демократ-пораженец Ленартович высказывает в 1914 г. сочувствие к тому, чтобы Россия потерпела поражение и тогда она перестроится социально. Именно так желали и рассуждали все с-д-пораженцы в отличие от так называемых *социал-патриотов*, то есть с-д-оборонцев, и Ларни, как коммунист, вероятно же это знает – и всё-таки безрассудно натягивает стальную пружину зубами, не понимая, как легко сорваться самому. Он натягивает отсюда, что сам *автор*, то есть я (отнюдь не социал-демократ!) «не прочь видеть немцев победителями» – и уже, кажется, не в 1914, а в 1941 г. («1» и «4» отчего не переставить местами, руки свободны?).

Вот уж чего в моем романе и духа нет – так это пораженчества. А они всё равно натягивают. Любой ценой им нужен газетный плацдарм, чтобы следом печатать «гневные письма трудящихся», как уже бывало не раз. Бессовестное мошенничество прессы, которая не привыкла к поправкам и опровержениям. Ах, как бы нужен им *плен*, как нужна их *литературной критике* справочка из Гестапо... Если так натягивают на глазах у всего цирка, то что ж они чудят с бесконтрольных закрытых трибун!

Конечно, это не последняя ложь, впереди их, наверно, больше, чем позади, против всех лжей не оправдаешься, пусть навешивают. Да может, кто-нибудь и другой ответит вместо меня. Интервью – не дело писателя. Девять лет я воздерживался от интервью и нисколько не жалею.

Вообще, известность – густая помеха, много времени съедает попусту. Еще не тянут меня на заседания, как других, спасибо, исключили. Хорошо мне было работать, когда никто меня не знал, не упражнялся басни обо мне сочинять, не собирал подзаборных сплетен, вроде этих проходимцев Бурга и Файфера.

(В чём состоит **план**.)

План состоит в том, чтобы вытолкнуть меня из жизни или из страны, опрокинуть в кювет, или отправить в Сибирь или чтоб я «растворился в чужеземном тумане», как они прямо и пишут. Какая самоуверенность, что те, кого ласкает цензура, имеют на русскую землю больше прав, чем другие, рождённые на ней же. Вообще во всей этой травле – неразумие и недальновидность тех, кто ее ведёт. Они не хотят знать сложности и богатства истории именно в ее разнообразии. Им лишь бы заткнуть все голоса, которые неприятны их слуху и лишают сегодня покоя, а о будущем они не думают. Так неразумно они уже заглушили «Новый мир» и Твардовского – обеднели от этого, прислепли от этого – и не хотят понять своей потери.

Кстати, недели две назад в «Нью-Йорк Таймс» было напечатано письмо одного советского поэта, Смелякова, где он оспаривает моё поминальное слово о Твардовском.

(О доступности западной прессы.)

Нет, не видим, но иногда сквозь скрежет глушения слышны западные радиостанции. Если что узнаём о своих же событиях, так оттуда.

Этот новый выпад против меня поразителен *по форме*: казалось бы, вся печать в их руках, а ответить мне негде ближе, чем в «Нью-Йорк Таймс»? Вот что значит бояться правды: отвечать мне в советской печати – пришлось бы меня хоть немного цитировать, а это невозможно. А по содержанию: удивительно, что Смеляков спорит, как будто меня не читавши. Я пишу, что задушили «Новый мир» и этим способом убили Твардовского. Смеляков обходит: «у Твардовского были тяжелые минуты». Я пишу, что Твардовский написал о фронте искреннее, чище всех. Смеляков кривит: значит, «Твардовский отрицательно относился к советской армии?» Откуда это? Я написал буквально: «этот мягкий увещательный голос, который

слышали все», Смеляков выворачивает: «Солженицын приписывает Твардовскому свои иллюзии, что в некий день советская власть рухнет и новое поколение построит новую Россию». Перечтите моё поминание, – где там такое?

А там последний абзац действительно полон смысла, да что же делать, если прочесть не хотят, не умеют? Изучение русской истории, которое сегодня уже увело меня в конец прошлого века, показало мне, как дороги для страны **мирные** выходы, как важно, чтобы власть, как ни будь она самодержавна и неограничена, доброжелательно прислушивалась бы к обществу, а общество входило бы в реальное положение власти; как важно, чтобы не **сила** и **насилие** вели бы страну, а **правота**. Очевидно, это изучение и помогло мне увидеть в деятельности Твардовского именно примирительную, согласительную линию. Увы, и самый мягкий увещательный голос тоже нетерпим, затыкают и его. Уж как уступчиво, уж как благожелательно недавно выступали у нас Сахаров, Григоренко – никого даже *не выслушали*, пропадите, заглохните...

В том-то и мелкость, и низменность расчёта тех, кто руководит кампанией против меня. Им искренне не приходит в голову, что писатель, думающий иначе, чем большинство его общества, составляет богатство этого общества, а не позор и порок его.

(9 апреля – Нобелевская церемония.
Где она будет происходить?)

Пока ни шведское посольство, ни наше министерство культуры не согласились способствовать нам. Тоже удивительно до комичности: почему такая сердитость на Нобелевскую премию? Пройдёт сколько-то лет и это же самое событие придётся освещать совсем наоборот, стыдно будет.

(О приглашённых.)

Не знаю, кого пожелает пригласить г. Карл Гиров. С моей же стороны, не говоря о моих близких друзьях – самые видные представители художественной и научной интеллигенции – некоторые писатели, главные режиссёры ведущих театров, крупные музыканты, артисты, некоторые академики. Я пока не назову их, ибо не знаю, все ли они сочтут возможным и захотят придти, какие помехи встретят. Во всяком случае, я приглашаю тех, кого знаю, чьё творчество уважаю, а там – кто придёт.

Еще хотел бы я пригласить на церемонию своего адвоката г. Хееба, но, как частное лицо, не имею официального права приглашать из-за границы.

Кроме того я приглашаю министра культуры СССР и корреспондентов «Сельской жизни» и «Труда» – двух центральных газет, которые пока еще не клеветали на меня.

(Не могут ли быть поставлены препятствия церемонии.)

Теоретически это не исключено, практически это очень легко сделать, не требуется ни много сил, ни много ума. Но я этого не предполагаю, это была бы постыдная дикость.

(А если г. Гирову откажут в визе.)

Тогда церемония не состоится, и знаки мои полежат в Стокгольме еще 10-20 лет.

(Был слух, пока не подтвердившийся, что против писателя Максимова возбуждено уголовное дело за его роман «Семь дней творения».)

Художественная литература – один из самых высоких даров, из самых тонких и совершенных инструментов человека. Возбуждать против нее уголовное дело могут только те, кто сами уголовники, кто уже решился стать за чертой человечества и человеческой природы.

23

Мы с г. Гировым уступили во всём, что только было можно: его поездка намечалась как *частная*, на *частную* квартиру, для совершения церемонии почти по *частному* обряду. Запрет церемонии даже в таком виде есть бесповоротный и окончательный запрет всякой формы вручения мне Нобелевской премии на территории моей страны. Поэтому запоздалая уступка шведского МИД уже нереальна.

Но она и оскорбительна: шведское МИД продолжает упорно рассматривать вручение мне Нобелевской премии не как явление культурной жизни, а как политическое событие, потому и ставит условие, которое привело бы или снова к «закрытому» варианту вручения или к специальному отбору присутствующих и запрету им как-либо выражать свое отношение к происходящему, ибо всё это может быть кем-то истолковано как «политическая демонстрация».

Кроме того, после отказа г. Гирову в визе, принять нобелевские знаки из чьих-либо иных рук, нежели Постоянного Секретаря Шведской Академии, я считал бы унижением и ему и мне.

Наконец, нашими скромными силами уже была произведена вся нелегкая подготовка: были разосланы приглашения, не только по Москве, примерно двадцати писателям, которых я понимаю как цвет и творческую силу нашей сегодняшней литературы, и примерно стольким же артистам, музыкантам, академикам; многие из них из-за этого назначили или отменили свои поездки или репетиции или другие обязанности. Теперь всем этим сорока гостям нанесено оскорбление отказом, разослана отмена приглашения. И они и я достаточно занятые люди, чтобы затевать такую процедуру вторично.

По разъясненным мне правилам Шведской Академии нобелевские знаки могут храниться ею неограниченно долго. Если не хватит моей жизни, я завещаю их получение моему сыну.

А. Солженицын

8.4.1972

24

В КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

Посылаю Вам копии двух дурно-анонимных писем, которые, впрочем, у Вас имеются по службе.

У меня нет досуга вступать с Вами в детективную игру. Если данный сюжет будет иметь продолжение в виде новых эпизодов, я предам публичности как его, так и предыдущие настойчивые приёмы Вашего ведомства в отношении моей частной жизни.

Солженицын

2 июля 1973 г.

25

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Н.А. ЩЁЛОКОВУ

Четыре месяца назад я подал заявление о прописке к семье. После столь долгого размышления в столь бесспорном вопросе теперь мне объявлен **отказ** – милиции и Ваш лично.

Я бы выразил недоумение, какими человеческими или юридическими соображениями можно руководиться, чтобы препятствовать мужу жить с женой, отцу – со своими крохотными сыновьями, если бы не знал хорошо и из долгого опыта, что ни тех, ни других в нашем государственном устройстве просто не существует.

Оскорбительный принудительный «паспортный режим», при котором место жительства избирает не сам человек, а за него начальство, при котором право переехать из города в город, а особенно из деревни в город надо заслужить как милость, – вряд ли существует даже в колониальных странах сегодняшнего мира. Но за 42 года от него уже пострадали и каждый день страдают миллионы моих сограждан. При нынешней широкой дискуссии о свободе эмиграции для тысяч насколько ж разительно бесправие миллионов выбирать местожительство и род деятельности даже в пределах собственной страны! Это бесправие еще усилено законом 1973 года (СовМин, 19 июня): даже временная поездка крестьянина на сезонную работу запрещена без колхозного отпущения.

Я пользуюсь случаем напомнить Вам, однако, что крепостное право в нашей стране упразднено 112 лет тому назад. И, говорят, Октябрьская революция смела его последние остатки.

Стало быть, в частности, и я, как любой гражданин этой страны, – не крепостной, не раб, волен жить там,

где нахожу необходимым, и никакие даже высшие **руководители** не имеют владельческого права отторгнуть меня от моей семьи.

Солженицын

21 августа 1973 г.

26

ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
агентству «Ассошиэйтед Пресс» и газете «Монд»

Москва, 23 августа 1973

Правда ли, что Вы получаете письма с угрозами и требованиями от гангстеров?

Не столько с требованиями, сколько именно с угрозами, – расправиться со мною и с моей семьёй, да. Этим летом такие письма приходили ко мне по почте. Не говоря о просчетах психологических, многие и технические просчёты авторов убедили меня, что эти письма посылали деятели госбезопасности. Тут – и невероятная скорость доставки этих «бандитских» писем – менее, чем за одни сутки, как идут лишь письма важнейших правительственных учреждений (обычная почта ко мне по Москве идет 3-5 суток, а письма сколько-нибудь важные, срочные и полезные мне не доставляются вообще никогда). Тут и – такая спешка, что заклейка конверта производилась после (!) штампа почтового приёма. Тут – и терминологические ошибки. Например, последнее такое письмо от 30 июля:

«Ну, сука, так и не пришел?! Теперь обижайся на **себя**. **ПРАВИЛКУ** СДЕЛАЕМ. ЖДИ!!!»

Иммитируя воровской жаргон, но не зная его достаточно, авторы употребляют слово **прави́лка**, что означает суд и расправу воров над *своим* же виновным или изменившим вором, и никогда над «фраером», то-есть вольным человеком остального презренного мира – те люди по мнению воров недостойны «правилки», их просто убирают.

Такого рода «бандитский» маскарад для сотрудников ГБ не так уж и нов: известны случаи с ненаказуемыми

хулиганами, избивающими на улицах неугодных инакомыслящих, вырывающими портфели у корреспондентов, разбивающими стекла иностранных автомашин. После того как кампания заочной клеветы против меня провалилась, вполне можно было ожидать бандитского маскарада.

А вот случай с уважаемым г. Майклом Скэммелом, редактором «Индекса», после отъезда из СССР он передал мне этот эпизод. На аэродроме в Шереметьево он подвергся трехчасовому обыску, у него были найдены его памятные записи о поездке. Вести такие записи считается по понятиям всечеловеческим – естественным, по советским понятиям – преступным. В связи с этой находкой оказывая на него давление, так называемые «таможенники» предложили ему... купить рукопись о Солженицыне (не называя вперед автора и не показывая рукопись) – и тем уладить инцидент. Скэммел отказался.

Была ли то провокация против Скэммела или готовится очередная против меня, но посудите, каков диапазон госбезопасности: от «гангстеров» и уличных хулиганов – до «таможенников» и литературных маклеров. И спрашивается: если наша госбезопасность защищает самый передовой в мире строй, которому согласно Единственно-Верному Мировоззрению и без того обеспечена всемирно-историческая победа, то зачем такая суета и такие низкие методы?

Зимой 1971-72 г. меня предупредили и даже несколькими каналами (в аппарате ГБ тоже есть люди, измученные своей судьбой), что готовятся меня убить через «автомобильную аварию». Я намекал на это в прошлом интервью.

Но вот особенность или, я бы дерзнул даже сказать, преимущество нашего государственного строя: ни волос не упадет с головы моей или моих семейных без ведома и одобрения госбезопасности – настолько мы наблюдаемы, оплетены слежкой, подсматриванием и подслушиванием. И если бы, например, нынешние гангстеры оказались подлинными, то уже после первого письма они стали бы под полный контроль ГБ. Если например взорвётся письмо,

пришедшее ко мне по почте, то нельзя будет объяснить, каким образом оно прежде того не взорвалось в руках у цензоров. А так как я давно не болею серьёзными болезнями, не вожу автомашины, а по убеждениям своим ни при каких жизненных обстоятельствах не покончу самоубийством, то если я буду объявлен убитым или внезапно загадочно скончавшимся, – можете безошибочно, на 100%, считать, что я убит с одобрения госбезопасности или ею самою.

Но должен сказать, что моя смерть не обрадует тех, кто рассчитывает ею прекратить мою литературную деятельность. Тотчас после моей смерти или исчезновения или любой формы лишения меня свободы необратимо вступит в действие мое литературное завещание (даже если бы от моего имени поступило ложное противоположное заявление, типа письма Трайчо Костова из камеры смертников) – и начнется главная часть моих публикаций, от которых я воздерживался все эти годы.

Если офицеры госбезопасности по всем провинциальным городам выслеживают и отбирают экземпляры безобидного «Ракового корпуса» (а владельцев увольняют с работы, изгоняют из высших учебных заведений), то что ж они будут делать, когда по России потекут мои главные и посмертные книги?

В прошлом интервью, полтора года назад, Вы говорили о стеснениях и преследованиях как в своей литературной деятельности, в собирании материалов, так и в обычной жизни. Изменилось ли что-нибудь к лучшему?

Начальник Тамбовского областного архива Ваганов отказался допустить меня даже к газетному фонду 55-летней давности, хотя вся тамбовская история у них там гибнет на полу сырого заброшенного храма и грызется мышами. В Центральном Военно-Историческом архиве недавно производилось строгое следствие, кто и почему осмелился

в 1963 (!) году выдавать мне материалы по 1-й мировой войне. Много помогший мне молодой литературовед Габриэль Суперфин, поразительного таланта и тонкости в понимании архивных материалов, 3 июля арестован по показаниям Якира-Красина и отвезен в Орел, чтобы судить его поглуше и подальше, ему предъявлена ст. 72, дающая до 15 лет. При его хрупком здоровье это означает убийство тюрьмою. Открыто ему конечно не предъявят обвинения в помощи мне, но эта помощь отяготит его судьбу. – Александр Горлов, в 1971 г. не поддавшийся требованию КГБ скрыть налёт на мой садовый дом, с тех пор третий год лишен возможности защитить уже тогда представленную докторскую диссертацию, как и угрожали ему: диссертация собрала 25 положительных отзывов, включая всех официальных оппонентов, и ни одного отрицательного, научно провалить ее невозможно, но всё равно защита (по механике фундаментов!) не пройдет, поскольку Горлову выражается «политическое недоверие». Приняты подготовительные меры к увольнению Горлова с работы. – Мстислав Ростропович преследовался все эти годы с неутомимой изобретательной мелочностью, так свойственной аппарату великой державы. Это – длинный ряд придирок, шпилек, помех и унижений, которые ставились ему на каждом шагу его повседневной жизни, чтобы вынудить его отказать мне в гостеприимстве, а требование это ему без стеснения высказывала мадам Фурцева и ее заместители. Одно время его и даже Галину Вишневскую вовсе снимали с радио и телевидения, искажались газетные упоминания о нем. Немало его концертов в СССР было отменено без ясных причин – даже когда он находился на пути в город, где концерт назначен. Его методически лишили творческого общения с крупнейшими музыкантами мира. Из-за этого, например, уже несколько лет задерживается первое исполнение виолончельного концерта Лютославского в Польше, на родине композитора, куда Ростроповича не пускают, и первое исполнение концерта Бриттена, посвященного Ростроповичу. Наконец, ему пре-

градили пути дирижерской работы в Большом театре, которая была для него наиболее творчески важна и интересна. Этой весной я счел своим долгом уехать с его дачи, чтоб освободить его от преследований. Однако, они мстительно продолжаются и по сей день. Еще же нельзя ему простить его письма о судьбах советского искусства.

Уже несколько лет ни один телефонный или внутрикомнатный разговор – мой или членов моей семьи даже на последнюю бытовую тему не остался не подслушанным и (есть признаки) не проанализированным. Мы уже привыкли к тому, что днем и ночью постоянно разговариваем в присутствии госбезопасности. Когда у них кончается пленка, они бесцеремонно прерывают телефонный разговор, чтобы перезарядить, пока мы перезвоним. В таком же положении – Ростропович, Сахаров, Шафаревич, Чуковские, многие знакомые мне семьи, а еще больше незнакомых.

Даже странно слышать, что где-то идут споры, имеет ли право президент распорядиться об установлении электронного подслушивания для защиты военных тайн своей страны. И даже оправдан по суду человек, разгласивший такие секреты. А у нас – и без суда считается *виновным* любой человек, однажды высказавший вслух мнение, противоречащее официальному. И электронное подслушивание за ним устанавливает не глава страны, но средний чиновник госбезопасности. Такое электронное подслушивание, не говоря о всей прочей слежке, опутывает тысячи и тысячи интеллигентов и ответственных служащих в главных городах Советского Союза. И множество дармоедов в мундирах сидят и анализируют пленки подслушивания. И это даже не очень скрывается, министр считает дозволенным заявить подчиненному: «Мне давали слушать ваш такой-то телефонный разговор» – и дальше выговор за этот разговор. Слежка доходит до того, что даже в отношении соприкасающихся со мною людей 5-е управление КГБ (ген.-майор Никишкин) и его 1-й отдел (Широнин) дают письменные указания – «выявлять посещаемые *ими* адреса», т.е. спираль уже второго порядка.

В нашем дворе стоит поношенный ижевский «москвич» нашей семьи. С ним рядом ночуют несравненно лучшие машины, но какие-то странные «похитители» всякий раз покушаются именно на эту. Два раза потерпели неудачу, один раз повредили ее нарочно, еще раз угнали в Грузию. И хотя милиция нашла машину и будто бы угонщиков – никакого суда над ними не было. Не только я, но и мои знакомые засыпаны оскорбительными анонимными письмами. Перед недавними муниципальными выборами *агитатор* («блока коммунистов и беспартийных») заявил о моей жене, не скрываясь: «таких *надо душить*!». Редактор журнала «Октябрь» Зверев в публичных лекциях в институтах Вирусологии и Иммунологии Ак. Наук заявил, что я «член исполнительного комитета сионистов». Ему возразили наивно: «Но ведь в газете печатали, что Солженицын – помещичьего происхождения». Находчивый октябрист ответил во всеуслышание: «*Тогда надо* было писать *так*. А *теперь надо* считать Солженицына евреем». Почтовая цензура не пропустила *ни одного* газетного западного отзыва на «Август» из многочисленных посланных мне моим адвокатом г. Хеебом. Таким образом я лишен возможности узнать, как же воспринята моя книга на Западе. Министр Внешней торговли Патоличев отказался признать мои права на получение сумм из Нобелевской премии, и меня вынуждают дискриминировать ее, признать «подарком частного лица» (что, к тому же, дает право государству конфисковать третью часть гневно осужденной премии). КГБ то и дело подсылает ко мне своих агентов под видом «юных авторов», принесших свои литературные опыты.

Видный генерал КГБ передал мне через третье лицо прямой ультиматум: чтоб я убирался заграницу, в противном случае меня сгноят в лагере и именно на Колыме (т.е., по образцу Амальрика, через «бытовую» статью). Если понадобится, это третье лицо сегодня или завтра огласит бо̀льшие подробности этого эпизода.

В связи с тем, что Вам не дали прописки к Вашей семье, где же Вы живете?

Я не живу более нигде, в зимнее время у меня нет другого места для жизни, как квартира моей семьи, естественное место для каждого человека. Я и буду здесь жить, независимо от того, дадут мне прописку или нет. Пусть бесстыжие приходят и выселяют меня, это будет достойная реклама нашего передового строя.

Как Вы оцениваете положение свое и других авторов в связи с присоединением СССР ко всемирной конвенции по авторским правам? Были полуофициальные сообщения, что отныне самый вывоз заграницу литературных произведений, вовсе не квалифицируемых как «антисоветские», будет рассматриваться как уголовное преступление – нарушение монополии внешней торговли?

Николай I никогда не высказывал себя хозяином пушкинских стихов. Тем более при Александре II не были государственной собственностью романы Толстого, Тургенева или Гончарова. Никогда Александр III не указывал Чехову, где ему печататься. Никакие купцы и финансисты так называемого капитализма никогда не догадывались торговать произведениями ума и искусства прежде, чем сам автор уступит им такие права. И если при первом осуществленном социализме низкие меркантильные умы додумаются, что продукт духовного творчества, едва отделясь от груди, от головы своего создателя, автоматически становится товаром и собственностью министерства внешней торговли, – такая затея не может вызвать ничего, кроме презрения.

Я, покуда мне закрыты пути печатания на родине, буду продолжать печатать свои книги в западных издательствах, совершенно игнорируя подобную финансово-поли-

цейскую затею бездарностей. Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над любой книгой ее, над любым русским автором.

Но я не допускаю, что до этого доведут. С другой стороны я усматриваю, что участие нашей страны в конвенции даже увеличивает в одном частном отношении свободу наших авторов. Например, я последнее время ничего не давал из своих вещей в Самиздат, опасаясь, что их подхватит пиратская перепечатка. Теперь же, как говорят, права советских авторов надежно защищены, и, стало быть, можно без опасения отдавать в Самиздат и знакомить наших читателей с произведениями, еще не удостоенными публичного напечатания.

Когда Вы предполагаете опубликовать II Узел Вашей серии?

Вероятно, я не буду выпускать в свет «Октября Шестнадцатого» прежде, чем будет готов III Узел «Март Семнадцатого». Эти узлы слишком связаны и только вместе проясняют ход событий, как его понимает автор.

Верно ли, что Ваша нобелевская лекция была по совету Ваших друзей обострена из первоначального строго литературного варианта?

Не знаю, откуда корреспондент «Нью-Йорк Таймс» добыл такую версию. Она не соответствует не только истине, но и противоречит моему темпераменту. Лекция была напротив *смягчена* и удержана в литературных рамках, из-за чего и задержалось на год ее появление.

Что Вы скажете о сегодняшней советской литературе?

Могу сказать о сегодняшней русской прозе. Она есть и очень серьёзная. А если учесть ту невероятную цензурную

мясорубку, через которую авторам приходится пропускать свои вещи, то надо удивляться их растущему мастерству: малыми художественными деталями сохранять и передавать нам огромную область жизни, запрещенную к изображению. Имена назову, но с затруднением и вероятно с пропусками: один авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы и лишают нас возможности наслаждаться их прозой; к другим, как Залыгин, чья повесть о Степане Чаузове – из лучших вещей советской литературы за 50 лет, могу оказаться необъективным, испытывая чужесть из-за разного понимания путей, как может служить сегодняшняя наша литература сегодняшнему нашему обществу; третьи – несомненно и ярко талантливы, но творчество их стороннё или поверхностно по отношению к главным течениям нашей жизни. Со всеми этими оговорками вот ядро современной русской прозы, как я его вижу: Абрамов, Астафьев, Белов, Быков, Владимов, Войнович, Максимов, Можаев, Носов, Окуджава, Солоухин, Тендряков, Трифонов, Шукшин.

Что Вы скажете по поводу исключения В. Максимова из Союза Писателей?

О Союзе Писателей я бы не хотел говорить серьёзно: какой это **союз писателей**, если им руководят генералы госбезопасности вроде Виктора Ильина?

Владимир же Максимов – честный мужественный писатель, бескорыстно и жертвенно преданный правде, и много преуспел в поисках ее. Поэтому исключение его из лживого Союза писателей – вполне закономерно.

Что Вы скажете по поводу лишения Ж. Медведева советского гражданства?

Не один этот случай, но уже несколько позволяют увидеть некоторые закономерности.

1) Гражданство в нашей стране не является неотъем-

лемым природным правом всякого рожденного на этой земле, а есть как бы некий купон, который хранится у замкнутой кучки лиц, вовсе ничем не доказавших свое бòльшее право на русскую землю. И эта кучка, не одобряя убеждений подданного, может объявить его лишенным родины. Кàк такой государственный строй назвать – подберите слово сами.

2) Что в тех случаях, когда упущено расправиться с человеком, по его безызвестности, *закрытым* методом, находят самым безболезненным выбросить его на Запад, лучше всего в форме добровольного соглашения – под видом временной командировки или бесповоротного отъезда.

и

3) Надо признать, увы, что они не ошибаются в расчётах. Наша страна подобна густой вязкой среде: даже малые движения произвести здесь невероятно трудно, зато эти движения тотчас увлекают за собой среду. Демократический Запад подобен разреженному газу или почти пустоте: легко можно размахивать руками, прыгать, бегать, кувыркаться, – но это ни на кого не действует, все остальные хаотически делают то же.

Что Вы думаете об ожидаемом процессе Якира и Красина?

Даже если на процесс допустят западных корреспондентов, то, очевидно, это будет лишь унылым повторением недаровитых фарсов Сталина-Вышинского. Впрочем, в 30-е годы эти фарсы при всей их топорной драматургии, мазне грима и громкости суфлёра имели большой успех у **мыслящей** западной интеллигенции: так велика была ее *жажда верить* передовому строю. Таких *мыслящих* достаёт и в сегодняшнем поколении.

Если же корреспонденты не будут допущены на процесс, значит он удался еще двумя классами ниже.

Самим же Якиру и Красину, насколько мне известно,

во время очных ставок никто не выразил в лицо, так я по праву старого зэка говорю им это сегодня здесь: что они повели себя слабодушно, низко и даже смехотворно, повторяя с 40-летним опозданием и в неуместной обстановке бесславный опыт растерянного поколения, тех дутых фигур истории, капитулянтов 30-х годов.

Что Вы скажете по поводу последних нападок на академика Сахарова в советской печати?

Вместе с тем – и о сочлене его по Комитету Прав Человека моем друге Игоре Ростиславиче Шафаревиче. Шафаревич, президент Московского Математического общества, хорошо известный в мировых математических кругах как выдающийся алгебраист, обратясь к общественной деятельности, тем самым закрыл себе научные мировые контакты и полное звание академика. Притеснение и слежка за ним усилились после его доклада о преследовании религии в нашей стране и активных настояний перед психиатрическими конгрессами по поводу античеловеческого использования психиатрии в нашей стране. Конгресс психиатров предпочел дипломатично уклониться от защиты страдающих, Шафаревич же не только вытесняется ныне из Московского университета, где преподает 30 лет, но даже всем его аспирантам и ученикам (докторам наук) также закрываются пути научной деятельности.

Неутомимая общественная деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова до последнего времени замалчивалась нашей печатью, теперь начинает облыгаться. Вот объявлен он «поставщиком клеветы», «невеждой» (крупнейшие научные умы и всегда приравнивались у нас к невежественным, коль скоро отказывались повторять всеобщую попугайщину), наивным прожектёром, а главное – критиком злопыхательским, ненавидящим свою страну и... неконструктивным.

Трудно солгать кряду более неудачно: что ни обвинение – то промах. Тот, кто проследил несколько лет за статьями

Сахарова, его социальными предложениями, его поисками путей спасения планеты, его письмами правительству, его дружелюбными уговорами, не может не увидеть его глубокой осведомленности в процессах советской жизни, его боли за свою страну, его муки за ошибки, не им совершаемые, его доброй примирительной позиции, приемлемой для весьма противоположных группировок (этим он напоминает Твардовского). Я – не сторонник многого того конкретного, что предлагает А.Д. для нашей страны, но именно *конструктивность* его предложений несомненна: каждое предложение не есть отрывчатая грёза «как хотелось бы», а путь к тому неизвестен, – нет: каждое предложение инженерно сцеплено с тем, что сегодня есть, и дает плавный невзрывчатый переход.

ТАСС отвечает Сахарову, что «критику... даже самую острую» у нас «рассматривают как дело полезное». Это – дремучая неправда. Никакая вообще серьезная критика ни на каком уровне и никакой степени конструктивности не разрешена в нашей стране **никому**, кроме узкого кружка людей, достигших своего положения многолетним послушанием, что как раз мало воспитало в них критические способности. Сахаров, увы, слишком известен, и вот приходится сокрушать его публично (как сокрушен и «Новый мир», ведший ту же примирительную конституционную линию). А критиков неизвестных во множестве сокрушают в безмолвии, в провинции, в глуши, и сколько их, никем никогда не названных, томится и гибнет в областных психиатрических больницах.

Проверьте за последние хоть 10, хоть 20, хоть 30 лет: против кого из инакомыслящих выставили *аргументы*? Ни против кого, потому что их нет. Отвечают всегда ругательствами и клеветой. Таков «ответ» Сахарову. Таков же пустой «ответ» Генриху Бёллю. А чаще бывало – полное молчание, как на сахаровские ходатайства и обращения, на мои открытые письма, на письма Ростроповича, Владимова, Максимова, на холмы групповых ходатайств об амнистии, о спасении невинных, или древнего русского

лика Москвы, или русской природы, или незакрытии храмов. Всегда: или административная, судебная кара, или брань или молчание – три выхода для тех, кому **нечего** ответить **по существу**.

Теперь вот и против Сахарова вытягивают затасканный замусленный козырь 30-х годов – помощь иностранным разведкам!.. Какая дикость! Человек, вооруживший их страшнейшим оружием, на чем стояла и стоит их мощь десятилетиями, – и помощь иностранным разведкам? Грань последнего бесстыдства и последней неблагодарности.

А ведь кроется глубокий смысл и высокий символ и личная закономерность судьбы в том, что изобретатель самого страшного уничтожающего оружия нашего века, подчиненный властному движению Мировой Совести и исконной страдательной русской совести, под тяжестью грехов наших общих и каждого отдельного из нас, – покинул то избыточное благополучие, которое было обеспечено ему, и которое так многих губит сегодня в мире, и вышел пред пасть могущественного насилия.

> Как Вы оцениваете нынешнюю общественную обстановку в СССР? Имеет ли влияние на ее развитие позиция и выступления деятелей культуры на Западе?

Истинная история нашей страны давно не регистрируется, не пишется, не выставляется на показ. И если из целой армии историков увенчанных, маститых, средних и молодых найдется один (вот как Амальрик), кто не станет жевать общую жвачку, не будет облепляться цитатами из Отцов Передового Учения, но осмелится дать самостоятельный анализ нынешней структуры общества и предсказать о будущем, что̀ в самом деле может произойти с нашей страной, то вместо того, чтобы проанализировать его работу и взять оттуда верное и практически полезное, – его просто сажают в тюрьму.

И когда из череды блистательно-орденоносных наших генералов нашелся единственный Григоренко, кто осмелился высказать *свое* нестандартное мнение о ходе минувшей войны и о сегодняшнем советском обществе, мнение, кстати, цельно марксистско-ленинское, – то и оно объявляется психическим безумием.

Несколько лет самоотверженная «Хроника» утоляла всеобщую естественную человеческую жажду: знать, что̀ происходит. Она сообщала, хотя и в очень неполной мере, фамилии, даты, места, тюремные сроки, формы преследований, она выносила из пучины незнания на поверхность хоть малую-малую долю нашей ужасной истории – и за то разгромлена и растоптана с методичностью, с какой... подберем любимый западный пример... в Греции не преследуют и государственных заговорщиков.

Теперь, без «Хроники», нам, может быть, не сразу придется узнать о последующих жертвах тюремно-лагерного режима, убивающего одною своей жестокостью, растянутой во времени, как убил он больного Галанскова, старого Талантова, старика Якова Одобеску (голодовка против лагерных притеснений). О *вторых* и *третьих* осуждениях уже осужденных людей, как были возвращены досиживать свои однажды «прощенные» 25-летние сроки Святослав Караванский, Степан Сорока (25 лет получивший за то, что учеником 10 класса прочел несколько националистических брошюр), латышский пастор Ионас Штагерс; как Юрий Шухевич получил вторые 10 лет уже в пункте освобождения по показаниям человека, не знавшего его и суток, – а вот недавно взят и на третьи 10 лет; как за религию третий раз осужден Борис Здоровец, но с первого раза получил 25 лет Петр Токарь (и ныне сидит 24-й год!); или кто еще, подобно Зиновию Красивскому и Юрию Белову, по окончании срока будет переведен из Владимирской тюрьмы в Смоленскую психтюрьму на срок уже не считаемый. Скроются от нашего зрения и знания дальнейшие судьбы сидящих Светличного, Сверстюка, Огурцова, Бориса Быкова (Алма-атинская группа «Молодой рабочий»),

Олега Воробьёва (Пермский Самиздат), Гершуни, Вячеслава Платонова, Евгения Вагина, Нины Строкатой, Стефании Шабатуры, Ирины Стасив и многих, многих, многих, не известных дальше своих семей, сослуживцев и соседей.

Именно благодаря сплошной закрытости почти всего, что у нас происходит, когда и выплыли на Западе свидетельства Марченко, они показались там «преувеличением». И мало кто вдумался в такое, например, его показание, что режим царского Владимирского централа в советское время по одному лишь свету ухудшен в 4 раза (заложены окна до 1/4), а в другом и еще холодней, и еще жесточе, чем в 4.

И уже привыкнув, что о нас всё равно никогда ничего не узнать, пренебрегает мир и самой явной открытой информацией: что в поразительной этой стране с самым передовым социальным строем **за полвека не было ни одной амнистии для политических**! Когда наши сроки были 25 лет и 10, когда 8 лет у нас без улыбки считались «детским сроком», – знаменитая сталинская амнистия (7 июля 1945) отпускала политических... до 3 лет, т.е. *никого*. И немногим более (до 5 лет) «ворошиловская» аминистия марта 1953 г., только наводнившая страну уголовниками. В сентябре 1955 г., отпуская Аденауеру немцев, отбывающих судебные сроки в СССР, Хрущев вынужден был амнистировать и тех, кто сотрудничал с немцами. Но *инакомыслящим* не бывало амнистии *никогда* за полстолетия! – кто укажет на планете другой пример государственного строя, столь уверенного в своей прочности? Любители сравнивать с Грецией пусть сравнивают.

Когда в конце 40-х годов мы были завалены 25-летними сроками, мы в газетах только и читали о небывалых преследованиях в Греции. И сегодня многие высказывания западной печати и западных деятелей, даже наиболее чутких к угнетениям и преследованиям, происходящим на Востоке, для искусственного равновесия перед «левыми» кругами обязательно продолжаются оговоркой: «впрочем, **как и** в Греции, Испании, Турции...» И пока пристраивается этот

искусственный ряд **как и**, сочувствие к нам теряет свое значение, свою глубину, даже оскорбляет нас, а сами сочувствователи не видят грозного предупреждения.

Осмелюсь выразить, что **не как и**! Осмелюсь заметить, что во всех тех странах насилие не достигает уровня сегодняшних газовых камер, т.е. тюремных психдомов. Что Греция не опоясана бетонной стеной и электронными убивателями на границе, и молодые греки не идут сотнями через смертную черту со слабой надеждой вырваться на свободу. И нигде восточнее Греции не может министр-изгнанник (Караманлис) напечатать в газетах свою антиправительственную программу. И в Турции не могут (как в Албании) расстрелять священника за то, что тот окрестил ребенка. И из Турции не бросаются в море по 100 человек в день (как китайцы под Гонконгом), чтобы между акул испытать жребий «свобода или смерть». И в Испании не глушат радиопередач ни с Кубы, ни из Чили. И Португалия допустила иностранных корреспондентов расследовать возникшие подозрения, какого приглашения на другом конце Европы эти корреспонденты никогда не получали, никогда не получат – и **останутся вполне довольны**, не посмеют даже протестовать! – вот что самое типичное.

Первая черта по одной шкале может означать 10, а первая черта по другой шкале – 10^6, т.е. миллион. И только ли неграмотностью наблюдателей или свернутостью их головы можно объяснить их вывод: «и там и здесь перейдена первая черта»?

Тщетно я пытался год назад в своей нобелевской лекции сдержанно обратить внимание на эти две несравнимых шкалы оценки объема и нравственного смысла событий. И что нельзя допустить считать «внутренними делами» события в странах, определяющих мировые судьбы.

Так же тщетно я указал там, что глушение западных передач на Востоке создает ситуацию накануне всеобщей катастрофы, сводит к нолю международные договоры и гарантии, ибо они таким образом не существуют в сознании

половины человечества, их поверхностный след может быть легко стерт в течение нескольких дней или даже часов. Я полагал тогда, что также и угрожаемое положение автора лекции, произносимой не с укрепленной трибуны, а с тех самых скал, откуда рождаются и ползут мировые ледники, несколько увеличит внимание развлеченного мира к его предупреждениям.

Я ошибся. Что сказано, что не сказано. И, может быть, так же бесполезно повторять это сегодня.

Что такое глушение радиопередач, нельзя объяснить тем, кто не испытывал его на себе, не жил под ним годами. Это – ежедневные плевки в уши и в глаза, это оскорбление и унижение человека до робота, глушат ли способом «полной немоты» диапазона, или способом «ржавой пилы», или пошлой музыкой. Это низведение взрослых до младенцев: глотай только пережеванное мамой. Даже самые благожелательные передачи во дни самых дружественных визитов глушатся так же сплошь: не должно быть ни малейших уклонений в оценке события, в оттенках, в акцентах, все должны воспринять и запомнить событие 100%-но одинаково. А многие мировые факты и вообще не должны быть известны нашему населению. Москва и Ленинград парадоксально стали самыми неинформированными столицами мира: жители расспрашивают о новостях приезжих из сельских районов. Там для экономии (очень *не* бесплатно обходятся нашему населению эти *услуги* по заглушке) глушат слабей. Однако, по наблюдению жителей разных мест, именно за последние месяцы глушение расширилось, захватило новые районы, увеличилось в интенсивности. (Вспоминается судьба Сергея Ханжёнкова, отсидевшего к 1973 году 7 лет за попытку – или даже только намерение – взорвать глушитель в Минске. А ведь исходя из общечеловеческих забот нельзя понять этого «преступника» иначе как борца за всеобщий мир.)

Общую цель нынешнего зажима мысли в нашей стране можно было бы назвать китаизацией, достижением китайского идеала, – если б этот идеал не существовал прежде

того у нас в 30-е годы, да вот упущен. В 30-е годы много ли знали на Западе о Михаиле Булгакове, Платонове, Флоренском? Так и в Китае сегодня есть тысячи инакомыслящих, есть тайные писатели и философы, но мир узнает о них лишь целой эпохою позже, лет через 50-100, и то лишь о тех немногих, кто сумеет сохранить свое творчество между неумолимыми жерновами. К этому идеалу и хотят нас вернуть сейчас.

Однако я уверенно заявляю, что в нашей стране вернуться к такому режиму уже невозможно.

Первая причина тому: международная информация, всё-таки просачивание и влияние идей, фактов и человеческих протестов. Надо понять, что Восток отнюдь не равнодушен к протестам западной общественности, наоборот – он *смертельно* боится их – и *только* их! – но когда это слитный мощный голос сотен выдающихся лиц, общественного мнения целого континента, от чего может зашататься авторитет *передового* строя. Когда же раздаются робкие единичные протесты безо всякой веры в успех и с обязательными реверансами «**как впрочем и** в Греции, Турции, Испании», то это вызывает только смех насильников. Когда расовый состав баскетбольной команды оказывается бо̀льшим мировым событием, чем ежедневные уколы узникам психтюрем, разрушающие мозг, – то что̀ и можно испытать кроме презрения к эгоистической, недальновидной и беззащитной цивилизации?

Перед светом всемирной огласки наша тюрьма отступает и прячется. Амальрику, расправа над которым была спланирована в даль уже в 70 году, сперва пришлось дать «бытовую» статью и 3 года, чтобы оторвать от политических лагерей в Мордовии, загнать на Колыму, а теперь из-за новой всемирной огласки опять ограничиться «всего лишь» тремя годами, было бы больше.

Западный мир своей публичностью уже очень помог и спас многих наших гонимых. Но для себя он взял в этом неполный урок, не на той силе чувства, чтоб и себе перенять, что наши гонимые не только благодарны за защиту,

но и дают высокий пример стойкости духа и жертвенности на самой черте смерти и под шприцем убийцы-психиатра.

И вот это – вторая и главная причина, почему я уверен, что китайский идеал уже недостижим для нашей страны.

Несгибаемому генералу Григоренко надобится мужество несравненно большее, чем требуют поля сражений, когда он уже четыре года, в аду тюремной психбольницы, каждый день отвергает соблазн купить свободу от пыток ценою своих убеждений, принять неправоту за правоту.

Владимир Буковский, всю свою молодую жизнь перемалываемый попеременными мясорубными ножами психиатрических тюрем, обычных тюрем и лагерей, не сломился, не предпочел уже возможного существования на воле, но положил свою жизнь сознательной жертвой за других. В этом году он был привезен в Москву, и ему предложили: выйти на волю и уехать заграницу, только до отъезда не заниматься политической деятельностью. Всего-то! – и он мог беспрепятственно ехать заграницу поправлять свое здоровье. По нынешним западным стандартам смелости, за свою свободу, за освобождение от мук можно платить и гораздо больше: иные американские военнопленные считали возможным подписывать любые бумаги против своей страны, ставя свою драгоценную жизнь конечно выше убеждений. А вот Буковский счел убеждения дороже жизни. Яркий урок его сверстникам на Западе, хотя скорее всего бесполезный. Буковский в ответ поставил условие: чтобы были выпущены из тюремно-психиатрических больниц все те, о ком он писал. Освобождение без всякой личной подлости оказалось ему недостаточным: он не хотел бежать, покидая в беде других. И отправлен в лагерь досиживать свои 12 лет.

Сходный выбор был весной этого года и перед Амальриком: мог и он подтвердить показания Красина и Якира, и за это предлагали ему свободу. И он тоже отказался и был послан на Колыму за вторым сроком. И во всех случаях, о которых мы сегодня еще не знаем подробностей, где пытки и муки скрываются от нас охраняемой «государ-

ственной тайной», – по одному тому, что человека *не* выпускают, *не* облегчают ему режима, мы можем с несомненностью судить: этот человек продолжает быть стойко верен своим убеждениям.

Сходный выбор нередко представляется и людям, живущим более обычной жизнью, не заключенным, но от того выбор не намного легче. Вот Горлов, который застиг в моем садовом домике налетчиков из госбезопасности 2 года назад. В те минуты его не убили лишь благодаря его активному сопротивлению, собравшему людей. Но затем от него требовали молчания, грозя прервать всю его служебную и научную карьеру, и было понятно, что это не пустая угроза, что он жертвует и благополучием семьи, – и всё же он не поддался искушению смолчать – всего лишь только *смолчать*.

Вот эта линия жертвенных решений одиночек – свет для нашего будущего.

Всегда поражает эта психологическая особенность человеческого существа: в благополучии и беспечности опасаться даже малых беспокойств на периферии своего существования, стараться не знать чужих (и будущих своих) страданий, уступать во многом, даже важном, душевном, центральном – только бы продлить свое благополучие. И вдруг, подходя к последним рубежам, когда человек уже нищ, гол и лишен всего, что̀, кажется, украшает жизнь, – найти в себе твердость упереться на последнем шаге, отдавая саму свою жизнь, но только не принцип!

Из-за первого свойства человечество не удерживалось ни на одном из достигнутых плоскогорий. Благодаря второму – выбиралось изо всех бездн.

Конечно не худо бы: еще находясь на плоскогории, предвидеть это свое будущее низвержение и цену будущей расплаты, и проявить стойкость и мужество несколько ранее критического срока, пожертвовать меньшим, но раньше.

Нельзя согласиться, что гибельный ход истории непоправим, и на самую могущественную в мире Силу не может воздействовать уверенный в себе Дух.

Из опыта последних поколений мне кажется совершенно доказанным, что только непреклонность человеческого духа, крепко ставшего на подвижной черте наступающего насилия и в готовности к жертве и смерти заявившего «ни шагу дальше!» – только эта непреклонность духа и есть подлинная защита частного мира, всеобщего мира и всего человечества.

27

КГБ, ЭКСПЕДИТОРУ ПОЛЯКОВОЙ

В прошлом письме, полученном Вами 3 июля, я же предупредил, что сюжет с бандитами слишком ясен, его благоразумнее прекратить. Своим третьим письмом, да еще таким злым, Ваше ведомство вынудило меня к интервью.

Если увидите Ивана Павловича Абрамова, передайте ему, пожалуйста, это.

Солженицын

31 августа 1973 г.

28

Как заявил Солженицын, в конце августа в Ленинграде КГБ конфисковал машинописный экземпляр книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» – многотомного исследования о советских лагерях за период 1918-1956, содержащего только подлинные факты, места и имена еще ныне живущих людей (свыше двухсот человек). Автор опасается, что теперь начнется преследование всех их за показания о своих муках в сталинских лагерях, данные 10 лет назад.

Сведения о месте хранения книги сообщила Елизавета Воронянская, которую допрашивали в КГБ непрерывно 5 суток. Вернувшись домой, она повесилась.

5 сентября 1973 г.

29

(на титуле Самиздатского издания)

ОТ АВТОРА

Вступление СССР во Всемирную конвенцию по авторским правам позволяет предположить, что теперь права писателей нашей страны защищены от самовольных публикаций. В таком предположении автор и выпускает этот отрывок в Самиздат.

Сентябрь 1973

30

28.10.73

Дорогой Андрей Дмитриевич!

Был в отъезде, когда узналось о нападении на Вас, и потому пишу только сейчас.

Низко же поставлена наша страна перед арабами, если нет у них оснований уважать нашу национальную честь. Только и не хватало нам, чтоб еще арабский терроризм «поправлял» русскую историю.

Однако, я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончанию задержать преступников. Посмели б они у нас пошевельнуться, не получив разрешения! – нелепо и подумать знающему наши условия.

Но это – новейший приём. Свободному слову свободного человека – что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решетка ущербна для репутации, остаётся наёмный убийца.

Если когда-нибудь нанесут Вам этот удар, а я еще буду жив, заверяю Вас, что остатком своего пера и жизни послужу, чтоб убийцы не выиграли, а проиграли.

Крепко обнимаю Вас!

Ваш

А. Солженицын

31

ЗАЯВЛЕНИЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

18 января 1974

Полная ярости кампания прессы скрывает от советского читателя главное: о чём эта книга? Что за странное слово «ГУЛаг» в названии ее? «Правда» лжёт: автор «смотрит глазами тех, кто вешал революционных рабочих и крестьян». Нет! – глазами тех, кого расстреливало и мучило НКВД. «Правда» уверяет, что в нашей стране – «бескомпромиссная критика» периода до 1956 г. Ну, вот, пусть и покажут свою бескомпромиссную критику, я дал им богатейший фактический материал.

Еще сегодня – еще сегодня! – этот путь не закрыт. И какое очищение было бы для страны!

Публикуя «Архипелаг», я всё же не ожидал, что до такой степени отрекутся даже от своих прежних слабых признаний. Линия, избранная органами нашей пропаганды, есть линия звериного страха перед разоблачениями. Она показывает, как цепко держатся у нас за кровавое прошлое и хотят нераскрытым мешком тащить его с собою в будущее – лишь бы не произнести ни слова – не то, что приговора, но морального осуждения ни одному из палачей, следователей и доносчиков. Характерно: едва только «Немецкая волна» объявила, что каждый день будет по полчаса читать «Архипелаг» – на нее накинулись глушить неистово: ни одно слово этой книги не должно прорваться в нашу страну.

Как будто это надолго! Я уверен, что скоро наступит время, когда эту книгу в нашей стране будут читать широко и даже свободно. И найдутся памятливые и любознательные, кто потянется проверить: а что писала советская пресса при появлении этой книги? и кто подписывал? И в потоке мутной брани они не найдут имён собственных, ответственных, везде трусливая анонимность, псевдонимность.

Потому и врут так легко, что̀ угодно: будто по моей книге «гитлеровцы снисходительны и милостивы к порабощенным народам», «сталинградская битва выиграна штрафными батальонами». Всё лжёте, товарищи правдисты. Прошу объявить точные страницы! (Увидите, что не объявят.) Или ТАСС: «в своей автобиографии Солженицын сам признался в ненависти к советскому строю и к советскому народу». Моя автобиография напечатана в Нобелевском сборнике, 1970 г., доступна всему миру, проверьте, как нагло лжёт Телеграфное Агентство Советского Союза. Да что о нем говорить, если оно имело бесстыдство плюнуть в смежённые глаза всем убитым: что написано об их муках и смерти только ради валюты (сообщение Кирилла Андреева, ТАСС. А *его* отец – жив? или расстрелян там же?)

Но и тут промахнулось ТАСС: продажная цена книги на всех языках будет предельно низка, чтоб читали ее как можно шире. Цена такая, чтоб только оплатить работу переводчиков, типографии и расход материалов. А если останутся гонорары – они пойдут на увековечение погибших и на помощь семьям политзаключённых в Советском Союзе. И я призову издательства отдать и свой доход на ту же цель.

А вот ложь «Литгазеты»: будто у меня «советские люди – исчадия ада», сущность русской души «в том, что русский человек готов за пайку хлеба продать отца и мать». Назовите страницы, лгуны! Это для того так пишется, чтоб разъярить против меня моих неосведомлённых соотечественников: Солженицын «ставит знак равенства между советскими людьми и фашистскими убийцами». Маленькая подтасовка: между фашистскими убийцами и убийцами из ЧК-ГПУ-НКВД – да, ставлю. А «Литгазета» натягивает сюда «всех советских людей», чтобы среди них нашим палачам укрыться удобней.

Но *какие* страницы они будут указывать, из *какой* книги? Ведь «Литгазета» попалась на мародерстве, на раздевании трупа: она цитирует *захваченный экземпляр*, 4-ю и 5-ю части

«Архипелага», которые еще нигде не напечатаны – *именно в Госбезопасности* делал выписки подозрительный «Литератор»! Вот выйдет 4-я часть, вы прочтете и эту цитату: «Я понял ложь всех революций истории» (конец главы 1-й) и эту оценку – не русского человека, но советской *воли* (глава 3-я, названия разделов): «постоянный страх», «скрытность и недоверчивость», «тление души», «ложь как форма существования»...

И еще смеют обвинять, что момент печатания «Архипелага» выбран мировой реакцией, чтобы сорвать разрядку напряженности. Он выбран – нашей госбезопасностью (она и есть главная «мировая реакция» сегодняшнего дня) – выбран ее жадностью хватать рукописи. Если она ценит разрядку напряженности, зачем же она в августе 5 суток выдавливала, выжигала эту рукопись из бедной женщины? В произошедшем захвате я увидел Божий перст: значит, *пришли сроки*. Как предсказано было Макбету: **Бирнамский лес пойдет**.

32

ИНТЕРВЬЮ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

журналу «Тайм»
19 января 1974

Братья Медведевы выражают веру, что реформы в СССР могут произойти лишь изнутри, притом сверху, и что западное общественное мнение мало чем может помочь. Сахаров выражает мнение, что лишь давление снизу и извне может быть эффективным. Раздавались упрёки, что он и Вы обращались к западным правительствам и реакционным кругам на Западе. Что Вы скажете об этом?

Ни к иностранным правительствам, ни к парламентам, ни к иностранным политическим кругам я лично не обращался никогда. Сахаров же, сколько знаю, единственный раз к американскому сенату и один раз, косвенным советом, к правительствам Западной Европы. Верно, это не адрес для нас и не путь. Мы обращались к мировой общественности, к деятелям культуры. Их поддержка для нас – бесценна, всегда эффективна, всегда помогает. Мы оба до сих пор целы и живы только благодаря ей. Однако, и она не может быть бесконечной, призывами к этой поддержке мы не смеем злоупотреблять: во всех странах – свои заботы, и не обязаны они всё время заниматься нашими.

Но совсем смехотворно предложение Роя Медведева в его рыхлой статье, почти легальной по скучности: обращаться за помощью к западным коммунистическим кругам, – к тем, кто не имел желания и усердия защитить даже коммунистическое дело в Чехословакии, – так неужели нас они будут защищать? (За публикацию «Ивана Денисовича» Хрущев получил выговор от Гомулки и Ульбрихта.)

Братья Медведевы предлагают терпеливо, на коленях, ждать, пока где-то «наверху», какие-то мифические «левые», которых никто не знает и не называет, одержат верх над какими-то «правыми», или вырастет «новое поколение руководителей», а мы все, живущие, все живые, должны – что? «развивать марксизм», хотя бы нас пока сажали в тюрьмы, хотя бы «временно» и усилилось угнетение. Чистый вздор.

Казалось бы и естественно нам – обращаться к нашему правительству, к нашим вождям, предположив, допустив, что они не совсем безразличны к судьбам народа, из которого произошли? Такие письма писались не раз – Григоренко, Сахаровым, мною, сотнями людей, с конструктивными выходами из сложностей и опасностей для нашей страны, – но никогда не были приняты даже к обсуждению, ответов не было, только карательные.

И остаётся наше право и наш прямой путь – обращаться к своим читателям, к своим соотечественникам и особенно к нашей молодёжи. И если она, всё узнав и всё поняв, не поддержит нас, то это уже будет от недостатка мужества. И тогда она и мы заслужили нашу жалкую участь, и не на кого нам жаловаться, только – на своё внутреннее рабство.

Каким же образом ваши соотечественники, ваша молодёжь может оказать вам поддержку?

Никакими физическими действиями, всего-навсего: отказом ото лжи, **личным неучастием во лжи**. Каждому перестать сотрудничать с ложью решительно везде, где он сам видит ее: вынуждают ли говорить, писать, цитировать или подписывать, или только голосовать, или только читать. У нас ложь стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом. Отшатываясь ото лжи, мы совершаем поступок нравственный, не политический, не судимый уголовно, – но это тотчас сказалось бы на всей нашей жизни.

ТАСС заявляет, что издание Вашей книги «Архипелаг ГУЛаг» создает опасность возврата атмосферы «холодной войны» и наносит ущерб разрядке напряженности между Востоком и Западом.

Вред миру и добрым отношениям между людьми и народами приносит не тот, кто рассказывает о совершенных преступлениях, а тот, кто делал или делает их. Раскаяние личное, общественное и национальное всегда только *очищает* атмосферу. Если мы открыто признаем наше страшное прошлое и сурово, не в пустых словах, осудим его – это только укрепит во всем мире доверие к нашей стране.

Ваша новая книга не будет напечатана здесь, но многие русские услышат ее по радио. Как Вы себе представляете их реакцию, в особенности реакцию молодого поколения, знающего мало о событиях, которые Вы описываете?

Услышат ли по радио – неизвестно. По «Немецкой волне» «Архипелаг» уже глушат. Но всё равно правда дойдёт, узнается. Десятилетиями она настолько была скрыта, что ее появление во весь рост потрясает всякого незнающего – но и воспитывает его сердце, но и даёт ему свет и силу на будущее.

Как Вы предполагаете, как поступят власти в отношении Вас?

Совершенно не берусь прогнозировать. Я и моя семья готовы ко всему.

Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, ее забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана – и этого уже никому никогда не стереть.

33

ПРОРЫВ НЕМОТЫ

Я полагаю, что выход в свет в 1973 г. новой книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» – событие огромное. По неизмеримости последствий его можно соспоставить только с событием 1953 года – смертью Сталина.

В наших газетах Солженицына объявили предателем.

Он в самом деле предал – не родину, разумеется, за которую он честно сражался, и не народ, которому приносит честь своим творчеством и своею жизнью, а Государственное Управление Лагерей – ГУЛаг – предал гласности историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается предать забвению.

Кто же предательствует?

XX съезд партии приоткрыл над штабелями трупов окровавленный край рогожи. Уже одно это спасло в пятидесятые годы от гибели миллионы живых, полумертвых и тех, в ком теплилась жизнь еще на один вздох. Хвала XX съезду. XXII вынес решение поставить погибшим памятник. Но напротив, через недолгие годы, злодеяния, совершившиеся в нашей стране в еще никогда не виданных историей масштабах, начали усердно выкорчёвывать из памяти народа. Погибли миллионы людей, погибли все на один лад, но каждый был ведь не мухой, а человеком – человеком своей особой судьбы, своей особой гибели. «Реабилитирован посмертно». «Последствия культа личности Сталина». А что сделалось с личностью, – не тою, окруженною культом, а той – каждой – от которой осталась одна лишь справка о посмертной реабилитации? Куда она делась и где похоронена – личность? Что сталось с человеком, что он пережил, начиная от минуты, когда его вывели

из дому – и кончая минутой, когда он возвратился к родным в виде справки?

Что стоит за словами «реабилитирован посмертно» – какая жизнь, какая казнь? Приблизительно с 1965 года об этом приказано было молчать.

Солженицын – человек-предание, человек-легенда – снова прорвал блокаду немоты; вернул совершившемуся – реальность, множеству жертв и судеб – имя, и главное – событиям их истинный вес и поучительный смысл.

Мы заново узнали, – слышим, видим, что это было такое: обыск, арест, допрос, тюрьма, пересылка, этап, лагерь. Голод, побои, труд, труп.

«Архипелаг ГУЛаг».

Лидия Чуковская

4 февраля 1974
Москва

34

ЗАЯВЛЕНИЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

2 февраля 1974

В декабре, еще не публиковался «Архипелаг», лекторы московского горкома КПСС (например, *Капица* в Госплане) заявляли дословно: «Солженицыну мы долго ходить не дадим». Эти обещания властей вполне совпадали с псевдобандитскими письмами, в которых добавлялись только череп и скрещенные кости. Вышел в свет «Архипелаг» – и любимый знак бандитов перешел из анонимных писем на витрину Союза художников, а угрозы убить – в телефонную атаку («приговор приведем в исполнение!»). Эту телефонную атаку на мою семью – двух женщин и четырёх детей, хулигански вели агенты госбезопасности в две смены – с 8 утра до 12 ночи, кроме суббот и воскресений, когда у них законные выходные.

А визгливая кампания газет направлена, собственно, не на меня: заполняй они бранью хоть целые полосы, они все вместе не испортят мне одного рабочего дня. Газетная кампания направлена против нашего народа, против нашего общества: оглушить, ошеломить, испугом и отвращением откинуть соотечественников от моей книги, затоптать в советских людях *знание*, если оно прорвётся через глушилки. Сыграть и на низких инстинктах – у Солженицына три автомашины, буржуй! – кто ж и где опровергнет всевластных лгунов, что никаких трех машин нет и не было, а передвигаюсь двумя ногами да троллейбусом, как не унизится самый последний корреспондент ТАССа. Сыграть и на высоком возмущении: он оскверняет могилы павших в Отечественной войне! Через башни газетной лжи кто ж доберётся, что моя книга – совсем не об этой войне и не о двадцати миллионах наших павших, но о других **шестидесяти** миллионах, истребленных войною

внутренней за 40 лет, – замученных тайно, замороженных на безлюдьи, выморенных голодом целых республиках?

Недели назад еще был честный путь: признать правду о минувшем и так очиститься от старых преступлений. Но судорожно, но в страхе животном решились стоять за ложь до конца, обороняясь газетными бастионами.

Защита мирового общественного мнения пока не даёт ни убить автора, ни даже арестовать: то было бы лучшим подтверждением книги. Но остаётся путь клеветы и личной дискредитации, за это теперь и принимаются дружно. Вот вызван из провинции мой бывший одноделец Виткевич, и, сохраняя свою научную карьеру, он через АПН, этот испытанный филиал КГБ (они ему «дружески показали» протоколы следствия 1945 года, пошел бы кто добился другой!), похваливает следствие тех времён: «следователь не нуждался искажать истину». 29 лет он не ставил упреков моему поведению на следствии – и до чего же вовремя попадает теперь в общий хор. Отлично знает он, что от моих показаний не пострадал никто, а наше с ним дело было решено независимо от следствия и еще до ареста: обвинения взяты из нашей подцензурной переписки (она фотографировалась целый год) с бранью по адресу Сталина и потом – из «Резолюции № 1», изъятой из наших полевых сумок, составленной нами совместно на фронте и осуждавшей наш государственный строй. Вспоминает мои «показания на суде», а надо мной и суда не было, заочное ОСО. Верно пишет он, что мы «принадлежим к разным людским категориям»: настаивал он на забвении всех смертей и мук, своих и чужих. Да это только начало. Вот выловят, заставят лгать свидетелей, попутчиков, встречных моей полувековой жизни. Вот и из бывших зэков, недострелянных, недомученных, выжмут заявления, что они не страдали, что их не пытали, что не было Архипелага.

У ЦК, КГБ и у наших газетных издательств, сегодня тайком нарасхват читающих «Архипелаг», нет уровня понять, что я о себе самом рассказал в этой книге сокровенное, много худшее, чем всё плохое, что могут сочинить

их угодники. В этом – и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию.

Вся сегодняшняя газетная свистопляска, в которую вкружились именитые деятели искусств (а другие с твердостью отреклись, и идет молва об их мужестве) – вся эта кампания есть бой против совести народа, против правды для народа. Перегораживая ее черными фалдами, взмахами крыльев, решилась рогатая нечисть на этот безнадёжный бой перед заутреней, чтобы протянуть свою власть над человеческими душами. Но чем отчаянней они мажут черным, тем полней им отдастся, когда узнается правда.

Наш народ уже полвека добывает ее только разгребаньем ото лжи. Научились люди, уже знают, зачем и когда так избыточно вопят. Притекает ко мне поддержка – в телефонных же звонках, в достигших письмах, записках от названных и неизвестных людей, –

> «От уральцев. Всё понимаем. Так держать, браток! Группа рабочих».

Пишут одиночные протесты в газеты, предвидя все гибельные последствия для себя. Вот и публично выступили бесстрашные трое молодых – **Борис Михайлов, Вадим Борисов, Евгений Барабанов** (у каждого – малые дети), ничем не защищенные, кроме правоты. Быть может, раздавят и их и меня, но не раздавят правду, сколько б еще знаменитых жалких имен не подцепили к черному хороводу.

Я никогда не сомневался, что правда вернется к моему народу. Я верю в наше раскаяние, в наше душевное очищение, в национальное возрождение России.

35

ПРОКУРАТУРА СССР
103793, Москва, К-9, Пушкинская, 15-а
8 февраля 1974 г. №..

г. Москва, улица Горького
д. 12, кв. 169
Гр-ну Солженицыну А.И.

Гр-н Солженицын А.И.

Вам надлежит явиться в Прокуратуру СССР – улица Пушкинская, 15-а, 8 февраля 1974 г. в 17-00, комната № 513, этаж 5-й.

ПРОКУРОР СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ СССР

А. БАЛАШОВ

36

ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА СССР,

в ответ на её повторный вызов

В обстановке непроходимого всеобщего беззакония, многолетне царящего в нашей стране (а лично ко мне – и 8-летней кампании клеветы и преследований), я отказываюсь признать законность вашего вызова и не явлюсь на допрос ни в какое государственное учреждение.

Прежде чем спрашивать закон с граждан, научитесь выполнять его сами. Освободите невинных из заключения. Накажите виновников массовых истреблений и ложных доносчиков. Накажите администраторов и спецотряды, производившие геноцид (высылку **народов**). Лишите *сегодня* местных и отраслевых сатрапов их беспредельной власти над гражданами, помыкания судами и психиатрами. Удовлетворите *миллионы* законных, но подавленных жалоб.

А. Солженицын

11 февраля 1974 г.

37

Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой ее, над любым русским автором. Если такой суд будет назначен надо мной – я не пойду на него своими ногами, меня доставят со скрученными руками в воронке. Такому суду я не отвечу ни на один его вопрос. Приговоренный к заключению, не подчинюсь приговору иначе, как в наручниках. В самом заключении, уже отдав свои лучшие восемь лет принудительной казенной работе и заработав там рак, – я не буду работать на угнетателей больше ни получаса.

Таким образом я оставляю за ними простую возможность открытых насильников: вкоротке убить меня за то, что я пишу правду о русской истории.

А. Солженицын

38

Из письма

ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР ПО ПОВОДУ ИЗГНАНИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА

Безответственные правители великой страны!

...вы, кажется, начали понемногу понимать... что в духовной борьбе убитый противник опаснее живого... Но... вы еще не поняли, что с выходом в свет «Архипелага ГУЛага» пробил роковой для вас час истории; ...Вы еще не поняли, что **Бирнамский лес уже пошёл**... что на вас поднялись десятки миллионов убитых... Они давно уже стучатся в нашу жизнь, но некому было открыть им дверь... «Архипелаг ГУЛаг» – это обвинительный акт, которым открывается судебный процесс человеческого рода против вас... И пусть паралич, которым Бог покарал вашего первого вождя, послужит вам пророческим прообразом того духовного паралича, который ныне неминуемо надвигается на вас.

...Может быть, задумается кто-то из вас: а всё же нет ли над всеми нами Того, Который спросит за всё?

Не сомневайтесь – есть.

И спросит. И – ответите.

...Отнимите Россию у Каина и отдайте её Богу...

17 февраля 1974
Москва

Л.Л. Регельсон

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

* Страница книги, где автор ссылается на это приложение.


PRINTED IN BELGIUM
ROSSEELS PRINTING C°
VAARTSTRAAT 70-72 & 82
B-3000 LOUVAIN-BELGIUM
☎ 3216 23.60.01 (2 lines)